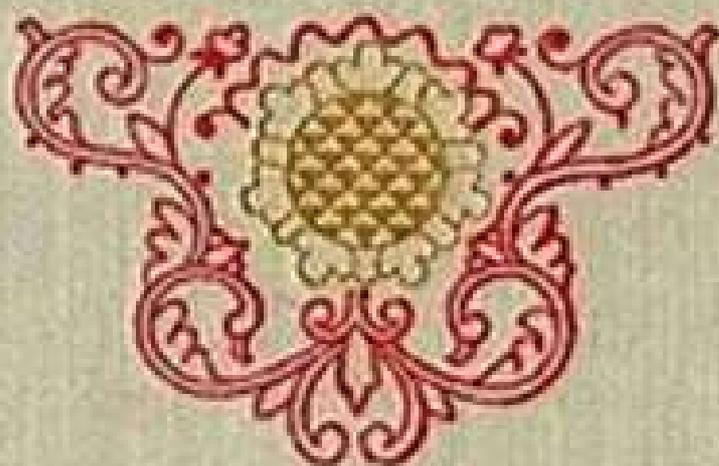


НАТАН РЫБАК



ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ
РАДА



Рыбак Натан

Переяславская рада

Натан РЫБАК

ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ РАДА

Разрешению двух основных задач
посвятил Богдан Хмельницкий свою
жизнь: освобождению Украины от
чужеземного ига и объединению
Украины с Россией. Достижения этой
цели он добивался со всей силой
своей могучей воли, своей
неистощимой энергии. На службу
своей великой идее он поставил свой
блестящий талант организатора,
выдающиеся качества полководца и
военачальника, свое искусство
замечательного дипломата.

...Вершиной деятельности
Богдана Хмельницкого было решение,
принятое украинским народом в 1654
году на раде в Переяславе...

<П р а в д а>, 11 X 1943 г.

Будь славен вовек, о муже избранне,
Вольности отче, герое Богдане!

Г р и г о р и й С к о в о р о д а

КНИГА 1

1

Привстав на стременах, всадник оперся рукой о высокую луку седла.

Взору его, скользнувшему поверх сизой полосы леса, открылся Киев.

Торжественный перезвон колоколов Софии и Печерского монастыря плыл в морозном воздухе. Над башнями Золотых Ворот и на стенах крепости зоркий глаз всадника уловил чуть заметное колыхание знамен.

Конь заржал и ударил копытом скованную морозом землю. Всадник потрепал гриву коня, нагнулся и прошептал на ухо (словно это была тайна):

- Потерпи!

И тут же всадник почувствовал, что это слово <потерпи> относится к нему самому. И верно, может быть, впервые в этом году так сильно, замирая, билось его сердце. Он посмотрел вниз. В низине, под кручей, его ожидали. По всему широкому шляху двигались казаки. Скрипел снег. Рассыпался кругом веселый звон тулумбасов. Плыли над головами бунчуки и тяжелые ало-бархатные стяги.

Увидев всадника на круче, казаки зашумели. Тысячеголосо взорвалось и покатилося:

- Слава-а-а!..

Всадник тронул шпорами коня и поехал вниз.

Был двадцать третий день месяца декабря 1648 года.

От Золотых Ворот добрые кони везли широкие сани, в них сидели иерусалимский патриарх Паисий и митрополит киевский Сильвестр Коссов. Окруженные верховыми, сани скользили по накатанной дороге. Из-под кудлатых седых бровей строгие глаза патриарха внимательно вглядывались в даль.

Сильвестр Коссов, наклонившись, говорил:

- Неведомы его замыслы и поступки его неудержимы. Возомнил, будто бы, аки апостол, вправе судьбами людей вершить. Уповаю на вас и на ваше умение льва обратить в

агнца, и желчь в сердце змия сменить елеем.

Патриарх не слушал Коссова. Тот поспешно продолжал:

- Чернь поднял против достойных и почтенных особ, не только против католиков, но и православных. В универсале своем писал: <Все равны будут...> Богохульник и сквернослов...

Коссов сплюнул на дорогу. Огляделся. Разноголосый гомон колыхался над толпой.

<Аки князя встречают>, - подумал он и еще раз осудил поведение патриарха Паисия: несмотря на преклонный возраст свой и высокий сан, патриарх сам выехал встречать Богдана Хмельницкого, да еще и его, Коссова, впутал в эту опасную причуду.

Уже видны были ряды казаков. От них отделилось несколько всадников и поскакало навстречу саням.

Шагов за сто от саней Хмельницкий остановил коня и спешился. Джура* подхватил повод. Сошли с коней Иван Выговский, Лаврин Капуста, Матвей Гладкий и Силуян Мужилковский. Гетман быстрыми шагами, упруго ступая по снегу и сняв шапку, приближался к саням. Еще с вечера Капуста сообщил ему, что патриарх Паисий в Киеве и высказал желание лично встретить гетмана.

* Д ж у р а - оруженосец.

И Хмельницкий сразу оценил, сколь значительно такое событие и как повлияет оно на отношение к нему народа и духовенства,

Увидев рядом с седым старцем, в котором он безошибочно угадал патриарха, круглого, как церковный колокол, Сильвестра Коссова, гетман нахмурился. Силуян Мужилковский и Лаврин Капуста переглянулись. До саней оставалось несколько шагов.

Паисий, поддерживаемый под локоть митрополитом Коссовым и монахами, поднимался из саней навстречу гетману. Но Хмельницкий не дал ему выйти из саней, упал на колени и прижался губами к жилистой, маленькой, холодной руке. Коссову руку поцеловал не сразу; пытливо, как бы изучая, поглядел в глаза и еле коснулся усами руки. Митрополит подвинулся и дал ему место в санях, по правую руку от себя. Толпа восторженно кричала:

- Слава! Гетману Богдану слава!

А с разных сторон, покрывая эти голоса, звучало, как гром:

- Слава Хмелю!

Он усмехнулся. Так кричали ему под Желтыми Водами после победы; так кричали посполитые* с косами и вилами в руках, готовые итти за ним в огонь и воду. Вот он и провел их от Днепра до Вислы, возвратил им Киев и добыл победу. Он не надевал шапки, и ветер шевелил волосы, освежая голову. А освежиться надо было. Вчера весь день в усадьбе Мужилковского пили за его здоровье старшина и казаки, пили за победу, за поражение короля и хана, за гибель султана турецкого.

* П о с п о л и т ы е - крестьяне.

Старенький патриарх что-то говорил ему слабым голосом, но он ничего не мог слышать - все заглушал нескончаемый прибой возгласов, катившийся над толпой киевлян, над казацкими рядами.

У Золотых Ворот сани должны были остановиться. Войт, райцы* и выборные киевских цехов встречали его хлебом и солью. Расталкивая их, к саням протиснулась старенькая, в убогой одежде женщина. Никто и не опомнился, как она сняла с себя медный крестик на сером шнурке и надела его на шею гетману. Он схватил обеими руками ее руки и поднес к губам. Патриарх одобрительно кивал головой. Сильвестр Коссов отвернулся.

* В о й т - городской судья; р а й ц ы (или р а д ц ы) выборные из горожан члены городского совета.

Снова кричали: <Слава!> Потом вышли вперед воспитанники Киевского коллегиума. Хмельницкий сразу узнал их по черным долгополым свиткам. Один из них, высокий,

здоровенный парубок, с голосом, напоминавшим трубу, читал витиеватые латинские вирши, в которых сравнивал гетмана с Александром Македонским и называл его храбрейшим в мире рыцарем. Потом низенький, дородный мещанин взобрался на бочку и тонким голосом поздравил гетмана от магистрата Киева.

- Ждали мы тебя, великий гетман, яко Моисея, спасителя нашего и избавителя! - кричал он тонким голосом. - И денно и ношно молились за тебя.

Кто-то со смехом перебил оратора:

- А не надо было стараться так... Под Желтые Воды ехал бы!

Мещанин смутился. Сильвестр Коссов укоризненно проговорил:

- Бес, вселившийся в чернь, к своемыслию приводит злему...

- Эта чернь, митрополит, весь край с мечами в руках прошла, панов-ляхов за Вислу загнала и благословения твоего всячески достойна...

Не удержался. Сказал-таки надменному Коссову. И тотчас отвернулся от него. Боялся - прорвется что-нибудь покрепче. Из памяти не выходило поведение митрополита, едкие намеки его, заигрывание с Адамом Киселем. Подумалось: <Погоди, придет и твой черед>.

Ударили пушки в крепости. Стреляли из ружей, из пистолей. Уже давно проехали Золотые Ворота. Народ стоял вдоль улиц, на площадях, кричал: <Слава!>, показывал на гетмана пальцами. А он сидел между митрополитом и патриархом, казалось, исполненный благодушия, спокойствия и покорности.

Вечером архимандрит Киево-Печерского монастыря Иосиф Тризна устроил в честь гетмана пир. Хмельницкий вернулся уже за полночь. Покои ему отвели в митрополичьем дворце. Гетману не спалось. Есаул Демьян Лисовец и Лаврин Капуста были с ним. Вяло текла беседа. Наконец он отпустил их. Слышал, как за дверью Капуста приказывал есаулу:

- Под окнами в саду поставь часовых. Пойду погляжу, что у ворот.

Шаги затихли. Он остался один. Закрыв лицо руками. Боже мой! В сущности этот день был началом. Он понял это сразу, когда взъехал на кручу и увидел Киев. Да, это было начало! Еще в мае этого года, под Желтыми Водами, когда он впервые одержал победу над коронным войском, и даже после Корсунской битвы он еще не представлял себе всей широты начатого дела. Но после Замостья он понял и смело взял на свои плечи ношу, какой еще никто не брал в его краю.

Вспомнилось все: и обиды, и нищета, и страх смерти, и умело расставленные ловушки, рассчитанные на то, что он непременно попадет в них. Прошел через все это. Загнал врага под Замостье, продиктовал ему свои условия. И за ним пошла вся Украина - от Дикого Поля до Случа. Что же дальше? Спросил себя и не сразу решился ответить. Разум и сердце подсказывали ответ. Возврата не было. Путь лежал только вперед.

Народ был с ним. Народ ждал теперь от него исполнения обещаний. А ведь еще стояла перед ним первоклассная армия Яна-Казимира, разбитая, но не разгромленная; искал удобного случая вцепиться когтями в горло крымский хан Ислам-Гирей; точили зубы семиградский князь, мультянский и волошский господари; и за спиной казацкая старшина уже делила полки, маетности*, грызлась за лучшие куски.

* М а е т н о с т ь - имение, усадьба.

Сто тысяч посполитых ждали от него воли, хлеба, - в этот год не уродило. Нехватало соли, которую из-за войны не завезли... Города ждали от него подтверждения их былых привилегий, села - безопасности от татарских наездов.. Боже мой! Он мог насчитать еще сотни просьб и желаний... И, поймав себя на каком-то подозрительном колебании, он вдруг, рассердившись, ударил крепким кулаком по колену и громко проговорил:

- Сверхшу, что замыслил.

2

Ровно горели свечи в высоких медных канделябрах. Надтреснутый голос патриарха, казалось, доносился издалека, хотя патриарх был рядом. Он сидел в кресле, цепко ухватившись за подлокотники, точно боялся, что кресло выскользнет из-под него.

- Старания твои, Богдан, зело похвальны. Мы в святой земле весьма обеспокоены злодеяниями католической церкви против веры нашей православной. Защитил ты от поругания храмы божии и простому люду обеспечил великую утеху в его страданиях на сем свете.

Они были вдвоем в большом покое.

Хмельницкий внимательно слушал. Когда Паисий сделал знак рукою, начал:

- Отец мой, - позволь так тебя величать, ибо ты для меня роднее отца, - замысел свой свершу во имя божье и тело свое брренное положу, а от своего не отступлюсь. Великая радость и поддержка для меня твои слова. Помысли! Живем теперь как над бездной. И может статься, что весь наш край плодородный станет одною страшною руиной. Не устоять одним нам против врага, числом и оружием сильнейшего нас. На хана, с коим принужден был войти в союз, ибо иначе король употребил бы его против меня, надежд не возлагаю. Уповаю, святой отец, только на братьев наших, людей русских, на царя московского все надежды мои. Будем под его высокою рукою - и тогда нам жизнь навеки вольная... Знаю - держишь путь в Москву, покорно прошу скажи царю русскому: пусть шлет в города наши ратных людей своих, пусть придет на помощь братьям своим, разорвет договор с королем Яном-Казимиром, и тогда ни хан, ни король, ни султан турецкий не будут нам страшны. Еще в июне этого года писал ему о том от имени всего народа...

Замолчал, перевел дыхание. Патриарх сидел, закрыв глаза. Уж не заснул ли?

- Говори дальше, - шевельнулись губы.

Хмельницкий приглушил свой зычный голос:

- Просьбу эту передай в великой тайне, ибо, узнавши о ней, король и хан заключат союз и на помощь им придут турки. Тогда мы не сможем устоять. А мыслю я так: все это надо свершить в тайне и внезапно обрушиться на них, как гром.

- Скажу, сыне, - проговорил патриарх, - похвальна мысль твоя. Когда все люди православные будут в единой державе, зело крепка станет держава та и врагам недоступна.

И уже заговорил о другом.

- Сильвестр Коссов жалуется на атаманов и казаков твоих.

Хмельницкий насторожился.

- Земли монастырские посполитые забрали, в маестностях Коссова расселись, как на своих вотчинах. Церковные земли, сын мой, - святыня, руку на них поднимать грех.

Гетман хотел сказать: <Коссову папа римский милее, чем ты>, - но решил: положе будет на навет. Вместо того обещал:

- Возьму во внимание жалобы эти, обиды чинить им не будут.

- В Москве все скажу и царю, и патриарху. Утомился я, сын мой, а еще путь долгий и тяжкий.

Перекрестил Хмельницкого слабой рукою, ткнул к его усам руку. Гетман ушел. Уходя, проговорил:

- И еще буду просить вас, святой отец, Сильвестру Коссову о том, что...

- Это исповедь, сын мой, - властно, с недовольными нотками в голосе, ответил Паисий.

И уже на пороге Богдан услышал: - Суетность мирская.

Через два дня вместе с патриархом Паисием в Москву выехал посол гетмана, полковник Силуян Мужиловский.

...Выветрился праздничный хмель. Войт плакался у генерального писаря Выговского:

- К гетману добиться нет мочи. Казаки и атаманы поступают дурно. С каждого двора требуют по два хлеба в день и мерку соли. Кто не принесет, с того четыре хлеба и две мерки соли. У города нашего привилеи*, пожалованные еще его милостью, покойным королем Владиславом IV.

* П р и в и л е й - жалованная грамота, устанавливавшая права и привилегии городов.

Войта привели к гетману. Упал на колени. Повторил то же. Только про короля уже не

вспоминал. Гетман рассердился.

- Поступают справедливо. Не будете подчиняться - велю все забрать и со двора сгоню.

Войт осмелился напомнить:

- Киев - город вольный, у нас свой магистрат, никто привилеев не отбирал.

- Воины мои жизни за волю и веру не щадили. Вот их привилеи. Что ж ты думаешь: им помирать, а тебе хлеб есть? Ступай прочь, пока за саблю не взялся.

...Киев жил, словно в ожидании чего-то неведомого. Гулял по площадям ветер из-за Днепра. На Магистратской площади, в больших, высоких домах с окнами на улицу, стояла на постое старшина. На Подоле, в мещанских хатах, жили казаки. С утра и до поздна толпились на базаре, возле рундуков. Денег хватало. Покупали соленую рыбу, мед, сало, жареную птицу. На длинных столах перед рундуками - бутылки горелки, искристого венгерского и молдавского вина, мальвазия в венецианских штофах, горячие пирожки, шипят на жаровнях колбасы...

Мартын Терновый, казак полка Данилы Нечая, впервые попал в Киев. Бродя по городу, повстречал казака Галайду. Пошли вместе. Разглядывали стены Софии. Удивлялись изображениям на стенах, выложенным из маленьких разноцветных камешков. Долго стояли на площади перед собором. Купол горел золотом, озаренный спокойным блеском зимнего солнца.

Галайда сказал:

- Гетман, видно, будет теперь сидеть в Киеве. Город хороший.

Вечером сидели в корчме. От горелки и веселого гомона вокруг в головах гудело. Галайда рассказывал:

- Село Белые Репки маленькое, а хорошее. Теперь войне конец. Ворочусь домой, не стану пять дней на пана работать. У самого хозяйство такое будет, что и за неделю дай бог управиться. Теперь паны не полезут.

Мартын Терновый согласился. Куда им лезть? Залили панам сала за шкуру. Рассказал про свой Байгород. И про невесту рассказал. Может быть, ждет его Катря, а может, и ждать перестала.

Потом стали гадать: как дальше будет? Мартын уверенно сказал:

- Каждому воля, чтобы жил в достатке и злыдней не знал.

Галайда кивнул утвердительно:

- Чистая правда.

Все же осторожно спросил:

- А татары?

Верно - о татарах забыли. Не дадут спокойно жить. Да и паны... разве дадут?

- Быть еще войне, - сумрачно сказал Мартын.

Но не хотелось об этом думать...

Галайда перегнулся через стол.

- А может, пока не поздно, и деньги есть, и воля, - махнуть на Дон, там земля русская, туда татарам ходить не вольно. А может, на Московщину податься?

Шинкарка остановилась возле стола.

- Чего, казаки, скучаете? Лучше бы к невестам ехали, небось, все глаза проплакали...

На пухлых губах шинкарки улыбка. Глаза - два уголька. Черные косы с вплетенной красной лентой змеятся по груди. Поставила на стол полный штоф горелки, тарелку с салом, квашеную капусту, яблоки, огурцы, улыбаясь, отошла.

- Гетман в обиду не даст, - отозвался Мартын, проводив шинкарку глазами. - Ему без нас нельзя... никак нельзя, чтобы мы без него, а он без нас. Все вместе - вот что мы.

Сжал кулак, выставил перед собой:

- Вот что, - ударил по столу, звякнули кружки. Засмеялся. - И незачем нам бежать. А невоготу будет - все уйдем в русскую землю, все до одного, и вс? чисто спалим тут, живого места не оставим за собой, пеплом землю покроем, только псы голодные выть будут. Не будет без нас жизни на этой земле. Не будет!

Самому жутко стало. Горькая слеза защекотала глаз, выкатилась наконец, неторопливо поползла по щеке и растаяла в тонких черных усах.

Замолчали. В углу, возле задней горницы, слепой лирник, уставившись бельмами глаз в пеструю толпу людей в корчме, хрипло повествовал:

Тоді далася бідному невольнику

Тяжкая неволя - добре знати.

Кайдани руки, ноги поз'дали,

Сирая сириця до жовто? кості

Тіло козацьке попро?дала...

На середину корчмы выскочил казак. Широкими штанами м?л пол. Ударяя себя в грудь, закричал:

- Стой, батько! Хватит! Не хочу про кайданы! Эй, братья, выпьем за здоровье Хмеля. Жить ему сто лет, братья! Слава гетману Хмелю!

Рванул казак со стола кварту. Шинкарка, под общий хохот, влила ему туда, один за другим, два штофа водки. Припал губами. Пил, не переводя дыхания. Выпил, швырнул под ноги кварту. Ударил ногами.

- Музыка!

Лирник замолчал. Запели скрипки, дробно застучал бубен. Казак пошел в присядку выписывать выкрутасы. Пел со свистом:

Ось так чини, як я чиню,

Люби дівку аби чию,

Хоч попову, хоч дякову,

Хоч хорошу мужикову.

Мартыну стало весело. Хлопал в ладоши.

Музыка утихла. Казак крутнулся на месте, пошатнулся и сел на пол, широко расставив ноги. Его потащили за плечи. Недалеко от Мартына и Галайды сидел сивоусый, опершись на руку. Глаза уставил в пол. Перед ним стояла полная кварта меда. Покачиваясь из стороны в сторону, басил:

Ой, хто ж, братця,

Не був у багача,

Той горя не зна?.

3

...С год назад, по весне, ударил в колокол старенький дед Лытка. На майдан, к церкви, сбегались люди. Бежали из хат, с огородов, кто с поля бешено гнал лошадей, а кто и сам бежал быстрее худоребрых кляч. Только вода из луж брызгами рассыпалась вокруг. Спрашивали на бегу друг друга:

- Горит?

- Где горит?

- Может, пан приехал?

- Или стражников принесло в недобрый час?

Кипел Байгород. На майдане, перед церковью, верховой казак держал в руках длинный желтый лист пергамента. Раскрыв рты, замерли селяне. Слушали.

<Никогда не найдете способа победить, коли ныне не сбросите вовсе ярмо урядовцев и не добудете воли, той воли, что наши отцы кровью окропили...

Нас, мужественных и вольнолюбивых, считают дикими и непокойными; отважных и заслуженных, назвали нас бунтовщиками. Ведь всему свету ведомо, что король и паны ничтожат казацкое и селянское добро, бесчестят жен и детей. Всем назначают невольничий оброк, тяготы работы на панщине больше прежнего, а если кто публично или приватно пожалуется на такие обиды, встречает только смех и оскорбление, самое большее - пустые и ничемные обещания. Все смотрят, как бы только уничтожить казацкий род>.

Верховой перевел дыхание, окинул взглядом толпу, она росла, и задние спрашивали стоявших впереди:

- Что читает? Виц* королевский?

* В и ц - указ о посполитом рушении (всеобщем ополчении).

Опоздавшие догадывались:

- Видно, король Ян-Казимир зовет с турками воевать...

- Да нет, слова не такие, о нас сказано...

Верховой хрипло кричал:

- Люди, читаю обращенный к вам универсал Богдана Хмельницкого, сиречь Хмеля. Он за правду нашу стал и кличет всех вас в войско, чтобы шли к нему пеше и конно, оружно и неоружно. Тот, у кого нет оружия, добудет его во вражеском стане. Слушайте, люди! - И читал дальше. Катились над майданом горячие слова:

<Даже военную службу Речь Посполитая назначила нам бесплодную и бесполезную, и мы в пределах королевства тщетно тратим казацкую отвагу, между тем как только на Черном море, среди опасности от турок, казацкий народ ширится и живет. Поляки - паны и шляхта - положили святой целью своей политики подавить наши права и ставят над нами урядовцев, как и в других местах, не для того, чтобы они помогали мещанам и селянам, а только на то, чтобы силой могли удерживать города и села...

На все эти обиды нет другого способа, как только сломать ляхов силой и страхом смерти, тех ляхов, которые уже отвыкли от борьбы. А если доля нас покинет, то ляжем трупами, но не оставим городов и нив. Я уже по многим примерам знаю, что свобода тогда менее надежна, когда нет перед нами заботы и врага, а лучше защищать ее в готовности и напряжении.

Хорошо было бы, если бы разом, сообща, одним ударом казаки и селяне ударили. Пусть ляхи в вашей особе, селяне, почувствуют железо внутри, и будут видеть ежедневно перед глазами врагов, и увидят, как добываются города и села, тогда только разлюбят они войну, вернут волю казакам, лишь бы иметь спокойствие.

А что до меня, то я, Зиновий-Богдан Хмельницкий, не пожалею ни жизни, ни силы, готов буду ко всяким опасностям, все отдам ради общей свободы и покоя. И душа моя не успокоится, пока не добуду этого плода, который высшим желанием себе положил.

Дано в таборе казацком, под Желтыми Водами, года 1648, апреля месяца, собственной рукой подписано:

З и н о в и й Б о г д а н Х м е л ь н и ц к и й >.

Майдан клокотал. Кто поосторожнее, тот косился в сторону панского палаца. Но там было тихо. Пан Корецкий веселился этой весной в Прилуках, у пана Иеремии Вишневецкого.

Мартын Терновый стоял рядом с отцом, жадно ловил каждое слово, а потом, как и все, кинулся к верховому, - тот хрипло отвечал на вопросы, свернув в трубку универсал.

- А как к Хмелю попасть? - спросил Мартын Терновый казака.

- Садись на коня, парубок, да, если имеешь саблю, бери саблю, а нет бери косу или вилы, и скачи, сын, на низовья Днепра, там всюду по селам и местечкам наши в курени собираются, идут на помощь повстанцам. Бери, хлопче, универсал, читай по селам, а я дальше подамся.

...Мартын сохранил пожелтый длинный лист пергамента. Уже кое-где стерлись буквы, но мог сказать на память все, - ведь сколько раз читал его людям.

Тогда, в тот день, пол-Байгорода село на коней и двинулось в низовья Днепра. Весь край поднялся на призыв Хмеля. Универсал гетмана, казалось, писанный рукой самой правды, читали по городам и селам, его слова добрым посевом входили в душу селян и казаков.

Горячие слова гремели на сельских майданах и среди степей:

- <Идите к нам оружно и неоружно и знайте, что жизнь свою отдадим, лишь бы не было у нас пана, чтобы жили мы мирно, как братья, на своих землях и наслаждались покоем...>

...Плакали матери, сестры, невесты. Знали - с битвы не все возвратятся. Беспокойный

ветер метался в низовьях Днепра.

Зашевелилась Речь Посполитая. Но думали в Варшаве: и на этот раз обойдется, погуляют казаки и снова захлебнутся собственной кровью.

Канцлер Оссолинский сказал в сейме:

- У черни спина зачесалась, хочет в Варшаву, удовлетворим ее желание... Прикажем коронному гетману пану Николаю Потоцкому выполнить волю короля и сейма, а схизматика и изменника Хмельницкого, привязав к конскому хвосту, на аркане приволочь в Варшаву, отсечь ему ноги и руки и посадить на кол. Так будет.

В Варшаве смеялись, читая универсал Хмельницкого... Перестали смеяться после Корсуня. Тогда поняли: спасет только посполитое рушение.

- Буйным урожаем взошел в этом году Хмель, - пошутил князь Януш Радзивилл.

Но было не до шуток. Войско Богдана Хмельницкого вторглось в пределы королевства.

В то время Богдан Хмельницкий, даже после Корсунской победы, когда он взял в плен обоих гетманов - коронного и польного - и отдал их в ясырь татарскому хану, еще не был уверен, что счастье ему улыбнется и что он как победитель въедет в Киев - в тот Киев, в котором король десятилетиями держал своего воеводу, который считал нерушимо и навечно себе подвластным. И не удивительно, что вспоминали теперь казаки бывшее, вспоминали бывшее старшина и гетман, все, кто с оружием пошел на битву и сейчас наслаждался великой победой.

4

...Начинались новые заботы. Писцы, которых возил с собой Иван Выговский, в первые дни по приезде в Киев загуляли. Теперь им пришлось снова браться за дело. На Магистратской улице, в доме, где раньше проживал войт, поместилась гетманская канцелярия. Пьяных писцов протрезвляли, щедро обливая холодной водой. От самой Пилявы не приходилось так много писать. Гетман словно собрался извести всю бумагу в Киеве. Любимец генерального писаря, Пшеничный, с утра до вечера гнул спину, писал под диктовку то гетмана, то Выговского.

С полдня в канцелярии - как на ярмарке. Толкуются во дворе, в сенях, а кто посмелее - и в дом входят. Кто с жалобой, кто за охранными грамотами. Пошел слух - гетман всех своевольников будет карать, несправедливо обиженным защиту даст, а у гетмана рука тяжелая, дважды ударять не придется...

И Галайда решил обратиться к гетману. Протиснулся в канцелярию.

- Чего тебе? - грубо спросил есаул Лисовец.

- Имею честь просить гетмана, - робко начал Галайда, смущенный непривычным окриком есаула.

- Думаешь, у гетмана только и дела, что с тобой болтать... - Махнул рукой и отошел от Галайды.

Галайда постоял, потоптался на месте. Вбежали казаки, оттеснили всех к стене, замерли смиренно. Вошел гетман, за ним полковники. Не посмотрел ни на кого. Выговский торопливо отворил дверь в смежную горницу. Гетман переступил порог, и дверь закрылась. Возле нее стала стража. Есаул Лисовец точно с цепи сорвался:

- А ну, братцы, убирайтесь, гетман челобитчиков слушать не станет, у него дела государственные. Ступайте, люди добрые! Ступайте, пока честью прошу...

Широко расставив руки, напирал на всех, точно отгребал от дверей.

- Ступайте, ступайте...

Неохотно пятились. Не успели опомниться, как очутились за порогом. Галайда поймал во дворе за полу жупана знакомого казака. Жаловался:

- Хотел гетману бить челом, грамоту на землю просить, а то возвращусь в Белые Репки, а пан Адам Кисель, может, снова...

Казак поглядел на Галайду, плюнул с досады.

- Пьян ты, что ли? Тьфу, нечистая сила, да ты очумел... Так тебе гетман и даст грамоту! Черта лысого даст! Памороки тебе забило, братец...

...Галайда вышел за ворота. Направился было к Мартыну, да вспомнил, что Мартын утром с полковником Нечаем выехал в Корсунь. Крепко стиснул рукой эфес сабли и пошел твердыми шагами по улице. Тревожно шурил глаз, а под сердцем неприятно щемило. Навстречу Галайде сытые лошади промчали крытые сани митрополита Коссова. Галайда поглядел им вслед - сани завернули в гетманское подворье.

Митрополит сидел у гетмана. В канцелярии говорили шепотом. Ввалился запыхавшийся казак. Отряхнул у порога шапку. На него зашикали, указывая руками на дверь. Казак только усмехнулся. Сказал громко:

- Послы польского короля едут в Переяслав. - Добыл из-за пазухи свернутый в трубку лист, протянул есаулу. - В собственные руки гетмана от полковника Суличича.

Тот выхватил листок, опрометью кинулся за дверь, побежал через двор в соседнее здание, где помещался Выговский.

Закусив тонкий русский ус, предмет длительных забот, писарь Пшеничный, старательно выводя буквы, переписывал универсал гетмана.

<Богдан Хмельницкий, гетман его королевской милости Войска Запорожского.

Всем обывателям в Дмитровичах Великих и Малых, и в Вишенках, в маестностях его милости Гуменицкого, судьи киевского, за отсутствием его самого, приказываем вам строго, дабы вы во всем были игумении Флора и Лавра монастыря Киевского послушными и всякую повинность по обычаю давнему исполняли, а если чего когда-нибудь позабирали...> Пшеничный вытер о край рукава перо, затем воткнул его в волосы, снова окунул в чернильницу и, все еще не выпуская изо рта кончика уса, повторил громко: <Когда-нибудь позабирали>, толкнул под бок соседа по скамье, писаря Яковенко: слышишь? и продолжал писать, вслух произнося каждое слово:

- <...разного панского добра, то чтобы возвратили... и берегитесь теперь, дабы к нам и наименьшая кривда не доходила новая, и за тем повинен присмотреть Степан, казак сотник Сердюченко, дабы там никакого своевольства и бунта не было, иначе поступать по всей военной строгости. Дано в Киеве, дня 22 месяца декабря 1648 года.

Богдан Хмельницкий гетман, собственной рукою>.

Пшеничный вздохнул, расправил плечи. Писарь Яковенко только языком прищелкнул. Пшеничный отложил переписанный универсал. Потянул с края стола новый, разложил сбоку, снял с гвоздя на стене чистый лист, выбрал перо. Хотелось поболтать, но до вечера надо было переписать еще три универсала. В сердцах сплюнул, не рассчитал, попал себе на сапог. Подумал: надо наклониться, вытереть... Лень. И так высохнет.

Начал: <Универсал Богдана Хмельницкого селянам села Подгорцы, приписанным к Киево-Печерскому женскому монастырю, об отбывании монастырских работ и повинностей...>

...Гетман слушал Коссова. Были вдвоем. Можно не соблюдать внешних форм почтения. Нетерпеливо мерил неровными шагами комнату.

- Казаки твои, гетман, духовенство весьма обидели. У которых монастырей и церквей мельницы были, у тех посполитые оные мельницы забрали, земли пустошат, от чинша* и прочих податей отказываются, всю мирную шляхту озлобили против тебя...

* Ч и н ш - плата за пользование землей,

- О доброжелательстве ее не забочусь. - Хмельницкий остановился перед Коссовым, заложив руки за пояс кунтуша. - Забочусь о крае и народе обиженном, и тебе, отче, тем болеть надлежит.

- Болею, гетман, сердце кровью обливается, всех страждущих успокоить должен...

- А ты, отче, не всех, шляхту не жалеи, - посоветовал гетман.

- Никому не дано права монастырям и церквам обиду чинить. А кто руку на них поднимет, на того кара божья и тому благословения своего не дам вовеки.

Это оказывалось тяжелее, чем переговоры с ханом. Под кожей на скулах ходили желваки.

- Добро, отче, все растолковал мне, перед церковью святой склоняю свою многогрешную голову и беру грехи казачества своего на себя...

Коссов разгладил седую холеную бороду.

- Мало этого, сын мой. Универсалы выдать обязан, чтобы прекратили своевольничать в домах божьих и чтобы возвратили награбленное и присвоенное противозаконно, иначе...

- Что? - Хмельницкий смотрел в глаза митрополиту.

- Не будет делу твоему моего митрополичьего благословения, - сказал тот твердо, и видно было, что на этом будет стоять.

- Универсалы пишут. Список твой еще вчера получил.

...Знал гетман, какие толки вызовут эти универсалы. Возвращаясь с надворья, после того как проводил митрополита до самых саней, вынужден был признать: сделать всех вольными казаками нельзя. Да и было ли у него, в сущности, такое намерение? Но раздумывать обо всем времени не было. Его ждали Лисовец, Выговский и Капуста. Устало откинулся в кресле.

- С послами короля переговоры вести буду сам. Ты, Лаврин, утром поезжай в Переяслав, там буду их принимать. Нынче же шли, Иван, гонца в Чигирин. Татарским мурзам быть в Переяславе на этой неделе. Пусть ляхи видят - договор у нас с ханом, чтоб он подох, крепкий. Разговор с панамы один будет: войску коронному на Украине не стоять, панам в места расположения полков наших не возвращаться, а главное - затянуть переговоры, проволочить время... Нам время теперь - как воздух, хоть бы год какой перебиться. - Говорил не им, самому себе. - Один год. Оружие добыть, пушки, дать лето покойное селянам, чтобы хлеб сняли, пожили в достатке...

Вспомнил беседу с Коссовым, взглянул на универсалы, которые держал в руках есаул Лисовец. Подумал: <Не больно-то поживут. Теперь начнется>. Выговский перехватил взгляд гетмана.

- Всех, Богдан, в реестр не впишешь, кому и поле пахать, и хлеб сеять, и подати платить...

- Тебя послушать, так панов из маетностей выгонять не стоило?

- Не так думаю, - обиделся Выговский, - сразу все не сделаешь. Державу свою созидать - дело весьма заботное...

- Как поп говоришь, Иван. - А сам знал: придется пойти на то, чтобы закрыть глаза и заткнуть уши. - Большая забота у нас. Добытую волю отстоять, в новых битвах одержать полную победу. К тому будем стремиться, чтобы самим в своем краю быть хозяевами.

Начал подписывать универсалы.

Выговский предложил:

- Не пора ли сейчас по универсалу отпустить часть казаков по домам? Воротятся посполитые в села, будет кому хлеб сеять, собирать, казне гетманской облегчение. Как иначе такую армию прокормишь?

- Мысль твоя совсем негожа. Войско по домам не распушу. Недалеко заглядываешь, пан писарь. Войне не конец.

- Сами оружие не кинут, - отозвался Лаврин Капуста.

- И то верно, - подхватил гетман. - Полкам дать отдых. Мыслью я всю Украину на полки разбить. Подать на обывателей наложить, чтобы своими средствами содержали те полки.

- Уведомляют из Варшавы: канцлер Оссолинский в предстоящих переговорах будет настаивать на реестре в десять тысяч, имей это в виду, Богдан.

Выговский развел руками.

- Десять тысяч! Слышал, Лаврин? Не бывать такому. И если с этим королевские послы в Переяслав приехали, пусть возвращаются... Деньги нам, братья, нужны дозарезу. Деньги. Одним чиншем да податями не обойдемся. Если бы где в долг взять.

- Может, митрополит из своих одолжит?

Неясно было - шутит Лаврин Капуста или действительно советует обратиться к Коссову.

- У него дождешься, - отмахнулся Хмельницкий. - Погоди, пройдет время, еще у нас потребует, чтобы возместили ему убытки за войну...

- Мыслю, с митрополитом в согласии жить - польза немалая.

Отношения с Коссовым - болезненное место гетмана, и Выговский умело задел его. Видел, как перекошилось лицо Богдана. Чувствовал, что восстанавливает против себя Богдана, но не мог отказать себе в удовольствии сделать это замечание.

Генерального писаря раздражало все: и то, что так широко начал шагать гетман, и то, что одним мановением руки отодвинул его в сторону, поставил ниже Капусты и Мужилковского. А где все они были, когда только все начиналось? Под Желтыми Водами кто подсказал гетману, как лучше действовать? Не Капуста. И не Мужилковский, - тот отсиживался в своей усадьбе, читал латинские книги, умащал усы благовониями...

Выговский знал: Коссов все сделает, лишь бы свалить Хмельницкого. Вчера ночью был у него. Генеральный писарь припомнил беседу с Коссовым и как-то сразу успокоился. Митрополит, судя по всему, человек дальновидный. В свое время можно будет на него опереться. Ведь вот, хотел или не хотел Богдан, а все же это он, митрополит, так расставил западни, что не угодить в них гетман был не в силах. Небось, подписал все универсалы... - И, чтобы показать независимость свою, свободное обхождение с гетманом, генеральный писарь сказал с усмешкой:

- Замешкались мы тут, гетман, а пани Елена уже не знает, что и подумать там, в Чигирине.

Хмельницкий встрепенулся. Пристально посмотрел на Выговского. Решил: правда, пора в Чигирин. Перед глазами возникло лицо Елены.

...Смеркалось. Есаул Лисовец стоял на крыльце. Рядом Пшеничный держал в руках гетманские универсалы. Лисовец скороговоркой объявлял:

- Монастырю Флора и Лавра гетманский универсал на послушенство.

Подошел монах, протянул руку. Пшеничный ткнул ему универсал. Лисовец вызывал дальше:

- Шляхтичу Себастиану Снятинскому универсал гетмана о неприкосновенности особы...

Поодаль толпились любопытные.

- Что раздают? - спросил кто-то сзади.

Ему насмешливо ответили из толпы:

- Землю.

Спрашивавший стал пробираться поближе. В толпе смеялись. Потом замолчали, слушали внимательно.

- Шляхтичу Сигизмунду Красовскому универсал гетмана про послушенство.

- Мещанину Федору Ткачуку универсал гетмана про послушенство...

Брали гетманские универсалы, прятали глубоко за пазуху, торопливо протискивались через толпу, пряча глаза, точно несли краденое.

- Не бойтесь, не отберем! - сказал кто-то.

- Отберем! - возразил казак в жупане.

Уже совсем стемнело, когда есаул Лисовец закончил раздачу универсалов.

На рассвете гетман, в сопровождении четырех сотен казаков, выехал в Чигирин.

5

Канцлер Оссолинский собрал в своем дворце, как он сам шутливо выражался, маленький сейм. Обещал королю уломать спесивую шляхту. Шла речь об объединении всех военных сил под одной рукой.

В просторном, большом кабинете канцлера жарко. За окнами снег, а здесь в бочках зеленеют лимоны, и нежные цветы в низеньких горшочках удивленно глядят сквозь высокие венецианские окна на покрытые снегом газоны парка. За круглым черного дерева столом сидели: маленький желчный князь Иеремия Вишневецкий, пышноусый Станислав Потоцкий, князь Доминик Заславский, князь Четвертинский, Конецпольский и бледный, усталый

киевский воевода Адам Кисель, единственный православный сенатор среди присутствовавших. Чуть поодаль, на мягкой софе, прислонившись к стене, завешенной персидским ковром, сидели маршалок короля Тикоцинский и подскарбий краковский - Займовский. Говорил Оссолинский. Отставив мизинец с перстнем, сверкающим бриллиантами, канцлер указательным пальцем чертил на карте.

- Над Днестром должно стать коронное войско. Ведомо нам, что самозванный гетман из-под Замостья демонстративно выехал в Киев. Там пребывает сейчас иерусалимский патриарх Паисий, направляющийся в Москву. Надеюсь, что в недалеком будущем смогу знать, о чем говорено между самозванцем и патриархом. В Киеве имеем людей надежных, и при самом Хмельницком есть наши люди. Но речь не о том. Король просил нас сообща обсудить, какими мерами пресечь смуту и покарать бунтовщиков, чтобы чернь впредь не бунтовала и панство могло воротиться в маестности свои. Не будем закрывать глаза - бог покарал нас, и изменнику Хмельницкому повезло. Овладел он, как видите, панове, всей Украиной. Надо сказать правду - и в коронных землях чернь неспокойна. Темные люди читают среди хлопов универсалы Хмеля, зовут подыматься против шляхты, обещают, что Хмель придет им на помощь.

Иеремия Вишневецкий нетерпеливо пожал плечами. Не выдержал.

- Вешать надо было, на кол сажать тех хлопов, а вы с ними цацкались, пан канцлер.

Оссолинский побледнел. С Вишневецким спорить было опасно. Примирительно сказал:

- Все мы по-христиански относились к черни, но на ласку нашу ответила она изменой и коварством. Взглянем правде в глаза, без прикрас. Теперь под булавой Хмеля сто тысяч...

- Сто тысяч быдла, - презрительно вставил Вишневецкий.

- Но пришлось вам из-под Лубен от того быдла бежать, - кольнул своего врага Потоцкий, не забывший давних обид, причиненных ему надменным князем Вишневецким. И, распалившись, уже не удержался, чтобы не добавить:

- Много воли дали мы хлопам. Приблизили их к себе. Пустили в семью шляхетную, богом избранную, схизматиков. За золото они приобрели шляхетство, а в сердце таят ненависть к нам.

Все поняли: Потоцкий намекает на Вишневецкого, которому многие из высокой шляхты рады были напомнить о его прадеде - знаменитом когда-то Байде Вишневецком, прославившемся своим мужеством и отвагой в борьбе за свободу Украины. А потомок его, ополяченный князь Иеремия Вишневецкий, лютой ненавистью ненавидел былых своих единоверцев.

Адам Кисель съезжился. Выходило, что Потоцкий намекал и на него. Но тот дружески обратился к нему:

- Прошу пана сенатора не обижаться. Всем нам ведомы заслуги пана сенатора перед Речью Посполитою, и того король и Речь Посполитая пану сенатору не забудут. Хотя пан сенатор по происхождению украинец, но душою чистый поляк...

Адам Кисель благодарно склонил голову. Вишневецкий стиснул кулаки. Слышно было, как он нервно постукивал ногой под столом. Оссолинский вытер шелковым платком влажный лоб. Поправил пышное жабо. Воспользовавшись наступившим молчанием, сказал:

- Прошу, панове, минуту внимания. Его величество король... Оссолинский поднялся, нехотя начали вставать со своих мест и сенаторы, поручил мне передать вельможному панству, что вскоре выдаст новый виц на посполитое рушение и сам станет во главе войска коронного, дабы уничтожить моровую язву - Хмеля и хмелят. Но прежде должны мы снарядить высокое посольство к Хмельницкому, и во главе его поедет пан сенатор Адам Кисель. Надеемся, что он, как человек одной веры с тем бунтовщиком, легче сможет усовестить его. Может быть, пану Адаму Киселю удастся уговорить того схизмата покориться королю, распустить свою шайку, оставив, на первых порах, скажем, десять тысяч реестрового казачества. Надо пустить ему пыль в глаза подарками, а мы сами пока будем готовиться к походу и соединим все наши силы под одной рукой...

- Нечего цацкаться, - начал князь Доминик Заславский, когда все сели на свои места,

выслушав канцлера. - Не стоит пес того. Моя мысль - немедля перейти Случь коронным войском, с ханом заключить договор...

Оссолинский недовольно перебил:

- Ясновельможный князь забыл, видно, что крымскому хану мы задолжали девяносто тысяч злотых, а казна Речи Посполитой...

- У нас, пан канцлер, договор на вечную дружбу и помощь с царем московским. Отправить послов, требовать, чтобы царь двинул войско на города и села украинские с тыла, договориться также с великими курфюрстами саксонским и баденским, нанять у них солдат, взять займы денег у венецианского дожа... - Доминик Заславский побагровел, увлекся. - Да, наконец, каждый из нас отдаст на это святое дело свое личное достояние, ибо, панове, помыслите: если не подавим смуту и не посадим на кол Хмеля, он со своей шайкой пустит нас по миру... Все нищими станем... В коронных землях посполитые взбунтуются...

- Князь пугливым стал, - засмеялся Вишневецкий. - Позволю себе заметить, - пан канцлер говорит истинную правду. Не должны мы сидеть сложа руки, когда пес и бродяга поднял грязные лапы на святое королевство наше, когда ветер качает на виселицах верных слуг Речи Посполитой, когда чернь овладела сокровищницами нашими, а Киев колокольным звоном и пушечным салютом встречает изменника и пса Хмеля. Пан Потоцкий здесь позволил себе оскорбить меня. На такие оскорбления не словом надо давать ответ...

Князь выразительно положил руку на эфес сабли. Все смущенно переглянулись. Потоцкий заерзал на месте, побагровел, крикнул:

- К услугам пана!

- Нет, думаю, сейчас еще не время, - уклонился Вишневецкий. - Я мог бы тут же сказать ясновельможному панству и о том, какого вреда наделал мне Хмель - тридцать девять тысяч шестьсот дворов и четыреста двадцать три мельницы забрал у меня схизматик. Но то, что осталось, - отвечу пану Заславскому, - все отдам, лишь бы добиться победы над своевольцем и предателем. Становлюсь со своим войском под знамена короля. Пусть приказывает, куда итти.

Оссолинский облегченно вздохнул. Больше всего беспокоил его Вишневецкий. Теперь знал - все сенаторы поступят так же.

На следующий день у Адама Киселя была конфиденциальная беседа с канцлером Оссолинским. Решено было обещать Хмельницкому, что король простит ему все грехи, назначит гетманом Войска Запорожского, пожалует ему булаву и знамя. От Хмельницкого же добиваться, чтобы распустил по домам свое войско, чтобы все посполитые вернулись на свои места. Уговорить Хмельницкого прибыть в Варшаву, а на месте разведать замыслы гетмана и настроение старшины. Непременно связаться с теми из старшины, кто недоволен гетманом.

- Дайте им, пан сенатор, понять, что кто из них владеет маетностями, тот при них и останется, и чернь будет у них в полном подчинении и послушенстве. Втолкуйте им это, а особенно присмотритесь к писарю Выговскому.

- Еще что?

Канцлер потер виски. Много дел скопилось сегодня. Но сенатор Кисель всегда был желанным собеседником. Канцлеру хотелось сказать сенатору что-нибудь приятное.

- Ласкаю себя надеждой, что миссия ваша будет удачна и самоотверженное странствие в пасть льва умножит ваши заслуги перед королем и Речью Посполитой.

Адам Кисель поклонился. Он был готов сделать все для Речи Посполитой и ее панства. Шляхетные люди, дворяне, независимо от веры, всегда поймут друг друга.

- Князь Вишневецкий изволил сказать нынче о своих потерях. Должен заметить, пан канцлер, меня самого Хмель и его голода пустили по миру. Хлопы ограбили мой палац в Белых Репках, управителя - верного и почтенного сотника Чумаченка - повесили, всю скотину, лошадей, всю живность разобрали по дворам. Но что значат эти потери, если хлопы со своим Хмелем зарятся на большее?!

Адам Кисель говорил с достоинством, не спеша, взвешивал каждое слово.

- Не ведаю, выпустят ли меня живым казаки, а тем паче, и чернь, но льщу себя надеждой, что и на сей раз, как и всегда бывало, перессорятся казацкие полковники за булаву, за маестности, не поделят награбленного, а чернь, увидев, что ими обманута, сама, как домашний вол, подставит шею свою под ярмо...

...Но когда двадцатого января комиссары польского посольства переправились через Случь и затем въехали в пределы Киевского воеводства, Адам Кисель убедился, что напрасно думал так.

Невесела и опасна была поездка королевских комиссаров. Ехал Адам Кисель по земле, с давних пор принадлежавшей ему. Всего год назад в любом селе кланялись пану Киселю до земли, ломали шапки, ловили край кунтуша, целовали, покорно работали три, а то и все пять дней в неделю на панских полях, во-время и исправно платили подати. Мирными и покорными были посполитые в его поместьях. Кто бы мог подумать о бунте? Теперь, вспоминая об этом, Адам Кисель наполнялся ненавистью ко всем этим дерзким и наглым хлопам, которые с независимым видом поглядывали на посольские сани, на оробелый конвой из наемных солдат. Невыносимо унижительно было в каждом местечке показывать гетманским сторожевым отрядам королевскую грамоту, доказывать, убеждать, просить и все время дрожать за собственную жизнь.

Паны комиссары, казалось, ослепли. Делали вид: <Ничего не замечаем, ничего не слышим>. Иначе как стерпеть, как примириться? Как не выхватить саблю из ножен и не снести с плеч хлопскую голову, в которой зашумел этот проклятый Хмель? Прикидывались незрячими и глухими.

У Адама Киселя была еще надежда: улестить зверя - так называл он мысленно Хмельницкого - обещаниями. Может быть, когда получит в руки булаву, клейноды и грамоту королевскую, смягчится его каменное сердце. Хорошо бы еще было наладить связь с Сильвестром Коссовым. Истинно святой человек, пособить может.

Перед Переяславом Адам Кисель послал верного человека с письмом к Коссову.

Девятнадцатого февраля посольство прибыло, наконец, в Переяслав. Когда въезжали в город, личный духовник короля, ксендз Лентовский, украдкой перекрестился. Послы, как он полагал, очутились теперь в самом пекле. Адам Кисель сидел в санях желтый, как воск.

...Посольство, по приказу Хмельницкого, который уже переехал вместе со старшиной в Переяслав, поселили в разных домах на той же улице, где поместился со своей канцелярией гетман. Перед домами поставили стражу. Ни входить, ни выходить свободно никто не мог. Спорить было бесполезно. Лаврин Капуста, посетивший послов, объяснил:

- Казаки и народ гораздо озлоблены на вас. Должны мы принять меры, дабы жизнь ваша была в безопасности.

Что на это отвечать послам? Оставшись одни, совещались: как поступать дальше? Решили единогласно: знамя и булаву отдать Хмельницкому сразу, чтобы задобрить его такой уступчивостью и лаской королевской.

Клейноды и королевское знамя - красное с белым орлом и надписью по-латыни: <Иоганнес Казимирус Рекс> - вручили гетману при полковниках и казаках перед гетманским домом. Затем гетман принял у себя послов.

Адам Кисель начал издалека. Король мягкосердечно относится к своему подданному гетману. Пожаловал ему великие привилегии и милости. Король прощает ему все проступки против королевства и заверяет, что религия православная получит полную свободу, а кроме того, увеличено будет реестровое казачество и возобновлены старые привилегии Войска Запорожского.

- А ты, пан гетман, должен в ответ на милость королевскую выказать благодарность, препятствовать в дальнейшем бунтам, не принимать хлопов под свою опеку, приказать им, чтобы покорились панам, и приступить к составлению договора с королевскими комиссарами.

- Милости великие, - ответил Хмельницкий. - Разве мог я под Желтыми Водами или еще раньше, когда староста Чаплицкий сжег мой хутор и сына моего забил плетями

на смерть, разве мог я тогда мечтать о таких знаках королевской милости...

Паны переглянулись. Неясно было, шутит гетман или говорит искренне.

- А насчет королевской комиссии, скажу так, - продолжал гетман, сейчас не пришло еще для нее время. Войско мое не собрано в одном месте, полковники и старшина далеко, а без них я решать ничего не могу и не смею. Ведомо мне доподлинно, - король готовится к новому посполитому рушению против нас. Как же понимать - клейноды прислал, знамя и грамоту, а идет войной на нас?

- Это все навет на его милость, не слушай никого, - успокаивал Кисель.

- Тебе бы, воевода, тоже за землю родную и веру надлежало постоять, заметил Капуста.

Адам Кисель побледнел. Возразил поспешно:

- Я верный слуга его милости короля, он нам обиды не чинит.

- Тебе-то не чинит, это известно, - перебил сенатора полковник Федор Вешняк.

Гетман молча наблюдал. Руки у Киселя дрожали, когда он начал разглаживать бородку.

- Говоришь - не верить, - начал гетман. - А мои люди привезли весть, что в Мозыре и Турове, на Белой Руси, Януш Радзивилл режет посполитых, сотнями сажает на кол, предал огню села и города. Как это понимать? - И, не дав возразить Киселю, уже громче, с гневом продолжал: - Я послал туда несколько полков, а Радзивиллу написал: если он так ругается над народом, то я за каждого селянина то же совершу с пятью десятками пленных ваших, а у меня их - хоть пруд пруди.

- Того не может быть, пан гетман, - заметил ксендз Лентовский. - Януш Радзивилл - человек мягкосердечный и так не поступит.

- Молчи, поп! - крикнул Федор Вешняк. - Не твое дело возражать гетману! Все вы одинаковы. Всем вам простого человека не жалко.

...Неудачно начались переговоры. Затем потянулись смутные и тревожные дни. Сенатор Кисель вовсе пал духом. Гетман при каждой встрече больше слушал, чем говорил, а если говорил, то уклонялся от прямого и ясного ответа. Здесь, в Переяславе, из бесед с Киселем увидел Хмельницкий - цель у королевских послов одна: оторвать его от народа. Хотят заставить его собственными руками расправиться с посполитыми, а тогда уже и ему самому накинута паня петлю на шею.

...Попытался Кисель через несколько дней завести речь о количестве реестровых казаков:

- Король намерен позволить тебе, гетман, десять тысяч реестровых казаков держать под булавою.

- Зачем? Понадобится - и сто тысяч держать буду. Реестровых столько будет, сенатор, сколько я скажу.

- Дни идут, пан гетман, - настаивал воевода, - а дело не подвинулось. Переговоры наши бесполезны, и к согласию мы не придем, пока не найдем общего языка. Будем обходиться, гетман, друг с другом по-христиански.

- Э, сенатор, - отозвался спокойно Хмельницкий, - было время со мной договариваться, когда Потоцкие искали и преследовали меня на Днепре и за Днестром. Было также время после Желтых Вод и после Корсуня, под Пилявцами и под Константиновом, наконец под Замостьем, и даже тогда, когда от Замостья шел я на Киев. Теперь уже не та пора. Удалось мне, сенатор, многого достичь. Вызволю я народ из неволи шляхетской. И от добытого не отступлюсь.

Гетман поднялся. Стоял перед послами, высокий, статный, широкоплечий, с блестящими глазами, и, говоря это сенатору, видел перед собой надменные лица Вишневецкого и Потоцкого, Радзивилла и Заславского. Королевские комиссары слушали, бледные и встревоженные. А голос Хмельницкого звучал все громче и громче:

- Возьми во внимание - вся чернь, вплоть до Люблина и Кракова, поможет мне в этом деле. От посполитых не отступлюсь. Они - моя правая рука.

Сказать правду, Адам Кисель не ожидал такого упорства от Хмельницкого. Теперь сенатору стало ясно, что переговоры ничего утешительного не принесут. Добиться

покорности от гетмана не удастся. Между тем сам Хмельницкий добился того, что король признал избрание его гетманом и вел с ним переговоры, как с равным, через своих комиссаров.

Это была первая дипломатическая победа в отношениях с Варшавой, и, достигнув ее, гетман решил дать почувствовать комиссарам, что он готов и продолжать войну. Он уже видел и знал по достоверным сведениям, что сейчас ни король, ни шляхта не хотят войны. А это давало ему возможность не брать на себя никаких обязательств и сдержать слово, данное войску и посполитым, пошедшим за ним.

Наконец гетман написал свои условия перемирия. Снова позвали к нему комиссаров. Генеральный писарь Иван Выговский читал:

<Я, гетман Войска Запорожского Зиновий Богдан Хмельницкий, соглашаюсь, от имени старшины и всего Войска нашего, заключить перемирие с королем Речи Посполитой, его величеством Яном-Казимиром, по таким пунктам:

Чтобы в Киевском воеводстве унии не было, даже чтобы названия самого не было по всей Украине. Чтобы митрополит киевский имел место в сенате. Воевода киевский и каштелян должен быть православной греческой религии. Князь Вишневецкий, как известный мучитель народа и как причинивший великий вред нашему краю, не должен никогда быть коронным гетманом Речи Посполитой. Завершение комиссии и составление реестров отложить до весны, до Троицына дня, когда поспеет первая трава. Комиссии собраться на речке Россаве, а теперь нельзя этого сделать за отдаленностью полков. Чаплицкий должен быть выдан нам во время этой комиссии. Комиссаров со стороны Речи Посполитой на этой комиссии должно быть только двое. До того времени коронные и литовские войска не должны вступать в пределы Киевского воеводства по реки Горынь и Припять, а от Подольского и Брацлавского воеводств - по Каменец. Наше войско также указанных рек переходить не должно>.

Молча выслушали послы условия перемирия. Сидели за столом, потупив глаза, готовые уже и к горшему сраму и оскорблениям. Выговский, окончив читать, сел по правую руку гетмана, по левую - Федор Вешняк, Лаврин Капуста, Тимофей Носач. Рядом с Выговским - Павло Тетеря, Матвей Гладкий и Осип Глух. Напротив них, за столом, накрытым красным ковром, сидели польские комиссары. Нависла гнетущая, напряженная тишина. Слышно было, как булькает в горле генерального писаря вода, которую он жадно пил из серебряной кружки. Наконец заговорил сенатор Кисель:

- Условия твоей милости, пан гетман войск королевских Запорожских, тяжкие... - подчеркнул предпоследние слова с ударением на <войсках королевских>.

Хмельницкий понял, у него недобро дернулся ус. Едва удержался, чтобы не сказать: <Уже не королевских, пан сенатор>. Все же промолчал. Следил, как изворачивается Кисель.

- Условия тяжкие и достойны всяческого удивления. Не мира хочешь ты, гетман, а раздора! Говорю тебе, как брат брату, как единовец...

Гетман хмуро заметил:

- Единовец, да не единомышленник. Не ту песню поешь, сенатор...

Адам Кисель покраснел от досады. Осторожность оставила его.

- Где видано, чтобы не давали послам говорить до конца! Дурно поступаешь, гетман, и пример своей черни подаешь недостойный.

Сказал лишнее, но было поздно. Капуста ухватился за эти слова.

- Нет черни тут! - крикнул он. - Ненавистные речи ведешь, сенатор...

Спокойно, как бы взвешивая каждое слово, гетман заговорил:

- И по всей Украине нашей не бывать тому. Всех людей посполитых избавил я от этого презрительного наименования, - знай это, сенатор. А коли условия наши тебе не по нутру, поезжай в Варшаву, посоветуйся со своими панями, приедешь вторично, а может, и поздно будет...

- Гробишь, гетман? - спросил Кисель.

Хмельницкий не ответил, посмотрел через плечо в окно. На дворе толпой стояли

казаки, держась за бока, смеялись. Падал легкий снежок. Гетман отвернулся от окна.

- Так вот, на том стою и не отступлюсь, панове комиссары, - заключил он.

- Это невозможно, невозможно, - бормотал ксендз Лентовский.

Остальные комиссары словно воды в рот набрали. Сделали перерыв, чтобы посоветоваться. Лентовский улучил удобную минуту - генеральный писарь стоял один у стола, наливал из графина воду в кружку. Одними губами Лентовский беззвучно проговорил:

- Покорно прошу у пана генерального писаря личной аудиенции. Где и когда?

Выговский повел краем глаза на ксендза, потом через открытую дверь кинул внимательный взгляд в соседнюю комнату, где шумела старшина, поставил графин на серебряную тарелку, напился. Ставя на стол кружку, сказал:

- Завтра в шесть часов, первый дом за корчмой по этой улице, трижды постучите в дверь. Спросите Гармаша. - Услыхав за спиной шаги, он торопливо начал наливать воду в кружку. Неестественно громко предложил ксендзу:

- Прошу вас, пан Лентовский.

Подошел Лаврин Капушта. Выговский с улыбкой сказал ему:

- В глотке пересохло, бочку воды, наверно, выпил.

- И ксендза поишь...

Лентовский дрожащей рукой поставил кружку на стол. Встретился глазами с острым взглядом Капусты, отошел от стола.

6

На следующий день в шесть часов ксендз Лентовский подошел к двору возле корчмы. Высокий забор отгораживал от улицы дом с тремя трубами. За воротами ворчали собаки. Ксендза, видимо, ожидали. Едва постучался в калитку, ее сразу открыли. Войдя во двор, Лентовский пошел вслед за человеком в куцем кафтане. Человек, несмотря на свою полноту, ступал легко и быстро, и ксендз еле поспевал за ним.

Вошли в большую, чисто прибранную горницу. Кресла с высокими спинками, обтянутые желтой дамасской кожей, стояли вдоль стен. В углу на шкафу золотые стрелки затейливых французских часов показывали без пяти шесть.

- Прошу садиться, - сказал человек тонким голосом, странно не соответствовавшим его тучной комплекции. Он пододвинул кресло к столу, на котором под белой салфеткой виднелись серебряные вазы и кубки, и, спохватившись, добавил: - Да, я еще не отрекомендовался вашей милости. Гармаш. - Поклонился и сразу заговорил о другом:

- Нравятся пану ксендзу часы? Вещь знаменитая, купил в Кракове два года назад, когда еще спокойно и тихо было. Теперь как в тот Краков поедешь? А вы, небось, думали: нагрбил. Ох, ох, пан ксендз, вы всех нас, украинцев, считаете разбойниками, вот тут-то и есть ошибка ваша, досадная ошибка...

Хотя разговорчивый хозяин точно угадал его мысли, ксендз возразил для приличия:

- Что вы, пан... Зачем так думать...

Но Гармаш не успокаивался.

- Тут-то и есть ваша ошибка... Как есть всех, а прежде всего - шляхты вашей, панов. Вс? хотят к рукам прибрать, а не будь у них такой жадности, по-христиански, как наш спаситель Христос того хотел, уступили бы в алчбе своей. Земля у нас богатая, край - золото, всем хватило бы, а выходит как в сказке про ненасытца, - слишком много заглотал и, глядишь, лопнул... А будь по-нашему, мы с вами тихо, мирно жили бы рядом, как братья родные, и поспольство... - Тут он придвинулся к Лентовскому, дохнул на него винным перегаром и, уловив недовольную гримасу на его лице, пояснил:

- Нет, не пьян... только чуть хлебнул на радостях. Что я говорил?.. Потер пухлой рукой лоб, вспомнил: - Так вот, посполитых, всю чернь держали бы в повиновении. Вот оно как, объясните это панам вашим в Варшаве. Гармаш подумал, помрачнел и махнул безнадежно рукой: - Не согласятся! Куда там! Ведь для этого надо Потоцкому и Вишневецкому малость потесниться, уступить кусочек земли... Ведь не захотят! Да кто захочет свое отдать? И, сразу повеселев, ответил сам себе:

- Никто!

Ксендз уже внимательно и с любопытством слушал хозяина.

Гармаш заговорил снова:

- Конечно, гетман теперь у нас разумный, понял, что с нами в согласии надо жить. Прожекты у него великие... Видите сами, сколько посольств к нему едет. Да и король ваш...

- Почему ваш, а не наш, пан хозяин? - спросил Лентовский.

- Что ж, можно и наш и ваш, - быстро согласился Гармаш, - как вашей милости угодно. Вот я и говорю: и наш король прислал послов к нашему гетману. А все почему?

Но почему - так и не успел пояснить. На дворе залаяли псы. Хозяин сорвался с места. С порога сказал:

- Пойду, встречу. Генеральный писарь. Гетманский у него разум, почтенный и достойный человек...

<Повесить бы вас всех на одном суку>, - подумал ксендз и устало закрыл глаза.

Через несколько минут он уже вкрадчиво, тихо говорил Выговскому:

- Пан сенатор Кисель не решается лично беседовать с вами, чтобы не наклепать какого-нибудь подозрения на вашу почтенную особу. Пан сенатор поручил мне передать вам, пан генеральный писарь, что канцлер Оссолинский возлагает на вас великие надежды. Нынешний бунт - дело преходящее, как и всегда. Мы с вами разумные люди. - Он заговорил еще тише. Выговский нагнул голову, внимательно слушал. - Будем искренни друг с другом и заглянем в будущее, пан писарь. Не сулит оно вашему Хмельницкому ничего хорошего, угодит он на виселицу, как и все прежние бунтовщики: как Наливайко, Сулима, Павлюк, все, кто осмелился поднять руку на короля и Речь Посполитую. Итак, посудите сами - чем можете вы услужить королю и Речи Посполитой? Все, что имеете теперь от Хмельницкого, суетно и недолговечно. Смотрите в будущее. А в Варшаве к вам относятся благожелательно. Вы шляхтич, пан писарь. Знаю, вас обидели, знаю, но обиду можно залечить новыми наградами, а их будете иметь без числа...

- То невозможно, что вы предлагаете мне, - сурово ответил Выговский, когда ксендз замолчал.

- Я ничего не предлагаю, - горячо сказал Лентовский, - я только выразил ваши же мысли. Не возражайте, не надо. Да, да, истину говорю... И пан сенатор надеется на одно: что вы подумаете об этом, только подумаете... и больше ничего.

- Я обязан взять вас под стражу, пан Лентовский, - так же сурово сказал Выговский и впервые посмотрел в глаза ксендзу.

Тот загадочно усмехнулся и возразил уверенно:

- Теперь вы этого не можете сделать. Иначе сделали бы это вчера, когда я заговорил с вами и когда к нам подошел изменник Капуста, - уже со злобой в голосе закончил ксендз.

Выговский промолчал.

- Сенатор покорно просил вас, пан писарь, подумать и быть готовым...

- К чему?

Выговский ждал: вот сейчас ксендз скажет такое, что придется уже иначе вести себя с ним.

- Ко всяким неожиданностям, какие могут произойти с вашим гетманом. Все может стать, и тогда вы окажете великую услугу Речи Посполитой и сами займете достойное для вас место в королевстве...

- А знаете ли вы, пан Лентовский, - процедил сквозь зубы генеральный писарь, - что ваши слова можно принять за предложение стать изменником...

- Господь с вами, пан Выговский! О какой измене говорите вы? Кому? Стать на праведный путь - разве это означает изменить? Вы провинились перед королем и должны искупить вину, это Хмельницкий изменник и убийца...

- Я его генеральный писарь.

- Вы шляхтич и достойный человек, - твердо проговорил ксендз.

- Я православной веры, - уже слабее продолжал возражать Выговский.

- Сенатор Адам Кисель той же веры, - но разве это мешает ему занимать высокое и почетное место среди благороднейших особ королевства нашего? От его имени я и прибыл к вам, пан генеральный писарь.

- Хорошо, что вам нужно от меня? - спросил Выговский, почувствовав вдруг какую-то внезапную усталость.

Он понимал, что перед ним, наконец, открывается путь к осуществлению его давних замыслов. Однако надо быть осторожным, не спешить, - слишком уж долго он терпеливо ждал, чтобы теперь, оступившись, угодить на кол.

- Ничего, сын мой, не надо мне от тебя, - успокоил Лентовский. - Я передал тебе слова сенатора. Через несколько дней мы выезжаем. Гетман ведет себя так, словно вполне уверен, что осилит Речь Посполитую. Не бывать тому вовеки! Сам папа римский придет к нам на помощь, и цесарь Фердинанд будет с нами, и царь московский даст королю ратных своих людей. Все княжества немецкие станут за нас, ибо это, пан писарь, уже не внутреннее дело одной Речи Посполитой, - это бунт разнузданной черни против избранных богом и королем людей, против порядка, установленного богом. Это моровая язва. Железом и огнем истребим мы ее. Имей это в виду, генеральный писарь, и в нужный час выбери себе верный путь.

Ксендз заговорил свободно, уже без угодливой улыбки, жестким и недобрый голосом. Выговский опустил глаза, слушал, не перебивая.

- Ты выбрал уже, сын мой, я знаю. Но ты не хочешь говорить. Не надо! Все достойные и шляхетные люди поступят разумно. Пусть берут пример с сенатора Киселя! Вот и хозяин дома сего весьма достойные внимания высказывал мысли. И для таких людей, как он, будет место в нашем государстве. Я ничего не спрашиваю у тебя о гетманских делах, у нас нет нужды в этом. Мы и так все знаем. Пришел к тебе с единой целью - исполнить долг совести своей, долг, который подсказывает мне моя церковь и спаситель наш. Вот и все.

Выговский развел руками. Криво усмехнулся.

- Слова твои, пан отец, внимания достойны. Но имей в виду - наша беседа должна остаться в тайне и разглашена быть не может. А больше тебе ничего не отвечу. Дай время.

Лентовский согласно кивнул головой.

- Не тороплю. Но беспокою тебя одной просьбой, пан Выговский: пани Елене передай от ее дяди вот эту безделушку. Тут медальон золотой, наследственный. - Положил на стол перед Выговским небольшую бархатную коробочку, открыл. Тускло блеснуло золото перед глазами. Лентовский задумчиво добавил: - Верная католичка пани Елена...

- Православный патриарх благословил ее брак с гетманом, - сказал Выговский и впервые хохотнул тихо и насмешливо.

- Простит ей папа и этот грех, - загадочно и двусмысленно ответил Лентовский.

Выговский вздрогнул от удивления. Догадка молнией сверкнула и приковала к креслу. Так вот что! Едва сдержался, чтобы не спросить. Но Лентовский уже заговорил о другом:

- Пора мне, пан писарь. Прими благословение мое. Будет случай, сам с тобой встречу, а не то придут от меня верные люди, знак тебе подадут...

<Заговорил со мной как с сообщником>, - с досадой подумал Выговский.

- ...Вот этот перстень, - ксендз протянул длинный сухой палец с надетым на него золотым перстнем; на черном аметисте посреди перстня сияло серебряное распятое. Снял перстень, показал внутри его латинскую надпись: - <Огнем и мечом>. - Вот это и будет знак, что человек доверенный. Склонил голову, закрыл глаза.

...И пошел из горницы к выходу, словно ничего не было. Выговский так и остался недвижим. Держал в руке коробочку, оставленную Лентовским, и если бы не она, можно было бы подумать, что все это дурной сон. Уже чудилось страшное и непоправимое. Гневный взгляд Богдана, едкие вопросы Капусты, злые и безжалостные слова Богуна. Мелькнула мысль: <Хорошо, что чума забрала в ад Кривоноса; одним меньше будет...>

<Будет? Когда? Если они дознаются...> - мороз пробежал по спине. Но это невозможно! В конце концов, он и раньше сам с собой подолгу беседовал о том, что сказал ксендз. Только надо держаться сторожко, не забываться ни на миг. Сейчас надо идти вместе с гетманом и не

вызывать никаких подозрений. Кто знает, сколько продлится это <сейчас>, если фортуна и дальше будет баловать Хмельницкого? Что ж, и тогда он, Выговский, не упустит своего... Но ксендз прав, их всех рано или поздно раздавят. И мысленно уже отделил себя от всей старшины: <Что мне с ними?> Да, да, главное теперь - осторожность. В конце концов, он так ничего и не сказал ксендзу. А из того, что рассказал Лентовский, выходило - его в Варшаве знают. Следует выждать и присмотреться. Там, в Варшаве, не дремлют. Генеральный писарь даже присвистнул, вспомнив про Елену. Теперь не было сомнения - она связана с иезуитами. Ксендз сказал: <Папа простит ей>. Дорого дал бы Капуста, если бы отнести ему этот медальон... Достал его из футляра, потянул за цепочку. Сердце со стрелой. Повертел в руках, ковырнул ногтем сбоку. Медальон не открывался. <Чорт с ним, - решил про себя. - Еще успею>. И спрятал в карман.

Успокаивал сам себя: в конце концов, он ничего Лентовскому не обещал. Да и ксендз не просил ни о чем. Встретились, и, в случае нужды, забыли. Но тут же, услышав за дверью легкие шаги Гармаша, спохватился: <А он?.. Впрочем, что знает он? Скажу - ксендз приходил просить за своего племянника, взятого под стражу. А то и вообще ничего не скажу>.

Бесшумно отворилась дверь, вошел Гармаш:

- Присели бы, пан Выговский... Мальвазии отведайте...

Он захлопотал у стола, ловко накладывал на тарелки закуску, налил вина в кубки. Точно вспомнив о чем-то, хлопнул себя по лбу:

- Вот память!.. Девичья память у меня, пан писарь... - Поставив свой кубок, полез в карман, протянул Выговскому бархатный кошелек: - Извольте, пан ксендз передал.

Выговский недоуменно спросил:

- Что это?

- Деньги, пан генеральный писарь.

- Какие деньги? За что?

- Две тысячи злотых. Так и просил передать. Забыл за разговором, возвращаться же не захотел. Духовного сана, а в приметы верит. Говорит: <Вернусь - неудача>. Просил передать: <Это, говорит, пан Выговский знает, от кого>. Выпьем, пан писарь.

- Погоди... Ну тебя к дьяволу с твоим вином! - В глазах все прыгало: стол, кубки, широкое, как полная луна, лицо Гармаша.

- Обеспокоены чем, пан Выговский? Что с вами? - допытывался Гармаш.

- Вороти его скорее... - приказал Выговский, но тут же подумал: поздно уже, надо что-нибудь другое выдумать. Крикнул: - Стой!

Гармаш замер у двери. Опускаясь в кресло, Выговский пояснил:

- Деньги эти мне ксендз должен был, только ошибся - не две тысячи, а одну тысячу восемьсот. Надо вернуть остаток.

Гармаш засмеялся:

- Он вас, проклятый лях, видно, ростовщиком считает... Видите, с излишком долг отдал. Ну, это не беда. У них денег довольно, а в хозяйстве лишнее не помешает...

Выговский не слушал, думал о другом. Нет, Гармаш не выдаст. Генеральный писарь давненько знал этого ловкого купца. Был с ним связан не одним уже делом. Поглядел на него пристально, испытующе. Гармаш жмурился, цедил сквозь зубы мальвазию. И вдруг сказал с самым простодушным видом, глядя в лицо генерального писаря:

- Чуть не забыл, пан Выговский: говорил еще ксендз, что деньги эти вам от сенатора. Сначала ничего не сказал, мол, сами знаете, а выходя в калитку, повернулся и сказал. Вот брехун, а еще духовный сан на нем...

У Выговского поплыло перед глазами лицо Гармаша.

Стиснув эфес сабли, проскрежетал:

- Лишнее себе позволяешь...

- Избави бог! - перекрестился Гармаш.

- Язык крепко держи за зубами. Ты меня знаешь?

Встал и нагнулся над Гармашем.

- Знаю, пан писарь, и не первый год знаю. И люблю, и уважаю, и придет время, когда возглашу со всем достойным людом славу тебе, как гетману Украины. Придет время... - Гармаш сыпал слова, как горох. - Разум твой и сила достойны того. И до сей поры не понимаю - почему он, а не ты? А? Почему?!

- Молчи, - зло сказал Выговский, - молчи! - Сел и закрыл лицо ладонями.

Гармаш придвинул кресло ближе.

- Разум у вас королевский. Пусть теперь он. Вся чернь за ним идет, как овечье стадо. Смрад вокруг и пыль, а нам прибыль, прибыль, пан Выговский. Кто с умом, пусть оглянется и о маетностях своих подумает. Шляхту он-таки напугал, что правда, то правда, она теперь уступит, ну, мы потом все перевернем, и увидите, - не быть ему гетманом, уберем. И тогда вам славу возгласит Украина... А чернь свое место займет, свое место - и только.

- Довольно, - твердо сказал Выговский. - Пора мне. Так что помни.

Гармаш низко поклонился. Не выдержал жесткого взгляда Выговского, опустил глаза. Проводил до дверей, почтительно шел не рядом, а на шаг позади.

Уже во дворе робко попросил:

- Купил именье у одного шляхтича, земли немного, мельница, живность всякая, да все посполитые успели порастащить, вот, может, грамотку бы какую про послушество...

- Добро, - кинул через плечо Выговский, - получишь грамоту.

Вскочил на коня, не слушая благодарности Гармаша. Когда Выговский был уже за воротами, Гармаш выпрямился. Одобрительно оглядел амбары, крытые черепицей, просторный дом в девять окон по фасаду. Заморские псы ворчали в будках возле амбаров. Гармаш довольно потер руки, вспомнив, что такая же усадьба у него теперь и в Киеве. <Скоро и в Чигирине будет>, - подумал, входя в дом.

В сенях на сундуке дремал немой слуга. Махнул ему рукой: прочь! Тот кинулся на черную половину. Степенно и важно, словно его подменили после отъезда Выговского, прошел в горницу. Сел за стол. Налил полный кубок вина, повел утиным носом, поглядел влажными глазами на жареного гуся, отломил ножку, откусил, мотнул головой от удовольствия. Поднял кубок и громко сказал сам себе:

- Будем здоровы, пан Гармаш!

Выпил одним духом, даже слеза на глаза набежала от напряжения, выдохнул воздух и повторил:

- Будем!

7

Нечипор Галайда, казак Белоцерковского полка, просился у полковника Михайла Громыки на неделю домой, в Белые Репки.

- Меня, верно, уж похоронили там, думают - погиб. Надо наведаться, поглядеть, как живут. Так уж дозвольте, пан полковник, слетаю - и назад.

Полковник Громыка, покрутив длинный ус, пристально поглядел на Галайду:

- Домой, говоришь?

- Да, пан полковник.

- В Белые Репки?

- Так, ваша милость.

Галайда говорил со всей почтительностью, как научил его полковой есаул Прядченко, предварительно потребовавший за эту науку десять злотых. Громыка любил порядок и повиновение. Рука у него была тяжелая, и в гневе он вспыхивал в один миг. Казаки знали это, но уважали полковника за отвагу. И Галайда терпеливо ждал.

- Так домой? - снова переспросил полковник.

- Домой, пан полковник.

- А может, в наезд собрался, шляхтича какого-нибудь или монастырь потрясти?

- Боже борони! Что вы, пан полковник?

- В Белые Репки?

- В Белые Репки, пан полковник, - ответил Галайда, уже обеспокоенный тем, что разговор затягивается и что, может быть, он напрасно отдал десять злотых есаулу Прядченку.

Громыка поднялся, почти уперся головой в потолок. Черный оселедец, пересекая голову, падал на высокий лоб. Горбатый нос тонул в густых усах. Полковник скрестил руки на груди, отбросив широкие рукава алого кунтуша, притопнул ногой, - тонко звякнули шпоры. Галайда взмолился:

- Так что, дозвоьте, пан полковник... Мать, отец, сестричка ждет...

- А девка не ждет?

- Есть грех, - признался Галайда багровея.

- Я не поп, что ты мне грехи исповедуешь! Чьи Белые Репки?

Галайда захлопал глазами, смешался.

- Как это чьи, пан полковник?

- Скоро забыл пана. Видно, пан шелудивый был, не стоил памяти, а?

- Понял, пан полковник. Адама Киселя маетность, ему отписана.

- Так! Говоришь, зовут тебя Нечипор, а по прозванию Галайда?

- Точно, пан полковник.

- Знаю тебя хорошо. Добрый казак, воевал славно. И еще, видно, придется, - сказал и поглядел в упор на Галайду. - Пойдем еще на шляхту, а?

- Пойдем, пан полковник, от своего не отступимся.

- Есаул! - крикнул Громыка.

В горницу мигом влетел есаул Прядченко.

- Позови казначея! Живо!

Прядченко испуганно глянул на Галайду и кинулся исполнять приказ полковника.

- В Белые Репки хочешь? - спросил снова Громыка, задумчиво разглядывая Галайду. - Кисель - шелудивый пан, никчемный. Теперь другому отпишут твои Репки. Может, лучше будет, может... - Усмехнулся, блеснул зубами.

Галайда чуть было не выпалил: <Как это так - другому?> Но вместо того, заметил осторожно:

- Толкуют люди, не все в реестровые казаки попадем. Сказывают, король хочет, чтобы десять тысяч реестровых было, а нас больше, пан полковник, все воевали...

Громыка внимательно поглядел на казака:

- До реестров еще далеко...

Вошел казначей.

- Чего изволите, пан полковник?

Беспокойно поглядывал то на полковника, то на Галайду. Может, навет какой, может, иная беда?..

Полковник приказал:

- Казаку Нечипору Галайде, который молодецки шляхту воевал, а теперь домой в село Репки на неделю отпущен, за добрую службу выдать из полковой казны пятьдесят злотых...

...Выйдя из полковничьего дома, Галайда никак не мог успокоиться, все гадал: что хотел сказать Громыка, когда про другого пана речь завел?.. Раздумывая, шел следом за казначеем. Тот, отсчитав деньги, предложил:

- Может, в корчму заглянем?

Галайда отказался.

...Наутро он уже был в дороге. Покрытый снегом шлях радовал глаз белизной. По обочинам петляли заячьи следы. В кустах каркало воронье. Порой встречались верховые казаки, а чаще сани. Из головы не выходили слова полковника. Кто же этот другой пан? Снова какой-нибудь шляхтич появится, старые порядки заведет. Защемило под сердцем. Галайда хлестнул коня нагайкой, - надо было на ком-нибудь сорвать злость. Проскакал немного, и на душе стало чуть полегче. Что будет, то еще за горами, да и полковнику откуда знать? Не может такого быть, чтобы старые порядки вернулись. Но тут же вспомнил

рассказы казаков про гетманские универсалы на послушенство селян монастырям. <Но то монастырям, то церковное дело, а тут...>

Плыли навстречу покрытые снегом поля, леса. Галайда стороной объезжал небольшие хутора. Вот уже и дорога на Белые Репки. Коренастые липы стали по бокам двумя стенами. Вскоре на лесистом взгорье, под кручей, увидел село. Тревожно забилося сердце.

...А когда подъезжал к покосившемуся знакомому тыну, за которым белела низенькая хатка с окнами, затянутыми пузырями, захотелось птицей перелететь короткое пространство от ворот до дверей. Но уже открылась дверь, и с порога донесся голос матери. И не опомнился, как уже сидел в хате на скамье под образами, сабля его висела на стене, пистоль лежал в углу. Весело трещала солома в печи. Отец набивал трубку привезенным табаком, смущенно дергал себя за гашник. Сестра Килына стояла у притолоки, смотрела на него восторженно... Мать бросалась то к нему, то к печи... Из знакомого черного котелка торчали гусиные ножки...

- Что у вас? - спрашивал Нечипор отца.

- А что ж, сынок? Ничего.

- Панский управитель утек, верно?

- Не успел, сынок. Вот как ты к Хмелю пошел, тут еще такое было...

- Да уж, было, - вмешалась мать, - и он воевал, - ткнула пальцем в отца.

- Э, тоже скажешь...

Недовольно отмахнулся от жены старый Галайда, встал, подошел к печи, ухватил заскорузлыми пальцами уголек и зажег трубку.

- Добрый тютюн у тебя, панский, - усмехнулся, сел рядом с сыном.

У Нечипора навернулись слезы на глазах. Сначала, когда в хату вошел, не заметил, как изменился отец, а теперь разглядел: словно кто согнул его в плечах, заплатанные, плохонькие порты, подвязанные веревками чоботы, свитка протерлась на локтях... И мать высохла, постарела. Даром что Килына круглолицая, играет мони́стом на шее, а сапожки у нее сбитые, старые...

И пока мать рассказывала, как старый Галайда, вооружась косою, вместе со всей громадой ходил в панский дом выгонять управителя, пана Круглянского, и гайдука одного должен был в пекло отправить, - иначе бы тот разбойник Сидора Боярча застрелил из мушкета, - Нечипор, слушая все это, развязал сакву* и достал подарки: сестре - сапожки из алого сафьяна и голубые ленты, матери - платок, отцу - чоботы и новую свитку. Охали, удивлялись, бережно трогали подарки. Килына поцеловала в щеку. Словно чужому, сказала раскрасневшись:

* С а к в а - казацкая сумка.

- Покорно благодарю.

Скоро и полудневать сели. Знакомая с детства зеленая кривогорлая бутылка появилась на столе. Мать дрожащими руками расставляла оловянные чарочки.

Заскрипел снег под окнами. Входили соседи. Басил, нагибая голову, чтобы не зацепиться о притолоку, Иван Гуляй-День:

- Челом бьем славному казаку.

Широко раскинул руки и стиснул в объятиях Нечипора.

А за Гуляй-Днем пришли Федор Кияшко, Максим Гайдук, Васько Приступа. Крестились на почернелого спаса, под которым слабо мерцала лампадка, целовались с Нечипором, шутили. Уже дважды наполняла мать кривогорлую зеленую бутылку. В хате стало жарко. Рыжий Максим Гайдук заводил песню. Он, как и Нечипор, приехал не надолго в родное село и уже собирался назад в Умань. А Федор Кияшко размахивал обрубком правой руки, ругал князя Вишневецкого и всех панов.

- Вы не смотрите, что я без руки, а позовет гетман - пойду воевать! кричал он.

Но его уже никто не слушал. Узнали, что Нечипор был в Киеве, просили рассказать. Слушали внимательно, не перебивали. Особенно понравилось, как гетмана патриарх

встречал. Потом вспомнили, что не воротился с войны сын Сидора Боярча, был слух - погиб под Корсунем...

- А разве только он один! - сказал Гуляй-День. - Тимофей Перевертень, Самойло Выковец, Онуфрий Смык, Сергей Малоземля, Иван Деревий...

Покачал невесело головой, замолк, налил себе чарку и грустно добавил:

- Немало полегло нашего брата. Помянем душу их, чтоб им на том свете солнце светило.

Мать Нечипора заплакала. Перекрестилась. Могло статься, что и про ее Нечипора говорили бы так же.

Иван Гуляй-День, стукнув чаркой об стол, понюхал кусок хлеба, закусил огурцом:

- Эх, казаче, одно нас беспокоит: что ж будет, как замирится гетман с королем? Куда нас доля толкнет?

Максим Гайдук ударил себя кулаком в грудь:

- Не посмеет доля нас толкать. Уже не те посполитые мы, что вчера были. Ты кто, Нечипор?

Спросил и, не ожидая ответа, сказал:

- Казак. И я казак. И все мы казаки. Ибо кто есть казак? Тот, кто волю защищал и оружие в руках держит. Так?

- Так-то оно так, - мотнул головой Гуляй-День, поглаживая ус, - а тебя гетман или там полковники не спросят, кем считать тебя - казаком или посполитым. А может, и паны вернутся...

В хате стало тихо. Даже задорный Максим Гайдук не нашелся сразу, что ответить Гуляй-Дню. А Нечипор снова вспомнил слова полковника Громыки про пана...

Молчаливый Васько Приступа успокоил:

- Казак-то - воин. Всем нам воинами быть не к чему, а думаю, что польские паны не вернутся. А свои - что ж... одной веры люди, совесть будут иметь, да и порядки не те отныне заведутся...

- Свои!.. - Гуляй-День с сердцем повторил это слово и вздохнул. - Что свои, что не свои - одно племя. У нас кто паном был? Свой - Адам Кисель. Может, ты-то с ним в согласии жил, Васько, он к тебе не цеплялся. Тебе что? Два мельничных постава имеешь, я мелю у тебя, вон Гайдуков отец да еще полсела, - злотые сами в карман плывут. Свой своему руку подаст, это правда...

Приступа огляделся кругом, - холодом повеяло в лицо. Смотрят все на него пристально, словно следят за каждым движением. Пришлось сказать:

- Да разве я спорю! Оно, известно, лучше - воля, да уж как от бога суждено. Против бога кто пойдет...

- А это бог сказал, чтобы пять дней на пана работали? - голос Нечипора дрожал, в глазах вспыхнули огоньки. - Это бог велел, чтобы брата моего дозорцы Киселя палками насмерть забили? Разве это бог велел, Васько, чтобы за каждую курицу или за каждую утку зарезанную платить подать державцам Речи Посполитой?..

Нечипор замолчал. Хмель выветрился из головы. Неведомое завтра вставало и тут глухой стеной, а надо бы заглянуть туда, за ту стену, чтобы не жить вслепую, ожидая, что утро даст... А может, лучше именно так и жить? А то заглянешь, да такое увидишь...

Наконец споры затихли. Снова начали вспоминать о погибших, и о том, как паны бежали, и о том, что было под Желтыми Водами и Корсунем. Жаловались на неурожай...

- Кому было за землей ходить! - сказал отец Нечипора. - Все на войну ушли. Одни старики да бабы. Да и татары покоя не давали...

- Прогнать бы их, а то и проучить, - сказал Гуляй-День. - Зря гетман с ними цацкается.

- Не с нами будут, так польскому королю помощи дадут, - ответил Галайда.

- Известно, что так, - согласился Гуляй-День.

Уже смеркалось, когда разошлись. Тихо стало в хате, душно. Нечипор накинул на плечи отцовский козуж, вышел из хаты. Синие сумерки ложились на землю. На горизонте

багряные пятна окрасили небо, и оттуда бил в лицо резкий, знобкий ветер. Справа, на взгорке, отсвечивал багряные краски заката в своих высоких окнах панский палац. <Будто притаился и ждет, недобро подумал о нем Нечипор. - Бог даст, не дождется своего... А может...> Но не хотелось думать об этом. Сжималось сердце, когда вспоминал, что не повидал еще Марию. А может, забыла она про него? Может, и замуж вышла?

Килына вышла на порог, постояла и несмело тронула за плечо брата:

- Дивчина одна спрашивала про тебя...

Говорила загадочно, а в глазах искорки смеха сверкали.

- Какая там дивчина?... - отмахнулся Нечипор, стараясь не выдать волнения.

- Мария! Забыл разве, Нечипор, или, может, краше в Киеве нашел?..

И тогда, откинув смущение, пылко воскликнул:

- Нет краше для меня, Килына, нет! Так и скажи ей, так и скажи. Да что говорить: сам пойду к ней! Сейчас пойду!

Нечипор вернулся в хату, быстро оделся, сдвинул шапку набекрень, перекинул через плечо саблю и, ничего не сказав матери, - а она молча следила за ним, понимая и сама, куда это так спешит Нечипор, - вышел из хаты.

...Проходили дни. Казалось уже Нечипору, что и не выезжал никуда. Словно, как прежде, жил все это время в Белых Репках. Одно только, что уже не тащатся до зари на панский двор люди, не видно на улицах есаулов да гайдуков. Только палац на взгорке, над прудом, неприятно напоминал о том, что было и что могло вернуться снова.

...Мария не забыла его. Это он увидел сразу в тот же вечер, когда пришел к ней. Уже и родители ее смотрели ласково на него и радушно встречали, и он как-то сказал прямо:

- Весной приеду, сватов зашлю...

- Попробуй, парубок, - приветливо сказала мать Марии.

И вот они вдвоем с Марией. Мечтают вместе, какая жизнь будет после войны.

- И когда уж кончится эта война? - спрашивает Мария.

Разве он может ответить на такой вопрос? Однако уверял ее, - скоро. И снова мечтал вслух о том, какая жизнь пойдет тогда в Белых Репках... Но с каждым днем все ближе вставала разлука, и Галайда часто думал: суждено ли ему будет снова увидеть родное село? Он гнал от себя тревогу, но совсем погасить ее не мог.

В воскресенье, накануне отъезда своего в полк, стоял Нечипор на майдане перед церковью. Кто-то разжег костер, грелись у огня. Гуляй-День рассказывал: люди из соседнего села передавали, как на той неделе татарский отряд ворвался к ним, пограбил селян, а нескольких дивчат забрал с собой. Нечипор тут же подумал о Марии. Быть может, ее тоже ожидает такая доля? А кто защитит? В памяти возникали недавние дни, когда его полк стоял бок о бок с отрядами перекопского мурзы Тугай-бея. Вспомнилось, кидались в бой татары, когда видели, что казаки уже врезались во вражеские ряды, а как неудача - первые скакали назад, спеша скорее покинуть поле боя. И всегда в обозе у них было без числа пленников. Рассказ про татар вызвал в сердце Галайды острый гнев.

- А это не татары ли? - спросил кто-то, указывая на верховых, приближавшихся к площади.

Но то были не татары. Когда они приблизились, селяне увидели за шеренгой верховых несколько крытых саней. С улицы, наперерез поезду, галопом выскочили верхами дозорные. Впереди скакал Федор Кияшко, держа левой рукой уздечку.

- Кто такие будете? - грозно спросил Кияшко, перерезав дорогу конным.

Те остановились. Селяне окружили их тесным кольцом.

- Жолнеры! - выкрикнул Гайдук. - Вот, не сойти мне с этого места, ей-богу, жолнеры! Вот встреча! В последний раз, паны, виделись мы с вами под Замостьем...

Один из конников тихо проговорил:

- Послы его величества короля Речи Посполитой.

- Грамоту покажи, - не удовлетворился Кияшко. - Все мы послы. А ты грамоту покажи.

- Что же ты, слову шляхтича не веришь? - возмутился конник.

- Знаем, какое это слово, - настаивал Кияшко. - Ты грамоту покажи и что там в санях везете. Может, беду какую натворили. А ну, хлопцы, обыщите сани...

- Не дозволю! - вскипел конник. - Не имеешь права, хлоп...

- Как ты сказал? - Острая злоба подступила к горлу. Нечипор схватил за узду коня шляхтича. - А ну, слезай, мы покажем, где тут хлопы!

- Давай грамоту! - крикнул Гайдук.

Кзаки подступили к саням. В передних санях чья-то рука откинула запону. Отблески огня осветили бледное лицо и седую бороду.

- Покажите грамоту, пан Тикоцинский, - сказал седобородый и уже хотел опустить запону, но Гуляй-День подскочил к саням:

- Что ж вы прячетесь, пан воевода? Хлопцы! Да это ж пан Кисель! объявил он народу. - Что ж не здороваетесь с хлопами своими? Не узнали Белые Репки? Или память коротка?..

- Хмелем присыпало им память! - засмеялся Галайда.

- В палац бы свой наведались, - посоветовал Гуляй-День. - На могилку пана вашего управителя сходили бы...

Адам Кисель, стиснув зубы, молчал. И надо было молчать. Он понимал: лишнее слово может привести к неприятностям. Довольно было и переяславских обид... Тикоцинский вынул грамоту и протянул Кияшку:

- Только зря... Не прочитаешь... - сказал он с гневом и насмешкой.

Кияшко, ничего не ответив, нагнулся к костру, неторопливо прочел вслух:

- <Именем гетмана Украины, Зиновия Богдана Хмельницкого, объявляю неприкосновенность особ послов его величества короля польского Яна-Казимира к гетману нашему, Адама Киселя...> - замолчал. Дальше продолжал про себя и только в конце снова громко огласил: - <Генеральный писарь Войска Запорожского Иван Выговский, своей рукой>.

Возвратил грамоту.

- Это другое дело. Поезжайте, паны, спокойно. По мне - напрасно вам такую грамоту дали. Я бы не дал!

Кзаки расступились.

Завернувшись в медвежью шубу, Адам Кисель тихо шептал:

- На кол всех, перевешать всех, огонь и меч на головы ваши, быдло, чернь подлая и предерзкая...

Утешался надеждой: наступят для королевства времена, когда он насладится мстостью. Так будет, - твердил он себе, - так будет!

...А через две недели, в Варшаве, сенатор Адам Кисель говорил канцлеру Оссолинскому:

- Все труды мои, как видите, напрасны. Зверь поселился в сердце этого схизматика. Надругался над нами, послами королевскими, и оскорблял весьма. А страшнее всего не он, нет, не он, а чернь подлая... От нее больше всего придется испытать... Заверяю вас, вельможный пан, что такого бунта свет не видел. Не за гетманскую булаву воюет Хмель, дальше простирается его дерзновенная мысль, а еще дальше устремилась в помыслах своих лукавая чернь...

...Так неудачно окончились переяславские переговоры.

Новый год вырисовывался на помрачневшем горизонте новыми походами и битвами. И в Варшаве, и в Чигирине с лихорадочной поспешностью начали готовиться к ним.

Нечипор Галайда уже воротился в свой полк, когда прибыл из Чигирина гетманский универсал с запретом распускать казачество по домам. Об этом универсале пошла широкая молва по селам, по обоим берегам Днепра. Днем и ночью стучали молоты в кузнях, перековывая косы на сабли... Под Конотопом с великим трудом отливали пушки, подвозили в полки селитру. У волошского господаря купили двадцать тысяч коней.

Чтобы задобрить коварного крымского хана, пришлось послать подарки ему, великому визирю Сефер-Кази и перекопскому мурзе...

Все эти дни гетман думал о переговорах Силуяна Мужиловского в Москве. Только в Москве могли понять его намерения и поддержать их. Этой зимой он выдал универсал о снятии таможенных пошлин с русских купцов и о неприкосновенности их имущества на землях Украины. В эти же дни подписал универсал о суровом наказании тех, кто чинит препятствия и насилия торговым людям.

Не много прошло времени, но (он вправе был сказать так) сделано не мало. Уже весь край был разделен на полки, и в них выбраны были полковники. Правда, имена многих полковников он сам подсказал, но так нужно было. Тех, кто мыслил своевольно и не слишком поторапливался, пришлось устранить, кое-кому и пригрозить, кое-кого, подальше от греха, он послал в Крым, приказав сидеть там, пока не позовет, а кое-кого упрятал так, что никто и не знал, куда девались, только Лаврин Капуста загадочно разводил руками, когда при нем заводили речь о таких.

В эти дни все уже почувствовали и говорили между собой, пока что шепотом, что рука у гетмана твердая, и что он ни перед чем не остановится. А он разве только в откровенной беседе с самим собой мог признаться, что лишь таким способом можно заставить своевольную старшину подчиняться приказам. Он научился безошибочно разгадывать тех, кто уже теперь стремился уйти куда-нибудь в укромный угол, засесть у себя на хуторе и отдыхать, попивая медок, считая, что, добыв маестности и привилегии, можно ужиться с шляхтичами и Речь Посполитая все былое простит.

Были и такие, что завистливо поглядывали на клейноды, присланные в Переяслав королем, думая, что и они могли бы носить эти знаки гетманской власти...

С насмешкой вспоминая порой о таких, гетман в то же время понимал, что надо считаться с обстоятельствами и ухудшать отношения со старшиной, хотя бы и с теми, к кому он относился недоброжелательно, все же не следовало. Но иногда волей-неволей приходилось прибегать к крутым мерам.

В эти недели, проведенные в Чигирине после отъезда королевских послов, гетман все мысли свои сосредоточил на предстоящих переговорах, которые должны были начаться вскоре после Троицына дня.

Перемирие официально так и не было подписано. Но оно существовало. Военные действия прекратились, если не считать отдельных столкновений на границах или стычек с теми татарскими отрядами перекопского мурзы, которые еще не покинули Украинскую землю, хотя давно должны были это сделать, по условиям договора с ханом. Гетман поручил винницкому полковнику Богуну <пощипать> татар и силой заставить их отойти за пределы Дикого Поля.

Чигирин в эти дни полнился разным людом. Понаехало множество торговых людей, они целыми днями толпились в гетманской канцелярии. С ними обходились учтиво, охотно давали им охранные грамоты.

Мелкая, своя шляхта осмелела и начала приезжать в гетманскую резиденцию, надеясь раздобыть и для себя какие-нибудь грамоты, чтобы заставить посполитых возвратиться в их имения. Появились люди, предлагавшие достать оружие - и в любом количестве. Всеми этими делами заправлял генеральный писарь, который, вместе с тем, ведал связями с иноземными послами. Из Семиградья и Валахии прибыли гонцы. Допытывались, даст ли гетман согласие принять высоких послов. Дела оборачивались так, что уже гетман и его войско стали известны далеко за пределами Речи Посполитой.

Именно в эти дни среди приближенных гетмана появилось новое лицо. Давно уже гетман чувствовал необходимость иметь при себе человека, которому можно было бы доверить составление частных писем, человека просвещенного, знающего языки...

Еще в Киеве Хмельницкий заговорил об этом с Силуяном Мужиловским, и тот обещал найти такого человека. Мужиловский побывал в Могилянском коллегиуме, расспросил настоятеля. И вот появился теперь в Чигирине высокий молодой парубок в долгополом кафтане, остриженный в кружок, с вопрошающим, будто несколько удивленным взглядом раскосых глаз, - Федор Свечка. Представляясь гетману, низко поклонился, отчетливо

выговаривая слова, назвал себя и подал письмо.

Личного гетманского писаря Федора Свечку поселили в доме Хмельницкого. Горница, длинная и узкая, единственным окном выходила в сад, и в лунные ночи серебристо-синеватый луч проникал сквозь это окно, точно лезвие длинного меча рассекал горницу пополам. Писец из канцелярии принес Свечке большой сверток пергамента, три связки гусиных перьев, полбутыли чернил и две тетради желтой венецианской бумаги в кожаных переплетах. Писец положил все на стол, поглядел неодобрительно на Свечку, который растянулся на скамье и искоса следил за писцом. Писец высморкался в ладонь, вытер ее об полу засаленного кунтуша и хрипло спросил:

- Горелку пьешь?..

Свечка отрицательно покачал головой. Писец хмыкнул, с сожалением поглядел на него и поучительно сказал:

- Ну и дурак...

Так и остался Федор в стороне от прочих писарей. Ни в игре в кости, ни в горелке не составлял им компании. Гетмана боялся и всякий раз, когда приходилось оставаться с ним наедине, потуплял глаза и не мог сдержать взволнованного биения сердца. От этого делал он ошибки, и после приходилось переписывать письма вторично.

Гетман приказал справиться Свечке кунтуш и чоботы, выдать ему добрую саблю и пистоль. Но все это военное снаряжение выглядело несуразно на писаревой фигуре.

Лаврину Капусте Федор Свечка понравился. Молчаливый, внимательный, сметливый, - так определил Капуста про себя его достоинства.

А Свечка в одиночестве раздумывал про свою долю, решив, что само небо послало его сюда записывать изо дня в день то, что делает гетман, и то, что творится вокруг. Первыми ровными, старательными строками легли в переплетенную тетрадь записи о событиях, происходивших в те дни в Чигирине. То, что писарь ведет записи, не укрылось от внимательного и зоркого глаза Лаврина Капусты, который теперь, кроме того, что вел секретные дела гетмана, занимал должность чигиринского городского атамана и должен был знать все, что происходило в самом Чигирине, - под каждой крышей, в каждом доме.

...Капуста сидел в комнате Свечки, читал страницу за страницей:

<Нынче днем гетман Войска Запорожского и вся Украины Зиновий Богдан Хмельницкий дал аудиенцию купцам из царства Московского, торговым людям Алексею Дремову и Онуфрию Ступову, и сказал им, что товар, который они привезли, он гетман, от таможенной пошлины освобождает, и так будет поступать впредь, и чтобы они, торговые люди, были безопасны и за свое имущество не опасались, велел для оных торговых людей написать немедля грамоту охранную и приставить сотню казаков Чигиринского полка, дабы обоз с товаром тех людей берегли в дороге от Путивля до Киева, и дале в те места, куда торговые люди товар свой повезут. И сказал гетман, что так поступать надобно не из опасения своих людей, а потому, что промышляют еще татарские загоны, которые не ушли в Крым, но скоро их не будет... А еще говорил гетман тем людям торговым, чтобы другими обозами привезли зерна и побольше соли, ибо через войну селянство не могло поле пахать и сеять, и от того теперь великая докука... И торговые люди гетману обещали, что обозы такие пригонят и скажут по другим городам русским, чтобы слали сюда такие обозы>.

Капуста прервал чтение, положил тетрадь на стол. Взяло сомнение: нужно ли все это записывать? Надобно ли доверять даже бумаге такое? Стал читать дальше:

<Третьего дня гетман был гневен. Кричал на генерального писаря Выговского и на полковника Матвея Гладкого, а почему - не знаю доподлинно, ибо был в смежной горнице и слов, кроме таких, что на бумаге написать не осмеливаюсь, не слыхал>.

Капуста неодобрительно покачал головой. Повел плечами.

<А после, когда я вошел, гетман стоял спиной к дверям, посмотрел на меня сначала недобро, а потом улыбнулся и спросил: <Сколько тебе лет?> И я ответил: <Двадцать>, - и гетман сказал, что завидует мне, хотел бы иметь мои лета, а еще спросил, есть ли у меня мать и отец, а когда узнал, что ни матери, ни отца нет и что они убиты татарами в Броварах еще в

году божьем 1642, сочувственно сказал: <Служи хорошо, сын, и буду я тебе за отца>, - и я гетману руку хотел поцеловать, но он не дал руки для целования, только хлопнул меня по плечу, и рука у гетмана тяжелая, ибо еще и теперь, когда записываю это, - а уже два дня минуло, - плечо у меня весьма болит. Тогда я осмелился, сказал гетману, что хочу записывать день за днем все подвиги его, что если все это складно и хорошо запишу, то, может, Киево-Могилянская академия записки мои напечатает... А гетман на ту мою просьбу ответил не сразу. Подумал и лишь тогда милостиво согласился, только сказал: <Пиши все, что видишь, а подвигов у меня нет, все это подвиги людей моих, казаков, и тех, кто казаками стали>, - и я это обещал гетману>.

Капуста перевернул страницу:

<Вчера днем ездил с пани гетмановой в лавку к приезжему греку. Онный грек торговал в рундуке Гармаша, и когда пани гетманова подходила к дверям, Гармаш выбежал на крыльцо, и под руки пани гетманову проводил, и грек поставил перед пани гетмановой склянки и стеклянные коробочки с благовониями, и так запахло, точно насыпали горы миндаля и роз. И пани гетманова велела мне все эти благовония бережно уложить в мешок, а еще дал Гармаш много локтей розового шелка и столько же локтей бархата, и все то взял в руки казак Свирид и отнес в карету. И пани гетманова села в карету, казак Свирид рядом с кучером, а я - на маленькой скамеечке в ногах, и пани гетманова велела ехать к Тясмину, но туда не проехали, ибо весьма великий снег был, а до того ночью метель, и дорогу замело, и проехать можно было только в санях, и на то пани гетманова разгневалась и приказала возвращаться домой, и мы поехали, а там уже ждал гетман, и когда я поставил на полку склянки и коробочки, то гетман и гетманша были в другой комнате, и, выходя, видел я сквозь отворенную дверь, что она сидела на коленях у гетмана, обнимая его за шею, и подумал я, что она больше годится ему в дочери, но это не моего ума дело...>.

- И верно, не твоего ума дело, - пробормотал Капуста.

Послышались шаги. Он закрыл тетрадь, положил в ящик стола. Федор Свечка вошел в горницу. В замешательстве остановился на пороге.

- Входи, не съем, - сказал Капуста.

Свечка робко отошел от порога и сел осторожно на краешек скамьи, точно это было очень опасное дело.

- Читал я, - кивнул Капуста в сторону стола.

Свечка побледнел. Что было сказать?

- Пишешь все, а все ли надо записывать? Ты подумай: нужно ли? Знаю, дозволил тебе гетман, а прочитай, доволен ли будет? Ты помысли, не спеши. А так, что ж, складно выходит... Но ты больше о ратных делах пиши, о подвигах людей достойных, про обиды, кои нашему народу чинят паны, шляхта, о разорении края нашего... Помысли... И вот что... комнату запирайте надо, и тетрадь прятать хорошо, и беречь ее старательно.

Больше ничего не сказал. Вышел. Федор Свечка остался один. Мучило сомнение: <Может, в самом деле, все это и не стоит записывать?>

Хотелось утешить себя тем, что если написанное им будет пригодно, то (он видел уже это взволнованным воображением своим) где-нибудь в хате, вечером, при огне, будут читать строки, написанные им, и узнают, что делалось на земле украинской и что гетман, и старшина, и казаки содеяли, какая война лютая была... А про войну и подвиги он еще напишет! Не далее как вчера говорил гетман с Капустой: быть войне. Тогда он поедет вместе с гетманом и будет жить с ним в одном шатре. Доведется и самому взять саблю в руки. Так размышлял Федор Свечка, полный тревожных дум...

8

В марте на Украине днепровские ветры пахнут весною, а тут, в Москве, еще прочно держится зима. Беснуются метели, северный ветер лютует, сечет лицо.

От Лубянки до Кремля, мимо боярских подворий, мимо домов за высокими тынами, мимо множества торгового и ратного народа, объезжая площадь, на которой крики разносчиков смешивались с зазываниями сидельцев из купеческих лавок, - ехал Силюян

Мужилковский на санях посольского приказа в Кремль.

По правую руку сидел дьяк Алмаз Иванов, рассказывал:

- В Москве людей, сам видишь, превеликое множество. Едут со всего царства денно и ночью. Кто по торговым делам, кто по приказным, а кто с жалобами да челобитными... Заморских гостей по красным дворам немало. Купцы с товарами из далеких краев и царств прибывают, и с ними хлопот немало.

Силуян Мужилковский внимательно слушал дьяка, с любопытством оглядывался по сторонам. Стольный город великого царства Московского вызывал теплые, идущие от самого сердца чувства. Думалось: вот бы сообща учинить поход на врага! Чуть с языка не сорвалось это. Сдержался - не в санях говорить об этом надо, для того и едет в посольский приказ. Уж ему известно: патриарх иерусалимский Паисий беседовал с глазу на глаз с царем Алексеем Михайловичем. Теперь, едуци в посольский приказ, горел нетерпением. Недавно еще гонец прибыл от гетмана: вершить дело надо побыстрее и успешно. Плохо, если так не выйдет.

Алмаз Иванов косил на Мужилковского зорким глазом. В лицо послу бил резкий ветер, с серого неба сеялся сухой снег. Впереди посольских саней скакало двое стрельцов, расчищали дорогу. Зазевавшихся угощали нагайками. Удары падали на людей в убогой, ветхой одежде. Через Спасские ворота, минуя Лобное место и храм Василия Блаженного, сани легко проскользнули в Кремль.

...В большой думной палате посольского приказа жарко натоплено. Молчаливый подъячий, в длинном мышинного цвета кафтане, снимает шубу с посольского плеча, принимает высокую смушковую шапку. Силуян Мужилковский вытирает платком усы, чисто выбритые щеки, багровые от мороза. Ларион Лопухин, потирая руки, идет навстречу. Алмаз Иванов стоит сбоку, несколько позади, - хоть посол гетмана не королевский или царский посол, но Алмаз Иванов строго придерживается установленной церемонии.

Садятся в кресла с высокими спинками. Подъячие разворачивают пергаментные списки.

Чуть поодаль, на скамье под стеной, обитой красным бархатом, - дьяки. За окнами посольского приказа метет снег.

Ларион Лопухин, потирая руки, улыбается одними губами, а в глазах холодок.

Силуян Мужилковский начинает издали. Говорено уже об этом позавчера, но напомнить и сегодня не мешает. Вот он и напоминает. Гетман бьет челом от имени всего Войска Запорожского и всея Украины, и если его величество не возьмет под благодетельную руку Украину и Войско Запорожское, то война будет лютая, жестокая и неведомо даже, сколько людей православных погибнет.

Ларион Лопухин понимает - послать немедля ратных людей, полки стрелецкие на юг, в города и села украинские, вместе с гетманом освободить Смоленск и всю Белую Русь, чтобы никому не повадно было на землю русскую оружно ходить или какую-нибудь обиду и вред народу чинить... Все это мысли добрые и утешные. Вчера уже говорено об этом в посольском приказе. Будто ничего нет легче - выступить в поход. А как ворочаться, если конфузия?

Гетман украинский стремится под высокую царскую руку. Оба народа одной веры, братья по крови, одного бога дети - все это так. А Поляновский договор о вечном мире с королем польским? Как на это смотреть? Как его обойти? Что во всех дворах европейских скажут?

Силуян Мужилковский ведет речь не спеша, как бы сам прислушивается к своим словам; ровный голос, спокойные движения, изредка тронет усы, чуть заметно усмехнется.

- От унии, пан Лопухин, житья нет... Римский папа, как видно, хочет уничтожить веру православную. Киев - древний город русский, а куда глазом ни кинь - иезуиты свои костелы и монастыри поставили, скоро человеку православной веры и помолиться негде будет. В Переяславе послы польские хотели затуманить глаза... Гетман им не верит, и старшина не верит, а весь народ только на царя московского уповает, одна надежда на вас - придете на

помощь, спасете край наш... Одна надежда, пан Лопухин. Покорно просим оружия, пушек, ядер, хлеба, соли, - все это в списках обозначено...

Дьяки и подьячие внимательно слушают гетманского посла. Обиды народу украинскому, вправду, чинятся безмерные, все это так... А вчера приехал в Москву посол польского короля Альберт Пражмовский. Про Поляновский договор напоминал, два часа рассказывал боярину Бутурлину, что чернь на землях королевских содеяла, и твердил - мол, если воеводы русские не хотят, чтобы и в царстве Московском такое учинилось, должны они итти на помощь королевским армиям и ударить в спину гетманскому войску. Альберт Пражмовский привез королевскую грамоту в собственные руки его величества, царя Алексея Михайловича.

Посол у царя еще не был. Силуян Мужиловский о приезде его не знал, а Лопухин не спешил сообщать об этом.

- Хлеб у нас в этом году не уродился, - продолжал Мужиловский, саранча посева поела, а где уродило - много полей остались необработанными, ибо все, кто мог, пошли на ратное дело за веру и волю свою. И гетман челом бьет его царскому величеству, чтобы пожаловал Войску Запорожскому хлеб, соль и всякие товары в городах царских покупать людям нашим торговым и, если возможно, таможенных пошлин не налагать и беспрепятственно те товары в землю украинскую пропускать.

И еще просит гетман царева указа, дабы, если казаки с Дона пожелают на помощь нашему войску притти, то чтобы его величество государь на их охоту запрета не налагал, ибо мы не раз вместе с казаками донскими ходили оружно на татар и на турок и над многими городами басурманскими победу одерживали. И о том доподлинно ведомо вам, пан дьяк.

А послы польские в Переяславе гетмана уговаривали, чтобы он покорился королю Яну-Казимиру, и за то король даст ему навечно гетманскую булаву над войском, и при той булаве оставляет ему город Чигирин и Киевское воеводство, и казаков реестровых будет двенадцать тысяч. Но гетман мира с послами не учинил, а прислал мне грамоту, дабы я о том сказал русским панам воеводам и его величеству государю стало бы то ведомо, что гетман готовится после Троицына дня к новому походу, ибо король выдал виц на посполитое рушение, а обещания нам дает только затем, чтобы внимание казаков усыпить. Шляхта хитра и себе на уме, пан дьяк.

Силуян Мужиловский замолчал. Ларион Лопухин разгладил бороду. Теперь должен был говорить он. Дьяк и подьячие насторожились. Алмаз Иванов шепнул что-то Лопухину на ухо. Лопухин кивнул головой. Иванов подал развернутый лист. Лопухин надел очки в серебряной оправе. На высокий лоб набежали морщины, под усами зашевелились тонкие губы.

- Посольский приказ гораздо обдумал все, о чем бьет челом посол именем великого гетмана Войска Запорожского и всея Украины... - Посмотрел пристально на Мужиловского, как бы давая время обдумать значение слов, какими величал гетмана.

Мужиловский поклонился. Впервые думный дьяк так величал гетмана. Выходит, признали и речь поведут иную.

Лопухин говорил:

- Посольский приказ на твою челобитную, по повелению его величества государя нашего Алексея Михайловича, прикажет во всех городах русских торговлю с твоим краем, господин посол, проводить свободно и беспошлинно, а также соль и хлеб за рубежи царства, в твою землю, господин посол, пропускать свободно, ибо его величество не может оставить без помощи людей одной веры, братьев наших по вере и крови. К донским казакам своих послов посылать гетман может, но грамоты царской на то не будет, а кто захочет итти ратно в войско гетмана - на то воля вольная... Другие твои челобитья нами еще не обдуманы, и о них речь у нас еще впереди...

Про польского посла Альберта Пражмовского Лопухин и словом не обмолвился. Зачем говорить?..

Силуян Мужиловский возвращался тем же путем в боярский дом за Лубянской

площадью, куда определил его на постой посольский приказ.

Думный дьяк Ларион Лопухин прошел в царские палаты. Шел не с красного крыльца, а темными коридорами. У дверей в приемную палату дремал стрелец с алебардой, услышал шаги, выпрямился. Лопухин поглядел укоризненно, хотел прикрикнуть, не успел, - за спиной послышалась чья-то тяжелая поступь. Оглянулся. Боярин Григорий Пушкин догнал его. Высокий, широкий в плечах, заполнил собой узкий коридор, толкнул сапогом дверь, пропуская Лопухина, пошутил:

- Мир или войну принес?

- Все тебе шутки, боярин, - слабо улыбнулся Лопухин.

В приемной палате, на скамье у стены, сидели князь Семен Прозоровский, окольный Богдан Хитров, боярин Василий Бутурлин. Пушкин поклонился, кряхтя, потеснил плечами Прозоровского и Хитрова, сел между ними. Князь вопросительно взглянул на Лопухина.

- Ведены мною переговоры двукратно, - сказал Лопухин.

- И что?

- Мыслю, князь, надо челобитную гетмана украинского принять, стрелецким полкам...

- Далеко не видишь, - перебил Хитров. - Ты, дьяк, только и знаешь, что у тебя под носом, в посольском приказе. Если гетмана под высокую руку государя принять, тогда конец миру. Снова война, а давно ли мы от нее избавились... - Хитров раздраженно махнул рукой, добавил: - Вот. Надо время оттянуть... Время...

- Войне все равно быть, - голос Лопухина задрожал. - Долго ли Смоленск и Белую Русь под игом иноземным терпеть будем? Государю терпеть того далее не можно. Да и смерды сами пойдут на помощь казакам.

Князь Прозоровский вмешался:

- И ты дело говоришь, дьяк, и ты, окольный. Посол польский недаром прискакал за помощью против гетмана украинского. Видишь, когда вспомнили паны Поляновский договор...

- Сейчас самое время у них Смоленск требовать, - заметил Бутурлин.

Лопухин молчал. Как всегда - все говорят, все советуют, а если не так - скажут: дьяк напутал...

Бутурлин продолжал:

- Войне все равно быть, а того, что шляхта на Украине творит, терпеть не можно. Мыслю я, надо посольство гетману послать.

- Посольство послать, выходит, признать его власть, а сие договору с королем польским всуперечь, - сказал Хитров.

- Гетман Хмельницкий царю бьет челом от имени всего народа. Должен ли государь не внять тому? - обратился Бутурлин к Хитрову. И, не дожидаясь его ответа, твердо сказал: - Мыслю иначе - не должен. Послов к гетману послать надо, а военную помощь дать ныне возможности нет. О том послу гетманскому сказать. У нас самих что в государстве творится... Отписал муромский воевода Иван Алферов: посадские людишки у него беспокойны, того гляди бунт будет. В Козлове то ж. По Москве темные люди смуту сеют. Казна государева пуста. Войну начинать еще рано, а принять гетмана ныне под высокую руку государеву - это и есть война. Сейчас ее быть не может. Так ли говорю, бояре и дьяки?

Кивали головами: так, так, умен Бутурлин. Хитров недобро смерил его взглядом: может, уже и с гетманским послом насчет себя договорился, уже где-нибудь на Украине и себе именишко обеспечил. Дальновидный боярин, что и говорить...

- Войну с королем польским ныне начнем, - продолжал Бутурлин, свейское королевство* в спину ударит. Еще рано нам за это братья, рано, не время. А гетману Хмельницкому всяческую помощь оказать должно и послов слать к нему непременно надо. Опять-таки патриарх иерусалимский Паисий сказал...

* Швеция.

- Ты, Бутурлин, что патриарх толкует, не слушай, - перебил Хитров, патриарху только о

вере забота... - Сказал и осекся. Понял: никто не поддержит. Пожав плечами, заключил: - Мне все равно, как хотите, решайте.

- А порешим так, как государь велит, - твердо сказал князь Прозоровский.

- В чем не согласны? - послышался голос в дверях.

Все вскочили. Сам государь стоял на пороге. Кинулись к руке. Приложились по очереди, стали полукругом. Алексей Михайлович прошел в глубь палаты, сел в кресло, оперся локтями о подлокотники. Повел глазом, бояре и дьяки молча стояли, ожидали государева слова. Указал пальцем на скамью под окнами. Тускло блеснул перстень на пальце. Бояре садились, кряхтя, искоса поглядывали на царя. Лопухин не сел, стал ближе к окну. Алексей Михайлович спросил у князя Прозоровского:

- Как порешили, князь?

- Посольство надо слать к гетману Хмельницкому...

- Польскому послу ответ дать двусмысленный надлежит, - вставил Бутурлин.

- Челобитную гетмана читай, - Алексей Михайлович кивнул Лариону Лопухину.

Лопухин откашлялся, переступил с ноги на ногу, надел очки, глухим голосом начал:

- <Наияснейший, вельможный, православный государь московский и наш великий милостивец и благодетель. Пишем мы твоей царской милости от имени Войска Запорожского и всего народа украинского, что стали мы оружно, сообща, всем народом, против угнетателей веры нашей и воли нашей. Бьем челом тебе, повелитель, государь русский, дабы ты приказал ратным людям своим итти на Смоленск, а мы отсюда наступать начнем и недруга повалим, и будешь ты, государь, нам царем православным. А мы того всем народом желаем, чтобы твоя милость нам православным царем и самодержцем учинилась. А коли войско твоего величества будет вместе с нами, и иноверцы западные под ноги твоего царского величества покорены будут. Просим смиренно твоей помощи, чтобы хлеб и соль дал люду нашему, который через войну в великое убожество впал, и велел войску стрелецкому своему на рубежах не чинить нам препон, в разе виктории сразу не добудем и почнем на землю твоего величества, государь великий, отступать, чтобы шляхта над нами злого надругательства не учинила. А будет твоя милость, послов своих к нам пришлешь, - премного благодарны будем и с ними трактовать станем, и послы милости твоей сами узрят муки народа нашего, а вера у нас общая и благословенная вовеки. Поклон низкий твоему царскому величеству воздаем. Писано в Переяславе, в феврале месяце года 1649 в день восьмой, при всей памяти, в полном разуме. Вашего царского величества наинижайший слуга Богдан Хмельницкий гетман со всем Войском Запорожским>.

- Что скажете, бояре? - спросил Алексей Михайлович, движением руки указав Лариону Лопухину сесть.

Первым начал князь Прозоровский. Земли под государевой рукой множить надо. Вековечная неправда то, что над Днепром коронное польское войско стоит и стольный Киев под чужими знаменами. Гетмана Хмельницкого поддерживать следует. Но теперь не время войну объявлять польскому королю, а иную помощь, какую гетман просит, оказать надо.

Бутурлин советовал не ожидать, чем кончится война гетмана с королем. Готовить ратных людей к лету. Хлеб собрать и тогда в поход выступать, и написать, что гетман со всем народом украинским под высокую государеву руку принят вскоре будет.

Пушкин сказал:

- Терпеть обиду, какую шляхта государевым титулам чинит, - грех смертный. Гетмана под высокую руку принять теперь должно, а войску стрелецкому на рубежах стоять с оружием и всяческим бережением.

Хитров молчал.

Алексей Михайлович потер виски.хлопотливое дело и опасное. Вспомнил, что говорил Паисий. Внимания достойны слова патриарха. У бояр мысли и слова, будто снег за окном, мнутся. Скажут и забудут, а бремя забот он на свои плечи принять должен. Так и теперь. Желанно, конечно, земли царства своего умножить. Королевский посол запугивает: чернь злое замышляет против господ, мол, язва бунта и на царские земли перекинется, если

ее не истребить сообща... Посол о своей корысти думает. Украинцы - люди православной веры, одного бога дети... Однако действовать надо осторожно.

Поглядел внимательно на бояра:

- Мыслью так: посольству нашему ехать к гетману немедля. Грамоту мою гетману посольство вручит. Торговым людям с Украины помех не ставить и пошлин с них не брать. Донские казаки пусть едут на гетманскую службу. Польскому послу сказать, чтобы с Войском Запорожским король мир учинил, итти на то войско ратно и оружно не можем, ибо то люди одной веры с нами, братья нам, и кровь христианскую проливать далее не советуем...

- Все, бояре! На том покончим.

...На следующий день Силуян Мужилковский снова был в посольском приказе. Ларион Лопухин передал ему волю цареву. После долгих переговоров согласились: Силуян Мужилковский лично вручает государю челобитную гетмана, но царь ее не читает, а передает боярам. Такой акт имел немалое значение. Обращение гетмана, таким образом, не оставалось тайной, и то обстоятельство, что царь принимал гетманского посла и брал в собственные руки грамоту от него, должно было заставить задуматься панов в Варшаве...

С волнением входил Силуян Мужилковский в царские палаты. Встречали его достойно, как великого посла.

Царь сидел на троне. По обеим сторонам - бояре и думные люди. Вдоль стен стояли стрельцы и рынды. Силуян Мужилковский, держа в правой руке грамоту, шел по красному ковру. В шести шагах от трона опустился на колени. Князь Прозоровский и боярин Бутурлин подняли его под локти. Приблизился к царю. Поцеловал руку. Алексей Михайлович взял из рук его грамоту и передал Бутурлину, не читая. Наклонив набок голову, выслушал, что сказал Мужилковский устно. В ответ промолвил:

- Шлю посла нашего к гетману Богдану Хмельницкому.

На этом аудиенция окончилась. Зван был затем Мужилковский на обед к Бутурлину. Кроме хозяина, за столом были Лопухин и боярин Артамон Матвеев. Пили здоровье царя, затем здоровье гетмана. После третьей чаши Лопухин сказал:

- Ты, посол, человек разумный, помысли: учинить ныне то, что просишь, не можем, а королю понять дадим - царева милость к гетману велика и пренебрегать этим король не может. Будем оказывать вам всякую помощь, а придет время - порушим договор Поляновский, в том будь уверен. Станут все люди русские воедино, кто нам тогда страшен?

- За то, чтобы были воедино, - поднял кубок Мужилковский.

- Вовеки, - ответил Лопухин.

- Под одним царем, - поддержал степенный Матвеев.

...Тринадцатого марта из Москвы, вместе с Силуяном Мужилковским, выехали думный дьяк Григорий Унковский и подъячий Семен Домашнев со слугами и стрельцами. Восемнадцатого марта царское посольство прибыло в Калугу, и в тот же день, покормив лошадей, двинулось дальше. Дорога встречала их теплыми ветрами и мягким снегопадом.

Тридцать первого марта посольство прибыло в Путивль. В Путивле послов встретил воевода Никифор Плещеев. У воеводы обедали. За обедом воевода сообщил Мужилковскому:

- Через рубеж идут к нам гетманские люди, бегут во множестве и с земель коронных от шляхты, а вдоль рубежей разъезды польские и литовские люто промышляют.

Григорий Унковский выслушал все это особенно внимательно. Полнобопытствовал, как удобнее и безопаснее проехать посольству, чтобы миновать разбойников. Никифор Плещеев посоветовал ехать напрямик, на порубежный украинский городок Конотоп, и сказал, что тотчас пошлет гонцов верхами, предупредить конотопского городского атамана, что едет посольство царское.

Первого апреля посольство тронулось в путь. Кроме посольской стражи, ехало еще сорок стрельцов воеводских.

Григорий Унковский был спутник молчаливый. Больше слушал, чем говорил. Царскую грамоту на всякий случай спрятал подальше, зорко поглядывал вдаль. Снег был укатанный и

мягкий. За Путивлем навстречу посольству уже выступила весна. Низовой ветер принес сладкие запахи степи, весело чирикали на дороге воробьи. Второго апреля за пять верст от Конотопа царское посольство встретил конотопский сотник Иван Рыбальченко в сопровождении сотни казаков с казацким малиновым стягом. Посольский поезд остановился. Унковский и Мужилковский вышли на дорогу. Рыбальченко сошел с коня, низко поклонился Унковскому, прижал руки к сердцу:

- Весьма обрадованы мы милостью великого государя московского, что шлет нашему гетману посольство, что ты, великий посол пан Унковский, своими глазами узришь наши беды и страдания и убедишься сам, как хотим мы быть под высокой царской рукою.

Спросил еще сотник Рыбальченко, как пан посол ехал, здоров ли и не терпит ли нужды в чем.

Унковский благодарил, осведомился, не наслышан ли пан сотник о здоровье гетмана и спокойно ли в гетманском городе.

- Хвала богу, гетман здоров и теперь в Чигирине. А в городе нашем спокойно. К нам разъезды войска литовского или коронного заходить бояться.

В Конотоп въезжали торжественно. Встречал весь город. Шеренги казаков стояли вдоль дороги, кричали:

- Слава!

Люди посадские бросали кверху шапки, ударили на крепостном валу казацкие пушки. Унковский, Домашнев, Мужилковский, выйдя из саней, шли рядом с Иваном Рыбальченком посреди широкой улицы, сопровождаемые стрельцами и казаками.

Григорий Унковский шел широкими шагами. Ветер загибал полы ферязи. Было жарко, и шубу посла несли за ним двое слуг. Видел посол, как чисто одетые мужчины, женщины указывали на него пальцами; вслух говорили:

- Глянь, вон тот важный боярин в высокой шапке - посол государев...

Стреляли пушки, палили из мушкетов и пистолей, кричали: <Слава!> Солнце светило в глаза, на западе пылало полнеба, уже день клонился к закату.

Подъячий Семен Домашнев в посольской книге записал:

<Апреля третьего дня вышли из Конотопа, в тот же день пришли в Красное, апреля четвертого дня вышли из Красного. Апреля шестого дня пришли в город Прилуки, апреля седьмой день вышли из Прилук, апреля в восьмой день пришли в Басань, а девятого дня вышли из Басани. Апреля десятого дня пришли в Переяслав. Тут была торжественная встреча, играли трубы, стреляли двадцать раз из многих пушек. Переяслав город большой, на шесть тысяч дворов, немало тут опытных в ремесле людей, которые строят дома, а также умеют строить суда, много экипажных мастеров, кузнецов, оружейников, кожевников, чеботарей, в городе этом готовят селитру и отменно выделывают порох.

Сказывали мне казаки, что порох выделывают в великом количестве и по другим городам, а также льют пули и ядра.

Апреля одиннадцатого дня посольство вышло из Переяслава. Посол Григорий Унковский и гетманский посол Силуян Мужилковский пересели в карету переяславского полковника, остальные - в добрые кованые, крытые возки.

В двенадцатый день апреля пришли в Олмязево, в тринадцатый день вышли из Олмязева и пришли в Домонтово, на перевоз реки Днепра, древними людьми называемой Борисфен. Река широкая и глубокая, течением весьма быстрая, по берегам уже покрылась нежною травой.

Апреля четырнадцатого перевезли посольство через Днепр, плыли вниз по течению до города Черкассы. В Черкассах снова встречали посольство пушечными салютами и со знаменами. В Черкассах Григорий Унковский проведал, что сотник черкасский Иван Кравченко ездил недавно в Крым, и Григорий Унковский того сотника спрашивал: от крымского царя и царевичей и от ближних ему людей в беседах про другие державы чего-нибудь не слыхал ли и нет ли у них с какими державами ссоры. И Иван Кравченко говорил: <Крымский царь сказывал мне в Крыму, что если бог поможет нам повоевать

Польшу, то гетман и все Войско Запорожское должны пойти воевать с нами Московскую державу>. И Иван Кравченко говорил, что гетман и Войско Запорожское у Московской державы православных христиан воевать не станут. И Григорий сотнику Кравченку говорил: <У великого государя нашего, у его царского величества, с крымским царем зачем войне быть, - и такие слова говорить негоже>. И Иван Кравченко клялся, что говорит правду, что такие слова слышал он от самого царя крымского.

Того же дня апреля шестнадцатого вышли из Черкасс. За десять верст от резиденции гетмана Богдана Хмельницкого посол Силуян Мужилковский пересел на коня и в сопровождении казаков поехал вперед, чтобы предупредить гетмана>.

9

...Невесте Мартына Тернового Катре снился сон. Видела широкое, бескрайное поле. Ветер гнал волны по золотому пшеничному морю. Катря шла тропкой среди пшеничного поля, ступала легко, трогала руками колоски, а ветер нашептывал в уши:

- Спеши, дивчина, спеши, вон казак тебя уже заждался.

И Катря шла еще быстрее. Внезапно поле окончилось, и перед глазами Катри явилась широкая река. Сердитые волны били в берега. Хлестал в лицо злой ветер. И Катря, наперекор ветру, бежала к берегу, потому что увидела на воде Мартынову голову и уже слышала, как Мартын звал ее. До берега было недалеко, но Катря никак не могла добежать, а Мартын звал ее. Ветер принес короткое слово:

- Спаси!

Катря кинулась к реке, но ветер стал на пути и не пускал. А волна все дальше относилась Мартына, и Катря крикнула, позвала его, но голос ее погасило ветром, и она упала и, уже падая, видела, как синяя ненасытная волна накрыла голову Мартына.

...Катря проснулась среди ночи. Вскочила. Кинулась к окну. Сердце бешено билось. Мать на печи затревожилась:

- Что там, дочка? Татары? Шляхта?

- Спите, мама, почудилось мне...

- Перекрестись, дочка...

Катря перекрестилась. Постояла минутку. Прислушалась: мать заснула. Тогда, ступая на цыпочках, накинув свитку, шагнула в сени, откинула засов и выглянула.

В синем небе гасли звезды. Серой полосой занимался рассвет. Кричали петухи. Ветер словно бархатным крылом гладил лицо. Катря переступила порог, затворила за собою дверь, прижалась к стене. Дышалось легко и свободно.

Спал Байгород, только где-то у околицы бил в колотушку дед Лытка да словно конские копыта стучали - то рокотала вода у мельничной запруды. Катря, казалось, еще видела сон и слышала Мартынов голос. <Нехорошо там ему>, - подумала она. Обещал на осень приехать. Прошла осень, зима, уже весна гудит ветрами над Байгородом, а Мартына нет... Уж не забыл ли Катрю? Где-нибудь краше дивчину встретил... А может... Гнала от себя это <может>. Нет! Мартын жив! Он должен жить. А сон? И снова тоска наполняет сердце. Спросить бы у ветра, летящего над хатой, - может, он видел, слышал. У птиц, что ровным треугольником тянутся с юга. Вон они, высоко в рассветном небе. Падает косо на затихшую землю и долго звенит, как струна, далекий журавлиный крик.

И чудится Катре злое и нерадостное. Принесла ей злая доля великое горе. Лежит среди степи Мартын. Черный ворон выклевал его очи, волки погрызли тело, шелестит, равнодушный ко всему, высокий степной ковыль... Или островерхий курган в широкой степи, словно часовой, стережет Мартынов вечный сон... Или где-нибудь в неволе татарской, в далеком Крыму, голый по пояс, обожженный горячим солнцем, с глазами, залитыми потом, бьет и бьет в скалы тяжким молотом... А может, погибает на колу...

Прижимается к стене Катря. Ластится весенний ветер, рассвет подымается над Байгородом. Слезы туманят взор. От них легче становится на сердце. Широко раскрыты глаза. Текут по лицу слезы, задерживаются в уголках губ. Исчезли последние темные тени ночи. В прозрачном свете апрельского утра вырисовываются хаты. Просыпается Байгород.

Катря возвращается в хату. Мать уже хлопочет у печи, только через плечо глянула на Катрю. Катря садится на скамью.

- Дурной сон видела, мама...

- Не верь, дочка, снам.

Разогнула спину, охнула, подошла к Катре, прижала к груди. Катря снизу заглянула в глаза, теплые и все понимающие материнские глаза.

- Снам не верь, дочка, и злым, и добрым. Сон - одно, жизнь - другое.

Посмотрела на Катрю и спросила:

- Мартын снился... и, видно, нехорошо?

- Да, мама.

- Сердце мне подсказывает, приедет Мартын.

А сама подумала:

<Обманываю тебя, дочка, не приедет, сердце мне злое вещает. Где же он девался? Уж не сложил ли голову в бою? Или забыл?>

Поцеловала Катрю в голову.

- Скоро землю пахать, дочка. Крепких рук нет, сами с тобой управимся. Правда, дочка?

Хотела развлечь, на другое перевести мысли. Услышала равнодушное:

- Хорошо, мама.

Подумала:

<Был бы зять, вышел бы в поле, запряг волов в плуг, - хвала господу, есть теперь волы в хозяйстве, и земля есть, не много, но и не мало, хватит своего хлеба и для нее, старухи, и для Катри. Лен к осени соберет, напрядет полотно, продаст, потом в Брацлав на ярмарку поедет, купит сапожки Катре. - Оглянулась: в хате убого. А был бы зять - иначе выглядела бы и хата. Добрый парубок Мартын. И родители добрые у Мартына. Да и они ждут, и мать, старая Максимиха, все глаза выплакала. А может, вернется?>

Как искорки в печи, вспыхивают и погасают мысли.

<А может, паны вернуться? - Сама утешает себя: - Не вернуться. Побоятся казаков. А если вернуться, добрее будут>.

Но другая мысль словно насмехается:

<Как же, жди от них добра! Увидишь! Не от их ли добра помер твой муж Пилип Макогон?>

...Летели дни. Манящие дни веселого весеннего месяца апреля. Теплилась в Катрином сердце надежда. Встретила мать Мартынову на улице. Про сон не сказала. А Мартынова мать нежно поцеловала ее в обе щеки.

- Приходи к нам, дочка. Зачем забываешь? Дождемся мы своего казака...

Когда весеннее солнце припекло землю, вышли байгородяне в поле с плугами. Пахали землю, искоса поглядывали на панский палац. Радость и тревога в сердце рядом.

А земля весело встречала хозяев. Мягко ложилась под плугами жирными пластами и принимала в себя зерно, жадно раскрыв свою грудь. Уже высохли дороги и курилась пыль вслед за верховыми и возами. Солнце стояло в небе, чистое, огнеликое, и посылало на землю, на сады, на пруды за селом горячие лучи.

Катря тоже шла за плугом. Мать держала на веревке через плечо лукошко. Ветер ласкал лицо, разглаживал морщины. Мать щедрой пригоршней сыпала во вспаханную землю пшеничные зерна и мечтала о том дне, когда всколосится нива и выйдет она с Катрей с серпами в поле.

Максим Терновыи, идя за плугом, поглядывал на Катрю. Хорошая дивчина. Глядел на нее, вспоминал Мартына.

...Поздно возвращались с поля. Максим Терновыи ковылял рядом с соседом Федором Лободой. Истомленные дневной работой, молчали. Сладко ныли плечи. Думалось: явь ли все это? А может, сон? Может, завтра до зари застучат в дверь властно и нетерпеливо панские дозорцы, закричат:

- Гей, хлоп, живей на панское поле!

Может, завтра набегут, как саранча, закроют солнце - и снова все по-старому, снова...

- Нет, не будет так, - сказал себе твердо Максим.

Федор Лобода спросил:

- И не слышать, как в этом году, чинш кому платить будем?

- Гетманские державцы, видно, собирать будут, - ответил Максим Терновый. - Надо гетману подмогу дать. Хлеба чтобы у войска вдосталь было, еще придется горя хлебнуть...

- Думаю, и татары дадут себя знать, - сказал Лобода, попыхивая люлькой. - И отчего доля у нас такая?

Максим Терновый молчал. Поглядел на воз. Невесело посматривая на дорогу, сидела, свесив ноги через край воза, старуха. Уколело в сердце Мартына все высматривает. А славно было б, если бы сейчас вдруг явился сын. Но так только в думах и песнях бывает. Печально улыбнулся Максим Терновый.

- Сила у шляхты великая, - Федор Лобода помахал кулаком. - Они, известно, богатство нашим потом добыли, за наше жито нас и побито.

Шутка не удалась.

- Что ж, теперь их сила нам не так и страшна. Не одни реестровые с шляхтой воюют, все попольство, вся Украина... - Максим Терновый говорил раздумчиво, словно что-то доказывал самому себе.

Лобода сказал, понизив голос, - лучше, чтобы такого бабы не слышали:

- Кум был в Брацлаве на ярмарке, встретил одного шляхтича знакомого, похвалялся панок: <Обождите, скоро пан Корецкий вернется. Король с гетманом замирился, булаву ему пожаловал и записал в реестровые казаки десять тысяч>. Может ли такое быть, Максим?

Ждал ответа, знал, что и Максим Терновый так же, как и он, захочет сказать: <Нет. Не может так быть!> Терновый после недолгого молчания заговорил:

- Гетман Хмель не оставит нас. - Подумал и сурово добавил: - А коли оставит, ему же горше будет. Другого гетмана выберем...

- Что ты? - испугался Лобода. - Опомнись...

- А что? Не раз уже гетманы поднимали нас, да нашей кровью, Федор, булаву и славу себе добывали. Память у них была короткая: пока в бою, так на обещания щедрые, а только своего достигли - пропадай пропадом, снова в быдло иди... Только теперь так не будет, не должно быть...

- Не должно быть, - повторил за ним Лобода. - Хмель не из таких...

- Про хмелят не забывай, - сказал Максим Терновый, - из них иные тоже зарятся на шляхетство...

Федор Лобода печально покачал головой:

- Теснота, некуда податься бедному человеку...

Максим Терновый оглянулся. Вокруг расстилалась бескрайняя степь. Синим бархатным покровом ложился на поле вечер. Ширь какая, глазом не окинешь. А правду говорил Лобода. И, словно отвечая самому себе, сказал:

- Тесно нашему брату, и на этом, и на том свете тесно.

У края неба кончался день. Первая звезда вспыхнула в небе и тускло мерцала, скрываясь за прозрачным облачком.

...Упадет весенняя ночь на Байгород. Кто, утомленный работой в поле, спит, кто сидит возле хаты, думает, а другие собрались в кружок, беседуют. В кружке - дед Лытка. Его и годы не берут. Никто в Байгороде не скажет, сколько лет деду Лытке. А послушать, что рассказывает, - так не меньше сотни лет прожил дед.

Дед Лытка смотрит на звезды. Ему надоело слушать жалобы и ожидать, что будет дальше. Вот если бы с плеч сбросить лет сорок - пошел бы в казаки. Скучно деду. Кабы случай какой - ударил бы на сполох...

10

Хутор Субботов достался Богдану Хмельницкому в наследство от отца. Над Тясмином, за высоким частоколом, перед которым выкопан глубокий ров с валом, стоит на обрывистых

кручах гетманский замок. Отсюда стелется к югу сизо-зеленая степь...

Из окон гетманской опочивальни далеко видна и зеленая долина Тясмина, и волнистая степь, и пыльные шляхи, плывущие к далекому горизонту.

Весна прошла по степи, вызеленив ее раньше, чем в прошлом году. Черемуха под окнами покрылась округлыми почками. Весело шумели ветви развесистых яблонь. Сильно пахла верба. Под черемухой длинное каменное корыто на трех каменных львах. Львы упираются толстыми лапами в землю. В пасти каждого - серебряное кольцо. К этим кольцам привязывают своих коней старшины, когда приезжают к гетману из Чигирина. Окна в гетманском доме овальные, подоконники широкие, каменные, стекло в дубовых рамах разноцветное. Над окнами вылеплено из гипса: галопом скачут кони, дымятся пушки... Лепил этой весной монах Вонифатий из Печорского монастыря, по приказу гетмана.

Толстые кирпичные упоры по краям дома выгибаются вперед. На правом крыле островерхая башня, обведенная острыми зубцами. Окна - высокие и узкие, глянуть издали - будто щели. Внизу - просторное, широкое, почти во всю длину дома крыльцо на двенадцати столбах, устланное разноцветными плитками с искусно высеченными цветами. Над крыльцом высится треугольником фронтон. В полукружии фронтона - барельеф. На нем медведь лапами тащит соты из поломанных ульев, а сзади к нему подкрался пасечник, замахнулся на медведя топором... Вверху, над барельефом, надпись: <Что будет, то будет, а будет то, что бог даст>.

На башнях у частокола днем и ночью стража. Караульные зорко следят за тем, что делается в степи и на шляхах. За частоколом расставлены пушки, мортиры, пищали. В погребах заботливо сложены мушкетеры, пики, сабли, пистолеты, десять камней* пороха и двенадцать камней свинца, две тысячи зарядов для мортир и мушкетов. Личная стража гетмана живет в домах под частоколом. За гетманским домом большой густой сад, в саду пасека на триста ульев, две беседки: одна - над прудом, другая - под вишнями.

* К а м е н ь - мера веса от 24 до 36 фунтов.

Хмельницкий приехал из Чигирина в воскресенье вечером. На другой день проснулся рано. Елена еще спала. Тихо, чтобы не разбудить ее, затворил за собой дверь опочивальни. Вышел в большую, с высоким потолком, горницу.

Солнце лило в три окна свои золотые лучи. Гетман откинул задвижку и толкнул раму. Навалился грудью на подоконник, высунулся в окно. В лицо ударило душистыми запахами весны. Далеко расстилалась перед глазами степь. На башнях над частоколом стояли дозорные. У ворот, окованных железом, закинув руки за спину, скучал есаул Демьян Лисовец; оглянулся, увидел гетмана, поздоровался. Гетман помахал ему рукой. Закрыв окно. В горнице приятно посвежело. Подошел к круглому столу у широкой кафельной печи, уселся в глубокое, обитое кожей кресло. Справа на полках лежали книги. Мирное утреннее настроение проходило. Вспомнил Чигирин - и сразу нахлынули беспокойные мысли. На днях из Бахчисарая прибыл Антон Жданович. Привез, казалось, утешительные известия. После Троицына дня хан Ислам-Гирей придет на помощь гетману со всей ордой. Сжалось сердце. Он знал, чего стоит такая помощь. Закрыв глаза. Виделась широкая дикая степь, высокая трава, битые конскими копытами шляхи, пыль над ними, хищный крик: <Алла!> И топот сотен тысяч лошадей... А потом пепелища, пожарища, неволя для тысяч...

Вздыхнул, открыл глаза. Взял с полки книгу. Развернул. Грустно улыбнулся, прочитав вслух:

- <Счастлив тот, кто, удалившись от торговых дел, так же как древние люди, пашет отцовское поле на своих быках>.

Хорошо было Горацію! А куда удалиться ему?

Отложил книгу. Остановился взглядом на <Сравнительных жизнеописаниях> Плутарха. Любил их с давних пор. В трудные минуты они бывало приносили ему отраду, а вот теперь он нехотя перелистал их и равнодушно отложил.

Все это далекое, чужое. Существовал Чигирин, повседневные заботы, тетушка Варшавы,

коварное согласие хана, и не было уже уравновешенности и спокойствия, ради которых он бежал в Субботов.

Встал, подошел к высокой резной двери, приоткрыл, заглянул. Елена спала. Пусть отдыхает. Может быть, только рядом с нею он, хоть не надолго, забывает заботы и несчастья свои. Закрыв дверь. Снова подошел к окну.

Всплыло в памяти, как стоял у этого окна в тот весенний день, когда примчался из Чигирина, узнав о наезде на Субботов Чаплицкого. Невольно оглядел горницу. Что тогда тут было? Вокруг дома дотлевали службы, крыльцо обгорело, скот и лошади выгнаны в степь, все разграблено.

Звал Елену, хотя знал: напрасно, увез ее подстароста Чаплицкий... Осмелел тогда хитрый шляхтич! А почему? Не было сомнений - в Варшаве пронюхали, что собирается Хмельницкий делать весной... Хорошо рассчитал Калиновский, как пустить худую молву о нем. Еще и теперь шипят, где могут:

<Разве за веру и права народа поднялся Хмель? За себя, за свою собственную обиду, которую причинил ему, хлоп, шляхтич и достойный кавалер Чаплицкий...> Именно так говорил на сейме канцлер Оссолинский...

Они все сделали, чтобы выставить его перед всем светом жалким и недостойным, потому что обесславленного легче поразить и кто на такого руку подымет - тому честь и хвала. Может, и вправду напрасно возвратился он к прежнему, женился на Елене? А разве он мог ее забыть? Нет! Не мог! Горько было признаться, но должен был.

Чем приворожила к себе? Какой отравой напоила? Нелепые мысли! Отошел от окна. Хотелось думать о другом, но не мог, так же как не мог он забыть ее все эти долгие месяцы, хотя они доверху были полны иным, более значительным для него.

Приглушенно звенят серебряные шпоры. Тонет звон их в пушистом ковре... Хмельницкий еще долго не мог бы погасить воспоминания, если бы не шаги за дверью и голос Демьяна Лисовца с порога:

- Здоров будь, гетман! - Поклонился, а сам почему-то скосил глаза на резную дверь опочивальни.

<И этот, видно, не одобряет...> - подумал Хмельницкий.

- Что скажешь, есаул?

- Лаврин приехал.

- Скорей сюда!

- Умывается, сейчас будет. - Лисовец вышел.

Гетман слегка забеспокоился. Что там случилось, что прискакал Капуста? А Лаврин уже входил в горницу. Поздоровались, сели у стола.

- Есть недобрые вести?

Капуста разгладил тонкие усы, потер заросшие щеки, подумал: <Надо было бы побриться>.

- Не тяни! - гетман смотрел в глаза строго.

- Недобрые вести, Богдан, из Варшавы. Пишет Малюга: король снова выдал виц на посполитое рушение. Послал людей в немецкие земли нанимать пехоту. Литовский гетман Януш Радзивилл со всем войском станет к Пасхе на северных рубежах. Цесарь Фердинанд третий дал заем и велел продавать пушки коронному войску. Хану крымскому король и шляхта обещают уплатить дань, если от нас отступится. В Москву посла послали, Пражмовского, требуют, чтобы царь Алексей Михайлович выполнил договор Поляновский о взаимной помощи, стрельцов послал на нас войною...

Замолчал. Капуста краем глаза следил за гетманом. Тот уставился куда-то в угол. За дверью опочивальни что-то упало.

- Кто там? - настороженно спросил Капуста и, прежде чем гетман успел ответить, подскочил к двери и распахнул ее.

Елена, придерживая на груди рубашку, стояла на пороге. У Капусты блеснула мгновенная догадка: <Подслушивает>. Уловил замешательство на ее лице, но в тот же миг

вкрадчиво блеснули глаза Елены, мягко поднялись длинные ресницы... Пропела бархатно:

- Ну, и напугали вы меня, пан Лаврин!..

Гетман уже стоял за спиной Капусты. Капуста молча отошел от двери. Гетман не долго оставался в опочивальне. Вышел оттуда, не глядя на Капусту, сказал:

- Пугливые все стали... И ты, Лаврин...

Тот многозначительно ответил:

- Я осторожен, Богдан.

Гетман махнул рукой:

- Ладно, Лаврин, - и заговорил о другом: - Так я и знал. Думают этим летом задушить нас, одним ударом покончить. Что ж, и мы не спали. Вот что, Лаврин, - шли гонцов во все полки. На этой неделе всем полковникам быть в Чигирине. В Бахчисарай теперь же ехать Тимофею, с ним Джелалия, и еще кого-нибудь, - потер рукой лоб, - хотя бы Ивана Золотаренка послать, человек толковый, разумный, его вообще держи поближе... Слушай дальше...

- Слушаю, гетман.

- В Бахчисарае зорко следить за королевскими послами... Деньги обещают... А где они их возьмут? Паны своих не дадут, хоть вся Речь Посполитая пропадай, свои кошельки не развяжут... Я их знаю!

Заскрежетал зубами. Пальцы беспокойно расстегнули кунтуш, нащупали сердце. Что это? Вести нерадостные встревожили сердце или, может, годы?..

- Так, Лаврин...

Сказал, а сам подумал: <Что так?> Внезапно решил:

- Что ж, поедим - и в дорогу.

...Завтракали все вместе. Елена подавала кушанья. Налила гетману в серебряный кубок меду.

- Не надо, Елена. Сердце болит.

Заломила руки. Налегла грудью ему на плечо.

- Не пусти тебя одного. С тобой поеду...

- Нет, - ответил твердо, - останешься здесь, нечего тебе там делать. У меня забот по горло... - Налил в чашку капустного рассола и с наслаждением выпил.

Вышли на крыльцо. Уже стояла карета. Четверка лошадей вороной масти беспокойно била копытами. Казак на козлах крепко держал вожжи в руках. Есаул Лисовец открыл дверцы. Хмельницкий стал на подножку. Джура поддерживал его под локоть. Карета наклонилась мягко. Гетман с коротким смехом сказал:

- Подавился бы князь Вишневецкий, знай он, что я в его карете ееду.

Опустился на сафьяновые подушки. Рядом сел Капуста. Казак отпустил вожжи. Верховые выстроились за каретой. Распахнулись ворота.

...Елена долго стояла на крыльце, махала рукой. Казаки у ворот говорили между собой:

- Добрая женка пани гетманова.

- Не успел еще пан гетман уехать, а она уже затужила.

Елена стояла, задумавшись, на крыльце, смотрела вслед карете, и думала про Лаврина Капусту. Как случилось, что она поскользнулась и ударила плечом о дверь? Если бы не это, она услышала бы имя того, кто пишет из Варшавы. Кто же это может быть? Кто? Ее знобило. Быстрыми шагами прошла в горницы. Села перед зеркалом. Из него глянула на нее светловолосая женщина с прямым носом, широко расставленными глазами, в которых мерцают зеленоватые огоньки. Чуть припухлые губы приоткрыты, и блестят ровные зубы. Спокойная и выдержанная. А какой же ей надлежит быть? Только чаще, чем нужно, колыхался на груди золотой медальон, с которым она не расставалась. Значит - волнуется.

Посмотрела на медальон - и забыла о зеркале и о том, что собиралась умыться лицо миндальной водой. Погасли зеленоватые огоньки в глазах.

В памяти возник вечер: Выговский вошел в ее покой в Чигирине, пригласил к себе в гости вместе с гетманом, а после, уже уходя, протянул бархатный кошелек, сказал:

- Это в Переяславе ксендз Лентовский передал.

Она, должно быть, покраснела, потому что горело лицо. Пытливо поглядела на Выговского: удалось ли ей скрыть свое беспокойство от его зоркого глаза?

А он сделал вид, что ничего больше не знает. Ушел, оставил ее в тревоге, пожалуй, даже в страхе...

Оставшись одна, плотно затворила дверь, нагнулась над медальоном, нажала с правой стороны. На шелковой ленте прочитала: <Сообщи его имя>. Поняла. Лихорадочная дрожь охватила ее. Сожгла ленту и надела медальон. Мелькнула мысль: <Если Богдан спросит, откуда медальон, скажу - купила в лавке, еще когда он был в Переяславе>. Так и сделала, он и не обратил никакого внимания, пропустил мимо ушей.

<Сообщи его имя...> Что, если Выговский о ней что-нибудь знает? Эта мысль мучила ее теперь постоянно. А Выговский, как и прежде, низко кланялся, целовал руку, льстил, словно ничего и в мыслях не было. Может, и вправду у него на душе нет ничего плохого? А может, и он?.. Даже сам ксендз Лентовский, наверное, растерялся бы на ее месте.

И вот сегодня она могла услышать то имя... Но Капуста... Как он сказал гетману? <Я осторожен...> И как он глядит всегда на нее! Может, это только кажется? А может, и он что-то знает...

Елена отходит от зеркала. Неторопливо открывает медальон. Там ничего нет. И никто не знает, что там было. А Выговский? Может быть, он сказал Капусте? Если бы мог сказать, Лентовский не передавал бы через него. Ах, мыслей сотни, а она одна, и посоветоваться не с кем. Одна! И она еще не может назвать то имя.

Хмель! Так она про себя называет гетмана. Было когда-то у нее чувство, острое и прихотливое. Теперь сгорело, нет ничего. Страх и пустота. И какие у него тяжелые глаза! Точно раскаленное железо течет из них, когда он порою глянет на нее. И сын его Тимофей недобро глядит. И Капуста... Как подумает обо всем этом - своими руками насыпала бы им в кубки...

- Успокойся! Держись!

Сама себе это приказала. И подчинилась. И уже нет пугающих мыслей.

Служанки прибирают светлицу. Пани гетманша напевает веселую песню, вышивает бисером пояс гетману. Солнечные лучи льются в окно опочивальни. За окном весна. Гуляет ветер по степи. Умелой рукой вышивает гетманша по синему бархату причудливый, загадочный узор. Мысль течет, как нитка бисера. Сказали ей тогда:

- Иди в Чигирин, упали на колени, святая церковь тебя благословляет...

Как страшно говорил похожий на мертвеца иезуит! Еще и сейчас перед глазами высокая фигура, пергаментное лицо, костлявые пальцы. Он говорил:

- Иди и не бойся. Сам святой папа будет знать о твоём подвиге. И жизнь твоя, освященная им, пребудет в безопасности, и все грехи тебе прощены будут, ибо так хочет Ватикан. И ты поступишь так, иначе проклятие и кара падут на твою голову.

А рядом стоял ксендз Лентовский, и гладил по голове, и шептал:

- Слушай, дочь моя, и повинуйся. Святое дело поручает тебе церковь.

Она повиновалась. А что ей было делать? Чаплицкий поиграл ею и бросил, как щенка. Усадьбу тетке сожгли схизматики. Тетка от горя умерла. Одна. Нет, теперь не одна. О, еще будет Варшава, и будет Краков, и будет еще золото! Все будет!..

Служанки дивятся, какой звонкий голос у пани гетмановой и сколько польских песен знает она. Только старая Оксана, кормилица гетманского сына Тимофея, ворчит:

- А наших песен ни одной не знает. Что говорить - шляхтянка!..

Служанки машут руками на старуху. Разве можно такое говорить? Гетман услышит - жди тогда беды.

...А Елена думает: что, если этим летом не окончится?.. И снова то проклятое: <Сообщи его имя>. Да, еще тогда, в Киеве, они говорили: <Надо знать: кто же схизматику Хмелю передает вести из Варшавы?>

За окнами апрель играет низовым ветром и золотом солнца. Покой и тишина в

субботовском замке гетмана Украины. Верная стража стоит за высоким частоколом.

Далеко под кручами, в долине, засевают гетманское поле.

В ясной лазури бродит облачко.

11

Григорий Унковский, посол русского царя, подъезжал к Чигорину. Был погожий день. По-весеннему светило солнце. Низовой ветер веял в лицо пряными запахами степи. Скоро Чигирин - и конец путешествию.

В пяти верстах от города посла встретили Силуян Мужиловский, гетманский хорунжий Василь Томиленко и сотня казаков с развернутыми знаменами.

Хорунжий Василь Томиленко поклонился послу:

- Прислал нас гетман Богдан Хмельницкий и приказал тебя, царского величества дворянина, встретить и спросить про твое здравие и как тебя бог милует.

Унковский сошел с коня. Учтиво поклонился. Воротник фезы упал на затылок.

- Как здравие гетмана?

Пока послы обменивались приветствиями, казаки здоровались со стрельцами.

- Нам теперь, когда мы вместе, и сатана не страшен будет. Пойдем за море турка воевать.

Стрельцы говорили:

- На Азов ходили вместе, воевали ладно, и теперь надо так. Коли что ударим сообща!..

Вдали заголубел Тясмин.

В полуверсте от Чигирина царского посла встречали: сын гетмана Тимофей, генеральный писарь Иван Выговский, есаул Михайло Лученко, чигиринский городской атаман Лаврин Капуста.

Пятьдесят трубачей трубили в трубы. В шесть рядов стояли казаки в алых жупанах, в высоких серых смушковых шапках с красными шлыками. Солнце блестело на обнаженных саблях.

За Тясмином в крепости гремели пушки. Малиновый звон колоколов плыл в воздухе. Тимофей, поздоровавшись с послом, снова приветствовал его от имени гетмана:

- Велел отец мой, гетман Богдан Хмельницкий, у тебя, царского величества дворянина, спросить про твое здравие и как тебя в дороге бог миловал.

- Милостию божию и царя, и государя, и великого князя Алексея Михайловича всея Руси до сего места доехал, дай бог здоровья. - Унковский поклонился и спросил в свою очередь:

- А как здравие гетмана?

- По милости божией отец мой, Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского и всея Украины, жив, здоров и велел тебя, царского величества дворянина, встречать и бить тебе челом, и просить тебя ехать в Чигирин, и не удивляться, что встретили тебя пешие: весьма полноводен в этом году Тясмин, и придется нам переправляться на чайках*.

* Ч а й к а - казацкий челн.

Тимофей говорил спокойно. Выговский внимательно наблюдал за ним. Раздражала самоуверенность молодого гетманича. <Подальше ему надо от этих дел быть>, - решил про себя генеральный писарь.

Посольство переправилось через Тясмин и разместилось в доме Лаврина Капусты. После долгой дороги Григорий Унковский лег отдохнуть. Подъячий Семен Домашнев занялся грамотами и подарками. Стрельцы чистили одежду, мылись, скребли лошадей. Вокруг двора густо стояли чигиринцы, казаки, мещане. Переговаривались со стрельцами. Какая она - Москва? Как далеко ехать до нее? Быстрые ли реки в русской земле?

Казак в порванной свитке, надетой прямо на голое тело, повис на заборе, спросил:

- А паны у вас какие, лютые или добрые?

- Такие, как везде, - процедил сквозь зубы молодой стрелец, стоявший поближе к забору...

На подворье к царскому посольству завезли от гетмана десять пшеничных караваев, десять ржаных хлебов, двух поросят жареных, гусей жареных, кур, творогу, яиц, барана, пятьдесят черенков соли, большую сулею венгерского вина, сулею мальвазии, три ведра меда, пять ведер пива, корм для лошадей.

Казак растолкали толпу у ворот. Начали разгружать возы. Казак, которому хотелось знать, каковы паны в Московском царстве, снова повис на заборе, отыскал среди стрельцов того, который отвечал, поманил к себе пальцем. Стрелец подошел к забору. Протянул казаку руку, дернул к себе. Тот мигом очутился среди стрельцов. Казак подмигнул тем, кто остался за оградой, добыл из широкой штанины выпуклую флягу, протянул стрельцу:

- Выпьем и побратаемся. Чтоб и твоих, и моих панов к сатане в пекло.

Стрелец припал губами к фляге. Выпил добрую половину. Отдал казаку.

За забором хохотали. Казак тоже выпил. Обнялись, расцеловались. Скоро и прочие казаки перебрались через забор. Стража у ворот покрикивала, но никто не слушал. Притихли, когда въехал во двор есаул Михайло Лученко.

...На другой день Григорий Унковский, сопровождаемый свитой, поехал к гетману. Впереди посла ехал подъячий Семен Домашнев, вез, держа в руке, цареву грамоту. По бокам шли Силуян Мужилковский, Выговский, есаул Лученко, Лаврин Капуста. На улицах в великом множестве стоял народ.

Гетман встретил посла на крыльце. Поздоровались, гетман взял посла под локоть и проводил в покои. Оба остановились посреди горницы. Гетманские полковники окружили их, отступя на несколько шагов. Хмельницкий был в шитом золотом малиновом кунтуше с голубыми подрукавниками. Через плечо на золототканном ремне сабля с серебряным эфесом. В руке булава. Из-под густых бровей на Унковского смотрели пронизательные глаза. Унковский говорил гетману:

- Божию милостью великий государь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец и многих земель государь и обладатель, прислал тебе, Богдану Хмельницкому, гетману Войска Запорожского и всея Украины, и всему Войску Запорожскому свою, царского величества, грамоту.

Семен Домашнев протянул послу грамоту. Тот взял ее обеими руками и подал гетману. Гетман поцеловал печать и прижал грамоту к сердцу.

Унковский продолжал.

- Божию милостью великий государь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец, жалует тебя, гетман, и твоих полковников, и все Войско Запорожское и велел спросить вас о здравии.

В торжественной тишине ровно звучал голос гетмана:

- Я и полковники мои, и атаманы, и есаулы, и все казаки войска нашего на милости его царского величества бьем челом.

Гетман низко поклонился. Поклонились полковники.

- И еще спрашиваю тебя, посол его величества, как государево здоровье и царевича Дмитрия Алексеевича здоровье.

Унковский ответил:

- Слава богу, государь и царевич здоровы. И жалует великий государь и великий князь Алексей Михайлович тебя, гетман, тремя сороками соболей, и сыновей твоих, Тимофея да Юрия, двумя соболями каждого, и полковников твоих Ивана Чарноту, Лаврина Капусту, Федора Вешняка, Ивана Мазуренка, Матвея Гладкого, Михайла Громыку, да генерального писаря Ивана Выговского, да есаула Михайла Лученка двумя соболями каждого.

Посольские писцы разносили подарки. Гетман пригласил посла к столу. Прошли в соседний покой, где уже были накрыты столы.

Джурсы наполнили серебряные чаши. Посол сидел по правую руку от гетмана, по левую - Выговский. Гетман поднялся с чашею в руке.

- Счастливы, панове, принимать у нас дорогого гостя, посла его величества великого государя и великого князя, самодержца всея Руси Алексея Михайловича, думного дьяка

Григория Унковского. Пускай пан посол сам убедится, какие муки и страдания выпали на долю края нашего и как жаждут сердца наши, чтобы мы стали навеки братьями в единой державе русской, под высокою рукою царя и князя, самодержца всея Руси Алексея Михайловича. Стоим мы, пан посол, на пороге новых страшных событий. Сказал уже нам посол наш Силуян Мужилковский о помощи, какую великий царь подает нам. Бью челом ему и высокородным боярам за такую добрую помощь и тешу сердце свое надеждой, что придет еще час, когда станете вы с нами плечо к плечу, ратно и оружно, дабы нашу волю и веру сообща оборонять. Так выпьем, панове, за здоровье великого государя и князя великого, самодержца всея Руси Алексея Михайловича!

Звенело серебро. Снова гремели пушки в крепости.

...Переговоры начались на следующий день. Гетман говорил Унковскому: мол, писал он через своего посла Силуяна Мужилковского, что хочет со всем войском и народом всем стать под высокую цареву руку, а в грамоте царя о той его просьбе ничего не сказано. Унковский пояснил:

- Вы подданные польского короля, а с ним у царя договор про вечный мир, подписанный еще покойным родителем его. И, поступив так, взяв тебя, гетман, с Войском Запорожским под свою высокую руку, тем самым царь тот договор ломает...

Хмельницкий раздраженно перебил:

- Ведомо должно быть, тебе, посол, что я присягу от имени Войска Запорожского королю Яну-Казимиру не давал и подданным его себя не считаю...

- А во многих универсалах своих пишешь ты, гетман, титул свой: <Гетман Войска Запорожского его милости короля...>

Унковский хитро поглядел на гетмана и укоризненно покачал головой:

- А что присяги не принимал, этого еще мало... Только напрасно ты, гетман, гневаешься. Государь тебе добра желает и все твои челобитные про торговых людей и про вольный провоз товаров без пошлины удовлетворил...

- За это государю бьем челом все, - ответил Хмельницкий.

Почувствовал: бояре стоят на своем крепко.

- По Поляновскому договору король волен требовать у царя помощи против тебя, а такой помощи государь ему не даст и отказал послу королевскому. Прими это во внимание.

- И за это благодарствуем светлому государю.

При этой беседе сидели, храня молчание, генеральный писарь Выговский, Капуста, Силуян Мужилковский, а с русской стороны - подъячий Семен Домашнев.

Так кружили вокруг главного. Хмельницкий ждал: будут спрашивать про татарского хана. Только на третий день, как видно, кое-что уже разведав, Унковский спросил:

- С крымским царем в этом году тоже будете стоять сообща?

Гетман понял: надо раскрыть замыслы, - не таясь, ответил:

- Скажу тебе, пан посол, честно: он мне в этой войне помощь даст великую.

Унковский перебил:

- Народ твой, как ехал я, сказывал мне: татары обиду ему великую чинят, большой ясырь берут...

- То правду говорили тебе. А коли не со мною будет хан, станет против меня вместе со шляхтой. В Варшаве того и желают, но все их старания пока что тщетны.

- Хан против Московского царства злое замышляет... И тебе это, гетман, ведать надлежит, - предупредил посол.

- Ведаю это. Покоен будь, пан посол, на такой союз с ним не пойду и слова своего не нарушу...

- Когда бы иначе случилось, ты, гетман, грех на себя великий взял бы, веру свою предал, да и народ твой не хочет того, и не захочет никогда! Так и буду в Москве говорить, что ты стоять будешь на слове своем нерушимо.

Поговорив еще о второстепенных делах, посол возвратился на свое подворье.

Выговский, улучив минуту, когда гетман остался один, вошел в покой. Глянув искоса,

угадал борьбу, происходившую в его сердце, начал издали:

- Думаю я, Богдан, от Москвы не ждать нам помощи. Им самим теперь трудно. - Помолчал, выжидая, не скажет ли что-нибудь Хмельницкий. Не дождавшись, продолжал: - Может, в Варшаву послов пошлем. Сейчас у шляхты гонор не велик...

- Не дело толкуешь, Иван, - хрипло отозвался Хмельницкий. - На поклон к панам не пойду. У них одна песня: десять тысяч реестровых - и на том конец...

- А сколько еще нужно... - вырвалось у Выговского.

Гневом вспыхнули глаза гетмана:

- Если тебе не нужно больше, так убирайся к дьяволу и не показывайся. Не для того я весь народ поднял, оторвал от плуга, от родного дома...

Подошел к Выговскому, с силой положил руки ему на плечи, заглянул в глаза и жестко сказал:

- Что это ты вдруг такую речь завел, писарь?

У Выговского перехватило горло.

- погоди, Богдан. - Он шевельнул плечами, руки гетмана тяжело, будто каменные, лежали на них. - погоди, Богдан, я ведь того хочу, чтобы тебе лучше было. Понимаешь? Чтобы тебе лучше было.

Хмельницкий изо всей силы оттолкнул его, так что Выговский больно ударился о стену головой и, осторожно потирая затылок, пожаловался:

- Бешеный ты стал, гетман, слова противного сказать тебе нельзя...

- Ступай, Иван, - сурово приказал Хмельницкий и повернулся к нему спиной.

- послушай, гетман... - начал Выговский.

- Ступай! - крикнул Хмельницкий, обратив к нему покрасневшее от гнева лицо.

...Вечером наедине с Унковским Хмельницкий говорил открыто. Условились: гетман посылает с ним в Москву новое посольство во главе с полковником Федором Вешняком. Хмельницкий ликовал. Пусть паны уразумеют сие. Посол гетмана в Москве! Иначе теперь заговорят паны сенаторы.

Унковский поставил условием: обо всех замыслах хана уведомлять посольский приказ. Гетман охотно согласился. Заговорили о донских казаках. Хмельницкий просил дозволения послать своих людей на Дон, звать казаков итти на помощь гетманскому войску. Унковский и тут не возражал. Но грамоты на это от государя быть не может, - такую грамоту сочли бы за нарушение вечного мира. А мир этот нарушить еще не время.

- Не время, - повторил Хмельницкий. Выходит, настанет время.

Унковский втолковывал: гетман должен считаться с тем, что творится вокруг. Вестфальский мир, заключенный в прошлом году, кладет конец тридцатилетней войне. Но надолго ли? Шведы считают нас своими союзниками, а живут одним: загребать жар русскими руками. Москва это понимает. Хотят отстранить Московское царство от европейской политики. Но Москва только выжидает. Говоря открыто, - это Унковский может сказать только гетману, Поляновский мир не может быть вечным. Но еще не время нарушать его. Что это за вечный мир, когда русские люди - под ярмом чужеземным! Габсбурги поставили себе целью превратить всю Европу в свою вотчину. Разве это мыслимо? Это Тамерланово злое наваждение, и осуществления ему не будет. Польские короли вошли в союз с Габсбургами. Коалиция Франции, Англии, Голландских Соединенных Штатов, Савойи, Дании, Швеции, Венеции, Семиградья, противостоящая Габсбургам и Польше, тоже неустойчива. У них свои споры. Кто этого не ведает? А на Московское царство они смотрят как на вспомогательную силу. Поэтому решили в Москве - делать вид, что не вмешиваются в их споры. Но это не надолго. Знаем: хотят они русские народы от морей отбросить, замкнуть в степях. Свои порядки навязать нам, как ярмо на шею домашнему скоту...

Гетман слушал внимательно. Ловил каждое слово. Ему открывалась та жестокая правда, которую временами чувствовал он сам, размышляя над нежелательным и не всегда предвиденным движением событий. Выходило, что Речь Посполитая недаром так возжелала спокойствия и покорности на Украине?.. Но теперь он не отступит ни на шаг. Хмельницкий

уверенно сказал:

- Видишь, пан Унковский, вот уже сколько десятилетий на землях украинских и червоннорусских хозяйничают польские шляхтичи. Обнаглели они до того, что уже и не считают эти земли нашими, смотрят на нас как на своих наймитов. Какой честный человек стерпит такое? Я одно задумал - всем народом итти под высокую цареву руку, в этом единое наше спасение и жизнь наша, а иначе мы обречены на погибель; не бывать вовеки украинской земле свободной, если не объединимся мы с народом русским.

- Твоя правда.

Унковский сжал его руку. Мысли гетмана достойны всяческой похвалы. Придет время, и народ украинский скажет свое сердечное спасибо гетману за такое стремление. Паны боятся этого сейчас, как огня. Разве не потому предлагают они царю окончательно разрешить русско-польский спор, создать вместе с Речью Посполитой одну державу с двумя столицами - в Москве и Варшаве, а временно даже с двумя царями, и вести одну внешнюю политику и одно хозяйство? Далеко идут замыслы варшавских сенаторов. Но надежды их напрасны. Теперь гетман может убедиться, насколько сложна обстановка, и не так легко одним взмахом руки разрешить все противоречия и несогласия.

Хмельницкий это понимал. О чем спорить? Понимал и то, что именно теперь настала пора защищать свободу и независимость Украины. Нет, не об увеличении реестров должна итти речь. Тут уже начиналось другое. Он сурово насупил брови. Много нового услышал он нынче из уст Унковского. Такие речи можно вести только от чистого и доброго сердца. Бесспорно было, что в события, которые должны были развернуться в Европе вслед за Тридцатилетней войной, вплетается и борьба за судьбу Украины, и борьба эта будет и должна быть тесно связана с судьбой Московского царства. Только таким путем можно притти к победе. Позднее, в дни неудач и тревог, он часто возвращался мысленно к этой беседе, и воспоминание о ней еще больше укрепляло его силы.

От всего сердца пожал гетман руку Унковскому. Посол дружески улыбнулся:

- Да, не все так просто, гетман. Политика - сложное дело. Голову сломаешь, если неосторожно ступишь. Иногда семь раз отмерь, пока отрежешь, а иногда должен принять решение мгновенно, а то упустишь время - и тогда конец всем твоим упованиям.

- Должен ты знать, гетман, - продолжал Унковский, - война с Речью Посполитой стоила нашему государству много денег, смерды за время войны своевольничать приобькли, пришлось нам в прошлом году принять уложение о закреплении крестьянства, думаем таким способом привязать их к земле, чтобы не слонялись где попало, а работали на пользу державе, как надлежит. Как видишь, забот у нас немало. Но надейся непоколебимо - помощь царя нашего тебе будет, а придет время - и его царское величество примет тебя с народом украинским под свою руку... Что просишь - все тебе будет дано в желательном тебе количестве. И можешь смело выступать вперед, за свой тыл не беспокойся.

Унковский усмехался в черную с серебряными нитями бороду:

- Все еще будет, пан гетман.

Он со вниманием глядел на казацкого вожака. Ледок осторожности постепенно таял. В Москве кое-кто в посольском приказе сомневался: кто он, этот безродный гетман? Как осмелился поднять руку против помазанника божьего! Смотрите, и наши смерды за ним пойдут. Неодобрительно покачивали головами бояре Милославские, Одоевские, Салтыков...

Род гетмана Унковскому не удалось установить, но что разум и талант у него были, в этом он мог бы поклясться. С ним дело вести - одно наслаждение. Быстр и сметлив. Своего хочет добиться и ради того жизни не пожалеет.

- Придет время, пан гетман, непременно придет. А если с таким войском станем у Дикого Поля, татары соединенной нашей силы устроятся. Ян-Казимир за Смоленск еще заплатит, и не бывать в православном Киеве унии. Унковский говорил уже не прежним, размеренным, спокойным голосом чувствовалось волнение. - Нужно только потерпеть еще. Дерево подточено. Корни сгнили. Зеленая листва на ветвях - один обман. Начнись сильная буря - и дерево падет, - разумею, Речь Посполитая. А коли начнут турки тебя заманивать,

должен помнить: басурмане коварны и злы, от них татарская чума, словно саранча, на Русь ползет...

- Я их обведу, - уверенно сказал гетман. - Они у меня вот где будут, - показал стиснутый кулак. - У них, пан посол, тоже не все ладно. Крымский хан Ислам-Гирей уже косо поглядывает на Порту, сил набирает, давно думает, как бы ему от султана отделиться, сам хочет великим царем быть, весь ясырь и дань себе в мошну класть. И думает, что мы с войском ему в том помощь, а турки его нами, казаками, страшат, нас задабривают. Вот как оно, пан посол, все переплелось... Хан не от чистого сердца пойдет с нами против шляхты, у него одна мысль: и шляхту обессилить, и нас связать по рукам и по ногам...

- Отменно все обдумал, гетман...

Унковский одобритительно кивал бородой. Вправду, светлый ум у казацкого гетмана. Падет впрах дерево. Не будет затенять ветвями своими землю Русскую. Но нужно время! Время и терпение!

Договорились обо всем. Хмельницкий уже умерил свою горячность, понял: московский посол справедливо судит. Не все сразу... Стеснилась грудь. Рванул рубаху. Отлетела пуговица. На шее напряглись жилы. Пан посол видит, как тяжело ему. Всюду беспорядок. Шляхта за свои имения когтями цепляется. Посполитые ждут, что он им полную свободу даст. Митрополит одним глазом на Варшаву поглядывает. Оружия недостаток, пороху мало, заводы, где пули отливали, разорены. Все на его плечах.

Унковский сочувствовал. Но твердил одно: терпение. Надо выиграть время. Войны, конечно, гетману не миновать.

Хмельницкий твердо сказал:

- Я королю и литовскому гетману одно скажу: можем и миром дело покончить, но с тем, чтобы ушли от нас навсегда за те рубежи, как в давние времена было, при великих князьях киевских. Как еще при Мстиславе. А в подчинении и неволе жить народ наш не хочет. Коли не хотят миром покончить дело - быть войне. И не на год, и не на два, - говорил он уже не послу, себе самому говорил. - А нам, пан посол, где помощи искать в том святом деле? Не в немецкой земле и не у турецкого султана, а только у московского царя, у братьев наших русских.

- Справедливы твои мысли и благочестием повиты: держись их нерушимо, и иначе не будет, гетман.

...Поздно ночью оставил гетман посольское подворье. Унковский проводил его до ворот. Оставшись один, разбудил подъячего, приказал записать беседу с гетманом. Заложив руки за спину, ходил по горнице и диктовал. Домашнев, зевая, сонно моргал припухшими веками и писал.

...Двадцать третьего апреля великое посольство русское вместе с гетманским послом Федором Вешняком выехало из Чигирина в сопровождении почетной свиты. Впереди везли гетманское знамя, за знаменем ехали трубачи, за ними в десяти шагах посол Унковский верхом на коне, подаренном гетманом. По правую руку - Тимофей, по левую - генеральный писарь Выговский, сзади - Лаврин Капуста и Федор Вешняк.

Следом за посольскими людьми ехало пятьсот казаков личного полка гетмана. Били тулумбасы, трубили трубы, гетманский бунчук плыл над головами. В церквах звонили, как на праздник.

За Тясмином распрощались. Унковский и Вешняк пересели в открытый возок на мягких рессорах и поехали дальше. Дорога их лежала на Черкасы, Мошны, Михайловку, Киев.

Тридцатого апреля посольство въехало в Киев. Унковский размахисто крестился на золотые купола Печерского монастыря.

12

В начале мая в Чигирине собрались полковники. Прибыл Данило Нечай в сопровождении сотни казаков и среди них - Мартын Терновский. Прискакали: Иван Богун - из Винницы, Михайло Громыка - из Белой Церкви, Матвей Гладкий - из Миргорода. Из Умани

приехал Осип Глух, из Корсуня - сотник Иван Золотаренко, из Чернигова - Небаба. Приехал из Киева Кричевский.

В городе стало людно. С полковниками понаехало множество казаков, сотников, есаулов, державцев... На улице или на площади не протолкаться.

Гармаш потирал руки. Товар на полках таял, как снег весной. Текли деньги в шкатулку Гармаша. Галеры, злотые, ефимки, гульдены, пезеты... Брал все, лишь бы серебро или золото.

В шинках - водочный дух, гомон, смех, песни...

Снова весело в Чигирине. На Киевской улице, в домах под железными крышами, уже неделю жили семиградский и волошский послы, вели переговоры с гетманом. Гамбургский негодник Вальтер Функе этими днями тоже очутился в Чигирине. Несколько раз видели его повозку у дома генерального писаря. Поселился Вальтер Функе у Гармаша.

Рада* старшин собралась в большой палате гетманской канцелярии вечером седьмого мая. Гетман, суровый и необычно скупой на слова, внимательно оглядел всех, сухо проговорил:

* Р а д а - совет.

- Рада тайная.

Помолчал, как надлежит. Глядел куда-то поверх голов. Табачный дым щекотал ноздри. Набил и себе трубку, прикурил от свечки, услужливо поданной Выговским. Затянулся едким дымом. В зале было тихо, только слышно было, как тяжело, с присвистом дышал Гладкий.

- Собрал я вас, панове, дабы оповестить, что король объявил против нас посполитое рушение и уже подписал виц. То для нас, полковники, не неожиданность, хотя в Переяславе сейчас находится королевский посол, который направляется сюда. И тот посол, как отписал мне Павло Тетеря, прибыл будто бы для мирных переговоров, но это лишь выдумка иезуитская, чтобы наше внимание усыпить. Как скажете, полковники, как быть дальше?

Сел, положив перед собой булаву, погасил большим, пожелтелым от табака пальцем трубку.

- Как ты мыслишь, гетман? - спросил Иван Богун, поднявшись с места.

- Мыслю так, - Хмельницкий встал, - мыслю итти навстречу коронному войску и не ожидать его в наших пределах. Татары готовятся в поход. С татарами встретимся в степи и проведем их вдоль рубежей наших, чтобы селам и городам беды не чинили. Войне быть непременно. Избежать ее возможности нет. Шляхта положила себе уничтожить нас вконец, это должны мы помнить крепко. Так позволите ли мне, полковники, выдать универсал - всем полкам, конным и пешим, и пушечным куреням собираться в поход, а когда какому полку итти и куда итти, о том будет универсал особый.

- Добро, - сказал первым Нечай, поднялся, едва не упершись головой в потолок, поднял пернач и, улыбаясь, повторил: - Добро.

- Добро! - проговорил Богун, подымая пернач.

- Добро! Добро! - один за другим говорили полковники.

...Главное началось после рады.

Гетман с каждым полковником говорил особо. Каждому втолковывал, что и как должен делать. Постепенно Чигирин пустел. Нечая приказано было отправить казаков из своего полка на Дон с гетманской грамотой, звать донцов итти сообща походом. Нечай задумался: кого послать? Выбрал Мартына Тернового. Позвал его к гетману. С гетманом Терновый говорил впервые. Шел за Нечаем, и казалось ему, полковник слышит, как стучит его сердце. В тесной горнице за столом сидел гетман. Приветливо улыбнулся казаку, пожал руку. Нечай уселся сбоку.

- Садись, казак.

Мартын сел на краешек скамьи.

- Крепче усаживайся. Ежели так в седле держишься, плохой из тебя ездок...

От шутки стало легче на сердце. Мартын не мог отвести глаз от гетмана, следил за

каждым его движением. Заметил, как набежали на лоб морщины, рытвинами легли над бровями.

- Ехать тебе, казак, на Дон. Повезешь грамоту мою атаманам Войска Донского. Читай ту грамоту по станицам. Кто в одиночку захочет итти к нам - челом бей, благодарствуй. И кто сотнями, вместе с атаманами, - бей челом. В грамотах все написано. А на словах говори: войне быть, король и паны снова идут на нас, да не одни, а с ними рейтары, нанятые в немецких землях, с ними пушки, мушкеты и все дьяволы из пекла... - Гетман расхохотался. - Видишь, казак, как страшно? Расскажи там, на Дону, братьям нашим, каково житье под шляхтой, как ругаются иезуиты над верой нашей, как льется кровь на землях украинских... Скажи донцам: вместе на Азов ходили, вместе пойдем воевать короля и шляхту, за веру нашу и волю.

Задумчиво прищурил глаза, замолчал.

- Как звать? - спросил гетман после недолгого молчания.

- Мартын Терновый, пан гетман.

- Откуда родом?

- Из села Байгород.

- Реестровый?

- Нет, пан гетман, посполитый Корецкого...

- Вот видишь, Корецкому не терпится снова тебе на шею ярмо надеть.

- Известно... - отозвался Мартын и, сам не зная, как это случилось, сказал:

- Я, батько, универсал твой еще в прошлом году по селам читал... Тогда и я пошел в казаки... - От этих слов сразу легко стало на сердце. И гетман показался таким же простым, обыкновенным казаком, как все. Мартын, осмелев, спросил, точно у старшего товарища:

- А как после войны будет?

- О чем думаешь?

- Кто в казаках останется, а прочие как?

Хмельницкий разгладил усы и, понизив голос, спросил:

- А ты как думаешь, Терновый?

- Я так рассуждаю: кто хочет - тот пусть в казаках остается. Казаков столько, чтобы рубежи стерегли от татар или панов... А посполитые вольными... Так все по селам толкуют...

Как бы повторяя слова Мартына, гетман задумчиво проговорил:

- Кто хочет, пусть тот в казаках остается, а посполитые вольными будут... Так по селам люди толкуют?

- Так в твоём универсале написано, пан гетман.

- Так будет, Мартын Терновый. - Гетман встал и подошел к казаку. Так должно быть. Только, чтобы все это было, надо шляхту одолеть.

- Одолеем! - горячо выговорил Мартын.

- Ты расскажи на Дону, как Корецкий у вас в Байгороде пановал, расскажи... - посоветовал гетман.

- Я расскажу, - пообещал Мартын, - мне есть о чем рассказать.

- Что ж, Нечай, - обратился гетман к полковнику, - казак толковый, пускай едет с богом. Да чтобы не мешкал. С ним еще поедет Иван Неживой. Вот и довольно. Прощай, Терновый Мартын.

Крепко пожал руку, под бок толкнул:

- Добрый когда-нибудь полковник из тебя будет.

...Из Чигирина во все концы Украины развозили гетманские универсалы.

Ночью у городских ворот дозорные останавливали конных, спрашивали:

- Куда и по какой справе?

Один был ответ:

- Универсал гетмана, - и показывали пергаментный свиток с печатью, привешенной на шнурке.

Державцам гетмана велено было к половине июня собрать чинш по полкам. С мещан в

городах взять по два злотых и двенадцати грошей со взрослой души, чинить коштом городов и сел плотины и добавочно - с каждого владельца дома под железной крышей брать по пять злотых, под черепицей по три злотых, под соломенной - один злотый.

В селах, - сказано было, - взять с каждого хозяйства одну мерку ржи, одну мерку пшеницы, одну мерку овса да полмерки соли. На город Чигирин наложено было четыреста пятьдесят злотых, на Киев - две тысячи из средств магистрата, на Чернигов - триста пятьдесят, на Умань - пятьсот, на Белую Церковь - пятьсот пятьдесят...

Пыль стояла на шляхах. Выпадет дождь, прибьет слегка. Солнце проглянет - и снова пыль. На заводе под Конотопом, который содержал русский купец Федотов, день и ночь не гасили печей - отливали ядра. Еще горячие, насыпали на возы, отправляли в Чигирин и в Белую Церковь.

...И уже нельзя было держать в секрете, что войско готовится в поход. Еще не читали универсал гетмана по городам и селам, но уже пустели села, города и хутора. Ремесленники бросали свои мастерские; сапожники, портные, столяры, винокуры, бровары*, посполитые из сел, где еще хозяйничали шляхтичи, - все кинулись в казацкие полки, все, кому дорога была воля. Никто уже не мог думать только о своей хате, ибо знал, что пламя войны, вспыхнув над краем, не минует и его собственного дома.

* Б р о в а р ы - пивовары.

В тот год, может быть, как никогда до того, гетман понял силу народного единства. Никогда он еще не был так деятелен: писал универсалы, принимал торговых людей, приказывал, просил, угрожал, требовал.

В гетманской канцелярии от зари до поздней ночи полно было народу.

Шли из Путивля и Севска обозы за обозами. Везли муку и зерно. Гетман велел все скупать у купцов за счет войсковой казны и сразу отсылать в войско. Наведался в гетманскую канцелярию и Гармаш. Его заботило свое. Мог явиться, в случае неудачи предстоящей войны, владелец его дома в Чигирине шляхтич Волкович. Гармаш тоже был заинтересован в победе. Кинулся к Выговскому, сказал, что хочет помогать. Тот посоветовал еще обратиться к Капусте. Гармаш быстро договорился с городовым атаманом, взял грамоту за гетманской подписью и послал своих людей в Конотоп к купцу Федотову, возить ядра и порох.

В первых числах июня дозорные перехватили на границе двух жолнеров, переодетых монахами. Под рясами за пазухой нашли у них письма к канцлеру в Варшаву. Одно - от шляхтича Микола Остророга, другое - от польного гетмана Фирлея.

Письма с монахами вместе привезли, загоня лошадей, в Чигирин. Гетман прочитал, что писал канцлеру Фирлей. Среди жалоб на новые бунты посполитых было и такое: <Тяжелее всего то, что мы не можем получить верных известий о врагах. Добыть шпиона - дело невозможное, а от пленных ничего не можем добиться ни лаской, ни пыткой. Потому живем, ваша милость, в ожидании неведомого>.

Хмельницкий читал вслух. Слушали Выговский и Лисовец.

- Видишь, - сказал гетман писарю, - а ты что... - он не договорил, но Выговский знал - что.

- Народ какой, какие люди! - глаза гетмана загорелись. - Вот послушайте, что Остророг пишет: <Очень трудно найти шпиона между этой Русью, а если и добудешь языка, так хоть жги его, а правды не скажет...>

Гетман приказал: монахов отпустить, возвратить им письма, пусть везут Оссолинскому.

Дрожащих от страха монахов привели к гетману.

- Вот что, панские слуги, - дарую вам жизнь на первый раз, берите письма и везите их канцлеру. Поклон от меня его милости, - усмехнулся гетман, - скажите, может, скоро встретимся.

Казаки доставили монахов на рубеж и отпустили с миром.

События развивались, как ожидал Хмельницкий. С юга подходила орда. Орду вел сам хан Ислам-Гирей, его братья Нураддин и Калга. Сто тысяч татар были разделены на отряды, каждый по сотне всадников, и при каждом всаднике - две запасные лошади.

Татары передвигались по ночам, днем отдыхали. Далеко от степи слышали люди, как по ночам стонала земля. Орда шла на запад, приближаясь к Животову.

Полки гетмана двигались на Волынь, стараясь выйти на рубежи прежде коронного войска. В авангарде гетманской армии шел полк Данилы Нечая.

Мартын Терновый уже успел возвратиться с Дона. Привел он с собой тысячи сабель под началом казацкого атамана Алексея Сторова. Донские казаки с охотой откликнулись на грамоту гетмана. В станицах на Дону говорили:

- Не впервой вместе с запорожцами волю защищать... С ними и на Синоп ходили, и поганых турок били, с ними Азов брали и Кизы-Кермень жгли. И теперь поможем им выгнать шляхту с русской земли...

В трудный час выдержала испытание старая дружба, рожденная в битвах с чужеземцами. Как и прежде, пришли донцы на помощь украинским казакам. От станицы к станице летела молва: зовут украинские казаки на помощь. И на эту молву всем сердцем откликался Дон.

Из полка Данилы Нечая поехал на Дон вместе с Мартыном Терновым казак Семен Лазнев, в прошлом житель станицы Хоперской.

- Хочу на родине побывать, - попросился он у Нечая.

- Может, навсегда от нас? - спросил Нечай.

- Нет, полковник, от вас уже не уйду. Для меня что Днепр, что Дон одинаковы стали. Родителей проведаю, а то, может, и не доведется больше повидать. Война не за горами, а где война, там и смерть бывает.

Нечай согласился:

- Езжай, казак, поклонись от нас тихому Дону.

Три дня гостил Лазнев с Мартыном и сотником Иваном Неживым в своей станице Хоперской. Старый Лазнев при встрече обнял сына и сурово пошутил:

- Уж не с того ли света воротился, сынок?

Мать плакала от радости, крестила сына ежеминутно.

На подворье и в дому у Лазнева толпилась вся станица. Всем хотелось повидать Семена и его запорожских побратимов. Приходили и стар и млад. Лазнев рассказывал. Перед глазами станичников вставали далекие города и села, дикая степь, битвы, тревожная жизнь людей, упорно и смело борющихся с темной силой вражеской.

Из станицы Хоперской сто пятьдесят конных ушло с Лазневым на помощь украинцам. Выезжали на рассвете, солнце еще не всходило. Тянул с Дона свежий ветер. Семен Лазнев поцеловал мать, обнялся с отцом. Мартын и Неживой низко, до земли, поклонились. Старая мать Семена перекрестила их, обняла.

Вскоре набралось шестьдесят сотен добровольцев. Царские державцы Трофимов и Вилков передали наказному атаману Войска Донского Войтову: казакам препон не чинить, кто хочет, пусть идет вольно. Если бы не Поляновский договор о вечном мире, сказали они, то и царские стрельцы пришли бы на помощь гетману Хмельницкому.

В первых числах июня донские казаки прибыли в Чигирин. Весь город вышел в поле, навстречу им. У ворот города казаков встречали сам Хмельницкий со старшиною. Атаман Алексей Старов протянул гетману свой пернач:

- Бери и володей нами, - сказал громко.

Хмельницкий принял пернач. Поцеловал его на глазах у всего войска и возвратил атаману. Затем оба они сошли с коней, обнялись и расцеловались.

Вечером на майданах пылали костры. Коштом гетманской канцелярии выставили пятьдесят бочек меда и тридцать бочек горелки. Запах жареного мяса стоял над Чигирином. Слепой лирник, окруженный донцами и запорожцами, пел:

Утверди, боже, люд царский,

Народ христианский,
Войско Запорожское,
Донское,
Со всею чернью Днепровую,
Низовую,
На многие лета,
По конец века...

Со стен замка в честь гостей палили пушки. Охмелевший звонарь Гервасий ударил в колокола, точно на церковный праздник.

Атаман Старов и сотники Малыгин, Орлов, Пятихатный ужинали у гетмана. Много было помянуто в тот вечер. И походы на Кафу, и стены Трапезунда, и керченская крепость, и лютые штормы во время похода на Синоп, и битва под Цецорою, и осада Замостья, и баталии под Желтыми Водами и Корсунем.

- Видишь, сколько раз вместе кровь проливали, - сказал Алексей Старов, - потому и теперь порешили - притти тебе на помощь, гетман. Весьма достойное намерение твое - присоединиться к царству Московскому... Будем мы, русские люди, все купно - никто нас тогда не сломит...

- Того жажду всей душой, - отозвался Хмельницкий. - Твоя правда, никто тогда не в силах будет нашу волю отнять. Одна лишь важная забота у меня сейчас - как бы войско королевское одолеть. Татары, сам знаешь, какие союзники? Но должен держать их при себе, иначе король и паны толкнут их на меня.

- Ничего, - утешил Старов, - королевское войско одолеешь, тогда и за татар возьмемся. Не впервой нам с тобою их воевать. Они об одном думают не дать нам объединиться, чтобы жили мы в ссорах и спорах, а тогда легко им будет грабить земли наши. Ты этих союзников, Хмельницкий, берегись. Шакал орлу не товарищ.

- Твоя правда, - ответил гетман.

Посоветовался со Старовым, решил написать универсал к польским посполитым, чтобы поднимались они на панов своих.

- Ты им напиши, - говорил Старов, - не против них идем, не на них ведешь ты войско свое. С ними какая вражда может быть у нас? Пусть они своих панов потрясут...

Утром Хмельницкий читал составленный Выговским универсал. Недовольно пожал плечами.

- Неладно пишешь, писарь: <Должны знать, не против вас идем...> Это верно. А это что: <Оружие в руки не берите>? Глупости! Берите оружие, обратите его против панов ваших, которые смотрят на вас как на скот и за людей не считают. Вот, что написать надо. Эх, писарь, писарь! В голове у тебя, видно, курица ночевала. Такое написал! Садись, записывай.

Выговский обиделся. Пробовал возражать. Хмельницкий возвысил голос:

- Слушай и пиши: <Я, гетман Украины, Богдан Хмельницкий, от имени всего Войска обращаюсь к вам, как к братьям и друзьям. Не слушайте панов ваших, они морочат вас вместе с ксендзами. Берите оружие - и ударим с двух сторон на панов, чтобы покончить с ними навсегда. А, покончив со шляхтой, заживете, как люди, на своих землях и не будете знать вовеки убожества и нищеты...>

...В воскресный вечер в чигиринском храме святили знамена. Гетман стал на колени, поцеловал освященное гетманское знамя. Преклонный годами отец Иосафат благословил гетмана. Под благословение подошел наказный атаман Алексей Старов, за ним пошли полковники и сотники. На вечерне присутствовал и прибывший из Путивля царский воевода, князь Хилков.

После службы Хилков беседовал с Хмельницким с глазу на глаз. Выговский не выдержал, спросил ночью гетмана:

- Что хорошего поведал воевода?

Хмельницкий смерил сухощавую фигуру писаря долгим взглядом и не ответил.

На рассвете в понедельник князь Хилков, сопровождаемый стрельцами и казаками, выехал из Чигирина.

Лаврину Капусте Хмельницкий приказал:

- Подыщи человек с пятьдесят отважных людей, раздай им универсалы к польским селянам. Пускай несут за Вислу, пускай засевают землю королю Яну-Казимиру. С каждым поговори особо, а еще лучше - собери их, я сам потолкую. Надо посеять хорошо, чтобы всходы добрые были.

У гетмана осталась еще забота. Ожидал из Киева обращения Сильвестра Коссова к народу. В конце дня прибыл из Киева полковник Антон Жданович и принес досадную весть: Коссов, ссылаясь на болезнь, отказался служить молебен и писать обращение, обещал сделать это впоследствии. Хмельницкий яростно ударил кулаком по столу. Было бы время, тотчас помчался бы в Киев, там бы он поговорил, как надо, с митрополитом. Но сейчас только скрипнул зубами. <Ничего! Погоди, митрополит! Я свое еще возьму, тогда услышим от тебя иную речь>. Без отлагательства сел писать письмо Коссову. Писал всердцах. Перо скрипело. Чернильные брызги падали на белую скатерть. Выговский вошел было, встретил гневный взгляд Хмельницкого и поспешно затворил дверь. Письмо получалось откровенное и язвительное. Гетман решил больше не стесняться. Понимал, какая болезнь у Коссова.

<Думаешь, - писал Хмельницкий, - может, король одолеет, шляхта победит, тогда тебя к ответу; как, такой-сякой, благословение давал тому схизматику и бунтовщику и черни лукавой... Думаешь хитрить, так подобный поступок для твоего сана весьма низкий есть, и бог тебя за такое поведение адом покарает. Если ты, отче, замыслил недоброе против нас учинить и намерен воду мутить, знай одно - будешь в Днепре. Это мое слово нерушимое, и я его сдержу>.

Подписался. Довольно потер руки. Представил себе, как взбесится Коссов.

...Загоняя коня, точно на крыльях летел казак Сокирко с гетманским письмом за пазухой к митрополиту Сильвестру Коссову. А в тот день, когда митрополит взял в руки поданное служкой гетманское письмо, Хмельницкий во главе Чигиринского полка и шеститысячного отряда донских казаков был уже далеко от Чигирина. Он направлялся к главным силам своего войска, которые маршем шли на юг, останавливаясь на короткий отдых только в полдень, когда немилосердно пекло степное солнце...

Данило Нечай, выслав вперед разведчиков, шел уже по землям Волыни.

На коронных землях запылали панские усадьбы. Подымалась против шляхты чернь. На Черемоше вспыхнул бунт. Взялись за вилы и косы и под Краковом.

Из донесений разведки Хмельницкий знал, что главные силы королевской армии ведут Фирлей и Лянцкоронский; на южной Волыни ждал с сорокатысячным войском князь Вишневецкий; со стороны Белой Руси угрожал флангам гетмана Януш Радзивилл с литовским войском в пятьдесят тысяч человек.

Против Януша Радзивилла уже две недели назад выступил Кричевский с тридцатью тысячами казаков.

- Маловато даю тебе войска, кум, - напутствовал его гетман, - но, сам знаешь, там все посольство будет твоим войском...

Это не очень утешило Кричевского. Нелегко будет воевать селянам голыми руками против вооруженных до зубов жолнеров Радзивилла. Однако на первых порах основная цель была почти достигнута: Радзивилл топтался на одном месте, не решался итти вперед.

В Животове произошла встреча Хмельницкого с ханом Исламом-Гиреем. В сопровождении Выговского, Богуна, Небабы, Громыки, Глуха, донского атамана Старова и есаулов Хмельницкий выехал верхом в степь, где на холме был раскинут белый ханский шатер. Гетман и старшина спешили. Их поджидали визирь хана Сефер-Кази и ханские братья Нураддин и Калга.

Ударили в бубны.

Двое аскеров откинули полу шатра. Из него вышел Ислам-Гирей III, хан крымский. Он улыбнулся Хмельницкому, показав два ряда маленьких черных зубов, и на безбровом лице

его застыла, точно приклеенная к тонким губам, под маленькими усиками, лживая улыбка.

В ханском шатре уселись, скрестив ноги, на коврах гетман и хан; за спиной хана - братья его и визирь, за спиной гетмана - полковники. Через откинутую полу шатра врывается ветер и приятно освежал опаленные солнцем лица.

Безмолвные, похожие на тени, слуги разносили в маленьких чашках холодное сладкое питье.

- Видишь, гетман, теперь не мурз прислал тебе в помощь, а сам пришел со всей ордой.

Хан указал рукой на степь, проворно поднялся, взял гетмана за локоть и вывел его из шатра. Ханские министры и полковники гетмана вышли следом.

- Сюда гляди, - тихим голосом проговорил хан и обвел рукой оком...

В степи до самого края неба густо пестрели цветные значки над шатрами орды. Многоголосый гомон, подобный перекатам морского шторма, колыхался над степью.

- Видишь, сколько храброго войска привел тебе...

Гетман склонил голову.

- Челом бью тебе за братскую помощь твою, мудрый хан. Получишь бесчисленный ясырь и заставишь короля и шляхту заплатить дань...

Лицо хана сморщилось. Спрятав короткие руки за спину, презрительно сказал:

- Три года не платят... У них в государственной казне денег, как волос на ладони...

Возвратились в шатер. После долгих переговоров порешили - казацкому войску итти особо, орде особо. Сойтись под Збаражем, где заперся в замке князь Иеремия Вишневецкий.

Гетман и полковники ушли.

Хан сидел на подушках, закрыв глаза, переваливался с боку на бок, пил, лениво причмокивая, холодный кумыс. Визирь Сефер-Кази ожидал мудрого слова.

Полы шатра опущены. Шелестят по песку шаги стражи. Гомон в таборе утихает. День клонится к закату. Хан втягивает жаркий воздух тонкими, дрожащими ноздрями. Не открывая глаз, спрашивает Сефер-Кази:

- Сколько казаков у гетмана?

- Пятьдесят тысяч, - отвечает визирь. - И черни, должно быть, столько же, да с Дона пришло несколько тысяч сабель.

- Чернь... - как бы про себя говорит хан. - Чернь - это худо. - И поясняет, открыв глаза: - Если у черни будет оружие, как ясырь брать тогда? Трудно!..

Хан замолкает. Визирь выжидает несколько минут. Так полагается. Нельзя торопиться и перебивать мудрые мысли великого хана. Затем визирь позволяет себе заметить:

- Ясный повелитель мой, ведомо тебе, что в этой войне казаки будут обессилены, даже если выпадет на их долю удача. И тогда мы сможем, не опасаясь, жить в наших пределах и свободно ходить через Дикое Поле; к тому же, ясный повелитель мой, в коронных землях дань и ясырь возьмем... - И тут визирь позволяет себе приблизиться к хану, ибо должен сказать тайное и только одному визирю дозволенное: - И тогда, ясный повелитель, добыв великие сокровища в этом походе, еще сильнее станем, и султан будет к нам доброжелательнее, а гетмана будем держать, как поганого пса, на цепи...

- Хорошо говоришь, визирь... Слова - как шербет. А если неудача?

- С королем Яном-Казимиром быстро договоримся, позовем в твой шатер, гостем дорогим будет...

Что-то булькает в горле визиря. Хан закрывает глаза. Он не любит, когда его визирь смеется. В эту минуту хан не верит своему визирю и думает, что все же придется после похода отрубить ему голову в Бахчисарае. Хан вяло кивает бородой.

- Ступай, верный, мудрый визирь, правая рука моя, - говорит он тихим голосом, - я опочию.

Склонив голову, визирь пятится к двери. Выйдя из шатра, выпрямляется, стоит несколько минут, недобрый взглядом озирается вокруг. На круглое лицо его спускается завеса спокойствия. С обеих сторон вырастают двое мурз в длинных шелковых халатах, подпоясанные кожаными поясами.

- Что решили наисветлейший хан и его мудрый визирь?

Щурясь на солнце, склоняющееся к закату, визирь неторопливо говорит:

- Пойдем мы особо, казаки особо. Вместе итти - не было б нам вреда от казаков.

Мурзы одобрительно закивали бородами. Конечно. Лучше держаться от них подальше. И ясырь попутный удобнее брать, свободы больше.

- А еще потому, батыры... - посмотрел на них пристально и подумал: нет, еще не время говорить.

Зевнул, прикрыл рот ладонью и пошел в свой шатер. Точно вырезанные из камня, застыли караульные аскеры. Одни глаза живые.

Усевшись в своем шатре на подушки, визирь размышлял:

- Отдельно итти удобнее. Если аллах отвратит от нас свое лицо, и будет неудача, легче сказать королю: <Не воевать к тебе пришли, а пришли за данью, которую ты третий год задерживаешь...> Разумно придумано. А кто придумал? Он, визирь. Оценит ли это достойно его повелитель?

При воспоминании о хане на умиротворенное лицо визиря ложится темная тень злобы.

Солнце опустилось за оком. Сизая туча пыли все еще плывет над степью, принимая к потоптанной тысячами конских копыт земле. В таборе затихает шум. Обратясь лицом к востоку, татары творят намаз.

...Гетман, вернувшись в табор, сказал Выговскому:

- Понял, почему визирь настаивал, чтобы мы особо шли? Ах, подлый!..

Выговский загадочно улыбался... Стоял, опершись плечом о столб, посреди шатра. Хмельницкий раздраженно швырнул булаву на разостланную на земле кошму, сбросил кунтуш, оголился по пояс и вышел из шатра. Ленивый ветер ластился к ногам, что-то ворошил в примятой траве. Обнимая широким полукругом шатер гетмана, стояли лагерем сотни, рядом вдоль шляха бесконечной цепью тянулись на запад возы с пехотой.

Казак поливал гетману из ведра. Лил на шею, на руки. Гетман довольно жмурился, покрывал. Освежившись, вытерся рушником. Джура подал свежую рубаху, помог одеться.

...Ночью в шатре гетмана горели свечи в пятисвечниках. На коврах, поджав под себя ноги, сидели полковники Морозенко, Бурляй, Громыка, Нечай, Гладкий. Выговский стоял возле гетмана, который со щепкой в руке нагнулся над картой. Гетман был в одной рубахе, заправленной в широкие синие штаны. В шатре было напряженно тихо. Время от времени долетали возгласы сторожевых:

- Посматривай!

Нечай изо всех сил боролся со сном. Усталость валила его. Загнав коня, который пал замертво перед казацким лагерем, он всего час назад прискакал из своего полка на раду старшин. От пыли его лицо казалось свинцовым. Волосы на голове посерели и слиплись от пота. Нечай качался, поджав под себя ноги. Наконец не выдержал, навалился плечом на Морозенку, сидевшего рядом, и задремал. Но тут же встрепенулся от басовитого голоса гетмана.

- Вот что, полковники, - говорил гетман, водя щепкой по карте, мыслю так: войско Вишневецкого надо запереть в Збараже, замок обложить и отрезать от каменецкого войска и главных коронных сил короля. Итти спешно тебе туда, Нечай.

Нечай хотел встать.

- Сиди, сиди, - сказал гетман. - Надо итти, не теряя времени, сломить передовые отряды кварцяного войска* и сделать разведку под стены Збаража. Свалиться на головы панам, как снег. Тебе, Чарнота, надо поторопиться с пушками. Ядра и порох подвозить проворнее. Что там делается, в Чигирине?.. Напиши Капусте, - обратился гетман к Выговскому, в голосе его теперь слышалось раздражение, - почему мешкают... Головы поотрубаю... Кожу содрать бы с них...

* К в а р ц я н о е в о й с к о - войско в старой Польше, содержащееся на четвертую часть доходов с королевских имений

(к в а р т а - четверть).

Плюнул на землю и топнул ногой. В тишине прозвенела шпора.

- Тебе, Гладкий, все время итти в авангарде. Следи зорко, присматривай за татарами. От хана всего ожидать можно... В случае, если что заметишь, не мешкай, ударь как следует. Загалдят, я скажу: <Не знаю. Гладкий сам сие учинил>. Ответ тебе давать. Понял, Матвей?

Гладкий засопел и пробормотал под нос:

- Понял, гетман. Возня с этими татарами...

- Без тебя знаем, - отрезал нетерпеливо гетман. - А ты, Морозенко, дай отдохнуть коннице три дня, чтобы под Збараж явились свежими, и будем держать ее вот где, - указал щепкой на карте.

Морозенко встал, уставился глазами в черную точку.

- Вот тут, - указал гетман, - в Сойках, кругом лес и одна дорога. Я это место хорошо знаю... - Задумался, припомнив что-то. Сам себе сказал: Эге!..

- Что ж, вс?, полковники... вс?... Иван, на дорогу бы чего там...

Выговский вышел. В шатре сразу зашумели, заговорили друг с другом. Нечай дремал. Голова упала на грудь, руками уперся в колени...

Джуры внесли сулею горелки, вяленую рыбу, баранину, хлеб. Проворно наполнили кубки. Гетман подал первый Нечаю:

- Проснись, казак, - поднес кубок к губам...

Нечай, раскрыв сонные глаза, поднялся, шатаясь, стукнул краем своего кубка о гетманский.

- Будем!

- Счастье тебе!

- Твое здоровье, Богдан, - сказал Морозенко.

- Чтобы шляхте на том свете икалось, - пробасил Гладкий.

Выпили, закусывали стоя, наспех. Гетман сказал:

- Не те мы теперь, что под Корсунем, сильнее, други мои. Вешняк из Москвы письмо прислал: пусть король и не надеется, будто царь выполнит Поляновский договор. Голода не будет. Хлеб из Московщины везут обозами... Пушки будут у нас. Так что держитесь, орлы... Ну, с богом!

Широко расставив руки, обнимал каждого по очереди, целовал. Один за другим полковники выходили из гетманского шатра. Джуры подводили лошадей. Поставив ногу в стремя, легко вскочил в седло Морозенко. Гладкого два казака подсаживали под руки. Послышался голос:

- Эй, кто там из первой сотни, - по коням! Полковник в седле.

...Звенели шпоры, фыркали кони, рыли землю копытами. Пламя костров озаряло хмурые лица, лихие чубы, мерцало искорками в глазах казаков.

Нечай вышел последним. Сел на коня. Мартын Терновый вскочил на своего вслед за ним. Вскоре нагнали сотню Гладкого. Поровнялись.

- Спешешь? - недобрый голосом спросил Гладкий. - Спешу, там тебя Вишневецкий ждет...

- Добрый палац нам приготовь! - пошутил Морозенко.

Нечай промолчал. Хлестнул нагайкой коня, вырвался вперед. За ним Мартын с казаками.

Бешено топтали кони. Исчезли во тьме, только отгул остался.

- Славы ищет, - сказал Гладкий.

- Храбрый вояка, - отозвался Морозенко.

Гладкий заговорил о другом.

- Жарко будет нам, Иван. Слыхал? У короля шестьдесят тысяч первоклассного войска, двадцать тысяч немцев в латах, пушек сотни две, коронного войска тысяч сто. А у нас? Орда ненадежна, казаков тысяч пятьдесят, а черни с косами да вилами - хоть пруд пруди, да разве это войско? Смотри, чтобы тебе же в спину не ударили... Он про татар говорит... Лучше бы

чернь разогнал.

Сопел обиженно. Ждал - Морозенко поддержит. Покосился на него, да в темноте разве разглядишь? Чорт его знает, что думает. Но не мог уже молчать:

- Когда такое бывало, чтобы чернь в поход брать?.. Туда же, пехота...

- Она, эта чернь, Матвей, под Желтыми Водами, под Корсунем судьбу баталии решила... Мелешь бог знает что...

Гладкий замолчал. Вправду, нашел с кем такую речь заводить, дернула его нелегкая! Стал изворачиваться.

- Ты посуди сам... Я что... Я о деле беспокоюсь... Дело великое короля одолеть...

Дальше ехали молча. За спиной вполголоса пели казаки:

А ми тую червону калину, тай підніmemo...

Морозенко подпевал:

А ми нашу славну Укра?ну тай розвеселіmo...

Гладкий тяжело дышал, покачиваясь в седле, опершись рукой о высокую луку.

На развилке дороги попрощались. Оставшись один, корил себя:

- Зачем разболтался... Нечистый попутал.

В воздухе запахло дождем. Молния рассекла темное небо и на миг озарила пыльный шлях, высокую траву по обочинам, мохнатые, грозные тучи в вышине.

...Всю ночь мимо шатра гетмана шло войско. Скрипели немазаные колеса возов, ржали лошади, обгоняя возы, по траве скакали конные. Пыль висела низко над головами, дышать было трудно. Пошел дождь, прибил пыль, полегчало. Но дождь скоро утих, только зарницы играли в небе и, точно пушечные залпы, прокатывался уже далече гром.

На возах сидели тесно друг к другу, плечо в плечо. Кто дремал, кто беседовал вполголоса. Что ни воз - все земляки, или из одного села, или из хутора, из города...

В первой сотне при орудии, свесив ноги через грядку воза, сидели земляки Нечипора Галайды. Он ехал верхом рядом с возом. Случайно повстречал земляков по дороге. Обрадовался. Однорукий Федор Кияшко рассказывал:

- Сперва не хотели меня в войско записывать: куда, мол, тебе с одной рукой. - <У короля, - сотник говорил, - немцы в панцырях да с двумя руками, гусары с железными крыльями за спиной, а ты однорукий...> А я в ответ ему: <Пан сотник, у меня рука одна, да гнева на панов - на десять рук хватит...> Посмеялся и записал. Так вот, Нечипор, при орудии буду.

Тут же, рядом, сидел Иван Гуляй-День, рассказывал:

- Мать и отец по тебе убиваются... И твой старик хотел итти, как услышал, что гетман на войну зовет против панов, да не взяли: уж больно ветхий. Мария наказывала: <Может, встретите, поклон передайте...> Слушай, Нечипор, это что ж, последняя, видно, проба панов?

- Кто его знает, они, пожалуй, не угомонятся, если и побьем.

- Известно, не угомонятся. Как им от своего отступиться, жаль угодий своих, - отозвался Кияшко, блеснув зубами в темноте. - А вчера гетмана видали, Нечипор. Ехал мимо нас со старшиною, придержал коня, говорил с нами.

Голос из глубины воза сказал:

- Великий у гетмана в сердце гнев на панов. Одним гневом сердца наши горят.

Гуляй-День подхватил:

- Правду говоришь, чистую правду. Спрашивал гетман, откуда мы, сказывал - шляхта великую силу собрала, да у нас больше, московский царь за нас стоит, вот что!

- Царские послы в апреле в Чигирине были... - Нечипор перегнулся через седло, заговорил шепотом: - Есаул мне сказывал, слух такой: гетман с царем договор тайный заключил, а король беспокоится, хочет поскорее с нами покончить, снова со своим войском стать по всей Украине. Вот и надо нам быстро двигаться, чтобы опередить жолнеров, ударить на них нежданно и разгромить.

Гуляй-День прищелкнул языком:

- Погодите, паны, посыпем вас хмелем - будете чихать до крови...

...Серебряное лезвие молнии выхватило из темноты суровые лица земляков. Грозным пушечным выстрелом ударил гром, и снова потемнело.

- Пора мне, - сказал Галайда. - Прощевайте, земляки, под Збаражем встретимся.

- А может, и на Висле, - сурово проговорил Кияшко. - Бывай здоров, Нечипор, счастья тебе...

Галайда стиснул шпорами бока коня. Обогнал длинный обоз.

Белоцерковский полк, обходя орду, шел впереди пехоты и пушек. Где-то на краю неба, в нагромождениях туч, заплескалась сизая полоса зари. Галайда вздохнул. Неведомый, расстился путь войны, но в беспокойном сердце сталью звенела вера в то, что счастье лежит впереди, там, на горизонте, где, рассекая завесу туч, пробивает себе путь рассвет.

14

В половине июня полк Данилы Нечая завязал бои с жолнерами Фирлея под Меджибожем. Атака казацкой конницы была так внезапна и стремительна, что жолнеры не выдержали и, после короткого боя, сдали Меджибож.

Фирлей, удостоверившись, что Хмельницкий с главными силами следует за Нечаем и с ним орда, приказал поспешно отступить.

Лянцкоронский тоже потребовал, чтобы его части немедленно были оттянуты под Збараж. Не останавливаясь на отдых, коронное войско шло ускоренным маршем на Збараж, где его уже поджидал князь Вишневецкий.

Во второй половине июня коронное войско отступило без боя за Буг, Горынь и Случь, надеясь закрепиться по-настоящему на отечественных землях и тут нанести решительный удар полкам Хмельницкого.

Семнадцатого июня гетману, двигавшемуся вместе с казаками, доложили, что король, во главе наемного - немецкого и голландского - войска и своей гвардии, выступил в поход. В тот же день гонец из Чигирина привез плохие вести о военных действиях против Радзивилла.

Седьмого июня Радзивилл под Загальем разбил полк Ильи Голоты, и сам Голота погиб в бою. Теперь вся надежда оставалась на черниговскую пехоту Семена Побадайла и на полковника Кричевского, которому гетман поручил общее командование в бою.

Гетман отказался от привала. Пересел с коня в крытый возок, вместе с Выговским и Тимофеем. Ехали молча. Каждый думал о своем.

У Хмельницкого в мыслях Елена. Гонец из Чигирина привез письмо от нее. За нерадостными известиями гетман не успел еще прочитать. Сейчас вынул из кармана, развернул. Разбежались морщины под глазами:

<Свет мой любимый, душа моя, милый муж! Тоска охватывает меня, и сердце мое скорбно... Не могу жить без тебя>.

Читал, шевелил губами. Тимофей заглянул через плечо отца в письмо, крепко стиснул зубы. Она! Лютая злоба захлестнула сердце. Неужели отец так слеп? Как может терпеть возле себя эту шляхтянку! Весь край дивится. Выставил себя на посмешище.

Вспомнил, как начал о том говорить в Чигирине. Что было тогда! Отец ударил кулаком по столу так, что доски треснули. Кричал на него:

- Не смей! Паршивый щенок! Не нравится - не гляди, а какое у тебя право мне указывать? Она - женщина, достойная уважения...

Тимофей усмехнулся. Уважения! Как будешь уважать ее? Лжива. Лукава. Разве что один Выговский ей ручки лижет. Видать, одного поля ягода. И он недалеко от шляхты ушел. И чего это батько так с ним панькается? Писарь! Да таких писарей в войске сотни. Выговский, точно угадав его мысли, криво усмехнулся. Тимофей отвернулся. Начал думать о другом. Вспомнил Бахчисарай, переговоры с ханским визирем. Обошлись ведь без Выговского. Правду сказал Иван Золотаренко: <Как волка ни корми, он все в лес смотрит>. Чем он приворожил отца? Может, колдун? И едва не спросил о том у него самого.

Гетман спрятал письмо. В отцовских глазах Тимофей прочитал давно уже невиданные тишину и спокойствие. Но не то, видно, прочитал гетман в глазах Тимофея. Недовольно отвернул голову. Сказал Выговскому:

- Поедем, Иван, вперед верхом. Ты, Тимофей, тут оставайся.

Остановили возок. Пересели на лошадей и поскакали. За ними помчалась стража.

Тимофей остался один в возке. Черная обида грызла сердце. В этот миг его окликнули. С возком поровнялся покрытый пылью всадник.

Федор Свечка радостно расцеловался с Тимофеем.

- Думал, не догоню... - Вытер рукавом запыленного кунтуша потный лоб. - А на шляхах такое творится... Вся Украина двинулась... В селах одни бабы да старые деды с ребятами. И все идут на запад, пешие и конные, кто с вилами, кто с дрекольем, а кому посчастливилось пику добыть или пистоль.

Глаза у Свечки блестели. Голос звенел восторженно.

- Верно, записал уже все?

Свечка уловил в вопросе Тимофея что-то похожее на насмешку и обиженно замолчал.

- Да ты не гневайся, Федор, не в обиду говорю.

- Всегда смеешься, пан гетманич. А зачем? Записать-то надо... Глянь, вокруг сколько казаков. Какая сила толкает этих людей? Вот когда нас не будет и всех этих воинов не станет - потомки прочитают...

Осекся, встретившись глазами с веселым взглядом Тимофея. Уже мирно, без обиды, спросил:

- Что ж, думаешь, не справлюсь? Неправда!

Несколько минут молчали.

Проезжали по селу. Вдоль тынов стояли женщины, крестили издали казаков, бросали в возы лукошки с черешнями, с пирожками. Мальчишки хватались за стремяна... Тимофей оглядывался. Ведь из этого села тоже, наверно, все мужики пошли воевать, а в глазах у девушек и женщин нет печали или страха... Легко стало на душе. Взяв Свечку за руку, сказал задумчиво:

- Пиши, Федор, все записывай. А начнутся баталии - и не такое увидишь. Сам ад устрасит. Правду говоришь, - поляжем - кто узнает, как волю добывали? Так записывай, друже.

...Гетман с Выговским скакали впереди. Плыл навстречу молодой дубняк, приветливо кивали ветвями деревья, а по правую руку колосились хлеба.

<Пожнут ли этим летом или кони потопчут и погнут хлеба?> - подумал Хмельницкий...

Сердце защемило тревожным предчувствием.

Выговский, выбрав удобную минуту, заговорил о Тимофее. Хлопец толковый, но слишком горячий. За все хватается, а надо и про науку подумать. Гетману время распорядиться, как дальше быть Тимофею. По его, Выговского, мнению, не мешало бы отправить хлопца в Киев, в Могилянский коллегиум, пусть поучится там года четыре, латынь осилит, богословие, среди ученых людей наберется благочестия, степенности. Ведь придет время и Тимофею быть гетманом...

Выговский чувствовал острую и непримиримую неприязнь старшего сына гетмана к себе. Была у писаря надежда на то, что в Бахчисарае ханский визирь задержит Тимофея как заложника. Надежда не оправдалась. Особенно опасался Выговский: не занял бы Тимофей видного места среди старшины.

Хмельницкий молчал, уставясь взглядом в синеющую даль. Так молча доехали до маленького придорожного хутора.

- Отдохнем тут, - сказал гетман.

Спешились. Гетман лег навзничь на траву. Над ним была чистая синева неба. У самого уха однообразно жужжал в траве шмель. Не хотелось ни думать, ни говорить. Вот так бы и лежал день, другой... Без заботы, без суеты. Вокруг свет широкий и ласковый, живут люди в согласии, в счастье. Солнце с неба шлет всем свои благодатные лучи. Война - такого слова люди и не слышали, забыли давно. Ни мечей, ни мушкетов, железо точат только, чтобы хлеб резать...

<Будто в священном писании, - подумал гетман, посмеиваясь над собой. - Может, мне постричься в монахи, кинуть все - и конец...>

Выговский сидел поодаль, читал какую-то грамоту, недовольно пожимал плечами. Гетман повернул к нему голову, спросил вдруг:

- Кто бы гетманом мог быть вместо меня, как мыслишь, Иван?

Выговский вздрогнул. Как мог Хмельницкий проникнуть в его сокровенные мысли? Сам он в эту минуту думал: <Может, в последний поход ведешь казаков, гетман>. И вдруг такой вопрос...

Гетман подождал и сам себе ответил:

- Думаю, никого другого не захотят теперь казаки и посольство не захочет.

Сел, обхватил колени руками, кивнул головой на булаву, тускло поблескивавшую в траве.

- Эх, Иван, не булава меня теперь манит, не ею тешусь. Вспоминаю все походы казацкие, все бунты посполитых, - не бывало еще такого на Украине! - Покачал головой, отгоняя от себя что-то ненужное, повторил уверенно: Нет, не бывало!

И уже не к Выговскому, а обращаясь к степи, словно там стояли сотни, тысячи людей, ожидающих его слов, твердо молвил:

- Не пожалею жизни своей, ни крови, ни сил своих, все отдам, лишь бы это было для общего добра, для свободы общей. Помнишь, под Желтыми Водами говорил это... И теперь повторяю. И душа моя не успокоится, пока не добуду своего...

Усмешка неприметно скривила губы Выговского. Припомнил ксендза Лентовского в Переяславе, в доме Гармаша. Подумал: <Много берешь на себя, Хмельницкий, высоко летать задумал, низко упасть придется>.

Недобро заиграли под кожей желваки скул. Тихо проговорил:

- На тебя одного вся надежда наша, Богдан.

- Не на меня, а на них, - указал гетман на шлях.

Тесными рядами двигалось по шляху войско. Малиновое знамя Белоцерковского полка тяжело колыхалось над головами всадников.

- На них, - повторил Хмельницкий. - Они на меня, я на них. - Он встал. Подошел к дороге.

Галайда, ехавший на правом фланге, оказался рядом с гетманом. От неожиданности захватило дух. Вот он, гетман. Высокий, в сером кунтуше, в рудо-желтых сапогах, сабля на боку, бархатная шапка оторочена соболем. Из-под густых бровей на Галайду смотрят зоркие глаза, под черными усами полные губы чуть раздвинуты доброй усмешкой.

- Здорово, казаки!

Голос гетмана, как труба, прозвучал над рядами.

К гетману на борзом коне скакал полковник Громыка. А казаки захлебывались радостным криком:

- Слава гетману Богдану!

- Слава гетману!

Ударили тулумбасы. По степи, над головами конников, под высокое, чистое небо полетела песня. А следом за конными ехали возы, сидели на них в свитках, кто с пикой, кто с косой, а у кого и пищаль...

- Слава Хмелю! - кричали и эти.

И гетман, уже скрытый за пылью, махал им булавой, и рассекал разноголосый гомон зычным своим басом:

- За волю, молодцы! За веру!

...И так, день за днем, он то обгонял свое войско, то возвращался назад. Сам хотел все видеть, проверить, поговорить со старшиной, с казаками.

Миновали Меджибож. Переправились через Случь.

На рассвете двадцать восьмого июня показались на горизонте стены Збаражского замка. Гетман, сопровождаемый старшиной, выехал на опушку леса. Ему подали подзорную

трубу. Он долго смотрел туда, где маячили суровые стены замка. Серdito прикусил ус, ничего не сказал и воротился в лагерь.

Ночью состоялась рада старшин. Было решено обложить со всех сторон Збараж, запереть все выходы из замка, изнурить осадой войско Фирлея и Вишневецкого, заставить их истратить весь запас пороха, все съестные припасы, а в удобный час основными силами двинуться навстречу королевской армии и ударить на нее неожиданно... Главное, чтобы хан не подвел, - это беспокоило гетмана больше всего.

...Утром двадцать девятого июня дозорные на стенах Збаражского замка чуть не окаменели. Словно из-под земли выросли за ночь вокруг Збаража казацкие полки.

Фирлей и Вишневецкий стояли на башне, неотрывно глядя в подзорные трубы. Выходило солнце. Тихое утро распускало свои паруса над степью, над казацкими лавами, над городом. Зажглись солнечные лучи в высоких окнах замка, внизу, под башней, где стояли королевские воеводы, порхали в ветвях развесистой липы ласточки. В казацком таборе вокруг замка рыли окопы. Далеко, на опушке, виднелся белый шатер, над ним развевался бунчук. У Вишневецкого потемнело в глазах. Указал рукой на шатер и не Фирлею, а самому себе сказал:

- Вот он, схизматик проклятый...

Над казацким табором в разных концах взвились дымки, потом тишину неожиданно разорвали выстрелы. На стены крепости упали первые ядра.

Осада Збаража началась.

15

Ночь дышала в раскрытые окна замка Конецпольского пряным запахом липы.

Ровным огнем горели свечи в золотых пятисвечниках. Под потолком радужно сияла люстра. За столом, покрытым бархатной скатертью, на которой лежала брошенная небрежно карта, сидели король Речи Посполитой Ян-Казимир, канцлер Юрий Оссолинский, начальник немецких наемных войск генерал Убальд, князь Доминик Заславский, маршалок Тикоцинский, личный духовник короля ксендз Лентовский.

Король, утопив подбородок в белой пене высокого жабо, жмурился от удовольствия. Его любимый пес, удобно примостившись в ногах, умильно лизал ему руку.

- Марс, не балуй! - вяло прикрикнул король.

Багроволицый Убальд недовольно повел плечами. Идет война, а король, доннер-веттер, тешит себя псами. Он мог бы поклясться, что напрасно увязался в поход с этим королем. Единственное, что успокаивало генерала, обещанные тридцать тысяч талеров уже лежали в шкапулке в его шатре.

Только что окончился военный совет. Условились идти навстречу Хмельницкому. Разведка донесла, что Хмельницкий и орда грызут стены Збаража, но доблестные жолнеры Вишневецкого и Фирлея выматывают из казачья и татарвы все силы. И вот король с армией явится под Збаражем, в тылу у казаков и татар. Одним ударом будет покончено с Хмельницким и ханом. Один удар - и шляхта возвращается в свои маетки, ханская орда разгромлена и не надо уже будет платить дань. Хмельницкого посадят на кол в Варшаве, хлопы снова станут хлопами, тихими, покорными, как овечье стадо.

Так думал король после того, как канцлер Оссолинский изложил план похода. В самом деле, беспокоиться нечего. У него тысячи рейтаров, закованных в панцыри, двести пушек, двадцать тысяч первоклассной пехоты, пятьдесят тысяч гусар и драгун, сколько угодно оружия, ядер, пороха, пуль, - ей-богу, король не разделял опасений своего канцлера и своих воевод. Сказать правду, он не любил войны, но если уж его так разгневали, если казак Хмель поднял на него чернь, то пусть огонь и меч падут на головы бунтовщиков!

Король вспоминает: пора в постель. Как истинный воин, он не спит в замке. В старинном парке, у фонтана, где застыл зачарованный круг каменных нимф, разбит королевский шатер.

Король поднимается. Воеводы встают. Пес Марс бежит впереди короля. Только королевскому псу допускается такое нарушение этикета. Сопровождаемый воеводами,

король идет к своему шатру.

На дворе тихо, безветрено. В небе ясно светят звезды, клонится дышлом к востоку Чумацкий Воз*. Ксендз Лентовский благословляет державный сон короля. Рослые, как дубы, швейцарцы в латах, личная охрана короля (им спокойнее, чем легкомысленной шляхте, можно доверить безопасность своей особы), раздвигают полы шатра. Король, вслед за Марсом, входит в шатер. Швейцарцы опускают полы и замирают, неподвижно держа мушкеты наизготовку. Вельможи возвращаются в замок.

* Ч у м а ц к и й В о з - Созвездие Большой Медведицы.

Тихо в парке. Где-то тревожно крикнула сова. Короля раздевают два камердинера. Ему подают стакан лимонной воды для чистоты дыхания и хорошего сна, как предписано знаменитым лекарем-итальянцем. Король неторопливо выпивает воду, наблюдая, как укладывается спать Марс. Потом ложится в постель, укрываясь походным плащом, - что ж, надо привыкать к тяготам войны. Камердинеры, пятась, покидают шатер.

Король засыпает. Ему снится Париж, Лувр... на цепи ведут Хмельницкого, играют трубы.

Оссолинский не спит в эту ночь, как и в предыдущую. Сидит, склонясь над столом. У него ломит в пояснице. Вести из Збаража не приходят уже вторую неделю. Может быть, Хмель уже взял Збараж? Может быть, он идет навстречу королевской армии? Все может быть... От Хмеля всего можно ожидать. Попадешь в ловушку и не выберешься...

Из Москвы посол Пражмовский прислал письмо. Московский царь отказался припугнуть бунтовщиков стрельцами, а на помощь Хмельницкому пришли донские казаки. Москва не выполнила Поляновский договор. А именно теперь - как уместно было бы, если бы русские хотя бы подвели к рубежам тридцать - сорок тысяч стрельцов. Трудно было бы Хмелю итти вперед, то и дело озираясь; не воткнут ли ему нож в спину?

Фланговый удар Радзивилла не удался. Правда, Радзивилл рассеял отряд Кричевского, взял самого его в плен, но зато в тылу поднялась чернь. Вся чернь на Белой Руси восстала. Как теперь Радзивиллу итти на Киев, когда за спиной пожар?

Канцлер разворачивает письмо Радзивилла. Перечитывает вновь:

<С божьей помощью удалось нам разгромить армию Кричевского под Лоевым. Самого полковника Кричевского, тяжело раненного, взяли в плен. Я приказал лучшим лекарям не отходить от него, любой ценой поднять на ноги. Проклятый схизматик точно онемел. Я приказал послать к нему попа, в надежде, что, исповедываясь, он разболтает много такого, что знает, - ведь он кум Хмеля. Но когда сказали проклятому схизматику, что к нему придет поп, он ответил: <Тут надо сорок попов, дайте лучше ведро холодной воды>. Кричевский издох, ваша милость. Двигаться дальше, на Киев, не могу. В тылу у меня ширится восстание. Во главе черни стали какие-то Макитра и Натальчич, у них универсалы Хмельницкого. Я назначил по пять тысяч злотых за головы этих разбойников. Пока не покончу с ними, вперед не пойду>.

Канцлер отложил письмо. Оставалась одна надежда - хан. Но все-таки, сперва не мешает испытать фортуны. Может быть, на сей раз она порадует Речь Посполитую... Под знаменем короля теперь стоит немалое войско. Это не чернь с косами и палками. Первоклассная европейская армия. И все-таки...

Канцлер потер утомленные веки. Довольно сомнений! Только бы разгромить войско Хмельницкого, тогда он покажет сенаторам, где раки зимуют.

Воспоминание о сейме совсем расстроило канцлера. Решил посидеть в парке, подышать воздухом, - знал, что все равно до утра уже не заснет. Сошел по лестнице на террасу. Сел в кресло, вытянул ноги, закрыл глаза. Легкий ветерок гладил лицо. Недолгий, приятный отдых. Ночь. Пахнет липой. Таинственно шелестит листва. Внизу, под террасой, слышались приглушенные голоса. Канцлер насторожился.

- Стась, а, Стась, - спросил кто-то высоким голосом, - на что нам та клятая война? А, Стась?

- Не болтай, - с неохотой отозвался чей-то бас.

- Верно, Стась, - не унимался высокий голос. - У меня дома ни гроша, хата от ветра валится, женка шесть дней на пана работает, дочь от чахотки померла. За что мне помирать, зачем на Украину войной итти? А, Стась?

- Отцепись!..

- Эх, Стась, - настойчиво продолжал высокий голос, - на Украине панов взашей выгнали... Хлопы как люди живут, а мы против хлопов воевать будем, чтобы шляхте в свои маетки вернуться... До дьябла та война, Стась!

- До дьябла та война! - согласился сердито Стась. - Может, и нам бы своих панов...

Канцлер дрожал от злости. Вот она, первоклассная армия! Быдло! Он перегнулся через перила и, не владея собой, закричал:

- Пся крев! Кто там языком болтает? Стража! Гей, стража!

Зашелестело в кустах, и снова стало тихо. Он быстро сошел вниз. Прибежал караульный гусар с фонарем, освещал канцлеру дорогу. Пошарили в кустах. Никого! Только тяжелый мужицкий дух ударил канцлеру в холеные ноздри. Приложил к носу надушенный платок. Значит, тут были хлопы. Ему не почудилось.

Канцлер в тяжелом раздумьи возвращается во дворец. Он - человек здравого смысла. Он понимает: от подобных речей до такого поветрия, как на Украине, недалеко. Тем более нужно уничтожить это поветрие. Выжечь огнем хмель в хлопских головах. Канцлер ходит взад и вперед по длинной террасе. Не может забыть тех, полных лютой ненависти, слов: <А может, и нам бы своих панов...>

<Нет! Не вам, - гневно думает канцлер. - Не вам и не внукам вашим, и не правнукам. Не хлопы будут править миром>.

...Наутро канцлер беседовал с ксендзом Лентовским.

- Вы должны, отче, неотступно находиться при короле. Король все еще слишком легкомысленно относится к событиям. Он не понимает, чего может стоить такой бунт.

- Сын мой, - ксендз перебирал черные четки, - его святейшество папа прислал письмо королю. Высокие мысли внушает он его величеству. Я стараюсь о том, чтобы король проникся духом мести и понял значение и мудрость послания папы.

Оссолинский рассказал ксендзу о беседе двух жолнеров.

- Надо, - заключил он, - чтобы ксендзы читали проповеди по полкам. Вразумить надо жолнеров, против каких схизматиков идем.

После ксендза канцлер принял воевод. Снова говорили о предстоящей битве. Подскарбий королевский Тышкевич предложил выдать еще один королевский указ о новой подати: с каждого дыма в селе и в городе по десять злотых до окончания войны. Тышкевич порадовал воевод: папский заем - двести тысяч талеров - был уже в дороге. Его ожидали в Варшаве со дня на день.

...После обеда король читал Овидия. С утра никого не принимал и теперь решил отдохнуть - завтра надо выезжать в армию. Настроение у него было спокойное, мысли на диво ясны. Пес Марс дремал у ног короля.

Король потягивался в кресле. Поглядел в окно. Каменные нимфы на фонтане улыгнулись ему. Неплохо было бы, - подумал он, - устроить пир. Но уже шла война, и надо было жить по-спартански. При мысли об этом королевское лицо сделалось строгим. Он вздохнул. Увидел на столе ящик с шахматами. С кем бы развлечься? Позвать канцлера? Вспомнил: канцлер еще до завтрака доложил, что уезжает в армию. С кем сыграть? Ксендз Лентовский? Нет. С ним всегда один разговор: папа да папа. Хотелось бы посмотреть, что сделал бы папа на его месте. Хмельницкий далеко шагает! Но довольно! Он подрежет крылья этому Хмелю. А тогда, возвратясь в Варшаву, соберет сейм. Не станет просить денег у сенаторов, а просто велит им дать. Королю-победителю никто не откажет. Победители не просят, а приказывают.

Шахматы снова привлекли взор короля. Он хлопнул в ладоши. Звякнули шпоры. В дверях вырос королевский адъютант ротмистр Бельский.

- Ты играешь в шахматы?

- Нет, ваше величество.

Король недовольно поджал губы. Адьютант растерялся. Действительно, это была большая неприятность, король мог рассердиться и отослать его в войско. И вдруг спасительная мысль осенила его:

- Есть один шляхтич, ваше величество, отменно играет в шахматы.

- Отменно? - переспросил король; адъютант почувствовал недовольство в голосе короля.

- Так мне кажется, ваше величество, - виновато проговорил адъютант, а впрочем, я видел, что он иногда проигрывает...

- Зови его сюда, - милостиво разрешил король.

Адъютант исчез. Опротев бросился вон из королевских апартаментов. Где тот проклятый шляхтич, приехавший с письмом от его дяди? Бельский вбежал в свою комнату. Два жолнера играли в кости, расположившись на полу. Адъютант ударил одного ногой в бок.

- Геть, до дьябла! Где пан Малюга?

- В саду у беседки видел их, ваша милость, - жолнер потирал рукой бок.

- Живей его сюда!

...И вот шляхтич Малюга играет с его величеством в шахматы. После третьего хода король уже был уверен в своей победе. Тикоцинский, заглянув в дверь, схватил Бельского за плечо.

- Кто этот человек? - грозно спросил он. - Откуда взялся? Как ты смел пустить?

- Не беспокойтесь, пан маршалок, то достойный шляхтич, бежал с Украины от хлопского бунта... Привез письмо от моего дяди, пана Бельского, и тысячу талеров. Пишет дядя, что, видно, сам не выберется из своего маетка, такое там творится...

- Да пропадай ваш дядя со своим маетком! Какое право вы имели пускать неизвестную особу к королю? - Тикоцинский осторожно приоткрыл дверь...

- Кто там? - недовольно поднял голову от шахматной доски король.

- Позвольте, ваше величество? - осторожно начал Тикоцинский.

- Вы же видите, пан маршалок, я играю в шахматы. Вы не ослепли, пан маршалок?

Адъютант за спиной Тикоцинского от удовольствия хмыкнул: так ему и надо!

Тикоцинский осторожно закрыл дверь.

...Перед вечерней молитвой ксендзы в походных костелах читали проповеди.

- Идет, - говорили они, - многоглавый дракон, антихрист во образе схизматика Хмеля и лукавой черни. Святой папа призывает нас, верных сынов божьих, праведных католиков, стать на защиту веры нашей, вечной и нерушимой. Зверь и его полчища жгут костелы, жгут детей, насилюют женщин польских, пьют детскую кровь и едят, как гиены проклятые, человеческое мясо.

- Папа призывает нас уничтожить того зверя и не дать моровой язве, идущей на землю Речи Посполитой, поглотить жизнь и кровь нашу. Так выступим против них с богом в сердце и верой в короля нашего. Огнем и мечом истребим их до третьего колена. Огнем и мечом!

Садилось солнце, обрызгав кровью поля и леса. Рдяно пылал небосвод. В напряженной тишине стояли на коленях тысячи жолнеров, и над их головами громко разносились слова:

- Огнем и мечом!

...Король в тот же вечер дал приказ маршалку Тикоцинскому: шляхтича Малюгу содержать иждивением королевской казны при дворе и чтобы в любой час дня и ночи тот шляхтич был под рукой. Так неожиданно разрешилась судьба шляхтича Малюги, который по воле случая оказался в знакомстве с адъютантом короля - Бельским.

Тикоцинский сразу не уgomонился. Призвал к себе Малюгу и долго расспрашивал, кто он и откуда, и как очутился тут. Малюга охотно рассказал о себе. Больше всего о своих странствиях в Крыму и Туретчине. Даже заслушался его Тикоцинский. В конце концов, и ему это удобно: у короля есть теперь хороший партнер для игры в шахматы, и не придется

разыскивать игроков в те часы и дни, когда пан канцлер перегружен делами.

Однако к шляхтичу Малюге маршалок приглядывался.

Слуге шляхтича три талера развязали язык. Что делает пан Малюга? То же, что делал в маетке пана Бельского: утром читает евангелие, пьет вино две или три бутылки, не больше, играет сам с собой в шахматы, рассказывает о своих странствиях. Живет одиноко. Знакомых у него нет. Только один ротмистр, пан Бельский. Никуда не ходит и не ездит. Денег у пана Малюги не то чтобы мало, но и не много. А впрочем, кто знает?

Слуга пана Малюги не врал. Он всего лишь вторую неделю служил у этого пана, и все, что рассказал о нем за три талера, была чистая правда. Вскоре за более важными заботами маршалок короля Тикоцинский забыл о новой особе, появившейся при дворе.

16

...Безостановочно лил дождь. Казалось, небо разверзлось. Выговский откинул полотнище шатра и выглянул. Тьма, дождь, приглушенный гомон лагеря, пахнет дымом костров. Опустил полу. Шляхтич все еще стоял перед ним, словно недобрый призрак. Казалось, обернешься, и в шатре - никого. Но все, что он только что услышал, не почудилось ему. Нет! Шляхтич в хлопской одежде стоял и ждал, а в кармане у Выговского лежал перстень, тот самый перстень...

Тускло мерцала свеча. Неясные тени мелькали в шатре. Генеральный писарь, пересиливая тревожное чувство, сел на скамью и долгим, пристальным взглядом смерил фигуру в углу шатра. Да, это не сон. Шляхтич ждет ответа. Выговский никогда не мог и подумать, что Лентовский так скоро напомнит о беседе в Переяславе, в доме Гармаша.

Кто-нибудь может войти в шатер. Надо что-то сказать. Именно сказать, но не решать. Выговский невольно вынул из кармана перстень, поднес его на ладони к свету. Из угла прозвучал спокойный голос:

- Будьте покойны, пан Выговский, - тот самый перстень.

Выговский молчал. Маленький золотой обручик, в нем аметист, серебряное распятие, два слова посредине: <Огнем и мечом>. Тот самый перстень. Неужели пришло время?

Иезуиты! Он хорошо знал, на что они способны.

Шляхтич сказал:

- Идет король с великою силою.

Он принес ему этот перстень и универсал о том, что король лишает гетмана Хмельницкого булавы и назначает гетманом казацкого сотника Семена Забузского. Выговский поспешно развернул королевский универсал. Читал слово за словом... Забузский? А могло быть... Шляхтич поспешил пояснить. Поступить иначе было бы небезопасно для жизни Выговского. Ему предлагали иное. Он должен переговорить с надежными полковниками и в час, когда ему дадут знать, перейти на сторону королевского войска, под бунчук гетмана Забузского. Когда генеральный писарь окажется вместе с верными полками в лагере короля, судьба Забузского будет решена. Пришло время! Так велел сказать ксендз Лентовский. Теперь или никогда. Шляхтич сел на чурбан в углу и наблюдал за Выговским.

- Король идет с великим войском, - тихо повторил шляхтич. - Немецкие рейтары под начальством рыцаря Убальда и артиллерия под начальством генерала Вольфа. Восемь полков гусар и драгун... В назначенный час вы с надежными полковниками, которым можете доверить свои замыслы, и с войском перейдете речку Стрыпу. В Топорове вы присоединитесь к королевскому лагерю... В день, когда с Хмелем будет покончено, гетманская булава окажется в ваших руках...

Шляхтич замолчал, устало опустив голову на руки.

- Вина, - попросил он. - Три ночи не спал...

Выговский налил ему в кружку горелки. Шляхтич выпил. Поставил на землю кружку. В глазах зажегся недобрый огонь.

- Вы достойный рыцарь... Нам все известно. Мы знаем, что вас Хмель выменял на коня под Желтыми Водами у Тугай-бея. Вам верит пан Лентовский, а это много значит... - Подумал и добавил: - Это значит все!.. Сам папа знает его. Папский нунций в Варшаве,

Иоганн Торрес, считает пана Лентовского своей правой рукой...

Шляхтич поднялся. Подошел к Выговскому. В сером, забрызганном грязью долгополом кафтане, с всклокоченными волосами и с лихорадочным блеском в глазах, он казался привидением.

- Подумайте, пан Выговский, и поступайте так, как советует вам преподобный отец Лентовский... Рано или поздно, Хмель все равно будет сидеть на колу, а перед вами открывают двери в широкий свет.

Выговский посмотрел в глаза шляхтичу.

- Никто не останавливал вас по дороге? - спросил он.

- Останавливали казаки, - ответил шляхтич. - Сказал - убегаю от панов. Может, и не поверили, но все они так спешили вперед, что у них, видно, нехватило времени уделить внимание моей особе...

Он помолчал и, испытующе глядя на генерального писаря, спросил тихо и торжественно:

- Пан Выговский, отвечайте, что я должен передать преподобному отцу Лентовскому, что он может сказать о вас королю?

- Нет надежных полковников, - прошептал Выговский, - нет. Понимаете? Все боятся Хмельницкого. Сейчас у него сила. Никто не отважится...

- Только теперь, завтра будет поздно. Завтра поздно будет, пан Выговский... Еще есть время. Я жду достойного ответа.

Шляхтич шагнул, откинул полу шатра, выглянул. Однообразно шумел дождь. Резко обернувшись, шляхтич спросил:

- Под Збаражем много войска оставил Хмель?

- Много, - сказал Выговский.

Он мучительно думал. Что ему делать? Он стоял на шаткой доске, переброшенной через пропасть. Можно решиться и, отбросив обычную свою осторожность, поговорить с Гладким. В полку Громыки тоже нашлись бы надежные сотники, да и у Мозыри есть нужные люди. Но мало. А главное - он знает доподлинно, неоспоримо, что войско Хмельницкого нынче - огромная и страшная сила.

И самое опасное: у Лаврина Капусты были в лагере короля свои люди. Они уведомляли его о каждом шаге королевской армии; обо всем, что делалось и говорилось у короля, знал Хмельницкий. От кого шли эти сведения, Выговский так и не дознался. Гетман всячески уклонялся от ответа, когда генеральный писарь пытался заговорить с ним об этом. Выходит, ему еще и не верят? Да, бесспорно, не верят. И почти не с кем идти ему к королю. Да и будет ли какая-нибудь власть у короля через два-три дня? Сказать об этом шляхтичу? Нет! Но что сказать? Шляхтич возвратится в Топоров, он передаст его слова Лентовскому, а человек Капусты может проведать... Холодный пот выступил на лбу у Выговского. Доска ломилась под тяжелыми шагами. Еще немного - и он стремглав полетит в бездну. В эту минуту писаря осенила спасительная мысль. Он быстро поднялся.

- Как вас зовут, пан? - спросил скороговоркой у шляхтича.

Тот ответил не сразу. Отошел в угол шатра, скрестив руки на груди, подозрительно посмотрел на Выговского.

- Должен ведь я знать, с кем имею честь говорить? - раздраженно проговорил Выговский.

- Ясинский, - сказал шляхтич. - Думаю, что перстень, который я вам вручил, значит больше имени.

- Добро, пан Ясинский, передайте пану Лентовскому: все будет как надо, - твердо сказал Выговский.

Он принял решение. Прищурился, впился в небритое, усталое лицо посланца ксендза.

- Я выведу вас из табора. Оставаться вам здесь до утра опасно, пояснил он. - Когда вы будете в Топорове?

- Через два дня, пан Выговский. Значит, согласны? - спросил шляхтич, словно не веря еще.

- Согласен!

Взгляды встретились: один пытливый, все еще полный недоверия, другой - решительный и строгий.

- Что смогу - сделаю. Я буду с верными людьми в Топорове через три дня. Возьмите с собой на дорогу хлеба, сала, нигде, пожалуй, не достанете...

Шляхтич поспешно засунул за полу свитки каравай хлеба и положил в карман кусок сала, завернув его в грязную тряпицу.

- Никакого провианта нельзя достать по дороге, пан Выговский. Все позабирали - тут казаки, там жолнеры. - Неверной рукой он налил в кружку горелки, попытался пошутить с кривой усмешкой на пересохших губах:

- За вашу булаву, пан Выговский!

Выговский потупил глаза. Шляхтич пил горелку неторопливо, с наслаждением.

...Они вышли из шатра. В нескольких шагах впереди встрепенулась какая-то фигура.

- Кто идет? - прозвучал грозный оклик.

- Я, генеральный писарь, - отозвался Выговский.

Прошли мимо караульного. Выговский впереди, шляхтич за ним.

Накрапывал мелкий дождь. Выговский шел, осторожно оглядываясь по сторонам. Рука стискивала в кармане перстень.

Вправо от дороги едва можно было различить казацкие шатры. Вдали, под возами, тлели остатки костров. Часовые перекликались в таборе. За спиной послышался конский топот. Выговский остановился. Локтем оттолкнул шляхтича в сторону. Шепнул:

- Держитесь в стороне.

Всадники поровнялись с ними. Неясно прозвучали какие-то слова и смех. Выговский узнал голос гетманского есаула Лисовца.

Решил окликнуть:

- Куда, Демьян, в полночь?

- А ты что так поздно бродишь? - спросил есаул, придержав коня.

- К Чарноте иду, - объяснил Выговский. - Как будто проясняется...

- Еду в ханский табор, к гетману. Ну, прощай!

Всадники протопали и исчезли во мраке. Дальше Выговский и его спутник шли молча.

- Не в ту сторону идем, - беспокоило прошептал шляхтич.

- Так вернее, тут стражи нет, - пояснил Выговский. - Вот, спустимся в этот яр и выйдем на дорогу. Дальше можете идти один. Вот тропка.

Он взял шляхтича за руку. Тропка сбегала круто вниз. Оттуда повеяло прелыми листьями, где-то вблизи журчал ручей.

- Куда это мы попали? - забеспокоился шляхтич. - Я отсюда не выберусь, пан Выговский.

- Ишь, какой вы пугливый. Не беспокойтесь, за яром дорога как ладонь.

Выговский осторожно спускался. Слышал за спиной прерывистое, беспокойное дыхание.

- Одну минутку, - сказал Выговский хрипло, пропуская шляхтича вперед. - Сдается, тут направо...

Шляхтич, как слепой, расставил руки. В тот же миг он почувствовал, как что-то острое вонзилось ему в спину, и он упал лицом в мокрую траву.

Выговский выдернул кинжал и еще раз изо всей силы ударил шляхтича.

На рассвете генеральный писарь сидел в своем шатре. Сквозь разрез шатра скользил солнечный луч. Июльский день обещал тепло и хорошую погоду. Выговский чувствовал, как постепенно спокойствие наполняет его сердце. Не стало шляхтича и не стало опасности. Все исчезло, словно дурной сон. Судьба скороспелого гетмана Забузского не могла привлекать его. Он чувствовал всем существом своим, что еще не настало его время.

Позавтракав, генеральный писарь выехал в ханскую ставку, где утром должен был состояться совместный военный совет. Солнце рассеяло сизую завесу туч. С востока шел погожий день.

...Шляхтича Ясинского тщетно ждал в Топорове, в королевском лагере, преподобный отец Лентовский.

Шляхтич Ясинский в Топоров не вернулся.

...Утром двадцать восьмого июля канцлер Юрий Оссолинский в походной королевской канцелярии вручил православному шляхтичу, сотнику Забузскому, гетманские клейноды. Хмурый, приземистый сотник Забузский, преклонив колена, принял обеими руками булаву, поцеловал ее. Дрожащим голосом принес присягу на верность королю и Речи Посполитой.

По окончании церемонии князь Четвертинский сказал канцлеру:

- После того, как мы дали хлопам нового гетмана, они поймут, что Хмеля мы считаем вне закона... Теперь можно было бы его отравить, если бы нашелся храбрый и решительный человек...

Ксендз Лентовский, присутствовавший при этом, возвел глаза к потолку и пошевелил тонкими синими губами.

Шляхтич Малюга стоял поодаль. Он не вмешивался в беседу вельмож. Он стоял и молчал. Был он тут по распоряжению ротмистра Бельского, ожидая может быть, его призовет к себе король.

В одиннадцатом часу утра король Ян-Казимир сел завтракать.

В это же время в шатре хана Ислам-Гирея начался совместный военный совет гетмана, хана, полковников и мурз.

Оставив достаточно войска под Збаражем, главные силы Хмельницкого и хана тайно снялись с места и быстрым маршем вышли на Зборовский шлях.

У гетмана были верные сведения о том, что король с армией намерен переправиться на левый берег Стрыпы. Капуста, прискакавший ночью, заверил гетмана, что это именно так. Значит, теперь оставалось выйти на выгодные позиции и одновременным внезапным ударом двух армий уничтожить войско короля, или принудить его к полной капитуляции.

Гетман хмуро глядел на визиря Сефер-Кази, путано и хитро излагавшего условия совместного наступления. Было от чего хмуриться: ночью стало известно о гибели Морозенка под стенами Збаража.

<Нынче Морозенко, вчера Бурляй, а еще сколько сотен казаков...> подумал скорбно гетман, и сердце его налилось лютой ненавистью к ханскому визирю, ко всем этим внешне угодливым мурзам, к хану, который в первую же удобную минуту, едва только почувствует, что перевес на стороне короля, предаст... О, в этом Хмельницкий был уверен!

Визирь настаивал: казаки должны действовать особо, ханская орда особо.

Хмельницкий усмехнулся. Не удержался, чтобы не сказать:

- Если ударим успешно, тогда и вы поможете, а если конфузия получится, тогда первые коней повернете. Так тебя понять, Сефер-Кази?

- Как угодно, как угодно тебе, ясновельможный гетман, - бесстрастно ответил визирь.

Хан спросил:

- Что думает великий гетман, мой сердечный друг и храбрый союзник?

Хмельницкий поднялся. Не хотелось раскрывать им свой замысел, но иного выхода не было.

- Великий хан царства Крымского, - раздельно проговорил гетман, подчеркивая свое почтение к хану. - На левом берегу Стрыпы, возле Зборова, есть густой лес. Я те места хорошо знаю. Наше войско главными силами должно стать в том лесу. Король с армией на правом берегу. Он должен переправиться через реку, - это единственный путь к осажденному Збаражу. Справа от Стрыпы овраги, там я поставлю конницу полковника Данилы Нечая, десять тысяч сабель, и там же должна стать конница перекопского мурзы Карач-бея по твоему приказанию, великий хан. Твой брат Нураддин с конницей и пушками станет слева, за селом Вилки. Иван, карту, - приказал гетман.

Выговский развернул желтый лист пергамента и держал его обеими руками перед собой.

- Вот тут, за селом, - указал гетман кончиком кинжала, который ему протянул Громыка. - Когда королевская армия начнет переправу, моя конница атакует ее на берегу, пушки мои накроют ее огнем, с флангов ударят: с правого - Нечай и Карач-бей, с левого - полки Глуха, Гладкого, Воронченка, Небабы, донские казаки Старова и твоего брата Нураддина. Полк Богуна подымеется вверх, вдоль Стрыпы, переправится на правый берег и ударит королевской армии в спину. И армия короля, - Хмельницкий концом кинжала начертил на карте круг, - будет или уничтожена, или принуждена к капитуляции... Ты получишь большой ясырь, великий хан.

Хан одобрительно кивал головой.

<Хитрый гяур Хмельницкий. Волк! Волк! Ему в зубы не попадайся. Мой визирь такого бы не придумал>.

Но нельзя так быстро выронить слово согласия. Хан должен показать: мудрость его - в молчании. Прищурился, он видит перед собой реку... Шайтан ее знает, как она зовется. Вот армия короля, вот сам король, паны, князья, кичливая шляхта, возы с добром, королевская казна - и все это в железном кольце.

Ноздри хана раздуваются. Он чувствует запах порохового дыма, дрожит земля под ударами десятков тысяч копыт. Его богатыри кричат торжествующе:

- Алла! Алла!

Хан подымается с подушек. Медленно подходит к Хмелю. Великий ясырь возьмет он, великий ясырь. И ни талера Хмелю, ни одного талера! И пусть подавится от зависти там, в Стамбуле, жадный и мстительный султан.

Хан стоит перед картой, рядом с гетманом. Все ждут его слова. Он хочет сказать: <Согласен!> А вместо того ханские уста произносят:

- Много крови верных сынов Магомета должен пролить я ради такого дела. Не дал аллах мне права на то, великий гетман Украины. Не дал...

- И ясырь богатый возьмешь, - твердо и спокойно говорит Хмельницкий, - и дань возьмешь у короля, и у шляхты выкуп великий. Выгода тебе немалая, а кровь... что ж, и мое войско ее пролило немало. Не на свадьбу итти сговаривались мы с тобой, хан, а на войну.

В шатре тихо. Хищно блестят глаза Карач-бея. Кусает губы визирь Сефер-Кази. Спокойный голос Лаврина Капусты нарушает напряженное молчание.

- Верные люди донесли нам: двести тысяч талеров в королевском обозе. Папа римский Яну-Казимиру заем дал на посполитое рушение.

Хан делает вид, что не слышит. Неподвижно сидят мурзы. Ни один мускул не шевельнулся на лице визиря.

Хан Ислам-Гирей вырывает из руки гетмана кинжал и с силой вонзает его в карту, брошенную на ковер.

- Нет бога, кроме бога, и Магомет - пророк его! - торжественно произносит хан. - Да будет так, ясновельможный гетман!

- Будет так, великий хан.

Выговский осторожно свертывает разрезанную карту. Ханские аскеры вносят на серебряных блюдах шербет, высокие кубки с холодными напитками. Хан величественно опускается на подушки. Хмельницкий садится напротив, Выговский - рядом с визирем. Нурадин-хан, Калга-хан и Карач-бей сидят по правую руку хана. По правую руку гетмана - генеральный хорунжий Василь Томиленко, генеральный обозный Иван Чарнота, полковники Данило Нечай и Михайло Громыка.

Торжественная тишина. Молчание. Размеренные движения. Это означает мудрость - путь в вечность, в царство магометово. Пусть видят неверные, что земная суетность рассыпается, как жалкая горсть праха, у порога шатра великого владетеля орды, Ислам-Гирея III.

Хан с наслаждением цедит сквозь зубы сладкий напиток. Пьет Хмельницкий. Пьют

Сефер-Кази, Выговский и ханские братья, пьют полковники.

В шатре - тишина.

17

В начале июля в Брянск прибыли из Москвы: державец Леонтий Жаденов и дьяк посольского приказа Иван Котелкин.

Брянскому воеводе, князю Никифору Федоровичу Мещерскому, Леонтий Жаденов сказал:

- Едем мы, воевода, по государеву наказу в табор гетмана Хмельницкого. Просим от тебя провожатых людей и прокорма для себя и челяди нашей.

Воевода прочитал грамоту, удостоверявшую особы Жаденова и Котелкина, дал в провожатые двадцать стрельцов и посоветовал ехать в Конотоп, а оттуда на Киев и Чигирин.

Не задерживаясь, московские державцы выехали. Наказ князя Прозоровского в Москве был таков: ехать спешно, ко всему приглядываться зорко, гетману сказать на словах - пусть на Москву надеется, на рубежах стрельцы кривды ему не будут чинить никакой, хотя гетман литовский Януш Радзивилл и королевские послы домогаются от его царского величества выполнения Поляновского договора. Державцы неотлучно повинны быть при гетмане. Надлежит им разведать, сколь крепок и прочен союз, заключенный Хмельницким с крымским царем Ислам-Гиреем. Возвращаться же в Москву тогда, когда гетман отпустит.

Иван Котелкин на войну ехал впервые. Боярин Леонтий Жаденов шутил:

- Вот приедем в табор гетмана, так может статья и так: ханские слуги ночью выкрадут нас, как слуг царя московского, и потребуют выкупа, а кто за нас даст? И погонят, яко агнцев покорных, на галеры невольничьи...

Иван Котелкин сердито сопел. Хорошо Жаденову потешаться. Молод, крепок, при сабле, при пистоле. А он, Иван Котелкин, кроме гусяного пера, ничего острого в руках держать не привычен. Чтобы сбить спесь с Жаденова, сказал:

- Мы особы неприкосновенные, люди посольского приказа, слуги государевы, - и то каждому царству ведомо, и особы наши, Жаденов, безопасны...

Жаденов смеялся:

- Безопасны? Погоди, услышишь, как пушки бьют, как стрелы свистят.

Котелкин прятал голову в высокий воротник ферязи. И далась ему эта поездка! За какие грехи? Сидел бы в посольском приказе: покой, благодать, чин соблюдай - и все ладно. Хорошо молодому боярину...

Так за мыслями, шутками, беседами летели версты. Вот уже проехали и Конотоп.

Где можно было не останавливаться, коли особой нужды в том не было, те города миновали. Наконец добрались до Чигирина.

В гетманской канцелярии распорядился есаул Михайло Лученко. Державцев принял радушно. После долгой дороги отсыпались на мягких перинах в доме гетманского есаула.

Котелкин неделю бы так лежал. Но Жаденову не лежалось. Государев наказ: быть скорее в таборе гетмана.

И снова, выполняя указ государев, тряслись в повозке, каждый думая о своем. Чем ближе к Волини, тем больше поражало запустение в селах и городах. Где ни остановишься - одни бабы да девки. Старики держали себя гордо... Но когда узнавали, что за люди, откуда и куда едут, языки развязывались.

В воскресный день проезжали село Байгород. У церкви остановились. Протиснулись в середину. Котелкин пал на колени, самозабвенно бил поклоны. Жаденов, стоя, неспешно крестился. Старенький поп пошел между народом.

- Из каких краев, православные? - спросил, остановясь перед Котелкиным.

Тот поцеловал руку попу.

- Из Московского великого царства, батюшка.

Жаденова досада брала. Снова теперь придется потерять время. Так и вышло.

После службы вышли на майдан перед церковью. Старенький дед, подтягивая штаны, то и дело сползавшие, ударял себя правой рукой в грудь:

- Я - дед Лытка. На Москве не слыхали про меня? - Не дождавшись ответа, посочувствовал московским людям: - А жаль, что не слыхали! Едете куда, православные?

Жаденов сказал. Вокруг загомонили. Дед восторженно пояснял:

- Бачите, - людей нема, одни бабы остались. И я над ними гетман наказный, а еще есть казак Терновый Максим, да из него вояка нехватский, потому - на одной ноге; когда паны ляхи утекать будут, так на одной ноге догонять неспособно...

Дед Лытка толковал бы еще битый час, если бы не появился, хромя на деревяжке, Максим Терновый и не вмешался в разговор:

- Может, где под Збаражем сына моего побачите, зовут Мартын, так скажите: <Батько говорит - нехай жизни за волю не щадит>, а гетману от нас поклон передайте, пусть за нас держится, а мы за него. А будет беда и шляхты не осилим, то так и знайте - все пойдем до вас, в московскую землю...

Дед Лытка сорвал с головы потертую шапку, ударил ею об землю так, что пыль поднялась:

- Все чисто пойдем, и тут ничего шляхте не оставим, все огню предадим. Ежели Максим Терновый так сказал, так будет.

Дед хотел еще что-то добавить, но батюшка легонько отпихнул его и повел Жаденова и Котелкина к себе - обедать. Вдогонку им дед Лытка кричал:

- Так и знайте - все, как один, до вас, на русскую землю. Примете?

Жаденов обернулся. Остановился и крикнул:

- Московский царь и люди русские к вам с дорогой душой, люди! Будьте в том надежны.

Котелкин, расчувствовавшись, смахнул пальцем слезу, которая набежала на глаза и туманила взор.

Еще долго в дороге вспоминали Байгород, деда Лытку и Тернового. Котелкин в грамотку списал, что сказывал Терновый. А по сторонам уже бежали навстречу повозке колосистые поля. Сулили щедрый урожай.

Дьяк Котелкин мечтательно повторял:

- Злаки, злаки!

Жаденов задумался. До гетманского табора оставалось немного.

...На шестой день пути от Байгорода Жаденов и Котелкин прибыли под Збараж, в село Восковец, в походную канцелярию гетмана, где их встретили Силуян Мужилковский и есаул Демьян Лисовец.

Подъезжая к Збаражу, державцы попали, казалось, в другой мир. Все чаще встречались казацкие отряды, возы с военным снаряжением, татарские обозы. Глядя на татар, дьяк Котелкин отплевывался:

- Как таких басурманов в союзниках держать?

- Чтобы волю добыть, с самим дьяволом в союз войдешь, - сердито возразил Жаденов и тоном, не терпящим возражения, приказал: - Ты, дьяк, гляди, язык держи за зубами. Татары, не татары - сие тебя не касается...

- Чин блюсти буду, боярин, - успокоил его Котелкин. - Не первый год в посольском приказе.

В селе Восковец Силуян Мужилковский повел боярина и дьяка к себе. Расспрашивал про Москву: здоровы ли боярин Лопухин, дьяк Алмаз Иванов, князь Семен Прозоровский... О здравии царя не спрашивал, соблюдал чин. Котелкину это понравилось. Жаденов спросил о здравии гетмана. Мужилковский ответил Гетман уже с главными силами идет навстречу королевской армии. Со дня на день надо ожидать генерального сражения. Может быть, завтра тут будут гонцы от гетмана.

Жаденов передал слово в слово, что поручил ему сказать князь Прозоровский. Силуян Мужилковский выслушал внимательно.

- Гетман весьма рад этому будет и свою верность великому государю московскому покажет. Вы, панове, тут будете в безопасности. И мыслю дождетесь гетмана тут. А

воротится он с викторией, в том я уверен. Слова князя Прозоровского сам передам гетману, завтра еду к нему в табор.

Жаденов спросил:

- Может, и нам с тобой, полковник, поехать?
- Там война, пан, а фортуна на войне непостоянна.

Жаденов улыбнулся:

- Для такой фортуны у меня сабля на боку.
- То не посольское дело, - возразил Мужилковский.

Дьяк Котелкин поддержал:

- Мыслью, полковник рассуждает здраво.

Жаденов больше не настаивал. Начал расспрашивать про Збараж. Сколько времени длится осада, сколько войска в замке? Мужилковский рассказывал. Осада началась двадцать девятого июня. В Збараже войско двух воевод князя Вишневецкого и Фирлея. У них великие запасы ядер, пороха, пуль, продовольствия, солдат до пятидесяти тысяч, а также всем мешанам оружие выдали. Замок Збаражский - твердый орех, сразу не раскусишь. Гетманов замысел - окружить его со всех сторон - осуществился. Что гетман с главными силами ушел, о том в Збараже не знают. Все еще надеются: король с армией в спину нам ударит.

Жаденов и Котелкин слушали сочувственно. Прощаясь, Жаденов заметил:

- Желательно, пан полковник, чтобы о нашем присутствии в войске король и региментари Речи Посполитой не ведали. Государево поручение нам тайное...

- Будьте покойны - не проведают, - твердо пообещал Мужилковский. - На том и кончим: дождетесь гетмана здесь.

Мужилковский ушел. Котелкин, надев очки, разложил на столе бумагу, поставил медную чернильницу, приготовил свежие гусиные перья. Много надо было записать: знал, как подробно будет расспрашивать князь Прозоровский. Склонив голову набок, прислушался. Жаденов лежал на скамье, руки положил под голову. Дьяк многозначительно сказал:

- Стреляют, кум!..

Жаденов отшутился:

- Известно, не музыка играет.

Дьяк не обратил внимания на шутку. Торжественно проговорил:

- Под пушечный гром буду писать святую правду о сем крае дивном и о достойных людях края сего.

18

Ранним утром пятого августа, перед битвой, Мартын Терновый лежал лицом вверх в высокой траве, под развесистым дубом в Зборовском лесу, поджидая своего полковника, которого он провожал к гетману. Встало солнце, и небо над головой Мартына нежно розовело, обещая погожий день. Он знал, что через несколько часов начнется битва. Еще вчера ввечеру неприятный холодок щекотал сердце. Вспоминал Байгород, родителей, Катрю. Вокруг него шутили, смеялись, а ему казалось, что на самом деле людям невесело - они хотят лишь заглушить свою тревогу, свое беспокойство.

Еще вчера думал, чем встретит его битва - пулей в грудь или обрушится на шею острой саблей, и тогда больше не увидит он своего Байгорода, Катри, родителей, не увидит, как идет дождь и как светит солнце, и не услышит зычного и сурового голоса полковых труб...

Так думалось вчера, а нынче пришло удивительное спокойствие, и сердце наполнило уверенностью, и в глазах загло тот ровный и холодный огонек, который пригодится Мартыну, чтобы первым, перегнувшись через голову своего серого в яблоках коня, ударить саблей наотмашь, да так ударить, что в траву покатится вражья голова...

...Лежа в траве, он жадно пил терпкий утренний воздух. От травы веяло щекотным, горьковатым запахом мяты. Пошарив рукой возле себя, нащупал стебелек мяты, растер между пальцами и вдохнул в себя. Вспомнилось, как когда-то давно, в Байгороде, сидел он на опушке леса с Катрей. В небе плыло над ними сизое облачко, так же вот, как и сейчас,

остро пахло мятой, полынью, и, словно то облачко, плыли их мечты о том, как счастливо заживут они когда-нибудь...

В лесу было тихо. Только где-то в чаще куковала кукушка. И, может быть, эта тишина и задумчивый шелест травы наполняли сердце Мартына Тернового необычным и самому ему непонятным спокойствием.

Солнечный луч, пронизав листву дуба, упал на лицо Мартына. Он зажмурился. Было приятно ощущать нежное прикосновение первого луча зари. Ровно и спокойно дышала грудь.

Лежать бы так долго-долго... Бесконечно...

Мечта на орлиных крыльях взлетает в небо, парит над миром, видит совершившимися стремления свои.

В веселом сиянии радуги стоит родной Байгород.

Вот сплетенный из свежей вербы тын, белеет хата за ним, синие петушки, намалеванные материнской рукой, улыбаются со стен Мартыну. Крепкая дубовая дверь отворена в сени, на завалинке, греясь на солнце, сидит отец и набивает люльку табаком, собранным на своем огороде. Мать возле клуни щедрыми пригоршнями сыплет зерно нетерпеливой птичьей стае. Гуси, утки, куры, индюки переговариваются по-своему, а на току, один в один, золотятся снопы нового урожая, и поодаль блестят на солнце косы, серпы, лежит оселок - все то несложное и верное оружие, с чьей помощью добыты налитые зерном тяжелые колосья.

Ни отец, ни мать, ни сосед Саливон, хата которого по правую руку, не торопятся на панщину. Никто из них не поглядывает тревожно в сторону панского палаца, не ждет, что вот-вот появится оттуда управитель Прушинский. А бывало так: подойдет к тыну стражник Завирюха, скажет, словно пролает: <Пора тебе, Терновый, заплатить осып*, четыре мерки жита, да очковое, за два улья в саду. Рыбу ловил в понедельник в пруде, - так плати ставщину, да еще скотину пас на панском поле - плати попасное, а в лесу старуха твоя вчера желуди собирала - вноси, Терновый, желудное, а перемолол ты две копы снопов - так задолжал вельможному пану сухомельщину, да еще с прошлого года должен за вола рогатое>.

* О с ы п, о ч к о в о е, с т а в щ и н а и т. д. - различные виды сборов в пользу помещика.

У старого Тернового задрожат руки, отчаянием нальются глаза, заплачет мать...

Стражник строго продолжает:

- Должен все это внести завтра.

- Вол в прошлом году от болезни подох, - за что же я должен платить, пан стражник? - дрожащим голосом как можно спокойнее пробует умиловить Завирюху старик-Терновый.

Стражника не умиловить. Кладет в широкий карман поданный старухой пирог, в другой - последний талер, который берегли за иконой, и говорит грозно:

- Что вол сдох, того пан управитель не знает, ты платить должен, то твоя повинность, ибо ты есть хлоп пана Корецкого, а моя милость тебе такая - еще неделю подожду. А коли через неделю не внесешь, будешь бит киями* на панском дворе. Смотри, Терновый!

* К и я м и - палками.

...Нет никого возле тына. И не будет. И кланяться в пояс нет нужды. Только пышные мальвы клонятся там к земле. Никто не придет от пана, - ведь нет ни стражников, ни управителя, - за самую Вислу поубегали.

Сидит спокойно на завалинке Максим Терновый. Веселая радуга сияет над Байгородом. Но что это?

Косматые тучи закрывают радужное сияние. Стражники потащили на панский двор Максима Тернового. Со свистом падают на спину палки. Стражники бьют старательно - сам управитель Прушинский стоит сбоку и, притопывая ногой, говорит:

- Бейте сильнее, пся крив, пусть знает, подлый хлоп, что то значит пану чинш не платить, да всыпьте еще за то, что породил выроodka гультая, который к Хмелю ушел...

Максим Терновый кусает землю от боли, но молчит. Не услышат палачи его стона. Может, только к одному Мартыну сердце его взывает.

...Снова солнце, и тает седая грозная туча. Тихо в Байгороде.

Мартын Терновый открыл глаза. Над ним развесистый дуб, солнце скрылось за тучи, заржал конь.

Он сел, расправляя плечи, оглянулся. Кони - его и полковничий щипали траву в стороне, то и дело подымая головы и к чему-то настороженно прислушиваясь. Мартын вскочил на ноги.

В небе, над лесом, сплошной стеною двигались дождевые тучи. Запахло влагой. Стремительный ветер промчался среди дубов и взвихрил траву. Донеслись голоса. Мартын подошел к лошадям. Поправил поводья. Глянул в небо. Напрасно было ждать солнца. А ему только что виделась радуга. И он снова подумал о предстоящей битве и теперь уже думал по-иному, ощущая в сердце нетерпеливое ожидание, словно то, что привиделось, понуждало его скорее мчаться навстречу врагу.

Когда из чащи появился полковник Данило Нечай, Мартын уже сидел верхом и, держа за повод полковничьего коня, поехал навстречу. Нечай вскочил в седло. Внимательным взглядом смерил Мартына.

- Что замурился? Смерти боишься, казак?

- Не впервой встречаться с ней, - хмуро ответил Мартын и поехал вслед за полковником.

...Час спустя Мартын Терновый сидел на высоком дубе, притаившись среди густых ветвей, и внимательно наблюдал за тем, что происходило на правом берегу Стрыпы. Внизу, под дубом, в овраге, прятались дозорные, держа в руках уздечки, готовые мигом метнуться с донесением к полковнику Нечаю. Моросил дождь.

Однако Мартыну, сквозь пелену дождя, хорошо было видно, как на том, правом берегу спокойно разворачивалось в две колонны коронное войско, должно быть и не подозревая, что за полмили от них стоит гетман. Мартын видел, как конники со стальными крыльями за плечами и закованные в латы рейтары (<немцы>, - догадался Мартын) спокойно двигались к переправе. Чуть левее, к другому мосту, спускались драгуны и артиллерия, а за ними, далеко, насколько достигал взор, растянулся жолнерский обоз. Внезапно Мартын заметил среди драгун белое знамя, возле которого тесно гарцовали всадники. <Надо полагать, король>, - решил Мартын.

Всадники со знаменем приблизились к берегу, и Мартын мог даже разглядеть их лица. Уже доносились крики региментарей, скрип телег. Вот уже на левый берег выметнулись первые всадники и начали строиться в ряды, а один из всадников, в латах, с голубым плащом через плечо, показал рукой на юг.

<Указывает в сторону Озерной, на Збараж>, - понял Мартын.

Что ж, пора было послать гонца к полковнику. Свесившись с дерева. Мартын сказал Семену Лазневу:

- А ну, Семен, мотай к полковнику, скажи - уже переправились...

Мартын продолжал наблюдать, только ухо ловило, как за спиной бешено ударили о землю копыта. А перед ним на левый берег текли двумя ручьями жолнеры, и те, кто перешел реку, начали выстраиваться вдоль берега в долине, ожидая, пока все войско переправится. Одну за другой начали переправлять пушки, за ними на телегах везли ядра.

Среди всадников на берегу было заметно беспокойство. Всадник в латах и в голубом плаще, в котором Мартын теперь безошибочно узнал региментаря, уставился в сторону оврага, куда ему указывал рукой другой всадник. Потом, точно не соглашаясь с ним, махнул рукой и отвернулся.

Тут над лесом взвились к небу синевато-белые дымки, и первые ядра со свистом легли за переправами.

Мартын мигом скатился с дуба и вскочил в седло. Он успел только выехать из яра, как рядом с ним, в поле, точно на крыльях, вынесся его полк и впереди, с обнаженной саблей и с перначом за поясом, летел Данило Нечай. Видно было, что он краем глаза заметил Мартына. Мартын врезался своим конем в шеренгу и очутился подле Нечая. С этой минуты Мартын уже видел перед собой только стену гусаров и драгун и летел на нее, гонимый какою-то дивною, могучею силой.

- Слава! - загремело над полем.

Ответил всем сердцем, всем дыханием, сколько было в груди:

- Слава!

И все казаки кричали:

- Слава!

А затем перед ним, точно из-под земли, выросли два драгуна, и один из них замахнулся на него саблей. Подчиняясь какому-то дивному чувству, владевшему им, Мартын скатился с седла под брюхо коня, держась за стремяна руками и ногами. Драгунская сабля черкнула седло, и тогда Мартын появился в седле с правой стороны и, перекинув саблю в левую руку, внезапным ударом свалил драгуна с коня. Но вот перед ним вырос другой, выставив вперед длинную пику. В тот же миг этот другой упал. Мартын увидел, как сзади драгуна ударил по затылку перначом Нечай, и услышал команду полковника:

- Разворачивайся лавой! Сотники, вперед!

Весь полк понесся к берегу, отрезая королевскому войску дорогу к отступлению.

Справа оглушительно били пушки, и уже катился над полем короткий крик татар:

- Алла!

Это перекопский мурза Карач-бей выводил из леса свои отряды. Мартын с казаками уже достигли берега и заняли спуск к переправе.

Гусары прокладывали себе дорогу пиками. Многие из них спешили и целились в казаков из мушкетов. Мартын услышал, как польский региментарь, тот самый, которого он заметил еще во время переправы, что-то закричал гусарам и первым кинулся на казаков, чтобы проложить дорогу к переправе.

<Тут, видно, будет мне конец!> - мелькнуло в голове Мартына.

Глянул вправо и увидел, как стройными рядами шли к берегу немецкие рейтары.

- Что, жарко, брат? - услышал Мартын над ухом и, оглянувшись, узнал донского казака Семена Лазнева. По щеке у него бежала кровь, черный чуб прилип ко лбу, конь тяжело храпел.

В эту минуту конь под Мартыном споткнулся, и Мартын скатился через голову коня на землю. Он не успел подняться, как на него замахнулся саблей рейтар. Мартын увидел над собой багровое лицо, осатанело выпученные глаза. Отклоняясь от удара, Мартын защитил себя саблей, выставив ее перед собой наискось. Но, наверно, ему пришлось бы худо, если бы Семен Лазнев не налетел, как вихрь, на рейтара сбоку и не свалил его с ног ударом сабли в лицо.

- Пропадай, немец! - крикнул Лазнев, вонзая ему саблю между глаз.

Мартын вскочил на ноги. Конь лежал, убитый пулей. Лазнев протянул ему руку, помог подняться.

- Держись, Мартын, - крикнул Лазнев и, заметив впереди всадника в голубом плаще, стремительно поскакал к нему.

- Принимай гостинец от русского казака! - лихо закричал Лазнев, и оттого ли, что налетел он, как вихрь, или оттого, что кричал весело, или по какой-нибудь иной причине, - но Мартын увидел, как всадники с обеих сторон расступились и дали место для поединка. Но региментарь, видно, не был согласен на поединок и, повернув коня, злобно прикрикнул на своих жолнеров, а те уже повернулись спиной к своему командиру и скакали прямо на другую засаду, где их ждали казаки полковника Громыки.

Вынужденный защищаться, всадник в плаще кинулся навстречу Лазневу, но казак, уклоняясь от ударов, бешено кружился вокруг него, и региментарь волей-неволей вертелся

на месте, а за ним летел и его голубой плащ. Лазнев улучил минуту и умелым ударом выбил саблю из рук всадника.

- Сдавайся! - люто крикнул он, и региментарь поднял руки, скатываясь с коня.

В тот же миг Мартын схватил коня за уздечку и вскочил в чужое седло.

Гусары и драгуны бешено отбивались в низине. Стоявшие там польские пушки, развернувшись для боя, не успели сделать ни одного выстрела. Казацкая пехота полковника Гладкого стремительным ударом захватила их. Только с другого берега Стрыпы били пушки, но уже к ним подходили полк Богуна и татары.

Десять тысяч рейтар и пять тысяч жолнеров стеснились у плотины, готовясь оттуда нанести фланговый удар казацкому войску, и дать возможность уйти на правый берег королю с его многочисленной свитой.

Мартын слышал, как в лесу грянули трубы, и увидел, как несколько десятков трубачей на белых лошадях вынеслись на опушку, а за ними широкой лавой выкатились казаки. И впереди лавы увидел Мартын всадника, за которым скакал казак с белым бунчуком.

- Гетман, гетман! Слава гетману! - прокатилось над полем боя, и этот клич подхватили все.

- Гетман, гетман! - кричали казаки, и, должно быть, до гетмана тоже донесся этот крик...

Мартын и Лазнев стояли в рядах своей сотни, готовые кинуться в бой, едва только сотник махнет перначом. Но сотник, как и они, смотрел в сторону леса.

Гетман махнул саблей в направлении плотины, и конники, мчавшиеся за ним, точно подхваченные сильным ветром, кинулись на рейтар и жолнеров. В этот миг сотник тоже махнул перначом и вывел сотню в бой.

Мартын и Лазнев скакали рядом. Перед ними красовался в галопе аргамак Нечая.

- Гляди, - толкнул локтем Мартына в бок Лазнев.

Окруженный свитой, летел на вороном коне Хмельницкий, держа в вытянутой руке саблю. За поясом у него Мартын увидел булаву. Лицо гетмана было сурово. Казак с бунчуком в руках, скакавший позади, яростно озирался вокруг и кричал:

- Слава!

Гетман вдруг обернулся к нему и что-то крикнул, что - Мартын не разобрал, но, должно быть, что-то гневное, ибо казак замолчал.

В этот миг Мартын почувствовал, что должен скакать за гетманом, и куда укажет он саблею, туда Мартын и кинется стремглав. Мартын понял, что между этим чувством и тем, о чем мечталось утром в лесу, есть прямая связь, и, поняв это, Мартын снова ощутил в сердце такую же могучую силу, как и в начале боя.

- За волю, за веру! - услышал Мартын клич гетмана. - Вперед, казаки!

Мартын тоже закричал:

- За волю! - и услышал, как рядом, в лаве, эти слова: <За волю!> кричали Семен Лазнев, Андрей Пивторадня, Микита Горлица, и, оглянувшись, увидел вдруг Нечипора Галайду, который скакал в рядах и кричал:

- За волю!

И этот крик: <За волю!>, летевший над полем битвы, зажигал в сердце Мартына такую отвагу и мужество, что он понял: смерть ему не страшна.

...Нечипор Галайда тоже заметил Мартына Тернового, но лавы выгнулась полумесяцем, и когда он еще раз кинул взгляд в ту сторону, то Мартына уже не увидел. Он дал шпоры коню и неся, как вихрь, по полю, на железную стену рейтар, - они с колена били из мушкетов по казацкой лаве. Недалеко впереди размахивал саблей полковник Громыка, что-то кричал казакам, но Галайда ничего не разобрал: в этот миг загрохотали пушки с польского берега, и только по взмахам полковничьей сабли Галайда понял, что тот приказывает спешиться и залечь.

Галайда, как и все казаки, соскочил с коня и, потянув его за повод, заставил лечь перед собой. Быстро приготовившись, он начал насыпать на полку ружья порох. Случайно глянув

перед собой, увидел, что полковник Громыка, выпрямившись во весь рост и повернувшись к рейтарам спиной, кричит на кого-то в лаве, а рейтар, скрытый за холмом, целит полковнику в спину. Галайда вскочил на ноги и в два прыжка заслонил собою полковника. Выстрела он не слышал, но что-то горячее и острое вошло ему в грудь, и больше ничего Нечипор Галайда не помнил.

...В ту ночь, пятого августа, Федор Свечка, сидя в своем шатре в Зборовском лесу, облизывая языком засохшие губы, склонялся над доской, лежавшей на двух чурбанах. На желтом листе пергамента писал:

<...Кровавая сеча длилась до вечера. Только страшный дождь и темень остановили славное войско гетмана. Ляхам удалось разрушить мосты и бежать в город, но оставили они на поле боя в руках казаков восемнадцать тысяч пленных, сто возов с войсковым снаряжением, пятьдесят семь пушек и ядер великое множество.

Зрел я, как гетман Богдан скакал впереди лавы и рубился, как простой казак, и под гетманом упал конь, раненный в голову, но какой-то казак отдал ему своего коня, и гетман снова был в седле. А было еще так, что вражеские пушки укрылись между двумя холмами и оттуда палили по казацким лавам, тогда однорукий казак пробрался во вражеский табор, подпалил возы с порохом и сам погиб при взрыве. Казаки мне потом сказали: зовут его Федор, а на прозвище Кияшко. Да будет славен его подвиг и известен роду людскому.

И еще славу великую добыл донской казак Семен Лазнев, полонив немецкого генерала Донгофа, да еще взял в полон десять рейтар и королевского бунчужного. Ходили донцы в битву плечо в плечо с нашими казаками и бились, как львы, и после боя гетман всех их благодарил, а наказному атаману донскому Алексею Старову подарил со своего плеча саблю, а атаман Старов свою отдал гетману, и которые при том казаки были, кричали: <Слава!>

Взятые пленники, в великом страхе пребывая, перед гетманом на колени пали, и был среди них полковник немецкий Вольф, да князь Любомирский, да еще много шляхтичей, и сказывали они, что король Ян-Казимир и канцлер Оссолинский едва в полон не попали и теперь где-то скрываются в таборе. И пленные сказывали, что войско короля и его региментари в великом расстройстве пребывают.

После битвы велел гетман значковым от каждого полка счесть, сколько полегло недругов и сколько наших. И значковые сочли, и выходит - недругов полегло одиннадцать тысяч, наших, - две, а может, и того меньше. Только от мушкетов много понесли потерь.

Из города Зборова от городского посольства приходили к гетману в лагерь гонцы, и говорено теми гонцами, что мещане не хотят быть под королем и чинить гетману помехи не станут, а, напротив, всякую помощь подадут, только покорно просят, чтобы татар гетман близко не подпускал.

Еще сказал мне сын гетмана, Тимофей, что простой казак из полка Данилы Нечая, по имени Мартын, а на прозвище Терновый, врезался в королевскую охрану и порубил двух знаменосцев, и королевскую хоругвь у них отобрал, а отбивши, привез в гетманский табор. Теперь та хоругвь лежит в шатре у гетмана...>

В чернильнице не стало чернил. Свечка положил перо. Как раз собирался написать несколько слов и о себе, - ведь и он был в бою, и ему довелось изведать и страх, и радость успеха, - но в чернильнице было сухо.

<На себя и нехватило>, - горестно подумал он и вышел из шатра набрать воды, чтобы развести новых чернил.

Однозвучно шумел в листве дождь, захотелось спать, решил лечь, тем более, что, наверное, завтра на заре снова начнется битва. И Федор Свечка воротился в шатер и вытянулся на кошме. Вскоре заснул. Ему снилось, что он скачет на коне с саблей в руке, а перед ним стеной стоит коронное войско, но он слышал за своей спиной голос гетмана:

- Смотрите, казаки, каков Федор Свечка, - один всех врагов на поединок вызвал.

И вдруг Федор Свечка видит, как навстречу ему выходит покойный митрополит Петр Могила, держа в руке книгу, и протягивает ее ему. Видит он, что на переплете написано его

имя. И уже нет ни шляхты, ни казаков, а вокруг луг зеленый, и по тому лугу идет дивчина с полными ведрами воды. И Федору Свечке хочется, чтобы она перешла ему дорогу, но вместо того дивчина выливает воду на землю и переходит дорогу с порожними ведрами...

...Гетман объехал полки. Теперь возвращался к себе. Его, должно быть, уже ожидали, - приказал, чтобы тотчас явились в шатер Нечай, Гладкий, Мозыря, Громыка, Выговский, Капуста и прибывший из-под Збаража Силуян Мужиловский. От усталости еле держался в седле. Сзади ехали есаулы и Тимофей. Невдалеке за ними охрана. Впереди с факелами в руках двое казаков. Спускались в овраг.

- Чей полк? - спросил гетман сторожевого казака.

- Полковника Громыки, - четко ответил сторожевой.

Гетман подъехал к костру, вокруг которого сидели казаки. Свита остановилась поодаль. Тимофей стал рядом с гетманом.

- Здорово, казаки! - сказал гетман.

Его узнали. Начали подыматься на ноги.

- Челом, пан гетман. Челом! - ответили хором, дружно.

- Сидите, сидите, и я возле вас погреюсь.

Гетман легко соскочил наземь и подошел к костру. Казаки потеснились, кто-то положил седло. Садясь, Хмельницкий закричал:

- Не те уж годы, казаки...

У костра смущенно молчали. Гетман обернулся, приказал Тимофею:

- Поезжай в табор, скажи - скоро буду...

Когда затих стук копыт, гетман поглядел на небо и сказал:

- Перестал дождь, вот бы завтра в?дро было.

- Все одно, гетман, какая погода ни будет, короля побьем, откликнулся казак с перевязанной головой, сидевший справа от него.

- Думаешь, побьем? - спросил гетман, бросив на него взгляд.

- Пойду с вами об заклад... - задорно сказал казак.

- Ну и Гуляй-День! - восторженно выкрикнул молодой казачок. - С гетманом об заклад захотел пойти! Ну, и Гуляй-День!

- На что спорим? - усмехнулся гетман.

- Да какой там заклад, коли и ты, гетман, и я одинаково знаем, что шляхте дышать один день... То лишь для красного словца - заклад...

- Ох, и Гуляй-День! - восторженно бил себя по коленям казачок. - Язык как сабля...

На говоруна зашикали.

Хмельницкий достал люльку, набил табаком, потянулся к огню. Гуляй-День схватил пальцами уголек и поднес к гетманской люльке.

- Пальцы обожжешь, - сказал гетман и хотел взять уголек у Гуляй-Дня, но тот не дал.

- Закуривай, гетман, - поднес к люльке, - нам твои пальцы дороже чтоб руку имел твердую, чтоб панов держал в покорности...

- Ох, и Гуляй-День! - снова выкрикнул говорливый казачок...

Казаки у костра оживились.

- А оно так, панов в покорности держать надо...

- Уступи им - снова через Вислу полезут...

- Не полезут, застрашаем, - вставил казачок, все пытаясь привлечь к себе внимание гетмана.

- Застрашаешь их! - с сомнением покачал головой Гуляй-День. - Разве мы впервой поднялись! Гетману лучше знать, сколько тех повстаний было... Эх!

- Известно, было, - отозвался хриплым голосом другой казак; он все время молчал, посасывая длинную трубку. - Да такого еще не было, правда, гетман?

- Думаю, нет, - коротко сказал Хмельницкий.

Гуляй-День безнадежно махнул рукой и с отчаянием проговорил:

- Чужих панов выгоним - свои найдутся, сядут на шею, тогда что...

Сказал и почувствовал, как заколотилось сердце в груди. Тяжелое, гнетущее молчание воцарилось у костра. Гетман смотрел в огонь и спокойно курил люльку.

Молодой казачок решил угодить гетману. Вишь, до чего договорился тот Гуляй-День! Небось, гетман не из посполитых, тоже, видать, из панов, сказывают, хуторов у него сколько, да и золота немало. Ох, Гуляй-День, ну и язык бог дал!

- Коли так думаешь, Гуляй-День, то лучше бы дома сидел на печи, задорно сказал молодой казачок. - Чего воевать пошел?

Ждал, что Гуляй-День обидится, но услышал тихий ответ:

- А пришел, чтобы польскую шляхту гнать со своей земли.

Помолчал и, словно обдумав, добавил:

- Чужих панов побьем - за своих возьмемся, поодиночке их легче бить...

Все молчали, со страхом поглядывая на гетмана. А он курил люльку и глядел в огонь. Однако внимательно слушал, что говорил Гуляй-День.

- Нам, гетман, твоя мысль по сердцу пришлась. Известно, горе наше понял ты, за волю и веру кличешь нас, мы пошли, и куда прикажешь - пойдем, поляжем, а не отступимся от своего... - Голос Гуляй-Дня окреп, он махал перед собой кулаком.

- А, хотим мы одного - жить по-людски, на земле работать себе, а не пану. А ежели тебе или войску какая нужда, все дадим и станем оружно. Разве я казак? Сроду не был казаком. А они все разве казаки?

Молодой казачок хотел что-то возразить, не соглашаясь, махнул рукой.

- Да цыц ты, щенок! - сердито крикнул Гуляй-День. - Дай мне с гетманом поговорить, может, завтра убьют, а я должен правду сказать, чем болит сердце, да не у меня одного, а у всех посполитых болит...

- Говори, Гуляй-День, - тихо уронил Хмельницкий, - говори, слушаю тебя...

- Видишь, гетман, сколько войска у тебя? Не десять и не двадцать тысяч. Вся Украина - войско твое! А чего хотим? Воли хотим, гетман! А будет воля нам, тогда увидишь, какой край у нас будет!.. Прости, может, не должен такое говорить...

- Хорошо говоришь, - сказал Хмельницкий. - Правду сказал ты, Гуляй-День... Пойми только, тяжко нам, враги кругом...

- Прости, гетман, - поклонился Гуляй-День. - Говоришь, враги, это верно, - а думаешь, польские хлопы нам теперь не завидуют, что мы панов бьем? Они, глядь, тоже так начнут... Только знай, гетман, может, другим разом не сказал бы, а теперь... Что ж, скажу: уступишь панам ляхам - все свой край покинем, подадутся люди посполитые в русскую землю... Ты о моем прозвище подумал? Нескладное оно, известно. А почему так? В нем доля моя: Гуляй-День! И все! Так и живем. Ты это знать должен. Твои универсалы из-под Желтых Вод мы, как молитву, повторяем...

Гуляй-День замолчал. Хмельницкий притушил пальцем трубку. Засмеялся. Казаки тоже. Поднялся на ноги. Чувствовал, как что-то связывает его, мешает ему свободно говорить с казаками... Если бы перед ним стояло сто, тысяча, двести тысяч казаков - он полным голосом сказал бы им то, что говорил всегда, когда надо было поднять в них веру в его призыв, в то, что писал в своих универсалах; а тут, глаз на глаз с маленькой кучкой людей, глаз на глаз с Гуляй-Днем, который ошеломлял своей бесстрашной и мужественной откровенностью, Хмельницкий почувствовал, что обязан быть до конца искренним, и он начал неторопливо, взвешивая каждое слово:

- Спасибо, казаки, что утешили меня в своем товариществе. Будем, казаки, стоять плечо к плечу, и я от своих слов не отступлюсь, за это жизнь свою отдам.

Чувствовал, что казаки ждут от него большего. Твердо сказал:

- Выгоним чужих панов, да и своих плодить не станем. Что богом положено на долю нашу, как жить кому, того держаться будем.

Помолчал, подыскивая, что бы еще сказать, и, рассмеявшись, пошутил:

- Будет твое прозвище не Гуляй-День, а Гуляй-Сто-Лет! Пора мне ехать, казаки.

Все вскочили на ноги. Гуляй-День подвел коня. Держал стремя, пока гетман не сел в

седло. Сказал:

- Провожу тебя, гетман.

Держась за стремя, шагал рядом. За оврагом ждала охрана. Хмельницкий пожал руку Гуляй-Дню:

- Счастья тебе, Гуляй-День!

- Будь здоров, гетман!

Охрана окружила гетмана. Гуляй-День остался один. Стоял, прислонившись плечом к дереву. К костру не хотелось возвращаться. Было нехорошо на сердце, словно кто-то обидел, словно не сбылись какие-то надежды.

...В шатре гетмана ждали. Выговский кинулся навстречу:

- Важные дела, Богдан... - Дрожащими руками разворачивал длинный лист пергамента.

- Письмо от короля тебе в собственные руки...

Хмельницкий сбросил мокрый кобеняк*. Поглядел на Нечая и Мужиловского, стоявших рядом, точно не расслышал слов писаря. Спросил Мужиловского:

* К о б е н я к - плащ с капюшоном.

- Что под Збаражем?

- Последние дни доживают...

- Не вырвутся?

- А хоть бы и прорвались - теперь не страшно.

В глазах Выговского горели злые огоньки.

<Вот так он умеет представиться равнодушным, - подумал он, - когда у самого под сердцем сосет>.

- Что ж там король пишет? - спросил Хмельницкий, садясь по-татарски на кошму.

Вытер платком мокрое лицо, кивнул полковникам, чтобы садились.

- Полчаса назад, - облизывая губы, взволнованно проговорил Выговский, - явился парламентар, личный адъютант короля, ротмистр Бельский, и привез это письмо. Король ждет твоего ответа.

- Ответа? - переспросил Хмельницкий.

<Ответа?..> - подумал про себя. Что ж, он ответит. В груди жгло и ломило плечи. Видно, простудился. Этого еще нехватало.

- Постой, Выговский! Крикни там Тимка!

Выговский высунулся за полотнище шатра и сердито позвал:

- Тимко!

Боком в шатер просунулся личный гетманский повар Тимко, низенький сухощавый казак.

- Слушаю, пан гетман.

- Чарку горелки и горсть пороху! - приказал Хмельницкий.

...Через минуту взял в руку принесенную Тимком чарку, всыпал в нее полгорсти пороху, размешал и выпил не поморщившись.

- Такого король не выпьет, - пошутил, вытирая усы, - наилучший способ от лихорадки. Еще под Цецорой научил меня старый казак, помогает. И тебе советую, Иван, не так трястись будешь, держа в руках королевскую грамоту.

- Шутишь, Богдан, а время идет.

- Время теперь для короля важно. Нам спешить некуда.

Вытянулся на кошме, положил под голову кулак. Повернулся спиной к Выговскому.

- Читай, писарь!

Нагнувшись над свечой, Выговский читал:

- <Нашу королевскую милость охватила скорбь, когда дошла до нас весть, что ты проявил непокорство со всем нашим Войском Запорожским...>

- Было ваше! - прервал чтение Хмельницкий. - Пора забыть, пан круль!..

Выговский нетерпеливо пожал плечами.

- <...не выказал достодожного нам верноподданства, невзирая на то, что мы тебе прислали булаву, хоругвь, и наместо того, чтобы закончить комиссию согласно с составленными нашими комиссарами пунктами, не только не учинил так, но и тогда, когда мы выслали часть нашего коронного войска для усмирения бунта простого народа, который никогда к Войску Запорожскому не принадлежал, ты на это войско наступил и по нынешний день наступаешь. Мы желали тогда, через нашу комиссию и комиссаров, до конца успокоить государство, истощенное кровавыми внутренними распрями, сущими на радость всем неверным, с которыми ты вошел в союз>.

- Ты слушаешь, Богдан? - спросил Выговский, прерывая чтение.

Хмельницкий в ответ только махнул рукой. Выговский заканчивал:

- <...Мы готовы тотчас выслать послов к тебе, и мы уверены, что найдем в тебе достодожную верность и уважение. Мы уверены в этом, поскольку сами нашею королевскою особою желаем искать способов, дабы те внутренние распри утишить.

Ян-Казимир, король польский, своею рукою, в Топорове в ночь на шестое августа года 1649>.

- Покажи, - Хмельницкий поднялся, опершись на локоть, взял грамоту, пробежал тщательно выписанные строки, повторил громко: - <Ян-Казимир, король польский...>

Мелькнула озорная мысль: <Послать бы к нему Гуляй-Дня, пусть бы трактовал с ним...> Вслух сказал:

- Наверно, и хану уже письмо послал. Теперь надо за Ислам-Гиреем крепко приглядывать.

- Парламентер ждет, - напомнил Выговский.

- А ты что советуешь? - спросил Хмельницкий.

Выговский глянул на Мужилковского и Нечая, надеясь угадать по выражению лиц их мысли, но они смотрели куда-то под ноги, и он неуверенно сказал:

- Моя мысль - надо послать ответ, что мы согласны начать переговоры и прекратить войну...

- А ты, Нечай? - обратился Хмельницкий к полковнику Нечая.

- Я мыслю - принудить короля к капитуляции, тогда другой разговор будет. Не жаловать станет нас, а говорить с нами как с равными.

- Я тоже так мыслю, - сказал Мужилковский.

Гетман поднялся с кошмы.

- Завтра утром взять Зборов! Коронное войско добить. Парламентер пусть возвращается. Ответа не будет.

Выговский протестующе поднял руку.

- Ступай, я так сказал - и конец.

...Выговский вышел. Нечай и Мужилковский поднялись.

- И вы ступайте, отдохните... Какой там мир? О чем трактовать? гетман вскочил на ноги. - Слабодушен стал мой писарь.

Нечай многозначительно заметил:

- Шляхетская кровь играет...

Хмельницкий поднял брови и задумчиво посмотрел на Нечая:

- Нет, друзья мои, не о мире теперь речь. Добьем королевскую армию завтра - значит наша воля добыта навеки, а мир и переговоры - только проволочка, которая даст возможность королю и шляхте подготовиться к новому рушению.

Казалось, говорил сам с собой, словно убеждал себя.

Оставшись один, невольно вспомнил беседу с казаками у костра. Теперь он хорошо знал, чего ожидают они от него. И в эту минуту, за несколько часов до нового боя, перед рассветом, возникла мысль: неужели все еще не дал достаточно воли своим казакам? Тем воинам, которые вместе с ним ходили на битвы, начиная с Желтых Вод? Сегодня их уже не десять и не двадцать тысяч, а многие десятки тысяч... Ни за что на свете ни король, ни шляхта не согласились бы всех этих воинов вписать в реестры. А разве его собственная

старшина согласилась бы?

- Богдан!

Вздрыгнул, услышав голос Лаврина Капусты.

- Задумался, - пояснил, пожимая руку Капусте. - Садись, рассказывай: какие вести?

Капуста сбросил на землю мокрый плащ и шапку, сел на кошму.

- Худые, Богдан.

- Что ж, говори дальше, - приказал Хмельницкий, став перед Капустой и скрестив руки на груди. - Говори, я слушаю.

- Король послал письмо хану. К Сефер-Кази уже пробрались посланцы от канцлера. Я думаю...

Хмельницкий остановил Капусту резким взмахом руки:

- Молчи! Мне нет дела до того, что ты думаешь. Как могли пропустить гонцов к хану?

Проморгали, дьявол вас побери! Куда глядели?

- Ты же знаешь, гетман...

- Не знаю, ничего не знаю. Боже мой! - закрыл лицо руками.

Словно на что-то еще надеясь, сказал:

- Неужто это так?

- Из верных уст, - твердо проговорил Капуста. И, помолчав немного, добавил: - Он там уже недели две...

- Думаешь, удержится?

- На бога надеюсь.

- А если спросят, где тот Бельский?

- Повстанцы сожгли вместе с маетком.

- Так...

...Дождь однозвучно шумел за шатром. Перекликались часовые.

Хмельницкий вышел из шатра. Ветер хлестнул в лицо дождем и дымом костров. Не замечая ни дождя, ни горького запаха дыма, стоял он без шапки, унесясь мыслями далеко от лагеря, от этой ночи. Где-то за мраком ночи пробивался ясный, солнечный день, и он там видел себя самого, на диво спокойного и уравновешенного, такого, каким никогда себя не знал. Это продолжалось одну минуту, и, может быть, именно это принесло ему внезапное успокоение.

Он вошел в шатер и тихо сказал Капусте:

- На заре начнем бой. Прежде, чем они сторгуются с ханом, надо добыть победу.

Понимаешь?

Лаврин Капуста молча склонил голову.

19

Сефер-Кази-ага внимательно слушал королевского маршалка Тикоцинского. На бесстрастном лице ханского визиря ничего не видно, но в сердце Сефер-Кази не было ни тишины, ни спокойствия. Вот и настал долгожданный час - доказать хану Ислам-Гирею, какой у него мудрый визирь. Разве найдется при других царских дворах такой разумный и сметливый первый министр, как Сефер-Кази-ага? Нет! Не найти такого.

Тикоцинский говорил торопливо. Толмач, безбровый и толстый татарин Казими, едва успевал переводить взволнованные слова маршалка. Но чем больше волновался гонец канцлера, тем спокойнее становилось на сердце у Сефер-Кази.

Сефер-Кази жмурился, от удовольствия перебирал пальцами на животе. Теперь иначе заговорят королевские министры. Представил себе на миг разъяренное лицо Хмельницкого и укоризненно закачал головой.

Тикоцинский смущенно замолчал. Визирь махнул рукой: <Пусть гонец говорит дальше>. Толмач перевел. Тикоцинский продолжал. А когда он закончил, Сефер-Кази поднялся и обратился к толмачу:

- Скажи неверному, пусть ждет ответа, - а сам вышел из шатра.

Тикоцинский, скрывая в сердце тревогу, ждал. Прямо перед ним стояли двое татар с

обнаженными мечами и следили за каждым его движением. Толмач сидел поодаль, скрыв глаза под набухшими веками. Тикоцинский понял: теперь он беззащитный пленник визиря, и тот, если вздумается, может передать его Хмельницкому. От этой мысли мороз прошел по спине. Кусал усы, утешал себя, что визирь, наверно, согласится на переговоры, иначе он сразу отказался бы. Вспомнил, как несколько часов назад канцлер Оссолинский говорил в шатре короля:

- Единое наше спасение - добиться, чтобы хан разорвал союз с Хмельницким. Надо соглашаться на все, уплатить дань, подкупить визиря, мурз... Разорвать их союз - единственный путь к спасению.

...Тикоцинский сидел в шатре визиря и ждал. Он понимал - визирь сейчас у хана. В эти минуты решается судьба Речи Посполитой. Ведь утром Хмельницкий ударит снова.

Время тянется неимоверно долго. Неужто татары не согласятся? Что будет? Тяжелая усталость сковывает веки.

Сквозь дрему Тикоцинский вспоминает, что королевский лагерь окружен со всех сторон. Взволнованное воображение рисует ужасающие картины битвы. Все гибнет. Все развеяно по ветру. Все станут пленниками Хмельницкого и хана. И уже никогда не возвратится шляхта в свои имения над Днестром.

Легкое прикосновение руки к плечу вырывает Тикоцинского из трясины тяжелого забытья. Визирь стоит перед ним, и он опрометью вскакивает на ноги. Заглядывая в глаза визиря, он силится угадать, с чем вернулся Сефер-Кази от хана. Толмач, кривя губы в презрительной улыбке, говорит:

- Великий визирь Сефер-Кази-ага великого хана Ислам-Гирея приказывает тебе, парламентеру короля Речи Посполитой, возвратиться в свой лагерь и сказать канцлеру Оссолинскому, что визирь согласен говорить с ним утром, после восхода солнца, в Зеленом Яре, на правом берегу Стрыпы. А чтобы тебе не было опасности от казаков, великий визирь приказал спрятать тебя в воз с сеном и в сопровождении охраны отправить в лагерь короля.

Тикоцинский низко поклонился. Сефер-Кази-ага опустил веки. Толмач легонько подталкивал Тикоцинского в спину. Сейманы* шли следом.

* С е й м а н ы - стража.

После восхода солнца в Зеленом Яре, над Стрыпой, канцлер Оссолинский ожидал визиря Сефер-Кази. Он услышал резкий и грозный звук труб, и на его впалых небритых щеках заходили желваки. Свита канцлера тревожно переглянулась. Оссолинский низко опустил голову. Тяжкий позор выпал на его долю. Но мгновенно он овладел собой. Только бы умиловить проклятого визиря, а позор пятен надолго не оставит. Он смывает эти пятна кровью схизматиков. Недолго доведется ждать. Канцлер внимательно прислушивается к дальнему шуму. За его спиной тихо перешептываются Тикоцинский и Малюга. Канцлер ловит краем уха голос Тикоцинского:

- Следите внимательно, что будут говорить между собой татары и что будет говорить визирь. Толмачи не все переводят, пся крив...

- Едет, едет! - произнес кто-то тревожно.

Оссолинский увидел: по траве ехал на белом коне, покрытом шитой золотом попоной, Сефер-Кази-ага. За ним несколько десятков всадников.

...И вот они сидели, канцлер и визирь, на разостланной в траве попоне, с двумя толмачами по бокам. Поодаль стояла их свита. Где-то в долине призывно ржали кони и грозно звучали голоса.

О многом уже переговорили, но о главном визирь все еще не сказал ни слова. Визирь знал, - за ним решающее слово, и он метко целился. Он выигрывал время и выигрывал деньги. На лице его застыло спокойствие, словно никакой битвы не было и не могло быть. Канцлер волновался, разглядывая перстни на своих руках, глуховатым голосом доказывал визирю:

- Не в твоих интересах, великий визирь, дать черни победить. Ты мудр и дальновиден,

пойми: казаки всегда были врагами твоему царству. И теперь они будто бы притворяются друзьями хана, но это только видимость; дай им только войти в силу - и они обратят оружие свое против вас, своих союзников. Им не хан по сердцу, а царь московский, это мне доподлинно известно. С московским царем Хмель давно заигрывает, а от вас это скрывает. Тебе известно, что теперь с ним донские казаки, а дай время будет вся Московская держава.

Канцлер внимательно следил за визирем, пока толмач переводил. Но ни один мускул не шевельнулся на каменном лице Сефер-Кази. Толмач перевел, выслушал, что сказал визирь, и обратился к канцлеру:

- Великий визирь готов слушать дальше великого канцлера.

Оссолинский продолжал:

- Волчата, вскормленные козой, выросши, пожирают ее. Так и казаки Хмеля пойдут на Крым с оружием. Теперь самое время прибрать их к рукам, раз и навсегда.

Визирь пытливо посмотрел на канцлера. Он заговорил неторопливо и твердо. Толмач переводил сухим, бесстрастным голосом:

- Великий хан Ислам-Гирей третий послание короля Яна-Казимира читал и велел мне, своему визирю, сказать тебе, канцлеру короля: быть миру между ханом и королем и вечному согласию нерушимому, если король заплатит трехлетнюю дань и возместит все потери, какие орда понесла от этого похода. И тогда хан потребует от гетмана Хмельницкого прекратить бой и вместе с ним отойдет на Украину. А в случае король такие условия не примет, то будет орда совместно с войском гетмана Речь Посполитую воевать дальше, а ты сам знаешь - воевать вас недолго осталось. Но хан не стремится уничтожить королевство ваше, а хочет по-братски протянуть руку брату своему, королю Яну-Казимиру, ибо цари должны жить в согласии. Так аллах велел, так пророк аллаха Магомет учит.

Багровые пятна заиграли на бледных щеках канцлера. Кто посмеет теперь сказать, что он не спас короля и королевство? Он облегченно, почти радостно вздохнул и впервые за эти два дня услышал, как пахнет воздух степною полынью.

Из-за туч выглянуло солнце и уронило горячие лучи на попону и на колени министров. Из долины оглушительно ударили пушки и затем покатилося, точно отзвук грома, над Зеленым Яром казацкое: <Слава!> Канцлер вздрогнул. Визирь не скрывал усмешки.

- Смелый воин Хмельницкий! - произнес он спокойно. - Повел казаков в бой. Когда солнце станет высоко в небе, должен закончить битву. А если не управится до той поры, хан орду пошлет на помощь...

Оссолинский почувствовал, как сохнет во рту. Облизал языком засохшие губы, хрипло проговорил:

- Что будем дальше делать, великий визирь?

- Думаю, уже поздно, - грустно покачал головой Сефер-Кази, - теперь уже поздно, великий канцлер. Хан может не согласиться разорвать союз с гетманом Хмельницким, ибо он начал бой.

- От тебя все зависит, великий визирь, - дрожащим голосом заговорил Оссолинский. - Твое слово много значит для хана, твое слово дорого для него.

Визирь кивнул в знак согласия головой. Толмач перевел.

- Твоя правда, великий канцлер, мое слово дорого.

Оссолинский оглянулся, указал на толмачей. Сефер-Кази понял. Поднялся вместе с Оссолинским, отошел с ним в сторону.

- Великий визирь, - тихо сказал Оссолинский, путая татарские слова с польскими, - условия хана приемлемы, а тебе за заботу хочу, с позволения твоего, привезти нынче в твой шатер королевский дар: двадцать тысяч золотых талеров.

- Тридцать, хотел ты сказать, великий канцлер, - спокойным голосом ответил Сефер-Кази. И тотчас, кивнув головой в ту сторону, где раз за разом били пушки и слышны были крики, добавил:

- Много крови прольется нынче, много крови...

- Великий визирь, - заторопился Оссолинский, - тридцать тысяч талеров дарит тебе

король, позволь королевский дар в твой шатер завезти...

- Передай, великий канцлер, ясному королю моему мою благодарность, а теперь поедем к хану.

Из Зеленого Яра Сефер-Кази и Оссолинский, минуя казацких дозорных, проехали в татарский табор.

...Через час канцлер Оссолинский от имени короля подписал договор о перемирии с Сефер-Кази-агой.

По этому договору Речь Посполитая обязывалась уплатить хану Ислам-Гирею двести тысяч талеров единовременно и в дальнейшем по девяносто тысяч талеров ежегодно, а кроме того, дать тридцать тысяч талеров на тулупы для тридцатитысячной орды хана. В то же время король должен был приказать Вишневецкому и Фирлею уплатить орде под Збаражем двести тысяч талеров.

Ислам-Гирей, одетый в соболью шубу, крытую алым бархатом, сидел на подушках, имея по левую руку Калгу, а по правую - Нураддина. Вдоль стен шатра стояли мурзы. Оссолинский преклонил колена. Сефер-Кази положил к ногам хана листы пергамента. Хан велел канцлеру приблизиться.

- Да будет согласие между мною, царем крымским, и королем польским, братом моим Яном-Казимиром, - произнес хан и обратился к Сефер-Кази: Прикажи уведомить гетмана Хмельницкого, чтобы прекратил битву, иначе я оставляю его одного и должен буду обратиться оружие войска моего против казаков.

Оссолинский поклонился и прижал правую руку к сердцу.

20

- Где слово твое? - яростно кричал Хмельницкий, размахивая булавой. Как мог ты нарушить договор? Как мог за спиной у меня начать переговоры с королем?

Хан сидел неподвижно перед гетманом, как степная каменная баба. Молчали мурзы, хранили молчание ханские братья. Тяжело и сердито сопел Сефер-Кази.

Хмельницкий чувствовал: напрасно кричит. Нет, криком тут не поможешь. Все было проиграно. За его спиной сплели паутину. Продали! Что он мог поделывать? Скача к хану, видел, как строилась в боевые ряды орда. Он знал: хан может дать приказ ударить в спину казакам. Он знал, почему так поспешно заключил хан мир с королем. Незачем кричать, незачем тратить силы и слова. Хану не с руки была бы победа над королем. И, словно отгадав его мысли, Ислам-Гирей, как ужаленный, вскочил на ноги и закричал, подступая к Хмельницкому:

- Ты меры не знаешь, гетман, жадность твоя безмерна! Замыслил помазанника божьего, брата моего, в прах повергнуть, растоптать! Разве такое слыхано? Ты уже многого добился - и довольно. Король тебе все простит. И не надо пролития крови. Я не хочу войны. Король мне дань заплатил и обещает и дальше платить в срок. А ты если хочешь воевать воюй. Но знай, - угрожающе и гневно кричал хан, - я тебе в спину ударю! Я тебе и так помог...

- Что помог? - перебил Хмельницкий. - Чем помог?

Хан не ответил. Овладел собой, сел между своими братьями и устало опустил веки. Сефер-Кази успокоительно вставил:

- Теперь самое время, гетман, и тебе заключить договор с королем. Он преклонит слух к твоим просьбам. В том и великий хан тебя поддержит.

Хмельницкий, резко повернувшись, вышел из шатра.

Он уже не слышал, как вслед ему покатился легкий, довольный смех Ислам-Гирея.

Сефер-Кази поклонился хану и угодливо заговорил:

- Видишь, великий повелитель мой, как опасен гяур Хмельницкий. Теперь ты убедился, как хорошо поступили мы. И король, и гетман в твоих руках, хан.

- Нет бога, кроме бога, и Магомет - пророк его, - проговорил Ислам-Гирей и сладко зевнул, вспомнив вдруг белые стены бахчисарайского дворца.

<Теперь казаки, - подумал хан, - снова начнут помышлять, как бы им от короля избавиться, и о Крыме надолго забудут...>

...Хмельницкий бешено гнал коня, возвращаясь из ханской ставки. Гнев и злоба душили его. Конь вынес его на шлях. Вот он, Зборовский замок. Увидел, как через Стрыпу широкими рядами, по наведенным мостам шли казаки. Вдоль берега трубили трубачи. Отвернулся. Лучше было не видеть того. Лучше было сложить голову в бою, чем пережить эти минуты.

...Да, он проиграл битву. Уже близка была победа и малиновое гетманское знамя уже реяло над польским лагерем. И вдруг гонец хана сломил все то, что он выносил в сердце, взлелеял в душе своей.

Тимофей скакал рядом. Он ни о чем не спрашивал. Он все сам понял. Как оскорбительно легко и быстро вырвал хан победу!

...В шатре гетмана тесно. Нечай прискакал прямо из боя, прижимал перевязанную руку к груди. Громыка тер засыпанные пылью глаза и кашлял. Сидели, тяжело переводя дыхание, Гладкий, Пушкарь, Суличеч, Волевач, Чарнота, Томиленко. В углу о чем-то шептались Выговский и Капуста. Силуян Мужиловский выглянул из шатра и объявил:

- Гетман.

Вошел Хмельницкий. Стал посреди шатра.

- Продад нас хан, други, - сказал он.

Полковники молчали. Тогда гетман продолжил:

- Была у меня думка - не прекращать боя, а что бы мы поделали, ежели бы орда ударила нам в спину? Нет! Не время играть судьбой. Не только о себе помышляем ныне, а и о крае нашем, об отчизне. Хочет король вести переговоры с нами - будем вести. С татарами союз рвать сейчас нельзя, узнает шляхта, что мы одни, обнаглеет. Пускай думают, что мы с ханом в согласии. Верно говорю?

Полковники молчали. Он хмуро усмехнулся.

- Головы повесили, зажурились! Зря! Подумайте, какая победа нам досталась! Первокласную армаду на колени поставили и объявим королю наши условия. Сами мирные пункты напишем. Разве этого мало?

Разгневанно крикнул:

- Думаете, мне весело? Одною злобою победы не добудешь. Погодите, еще придет и наше время. Тут, под Зборовом, - только начало.

Говорил уже не только полковникам, но и самому себе. Уловил взгляд Выговского:

- Что глядишь, писарь? Думаешь, дурно учинил, что-не послушался тебя вчера, не ответил королю? Нет! Хорошо поступил. Теперь король еще больше уstraшен. Поезжай к хану, скажи: гетман и старшина зовут на обед великого хана, его братьев ясных, пропади они пропадом, и славного визиря, сто чертей ему в печенку. Скажи: гетман десять баранов зарезал и десять сулей лучшего кумыса на стол поставил. Скажи, Выговский! А вы, полковники, оденьтесь по-праздничному, бросьте печалиться - мы победили, победили мы, а не шляхта! Слушай, Чарнота: когда хан в шатер мой войдет - так чтобы пятьдесят раз пушки ударили и чтобы все казачество в таборе кричало: <Слава!> И чтобы трубы трубили, как на бой. Да все полки выстроить, пускай видит басурман, какова сила наша, пусть не забывает, что и под стены Бахчисарая притти можем.

Голос Хмельницкого звучал твердо, и полковники один за другим выходили из шатра, забыв недавнюю печаль и растерянность. Силуян Мужиловский, оставшись с гетманом, сказал:

- Мыслю, Богдан, - не совсем уж худо вышло. Своего добьемся от короля. Главное - потребный нам реестр надо обеспечить. От того будет зависеть наша сила и на дальше.

Хмельницкий не ответил. Молча глядел перед собой. Помолчав, сказал:

- Переговоры с Оссолинским будешь вести ты, Иван, и Лаврин. Надо ковать железо, пока горячо. Я в эту ночь глаз не сомкну. Думал я, Силуян, - тут, под Зборовом, добудем мы волю Украине навеки. Ошибся! Что народу скажу? Снова шляхта, как саранча, двинется на Украину, снова засвистят плети да палки. А придется опять народ подымать, кто за мной пойдет? Боюсь, отшатнутся.

- Всем волю дать - на такое, Богдан, дерзать не можем, - заговорил Мужиловский, - ты

должен это знать. Будь доволен тем, что вся старшина теперь за тобой, и ее пользу твердо оберегай. Разве надо тебе рассказывать, как старшина умеет предавать гетманов? Лучше меня знаешь. В Московском царстве чернь в великой покорности у бояр и государя, они, надо думать, с опаской на нас поглядывают: не взяла бы их чернь недостойный пример с наших посполитых... Подумай и об этом, Богдан.

- Мне, Силуян, обо всем думать надо, - невесело ответил Хмельницкий.

- Твоя правда, Богдан! А впрочем, до сей поры никто не мог тебя упрекнуть в неосторожности. Ты хорошо оберегал наши интересы. О народе заботишься? Народ, Богдан, больше хочет, чем ты дать ему можешь. Веру от унии защитишь - и то дело великое. Не все сразу.

- Иди, полковник, - недовольно сказал Хмельницкий.

...А ночью, после шумного обеда в честь Ислам-Гирея, у гетмана гудело в голове. За столиком в шатре сидел Выговский. Мужиловский и Капуста стояли перед Хмельницким, а он, пересиливая боль, железным обручем сжимавшую голову, все не соглашался. Не то написали они, не то! Не такими предложениями надо начинать переговоры. Такое написали, словно не он короля на колени поставил, а тот его. И вот он решил: сам напишет. Пусть они уходят и не мешают ему. Он сам все сделает.

- Не успеешь, уже мало времени осталось, - возражал Выговский.

И все-таки он настоял на своем. Они оставили его в шатре с писарем Федором Свечкой. Гетман пил квартами холодную воду из ведра. Свечка сидел неподвижно за столом, держа перо в руке. Хмельницкий приказал:

- Пиши: <Условия мира, поданные гетманом Богданом Хмельницким королю Речи Посполитой Яну-Казимиру, составленные под Зборовом августа седьмого дня 1649 года>.

Однозвучно поскрипывало перо в руке Федора Свечки. Твердо звучал голос Хмельницкого:

- <Первое: должны быть подтверждены королем права и вольности наши, чтобы где бы наше казачество ни пребывало, хотя бы трое казаков, - двое должны судить третьего, и чтобы шляхта не вмешивалась.

Второе: чтобы казацкий реестр не был ограничен никаким числом>.

Свечка вздохнул и вскинул глаза на гетмана.

- Что, нравится? - спросил Хмельницкий. - Пиши! Пиши! <Третье: пределы нашей территории должны быть от Днестра, Берлинца, Бара по Старый Константинов, по Случь и за Случь, а дальше, где Припять, и по Днепр, а от Днепра, от Любича начиная, до Стародуба, до самой границы Московского царства. В этих местностях между нашими войсковыми не должны стоять никакие хоругви, ни чужеземные, ни польские, и чтобы не смели брать никаких поборов. А по окончании переписи тем, кто останется под панской юрисдикцией, должно быть подтверждено, что если во время военных событий что-нибудь случилось, как в отношении имущества, так и здоровья, - все будет прощено и предано забвению, без всяких последствий в будущем.

Четвертое: уния, как постоянная причина утеснения народа русского, должна быть отменена как в Польше, так и в княжестве Литовском. Церкви и всякое церковное добро, пожертвования, пожалования русские, несправедливо отнятые униатами и постановлениями судов, должны быть отобраны от униатского духовенства с помощью выделенного для того полковника Войска Запорожского и отданы православному духовенству. По всей Польской Короне и в Литве оно имеет полную свободу открыто, а не тайно, исповедовать свою веру, похороны и прочие обряды церковные будет исполнять без страха, без всяких препон, как в месте пребывания короля, так и в других больших городах. Русские церкви должны быть в Кракове, Варшаве, Люблине и в других, неназванных городах, как и раньше было.

Пятое: в городе Киеве и в прочих украинских городах иезуиты и монахи римской религии, как и раньше никогда не бывало, так и теперь, не могут иметь ни от кого жертвований, ибо через монахов начинаются в религии несогласия и нарушения спокойствия.

Шестое: и если по сеймовым постановлениям, старым и новым, были убиты безневинные люди, отобраны в разных местах вольности, дома розданы, как выморочное имущество - все такие постановления и утеснения должны быть отменены, церкви, вольности, права и дома во всех городах, как в Короне, так и в Великом княжестве Литовском, должны быть возвращены владельцам.

Седьмое: за всякие вещи же из костелов и церквей, забранные казаками во время военных действий и найденные у кого-нибудь, никто никого никаким способом не может тревожить и бесчестить, а кому они за то время достались от казаков, у того и остаются.

Восьмое: православное духовенство должно иметь такие же права в Польше, как и духовенство римское. Митрополит киевский с двумя архиереями должны иметь места в сенате наравне с католическими епископами.

Девятое: на все, что случилось в 1648 - 1649 годах, должна быть полная амнистия.

Десятое: войско коронное, до полного успокоения в этом крае, не должно становиться на постой, дабы не нарушить тем твердых намерений установить спокойствие...>

Федор Свечка устало опустил руку. Немая боль свела плечо.

- Что, утомился? - спросил Хмельницкий. - Это тебе не про отважные поединки писать. Верно, не такой летописи хотелось бы тебе, отроче? Что ж, и я о другом думал. Иди, отдыхай, скоро рассветет.

Свечка поклонился гетману и вышел. Хмельницкий нагнулся над исписанными листами пергамента. Внимательно перечитывал каждую строку. Острое недовольство нарастало в нем. Сам себя успокаивал: чем недоволен? Разве под Желтыми Водами мог о таком помышлять? Однако приходилось признать, что условия, предложенные им, только ограничивают права короля и шляхты, но не отменяют их.

На рассвете Хмельницкий призвал к себе Выговского, Капусту и Мужилковского. Прочитал им пункты, которых они должны были держаться при переговорах. Они выслушали не перебивая. Окончив читать, спросил:

- Теперь как?

- Думаю, что число реестровых придется обусловить, - заметил Выговский.

- Такой мысли и я, - подхватил Мужилковский. Капуста молчал, ожидая, что скажет Хмельницкий.

Гетман не согласился:

- О реестрах сами не заговаривайте и всячески от того уклоняйтесь, а будут настаивать - скажите: это позднее обусловлено будет...

На том и порешили.

Днем состоялась первая встреча гетманского посольства с канцлером Оссолинским. Встреча состоялась в лесу под Зборовом. Обе делегации прибыли в сопровождении многочисленной охраны. Выговский прочитал условия гетмана, на которых он соглашался заключить мир с королем. Оссолинский, выслушав, сказал:

- Я должен показать пункты его величеству королю, один решить ничего не могу.

- Тогда о чем же нам с тобой говорить? - пожал плечами Мужилковский.

Оссолинский вспыхнул:

- Пункты написаны не в духе обращения подданного к своему вельможному королю, и гетман потребовал такого, что ни король, ни сейм не смогут удовлетворить этих требований.

- Тогда другой речи не ждите от нас, - твердо сказал Мужилковский.

- Хан иначе думает, - вызывающе произнес канцлер.

- Хан уйдет, а мы останемся соседями, - сказал Лаврин Капуста, - пан канцлер не должен забывать это.

- К чему спорить? - вмешался Выговский. - Пан канцлер своим светлым разумом все взвесит и все обсудит. Дадим время пану канцлеру, и я верю, что мы придем к согласию.

- Пан генеральный писарь разумно сказал, - согласился польщенный Оссолинский.

Так и закончилась на этом беседа. Послы разъехались. Капуста укоризненно заметил Выговскому:

- Зря, Иван, ты перед ним так рассыпался. Привык панам зад лизать.

Выговский схватился за саблю.

- Прекратите! - сурово вмешался Мужиловский. - Нашли время для ссоры! Опомнитесь. Выговский погнал коня вперед. Капуста плюнул на дорогу.

- Так и стелется наш генеральный писарь панам под ноги. Не могу того спокойно видеть.

21

...Пришлось уступить. Дальнейшие встречи гетманских послов с канцлером Оссолинским, как и встреча самого гетмана с канцлером, показали, что все пункты мирного договора, предложенные Хмельницким, неприемлемы для шляхты.

Сталось так, что Выговский умело отстранил всех и теперь только он один вел переговоры. Совещался с гетманом, ездил к Оссолинскому, сыпал остротами и шутками, одним словом, чувствовал себя как рыба в воде.

Хмельницкий понял: надо пойти на уступки канцлеру в ограничении реестра. Накануне составления окончательного варианта договора Выговский пришел к гетману в шатер среди ночи, вместе с полковниками Гладким и Громыкой.

Гетман спал или делал вид, что спит. Он лежал на ковре, накрывшись плащом, закрыв лицо рукой и не откликался на заискивающий голос Выговского. Только когда в шатер вошел есаул Лисовец и доложил, что приехал ханский визирь Сефер-Кази, гетман поднялся, плеснул в лицо воды, которую налил ему на руки джура, утерся рушником и надел кунтуш. Из-под набрякших век недобрыми огоньками светились глаза, черная обкуренная трубка дрожала в зубах. Казалось, вот-вот перекусит ее. Так он и не проронил ни слова, пока в шатер не вошел Сефер-Кази.

Поклонившись, словно не было ссоры, словно не он, Хмельницкий, грозил стереть с лица земли Бахчисарай, гетман хрипло сказал:

- Может, что лишнее было вчера, великий визирь, - то от Бахуса. Прости.

Визирь любезно развел руками. Пустое! О чем говорить? Были друзьями, такими и будут. Только напрасно гетман так настаивает на неограниченных реестрах. Ведь и полковники не все так думают. Разве не лучше, чтобы число реестровых было точно обозначено? О чем он заботится? Чем меньше реестр, тем лучше для края, а понадобится, - снова всех казаками сделает.

Выговский одобрительно кивал головой. Гладкий пробасил:

- Пускай реестр ограничен будет, лишь бы мы сами на своих землях хозяйничали, сами бы в маестностях сидели, это правда.

Хмельницкий молчал. В конце концов, и для него не в реестре было дело. Ему важно было, чтобы на Украине он был полновластным хозяином, чтобы державцы короля отныне не вмешивались в украинские дела.

Визирь продолжал свое. Хан считает, что гетман должен помириться с королем, жить с ним в согласии. Теперь самая пора для такого договора. Визирь рассыпался смехом:

- Чем меньше прав черни, тем для казачества лучше... Лучше будет жить казачество, - пояснил он.

Словом, визирь давал понять, что хан на стороне Оссолинского.

Визирь зорко следил за выражением лица Хмельницкого. Он мог радоваться. Упрямый и умный враг, Хмельницкий бился в умело расставленных сетях и тщетно пытался вырваться на волю.

Теперь он будет кроток, как агнец. Будет сидеть в своем Чигирине, и глупые мечты о вольной и независимой от шляхты и татар державе, о переходе в подданство к Московскому царству не будут туманить ему голову. Разве могут визирь и его повелитель допустить, чтобы Хмельницкий объединился с Москвой? Конец тогда великому Крымскому ханству!

Визирь уехал. Хмельницкий остался с Выговским. Точно ветром смело с лица гетмана смирение и покой. В ярости мерил широкими шагами клочок земли под шатром. Вот она, эта иезуитская паутина, она опутывала его. Как сорвать с себя сети? Знал, - и это было для него

самое страшное, - что выхода нет, и что победа, которая так близка была от него и всего два дня назад ласково улыбалась ему, теперь уже далека, и что его за его же спиной продали и обманули.

Выговский сидел на скамеечке и ждал. Был уверен: гетман согласится, иного выхода нет... Вчера ксендз Лентовский в польском лагере пожал Выговскому руку и сказал, что канцлер возлагает на него великие надежды. Между делом спросил про шляхтича Ясинского. Генеральный писарь развел руками: Ясинского он не видал. Под Збаражем никто к нему не приходил.

Выговский терпеливо ждал. Он научился ждать. Он твердил себе: <Умей ждать>. О, это было великое умение!

Хмельницкий продолжал ходить по шатру. Казалось, он забыл о генеральном писаре. Хорошо. Он согласится на ограничение реестра. Даст согласие на то, чтобы в Киеве сидел воевода, назначенный королем, - пусть шляхта уверится, что он покорился, пусть они считают его верным и покорным вассалом короля и Речи Посполитой.

<Чего ж я добился?> - спросил он себя. Ведь он хотел окончательно освободить Украину от шляхетского ярма. Именно к этому стремился...

Грыз зубами давно погасшую трубку. Мало ли чего хотел! Не все добывается сразу. Однако он знал, что все же это победа. Еще год назад, под Пилявою, король не хотел разговаривать с ним. Тогда паны сенаторы считали: <Кзаки сами перегрызут друг другу горло>. Теперь иначе заговорили. Теперь король приглашает его к себе. Завтра он будет у короля. Хмельницкий на миг видит лица своих врагов. Вот они: сенаторы, князья, надменные шляхтичи... Это будет завтра.

Сейчас он должен сказать свое окончательное слово. Он скажет его, и через несколько часов слово это будет на устах у всего войска. Будут говорить: <Продал!> Больше не поверят ни ему, ни его универсалам. Злоба закипела в нем, прорвалась наружу. Гетман старался успокоить сам себя. Как будто он и так мало дал посполитым! Конечно, не всем воля такая, какой ждали. В памяти всплыло то, о чем говорил у костра казак Гуляй-День. Надо будет написать универсал, надо будет объяснить: мир временный. Разве он не так думает? Разве можно иначе представить себе будущее? А пока что он уступит, отойдет в пределы Украины. У него будет время...

Итак, снова надежда на время. Уметь ждать! Но ждать не сложив руки... Он договорится с Москвой. Напрасно хан думает, будто гетман теперь у него на цепи. Один-два года мирного житья... Но разве может быть мирное житье, если паны начнут возвращаться в свои маетки? Он знал, что начнут говорить в народе и на кого будут точить ножи...

Но теперь ничто не могло уже его остановить. Теперь уже родилось твердое решение.

Он согласится, чтобы реестр был в сорок тысяч, но составлять его будет два года...

Он согласится, чтобы в Киеве сидел королевский воевода православной веры (наверно, это будет Адам Кисель), но в Киеве будет и его полковник, и там будет на постое казацкий полк...

Он согласится, чтобы подписи его предшествовали слова: <Его милости короля Речи Посполитой гетман Войска Запорожского>. Но служить королю не будет и минуты...

Он даст согласие на то, чтобы шляхта возвращалась в маетки по Бугу и Случи, но сквозь пальцы будет смотреть, когда ее погонят назад посполитые...

Он откажется перед королем от права заключать союзы и вести переговоры с иноземными державами - но сразу же, возвратясь в Чигирин, пошлет посольство в Москву, заключит военный союз с Валахией и Молдавией, соблазнит татар на новые походы, настроит против Ислам-Гирея турецкого султана...

Тех, кто станет поперек дороги, он сотрет впрах. У него есть сила, есть ум, и мускулы еще крепко ходят под кожей. Свои подымут руки против него - он будет рубить изменникам руки. Будет сажать на кол. Стрелять.

В эту ночь под Зборовом Хмельницкий видит свое будущее ясно и далеко, и сердце его полнится спокойствием и мужеством, сопутствующими друг другу. В нем поднимается такая

сила, какой никто не предвидел - ни король, ни хан. Только позднее, поняв, ужаснутся они своей ошибке.

<Ладно, паны сенаторы! Ладно, ясновельможный король! Я - ваш слуга. Я - только гетман, милостью короля. Но я не отказался от самого себя, от народа, от отчизны>.

Остановившись перед Выговским, гетман спокойно произнес:

- Согласен, Иван. Поезжай к Оссолинскому.

- Давно бы так! - устало сказал Выговский.

Он знал - Хмельницкий должен согласиться. Ничего иного не оставалось. Заранее радуясь минуте, когда он появится перед канцлером Оссолинским и сообщит, что гетман согласился, Выговский поспешил из шатра. Хмельницкий услышал, как бешено ударили конские копыта о землю, и впервые в эту ночь улыбнулся. Но улыбка была горькая и скорбная.

22

...Писцы валились с ног от усталости. Нехватало чернил, и тогда начали разводить в котелках сажу, которую с великим трудом добыли в окрестных селах. Всю ночь до самой зари переписывали гетманский универсал.

На следующий день, едва взошло солнце, универсал читали по сотням в каждом полку.

Гуляй-День стоял в толпе казаков, около бочки, на которую взобрался крикливый писарек в долгополом кунтуше.

Писарек размахивал руками, шмыгал носом, вытирал локтем потный лоб, размазывая на нем чернильные пятна. Голос его звучал пронзительно и ломко:

- <Бог помог нам добиться от короля и шляхты сохранения наших старинных вольностей, дабы могли мы веру свою свободно исповедовать, без страха перед римской церковью свои обряды справлять. Бог помог нам завершить битву и склонить короля Речи Посполитой, в пределах которой мы остаемся, к удовлетворению нужд наших и к обеспечению нам вольного и самовластного развития, избавив веру нашу от униатского утеснения и даровав всем, кто был вместе с нами в битвах, с Желтых Вод начиная и по сей день, спокойствие за себя и за родных своих, чтобы были они в полной и совершенной безопасности...>

- А про панщину ничего не написано? - спросил казак в высокой бараньей шапке, сбитой набекрень.

Писарь захолопал глазами. Под смех казаков, растерянно сказал:

- Ничего!

Гуляй-День с сердцем выбил из люльки пепел, ударив ею о каблук.

- Ты бы еще спросил, будем ли сухомельщину пану платить или воловое, да попасное, может, гетман не забыл записать...

Есаул Прядченко сердито махал кулаками, протискиваясь к Гуляй-Дню.

- Молчи, нечестивец! - И, надрывая глотку, закричал: - Слушать внимательно гетманский универсал!

<Надлежит быть нам всем воедино и беречь вольности наши, чтобы могли мы отстоять себя от нападения, а коли надо будет - стать оружно на защиту веры и жизни своей...>

Гуляй-День жадно ловил каждое слово. Мысли перегоняли одна другую. Да, пришел мир. Что же случилось? Что он скажет в Белых Репках, когда вернется? Почему ничего не читает писарь о том, сколько в казаках будет? Почему только написано: <Реестры сами составим в полной воле и в согласии с нуждами нашими, дабы не нарушить мир с королем и Речью Посполитой>?

Что это означает? Все слова повиты туманом. А вокруг был августовский день, ясный, погожий. Гуляй-День почувствовал горькую обиду. Кого бы спросить?.. Оглянулся. Казаки стояли хмурые. Исподлобья глядели на писаря. Тот читал:

<Итти всем оружными лавами, полками назад с бережением, дабы не стался внезапно вражеский наезд...>

Мир ведь! От кого же беречься?

Гуляй-День выбрался из толпы. Что было слушать дальше?

Августовский день солнцем расстилался в траве. Шумел ветер в раскидистых дубах. Гуляй-День шел, уставив глаза в землю. Вспомнил Федора Кияшка. Может, лучше, что нет теперь Федора?

В памяти возникли: ночь у костра, слова гетмана: <От своего не отступлюсь>. Пойти бы к гетману, спросить. А что ответит? Татары продали... Верно, это была правда! Казаки знали, - хан изменил. А разве можно было на него хоть на столько вот надеяться? Да, видно, не зря старые люди поговорку сложили: <За кого хан, тот и пан>.

Гуляй-День пошел к Нечипору Галайде. Галайда с перевязанной грудью лежал на возу. В ногах у него сидел цырюльник-венгерец. Полковник Громыка приказал ему не отходить от Галайды, пока не выздоровеет. Подле воза стоял Мартын Терновый, тоже пришел проведать товарища. Галайда слабо пожал руку Гуляй-Дню. Тихо сказал:

- Мучаюсь, брат.

- Смерть казака боится, - успокоил Гуляй-День.

- Земляк, - кивнул Галайда Терновому на Гуляй-Дня.

- Все мы земляки, - пошутил Мартын.

- Не мешало бы ради этого выпить, - вздохнул цырюльник.

- У тебя одно на уме... - Галайда укоризненно покачал головою и застонал.

- Мир, Нечипор, - сказал Гуляй-День, - да ты, верно, уже знаешь. Помирился гетман с королем, домой уходим. Только, думаю, не надолго мир...

- Почему? - спросил Мартын.

- А потому, казак: ежели гетман королю покорится, придется ему нас к рукам прибирать...

- Кто в казаках останется, тому воля... - тихо проговорил Галайда.

Мартын Терновый хмуро заметил:

- Все должны казаками быть...

- Старшина не так думает, - отозвался Гуляй-День, - и гетман, видно, не такой думки. Ты на меня глаза не пяль, знаю, что говорю... Паны с панами дерутся, а у хлопа кости трещат, помирятся, а хлоп снова ломай спину... Горелки бы выпить, - сказал невесело.

Проворный цырюльник соскочил с воза и исчез в лагере. Долго не заставил себя ждать. Появился с глиняным жбаном в руке. Ловко разлил в пощеребленные оловянные кружки. Нечипор только губами дотронулся. Все выпили молча. Мартын помрачнел. Еще вчера другие мысли были. Что ж это случилось? Кто виноват? Хотел возразить Гуляй-Дню, но понимал: правду тот говорит.

- Была бы сабля сбоку, - сказал Мартын, - никто воли не отберет...

- Твоя правда, - согласился Гуляй-День, - сабель своих никому отдавать не должны. А постоять за себя и за волю еще придется нам, братцы, от этого замирения добра не жди... Ежели год без войны проживем - и то добро.

23

Десятого августа Богдан Хмельницкий подъезжал к лагерю короля Яна-Казимира. Аргмак белой масти гордо выступал под ним. Гетман одет был в ало-бархатный кунтуш, опоясан золотым поясом, на котором сверкала на солнце золочеными ножнами сабля. Он сидел прямо в седле желтой кожи, украшенном серебряными гвоздями. На высокой красной шапке, отороченной собольим мехом, ветер раскачивал два павлиньих пера. В правой руке гетман держал булаву. На шаг от него на вороных конях ехали Тимофей, Выговский и генеральный бунчужный Василь Томиленко с белым бунчуком в руке, весело реявшим на ветру. Дальше следовали полковники Данило Нечай, Михайло Громыка, Силюян Мужиловский и сотник Иван Золотаренко.

Золотаренко после удачного боя под Збаражем входил в силу, приобрел расположение Хмельницкого. Старшина уже начинала поглядывать на него косо, видя, как растет его влияние. Гетман сам приказал ему быть нынче при своей особе.

За полковниками ехала сотня казаков с обнаженными саблями. Одинаковой масти,

серые в яблоках, кони нетерпеливо кусали удила, и всадники едва сдерживали их. Хмельницкий исподлобья глядел вперед. Вот уже на холме забелел высокий шатер с развевающимся по ветру знаменем. Услыхал за спиной резкий голос Нечая:

- Равняйся!

Четче ударили оземь копыта коней. Навстречу гетману мчались два всадника с большой свитой позади. Хмельницкий издали узнал канцлера Оссолинского и подканцлера литовского Сапегу.

- Бью челом тебе, гетман, - торжественно произнес Оссолинский, - от имени его королевского величества Яна-Казимира. Извещаю - король ждет тебя в лагере.

Аргамак Хмельницкого нетерпеливо рыл копытом землю. Гетман склонил голову.

- За великую честь считаю внимание его величества.

Сапега и Оссолинский стали по бокам. Польские гусары вытянулись двумя лентами по сторонам гетманской стражи. Хмельницкий дернул уздечку. Конь двинулся.

Оссолинский, отбрасывая рукой, затянутой в длинную перчатку желтой кожи, полуголубого плаща, обратился к Хмельницкому по-латыни:

- *Bellum civile**, наконец, пришла к концу.

Гетман ответил по-латыни:

- *Sic***, пан канцлер, если рассуждать по-вашему, но думаю - то не домашняя война, пан канцлер.

* *Bellum civile* (лат.) - домашняя война.

** *Sic* (лат.) - так.

Оссолинский промолчал. Сапега недобрым взглядом смерил Хмельницкого. У него было свое мнение. Сейчас удобный случай. Надо окружить со всех сторон эту казацкую ватагу, связать проклятого схизматика по рукам и по ногам, и раз навсегда покончить с ним. Пусть болтает канцлер, что вместо Хмеля другие горлопаны найдутся. Теперь удобный час... Будь его воля, он бы так сразу и сделал, ни минуты не колебался бы. Вспомнил слова Оссолинского:

<Хмельницкого надо прибрать к рукам, проявить к нему внимание, поссорить его с казаками, пусть они сами друг другу горло грызут. А тогда придем туда с коронным войском и усмирим их навеки>.

Сапега недовольно крутит ус и гордо смотрит вдаль. Нестерпимая злоба наполняет сердце, когда при въезде в королевский лагерь сто трубачей, выстроенных вдоль дороги, играют встречу, а потом двадцать один пушечный выстрел раскалывает тишину погожего августовского дня и эхом отдается у опушки леса.

- Как сердечного друга встречаем тебя, гетман, - говорит канцлер.

- Как верный подданный короля еду в лагерь его величества, - смиренно отвечает, склонив голову, Хмельницкий.

Спокойно и размеренно бьется его сердце. Так ли он представлял себе встречу с королем?

Сразу возникло в памяти и встало перед глазами: обсаженный липами шлях под Замостьем, сто колов, и на них сто казаков погибает в муках, горят на полнеба села посполитых, стон стоит над землей...

Он крепко стиснул зубы и почувствовал, как сухой ветерок коснулся его губ. Шагах в ста от королевского шатра он сошел с коня. По бокам шли Сапега и Оссолинский. Позади него полковники. Сейчас наступала решительная минута. Еще утром, перед выездом, Выговский передал: Оссолинский и сенаторы требуют, чтобы гетман преклонил колени перед королем и поцеловал руку. Он тогда ничего не ответил Выговскому, и тот, должно быть, был уверен, что Хмельницкий так и поступит. Нечай перед самым отъездом спросил:

- Поцелуешь руку, Богдан?

И ему не ответил.

Гетман поднял голову. Шатер уже близко. Увидел: в высоком кресле сидит король, за

спиной его - сенаторы. Еще пять шагов. Минута. Молнией пронеслось в мыслях; преклонить колени? Ведь это не только он станет на колени, а вся Украина, все города и села. Не для того были Желтые Воды, Корсунь, Пилява, не для того были битвы и муки, не для того кровь лилась рекою. Расправив крепкие плечи, скрывая под бровями блеск суровых глаз, он твердо шагнул, рассыпая звон серебряных шпор. Лишь в двух шагах от короля склонил голову и тотчас выпрямился, всю широкою грудью вдохнув воздух.

- Рад приветствовать тебя, ясновельможный король, от своего имени и от имени полков моих. Сто тысяч сабель приветствуют тебя, король, и сто тысяч сабель жаждут мира, король.

Замешательство застыло на лицах сенаторов. Хмельницкий уловил это краем глаза. Стояла гнетущая тишина. Король растерянно наклонился к Оссолинскому. Слушал, что шептал ему канцлер.

Хмельницкий, точно ничего не случилось, еще раз поклонился и, подняв голову, обратился к королю:

- Много лет, ясновельможный король, отчаянная и безудержная ненависть панов Речи Посполитой обращена против нас - казаков и селян украинских. Всячески оскорбляли они привилегии старшины казацкой, считали казаков не войском, а рабами своими. Ругались над верой нашей. Насилиям и издевательствам конца не было. Потому и восстал народ наш против панов и шляхтичей. Прости мне смелость и откровенность, ясновельможный король, но, заключая договор между народами нашими, должен сказать тебе об этом.

Король молча выслушал Хмельницкого. Протянул ему руку. И Хмельницкий, сделав два шага вперед, пожал ее и отпустил.

Канцлер Оссолинский, скрывая злость, выступил вперед и заговорил:

- Что было и кто в том виноват, о том теперь судить невозможно, даже вспоминать о том не станем. Его величество наияснейший король не желает раздора между подданными своими. Он прощает тебе все провинности, гетман, и верит, что с этого времени мир вечный установится на землях наших. Король в том надежен и отпускает тебя к войску твоему, которому оповестишь милость королевскую.

Заиграли трубы. Хмельницкий поклонился. Король слабо махнул рукой. Его обступили сенаторы. К Хмельницкому подошел Оссолинский:

- Прошу в мой шатер, пан гетман.

...И вот сидят вдвоем: канцлер и гетман. Хмельницкий слушает. Уже в тот миг, когда при его въезде в лагерь короля раздались трубы и пушечные залпы, он понял, что может спокойно и уверенно вести себя, как надлежит победителю. Не беда, что мирный договор урезали паны сенаторы, неоспоримо, первый шаг к полному освобождению он тут, под Зборовом, сделал.

Хитро плетет паутину Оссолинский...

- Решил говорить с тобой, пан гетман, глаз на глаз. Знаешь, наверно, сам: я твой сторонник и друг. Я сам Вишневецкого и Потоцкого не уважаю. У них в мыслях не безопасность королевства, не счастье Речи Посполитой, а собственные выгоды. Ты достиг многого. Король теперь благосклонен к тебе. Сорок тысяч реестровых будет под твоей булавой. Разве этого мало? Перед тобой открыты двери. Я первый всегда буду тебе опорой. И ты должен смирить чернь. Должен указать надлежащее место своевольникам. Если не поступишь так, сейм снова постановит посполитое рушение против тебя, тогда и я не в силах буду сдерживать гнев короля...

- Насчет гнева оставь, пан канцлер, - сурово перебил Хмельницкий, мы с тобой люди разумные. Можем говорить откровенно. Прежде всего, ты должен лишить Забузского гетманского звания и о том оповестить. Двух гетманов быть не может. В Киеве воеводой следует поставить шляхтича православной веры. Пошлины в Киеве будут собирать мои державцы. А посполитым рушением ты меня, канцлер, не страшай. Нынче у меня сто тысяч войска, завтра будет двести, а может статься так, что и ваша чернь подыметса мне на помощь.

<Проклятый схизматик знает себе цену>, - мелькнуло в голове канцлера. Пошлины в

Киеве... Чернь подымет... Он знает, чего хочет. Может быть, действительно прав Сапега, и надо схватить сейчас Хмельницкого. И, может быть, прав Тикоцинский, который советовал дать гетману отравленное вино. Только вчера он твердил о том канцлеру. Кто поручится, что маршалок не приготовил уже такой напиток? Радостный и вместе с тем тревожный холодок пробегает по спине канцлера. Но разве на этом кончится восстание? Оссолинский знал: нет! Конечно, нет! Лучше уступить Хмельницкому. Пройдет время, и Речь Посполитая на том выиграет. Теперь не следует ссориться с Хмельницким.

Оссолинский крепко сжал губы. На лице застыло выражение нерушимого спокойствия. На сердце было мрачно и тревожно. Будущее рисовалось туманным, неведомым. Дорогой ценой купило королевство дружбу хана. Теперь королевская казна пуста. В Варшаве соберется сейм. Канцлер знал: на том сейме ему одному придется держать ответ перед кичливой, заносчивой шляхтой.

Всего два года назад деньги текли в казну с Украины, как из полноводной реки. В маетках спокойно хозяйничала шляхта. Великий торговый путь из Черноморья к северным морям пролегал через Киев и целиком был в руках Речи Посполитой. Киев был переполнен чужеземными товарами. Не было более известного пути на Восток, чем этот древний путь, который вел из европейских стран через Речь Посполитую, через Киев, а оттуда к черноморским городам. Потерять этот торговый путь - равносильно самоубийству. Тридцатилетняя война вымотала все средства. Страна задыхалась. И это, видимо, хорошо понимал изменник Хмельницкий. Словно угадывая мысли канцлера, Хмельницкий заметил:

- Должно примириться вам с тем, канцлер, что мостом, по которому все ходят, край наш не будет. Путь из Кафы во все концы идет через Киев. На Таванском перевозе и в Киеве пошлину будут собирать мои державцы.

Сказал это твердо, и видно было - от своего не отступится. Оссолинский едва сдержался, чтобы не вскочить на ноги и не кликнуть стражу - схватить заносчивого схизматика. Чего захотел? Собирать пошлину! Боже, куда катилось королевство?! Кто-кто, а канцлер хорошо знал, что такое путь с Востока через Киев. По нем везли из Азии, Персии, Индии, Сирии на север и на запад ценнейшие товары, - шелк, шелковые ткани, благовония, шафран, перец, драгоценные камни. Английские, голландские и шведские торговые люди обивали в Варшаве пороги дворца канцлера. Теперь будет не то. И все из-за этого проклятого схизматика, за которым пошла вся чернь украинская! Приходится сидеть с ним и вести переговоры, вместо того чтобы глядеть, как он издыхает на колу. Как изменились времена! Где былая слава шляхты? Так постепенно, будто старый жупан, ветшает государство, границы которого простираются от моря до моря. Невесело было на душе у Оссолинского.

Хмельницкий знал: канцлер согласится на его требования. Он тоже говорил, улыбаясь, любезным и ласковым голосом, скрывая в сердце злобу и ненависть. Никто из его старшины не сможет упрекнуть его в том, что он отступился от ее интересов. Единственное, что, как гвоздь, засело в голове, - было ограничение реестра; но теперь он уже сам не находил в себе достаточной убежденности, чтобы настаивать на другом. Рассуждал так: пусть закричат, что мало, - это будет поводом снова поднять всех с оружием, чтобы добиться большего.

Наконец все было закончено. В шатер приглашены были королевские комиссары и полковники. Канцлер объявил о полном согласии между ним и гетманом. Условились, что осенью сейм подтвердит вольности, и на том сейме будут митрополит Сильвестр Коссов и гетманское посольство. Канцлер трижды хлопнул в ладони. Слуги в белых коротких кунтушах внесли вино. Мажордом канцлера подал на серебряном подносе два больших серебряных кубка канцлеру и Хмельницкому. Хмельницкий вспомнил предупреждение Капусты: <Не пей вина: доподлинно известно, что они тебе подсыпают яд>. Канцлер поспешно взял кубок, стоявший ближе к нему. Хмельницкий спокойно поднял свой кубок, пристально посмотрел в глаза Оссолинскому и тихо сказал:

- В знак братства, пан канцлер, обменяемся кубками.

Рука Оссолинского дрогнула. Он деланно усмехнулся и грустно ответил:

- К великому моему сожалению, могу только поднять кубок, но пить, пан гетман, мне

строго запрещено лекарем из-за болезни сердца.

- И я хвораю, пан канцлер, - ответил Хмельницкий. - Будем и без вина в дружбе и приязни.

Он спокойно вылил на ковер вино.

...Вечером в казацком лагере раздавались крики и гремели выстрелы. Пылали костры. Гетман велел коштом гетманской канцелярии выставить сто бочек меда и горелки и на каждую сотню по полдесятка жареных баранов. Всем казакам роздали по пятидесяти злотых.

Татары опасливо выставили стражу. Чутко прислушивались к тому, что творилось в казацком стане.

На другой день по утрам казацкие полки боевыми рядами выступили из-под Зборова.

В Зборовском костеле ксендз Лентовский, личный духовник короля, служил мессу по погибшим в битве и провозглашал анафему проклятым схизматикам.

Король и сенаторы присутствовали на мессе.

После службы канцлер Оссолинский имел свидание с визирем Сефер-Кази.

Сефер-Кази возвратился в ханский табор весьма довольный. Татары, как он договорился с Оссолинским, на обратном пути в Крым должны были содержаться за счет Речи Посполитой, но так как денег король дать теперь не мог, орда получила право самовольно брать по дороге все, в чем будет нужда.

Визирь от удовольствия прищелкивал языком. Поздно ночью Сефер-Кази говорил Ислам-Гирею:

- Великий и преславный повелитель мой, видишь, сколько звезд на синем небе? Столько же новых песен сложат о мудрости твоей.

Они стояли вдвоем у шатра, на опушке леса, глядя, как в небе одна за другой срываются и уходят в неведомый путь августовские звезды и, оставляя за собой мгновенный серебристый след, исчезают в безвестности. Хан слушал визиря и глядел на звезды.

- Могли мы, мой повелитель, разгромить войско короля, это правда, но чего достигли бы? Кому от того корысть? Конечно - Хмельницкому. Дай только силу ему, он сразу же другую речь с тобой поведет. Нам выгода, мой повелитель, только от того, если война между Хмельницким и ляхами будет длиться непрерывно. Гяуры в той войне обессилеют, а тогда мы окончательно покорим этот край...

Визирь знал: такие слова слаще шербета для хана. Пусть теперь скажет Ислам-Гирей, есть ли в свете кто-нибудь более достойный высокого и беспокойного звания великого визиря великого хана?!

24

Гетманские полки возвращались на Украину.

В поле под Збаражем выросли курганы. Словно стражи, стерегли они покой степи, начинавшейся за южной границей густых лесов. Проходя мимо курганов, казаки снимали шапки. Лица их мрачнели. Сколько таких курганов по всей Украине и по чужим краям рассеяно? Иные крестились, а иные сурово сжимали губы, хороня в сердце печаль по товарищам, честно павшим в боях.

За Случем Федор Свечка, сопровождавший гетмана вместе с походной канцелярией, записал на привале:

<Идем третий день в полном боевом порядке. Самопалы и пушки готовы к бою. Есаул Лисовец говорил, - таков наказ гетмана. От татар всего можно ожидать. А татары и вправду шныряют вокруг стаями, словно волки. И еще в каждом селе гетманские люди оповещают, чтобы посполитые берегли свои дворы от татарских наездов; в больших селах, по наказу гетмана, оставляем по полусотне, а то и по сотне казаков, а они, после того как пройдут татары, должны нагонять свои полки. В пути встретили слепого кобзаря. Сидел на камне и пел:

Ой, Морозе, Морозенку, ти ж славний козаче,

За тобою, Морозенку, вся Вкра?на плаче...

Гетман остановился возле старца. Видел я, как смахнул слезу рукою. Омрачился лицом.

Спросил кобзаря, откуда он и куда бредет. Кобзарь тоже спросил: <А кто ты есть, казак? Кто-то из свиты пояснил: <То гетман Хмельницкий тебя спрашивает>. - <Не брешешь?> - забеспокоился кобзарь. <Правду сказал казак, отозвался гетман. - Я - Хмельницкий>. - <Беда великая, гетман, ой беда! - сказал старец. - Слыхал я, что ты под Зборовом с королем замирился. Не хотят того мира люди, что то за мир, одна неволя...> - <Не надолго такой мир>, - ответил тихо гетман и приказал дать старцу пятьдесят злотых>.

...За Меджибожем гетман пересел в карету к Жаденову и Котелкину. Они подробно расспрашивали о мире с королем.

- Сами узрели, что за союзник у меня хан. Продал, как Иуда. Одно у меня, как и прежде, в мыслях - Москва. Царь московский нам единая надежда. Видели своими глазами вы, вот и расскажите боярам.

Жаденов и Котелкин слушали внимательно.

В конце августа гетман прибыл в Чигирин. Тимофей, опередивший его, встретил отца за городом. Когда Хмельницкий подымался по ступеням на крыльцо, раздался не то крик, не то стон, и Елена упала к нему на грудь, крепко обхватила руками шею. Что-то теплое шевельнулось у сердца, подкатилось к горлу. Сказал только:

- Ну, будет, будет...

Заметил потупленный взор Тимофея и оторвал ее от себя.

- Идем в горницы.

...А ночью, лежа рядом с нею на широкой постели, думал: <Вот так, видно, встречала и Чаплицкого. Кидалась на грудь, плакала, целовала>.

Нашарил на столике люльку и огниво. Высек огонь, закурил. Зборов был далеко, точно и не существовал вовсе. Нет, неправда! Зборов существовал. Снова тяжкий путь - и снова измена. Это он хорошо понимал. Напрасно он надеялся, что после Зборова все пойдет по-новому. Может быть, и так. Но каким путем? Конечно, можно уступить панам сенаторам, королю. Стать мирным и покорным. Им это было бы с руки. Горько усмехнулся.

Елена проснулась. Прижалась к плечу. Мечтательно сказала:

- О, как хорошо, что, наконец, мир! Поедем с тобой в Варшаву, я пошью себе новые платья, буду при дворе, и мне будет целовать руки пан канцлер...

- А мне твой пан канцлер с великой радостью голову отрубит...

Со страхом воскликнула:

- Зачем так говоришь! Теперь мир. Ведь сам король все простил.

- Не надолго тот мир, Еленка.

Оперся на локоть. Смотрел в темень опочивальни, видел перед собой все: осаду Збаража, Зборовскую битву, казаков у шатра, слышал голос Гуляй-Дня...

- Мир... - сказал загадочно и добавил: - Не надолго мир.

Елена в темноте вся сжалась. Сухим голосом, удивившим гетмана, спросила:

- А что же ты задумал, Богдан?

- Что задумал, - повторил раздраженно, - то не бабьего ума дело... Спи. Завтра поеду в Киев.

Сердце у Елены забилося.

- Богдан, возьми меня с собой.

Поцеловала в губы, припала к груди.

- Ну, прошу, возьми, сижу тут, в Чигирине, будто в неволе...

- В неволе? Дивное говоришь, Елена. Разве ты тут, в своем доме, - в неволе?

Сказала лишнее, но надо было выпутываться.

- Будто ты не знаешь, Богдан, как ненавидят меня твои Тимофей и Юрий, Степанида и Катерина... Все они ни во что меня не ставят, одни обиды, только обиды...

25

Уже с осени того года украинские посполитые поняли, что завоеванные ими вольности поставлены под угрозу. По обоим берегам Днепра не утихало беспокойство, родившееся сразу же после Зборовской битвы.

Вся Украина уже знала: король и сенаторы требуют строгого ограничения казацкого реестра. Выходило, что десятки тысяч посполитых, которые, начиная еще с Желтых Вод, вступили в ряды полков Хмельницкого, будут брошены на произвол судьбы. Куда было деваться? Паны ляхи постепенно возвращались в свои маестности. Сначала появились они только на Горыни и на Буге, но то была верная примета, что вскоре появятся они и на Киевщине, Брацлавщине и в других местах. В Киев прибыл Адам Кисель на пост воеводы киевского. Об этом уже знала вся Украина. Тревога покатила неустойчивой волной вдоль берегов Днепра. Пока что гетман не распускал полки, но каждый из посполитых, записанных в те полки, понимал, что от него могут потребовать оружие и прикажут возвращаться в свое село, а там вдруг за него возьмется пан - и снова пойдет постылая жизнь под паном.

Зато гораздо увереннее почувствовали себя мещане и купцы. В Киеве, Умани, Чигирине, в Белой Церкви начали создаваться торговые компании. Вдоль берегов Днестра искали в земле руду. Ездили за товаром в Москву, Новгород, Крым. Толковали о том, что надо добиваться от гетмана установления прав для городов и издания универсала об охране и неприкосновенности цехов. Прибыльным стало кузнечное дело. Кузни росли в городах, как грибы в лесу после дождя. В одном Киеве на Подоле насчитано было державцами полковника киевского Антона Ждановича пятьдесят шесть кузниц.

Сенатор Адам Кисель проявил великую склонность к купечеству. Всеми мерами давал понять: польская корона будет благоприятствовать торговле и станет оберегать интересы торгового люда. Степан Гармаш раздобыл после зборовских событий. Его короткие, толстые пальцы пересчитали уже не одну тысячу злотых. Он стал самым желанным гостем в доме воеводы Киселя, но это не мешало ему также выказывать знаки уважения и покорности Хмельницкому и его полковникам.

Войту, радцам и лавникам Киева сенатор Адам Кисель советовал пригласить в Киев немецких и голландских купцов. Хвалил их товар и познания в ремеслах. В доме воеводы киевские лавники и радцы встречались с немецким негодником Вальтером Функе. Постепенно Киев наполнялся шляхтой. Паны пока что держались осторожно, но за этой осторожностью простой люд уже распознавал и гонор, и надменность. Дальновидный сенатор Кисель всячески сдерживал кичливых панов.

- Не спешите, дайте время. Свое добудем и отплатим за позор и обиду.

В Чигирине не дремали. Лаврин Капуста с неослабевающим вниманием следил за всем происходившим и в Киеве, и в других городах. В Чигирине знали и о беседах Киселя с местными радцами, и о встрече его с митрополитом Сильвестром Коссовым, и о том, что литовский гетман князь Радзивилл подвел свои полки к украинско-литовскому рубежу. Ничего нельзя было скрыть от зоркого глаза Лаврина Капусты. Невидимые нити связывали его с городами, селами, с Варшавой и Бахчисараем. Недаром гетман полушутливо называл его: <Глаза и уши мои>. И тот, кто имел возможность близко наблюдать Хмельницкого и его окружение, понимал, что передышку после Зборова гетман использует с одной целью. Это хорошо видел Иван Выговский и держался еще осторожнее, особенно после того, как точно снег на голову свалился рыжий часовой мастер Крайз и ткнул ему в руку золотой перстень с распятием в венчике.

- От пана Лентовского, - деловито сказал немец и, не ожидая приглашения, уселся в кресло, заложил ногу за ногу и начал дерзко разглядывать писаря, давая ему понять, что никуда отсюда не уйдет и что писарю не к чему делать вид, будто он ничего не ведает. Напрасно надеялся Выговский, что у Лентовского только один перстень.

Немало тревожений пришлось пережить. Правда, Крайз держался очень осторожно. Даже вошел в доверие к Лаврину Капусте. Но сам Выговский теперь, более чем когда-нибудь, хотел выждать и всеми силами заботился о своей безопасности. Ни словом, ни движением, не выдал он за это время своего недовольства гетманом. Напротив, генеральный писарь всячески показывал, что он поддерживает все предприятия гетмана и старшины. Конечно, это не мешало нащупывать и их слабые места. Теперь он уже знал, что в определенный час можно рассчитывать на Матвея Гладкого, что Федорович не совсем

равнодушен к маетностям, что Осип Глух любит блеск золота и мечтает о добром панском палате... Многие еще знал генеральный писарь. Но все это тщательно скрывал за строгим взглядом или любезной улыбкой, а когда нужно, мог и прикрикнуть, и приказать, чтобы дозорцы как следует отстегали на конюшне слишком острого на язык мещанина или казака.

Незаметно, но настойчиво подсовывал писарь гетману охранные грамоты для шляхтичей и универсалы на послушество посполитых. С необычайной для него поспешностью рассылал эти универсалы. Знал, что делает. В свое время все это даст себя знать. Об этих универсалах уже теперь шла недобрая молва, и не в одном селе на голову Хмельницкого сыпались проклятья.

Между тем Хмельницкий сохранял спокойствие, и это не давало возможности генеральному писарю угадать намерения гетмана. Прежде всего, было строго запрещено отпускать казачество из полков. На все напоминания Выговского о том, что пришло время готовиться к составлению реестров, гетман отвечал одно:

- Погоди, писарь, не спеши!

Сенатор Кисель был этим промедлением весьма обеспокоен. Не менее озабочены были и в Варшаве. Кисель писал об этом Хмельницкому. Гетман всеми мерами уклонялся от прямого ответа. Говорил, что отпущенное из полков казачество будет еще опаснее для шляхты.

В Варшаве папский нунций Иоганн Торрес сказал ксендзу Лентовскому:

- Схизматик Хмельницкий снова замышляет черное дело. Священный долг католической церкви - покончить с ним. Для этого все способы хороши.

Эти слова Лентовский передал канцлеру Оссолинскому. Ксендз также беседовал об этом с королем Яном-Казимиром, как раз в то время, когда король выигрывал очередную партию у шляхтича Малюги. Король был в хорошем настроении. Ему везло в шахматах. Должно быть, канцлер и папский нунций, и сам отец Лентовский правы: Хмеля надо убрать. Канцлер Оссолинский с этим тоже согласился. Потоцкий был настоящий солдат. Он не любил мягких и двусмысленных слов, Потоцкий сказал:

- Отравить или зарезать. Надо только найти такого человека.

Король в эту минуту удачно закончил партию. Малюга поднялся и преклонил колени. Король милостиво протянул ему руку для поцелуя. Шляхтич почтительно приложился к монаршей руке и попятился к выходу. Уже на пороге услышал жестковатый голос маршалка Тикоцинского:

- Есть такой человек, пане. Он в Чигирине.

Больше Малюга ничего не слышал. Он уже был за дверью. Два швейцарца, закованные в латы, отвели в сторону пики. Шляхтич Малюга ровными шагами шел через обширную залу. Со стен глядели на него портреты польских королей.

...Хмельницкий только покрутил усы, узнав о донесении Малюги. Выслушал Капусту. Надо было разыскать того человека. Но это дело Капусты. Через минуту он уже думал о другом. Федор Вешняк писал из Москвы: Оружейный приказ пришлет на Украину мастеров пушечного и оружейного дела из Тулы. В Чигирин выезжает думный дьяк Григорий Богданов. Радостные вести. Русский купец Федотов подал челобитье, просил дозволения ставить новую рудню под Конотопом. Хмельницкий читал: <Люди мои разведали ту землю и нашли там много железной руды. Хочу ставить своим коштом рудню, и от тебя, гетман, прошу дозволения на то, а также охранную грамоту. Буду там лить чугун и делать пушечные стволы. Лесу вокруг там сила, и жечь будет чем...> Довольный, прочитал все до конца. Приказал Капусте отписать купцу Федотову - быть ему самому в Чигирине на той неделе.

...Кончалась осень. По утрам седина первых заморозков серебрила степь. Леса и степи, реки и озера словно застыли в ожидании неминуемых декабрьских вьюгов, первых снеговеев. Они стояли как зачарованные, тоскуя по веселым птичьим стаям, уже улетевшим в теплые края. И точно так же люди в селах и городах, - и те, кто жил у себя дома, и те, кто нес службу войсковую, - жили в ожидании чего-то неизбежного, и таили в сердцах ту острую тревогу, которая способна превратиться в ничем не угасимый гнев.

И то, чего ждали, произошло.

Король Ян-Казимир выдал универсал об оставлении всех украинских селян в послушенстве панам.

...Над Украиной, от стародубских лесов до Дикого Поля бушевала лютая метель.

Хмельницкий прочитал королевский универсал в новогоднюю ночь. Присутствовавшим при том Силуяну Мужилковскому и Лаврине Капусте сказал спокойно и уверенно:

- Поторопились паны... Что ж, для нас лучше!

КНИГА 2

1

Облетала вишня. Расстилала белый цвет. Ветви гнулись под мощным напором ветра. Золотым дождем бродило солнце в траве. За высоким тыном, повитым хмелем и кручеными паничами, улица шумела, вопила, кричала, скрипела возами, тарыхтела арбами, а тут под вишней, в холодке, - покой, безмятежность.

Венецианский посол Альберт Вимина протянул кубок. Слуга наполнил его ароматным напитком. Посол жадно припал губами, выпил одним духом. Думный дьяк Григорий Богданов пил не спеша. Искоса посматривал на венецианца, на ковер, где на подушках торжественно и молчаливо сидел Наир-бей. Турок не пил ничего. Слуга стоял за его спиной, взмахивал широким китайским опахалом. Ветер колыхал полы широкого шелкового халата. Наир-бей сидел прямой и строгий, словно собирался творить намаз. Молчание затягивалось. Беседа никак не налаживалась, и Альберт Вимина беспокоился. Неужели все его старания останутся безуспешными? Неужели далекое и опасное путешествие, которое он совершил, окажется, в конце концов, напрасным? Узкие розовые пальцы посла с ровно подстриженными ногтями ласкают короткую рыжую бородку. Беспокойство светится в его глубоко посаженных зеленоватых глазах.

- Я думаю, Украина не долго будет наслаждаться миром. Король Ян-Казимир не считает Зборовское соглашение длительным.

Так, на первый взгляд неосторожно и грубо, одной фразой разорваны тонкие хитросплетения будто бы непринужденной беседы трех дипломатов. Шумит ветер в саду. Белые цветы сыплются под ноги послам. Богданов, отставив в сторону кубок, выжидающе смотрит на турка. Странно ведет себя венецианский посол. Но Богданов за свою службу в посольском приказе привык и не к такому. Разве само по себе это общество на коврах под развесистой вишней не достойно удивления? Богданов знает: сейчас венецианец смотрит на Наир-бея, а ждет - может быть, проговорится русский?

- Гетману Хмельницкому Зборовский договор - тоже камень на ногах, вяло говорит Наир-бей.

Слуга машет опахалом, колышутся полы халата. Ноздри горбатого носа раздуваются, глаза полузакрываются, короткие пальцы турка перебирают нечто незримое. Венецианец хитер, как лиса. Наир-бей - хитрее. Великий султан направляет посольство к гетману, но об этом еще рано знать синьору Вимине. Когда синьор Вимина будет на обратном пути к своему повелителю, в Чигирин въедет Осман-ага, великий посол султана. Наир-бей косится на русского. Богданов сидит рядом, дышит с трудом. Неверный ест свинину, оттого у него жирные губы и заплывшие щеки. Грех перед пророком делить трапезу с неверными, но султан, наместник пророка, простит грехи: этого требует посольская служба. Хвала Аллаху, что надоумил султана протянуть гетману свою высокую руку. Едучи по Украине, Наир-бей видел неисчислимые богатства. Золотой край!

Перед глазами Наир-бея встает степь, синие озера, белое цветение садов, точно пенный ласковый прибой Черноморья. Венецианец встревожен это добрый знак. Безумный властитель Венеции мечтает вознести крест над Константинополем, низвергнуть в прах священный полумесяц. Горе и позор ждут нечестивцев, поднявших меч на Порту.

Богданов молчит, выжидает. Наир-бей осторожен, такая слава у него среди европейских дипломатов. Об этом знают Вимина, Богданов. Вслед за появлением Наир-бея

возникают новые заговоры. Так всегда. Недаром его называют указательным пальцем султанской руки. Теперь этот палец устремлен на Чигирин - резиденцию гетмана Украины. Вот отчего беспокойство охватило венецианца, вот отчего боярин Бутурлин шлет Богданову грамоту за грамотой, требует обстоятельно и доподлинно разведать замыслы Наир-бея. А как эти замыслы разведаете? Хорошо боярину Бутурлину в Москве. Сидит теперь в Кремлевской палате... Прохлада, покой, скрипят перья писцов. А тут, в Чигирине, непременно станет какая-нибудь заковыка. Едва удалось подбить венецианца на эту встречу. А что с нее толку?

- Не верю, чтобы польский король отважился на новую войну, - степенно говорит Богданов. - Украину воевать теперь ему опасно, ибо неизвестно, как на то Москва взглянет.

Хоть и велено посольским приказом про цареву высокую волю ни с кем, кроме гетмана, речей не вести, но не выдержал Богданов.

Наир-бей, усмехнувшись, заметил:

- Царю Алексею от Литвы можно ждать беды. Денно и ночью надо смотреть за Радзивиллом.

- Понадобится, - спокойно молвил Богданов, - двести тысяч ратных людей поставит Москва.

Вимина прислушивался. Теперь он мог молчать. Казалось, его надежды оправдывались. Рыба сама шла на крючок. Вот уже она жадно схватила наживку, еще миг, еще один миг... Он слегка наклонился вперед, словно держал в руках удилице. Еще один миг...

- Жара какая, - вдруг сказал Богданов, - и тут жара, нигде не скроешься от нее. Пора дать отдохнуть любезному хозяину.

Пухлые короткие пальцы турка застыли. Он смотрел куда-то в сторону, вверх кустов. Беседа исчерпалась. Вимина вздохнул, из вежливости пригласил еще посидеть. Хорошо задуманная конференция заканчивалась неудачей. Что ж еще придумать? О замыслах гетмана насчет Москвы мог сказать лишь сам гетман. А то, что он скажет, Вимина знал хорошо.

Вишня рассыпала белый цвет. За высоким тыном посольской усадьбы шумела улица. Послы склоняли друг перед другом головы, прижимали руки к груди, приятно улыбались. Мед и молоко струили из глаз. Богданов сел в открытый возок. Приказал вознице ехать. Лошади резво взяли с места. Пыль поднялась облаком, заволокла роскошную карету Наир-бея. Слуги подхватили турка под локти, посадили в карету, задернули занавески. У ворот стояли любопытные. Коренастый дядько посмеивался в усы:

- Вишь, басурман! Бородатый, а в бабской одежде!

Караульный казак погрозил ему кулаком:

- Замолчи. О ком языком мелешь? Не видишь - посол!

Дядько притих и исчез в толпе.

Карета тронулась. Добрые кони легко несли ее. Наир-бей смотрел на улицу сквозь щель в занавесках. Да, немало достиг Хмельницкий. Не тот был Чигирин всего два года назад. Не узнать теперь города.

Среди садов возвышались прочные дома с крышами на заморский манер. Длинной цепью растянулись торговые каменные строения. По улице шел караван. Верблюды лениво перебирали ногами, месили дорожную пыль, серые от пыли бурнусы арабов колыхались над горбами, точно шатры. Наир-бей приподнял занавеску, поманил пальцем араба в чалме, который вел на поводу верблюда.

- Куда путь держите?

- В Египет, ясный бей, - поспешно и угодливо ответил араб.

У него было сморщенное, точно обожженное огнем, лицо и высохшие руки, которые он прижимал к груди.

- Что везете?

- Шелк, ваша милость.

- Не чинят вам препятствий казаки?

- Нет, ваша светлость, пальцем не трогают.

- Да поможет вам аллах!

Наир-бей опустил занавеску. Карета двинулась дальше. Турок сидел на подушках выпрямившись, закрыв глаза, мыслями возвращаясь в сад венецианского посла, к недавней беседе.

...Вимина после отъезда послов диктовал письма. Одно - в Венецию, великому дожу, другое в Варшаву - Послу графу Кфарца. Жаловался: <Срок моему посольству прошел, обещанных вами пятидесяти тысяч талеров не получил. Отсутствие денег многому препятствует. Еще месяц принужден буду жить иждивением правителя Украины - гетмана Богдана>. Далее шел длинный, старательный перечень всяческих мелочей. Писал посол о деревьях, впервые увиденных на Украине, о всяких украшениях и сосудах. Письмо было обычное. С рассветом гонец повезет его в Варшаву. Но ночью синьор Вимина напишет второе письмо, подробное и более значительное.

Продиктовав письма, Вимина приказал закладывать карету и уселся перед зеркалом, расставив на столике флаконы с благовониями. Два камердинера держали наготове шитый золотом камзол и черную широкополую шляпу. Посол собирался посетить генерального писаря. Натирая благовониями бородку и усы, он представлял себе до мелочей эту предстоящую встречу в генеральной гетманской канцелярии. Что мог он предложить Выговскому, кроме обещаний? И чего стоят обещания? Одно суесловие. А теперь доподлинно известно: Наир-бей не одними словами привлекал на свою сторону генерального писаря. Вимина вздыхает и всердцах проливает на ладонь больше, чем нужно, ароматной розовой воды.

2

Душный день раскинул свой солнечный шатер над гетманской столицей. Еще и май не кончился а, казалось, июльский зной опустился на землю и дурманит людей. Буйно взошла на лугах и в садах зеленая пышная трава. А по дорогам, ведущим на юг, на восток и на запад - во все стороны от Чигирина, множество людей верхами, на телегах, пешком. Скрипят возы, клубится пыль, добрые кони мчат всадников, и над всем этим высокое, бескрайнее небо, глубокая и чистая лазурь, и всюду кругом - волнующаяся, нетронутая степь. Стоят посреди степи, при дороге, в садах, над озерами и прудами, белые села. Далеко на запад и на юг раскинулась земля Чигиринского полка. Майский день томит ее зноем. Прикрывая глаза ладонью от солнечного блеска, высматривают селяне в небе дождевую тучу.

И через окно гетманского дворца ищет ее в небе сам гетман Богдан Хмельницкий, слушая монотонный, ровный голос Лаврина Капусты. Начальник личной тайной канцелярии гетмана, нагнувшись, стоит у стола. Перед ним на скатерти лежат свертки пергаментных списков. Это реестры казацких полков. Может быть, пора и отдохнуть, но гетман молчит, и Лаврин Капушта читает дальше, не меняя голоса.

<Низовая стража с Днепра шлет уведомление, что посол турецкого султана Осман-ага миновал сторожевые линии. В Брацлаве поймали шляхтича, переодетого монахом, который распространял слухи про войну между нами и татарами; под пыткой оный шляхтич показал, что подослан-де умышленно князем Еремой Вишневецким. В Киеве на базаре голландский купец, прозываемый Ван Браумлер, продал пятьдесят мушкетов сотнику полтавского полка Зозуле, и те мушкеты сотник Зозуля в полк не доставил, а перепродал татарам; сотника взяли под стражу, ему чинят допрос>.

Хмельницкий внимательным глазом искал в лазури облачка. Однозвучный голос Капусты слегка раздражал его. Но он знал: если полковник угощает его всеми этими мелкими и докучными делами, то напоследок скажет что-нибудь значительное и важное.

Лаврин Капушта придвинул поближе серебряный кубок, налил холодной воды из высокого кувшина и неторопливо выпил. Вытер белым шелковым платком тонкие усы и спросил:

- Читать дальше? Дела тайные, - добавил он, - спешные.

Гетман кивнул головой, не оборачиваясь от окна.

- Читай!

- Грамота от Малюги цифирью. Сто сорок три, да двенадцать, да еще тридцать, да еще добавь одиннадцать, - Капуста говорил тихо, гетман слегка наклонил в его сторону голову. - Сейм в Варшаве не допустил митрополита киевского Коссова заседать в сенате. Сто, да еще триста, да еще двести тридцать четыре, добавь еще сто шестнадцать: папский нунций обещает деньги на новое посполитое рушение. Канцлер Оссолинский тайно совещался с послом венецианским Кфарца.

Капуста положил на стол белый шелковый платок, на котором краскою было нанесено письмо Малюги, и, заглядывая в темный угол горницы, сказал:

- Нынче венецианский посол Вимины будет на вечернем приеме у генерального писаря Выговского.

- Знаю. Завтра утром доложишь мне.

- Слушаю, гетман. Днем была беседа между Виминой, турецким визирем Наир-беем и московским думным дьяком Григорием Богдановым. Говорено между ними, со слов Вимины, что король Ян-Казимир Зборовского договора соблюдать не будет. Наир-бей сказал, что гетману Хмельницкому этот договор - тоже камень на ногах. Московский посол не верит, чтобы король польский на такую войну поднялся, должен будет посчитаться с Москвой.

- Письма Вимины все читаешь?

- Все, гетман!

- Читай дальше.

- В Варшаве посол гетманский Степан Богданович-Зарудный беседовал с послом царя московского - боярином Пушкиным.

Гетман отошел от окна и сел в кресло, покрытое ковром.

- О чем трактовали? - спросил он нетерпеливо.

- Говорено меж послами о намерении царя московского заявить протест королю Яну-Казимиру против неверного написания его царских титулов, дабы ухудшить отношения и намекнуть на разрыв.

- В Москву Михаила Суличича пошлю, - перебил гетман.

- Добро, гетман!

- Зарудному отпиши - боярина Пушкина просить от моего имени, чтобы дал понять королю: мол, Москва к нам приязненна и попечительна.

- Добро, гетман!

- В Константинополь поедут Антон Жданович и Павло Яненко. Оба турецкую речь знают. Еще что?

- Польские послы в Бахчисарай поехали.

- Свои люди есть меж ними?

- Есть один писец.

- Ладно. Дальше.

Капуста удивленно взглянул на гетмана. Необычна была для него такая раздражительность при докладе о важных, секретных делах. Хмельницкий перехватил удивленный взгляд полковника.

- Утомился я, Лаврин, - хрипло произнес гетман, - утомился. День и ночь смотри, как бы нам нож в спину не всадили.

Он вскочил с кресла и зашагал по горнице. Из-под густых бровей гневно блестели глаза. Алы кунтуш тесно облегал его могучие плечи, и худой, невысокий Капуста казался рядом с ним маленьким, незаметным.

- Тесно нам, Лаврин, тесно.

Он мерил ровными шагами горницу из угла в угол, а казалось, будто он все еще под Зборовом, на том страшном поле боя, и ухо ловит звон мечей, стоны и крики людей, топот тысяч ног, конское ржание. В том страшном побоище он победил. Он поставил на колени первоклассную королевскую армию. А чего добился? Сорока тысяч реестровых?

Да, он знал, хорошо знал - не того ждала Украина. На том поле можно было добиться большего. А теперь паны только того и ждут, чтобы снова двинуться на Украину, вернуть себе маестности, на колени поставить народ.

В хитросплетениях тайной переписки с Варшавой, в беседах, в неосторожно высказанных фразах, - он уже видел зарождение той черной тучи, которая принесет страшную грозу. Снова пламя пожара вспыхнет над измученной и окровавленной землей...

Капуста, словно угадывая мысли, тревожившие гетмана, молвил:

- Никогда еще не имела такой свободы Украина, Богдан.

- Мало, - гетман остановился перед Капустой и положил ему руки на плечи. - Пойми, мало. Да и ты норовят отобрать, и та под угрозой. Нам надо выиграть время. Время сейчас для нас - все. Хитры паны в Варшаве, а мы похитрее будем. А теперь обедать, полковник!

- Еще есть дела, - отозвался Капуста, - весьма спешные.

- Твоя воля, - улыбнувшись, Хмельницкий отошел к окну.

- Брацлавский полковник Нечай твою, гетман, честь поносит; на прошлой неделе говорено им: <Гетман народ продал за маестности, гвардию себе завел, три тысячи татар нанял для охраны, а народ в полон гонят, паны Потоцкий и Вишневецкий снова вешают невинных>.

- Заговор? - спросил Хмельницкий, и Капуста заметил, как под кунтушом заходили плечи.

- Нет, - твердо сказал он, - не заговор. Нечай - честный человек. Помолчал и, встретив пытливый взгляд гетмана, добавил: - Не понимает только, вперед не заглядывает.

- Верно говоришь, полковник. Нечаю быть в Чигирине на той неделе.

- Письмо от митрополита Сильвестра Коссова: твоему универсалу, гетман, посполитые не подчиняются, и земли, захваченные ими у Густынского монастыря, до сей поры не освобождают.

- Вот морока мне с тем монастырем. Мало разве земель у пана митрополита... Пусть Выговский составит новый универсал от моего имени, а лучше пошли сотни две казаков, чтобы нагайками поучили, как гетманскую волю уважать...

- А может, то лишнее будет? - осторожно сказал Капуста.

- Что у тебя в мыслях? - грозно спросил Хмельницкий.

- Не надо казаков посылать.

- Надо. Я сказал - надо! Немедля чтобы освободили монастырские земли. Ты что, шутить вздумал с митрополитом? Людям святой веры обиду чинить мне на то бог права не дал.

- Добро, гетман. Еще жалоба.

- Снова про непослушание?

- Да, гетман! Выдал ты охранную грамоту шляхтичу Перчинскому, проживающему в местечке Коростышеве, а тот шляхтич пишет, что селяне с казаками два наезда сделали, маеток пограбили, твою охранную грамоту порвали...

- Послать шляхтичу новый охранный универсал, - перебил гетман. Отпиши Ивану Золотаренку: следствие учинить и виновных покарать смертью. Далее что?

- Жалоба женского Киево-Печерского монастыря на селян села Подгорцы о непослушании. Оные селяне не отбывают своих повинностей, считают себя вольными казаками...

- Все казаками хотят быть, - перебил Капусту гетман. - Видишь, Лаврин, вся Украина в казаки записалась...

Капуста бесстрастно продолжал:

- Пишет игуменья печерская, пани Магдалина Белецкая, к твоей милости гетману, чтобы ты новый универсал выдал на послушество подгорецких селян монастырю, а еще лучше - приказал бы полковнику Антону Ждановичу строго наказать виновных.

- Хорошо, довольно, - оборвал гетман Капусту, - пошлешь новый универсал, от моего имени прикажешь быть селянам в послушестве у пани игуменьи, а злостных гультаев

казнить смертью. Все, Лаврин?

- И еще, последнее, - поспешил Капуста, уловив нетерпеливое движение руки гетмана. - В Белой Церкви взяли под стражу кобзаря. Твою гетманскую честь поносил, пел песню, а в ней про тебя сказано:

А бодай того Хмеля
Перша куля не минула,
А друга устрелила,
У серденько уцілила.

- Будет дождь, - сказал Хмельницкий, - глянь, сизое облачко в небе, будет дождь.

Лаврин Капуста продолжал холодно:

- Кобзарь взят под стражу, доставлен в Чигирин.

- Будет дождь, - повторил гетман. - Все, полковник. Все. Иди.

Капуста собрал бумаги и уже на пороге сказал:

- Такая уж моя служба, гетман: всегда я первый должен тебе все неприятное сказывать. Он не видел горькой усмешки гетмана.

...Дождь пошел к вечеру. Молния рассекала черное, все в тучах, небо, от оглушительных раскатов грома дрожала земля. Трепетно бились ручьи на улицах, смывая грязь с битого, утоптанного большака, несли вместе с мутной водой палый лист, сорванный ветром, увядший вишневый цвет, смывают с крыш солому, всякую всячину.

Хмельницкий слушал, как шумел за окнами дождь. За дверью, в столовой, веселилась семья. Слышен был голос Юрия, покрывавший все прочие голоса. Иногда рассыпался звонкий смех Елены. А гетман думал о своем. <Чтоб пуля не минула. В сердце поцелила>. Так пели. Выходит, того желают. Выходит, где-то на его пути возникла пропасть. Перешагнуть не оглядываясь. Он понимал, что это значит - перешагнуть. Там, в черной глубине той пропасти, надо оставить свою совесть и свою муку, только тогда перешагнешь. Надо еще завалить ее, эту пропасть. Как? Он знает, как. На кол, в петлю, на казнь. Болтают черт знает что, потешаются. Думают - ему легко. Стражу завел, гвардию. Нечай, Нечай! Храбрый полковник, а Капуста правду говорит вперед не заглядывает. Не понимает, чего хочет гетман. А он хочет, чтобы край родной вольным стал. Чтобы ширились города, процветали ремесла, кипела торговля.

Вот теперь оно начинается. Разве чаркой да побратимством такое сделаешь? Был Чигирин тихий, в садах вишневых, был Чигирин благочестивый город - одни купола церквей да колокольный звон. А ныне стал Чигирин известен в далеких краях. Австрийский император через своих людей в Варшаве расспрашивает про украинскую столицу. Что за люди казаки, каковы их замыслы? Голландские негоцианты торговлю завели. Польские паны от зависти и злобы пальцы кусают. А как это случилось? Само пришло? Выносил в душе своей, взлелеял, словно мать младенца. Был чигиринский сотник в Субботове, обиженный, гонимый, был сотник Богдан Хмельницкий, стал гетман. Разве это только для себя? Для всех, Нечай! А знает ли Нечай, чего стоит жить между ханом и королем, глаз с Порты не сводить, не дать панам сломать Зборовский договор, смыть Зборовский позор? Умереть на колу - это не слава. Заставить врага умереть - вот что такое слава!

Нечай приедет, он выслушает его и спросит. Татары в полон гонят? Горькая правда. А что поделаться? Что? С татарами воевать? Польша только того и ждет. Он, при помощи султана, заставит татар уважать себя. Это еще впереди, не все сразу, на все свой срок. И вдруг гетман вспоминает, как после Корсунской битвы ковал ему коня в придорожной кузнице старый кузнец. Жаловался: <Зачем, гетман, басурман на Украину позвал?> Он объяснил кузнецу: <Всегда мы во всех восстаниях неудачу терпели, ибо короли польские окружали нас со всех сторон заговорами и враждебными союзами. Теперь не вышло по-ихнему>. Кузнец усмехнулся. <Правду говоришь, гетман. Да только воли ждать нам с Московской земли. Будет с нами брат наш, народ русский, - будет воля наша вечная. Так, гетман, весь народ думает, у всех одна надежда>.

...Не забыл гетман тех слов. Носил их в сердце своем. Что же он теперь проглядел, чего

недосмотрел? Кто ответит, кто правду скажет?

- Джура, - хлопает гетман в ладони, - зови полковника Капусту, живей!

...И через несколько минут верхом, вместе с Капустой, под дождем скачет галопом к каменице за высокой стеной, которую денно и ночью зорко стерегут часовые. Следом за гетманом и полковником топчет по улице десяток всадников. Тяжелые ворота раскрываются перед гетманом. Скрипят ключи в заржавелых замках. По мокрым кривым ступеням Хмельницкий и Капуста спускаются в темное подполье.

Казак подымает над головой факел. Вот он лежит на полу, седой дед, и кротко смотрит на гетмана, который наклонился над ним. Рваная свитка, борода седая всклокочена, лапти на ногах. Дед смотрит на гетмана и вздыхает.

- Ты гетман? - задумчиво шепчет дед.

- Да. Кто надоумил тебя, дед, говорить про меня всякую пакость?

Он спрашивает тихо, сдерживая гнев. Дед должен сказать. Это, конечно, штуки Потоцкого. Это иезуиты. Они. Дед молчит. А он ждет его слов, точно приговора. И вдруг слышит голос деда, и его страшные слова ножом входят в сердце:

- Горе, гетман, горе! Была у меня жинка, трое сынов было, внуков восьмеро, дочек две. Слушай, гетман, слушай хорошенько, не я говорю, совесть моя говорит. Где они? Жинку месяц назад Корецкий на кол посадил, сыны под твоим бунчуком ляхов воевали, под Желтыми Водами полегли, дочек Тугай-бей в полон угнал. Кто виновен? Кто?

Дед поднялся, стал на колени и протянул к гетману правую руку.

- Ты виновен, ты, гетман, виновен в моем горе!

- Замолчи! - закричал гетман. - Замолчи!

Трудно было удержаться и не выхватить из ножен саблю, не зарубить безумного деда. Но овладел собою. Можно было бы объяснить деду... Нет, напрасно. Знал - не поймет, не поверит.

- Ты иезуитами подослан, признайся, старый колдун! - грозно накинулся на деда Капуста.

- Нет, сынок, нет, - скорбно ответил тот.

Дальше говорить было не к чему. Тяжелый камень лег на плечи. Гетман повернулся и вышел. Широко шагал по лужам, разбрызгивая воду. Вскочил в седло, хлестнул плетью горячего жеребца. Капуста и стража еле поспевали за ним.

...Дождь утих уже после полуночи. В небе высыпали звезды. Заиграл на синем ковре Волосожар*. Деда вывели во двор и приказали итти. Он слабыми ногами ступал по размокшей земле, поднял голову, поглядел на небо, ему как-то странно и грустно подмигнула, мерцающая, зеленая звезда, и он уже не услышал выстрела из мушкета, а только почувствовал какую-то мгновенную, острую боль, которая поглотила все. Стража оттащила труп за ноги и кинула в яму за стеной.

* В о л о с о ж а р - созвездие Плеяд.

- За что? - спросил молодой караульный своего усатого товарища.

- Не твоего разума дело! - прикрикнул на него есаул.

В окне гетманской опочивальни горел огонь. Голосисто пели петухи. Шел третий час ночи. Гетман сидел на скамье в одной рубахе. Федор Свечка, склонив голову набок, высунув краешек языка, старательно выводил буквы. Хмельницкий диктовал:

- <Следует тебе, полковник Джелалий, наблюдать, дабы в статьях договора особо было записано наше право не только вольно плавать казацким чайкам в Черном море, а и во все порты вольно заходить и торг учинять с теми державами, с какими того купцы пожелают. И купцов наших султан турецкий от всякой пошрины освобождает, а также товары их, какие только они в державу его пожелают ввозить или же вывозить, право на то давать сроком на сто лет, а будут возражать, - так можно на пятьдесят или тридцать лет. Добиться дозволения султана войску нашему заложить в устье Буга крепости и городки портовые, откуда торговлю вести, и держать в них войско для безопасности и предотвращения своевольства. А

также при султанах иметь постоянно нашего наместника, которому дать право суд вершить над людьми нашими за провинности разные, по нашему праву и закону. А буде султан начнет выпрашивать, не думаем ли мы поддаться под руку царя московского, отвечать: того не ведаю>.

Скрипело перо, Свечка сонно моргал глазами.

- Прочитай вслух, - приказал гетман.

Хриплым, надгреснутым голосом Свечка выговаривал слова.

- Отнеси Капусте, скажи - пусть немедля отсылает. Ступай.

Гетман погасил свет и открыл окно. Неподалеку зазвучали голоса. Кто-то спрашивал:

- Оверко, чуешь, Оверко, а то правда, что войне снова быть?

- Да отцепись ты от меня, горе, - недовольно отозвался густой бас. Нехай про то гетман думает. Дай поспать.

Хмельницкий горько улыбнулся. На краю неба уже светлела серая предрассветная полоса.

3

Выговский рассылал грамоты. Не спал ночами. Писцы падали от усталости. Злые, садились к столу, гнулись над пергаментом. Генеральный писарь выматывал из них жилы. Грамоты, письма, универсалы... Словно только для этого и был рожден пан генеральный писарь. А он усмехался в тонкий ус, сыпал латынью, обращаясь к венецианскому послу Вимине, угощал московского дьяка Богданова апельсинами и, брызжа медом из своих серых холодных глаз, скороговоркой вел веселую беседу по-турецки с Наир-беём. А когда сидел перед гетманом, был спокоен, внимателен, только несколько сдержан, и всегда готов был подхватить налету гетманскую волю, закончить незавершенную мысль, продолжить начатое. И гетман был доволен, хотя порою в глубине души поднималось что-то недоброе против всезнающего и всеумоющего писаря. Говаривал порой:

- Одной цепью, писарь, судьба тебя со мной связала, смотри.

Тот только склонял голову и улыбался тонко, понимающе, и это раздражало гетмана.

Настало теперь время грамот и писем - то длинных, то коротких, то строгих, требовательных и настойчивых, то ласковых. Конечно, в зависимости от того, кому они были адресованы. От села к селу, от города к городу, степями, через реки, морем, на челнах, везли посланцы Хмельницкого написанные на бумаге гетманскую волю, приговор, просьбу, приказ.

Но были и другие посланные. Шли незаметные, древние, как мир, чернецы. Убогие люди еле перебирали ногами на путаных тропках. Никто и не подумал бы, что у них где-нибудь за гашником в подранной свитке спрятаны гетманские универсалы или грамоты. Такие побеждали любые препятствия, таким были не страшны смерть и пытки, а, главное - такие гонцы не вызывали подозрений. О них знали только двое - гетман и Капуста.

В эти майские дни Иван Выговский - весь воплощенное движение, беспокойство и деятельность. Оставлены развлечения, веселые беседы по вечерам у пани гетманши, все отброшено в сторону, забыто, точно и не существовало. Теперь, после Зборовской победы, которую гетман напрасно называл баловством, Выговский понял: надо вести большую политику. Если Порты считается теперь с гетманом, если Украину интересуется австрийский император, и царь Алексей там, в Москве, следит за ней пристальным взглядом, надо держаться Хмельницкого. Еще под Збаражем он колебался. Тогда он не был уверен, как развернутся события. На всякий случай, он дал знать канцлеру Оссолинскому, что в его особе пан канцлер найдет, в случае потребности, верного слугу. Но когда польское войско было разбито, когда белый аргамак гетмана носился, как буря, по полю битвы, и ветер победно развеивал гетманские бунчуки, Выговский понял свою ошибку и во-время изменил тактику. О, у генерального писаря была чуткая натура, он никогда не прогадывал.

Славное утро после дождя. Свежий воздух пахнет мятой. Приятно и беззаботно на душе. Сидит генеральный писарь над виршами Твардовского. Книга отпечатана в Кракове коштом краковского каштеляна. Выговский усмехается, перелистывая страницы. Он

доволен. Надо будет непременно показать эту книжку Богданову. Русские не должны пренебрегать строками Твардовского, оскорбляющего царскую честь. У Выговского на то свои планы.

...Немного погодя пан генеральный писарь уже в канцелярии принимает немецкого негодянта Вальтера Функе. Беседа течет легко, непринужденно. Купец высказывает искреннее удивление и восторг. Нет, казаки достигли многого. Украина может существовать без польских панов, в этом Вальтер Функе решительно убежден. Богатства края - подлинный клад. Он, Функе, собственно, ехал в Московию, но, услышав о гетманском гостеприимстве и об особе мудрого генерального писаря, решил завернуть в Чигирин. Вальтер Функе ненароком, но довольно подробно рассказывает об отличных делах своей фирмы. Его имя известно по всей Европе. Кто не знает мушкетера Вальтера Функе? Римский император пил за его здоровье. Вот этот большой перстень с изумрудом - подарок тирольского герцога. Но все это между прочим. Он увидел Украину, и ему не хочется странствовать далее. Он, кстати, не в таких уже годах, чтобы много путешествовать. В сущности, если бы господин министр пожелал, он мог бы помочь Вальтеру Функе. Чем? О, конечно, он не станет отнимать много времени у любезного хозяина! Нужно только одно слово, одно движение его пальца - и Вальтер Функе может оказаться полезен гетманскому правительству.

Украинский народ желает жить в достатке, красивые женщины хотят хорошо одеваться, шелковые платья были бы весьма к лицу таким господам, как высокоуважаемая пани гетманша и почтенная супруга пана генерального писаря. А какую прибыль могла бы дать шерсть? Какие пастбища на вашей Украине, какой чудесный климат! Тут все для того, чтобы множились овцы, благородные, тонкорунные, тысячи, десятки тысяч овец. Сказать по правде, он, Вальтер Функе, мог бы привезти из Германии и Голландии оборудование, можно было бы основать мануфактуру. Казачество и посполитые получили бы вдоволь сукна. У гетмана большая армия, - Вальтер Функе не политик, он только негодянт, но дела заставляют разбираться иногда и в политике. Армию надо одеть. Одеть сто, двести тысяч не так легко, может случиться всякое... Выговский пытливо смотрит в глаза коммерсанту. Вальтер Функе не заканчивает мысль. Он только предлагает свои услуги. Мимоходом замечает: в Польше коронный гетман Потоцкий закупил у него десять тысяч локтей сукна. Украине может понадобиться больше, но возить далеко, лучше основать мануфактуру здесь.

Беседа затягивается. Вальтер Функе ожидает ответа Выговского.

- В Брацлаве нами, по приказу гетмана, заложены две мануфактуры, да одна в Нежине. Намереваемся расширить и киевские.

Коммерсант ревниво прислушивается к словам генерального писаря. Под конец генеральный писарь любезно обещает подумать о предложении Вальтера Функе.

В тот же вечер слуга немецкого негодянта привозит на подворье к генеральному писарю ящик. В нем сто локтей шелка и множество бутылок с благовониями.

Другой слуга завозит большой ящик на гетманский двор. В ящике двести локтей шелка наивысшего качества и также благовония. Коммерсант Вальтер Функе в коротком и почтительном письме покорно просит ясновельможную пани гетманшу взглянуть на образцы товаров его фирмы.

...День был слишком короток для Выговского. Он не успел сделать и половины дел. Недовольно подумал, что придется сидеть над грамотами еще и за полночь. Гетман утром уехал в Белую Церковь, в сопровождении Капусты и Коробки. В Белой Церкви начали отливать пушки. Начальник артиллерии Федор Коробка хотел, чтобы гетман своими глазами убедился в его старательности. В гетманской канцелярии остался распоряжаться один Выговский.

Уже поздно вечером во двор канцелярии въезжает Богданов. Генеральный писарь встречает его на пороге:

- Рад видеть пана посла.

Богданов не спеша усаживается на лавку.

- Как здравие гетмана?

- Весьма благодарен! Изволил хорошо почивать, а теперь поехал со двора.

- А пани гетманова?

- Пани гетманова в добром здравии.

- А чада?

- Чада, хвала богу, здоровы и веселы, обучаются ратному делу, письму и латыни успешно.

Богданов все утирал пот. Выговский встал. В свою очередь спросил, склонив при этом голову, о здравии посла его царского величества. Как в Москве? Не слышать ли чего?

- В Москве все благополучно.

Богданов начал издали:

- Всюду молва идет - басурманы народ православный обижают.

- Это пану послу преувеличили. Есть случаи, но уже выдан по сему поводу гетманский универсал, - Выговский с сожалением пожимает плечами.

- Нам, известно, не с басурманами в союзе хотелось быть, да что поделаешь? Надо с ними мир соблюдать, не то Речь Посполитая против нас их повернет.

Выговский понимает: не эта причина заставила посла посетить в такой поздний час гетманскую канцелярию. Тут что-то другое. Озираясь, Богданов наклоняется ближе к генеральному писарю и говорит вполголоса:

- Имею поручение посольского приказа, нынче гонцом из Москвы доставленное, уведомить гетмана, что боярину Пушкину велено в переговорах с поляками сказывать, что царская милость к Украине неизменна и что супротив унии Москва будет крепко стоять.

Богданов облегченно вздыхает. Выговский, поднявшись с лавки, низко кланяется.

- За такую радостную весть, пан посол, от души благодарствую. Это нам великая радость и честь.

Выговский садится. Богданов, наклонившись к нему, продолжает:

- Венецианский посол Альберт Вимина утверждает, будто король Ян-Казимир снова объявит посполитое рушение против гетмана. Достоверно ли сие?

<Так вот что тебя заботит?> Конечно, паны в Варшаве не дремлют. Головы у них разумные. Гетман войны боится. Край еще и по сию пору в ранах и в горе. Но ежели станется так, что король снова двинет свое войско на Украину, понятно, казачество вынет сабли из ножен. Но вслух генеральный писарь говорит иное:

- Подданный короля Радзивилл Смоленщину захватил и пустошит, православную веру уничтожает, то вам должно быть ведомо.

- Сие - дело посольского приказа, - отвечает Богданов. - Но вечному миру между царем и королем не бывать, пока шляхта чинит обиды нашему братскому народу, пока стремится вашу землю иезуитами засеять.

Помолчав, Богданов замечает:

- Бояре на Москве спрашивают: что Наир-бей в Чигирине делает?..

Посол внимательно глядит на генерального писаря. Тот, не отводя глаз, отвечает:

- Наир-бей, скажу тебе, посол, как другу, нам хорошие вести привез. Он гость гетмана, и гетман его почитает.

- Наир-бей - басурман, - недовольно говорит посол.

- Известно, не христианин, и я так думаю. Да неведомо, что гетман замыслил, - многозначительно произносит Выговский.

Богданов настораживается. Он все хорошо понял.

О своих сомнениях он решил уведомить посольский приказ в Москве. В ту же ночь он написал письмо боярину Бутурлину.

4

- Ах, Венеция! Если бы пани увидела обширные и прекрасные дворцы, чудесные сады, лебедей на озерах, пловучие беседки, если бы она услышала задушевные песни и игру на арфах - клянусь, она полюбила бы Венецию не меньше Украины.

Венецианский посол Вимина сыпал перлы своих отборных слов к ногам пани Елены -

<прекрасной и несравненной подруги великого гетмана>.

Казначей гетмана Крайз, присутствовавший при этой беседе, хмуро молчал. Ему надоел хитрый и назойливый венецианец. Крайз доподлинно знал, что у болтливового посла нет и сотни талеров за душой, и этого уже было достаточно, чтобы он, Крайз, презирал его. А синьор Вимина так и разливал мед своих фраз, раскидывал тонкую паутину комплиментов, всплескивая руками, закатывая глаза под лоб.

Пани Елена с удовольствием слушала его. Она сидела в резном кресле, положив руки, изобильно украшенные перстнями, на подлокотники, и улыбалась венецианцу. Ласкали слух его льстивые слова. Ей нравился этот заморский, хорошо одетый мужчина. Невольно сравнивала его с усатыми, чубатыми Богдановыми полковниками.

Пани Елена вздохнула.

О, она с радостью поехала бы в Венецию, даже без сожаления осталась бы там! Нет, ей не по нраву эта дикая украинская земля. Татары, наезды, бои, кровь, ужасы... О, как все это опостытело!

Казначей Крайз осторожно покашливает в кулак. Пани Елена сказала лишнее. Негоже ей, супруге гетмана, говорить такое чужеземцу. Но пани Елену уже не остановишь. Она кидает гневный взгляд на Крайза, и на щеках ее расцветают две розы. Повысив голос, она хочет знать: кто может возразить, что это не так? Нет, правда, нельзя всю жизнь жить среди дикарей и бродяг. О, как завидует она пану Вимине! Ей-ей, она, не задумываясь, уехала бы в Венецию, будь лишь на то ее воля.

- Мне весьма приятно слышать такие слова, - благодарно прижимает руки к груди Вимина, - но в защиту правды и истины я должен сказать, что земля пани гетманши - сказочная земля, она расцветает под счастливой рукой пана гетмана.

А позднее, после ухода венецианца, Елена, когда прошло приподнятое настроение, охватившее ее, начинает понимать, что наговорила много лишнего. Хорошо, что, кроме Крайза, никого при этом не было. Она сидит, опустив голову на руки, стараясь припомнить каждое слово, сказанное ею Вимине. О чем еще она говорила? О чем? Ага, об отъезде гетмана в Белую Церковь. Вот это уж совсем напрасно сказала она. Венецианец слушал ее с чересчур большим интересом. Зачем она сказала, что гетман поехал смотреть новые пушки! Но поздно, поздно бранить себя. Сколько раз давала она себе слово - не болтать лишнего. Ведь все окружающие против нее. Все полковники, все. Разве только один Выговский дружески относится к ней, да надолго ли? Еще хорошо, что нет здесь Тимофея. Этот вообще ненавидит ее.

Была когда-то красавица-шляхтянка Елена. Мечтала о Варшаве, о роскошных нарядах, о рыцаре в латах, которому она повязывает шелковый шарф на руку, провожая его в поход. Взял ее в жены простой сотник Хмельницкий. Любил ее сотник беспредельно. О, какое это было время! Ездил она с ним в Краков, ездила в Варшаву. Было, было. Разве припомнишь все, что было? Жили мирно, тихо, спокойно. А он, Богдан, все о чем-то своем беспокоился, замкнутый, суровый, пропадал по неделям или запирался с простыми казаками, а на все вопросы отвечал: <Погоди, погоди, на все свое время>. А что вышло из того? Пришлось ему бежать из Субботова. Чаплицкий сжег хутор, увез ее. Разве ей было плохо с Чаплицким? Нет. Конечно, нет! Венчались они в костеле. Сам коронный хорунжий Конецпольский с супругой были на их свадьбе. Снова Елена жила весело, беззаботно - ни сомнений, ни тревог. Признаться по правде, с Чаплицким было спокойнее, чем с Хмельницким. Вторя Чаплицкому, она даже насмеялась над своим прошлым. А Чаплицкий, прижимаясь лицом к ее груди, в восторге шептал:

- О, подожди! Приведу я на аркане этого схизматика Хмеля и прикую на цепь под нашими окнами! Пускай потешит нас, пес проклятый!

И Елена смеялась, потому что раскатисто и громко смеялся Чаплицкий. И она отвечала на его поцелуи горячо и пылко и не скупилась на ласки.

Что ж, удача не обошла ее и потом. Когда, по велению святой церкви, ей снова пришлось притти к Богдану, она бросилась перед ним на колени и умоляюще простирала к

нему руки. Так же, как когда-то Чаплицкому, целовала руки Богдану. И каялась, и уверяла, что она не виновна в том браке, что все было сделано насильно, что под угрозой смерти стала она женой ненавистного шляхтича. Бог видел ее муки и страдания! Разве Богдан, ее славный Богдан, не простит своей Елене? Разве теперь, наконец, не улыбнется ей счастье и судьба, наконец, не приласкает ее? Она вспоминает теперь ту ночь в старой селянской хате. Вспоминает его лицо. Суровое, как бы окаменелое. Холодные, пронзительные глаза. Две глубокие морщины на лбу, и брови подняты, точно крылья для полета. Он слушал ее, не проронив ни слова. Казалось, сейчас, вот сейчас его крепко стиснутые губы произнесут страшное слово приговора и ее поведут на плаху. О, он все мог теперь! Она видела могучую силу, которая подчинялась ему. Но в какой-то миг растаял лед в глазах, и искры нежности брызнули из них.

- Елена, - сказал он, протянув к ней руки.

И она с криком упала к нему на грудь. А когда рассвет вошел в горницу и она, открыв глаза после короткого сна, увидела над собой его склоненное лицо, ей захотелось закричать от страха, - такое оно было чужое и суровое. А он не отводил своих острых глаз. Елене казалось - он видит ее насквозь. В то утро, одеваясь, он с какой-то грустью сказал:

- Люблю тебя, Елена, а лучше было бы к старому не возвращаться. Все новое, и любовь должна бы быть новая.

Сказал и ушел, и она осталась одна. Что было затем? Разве припомнить все за короткий майский день? Да и нужно ли все это вспоминать?

Сидит пани гетманша, слушает беззаботный птичий гам за окном. Чигирин, Чигирин! А могла быть Варшава. Чужая она здесь. И всегда возле нее этот Крайз. Хотя, в конце концов, ей не приходится жалеть об этом. Крайз сметлив, внимателен, угодлив. Разве это плохо? Но порою взгляды его как-то слишком загадочны и пристальны. Что-то есть на душе у этого рыжего, суетливого немца. Крайз - казначей у Хмельницкого. Он ведает всеми средствами гетмана, всем большим и сложным хозяйством. И под его умелой рукой и зорким глазом множатся богатства гетмана. Среди полковников держится он как свой, и даже задорный гетманч Тимофей благоволит ему. Со временем Елена поняла, что во всем большом гетманском дворце, даже во всем Чигирине, есть только один человек, который доброжелательно относится к ней, который поможет ей в трудную минуту, - немец Крайз.

- Вы, пани гетманова, вы равны в своих правах и возможностях какой угодно королеве. Верьте мне, немало прекраснейших женщин Европы позавидовали бы вам. К вашим словам прислушиваются послы. Вы должны стать правой рукой гетмана, - так уверял ее еще сегодня Крайз перед приходом Вимины.

Смешной немец! А что тогда будет делать умный Выговский? Что на это скажет подозрительный и злой Капуста? А как снести пренебрежение Богуна и ненависть Тимофея?

Шумит за окном ветер. Веселый май стоит за окном. Поют на лугу дивчата. Далекая и печальная песня рождает ненужные воспоминания. А могло статься и не так... Сидела бы Елена в Варшаве. О, не доведут до добра такие мысли. Она гонит их от себя, решительно встряхнув головой, выходит в сад. По узенькой дорожке, посыпанной золотым песком, оставляя на нем легкий след бархатных туфель, пани Елена идет к озеру. Она сидит на скамье, и перед ее глазами ветер взбивает на озере легкую волну. Елена наклоняется над водой. Красивая женщина смотрит на нее с прозрачной поверхности озера. Как она хороша, дивно хороша! Довольно! Прочь печальные предчувствия! Приказать заложить карету и поехать в гости к пани Выговской. Вести веселые беседы, развеять скуку.

- Гей, джура!

И джура вырастает, как из-под земли:

- Слушаю ясновельможную пани.

Ладно одетый хлопец стоит перед нею, ожидая приказа. У него черные, как маслины, глаза и светлые кудри. На один миг она даже забывает, зачем звала его. Потерев лоб пальцем, вспоминает и приказывает закладывать карету.

- Слушаю ясновельможную пани.

Джура кланяется до земли, и его точно ветром сдувает с места.

<Как в Варшаве>, - довольно думает Елена.

Нет, действительно, немец Крайз прав. Совершенно прав. Почему не гордиться ей? Муж ее - полновластный гетман. Сколько войска стоит под его началом - и не сосчитать. Какие богатства у него! Заморские послы ездят к нему, ищут союза с ним. И она одна его супруга перед богом и людьми. Она всевластная и могущественная пани гетманова. От этих мыслей пылает лицо, замирая, бьется сердце.

Стройная, полнолицая, гордо неся голову, на которой переливается под солнцем копна золотистых волос, прогуливается Елена по саду в ожидании кареты. Навстречу ей идет Крайз. Что это может быть? Какие новости? О, это беспокойство! Всегда ждешь чего-то, что придет внезапно. Но Крайз улыбается почтительно, точно угадывая ее тревогу.

- От Наир-бея, вельможного посла султана, пани присланы апельсины. В зале ждет пани посланец Наир-бея. Изволит пани сама милостиво говорить с ним?

Крайз почтительно стоит поодаль и ждет ответа. Точно про себя, тихо говорит:

- Осмелюсь посоветовать пани самой поблагодарить посланца.

Что ж, она так и хочет поступить. Пани Елена входит в залу, где возле плетеных корзин с апельсинами стоит пожилой, седой турок в белой чалме. У него косматые пепельные брови и совсем молодые глаза. Пани Елена с наслаждением втягивает трепещущими ноздрями запах апельсинов. Турок, скрестив на груди руки, низко склоняет перед ней голову.

- Наир-бей, ясный сокол солнечной Порты, бьет челом ясновельможной пани гетманше, прекрасной розе степей Украины, и просит в знак уважения и преданности принять скромный дар священной земли Магомета.

Елена ласково улыбается турку. Она сердечно благодарна пану Наир-бею. Турок, пятясь, непрерывно кланяясь, выходит из залы.

Апельсины наполнили своим ароматом большую, просторную залу. Даже слегка кружится голова. Елена представляет себе далекий Стамбул, он встает перед ее глазами из рассказов Богдана, в минаретах и в золоте апельсиновых садов. Сердце ее учащенно бьется, когда она думает о султанах. Кто знает, нашлась ли бы в его гареме такая красавица, как она.

Голос джуры в дверях возвращает ее к действительности. Карета ждет пани гетманову. Елена идет через анфиладу комнат, джура, всякий раз на полшага опережая ее, распахивает двери, следом идет Крайз. Она проходит мимо стражи, выстроившейся двумя рядами у ворот. Высокие, крепкие казаки в алых кунтушах, с пиками в руках с любопытством глядят на пани гетманову. Прохожие останавливаются, заглядывая сквозь открытые ворота в гетманский двор.

Елена с удовольствием ловит эти взгляды. Уже возле самой кареты она обращается к Крайзу. Не думает ли ее добрый друг Крайз, что она не должна была говорить венецианскому послу о поездке в Белую Церковь? Ведь гетман неоднократно предупреждал ее. Крайз молчит ровно столько, сколько надо, чтобы дать пани гетмановой почувствовать, что она действительно совершила ошибку и что исправить эту ошибку она может только с помощью Крайза. Словно спохватившись, он заверяет:

- Пани незачем беспокоиться, я все устрою.

Елена облегченно вздыхает и садится в карету. Джура запирает ворота. Крайз возвращается во дворец, насвистывая однообразный мотив никому неведомой в этих краях песни. Джура Иванко знает: если пан Крайз насвистывает эту песню, он в хорошем настроении.

Казаки личной охраны гетмана держат пики наизготовку, - так распорядился полковник Капуста в приказе об охране гетманской особы и его двора. Солнечный луч блестит на пиках. Подымаясь по ступеням и скользя взором по шеренгам казаков, Крайз думает:

<Да, пани Елена, Крайз тебе поможет>. И, оттопыривая толстые губы, так что усы, щетинясь, касаются носа, он продолжает насвистывать песенку про незадачливого хозяина, который всю ночь складывал печь, а наутро из-под его рук вышло крыльцо. Песня была странная и бессмысленная (впрочем, Крайз был убежден, что таковы, по сути, все песни), но

именно за то он ее и любил. Когда-то, очень давно, в далеком Франкфурте, эту песню напевала ему белокурая девушка.

Складывал хозяин печь,
Не хотел ни сесть, ни лечь,
А наутро вместо печки
Появилось крылечко!

...Крайз сидит в низеньком кресле у окна и смотрит в сад. Над кустами перепархивают воробьи. Ветер клонит развесистую яблоню. Из-за тына доносится песня. Морщины пролегли на лбу Крайза. Он ничего не видит и ничего не слышит. У него одна мысль. Тревожная и острая мысль. Не пора ли именно теперь незаметно исчезнуть, так же незаметно, как и возник он здесь, в Чигирине? Не слишком ли он намозолил глаза Лаврину Капусте? А от этого Лаврина Капусты только и жди: если не петли, так пулю в грудь... Хорошо Вальтеру Функе напутствовать да советовать. Поговорил и уехал. А ты сиди здесь, ходи по лезвию меча и все время будь настороже. Выговский тоже хитрит. Все норовит чужими руками действовать. При людях разве что кивнет головой, глянет сверху вниз - и пошел дальше. А знай гетман, что Выговский ему, Крайзу, о гетмане говорит, какие мысли вынашивает в голове, неплохо, должно быть, заплатил бы за это! Но разве для подобного дела прибыл в Чигирин Крайз? Разве для того живет он среди опасностей? Можно поклясться - нет! Недурна песенка про хозяина, который вместо печи крыльцо выстроил. Так и с проклятым Хмелем станется.

Прищуренные глаза Крайза вспыхивают недобрыми огоньками, и пальцы крепко сжимают подлокотники кресла. Пусть косится на него Капуста, пусть бранит его проклятый Нечай, пусть тешится будущими победами Хмельницкий, Крайз будет делать свое. Все сильнее затягивает он веревку на шеях посполитых. Подать за податью, точно тяжкие камни, будет кидать он им на плечи. Разве это он, Крайз, делает? Ведь всем известно, в чей карман деньги плывут. В гетманский. А если кто-нибудь того не знает, Крайз приложит все силы, чтобы знали. Рано или поздно возненавидят повсюду этого Хмеля. А потом... Крайз видит далекий город, ровные улицы, одинаковые домики, тихое житье, покой, обходительное обращение соседей... <Ах, Германия! Отечество! Тебе бы эти земли, эти реки, это море, эту степь...> И воспаленное воображение Крайза рисует будущее самыми соблазнительными красками...

Ветер клонит долу тонкую березку. Из-за тына доносится песня. Чужая песня, она гонит прочь из сердца мечту. Чужая песня! Чужие воробьи в кустах! Чужая земля! И чужой, ненавистный ему народ! Когда-нибудь в Варшаве и в других городах короли и герцоги скажут: <Храбрый Крайз, благое и полезное дело совершил ты для благородных людей>. А что ж? Скажут! Крайз верит в это. И все же должен признаться: вера его не очень стойкая, тревога то и дело захлестывает ее мутной волной.

5

...Былое возвращалось вновь. Максим Терновый с отчаянием смотрел, как жолнеры Корецкого выводили со двора корову. Голосила старая Максимиха, ломала руки, молила и проклинала. Жолнеры делали свое дело, да еще хлестанули нагайкой Максима Тернового, когда он стал у них на дороге.

- Хватит, - сказал Максиму усатый шляхтич, - пошумели гультаи, теперь за работу. За тобой, Максим, шесть оброков годовых пану Корецкому, осыпа два года не платил, очкового не платил, рогового не платил, ставщины не давал, попасного не давал, сухомельшины не давал. Думал, так обойдется? Нет, хлоп, нет. Вот теперь и рассчитывайся. А сын твой - гультай и здрайца* - появится, беги к пану, в ноги вались, приведи с собой своего висельника на веревке, проси, - может, смилуется его милость и дарует ему жизнь. Слышишь?

* З д р а й ц а - изменник (польск.).

Шляхтич Прушинский, управитель маетков пана Корецкого, давно ушел со двора, а еще гудят в ушах Максима его страшные слова. Видит Максим, как от хаты к хате идут

жолнеры. Стон и вопль стоит на селе. Доносится женский плач, отчаянный крик. А, провались оно все сквозь землю! Что ж это такое? Выходит, возвращается старое снова. Снова панщина, снова поборы, снова засвистят плети надсмотрщиков пана Корецкого над головой. Где ж та воля? Где жизнь, о которой так красно распинался Мартын? Всего год назад утекала шляхта, аж пыль стояла на шляху. Вот по этой улице проезжал на буланом коне, под малиновым знаменем сам гетман Хмель. Били в тулумбасы, и селяне бросали шапки кверху, и он сам, Максим, тоже кидал в воздух шапку и кричал так, что в ушах звенело:

- Слава гетману Богдану!

А сколько казаков через село прошло, сколько татар проскакало! Море, море пронеслось бурными волнами через Байгород. Тогда и Мартын с казаками пошел воевать против шляхты. Благословил его на ратное дело Максим, старуха мать крест на шею надела.

Где теперь Мартын? Может, голову сложил на Пиляве или под Зборовом? Что ж оно будет теперь? Рыбу в ставке* поймал, выходит - снова плати пану Корецкому ставщину, муки намелешь - плати ему сухомельщину, за улы, что на огороде, - плати очковое. Господи, за что караешь, за что?

* С т а в о к - пруд.

Жаркий огонь жжет глаза старого Максима Тернового. Жаркий огонь горит в его сердце. Где край мукам? Голосит за его спиной, лежа в пыли на земле, жена. Кричит. Кому кричит? Молит. Кого умолишь? Глухие все вокруг и чужие.

Разве такое думалось? Проезжал весной по селу казак. Сказывал замирился гетман с королем польским, воевать дальше, за Вислой, не смог, татары не захотели...

- А зачем сами не воевали? Сил, что ли, нехватило? - спросил Максим казака.

А тот обиделся и, опершись о луку седла, зло ответил:

- Хорошо тебе, старый, вздор болтать. Хан полякам продался, мы бы на них, а он нам в спину ударил бы, вот что было бы. А так - мир. Будет казаков теперь не шесть тысяч, а сорок тысяч, не будет кварцянское войско на Украине стоять...

- Сорок тысяч, - повторил кто-то в толпе, - а мы куда?

Казак молчал, опустил глаза.

- Мы куда? - переспросил старый дедок Лытка, постукивая палкой. - Мы снова в неволю к панам ляхам? Будем на московские земли подаваться. Одна доля у нас с людьми русскими.

- Обожди, дед, - молвил казак, нагнувшись с седла, - дай срок, еще прозвенит наша сабля за Вислой, еще не умерла казацкая мать...

Красно говорил казак. А вот теперь стоит Максим Терновый посреди двора. Лежит в пыли старая Максимиха. Забрали последнюю над?жу - корову. Еще и нагайкой угостили. Думали - уже не воротится Корецкий в Байгород. А вышло не так, как думалось. Но нет! Не может того быть, чтобы снова старое упало камнем на шею и придавило до земли.

- Встань, старая, не голоси, слезами беде не помочь.

Он наклоняется над женой и силой подымает ее на ноги.

- Ступай в хату да угомонись. Нехай гетман Хмель прослышит про такой грабеж, он покажет проклятущей шляхте, ой, покажет...

- А чтоб его гром побил, твоего Хмеля! - люто кричит Максимиха. Чтоб его сила нечистая забрала! Кинул нас, бедных и убогих, без помощи! Что теперь будет, что?

Тяжко вздыхает Максим и молчит. Разве он знает, что будет?

Так упало черное горе на Байгород, на зеленый и веселый Байгород, который стоял при большом казацком тракте и на всю Украину славился своими смелыми парубками, красунями-дивчатами, медом, рыбой, песней. В панском палате уже хозяйничали слуги Корецкого. Бегали пахолки*, проветривали залы. Нагнали из села баб, приказали все вымыть чисто, побелить, чтоб и духу хлопского не было. Вокруг маетка ходили взад и вперед немцы в панцях, с мушкетами в руках и зло покрикивали на проходивших мимо селян. Ожидали

приезда самого пана Корецкого. Тот, посылая управителя Прушинского, приказал:

* П а х о л о к - слуга (польск.).

- Треклятых хлопов не миловать, три шкуры с них спусти, а все долги мне собери. Даю тебе сто немцев. Чтобы все добро было возвращено. Хлещи их нагайками, сажай на кол. Довольно! Погуляли! Недолог час, и Хмельницкого к рукам приберем, дай срок.

Пан Корецкий гостил во Львове у своего приятеля - пана Замоиского. А тем временем управитель Прушинский распорядился в Байгороде. Жолнеры согнали на панский двор всю скотину, которая была в селе, забрали все ульи, все зерно заставили в мешках перенести в панскую комору. Старого Мирошука за поносное слово про пана Корецкого избили палками. Сто палок дали старому. Он уже мертвый был, а жолнеры все били его. Дьячок Хорлепа ударил жолнера, который потащил в фольварок его женку, - посадили дьячка на кол. Плетями и пиками погнали в маеток на работу сто душ.

- Минуло своевольство ваше, хлопы, - приговаривал управитель Прушинский, - побунтовали - и будет.

Стоял посреди двора, широко расставив ноги, сложив за спиной руки, надувал щеки. В глазах его сверкала ненависть ко всем этим мужикам и бабам, которые медленно, под присмотром немецких солдат, работали на панском дворе. Будь его воля, он бы всех их посадил на кол. Не будет из них добрых хлопов пану Корецкому. Э, не будет! Отравил их Хмель проклятый. От этих мыслей злоба закипает в душе управителя. Он пристально вглядывается в каждое лицо, ища в нем то, что так беспокоит и пугает его. А ночью долго не может заснуть. Все мерещатся ему какие-то страхи. Сидит на постели, держа наготове пистоль, прислушивается, - не подбирается ли кто к окнам. Только когда взойдет солнце, он может заснуть. И то сон его прерывист и беспокоен. Нет, не тот теперь Байгород, что был до войны, в этом пан Прушинский вполне убежден. Не клонят теперь перед ним голов, не ломают шапок, не падают на колени. И все из-за того страшного схизматика Хмеля. Хорошо знает он того Хмеля. Не раз видел его в Варшаве. Знает его жену - шляхтянку Елену. <И как она живет с таким разбойником?> удивляется Прушинский.

Не спится по ночам пану Прушинскому. И не спит измученный целодневной работой, встревоженный Байгород. Не слышно ни песен, ни смеха, ни разговоров. Кладбищенская тишина стоит в селе. Возле своей хаты сидит Максим Терновый, думает одну долгую, нескончаемую думу. Вспоминаются давние дни, обласкавшие его радостью, - казалось, счастье уже такое прочное и долгое. Разве не говорил Мартын: <Заживем теперь, тату, вольно. Хочешь - на земле работай, хочешь - по морю ходи, нет тебе запрета, живи как угодно, и никто обидеть не посмеет. Сила теперь наша! Побили панов под Желтыми Водами, погромили под Корсунем, настращали под Пилявой, теперь напоследок поставим их на колени, и тогда наше право, потому - наша сила>.

Хорошо говорил Мартын. Разве и вправду была когда-нибудь Украина такой сильной, как теперь, при Хмеле? Не помнит того Максим Терновый. Долгий век прожил, а такого не упомнит. Да почему ж паны снова возвращаются? Отчего снова свистят нагайки? Этого никак не поймет, никак не втолкует себе Максим: <Видно, голова у меня больно кв?лая>. Смотрит Максим в звездную глубь неба, - мигают зеленоватые звезды, точно тревожатся его печалью. Ходил он когда-то - давно, давно! - под теми звездами на чайке в Черное море. Была и у него сила казацкая. Да еще и какая сила! Был оселедец через всю голову и добрая сабля. Не одного турка он ею в пекло отправил. А случилось раз, что и сам в неволю попал. Долго довелось быть в той неволе. Вот бы такая доля панам! Вырвался Максим из турецкого пекла и попал к пану Корецкому, в другую неволю. Так уж и остался жить посполитым в маетке Корецкого. О минувшем только память была. Только память. Так и жил той памятью.

А все же ошибся старый Максим, думая, что не будет лучших времен. Настали лучшие времена. Принес их Украине гетман Хмель. Но, видно, не надолго принес.

Уже и рассвет у края неба взмахнул серыми крылами, а старый Максим все не возвращался в хату. Не идет к нему сон. Вот бы сейчас подняться, пойти от хаты к хате,

застучать в двери:

<Вставайте, люди, выходите скорее, беритесь за вилы, за косы, будем волю свою и жизнь свою оборонять!>

Поднялся старый на ноги, горят глаза жарким огнем, губы пересохла. Полынная горечь язвит душу. А что он поделает, старый? Нет той молодецкой силы, как когда-то была. Вот кабы теперь объявился Мартын да все парубки казаки, что пошли прошлой весной за Хмелем воевать шляхту, - о, тогда не осмелился бы пан Прушинский стегать плетями людей... А пришло утро, - и поплелся Максим Терновый вместе со всеми на панщину.

И снова стоял посреди двора Прушинский, кричал на мужиков, как бешеный, и угрожал нагайкой. Несла старая Максимиха мешок с зерном. Мешок большой - к земле старуху так и придавил. Оступилась, упала, и рассыпалось зерно по двору. Прушинский подскочил:

- Хлопская кровь, ведьма старая! Как смеешь панское добро переводить? - Ударил ногой в лицо старую Максимиху и еще раз ударил в грудь, под сердце.

Упала старая навзничь, раскинула руки. Потемнело в глазах у Максима. Неведомо, где сила взялась. Подбежал к Прушинскому, схватил с земли камень и швырнул в лицо. Но то ли от старости, то ли от ненависти взгляд затмился, - не попал в лицо, а в плечо угодил. Чуть не сбил с ног управителя. Тот даже взревел от злобы.

- Взять его! - завопил жолнерам.

Накинулись на Максима, как звери, жолнеры в латах. Связали руки. Пан Прушинский трясся, как в лихорадке. Что это случилось? Хлоп осмелился поднять на него руку. Руку на пана! Нет, он должен проучить хлопа. И он его проучит. Сейчас, сию же минуту.

Высоко в небе стояло над Байгородом ослепительное солнце. У края неба росла сизая тучка, казалось, чертила синеву крылом. Посреди Байгорода, перед церковью, жолнеры вбили в землю кол и подвели к нему связанного по рукам и по ногам Максима Тернового. Согнали все село глядеть. Прушинский, захлебываясь от злости, топтал ногами. погоди, хлоп, вот сейчас попробуешь лиха! Узнаешь, как на пана руку подымать! А Максим Терновый молчал. Поглядел на людей, стоявших кучно, словно овечья отара, поглядел на небо, на церковь, на золотой крест, искрившийся на солнце, и опустил глаза. Видел перед собой только клочок земли под ногами, серый, пыльный. Захотелось упасть на этот клочок, прикинуть ухом к земле, прислушаться: не стонет ли мать-земля? Не слышать ли стука подков? Не мчится ли в Байгород казак Мартын Терновый, отца своего вызволять?

- Сажайте его на кол, не мешкайте! - заорал Прушинский, точно боялся, что старый Максим вдруг вырвется и убежит.

Голосили женщины, мужики стояли молча и глядели на муки Максима Тернового, принимая их как собственную нестерпимую муку. Падала в их души мука Максима Тернового, как в жирную землю, поднятую по весне пахарем, падает зерно посева.

А Максим Терновый умирал на колу. Видел море и слышал играющий плеск волн, видел белые минареты Стамбула, и слышал скрежет сабель, и видел Максим алые знамена гетмана Хмеля. Внезапно все в глазах у него побагровело, дикая боль раздирала его тело, пронизывала насквозь. Он корчился на колу и умирал, а перед ним стоял управитель Прушинский, держался за бока и хохотал:

- Глядите, хлопы, как поддыхает сучий сын! Так всем будет, кто подымет руку на пана!

А Максим не слышал этих слов, он снова плыл куда-то вперед на волнах жестокой, адской муки, и эти волны подымали его все выше и выше, и он увидел Мартына, который рубил саблей панов, увидел страшное побоище, и ему захотелось крикнуть сыну: <Взгляни, сын, на муки отца своего, взгляни!> Но нехватило у него голоса, и он заплакал, и вместо слез текла кровь. Кровью плакал Максим Терновый. И сквозь кровавые слезы увидел он надменное лицо Прушинского, где-то в самом сердце родились слова, и он камнем швырнул их в шляхтича:

- Проклятье вам, паны ляхи! Вон Хмель идет, Хмель идет! Слышите?

Точно ужаленный, подпрыгнул Прушинский. Невольно оглянулся. Может, и вправду

идет тот проклятый Хмель? Стояли немцы в латах. Застыли неподвижно мужики. Умирал на колу Максим Терновий.

6

...Гнали Катрю, невесту Мартына Тернового, в полон. Впереди, позади, по бокам - татары верхами и на телегах, а посередине - пестрой толпой дивчата. Шли степью дикой, обходя села и хутора, избегая встречи с казаками. Татары спешили пройти украинскую степь, не останавливались ни днем, ни ночью, и только когда миновали верховья Ингульца, стали на отдых, раскинули шатры, зарезали баранов, зажгли костры.

Мурза Карач-бей ходил по табору. Разглядывал пленниц. Остановился возле Катри. Сидела она на земле, скрестив ноги, глаза устремила в степь. По лицу непрестанно бежали слезы. Покачал головой Карач-бей, точно сочувствуя Катре. Видел он на своем веку немало таких дивчат. Все плакали. Что поделаешь? Такова доля полонянки. А приведут ее в Бахчисарай, попадет она в ханский гарем, обломается, привыкнет.

Перебирает непослушными пальцами длинные свои косы Катря. Перебирает в памяти все, что случилось, что минуло. Летит над степью ветер, плывет в небе облачко, бежит к краю земли, шуршит о чем-то тайном прошлогодний ковыль. Ржут кони, гомонят по-своему татары. А на душе у Катри тоска, печаль, хоть ложись тут, посреди степи, и помирай. Где теперь Мартын? Что в Байгороде? Отчего доля так насмеялась над ней? Выкрали ее татары ночью, завезли в свой табор. Некому было защитить Катрю. Руки бы на себя наложила, да нет силы на это.

Одна надежда была: может, где-нибудь по дороге встретят татарский обоз казаки, отобьют невольников. Но не сбылась ее надежда. Не посчастливилось. Наверно, убиваются там, в Байгороде, мать и отец. Плачут сестрички. Приедет Мартын, - что скажут ему? Пока в степь не вышли, держали ее татары со связанными руками. Теперь развязали руки. Куда убежит она, куда подастся? Татары ее не трогали. Карач-бей приказал настрого:

- Дивчина красавица, в ханский гарем отдадим.

Усмехнулся Карач-бей. Похвалит его хан. Пятнадцать жен везет ему в подарок.

В степи смеркается. Синие тени ложатся на землю. Татары творят намаз, повернувшись лицом на восток. Молятся аллаху, славят Магомета. Девушки со страхом смотрят на татар, слушают их протяжные напевы и вспоминают рассказы матерей про тяжкую татарскую неволю.

Свершив намаз, ложится на ковер в своем шатре Карач-бей. Отдыхает мурза. Евнух Казими, когда-то изгнанный из ханского гарема и ставший телохранителем мурзы, сидит в ногах. Ждет, пока мурза обронит слово, спросит что-нибудь или прикажет итти прочь. Казими - первый советник Карач-бея, самое доверенное лицо у мурзы. Казими вернее пса. С первого взгляда угадывает он мысли и желания своего господина. Знает он и теперь, что мучит Карач-бея, что тревожит его. Карач-бей думает: хан Ислам-Гирей не так благосклонен к нему, как прежде. Уж не пронюхал ли хан о связях мурзы с его казненным братом? Не потому ли не послал он мурзу с посольством в Польшу?

Да, только об этом думает теперь Карач-бей. Казими уверен: только эти мысли мучат и беспокоят мурзу. Поехали в Речь Посполитую недруги мурзы, им достанутся подарки от коронных гетманов польских. Богатые дары получают Мустафа-ага и Селим-бей.

Казими заглядывает в глаза Карач-бею. Тяжело вздыхает Карач-бей, поглаживая мягкими, как шелк, холеными пальцами круглые щеки. Мало ясыря добыл он на этот раз. Только намучились - и все. Разве что для хана везет подарки. Приедет в Бахчисарай, а встретит у хана холодный прием. Что ж, и на это есть выход у Карач-бея. Усмехается Карач-бей. Одними глазами усмехается, а уж видит Казими - тает печаль в сердце мурзы.

- Сдается мне, Ляхистан снова пойдет войной на Хмельницкого, - лениво говорит Карач-бей куда-то в угол шатра.

Казими оживает:

- Непременно пойдет. Ляхистан разорвет Зборовский договор. Как он будет терпеть существование сорока тысяч реестровых казаков?

- Король Ян-Казимир большую дань платит хану. Девяносто тысяч злотых в год. Послов своих пришлет вскоре.

- Король хочет, чтобы наш ясный повелитель нарушил договор с Хмельницким и ударил в спину запорожцам, - осторожно замечает Казими.

- Я так не думаю, - качает головой мурза, - это не мое дело.

Казими молчит. Он знает - именно так думает мурза, и эти именно слова хотел он услышать от Казими.

В эту минуту Карач-бей думает: если бы кто-нибудь сообщил Хмельницкому о замыслах короля, дорого дал бы казачий гетман за такие вести. Дорого заплатил бы.

- Много денег у Хмельницкого, - почему-то говорит Казими, закрывая глаза, чтобы не видеть выражения лица своего господина. - Много денег. Говорят - сто бочек золота закопано у него в Субботове. Говорят - два миллиона талеров и пятьсот тысяч гульденов, а сколько злотых - и не сосчитать. И говорят - свои деньги начал чеканить он в Чигирине. Простой был сотник, а как возвеличился!

Казими открывает глаза. Карач-бей смотрит куда-то в угол шатра. Глаза его блестят.

- Великий батыр Хмельницкий. Много у него казаков. Тяжко с ним воевать.

- Тяжко, - соглашается Казими и замолкает.

Несколько минут молчания. Мурза думает: как случилось, что он в немилости у хана? И вдруг внезапная мысль пронизывает мозг. Он даже самому себе боится признаться, как мысль эта пришла к нему по сердцу. Однако он не прочь обсудить ее с Казими. Правда, его беспокоит: можно ли доверить Казими такую важную тайну?

Словно испытывая своего верного слугу, смотрит на него мурза долгим, пристальным взглядом, и на этот раз Казими не закрывает глаз, а выдерживает острый взгляд мурзы.

- Слушай меня внимательно, Казими, - говорит тихо мурза, внимательно слушай.

И Казими весь настораживается.

- Не знаю, чем я провинился перед ханом, но немилость его ко мне велика. Лишил он меня участия в посольстве, не жалуется своим вниманием. Может статься, Казими, что в Бахчисарае нам головы отсекут, мне и тебе, понимаешь? Мне и тебе. Ибо то, что знаю я, знаешь и ты. Понимаешь? Думаю я, что ты это хорошо понял. Правда?

- Твоя правда, как всегда, господин.

- Думаю я, Казими, что нет нужды тебе ехать теперь со мной в Бахчисарай. Садись-ка утром на коня и поезжай в Чигирин. Вот этот перстень покажешь полковнику Капусте, и он допустит тебя тогда перед ясные очи гетмана Хмельницкого. Поклонись гетману от меня и скажи, о чем Карач-бей хочет его предупредить. А о чем - сам знаешь. Понял, Казими? А потом возвращайся в Перекоп.

- Понял, господин. Все хорошо понял.

- Ступай, Казими, устал я беседовать с тобой. На рассвете еще поговорим. Подумай, что будешь гетману говорить, как скажешь.

Казими встает, кланяется мурзе и выходит из шатра.

Густой вечерний сумрак опускается за шатром. Погасли костры. Полонянок посадили на телеги. Прикрыли рогожами. Стража окружила со всех сторон. Казими проверил стражу, постоял, задумчиво глядя на степь. Казалось, что-то дрогнуло на безбровом, покрытом сетью морщин лице евнуха. Какое-то воспоминание тенью пробежало по нему и исчезло. Втягивая голову в плечи, евнух пошел к своему шатру. Растянулся на ковре и погрузился в мысли, спать ему совсем не хотелось.

Думал о словах мурзы, о предстоящей поездке в Чигирин. Худое задумал Карач-бей. Но натура у него такая, что все равно не отговорить. А может, хорошо поступит Казими, если поедет в Чигирин. Кто знает, как встретит хан мурзу? Порадуется ли ясырем для гарема? Не приготовлен ли меч для головы мурзы? Так или нет, а, пожалуй, хорошо, что поедет Казими не в Бахчисарай, а в Чигирин. Дремота, точно теплый халат, окутывает Казими, и уже сквозь дрему слышит он страшный топот, шум, крики, и вскакивает на ноги. Не успевает еще он откинуть полотнище шатра, как кто-то снаружи кричит ему испуганным

голосом:

- Казаки!

И тогда Казими что есть духу, что есть силы бежит к шатру Карач-бея. Мурза уже на ногах. Его разбудили.

- Хорошо берегите полонянок, сниматься с места не будем. Разведите возле моего шатра костер, подымите бунчук. Первому кто подойдет, объявите: стал тут табором мурза великого хана Ислам-Гирея Карач-бей, друг и союзник гетмана Хмельницкого. Поняли? Идите.

Все выходят, в шатре остается только Казими. Он стоит в углу и молча глядит на своего господина.

Спустя немного времени в шатер входит высокий, статный казак. Следом за ним входят еще двое казаков. Они дружески склоняют в поклоне головы перед мурзой. И тот, ласково улыбаясь, обращается к ним по-украински:

- Рад приветствовать в моем шатре дорогих гостей, союзников своих. Я мурза Карач-бей, батыр Перекопский, возвращаюсь домой.

- Я сотник Мартын Терновий, - отвечает казак. - Едем с казаками в Ингулец, да, видно, с дороги сбились. Нам на восток, а мы на юг забрались. Едем себе, а сторожевые каких-то людей заприметили. Может, думаю, чужие, решил проверить. А выходит - свои.

- Свои, свои, - поспешно подтверждает мурза. - Вместе шляхту били под Желтыми Водами и под Зборовом. Будьте гостями дорогими.

Мартын Терновий неторопливо опускается на ковер, оглядывается.

- Был на Сечи, - помолчав, обращается он к мурзе, - теперь возвращаюсь в Брацлав, к полковнику своему Нечаю, а по дороге думаю еще к себе домой заглянуть. Есть такое село Байгород. Год, как не был там.

Мартын Терновий весело усмехается. Очень уж радуется его мысль о Байгороде. Ждут, наверно, его там, а то, может, и всякую надежду оставили. Может, и Катря забыла? Глядит сотник на мурзу, а сам о другом думает.

- Что везете на возах? - спрашивает он, словно ненароком.

Карач-бей настораживается. Смотрит прямо в глаза сотнику.

- Подарки хану от ляхов. Ляхи с ханом заигрывают. Но хан держит руку гетмана Хмельницкого. Их союз никто не сломает. Еще повоюем вместе Ляхистан.

- Пора ехать нам, - вяло говорит сотник и смотрит на своих казаков.

- Что же, поедем, - отзывается один из них, - проверили - люди свои, можно и ехать.

- Ну да, свои, - загадочно усмехаясь, так что Карач-бей прикусывает губу, говорит Терновий и подымается. - Посидели мы у тебя, мурза, и хватит. Благодарим. Будь здоров, мурза!

- Да благословит вас аллах, - кланяется Карач-бей.

Казаки выходят из шатра. Казими идет вслед за ними. Карач-бей замер, стоит и прислушивается к тому, что делается за шатром. Слышен конский топот, голоса, потом все это удаляется.

Казими возвращается в шатер.

- Уехали? - спрашивает Карач-бей.

- Уехали, пресветлый господин.

- К возам не подходили?

- Хотели, но стража сказала, что там подарки хану, тогда не подошли.

- Хвала аллаху. Скоро рассветет.

- Скоро, господин.

- Бери перстень, поедешь до рассвета. Скажешь Хмельницкому: мурза Карач-бей велел передать - ляхи подговаривают хана выступить против тебя, хан склонен к тому. Карач-бей знает еще много важного, но люди, которые могли бы рассказать, требуют денег, много денег. Пришли за Ингулец своих, пришли десять тысяч талеров - все будет ладно. Так и передай.

...Прохладное утро подняло уже в степи свои светлые паруса. Роса высыпала на траве. Скачет впереди своего отряда Мартын Терновый. Далекий путь предстоит ему. Можно обо всем подумать, все припомнить. Ездил на Сечь с поручением от полковника Нечая, возил кошевому атаману грамоту от полковника. Не знал, что в той грамоте писано было, а если бы знал, может, не так дружески обошелся бы он с мурзой Карач-беем и не пришлось бы тогда Катре дальше ехать в неволю, слезами встречать рассвет. Повезли татары Катрю на юг, а Мартын Терновый ехал на запад. Солнце взошло. Заиграло на казацких пиках. Терновый ехал медленно. Степная трава стояла выше колен. Дружно позвякивали удила. По степи катилась казацкая песня.

Гей, у лузі червона калина,
гей, гей, похилилася,
Чогось наша славна Укра?на,
гей, гей, зажурилася?
А ми ж тую червону калину,
гей, гей, да піднімемо,
А ми ж свою славну Укра?ну
гей, гей, розвеселімо.

Едет впереди своих казаков Мартын Терновый. Слушает песню. Хорошая песня. А и вправду, что-то невесела Украина. Войны нет, а печали больше, чем в войну. С чего бы это? Широкая степь радуется глаз. Раскинулись под солнцем просторы зеленые. Легко дышится, так и пьешь душистый, пьянящий воздух. Шелестит, клонится трава. Нашептывает на ухо ветер. А на сердце у Мартына беспокойно и заботно. Гложет тоска по родному дому, по Катре. А если б не это - чего бы тужить Терновому?

Ровно и счастливо шла его жизнь. Еще недавно был простым посполитым пана Корецкого, а вот теперь реестровый значковый казак Брацлавского полка. Полковником у него храбрый Данило Нечай, славный по всей Украине рыцарь. Бился Мартын под Корсунем, в Зборовской битве гетмана Хмеля спас. Эх, то был день, когда солнце ласково улыбалось Мартыну. И теперь он, вспоминая тот день, не может не улыбнуться. Как рубанул он пятерых польских гусар, накинувшихся на гетмана! Конь под гетманом упал, убитый пулями. Мартын соскочил со своего коня, отдал его гетману, помог сесть в седло, а сам стал биться пеший. Вечером Мартына покликали в гетманский шатер.

- Вот он, храбрый казак, - сказал полковник Нечай гетману, подталкивая Мартына вперед.

Поднялся гетман навстречу Мартыну, обнял и поцеловал.

- Храбрый казак! Будешь еще и полковником.

Отстегнул гетман при этих словах свою саблю и подал Мартыну.

- Носи, казак, эту саблю на память. Рубила она врагов наших под Желтыми Водами. Будем побратимами.

Перед глазами по всему горизонту, волнуется степь. Шумят травы. Посвистывают суслики. Кружат орлы, высматривая добычу. Катится над степью, выше орлиного лета взмывая, казацкая песня. Зычным голосом подтягивает Мартын:

А ми тую червону калину,
гей, гей, та піднімемо,
А ми свою славну Укра?ну,
гей, гей, розвеселімо.

<Вот она сбоку, гетманская сабля, хорошая сабля!> - думает радостно Мартын.

Стремя в стремя едут казаки. Мартын оглядывается. Ловят казаки взгляд Мартына: <Пойте, хлопцы, пойте>. И еще громче звучит песня.

...Проехали казаки. Исчезли за горизонтом. Немая пустыня, дикая степь. Сизая даль, синее небо, и орлы в вышине рассекают могучими взмахами крыльев манящий простор. Раздвигая крепкою грудью густые заросли травы, осторожно выходит на добычу волк.

Останавливается, уловив какой-то, только ему одному приметный шум. И вдруг стремглав срывается с места, исчезает. Потом, тяжело дыша, пронесется тур, и его рога колышутся над зелеными зарослями. Или, приминая к земле траву, промчится дикий кабан. И только орлы в небе продолжают спокойно и беззаботно кружить над степью.

Казачи Мартына миновали уже сторожевую линию. Остановились не надолго у вышки, потолковали с дозорным казаком. Тихо в степи.

- Татар - и то не видно, - жаловался казак. - Они теперь обходят торные пути. Все идут напрямик, степью. Гонят в полон наших людей.

Дозорный казак был уже в летах. Ветер раздувал седые усы. Казак посасывал длинный чубук, рассуждал степенно. И зачем тем татарам такую волю дает гетман? Что ж получается? Только от панов отбились, да еще неведомо, надолго ли, а татары людей в неволю гонят. Какие ж это союзники?

Казачи слушали молча. Каждый думал свое. У каждого была мать, сестра, у кого жена, у кого невеста. Что там с ними, в далеких селах, раскиданных по Украине? Какая доля выпала им? Мартын подумал о Катре. Дозорный казак продолжал:

- Не годится гетману спускать татарам такое своевольство. Пойти бы на Перекоп несколькими полками да проучить. Эх, - вздохнул казак, - забыл, верно, гетман про нас, видно, паном стал наш Хмель. Сказывают - в Чигирине все с панами водится, а простому казаку до него и не доступить. Рыжий Крайз его своей паутиной оплел. Немец тот самому дьяволу душу продал и гетмана приворожил... Кто ж того не знает? У проклятого гетманского казначея одна думка: еще какую подать на бедный люд наложить... Только заплатишь поопасное, а он уже очковое собирает... Заплатил очковое припомнит тебе поволовшину за прошлый год. А до того, что ты в прошлом году на коне своем шляхту под Желтыми Водами или там под Корсунем воевал, ему, вишь, дела нет. А теперь вот, казачи сказывали, новый налог выдумал рыжий бродяга. Кто соль потребляет - плати злотый в гетманскую казну. Да слыхано ли такое, казачи? Дай срок, увижу гетмана - все выскажу ему, сорву немецкое бельмо с глаз его...

Мартын знает: надо возразить. Разве можно так говорить о гетмане? Но Мартын вспоминает: всюду толкуют казачи о проклятом Крайзе. Откуда его нечистый принес, пес его знает! Одна молва идет: с тех пор как явился этот рыжий немец к гетманскому двору, гетман до золота лаком стал... От множества податей, правда, не опомниться посполитым. Шныряют по селам и городам дозорцы с его грамотами. Наверно, и в Мартыновом Байгороде побывали...

В памяти возникли рыжие волосы, круглое, в веснушках, лицо Крайза, заплывшие жиром маленькие глазки, беспокойная усмешка под толстым, похожим на картофелину, носом... И всюду, где ни появится гетман, за ним тенью ходит этот проклятый Крайз. Злоба зашевелилась в груди Мартына. Да, этот рыжий Крайз все выдумывает, как бы еще обидеть сельский люд... <А что же гетман, полковники? - подумал вдруг Мартын. - Почему молчат, потекают немцу?>

<Потекают потому, что деньги от тех податей себе в карман кладут?> мелькнула мысль, и еще тяжелее стало на сердце.

Плыла над степью туча, ветер шуршал в траве, заржал Мартынов конь тихо, призывно. Вскочил на ноги Мартын. Все же не годится ему безответно слушать поношения и обиды особе гетмана. Разве можно так говорить о гетмане?

- Ты, казак, не дюже языком мели, несешь черт знает что! - вяло заметил Мартын.

- А что? Правду говорю. Правда глаза колет, да душу прочищает. Чиста и свята казацкая правда. Я гетмана Хмеля хорошо знаю. Еще с его отцом, казак, под Цецорой турка воевал, в его сотне служил, я с ним самим, казак, в неволе турецкой два года мучился. На Запорожьи славу кричал ему, старшим выбирал. Я вправе так говорить.

Замолчал дозорный. Тонкий дымок от трубки медленно вьется по ветру. Казачи лежат в траве, ждут, пока чуть спадет зной, тогда поедут дальше. <А правду все-таки говорит старик>, - думают они.

- Помню, - мечтательно, с ласковой усмешкой произносит вдруг дозорный, - сидели мы с Хмелем в тюрьме турецкой. Видели сквозь решетку краешек неба, да снопок солнца. Много нас сидело в той проклятой яме. Хмель глянет на небо и скажет: <Гей, побратимы, не тужите, будет еще час нашей славы, еще будет наша Украина вольной, еще будут у нас веселье и музыка>. И запоет казацкую славную песню, и полегчает на душе у всех. Крепкий был казак Хмель. Недаром за ним вся Украина пошла. Недаром.

Умолк старый и задумчиво смотрит себе под ноги; словно отвечая своим мыслям, говорит:

- Ему, Хмелю, виднее, может.

- Как зовут тебя, казак? - спрашивает Мартын.

Дозорный внимательно приглядывается к Мартыну. Без злобы в голосе, шутливо говорит:

- Навет Лаврину Капусте хочешь подать?

И, разом вскочив на ноги, с криком подступает к Мартыну:

- Можешь сказать ему, можешь сказать: сторожевой казак Иван Сиромеха, по прозванию Стамбульский, про гетмана Хмеля негодные слова говорил. Можешь сказать: я ничего и никого не боюсь - ни Хмеля, ни Капусты... Я простая травинка, в землю сойду, дождь и ветер обмолотят - и снова прорасту я. Скачете теперь по дорогам, материно молоко на губах не обсохло. А где вы были, когда мы на челнах на Кафу ходили? Где были, когда мы Белгород воевали? Когда Черное море нашей казацкой тени боялось, где тогда были? Молчишь? А я никого не боялся, никто мне не страшен, семь раз меня ляхи да турки на казнь водили, семь раз небо надо мной смилостивилось. Не берет меня смерть - и все! А ты можешь навет подать, твоя воля.

Тяжело переводя дыхание, дозорный отходит и садится поодаль в траве, посасывая давно погасший чубук.

- Зря ты раскричался, - успокаивает его Мартын, - зря шум поднял. Разве есть у меня в мыслях что-нибудь худое против тебя? Боже борони от этого! Я только знать хотел, кто ты, а ты вон что подумал!

...Дальше на запад покатилося солнце. Сели на коней казаки и тронулись. Остался один Иван Сиромеха у сторожевой вышки. Стреноженный конь щипал рядом траву. Приложил ладонь к бровям Сиромеха, глядел вслед казакам. Легкое облачко пыли стояло за ними. Снова в степи стало пусто и тоскливо. Огляделся во все стороны Иван Сиромеха. Никого. Степь, небо, солнце, и он один - зоркий дозорный гетманской пограничной стражи. Увидит опасность - быстрее кошки взберется на вышку, зажжет солому, и взвоет огонь с дымом, а Сиромеха, подав тот знак, погонит верного коня что есть духу на запад, подымать сторожевые отряды на хуторах. И так, от дозорного к дозорному, полетит тревожная весть - и в ответ ей подымутся полки, загремят трубы. Такое может стать в любую минуту, а сейчас тишина, покой. Стоит Иван Сиромеха, думает свое, про войну, про долю свою дивную, про век свой долгий. А дорога бежит меж высоких трав, с запада на юг, знакомая проторенная дорога, битая дождями, ветрами, выжженная солнцем. Хорошая, славная дорога.

8

...Снова вечер раскинул над степью синие крылья. Длинный, как летний день, татарский обоз движется по степи. Идет за телегой Катря. Как и вчера, как и позавчера, глаза полны слез. И за теми слезами не видит она ни шляха, ни степи, ни людей. А Карач-бей сидит в седле ровно и прямо. Уже давно миновали казацкую землю. Стали попадаться улусы*. Встречные татары кланяются мурзе Карач-бею. Кто не знает на Перекопе батыра Карач-бея? Он самодовольно улыбается. Но скоро горькая мысль стирает с губ улыбку. Тревожный путь предстоит Карач-бею. Стелется тот путь к далекому Бахчисараю. Ждут ли мурзу там почет и ласка или уже наточен меч для его шеи? Подозрения гнетут Карач-бея. Насмеялась над ним судьба. Не надо было вмешиваться в заговор незадачливого ханского брата. Разве сразу не видно было, что не бывать ханом слабодушному Осману? Но мурзу

соблазнило обещание Османа сделать его ханским министром. Думал Карач-бей, что станет он вельможным визирем, будет у него дворец в Бахчисарае, гарем не меньше ханского, полные подвалы денег, будет полновластным и всесильным и чужеземные короли будут присылать к нему послов.

* У л у с - татарское селение.

От этих мыслей пылают щеки у мурзы. Что и говорить - приятные мысли! Но судьба разбила все надежды и расчеты. Раскрыли заговор, посадили на кол ханского брата Османа, замуровали в каменных мешках нескольких мурз, а до Карач-бея не добрались.

Или не докопались, или просто затаили месть. Лучше было бы не возвращаться в Бахчисарай. Лучше было, может быть, перекинуться к Хмельницкому, пойти к нему на службу. А может, хан Ислам-Гирей ничего не знает? Может быть, и посчастливится Карач-бею снова стать доверенным лицом? В конце концов, бочка золотых умилюет ханского визиря ненавистного Сефер-Кази-агу. Да и самому хану сможет мурза рассказать кое-что, докажет свою преданность. Не пробудит ли в хане тревогу, рассказав, как гетман заигрывает с самим султаном?

Нет, еще не все пропало. Еще засияет солнце на его пути. Внезапно громкий плач привлекает внимание Карач-бея. Снова невольницы. Что ж, пускай плачут, это никому не запрещено. Слезы очищают души, даже души неверных. Об этом не сказано в коране, но так думает мурза Карач-бей.

Равнодушные к девичьему плачу, идут, окружив обоз, татары и с завыванием тянут монотонную песню о храбром батыре, который одолел в жестоком бою сто неверных и которого Аллах принял в рай.

...Едет на юг перекопский мурза Карач-бей на добром коне. Шагает пешком, держась рукой за телегу, Катря, невеста Мартына Тернового. Идет Катря в злую неволю. Гонит коня Казими на восток, в далекий Чигирин. А Мартын Терновый, покачиваясь в седле, думает о далеком Байгороде и о предстоящей встрече с невестой.

Различны пути людские, неведомы судьбы людские, широка степь и просторна, а в том просторе - все же тесно человеку. Скрещиваются тропы в степи, переплетаются людские судьбы.

9

В далеком Бахчисарае вечерет. Давно замолчали муэдзины. Белостенный дворец хана Ислам-Гирея высится над Бахчисараем. Ни ветерка, ни людского голоса. Тишина и покой.

Великий визирь ханский Сефер-Кази сидит на широких мягких подушках и, покачиваясь в такт своему голосу, диктует писцу грамоту польскому королю: <По повелению моего пресветлого и всемогущего владыки, хана Ислам-Гирея, напоминаю вашему величеству, что срок уплаты дани за этот год прошел, а в казну хана не поступило от казначея Речи Посполитой ни одного злогого...>

Сефер-Кази замолкает. Он думает о завтрашнем дне. О предстоящей встрече с королевскими послами, о поездке Осман-аги к Хмельницкому, о своей возлюбленной Зейнам, красавице его гарема, волшебной звезде его чудесного сада. Но это потом... А вот Хмельницкому надо преградить путь. Он уже большую силу забрал. Слишком большую. Нельзя ему быть в такой силе. Сефер-Кази далеко смотрит. Далеко видит и хорошо слышит. Аллах не отказал ему в разуме и сметливости. Сефер-Кази понимает: надо преградить путь гетману Украины. Не дать ему стать сильнее чем это нужно хану, чтобы держать в страхе Польшу. Напрасно Польша хочет разбудить войну между ханом и Хмельницким. Воевать с казаками - дело трудное. Не мечом победит Сефер-Кази хитрого гетмана. Вечный союз заключил гетман с ханом. Будет он воевать против московского царя. Вот осенью ударят батыры хана и казацкие полки на Московию. Пусть попробует Хмельницкий отказаться. Тогда визирь пригрозит поляками. Не вывернется гетман. Быть ему навеки данником хана крымского.

Сефер-Кази продиктовал грамоту. Отослал писца. Вышел в сад. Вдохнул душистую

горечь миндаля. Посмотрел в вышину. Много душ умерших сияло ныне в небе. Каждая звезда - душа. Вот когда-нибудь и его душа будет сиять над Бахчисараем зеленоватой звездой. От такой мысли пришла печаль. Визирь посмотрел на окна ханской опочивальни. Темно. Спит Ислам-Гирей. Почивает. Беспokoйный был день. Растревожился хан: почему это султан посылает в Чигирин своего посла? Да еще Осман-ага едет. Визиря тоже грызет беспокойство.

Сефер-Кази глядел на небо. Кривая сабля месяца желтела в синеве. Беззаботно мерцали звезды. Сефер-Кази зевнул, прикрыл ладонью рот. Ходил по саду, скрестив руки на груди. Ветер слегка шевелил широкополый шелковый халат. Сефер-Кази думал. Под Зборовом можно было взять с польского короля дань побольше. Хорошо поступили под Зборовом, не дав Хмельницкому окончательно рассчитаться с Яном-Казимиром. Независимый Хмельницкий - это нож в сердце Крыма. А Хмельницкий и его казачество должны всегда быть мечом в руках хана. Куда хан прикажет, туда будет направлен меч. Так думает Сефер-Кази. Таково его непоколебимое убеждение. Хан будет воевать с Москвой. Война начнется этой осенью. Так будет, так угодно Аллаху. Хмельницкий хитрит и изворачивается. Ничего не выйдет из этого. Ничего! Ткет он теперь в Чигирине тонкую паутину союзов и заговоров, совещается с чужеземными послами, замышляет навсегда выйти из-под власти короля и шляхты. Далеко простирает свои замыслы казак Хмельницкий. Но не для того помогал ему хан под Желтыми Водами и Зборовом. Освободится Украина от короля - не бывать тогда могучему ханству в Крыму. Побьет Хмельницкого Речь Посполитая или же толкнет его на Крым против хана, - тоже угроза могуществу ханскому. Все надо взвесить, все обдумать. На то он и великий визирь повелителя Крыма Ислам-Гирея III. На то и канцлер. Высокое звание и беспокойное.

10

Мартын Терновый сидел перед своим полковником Данилой Нечаем. Возвратился из Байгорода и сразу же кинулся к полковнику. Налиты кровью глаза, и тяжело ходит грудь. Из пересохших губ вырываются со стоном слова. Слушает его внимательно Данило Нечай, не упускает ни одного слова. О великом горе своем рассказывает ему Мартын Терновый. Как вместить в слова это горе? Нет таких слов, которыми можно было бы рассказать о беде, постигшей Мартына. Приехал он в Байгород, лелеял в душе надежду, носил ее, как клад драгоценный. А что встретил? Мать неведомо куда по миру с сумой пошла. Отец на колу погиб. Невесту татары похитили. Привел Корецкий рейтар в Байгород. Все отобрали у селян. Старые порядки завели, замучили уже сколько людей. Разве за это он кровь свою лил? Разве есть правда на свете?

Слушает Мартына полковник Нечай. Хмурит брови. Кусает ус. Постукивает рукой по столу. Горе Мартына - не новость. Много раз слышал о таком Нечай.

- Неужто так и сойдет шляхте это своеволие? Скажи мне, полковник. Невмоготу дале терпеть нам!

- А ты что, утерпел? - спросил Нечай.

- Нет, батько полковник! Не мог. Сабля сама в руки просилась. Порубали мы тех рейтар, порубали Прушинского, не мог стерпеть, полковник.

- По-рыцарски поступил! - горячо похвалил Нечай.

- Выходит, снова война? А знает ли о том гетман?

- Гетман знает, - ответил Нечай задумчиво. - Гетман все это хорошо знает. Молчит Хмель, ждет чего-то. Дождется он беды на свою голову.

Подумал, что молвил лишнее, но сдержать себя не смог.

- С огнем играет Хмель.

Вскочил на ноги Нечай, как бешеный забегал по горнице. Посуда звенела на полках у стены.

- Что ж, народ не утерпит, народ на гетмана руку подымет! Разве для того кровь проливали, чтобы снова Корецкий на кол сажал? Снова шляхта на рубежах войско собирает. Быть войне, Мартын. И страшной войне. Берегись, Хмель, не мудри дюже: как бы не

перемудрил!

Нечай умолк. Остановился у стола, оперся о стол руками и задумался. Не могло так быть, чтобы изменился Хмель. Не могло такого быть, чтобы затуманила ему глаза слава. Слишком хорошо знает Хмель шляхту. Но почему же шляхта снова нагло лезет на Украину? Почему не даст гетман по рукам татарам? Что это за союзники, если они глумятся над украинским народом? Ой, с огнем играет гетман, обожжется!

Ушел от полковника Мартын Терновый, и частица его горя осталась в доме Нечая. Давно уже была ночь, а Нечай все думал о Мартыновой доле. Все последующие дни брацлавский полковник рассылал гонцов по своим сотням. Гонцы развозили его устный приказ - всем сотням быть наготове, ожидать нового приказа и тогда с оружием итти на правый берег Горыни, где их будет ждать полковник. Гонцы передавали сотникам: <Приказ полковника держать в тайне>. Но какая там тайна! Казаки шепотом сказывали о том своим родичам в селах, любимым девушкам, соседям. Весть о приказе полковника ползла по Брацлавщине, от хаты к хате, а немного погодя перекинулась и за Горынь.

Мартын Терновый с радостью узнал об этом приказе. После того, что он увидел в Байгороде, жизнь стала не мила. Чего оставалось ждать от судьбы? Выросла перед ним одна цель - отомстить врагам за обиду. Этим он теперь жил, для этого только и существовал. И он знал: в грядущем бою будет биться с врагом еще злее, и ничто не устрасит его, потому что уже не для кого ему себя беречь. В эти дни он часто встречался с Нечаем, дважды ездил с ним в окрестные села, где стояли на постое четыре сотни полковника. Речи о походе не было, только однажды полковник, словно мимоходом, сказал:

- С десяток пушек нам на первый раз не помешало бы.

- Разве у генерального обозного мало пушек? - удивился Мартын.

Нечай не ответил сразу, только пристально поглядел на Мартына и, помолчав, сказал, словно про себя:

- Те, что у генерального обозного есть, - не про нашу честь...

Между тем о событиях, происшедших в Байгороде, стало известно Корецкому. Шляхтич, которому посчастливилось спастись от сабель Мартыновых казаков, прискакал в маеток Корецкого, в Вильшану. Захлебываясь от страха, еще не выветрившегося из сердца, он кинулся на колени перед своим паном и одним духом выпалил о том, что произошло в Байгороде:

- Нет больше пана Прушинского, нет рейтаров, нет палаца. Все погибло в огне. Все разрушили казаки Нечая.

Корецкий затопал ногами, швырнул на пол подвернувшийся под руку подсвечник, завопил люто:

- Коня мне, сейчас же коня! Говорил я, что с этим схизматиком Хмельницким не надо мириться, говорил, что этого здрайцу надо на аркане привести в Варшаву!

Долго ярился и бесновался Корецкий. Каких только лютых мук не придумал он для Хмельницкого! Но когда отошел и спокойно обдумал все случившееся, решил послать письма воеводе Киселю и Хмельницкому. В письмах жаловался на Нечая, казаки которого нарушили Зборовский договор, причинили обиды и убытки ему, Корецкому. Он требовал немедленной кары Нечаю и его казакам. В противном случае оставлял за собой право со своим войском перейти Горынь и самому учинить расправу над бунтовщиками. Письма эти отправил немедля, а сам стал готовиться к походу. Еще написал Корецкий коронному гетману Потоцкому о том, что принужден сам выступить на защиту своей чести и достоинства, ибо не уверен, что хлопы не придут завтра к нему в Вильшану. Хлопов надо проучить, и он решил это сделать.

В один из июньских дней полк жолнеров, под командованием Корецкого, перешел Горынь и двинулся на юг. Дозорные загоны* Нечая заметили польское войско и не замедлили известить полковника.

* З а г о н ы - отряды.

Получив такие известия. Нечай повеселел. Выходило как нельзя лучше. Все люди тому свидетели - не он перешел рубеж, а Корецкий. Не он первый начал ссору с Корецким. Что же ему остается делать? Подставлять шею, когда над ним заносят саблю? И полковник Нечай дал приказ всем сотням: не теряя времени, итти маршем в Брацлав. Теперь все будет хорошо. Конец Зборову. Теперь он поглядит, как поведет себя гетман. Не может он уступить. Нет! Этим будет положен конец лисьей политике, всей той игре, непонятной и ненавистной Нечаю. Он написал полтавскому полковнику Пушкарю: <Готовься, Пушкарь, держи коней оседланными>. И он ждал первой тревоги, чтобы обнажить саблю и подать сигнал к бою. Но тревоги не было. Корецкий, вступив в первые села, застал там пустыню. Люди бросали свои дома и бежали на юг. Некоторые села были подожжены самими жителями, покидавшими их, и Корецкий увидел в этом как бы предостережение для себя. Он воздержался от намерения итти дальше, а приказал войску стать лагерем неподалеку от Байгорода.

Нечай ждал первого шага Корецкого, ждал как дорогой и желанной вести. Но внезапно пришла иная весть. Прибыл гонец от Лаврина Капусты с приказом: быть полковнику Нечаю немедленно в Чигирине у гетмана вместе с казаком Мартыном Терновым.

- Не поеду, никуда не поеду! - кричал разгневанный Нечай. - Скачи в Чигирин и так передай Капусте!

Гонец молча выслушал гневный ответ полковника. Гонец ни во что не вмешивается. У него одна обязанность - передать приказ и потолкаться среди казаков Нечая. Был он хлопец проворный и сметливый, один из тех доверенных людей полковника Капусты, которых прозвали <длинноухими>.

Посланца Нечай не сразу отправил назад. Гнев прошел, и полковник задумался. Не подчиниться приказу - значит стать на путь ссоры. Кому от этого выгода? У Хмеля рука тяжелая. От него всего ожидай, если разгневется. А поехать именно теперь, когда неподалеку стоит Корецкий, значит поставить под угрозу свой полк. Нечай колебался. Приказал позвать к себе гонца.

Худощавый казак в грязном кунтуше несмело протиснулся в дверь:

- Чем могу служить пану полковнику?

Нечай разглядывал его хитрое лицо. Он хорошо знал, что за гонцы у полковника Капусты.

- Как звать тебя? - спросил мирно Нечай.

- Ковалик Демид, - осторожно ответил казак.

- Деньги любишь? - спросил вдруг Нечай, меряя гонца строгим взглядом.

Гонец стоял и моргал остолбенело. Этого он никак не ожидал. Полковник Капуста об этом не предупреждал, тут таилась какая-то ловушка. Конечно, он любил деньги. Всегда ему хотелось иметь много денег. Будь они у него, он бы мог оставить тогда это хлопотливое дело с наветами, подглядыванием и подслушиванием. Но Капуста крепко держал его в руках. Всегда он слышал над ухом суровые, страшные слова: <Смотри, Ковалик, петля на твою шею готова>. Ковалик знал: как скажет Капуста, так оно и станется. А теперь этот неожиданный вопрос Нечая... Он, конечно, понимал, куда метит брацлавский полковник.

Нечай ждал ответа. Усмехался. Ему нравилось так испытывать верность лазутчиков Капусты. Он вынул из кармана бархатный мешочек и подбросил его на ладони.

- Деньги любишь? - спросил он снова.

Ковалик деньги любил. В этот миг он забыл все, забыл даже Капусту. В бархатном кошеле соблазнительно позвякивало. Он закрыл глаза и, точно собираясь прыгнуть через что-то страшное, весь вытянулся, стал на цыпочки.

- Слушаю пана полковника. - сказал он, выражая этим свое согласие услужить Нечаю.

- Получишь сто злотых.

Ковалик задрожал. Он готов был на все.

- Слушаю пана полковника, - угодливо повторил Ковалик, ниже склоняя голову.

- Зачем вызывает меня полковник Капуста? - спросил Нечай.

Ковалик, не раскрывая глаз, скороговоркой, точно он находился в тайной канцелярии

Капусты, заговорил:

- Есть навет на пана полковника, что им говорены непотребные слова про гетмана Богдана. Еще есть жалоба Корецкого на нарушение полковником и его казаками Зборовского договора и универсала гетмана о свободном возвращении шляхты в свои маетки.

Ковалик замолчал, открыл глаза и жадно посмотрел на кошель, лежавший на столе перед Нечаем.

- Так, - проговорил, помолчав, Нечай. - И это все?

- Все, - ответил Ковалик.

У него горели глаза и ломило поясницу. Казалось, где-то поблизости стоял полковник Капуста. Он грозил Ковалику: <Смотри, Ковалик, петля на твою шею готова!>

- Бери, иуда, - Нечай толкнул со стола под ноги Ковалику кошель с деньгами и весело засмеялся. - А теперь ступай прочь, чтобы и не смердело тобою. Завтра еду. Пошел!

Ночью Нечаю не спалось. Оказывается, за ним приглядывали. Следили за каждым шагом. Оказывается, гетман Хмель имел против него тайный умысел. Нет, это Капуста. Это ему, хитрому и молчаливому Капусте стоял он, Нечай, поперек дороги. А чего он хочет? Ведь и Нечай мог быть при особе гетмана. Великая честь зваться генеральным обозным, или генеральным казначеем, или начальником гетманской канцелярии. Не хотел того Нечай. Это ему не нужно. Как же это случилось, что ему, Нечаю, не верят? Что ж это с Хмелем? Неужто и он шляхте продан? Неужто слава затуманила ему глаза? Да не может такого быть! Нечай гонит прочь от себя эту мысль. Не может такого быть. Ладно, он поедет в Чигирин. Он начистоту выскажет гетману все, что думает. Все до конца. Чтобы не лежала между ними черная тень.

На следующий день, на заре, Нечай в сопровождении Мартына и сотни казаков выехал в Чигирин. Позади, между казаками, ехал Ковалик. Старался не попадаться на глаза полковнику. Но тот насмешливо обратился к нему:

- Эй, ты, верный слуга полковника Капусты, а через Перелазовский хутор проедем?

- Проедем, пан полковник, - потупив глаза, поспешно ответил Ковалик.

Он прислушивался, о чем толковали казаки. Вчера ночью Ковалик уже разведкал кое-что важное. Будет о чем рассказать полковнику Капусте. А что, как полковник Нечай скажет про злотые? От этой мысли озноб пробежал по спине. Тяжело на душе у Ковалика, нехорошо.

Путь на Чигирин долгий, беспокойный. Бесперывной цепью тянутся обозы с товарами. Множество людей едет той дорогой. Нечай, обгоняя телеги, повозки, кареты, пешеходов, торопит шпорами коня, легко покачиваясь в седле. Ветер бьет в лицо, играет чубом, силится сбить заломленную на затылок высокую серую шапку. Держа в одной руке повод, другою сжав засунутый за пояс полковничий пернач, Нечай оглядывает дорогу, степь, далекий синий окоем. Он почти забыл о Чигирине.

За Перелазовским хутором дорога круто поворачивала на восток, сбегала вниз, точно река, и по ней снова струились сплошным потоком люди, лошади, повозки. У поворота, прямо на земле, сидел седой дед, выставив на солнце бельма глаз. Покачиваясь с боку на бок, дед что-то бормотал. Нечай окинул его взглядом и проехал, снова оглянувшись через плечо, увидел его, одинокого, маленького, одного в большой, широкой степи, где проезжали и проходили равнодушные люди, и ему стало жаль деда. Поворотил коня и подъехал. Нагнувшись в седле, бросил деду на колени деньги.

- Кто глаза выжег, дед?

- Еще при гетмане Жолкевском, рыцарь.

Дед не взял денег, и только теперь Нечай заметил, что рукава его свободно колыхает ветер. У деда не было рук.

- Где руки твои, дед? - спросил Нечай.

- Татары надругались, отрубили руки, - сумрачно ответил дед.

- Когда?

- Недавно, рыцарь, совсем недавно.

Что-то тяжелое и холодное подкатилось к горлу. Нечай огляделся кругом и уже не видел ни степи, ни людей, вс? плыло перед глазами.

- Эх, дед, дед! - невесело сказал Нечай.

- А что поделаешь, сынок, такая доля наша. За кого хан, тот и пан.

- Не так будет, дед, увидишь - будет не так, - твердо сказал Нечай. Это говорю тебе я, полковник брацлавский, Данило Нечай. Слышал про такого?

- Господи! - дед заморгал обожженными веками, заерзал на месте, стараясь встать. - Как не слышать! Данило Нечай, да ведь ты самый отважный рыцарь нашего Хмеля! Да ведь о тебе в песнях поют люди! Нечай! Нечай! Саблей ударит - сто врагов вповалку лежат.

Но Нечай уже не слышал слов деда. Он гнал коня, спешил скорее проскакать долгий путь до Чигирина. Вот так бы примчаться что есть духу на гетманский двор, кинуть к ногам гетмана полковничий пернач, крикнуть во весь голос:

- Да знаешь ли, Хмель, что люди говорят: <За кого хан, тот и пан>. Что ж это творится? Разве мы не хозяева на нашей земле?

Ветер свистел в ушах. Даль раскрывалась перед всадником, обманчиво синяя. По сторонам дороги на поле стояли в белых рубахах косари. Косили высокую, пахучую траву. Оставили работу, смотрели вслед всаднику, который бешено гнал коня.

11

Грек Григорий Сатирос, по приказанию гетмана, чертил карты Украины. Вторую неделю лежал грек на полу, мудрил над разостланными длинными листами пергамента. Напевая под нос, ползал на коленях и кистью раскрашивал в разные цвета пергамент.

Грека прислал в Чигирин Богун. Откуда-то Сатирос появился в Виннице и сам предложил свои услуги полковнику. В Чигирине о нем доложили гетману, и тот приказал дать ему в помощь нескольких отроков, - пусть и они учатся той премудрости. Отроки разводили краски в мисочках, слюнили кисти и удивленно глядели через плечо грека на его ловкие руки. На пергаментном листе лежала страна, окруженная с запада реками Горынью и Днестром, на севере - Припятью, Десной и Сеймом, на юге - верховьями Ингула и Ингульца, до гирла Егорлыка. Реки были раскрашены синим, степи - желтым, леса зеленым, города обозначены треугольничками, и возле каждого стояла старательно выведенная надпись - название города, а проезжие дороги изображались черными жирными линиями. На обороте грек написал названия всех полков и имена полковников.

Первую карту показали гетману. Грек в ожидании почтительно стоял у порога, с нескрываемым любопытством разглядывая гетмана, о котором он слышал немало. Капуста и Выговский тоже смотрели на карту. Что ж, карта хорошая! Гетман усмехнулся в усы. Видно, грек опытен в этом деле. Надо будет засадить его готовить карты для войска. Гетман пожаловал ему сто злотых и приказал положить месячное содержание коштом гетманской канцелярии, где и числить его на службе. Грек поцеловал гетману руку и, прощаясь, сказал, что немало карт начертил он на своем веку, а в последнее время работал у молдавского господара Лупула. Никто ему на это ничего не ответил, только, когда он вышел, гетман заметил Капусте, что к греку надо присмотреться - может, пригодится.

...Гетман молча слушал спор Выговского и Капусты. Третий день шла речь о реестрах. В списки внесли сорок семь тысяч, вместо предусмотренных Зборовским договором сорока. Кроме того, был еще составлен список двадцатитысячного резервного казацкого полка под командованием Тимофея. К спискам приложены были пункты, в которых пояснялось, в чем выражаются привилегии реестрового казачества. Из них явствовало, что каждый реестровый казак вступал в реестр со всей своей семьей и имел право держать по одному конному и пешему помощнику, помимо работников, которых он волен содержать в своем хозяйстве. Генеральная рада старшин, состоявшаяся в первых числах марта в Переяславе, в составе шестнадцати полковников, утвердила поименный список реестрового казачества.

Рада огласила также права городов: Киева, Брацлава, Винницы, Черкасс, Василькова, Овруча, лежащих на правом берегу Днепра, и Переяслава, Остра, Нежина, Чернигова, Погара, Козельца, Новгорода-Северского и Стародуба - на левом берегу Днепра. Каждый из

этих городов получал право избирать свою городскую самоуправу. Городские жители звались мещанами и делились на торговых и ремесленных людей. Городом управляли выборные радцы, под председательством бургомистра. Генеральная рада в Переяславе подтвердила все вольности этих городов, освободив их жителей от воинского постоя, от службы в войске, от многих поборов и податей, кроме торговых пошлин. Тогда на генеральной раде, как и теперь, Выговский возражал против таких льгот городам. Но гетман хотел обеспечить городскому населению эти права, усматривая в том способ для большего развития торговли, ремесел и для накопления в городских казначействах богатств, которые, в случае крайней нужды, он мог бы взять для войска. Кроме того, Хмельницкий рассчитывал на то, что после решения генеральной рады горожане станут для него серьезной поддержкой в борьбе против Речи Посполитой, постоянно нарушавшей права торговых людей и ремесленников.

Теперь, при пересмотре списков реестрового казачества, снова пришлось заглянуть во все дополнения, и снова возражения Выговского несколько не поколебали решения гетмана. Выговский настаивал на том, чтобы разослать универсал полковникам и приостановить составление списков.

- Мы не можем так поступать, мы раздражаем этим королевское правительство и всю шляхту.

- Шляхта у нас в печенках сидит, - возразил гетман. - Ты, Иван, смотри в корень дела. Прекрати составление списков - и завтра же займутся такие пожары, что их ничем не погасишь. Нет, нет, вижу одно: Зборовский договор - камень на шее.

Гетман вздохнул. Ему захотелось выйти из душной комнаты, где все пропахло табаком. Вся эта игра не могла долго продолжаться. Он понимал: надо приложить любые усилия, чтобы как можно дольше протянуть именно это шаткое положение. Он слушал, как пререкались Выговский и Капуста, но это не мешало ему думать о своем: Гетман одно знал несомненно: надо уверить короля, будто бы именно теперь он занят проведением в жизнь Зборовского договора. Ему вспомнилось вчерашнее письмо воеводы Киселя: <Каждый мечтает воротиться к зиме в свой дом, найти там родное пристанище>. Какие мирные словеса, прямо из священного писания! Он хорошо знал, что крылось за этим желанием снова возвратиться в свой родной дом. Нет, пусть паны не спешат. Он сразу ответил Киселю, учтиво уверял, что вскоре все будет улажено, но панам еще небезопасно возвращаться в свои маетки, пока не закончено составление реестров и Зборовский договор не утвержден на сейме. Гетман попал в цель. Такой ответ успокаивал Киселя и давал возможность оттянуть время.

- Будет, будет! - остановил гетман разошедшихся Капусту и Выговского. - Казакам надо прямо сказать, что всех в этом году в реестр внести не можем, а кто не попал, может быть охочекомонным, мы того не запрещаем... Только защиты перед польской шляхтой пусть у нас не ищет... Ломать Зборовский договор покуда не время... Дела такие, что придется прижать своих. Что умолкли? Что смотрите на меня?

Гетман поднялся со скамьи. Усы его как-то сами собой встопорщились, зеленые искорки вспыхнули в глазах.

- Испугались? Посмотрите правде в глаза. Ты думаешь, Капуста, Потоцкий глупее нас? Думаешь, он не понимает, что именно сейчас надо воспользоваться раздорами между нами и усмирить Украину?.. Лучше исполнить Зборовские статьи и выиграть время для нового похода, лучше казнить смертью всех недовольных горлохватов, чем сразу же снова впутаться в войну. Надо растолковать полковникам, надо, чтобы люди наши поняли, что это временная обида и ее надо стерпеть во имя воли, отчизны, во имя нашей победы.

- Растолкуй это Громыке, - осторожно вставил Капуста, - или Гладкому.

- А что мне Громыка, что Гладкий? Им что, Украина дороже, чем мне? Я тебя спрашиваю! Ты это хотел сказать?

Гетман наступал на Капусту:

- Ты это хотел сказать?

- Да нет, гетман, - отмахнулся Капуста, - ты понимаешь, о чем веду речь. Как заткнешь рот Гладкому?

- Повешу, - спокойно и отдельно сказал Богдан, ударяя ладонью по столу. - Нам теперь, поймите, ни перед чем останавливаться нельзя. Ни перед чем. Иначе никогда нам вольными не быть. Снова пойдут наши сыновья и внуки гультаями бродить по морям да завоевывать для польской шляхты новые земли. Какому пану вздумается, придет с жолнерами в твой хутор или в дом твой и станет сам хозяйничать. Уния, как короста, за Днепр расползется. Как со мной поступили? Чаплицкий захватил Субботов, сына замучил. А за что? Уж не за то ли, что я Речь Посполитую двадцать пять лет саблею своею защищал? Нет, Капуста, теперь надо вперед смотреть. Быть нам вольными или костью полечь. Но в рабстве у ляхов не будем! Нет!

Постепенно гнев угасал. Гетман успокоился, сел на скамью. Речь пошла о другом.

- С пушками наладится, - сказал гетман. - Надо позаботиться, чтобы это дело было в тайне.

- О твоей поездке в Белую Церковь знает посол Вимины, - сказал Капуста.

Хмельницкий кинул на Лаврина удивленный взгляд.

- Доподлинно узнал, - подтвердил тот, - а знает он это со слов пани гетмановой.

- Так. Дивное дело!.. Говорил ей не раз...

Хмельницкий барабанил пальцами по столу. Странное творится с Еленой. Всегда она вмешивается не в свое дело. Подняться тут же и пойти в ее покои, отругать как следует. Ведь он предупреждал: никому ни слова. Дьявол всех заберит! Как дальше жить? Он посмотрел в глаза Капусте и строго спросил:

- Что мыслишь об этом?

Капуста понял смысл вопроса. Он уклонился:

- Ничего, гетман.

Выговский, словно припоминая что-то, потирал лоб. Покосился на Лаврина Капусту. Чтобы нарушить молчание, сказал:

- Посол Вимины просит прощальной аудиенции у пана гетмана.

Хмельницкий благодарно поглядел на писаря:

- Завтра приму.

...Ночью все же думал об Елене. Пока был занят в канцелярии, она уехала в Субботов. Закрыв глаза, Хмельницкий растянулся на постели. Слушал, как за окнами шумел ветер, и все думал о своем. Елена, полковники. Нечай. Гладкий. Киев. Воевода Кисель. Все смешалось в круговороте. Легла на плечи забота, точно кто-то кинул на него тысячепудовую ношу и заставил нести. А кто кинул? Сам взял, никто не заставлял. Нет, не в его натуре было жаловаться. Да он и не жалуется. Он только хочет теперь, как никогда, чтобы его поняли, чтобы свои же не мешали ему, не становились поперек дороги.

Закрыв глаза, он видел перед собой широкую и привольную Украину, которую исходил и изъездил вдоль и поперек, которую любил больше всего на свете, которую не забывал ни на миг - ни в дни давних скитаний во Франции, когда он служил в армии принца Конде, во главе войска казацкого, когда бился в Дюнкерке, ни в плену, ни в бою. Да, всюду она была с ним, его славная родина. Он мог гордиться, что усилиями своими и подвигами друзей, отважных рыцарей, возвеличил Украину. Пусть болтают языками, кто во что горазд, а Украина возвеличена и слава ее гремит по свету. Ведь не из любви к путешествиям ездят сюда, в Чигирин, чужеземные послы из дальних заморских краев? Но именно теперь он ощущал временами какую-то стену между собой и полковниками. Он чувствовал, что не все они понимают как следует широту его замыслов и глубину его забот.

Пора им уразуметь, что одною саблею не добудешь навеки волю Украине. Не в сабле только сила. Этой ночью он твердо решил доказать это своим полковникам. <Эх, кабы десяток лет с плеч!> - печально думал Богдан. Да, он хотел бы сейчас быть моложе. Как это было нужно ему! Вот он видит перед собой белые стены городов, окруженные пышными садами, суровые крепости с неприступными башнями, тихие села посреди бескрайних

полей, колосющихся от края до края неба. Видит спокойные и величавые реки, несущие на своих водах суда, полные товаров, изготовленных в его стране, и повсюду веселых людей, сильных, трудолюбивых, с лицами, сияющими счастьем и довольством. Но пока все это колыхалось на обманчивых волнах мечты, а действительность выбрасывала его на жесткую землю, и он должен был, волей-неволей, снова возвращаться мыслями ко всем тяжелым, будничным делам, к заботам, на которые нехватало ни дня, ни ночи.

Беседуя сам с собой, он признавал, что такого размаха событий не предвидел. Нет! Однако уже после Корсунской баталии, когда он разбил наголову польское войско и взял в плен коронного гетмана Потоцкого, главного начальника всех польских сил, - он уже тогда понял, что дела пойдут далеко. И если бы не измена хана под Зборовом, если бы хитрый Ислам-Гирей не сговорился за его спиной с канцлером Оссолинским, разве пришлось бы ему теперь мудрить над реестрами, писать льстивые письма королю и воеводе Киселю, заигрывать с султаном? Нет, дорога одна. Только одна. Только в крепком и нерушимом единении с русским народом. Московский царь - одна надежда. Кто в силах будет разорвать союз Украины с Московским государством? Никто!

...Не спится этой ночью гетману. Сон бежит от него. Хотя знает он, что завтра предстоит много докучных дел, и в голове будет свинцовая тяжесть, и лучше бы заснуть и забыть всю эту суету и заботы. Но нельзя забыть. Эх, если бы вместе с Москвой стать на защиту своей воли, не нужны были бы ни хан, ни султан, и король сидел бы смиренно за Вислой. Когда же конец будет Поляновскому миру?! А какой ценой покупает он дружбу с ханом? Вспомнилось давнее: как посылал Тимофея в Бахчисарай, его головой ручался за успех баталии под Желтыми Водами. Сколько капканов расставляли враги! Вот теперь они хотят толкнуть его вместе с ханом на Москву. Далеко идут замыслы варшавских панов. Последнюю надежду хотят у него вырвать.

Богдан резко поднимается с постели.

- Джура! - зовет он. - Огня!

Заспанный джура входит в опочивальню, вносит светильник и ставит его на стол.

- Ступай, Иванко! Спи!

Джура исчезает за дверью. Гетман в одной рубашке и исподниках наклоняется над столом, разворачивает карту. Верная рука у грека. Вот лежит перед ним, расчерченная на листе пергамента, его отчизна, степи, леса, города, дороги и реки. И со всех сторон рубежи обнажены, не прикрыты, все как на ладони - приходи и владей.

И снова его взор устремлен на север и восток, туда, где начинаются московские земли. Туда летит мысль его, полная надежды. Долго глядит Хмельницкий на карту и уже видит на ней не узкие синие полоски, не точки, а реки и города, села, знакомые очертания Украины, какую он знал и какую хотел бы вскоре увидеть. Вот оно, Дикое Поле, засеянное казацкими костями, политое казацкой кровью, вот пороги днепровские, хищный и прожорливый Ненасытец, дикий Чаклун... Вот Каменец, над которым реет знамя Речи Посполитой. <И еще долго будет реять>, - с горечью думает он. И вот крохотный хутор Субботов, с которого все началось.

И снова в мыслях Елена. На что намекал Лаврин? Может ли стать это? Нет, пустое! Такой уж у Капусты нрав. А все же, пожалуй, не следовало снова сходить с Еленой. Надо было побороть себя. Неужто не мог? Не мог! Он признавал это с обидой и горечью. И снова глаза остановились на карте. Карта волновала мысль и будила надежды. Но и Елена не выходила из головы. А что, если Капуста знает больше? Что тогда? Неужели и сюда, в его дом, проникли проклятые иезуиты? Задрожали руки. Будет! Он не мог дольше ждать. Он должен знать сейчас же, немедленно. Пospешно одеваясь, он кликнул джуру:

- Живей коня седлай!

Вышел на крыльцо. Хмурое небо нависало над землей. В воздухе резко пахло дождем.

Прибежал встревоженный Капуста.

- Куда, гетман, среди ночи?

- В Субботов, - процедил сквозь зубы гетман.

- Я с тобой.

- Не надо, - ответил сурово и, твердо ступая, пошел прочь.

Капуста остался один на крыльце. Прислушивался к быстрым шагам гетмана. Переговаривались во дворе казаки. Фыркали лошади. Послышалось приказание:

- Коня гетману!

Вскоре конский топот прозвучал в ночной тишине. Капуста задумчиво покачал головой. Может, и лучше, что поскакал.

...Гетман торопился. Он должен знать правду. Казалось, правда уже перед ним. И когда он проскакал в поспешно распахнутые ворота, когда спрыгивал с коня, опершись рукой о плечо джуры, когда бегом бежал по длинным сеньям и изо всех сил толкнул дверь в опочивальню Елены, - так, что засов жалобно лязгнул и отлетел, - он все еще верил: вдруг возникнет особенная правда и словно порывом ветра унесет заботу и сомнения.

Он стоял над постелью, видел испуганное лицо Елены. Руки ее тянулись к нему, и что-то бессвязное шептали ее губы. А он, нагнувшись, заглядывал ей в глаза и, кроме страха, ничего в них не видел. Нет, в этих зеленоватых, с недобрый блеском глазах не было ответа на то, что мучило его. Не было правды, которую он искал. И, подчиняясь другой силе, державшей его подле этой женщины, он, побеждая в себе стон и боль, ответил горячо на ее объятия. И только потом, на рассвете, укоризненно спросил:

- Зачем ты сказала венецианцу о моей поездке в Белую Церковь?

Всплеснула руками, ахнула:

- О, Богдан, не брани, не гневайся! Просто с языка сорвалось. И Крайз мне говорил - не надо было болтать. Он был при той беседе.

Елена раскаивалась, и он верил ей. Капуста что-то перемудрил. Рано утром Хмельницкий вернулся в Чигирин, приказав Елене оставаться в Субботове.

Днем гетман дал прощальную аудиенцию венецианскому послу. Вимина был щедр на похвалы. Восторгался:

- О великих делах на Украине должна знать Европа.

- Мы ожидаем поддержки в нашей борьбе за волю и веру народа нашего, сказал гетман.

Вимина промолчал. Потом, начав издали, намекнул на расположение гетмана к Москве, затронул его дела с Портой. Это уже он говорит не как посол, - подчеркивал Вимина. Он - искренний друг гетмана, хочет посоветовать держаться дальше от турок: дружба с ними может вызвать недовольство в Европе и, прежде всего, у австрийского императора Фердинанда III. Поляки просят заем у императора. Он, Вимина, знает это доподлинно и в знак своей искренности расскажет об этом гетману. Можно кое-что сделать, и Речь Посполитая денег не получит.

Хмельницкий улыбнулся:

- Пусть знает пан посол, что поляки заем уже получили. Папа немало помог в этом.

Вимина понял, что поступил опрометчиво. Относительно займа следовало молчать. Если гетман уже знает о нем, то, наверное, знает также, что такой же заем вскоре даст Польша и Венеция.

- Украина мыслима сильной в мирных отношениях с Речью Посполитой, замечает Вимина осторожно. - С Московским царством трудно будет союз заключить.

Вимина открыл табакерку и двумя пальцами осторожно взял щепоть табаку. Не уронив ни крошки, втолкнул в ноздри.

- Видит бог, - ответил гетман, уставясь в потолок, - все мои старания направлены только на то, чтобы достичь длительного и постоянного согласия с королем. Но, видно, паны Потоцкие и Вишневецкие того не хотят. А русские люди - братья нам. Сие ведомо пану послу. Тут одна доля и одна правда.

Гетман понимал: венецианец нащупывает, на кого он будет опираться в предстоящей войне с Польшей. У венецианца своя цель - сделать все, чтобы казачество помогло ослабить турок. Хмельницкий сказал:

- Не слыхал я в последнее время: как у вас война с турками?

Вимина развел руками. Широкие рукава кафтана сдвинулись и обнажили волосатые запястья. Война как война. Фортуна изменчива. Это хорошо знает гетман, как великий полководец.

Так шла беседа. Учтивые слова, полные взаимного уважения, и неизменная ласковая, дружеская улыбка на губах.

Выговский сидел за столом молча. Генеральный писарь не вмешивался в разговор. Вимина убеждался: все важные дела решает сам гетман. У него уже составилось мнение о гетмане и Украине. Он мог бы сказать, что мнение это скорее было в пользу гетмана, чем в пользу союзников Вимины, правителей Речи Посполитой. Старый дипломат видел в гетмане новую и могучую силу.

Беседа завершалась пустыми словами. Невесело было на душе у Вимины. Знал он, что не встретит ласкового приема в Венеции. Бесплодно кончалась его миссия на Украине.

Прощаясь, Хмельницкий сказал:

- Низкий поклон вельможному властителю прекрасной Венеции.

Вимина заметил, что гетман прекрасно знает латынь. Можно было бы заговорить об этом, продолжить беседу. Но гетман уже поднялся. Посол тоже встал. Гетман вышел из-за стола. Вимина раскланялся. До двери гетман его не проводил. Вслед за послом шел только Выговский. Дворцовая стража при появлении венецианца откинула пики вправо. Все было как при настоящих княжеских дворах. Вимина неторопливо прошел к своей карете. Надевая шляпу, загадочно проговорил Выговскому:

- Этот год еще пройдет для вас спокойно, - и сел в карету. Поклонился еще раз, улыбнулся.

Карета тронулась. Откинувшись на подушки, Вимина вздохнул. Ему предстоял долгий путь.

12

...Альберт Вимина собирался в дорогу. Миссия его при гетмане была закончена. Что мог - сделал. Оставалась еще встреча с венецианским послом в Варшаве, графом Кфарца. Там же, в Варшаве, придется вести длинные и нудные переговоры с папским нунцием, преподобным Торресом; последнее мало тешило Вимины, но такова была его служба посольская: делай не то, что желаешь, а то, чего требуют интересы державы. Держава! Вимина горько улыбнулся. В этом году Венецианская республика и ее дож не могли похвалиться особенными успехами. Можно ли и надо ли было обвинять в этом послов Республики? Окончилась тридцатилетняя война, истомленные битвами государства жаждали мирной, спокойной жизни. В Европе подымали голос жители городов. Ширились цехи, и ремесленники начали проявлять все большую и большую непокорность, требовали новых законов.

Альберт Вимина прибыл в земли Украины, ожидая, как ему говорили в Варшаве, увидеть здесь пустыню, варварство и дикость. Посол только головой покачал, вспомнив теперь эти предостережения. Сказать правду, он ехал сюда с тревожным сердцем, но графу Кфарца нельзя было отказать в прозорливости.

- Там растет новая сила, - напутствовал его Кфарца год назад, вскоре она подсечет основы Крымского ханства, а про Речь Посполитую нечего и говорить, - Украина, несомненно, освободится из-под королевского протектората. Во главе восстания, синьор Вимина, стал человек, который хорошо знает, что ему нужно, он тесно связал свои замыслы с народом края своего. Оттоманская империя весьма заинтересована в Хмельницком, война султана с нами может получить другую окраску, если мы втянем Хмельницкого в борьбу против турок. Возможно, вам посчастливится, даже самые переговоры об этом могут повлиять на поведение султана...

Все оказалось так, как говорил Кфарца. Но одно непредвиденное обстоятельство спутало все карты. Гетман вел переговоры с московским царем. Когда Вимина собирался в Чигирин, об этих переговорах и в самой Речи Посполитой ничего не было известно, но теперь венецианец знал о них, и потому необходимо было принять меры. Альберт Вимина не

смог разведать доподлинно, о чем речь шла в этих переговорах, но решил, даже не добившись разлада между гетманом и Портой, возвратиться в Венецию. Он предчувствовал возможное в близком будущем путешествие в Московию и теперь был даже уверен, что это необходимо. На многое ему открыл глаза генеральный писарь Выговский. Дальновидный Вими́на знал цену талерам и знал, что обещать, чтобы вызвать у генерального писаря охоту к откровенным беседам.

Да! Взор и помыслы гетмана были направлены к московскому Кремлю. На этот счет у Альберта Вимины не было никаких сомнений. Теперь оставалось досконально разведать, как смотрит на это Москва. И если там бояре настроены в пользу Хмельницкого, тогда...

Мысль оборвалась. Посол не хотел сейчас больше думать. Он прибудет в Варшаву, и они с графом Кфарца усядутся за стол. Они будут беседовать долго и обстоятельно, и, возможно, в этой беседе родится истина и можно будет сделать вывод относительно дальнейшей политики на Украине.

У Альберта Вимины был хороший обычай: закончив какое-нибудь дело, он любил оглянуться назад. Так он поступил и теперь. Венецианский посол имел склонность к письму и в былые годы мечтал даже о славе пиита. Судьба уготовила ему иной путь, однако склонность к письму пригодилась и в дипломатии.

Чтобы не забыть важного и отделить его от второстепенного, Альберт Вими́на заглянул в свой дневник. В тихий июльский вечер не мешало перелистать страницы переплетенной в кожу, довольно толстой книги. Вими́на читал:

<М а й, п я т о г о д н я. Вчера имел аудиенцию у гетмана Хмельницкого. Перед тем собрал о нем некоторые, заслуживающие доверия, сведения. Гетман - по происхождению сын небогатого шляхтича, который подвергся изгнанию и лишен был дворянского звания. С юных лет он тесно связан со своим народом. Образование получил хорошее, в городе Ярославе, в коллегииуме иезуитов. Женат на женщине, в которую влюблен без памяти. История сия весьма романтична. Женщина эта была до того супругою его личного врага, польского старосты Чаплицкого. Молва идет, что она умна, коварна и мстительна. Я этого не знаю, еще не имел случая увидеть ее и беседовать с нею. Надо будет поинтересоваться. У гетмана от первого брака двое сыновей - Тимофей и Юрий, дочери - Степанида и Катерина, последняя замужем за братом его генерального писаря, Данилой Выговским.

Роста гетман скорее высокого, нежели среднего, широк в кости и крепкого сложения. Речь его и способ управления показывают, что он обладает зрелым суждением и проницательным умом. Встретил меня гетман дружески, свободно беседовал со мной по-латыни. Я был весьма удивлен скромностью его домашней обстановки. Самый дом, где он живет в Чигирине, красив и просторен, но кабинет его прост, здесь нет никакой роскоши, стены лишены всяких украшений, для сидения стоят грубые деревянные скамьи, покрытые кожаными подушками; за дамасским пологом видна постель, накрытая парчевым покрывалом, над нею ковер, на ковре висит сабля и два пистолета, в головах висит лук. Я довольно нескромно рассматривал все это, а он, заметив, казалось, мое любопытство, делал вид, что не замечает его. В обращении, и не только со мною, гетман мягок и прост, чем привлекает к себе любовь и уважение простых людей, но, с другой стороны, он держит их в повиновении и строго взыскивает за провинности.

Всем, кто входит в его комнату, он пожимает руку и всех просит садиться, если они казаки.

Спрашивал меня о Венеции, о тамошнем житье. Ни словом не обмолвился про Речь Посполитую. На мой вопрос, считает ли он себя подвластным королю Яну-Казимиру, он прищурил глаз и уклончиво сказал:

- Народ не считает так.

- А вы, пан гетман? - настойчиво спросил я.

Вместо ответа он спросил меня, как мне нравится Украина. Больше я к этому вопросу не возвращался.

Я заметил ему, что он живет очень просто и скромно, а я видел менее значительных

властителей, которые живут пышно и богато. На это он ответил:

- Уже Сенека, господин посол, старался в своих сочинениях доказать, хотя и не следовал своему учению, ибо копил сокровища, - а все же старался доказать, что человек делается богатым не от приобретения богатств, но по мере уменьшения жадности к ним.

В конце аудиенции он уловил мой взгляд, устремленный на деревянные скамьи, и пошутил:

- Кажется, у римлян такие скамьи назывались субселлия. По словам Плутарха, их ножками были убиты братья Гракхи, когда задумали ввести аграрный закон, а я ими убью тех, кто вознамерится отобрать завоеванные для народа привилегии.

М а й, д н я д е с я т о г о. Был у генерального писаря Выговского. Подарил ему ценный перстень, якобы от нашего дожа. Перстень писарю понравился. Долго тешился им и хвалил. Внезапно в комнату вбежал казак, с волнением объявил:

- Гетман!

Выговский поспешно спрятал перстень в карман. Поднялся. Вскоре вошел гетман. Лицо его было хмуро, увидев меня, деланно улыбнулся, пожал руку. На Выговского глядел недобро. Я понял, что буду лишний, поклонился и оставил их.

М а й, д е н ь п я т н а д ц а т ы й. Гетман пригласил к обеду. Кроме меня, были Лаврин Капуста, московский посол - думный дьяк Григорий Богданов, Выговский и дипломат Силуян Мужилковский, недавно возвратившийся из Москвы. Сервировка не отличалась особой роскошью, ели без салфеток, слуги подавали каждому, по мере надобности, полотенце. Ложки, вилки, кубки серебряные. Но стол был не скуден. Кроме пива, водки, меда, было и вино. Гетман подчеркнул, что это ради меня, ибо сам он пьет только горелку, а порою мед. Кушаний много, и все были вкусные. За столом немало шутили. Я мог бы привести несколько тому примеров, но краткости ради расскажу лишь один. Мой секретарь, охмелев, распустил язык и начал усердно восхвалять величие и чудеса города Венеции; его внимательно слушали. Наговорившись вдоволь о красивом местоположении, о дворцах, мануфактурах и иных богатствах города, рассказчик прибавил, что улицы у нас так широки, что самим горожанам случается заблудиться в них.

- Ну, нет! - возразил один казак. - Этим ты не хвались. Что твоя Венеция! Я тебе скажу, что то же и со мною бывает в этой тесной хате: когда посижу немного за этим столом, так уже не попаду в двери, чтобы вернуться домой.

Гетман и все присутствующие весело смеялись. Сказал это любимец гетмана, старый казак Иван Неживой, участник многих походов, многократно раненный.

За обедом я пытался завязать разговор с Мужилковским про Москву. Тот весьма хвалил город, и я заметил, что гетман стал внимательно прислушиваться, хотя делал вид, что беседует с Выговским. Но напрасно он тревожился: Мужилковский и сам держался осторожно. Спустя некоторое время засыпал меня вопросами про Венецию, Вену, Варшаву. Так обед тот ни к чему и не привел. Ели, пили, а дел никаких.

М а й, д е н ь с е м н а д ц а т ы й. Вспомнил, что еще следует записать. Мужилковский, отвечая на какой-то вопрос Капусты, несколько повысил голос, я только разобрал: <На границе будут предупреждены>. Что это могло означать?

М а й, д е н ь д в а д ц а т ы й. Получил письмо от графа Кфарца. Посол предупреждает: если ко мне обратится немецкий негодник Вальтер Функе - быть к нему благосклонным.

Земля в этой стране щедрая и плодородная. Часть этой области до такой степени плодородна, что не только может быть поставлена наряду с любыми странами Европы, но и удовлетворит требованиям самого завязатого земледельца... На ее девственность указывает масса злаков, произрастающих в беспорядке и без обработки от тех семян, которые попадают в землю после покоса или от ветра и зовутся по-русински <падалицей>, что равносильно нашему <кадуто>. Падалица иногда собирается, иногда гибнет, ибо жатва на засеянных нивах столь обильна, что крестьяне пренебрежительно относятся к этим дарам, которые приносит им благодатная почва. Я с трудом поверил бы подобному явлению, если бы не убедился собственными глазами и не видел на полях таких крупных и обильных зерном

снопов, каких не получишь в других странах при самой тщательной обработке.

Но в этом году гетман выдал универсал ко всему населению. Согласно этому универсалу, в местах посевов в землю водружается шест, на котором висит палка. Та палка словно бы предупреждает прохожих - не вытаптывать эти места и не пасти там скот, во избежание наказания палками. Кстати, подобные знаки видал я и в городах, и это должно означать, что проходить и ездить тут строго запрещено и нарушителям запрета угрожает строгая кара.

Не менее, чем хлебом, край сей богат молочными продуктами, мясом и рыбой, благодаря множеству пастбищ и прудов. Кроме описанных выше богатств, благодатная почва доставляет жителям вкусные овощи, коими они пренебрегают. Тут множество спаржи, столь роскошной, что, на мой взгляд, она не уступит самым высоким веронским сортам. Спаржа чрезвычайно вкусная и не горькая, как лесные сорта с тонкими стеблями, что растут около Рима и Неаполя. Я был изумлен и сперва подумал, что это дикий сорт, но, из желания разубедиться, пробовал ее много раз, так что, вследствие чрезмерного обилия, спаржа мне даже надоела.

Там же растет лук и другие овощи. Я пробовал ранние сорта фруктов, которые показались мне очень сладкими. И, однако, в стране, столь плодородной, не видно ни огороженных фруктовых садов, ни огородов с редкими сортами овощей, арбузами, артишоками, сельдереем, за исключением окрестностей Киева; крестьяне заботливо собирают кочанную капусту, которую они или потребляют в свежем виде, или солят впрок иссеченною, как принято и в Германии. Казаки сеют также большое количество огурцов, их они тоже солят и потребляют в качестве приправы к мясу и рыбе, а также едят с хлебом. В последнее время гетман заботится о распространении мануфактур. Спрашивал меня, не могли бы венецианские фабриканты поставить сюда свои машины, а также научить здешних жителей выделывать венецианские благовония, которые он находит чудесными.

По внешнему виду и по манерам казаки кажутся простыми, но они весьма не глупы и не лишены живости ума. Об этом можно судить по их беседе и способу управления, ибо обсуждение политических дел представляет собою арену, где узнаешь людей. Из всей этой толпы составляется избранный народом сенат, или, как они зовут его, - рада старшин. Большинство старшин всего года два назад были простыми казаками. Но есть и такие, которые получили хорошее образование и много путешествовали за границей. Многие служили во Франции, в армии принца Конде, многие бывали в Москве, в Вене, Стамбуле. Дипломаты - Силуян Мужилковский, Антон Жданович, Михайло Суличич, Иван Искра - люди выдающиеся, особенно Мужилковский; этот, на первый взгляд, держится в стороне от военных дел, но, как мне думается, - именно он ближайший советник гетмана. Я узнал, что он происходит из зажиточной семьи, отец его священник, сам он готовил себя к духовной карьере, но, видимо, затем передумал. С гетманом связан с самого начала восстания.

В сенате своем казаки обсуждают важнейшие дела, высказывают свое мнение, и гетман всех спрашивает, а уже тогда выносит решение.

М а й, д е н ь д в а д ц а т ь ш е с т о й. Беседовал с миргородским полковником Матвеем Гладким. Услыхал от него много любопытного. Гладкий считает, что гетману надо помириться с королем, иначе, рано или поздно, посполитые, как тут называют крестьян, подымутся против старшины. Гладкий полагает, что, как только будут составлены реестры, то есть определено число казаков, которые не будут приписаны к шляхетским землям, и обнаружится, что их только сорок тысяч (а сейчас все считают себя свободными), возникнет широкое недовольство гетманом и старшиной. Вообще Гладкий жаловался на гетмана и твердил, что с королем следует помириться.

Надо иметь в виду, что в этой стране народ ради войны, на которую возлагал большие надежды, оторвался от плуга; многие погибли на войне, да и по сию пору еще продолжаются вооруженные столкновения, даже и без ведома гетмана, который, как мне кажется, недоволен ими, ибо, как истинный военачальник, озабочен тем, чтобы не расплыть теперь силы, а готовиться к возможному походу. А к войне тут готовятся.

Гетман умело использовал преследование католичеством православной веры. Теперь все униатские церкви на землях, где стоит войско гетмана, закрыты.

Граф Кфарца спрашивает меня в письме, есть ли, в конце концов, хотя бы намек на королевскую власть на Украине, ибо в Варшаве и в Европе полагают, что гетман - подданный короля и Украина - провинция его королевской милости. Я должен был написать правду: подобное мнение ошибочно, власть короля фиктивна, и хотя сам гетман в грамотах к нему называет себя слугой короля, но в действительности все это фикция, он ждет удобного момента, чтобы полностью покончить с зависимостью от Варшавы, и, как мне кажется, возлагает большие надежды на Московское царство.

Что же здесь, в конечном счете? - Я спрашиваю сам себя, ибо придется отвечать на этот вопрос графу Кфарца и в Венеции. На мой взгляд республика, которую можно уподобить Спартанской. Воины гетмана действительно похожи на спартанцев. Трудно представить себе, сколько они страдают в походах от голода, жажды, усталости, бессонных ночей. Все это испытывают они во время походов, особенно морских. Мне рассказывал Иван Золотаренко, который, кстати, в последнее время стал близок к гетману, что в морских походах казаки питаются черствым хлебом и луком. А в сухопутных походах они довольствуются небольшим количеством пшена, которое берут с собой на коня, жажду утоляют из луж, спят на голой земле. Гетман немало сделал, чтобы вооружить свое войско, особенное внимание уделяет он артиллерии.

Вчера меня спрашивал генеральный обозный (так называют здесь начальника артиллерии войска) Федор Коробка, нельзя ли купить у нас пушек. Я пообещал выяснить это. Полковник усмехнулся.

- Пока вы выясните, - сказал он уверенно, - мы добудем эти пушки в Варшаве.

Я возразил, что войны не будет, ибо гетман сам заверил меня в этом.

- Что гетман? - ответил мне полковник. - А ежели народ захочет?

Сказал об этом Силуяну Мужиловскому, с которым имел удовольствие беседовать в тот же вечер.

- Не мы войну начинаем, - ответил он, - пусть король соблюдает Зборовский договор, и будет продолжаться мир.

Попытался снова заговорить с ним о Москве, но ничего не выведал.

И ю н ь, п е р в о г о д н я. Пора в дорогу. Был дважды у супруги гетмана. Слухи о ее коварстве, на мой взгляд, основательны. Женщина, как видно, злая и распутная. То, что говорили о ней в Варшаве, по-видимому, правда. Говорят, что она не верна гетману.

Вчера подарил ей два перстня и дорогую диадему. Потом осторожно перешел к делам. Она с опаской взглянула на меня, загадочно улыбнулась и спросила прямо:

- Что вас интересует, господин посол?

Такая откровенность мне понравилась. В конце концов, мы договорились. Это награда за все неудачи, испытанные мною здесь. Конечно, если она со свойственным ей коварством не обманула и меня.

Султан обещает гетману свой протекторат. Надо думать - гетман его не примет, переговоры, которые ведутся, - всего лишь тактический ход. После этого крымский хан Ислам-Гирей III станет послушным, как ягненок, и фланг у гетмана будет обеспечен. Я убедился, что гетман сам ведет все дипломатические дела. Про наш заем королю Яну-Казимиру тут уже знают. Разведка у них прекрасная.

И ю н ь, п я т о г о д н я. Кабинет гетмана состоит из таких лиц: генеральный писарь - Иван Выговский, генеральный обозный - Федор Коробка, генеральный подскарбий - Иванич, генеральный судья - Богданович-Зарудный, помощники гетмана - есаулы Михайло Лученко и Демьян Лисовец, генеральный бунчужный - Василь Томиленко, городской чигиринский атаман - Лаврин Капуста.

Незаметной, казалось бы, на первый взгляд, а в действительности весьма значительной и влиятельной особой в окружении гетмана является его казначей Крайз. Он ведает сбором податей с посполитых и пошлины с торговых людей в казну гетманской канцелярии.

Рассказывали мне, что, после того как Крайзу удалось привести в порядок средства для ведения гетманских дел, гетман начал приязненно относиться к нему и назначил также своим личным казначеем. Крайз держит себя весьма осторожно. Стараются приобрести друзей из числа гетманской старшины. Мне случилось не из одного только любопытства познакомиться с ним. Я пригласил его к себе в гости. Надо сказать, что мое представление о его чрезмерной осторожности было несколько преувеличено. Мы быстро столковались. Немец откровенно заговорил о своих связях в Варшаве. О супруге гетмана отзывался непочтительно, но подчеркнул, что она имеет большое влияние на Хмельницкого, что гетман любит ее без памяти и готов выполнить любой ее каприз. Немец хвалил Ивана Выговского, советовал подружиться с ним. Беседа с Крайзом еще более укрепила мое убеждение, что он при особе гетмана возник не случайно и, конечно, не по своей воле. Впечатление таково, что Крайз, несмотря на свою кажущуюся малозначительность, умело и хитро опутывает гетмана. Мои люди рассказывали мне, что в городах и селах о гетманском управителе говорят дурно, клянут его последними словами... Но разве не известно с давних пор, что людям, подобным Крайзу, страшны не проклятия, а одна только виселица?..

И ю н ь, в о с ь м о г о д н я. Беседовал с московским послом, думным дьяком Григорием Богдановым. Думный дьяк человек осторожный и красноречием похвалиться не мог бы. Сдержанно рассказывал, и так же сдержанно расспрашивал. Единственно, что ясно из беседы с ним, - царь Алексей Михайлович не примирится с завоеванием поляками Смоленска. Москва считает пребывание Смоленска под польской короной явлением временным. Коснулся возможности наших торговых отношений с москвитями. Богданов отнесся весьма благожелательно.

Днем видел также Выговского. Писарь в присутствии Капусты говорил со мною нарочито холодно. Когда Капуста оставил нас вдвоем, поведение генерального писаря сразу изменилось. Видимо, Капусту он не любит и несколько побаивается. Генеральный писарь пытался выяснить, достаточно ли внимательно и серьезно венецианское правительство относится к гетману Хмельницкому. Конечно, я намекнул, что гетман как самостоятельная сила долго не удержится. Выговский живо отозвался на мое предположение и сразу сказал:

- Я сторонник того, что гетман должен искать сильную руку и мощную поддержку. Есть великие властители, которые могли бы притти к нам на помощь, - загадочно закончил он.

Я открыто спросил, кого имеет в виду генеральный писарь. Он уклончиво ответил:

- Таких немало, хотя бы и султан.

- А Москва? - спросил я.

- О Москве гетман тоже думает, только, по-моему, с Москвой нам не по пути...

- А что вы считали бы более благоприятным? - продолжал я спрашивать.

Он помедлил и, любезно заметив, что я подлинно благородный посол и что он верит моему слову, попросил меня замолвить слово в Варшаве королю Яну-Казимиру, на милости которого он уповаet. Именно на него он надеется.

Эта беседа знаменательна. В окружении гетмана не все чисто, и единокорные его сената часто мнимо. Я пообещал исполнить просьбу Выговского. На этом мы расстались. На прощание он еще предупредил меня, чтобы я был осторожен в переписке: Капуста повсюду имеет своих людей и обо всем разузнает>.

На этом заканчивались записи в дневнике. Альберт Вими́на прочитал их внимательно. За скупыми строками стояли толпой воспоминания, на основе записанного мысль дорисовывала то, о чем не следовало писать, что надо было крепко держать в памяти. Некоторые события, какие произойдут, видимо, уже после его приезда в Варшаву, а то и в Венецию, он мог бы предсказать и теперь. Вими́на довольно улыбнулся. Потер руки и спрятал на потайное дно шкатулки свой дневник.

13

После отъезда Вими́ны гетман говорил со своим казначеем. Крайз стоял у порога, склонив голову набок. Он выслушивал вопросы гетмана и почтительно давал ответы. Да,

деньги поступают в личную казну гетмана в нужном количестве. Золото, как и приказал гетман, отправлено в Субботов. Место, где спрятали, как приказал гетман, известно только гетманичу Тимофею. Пospолитые платят подати гетману исправно. Внесли все поборы.

Хмельницкий задумался. Крайз молчал. Какую-то неприязнь чувствовал гетман к угодливому и сметливому немцу. Но Хмельницкий отогнал это чувство от себя. А что, в конце концов, от Крайза требовать? В денежных делах разбирается. Да и то, что Елена рассказала сегодня о замечании, сделанном ей Крайзом, свидетельствует о его преданности. Хмельницкий кивнул головой. Крайз поклонился, однако не уходил. Хмельницкий спросил:

- Еще что-нибудь есть ко мне?

- Да, ясновельможный пан гетман. Не мое это дело, но я должен сказать, ибо вы так милостивы ко мне, что и не ведаю, чем вас отблагодарить.

- Говори, - нетерпеливо сказал гетман, он не любил излишнего суесловия.

Крайз на цыпочках сделал шаг к гетману - и скороговоркой:

- При встрече с венецианским послом пани гетманова поступила неосторожно.

- Знаю, - перебил гетман. - Не твоего это ума дело. Ступай.

Вечером гетман был в гостях у Выговского. Приехал с хутора отец писаря Евстафий, привез старого меда, от которого шел приятный терпкий дух. За трапезным столом сидели гетман, веселая и живая пани Выговская, Волевач, Выговский. На блюдах возвышались белые пышные индюки, поросята, присыпанные зеленью, стояли серебряные чаши, наполненные вишнями. В вазах лежали апельсины и миндаль. Гетману поднесли большой серебряный кубок меду. Выговская низко поклонилась. Гетман выпил. Выговский начал рассказывать про немецкого купца Вальтера Функе. Евстафий накручивал музыкальный ящик-диковинку. Беседа становилась непринужденной, как вдруг на пороге непрошенным гостем возник Капуста.

- По мою душу? - неприятливо спросил гетман. - Не пойду.

- Не пустим, гетман! - пани Выговская стала перед Хмельницким и раскинула руки, как бы защищая его от Лаврина Капусты.

- Вести из Варшавы, - спокойно проговорил Капуста через плечо Выговской.

Гетман отстранил протянутый Выговским кубок. Пани Выговская опустила руки. За столом стало тихо.

- Идем, - буркнул гетман.

Вышли вдвоем.

...Нагнувшись над столом, Капуста читал:

- <Посол ханский Мустафа-ага вручил королю грамоту от хана, а в ней писано: <Что скажет наш посол, то будут наши слова. Дело ваше начинайте, только дайте нам знать через Мустафа-агу, когда будете готовы, а мы готовы. Дело великое, много можно приобрести царств и земель. А казаки запорожские будут служить вам, такой с ними договор у нас, без нашей воли они никуда не пойдут>.

- Это грамота хана, - вставил Капуста.

- Понятно. Дальше! - торопил гетман.

<Вот оно, начинается>, - подумал, набивая трубку.

Капуста читал:

- <Доподлинно известно нам, что Мустафа говорил: татары хотят воевать Москву вместе с Речью Посполитой, и в той войне войско гетмана будет им помогать. А также писана грамота от короля польского хану, и в ней сказано такое: <Московиты - наши общие враги, они владеют царствами Казанским и Астраханским. Если ты, великий хан, соединишься с королем для завоевания Московского государства, то получишь снова в вечное владение сии царства>. И еще была тайная беседа о том, чтобы после войны с Москвой обратить сообща силы против гетмана Хмельницкого и покончить с гетманством>.

Капуста свернул в трубку коротенькие листки и спрятал в карман.

- Вишь, какое дело, - произнес гетман. - Что ж, мы того и ждали. Проси ко мне посла Григория Богданова. Немедля!

Хмельницкий встал.

- В Киеве у Киселя, - сказал Капуста, - подозрительная суета. Наехала шляхта, совещаются, грозятся. Надо бы тряхнуть немного.

- Только осторожно, - согласился гетман. - А Малюга молодец. Молодец. Ты ему отпиши: получит пять тысяч злотых.

- Слушаю.

- Эх, Лаврин, - гетман остановился перед Капустой и положил ему руку на плечо, - вот какие дела. Не обдурят нас паны, нет. Теперь и Москва поверит. Теперь и бояре взглянут другими глазами. А все твоя рука, твои глаза, твои уши. Золотой ты человек.

Капуста покраснел. С радостью слушал слова гетмана.

- Всей душой готов тебе помочь, Богдан. Ты об этом сам ведаешь.

- Ведаю. И ценю за это. И Украина это оценит. И никто и никогда не одолеет нас, Капуста! Никто и никогда, ни хан, ни султан, ни король, если будем стоять плечо в плечо с братом нашим, народом русским.

...Ночью, после беседы с гетманом, Капусту разбудил гонец со сторожевой линии.

- Турецкий посол Осман-ага в ста верстах от Чигирина, пан полковник, - оповестил казак.

14

...Началось с переписки. Бутурлин доложил царю о содержании грамот Хмельницкого. Выходило так, что сообщение гонца Кунакова из Варшавы подтвердилось. Польский король готовился поправить свои дела за счет Москвы.

Бутурлин, вытирая платком пот, басил:

- Надо слать посольство в Варшаву. Надо прижать панов к стенке. Начать речь о возврате Смоленска, воспользоваться сообщениями Хмельницкого о том что в польских книгах поносят царя и ругают бояр, что титул царя пишется неверно. Одним словом, есть за что ухватиться.

Царь ответил:

- Быть по сему. В Варшаву поедет Пушкин, прочих подбери ему сам. Гетману отпиши: намерение его стать на защиту веры православной весьма похвально. В обиду братьев наших не дадим.

Бутурлин, склонив голову, слушал царя. Он думал иначе. Считал, что с Хмельницким надо договориться теперь же. Потеря времени чревата опасностями.

Солнечный жар струился в окна посольского приказа. Алексей Михайлович не переносил жары. Самое время сейчас поехать в Преображенское. Сидеть над прудом, дышать свежим воздухом, избавиться от докучных забот. Но и думать об этом грех. Надвигались события, требовавшие неусыпного внимания. Докука немалая. На одних бояр положиться нельзя. Алексей Михайлович, пристально поглядев на Бутурлина, как бы взвешивая каждое слово, спокойно проговорил:

- Мыслю - надлежит, боярин, нам не токмо на судьбу уповать. Бутурлин, вытянув шею, приоткрыв рот, слушал напряженно. - Униаты худое творят. Поистине пора усмирить сих вероотступников! Не можем мы спокойно зреть, как людей единой с нами веры теснят и бесчестят.

У Бутурлина в голове прояснилось. Напрасно думал он: царь-де с неохотой пойдет на возобновление переговоров с Варшавой. Выходило не так. Более того: царь подсказал путь, как трактовать с королем польским.

Алексей Михайлович, помолчав, произнес твердо:

- Про унию послы должны сказать недвоесмысленно. Касательно Хмельницкого - самим речь не заводить, не дать королевским сенаторам понять, как это нам важно.

Замолчал, поглядел поверх головы Бутурлина в окно. Ветер кружил по двору столб пыли. Царь потер руки и сказал:

- Людям русским, по разным землям рассеянным, давно пора быть в единой державе.

У Бутурлина дыхание захватило.

- Истину глаголешь, государь, истину.

Хотел еще что-то сказать, но царь, остановив его движением пальца, продолжал:

- Недруги в заморских краях злым рвением живут: как бы устроить, чтобы во веки веков люди русские, дети одной матери, земли русской, не купно были. Уразумел, боярин, чего хотят? Будем ли мы покойны, когда тело матери нашей, земли русской, на куски разрывают? Неужто дадим разбить нас поодиночке? Неужто подарим недругам Смоленск, исконную нашу вотчину? Никогда! Никогда!

Голос Алексея Михайловича звучал твердо и уверенно. Давно не слышал боярин подобных слов от царя. Ничего, что зной и духота стояли на дворе и проникали сквозь толстые каменные стены в палату. Повеяло вдруг свежим ветром. Легче стало дышать. Дрогнувшим от радости голосом боярин проговорил:

- Давно бы так, батюшка царь Алексей Михайлович.

- Хмельницкий начал дело святое и великое, - продолжал царь. - Будет ему в сем деле моя рука.

Бутурлин поспешно добавил:

- Истинно так, государь, земля эта искони славянская, черкасы* нам братья по вере и крови, и не можем мы в беде их кинуть.

* Украинцев в те времена часто называли черкасами.

Вместо ответа царь сказал:

- Ехать Пушкину в Варшаву немедля.

Он встал. Вздохнул. В раздумьи подошел к окну. На кремлевском дворе было тихо. Только на ступенях крыльца Грановитой палаты сидели челобитчики. Нет, не отдохнуть ему сим летом. Вс? дела докучные. На одних бояр положись - до добра не доведут. В Преображенское не придется ехать. Сейчас надо было еще итти в Тайный приказ, и там дел превеликое множество.

- Пушкину перед отъездом быть у меня, - сказал царь и, протянув Бутурлину руку для целования, ушел, окруженный рындами.

На следующий день Пушкин беседовал с царем. Перед этим он долго и подробно говорил с Бутурлиным.

А через две недели Григорий Пушкин, Иван Проскаков, Демьян Валов, со своими слугами, на шести повозках и в двух каретах, в сопровождении стрелецкой сотни, подъезжали к Варшаве. Земля, по которой ехали московские послы, поразила их своим убожеством. Пищи для людей и корма лошадям нельзя было добыть ни за какие деньги. Наоборот, в каждом селе и городе мещане и селяне окружали посольский обоз и все допытывались: не везут ли московские люди чего-нибудь на продажу? Чем больше видел боярин Пушкин убожества и нищеты, тем сильнее закипало в нем раздражение: насупив косматые брови, поглядывал исподлобья на нищий край, на опустошенные села, на незасеянные нивы. Он крепко помнил наставления Бутурлина: <Ищи повода вызвать спор. Угрожай им, но до самого разрыва не доводи>. После того, что увидел Пушкин по дороге, он знал, как будет говорить в Варшаве.

Посылая Пушкина, царь имел в виду крутой и несдержанный нрав боярина. Именно такой посол, как никогда, подходил сейчас для Варшавы. Царь знал, что надменные и кичливые сенаторы не потерпят такого обхождения и первые нарушат договор о вечном мире.

...Григория Пушкина с посольством встречали перед Варшавой. Король выслал навстречу послам свои кареты. Боярин Пушкин с сомнением поглядывал на кареты и качал головой. Не может быть, что они королевские, какое тому доказательство? Сенатор Тышкевич в изумлении разводил руками. Он впервые видел такого посла. За свою жизнь ему приходилось беседовать со многими послами, встречать и провожать их, но чтобы посол сразу начал спор из-за кареты, не справившись, как приличествовало, о здоровье короля, - этого уже никак не мог предвидеть пан Тышкевич. Пересесть в королевскую карету

Григорий Пушкин отказался. Даже когда Тышкевич показал ему золотую королевскую корону на дверцах, Пушкин, словно еще не веря, колебался.

Здороваясь с сенаторами, Пушкин руки никому не подал. На все учтивые замечания пана Тышкевича, что, мол, такое поведение непристойно послу и оскорбляет достоинство сенаторов - слуг короля, Пушкин раздраженно закричал:

- Лжешь!

- За такие непристойные слова у нас бьют! - вскипел Тышкевич. - Не будь ты, боярин, царским послом, мы бы...

Боярин Пушкин не дал ему закончить:

- И у нас, пан, бьют таких дураков, как ты, которые не умеют чтить великих послов.

Тышкевич, еле сдерживая гнев, промолчал. Вокруг, насупясь, стояли сенаторы, королевские гусары, московское посольство и стрельцы. Молчание было напряженное и не предвещало ничего доброго. Пушкин видел, что ему уступают. В сущности, надо было садиться в карету и ехать, но, раз начав ссору, он не мог уже остановиться и не обращал внимания на знаки, которые ему подавал Проскаков, опасавшийся, что вот-вот начнется драка. Указав на шляхтича, стоявшего рядом с Тышкевичем, Пушкин спросил:

- А что это он ничего со мной не говорит?

- Он по-русски не понимает, - объяснил Тышкевич.

- А зачем же король прислал таких невежд ко мне? - выпалил Пушкин.

Шляхтич схватился за саблю. Проскаков кинулся к Пушкину, который тоже взялся за саблю. Тышкевич умоляюще протянул руки. После долгих уговоров Пушкин и Проскаков все же сели в королевскую карету и двинулись в Варшаву, сопровождаемые польскими сенаторами.

В тот же вечер послов уведомили, что содержать их будут коштом короля. На следующий день их принял канцлер Оссолинский. Пышность королевского дворца и почести, с какими встретили царских послов, несколько утихомирили Пушкина. Оссолинский уже знал от Тышкевича о всех придирках московского посла. Он понял, что это не просто каприз самого Пушкина, дело было серьезнее.

Больной канцлер встал навстречу послам и встретил их посреди залы. Он первый подал руку Пушкину и не сел, пока не опустился в кресло Пушкин. Не ожидая вопроса о здоровье короля, Оссолинский поспешил осведомиться, здоров ли царь Алексей Михайлович. Пушкин тоже решил на этот раз держаться чинно. Говорил он с Оссолинским только о незначительных и второстепенных делах, ожидая, что о более важном поведет речь сам канцлер. Но и канцлер не торопился, - у него жестоко болела голова. Он не спал всю ночь. Дела его шли неважно. За его спиной против него плел интриги Потоцкий, король явно выражал свое недовольство Оссолинским, малоутешительные известия пришли от Киселя. Хмельницкий обманывал с составлением реестров, возвращение панства в маетки задерживалось. И вс? валили на него, забывая, что, если бы он, канцлер, не договорился с ханом втайне от Хмельницкого, то, может быть, теперь в Варшаве сидел бы гетман казацкий, а не король. <Но теперь они обо всем забыли, теперь они говорят, будто бы я попустительствую казацкой вольнице>, - думал Оссолинский, слушая спокойную речь Пушкина и время от времени наклоняясь к толмачу, который старательно и быстро переводил. Оссолинский сразу понял - не с дружественными намерениями приехали в Варшаву московские послы, - и в этом он распознал руку Хмельницкого. Поэтому, чтобы выиграть время, канцлер предложил начать переговоры через три дня, ссылаясь на отсутствие князя Радзивилла, который должен будет возглавить польское посольство для переговоров. Пушкин не возражал.

После беседы с послами Оссолинский сразу же пошел к королю.

Ян-Казимир сидел в обществе своего духовника и пани Замойской. Оссолинский попросил прощения, что вынужден прервать королевскую беседу. Намекнул, что необходимо говорить наедине.

- Должен сообщить вам, ясновельможный король, о важном деле.

Ян-Казимир неохотно поднялся, извинился перед своими собеседниками и вышел в смежную комнату. Оссолинский, прихрамывая на левую ногу, шел за королем.

- Плохие вести, - сказал он, заглядывая в глаза Яну-Казимиру. Тот уселся в кресло, откинул голову на высокую, обитую бархатом спинку. Московские послы ведут переговоры так, чтобы вызвать с нашей стороны какой-нибудь опрометчивый шаг. Я полагаю - следует послать лично от вас гонца в Москву, сейчас же, с вашим письмом к царю. Надо развеять в Москве все подозрения.

Канцлер говорил тихо, настойчиво, как с учеником. От этого тона королю было не по себе. Ему хотелось оборвать канцлера, но, понимая, что тот прав, пересилил в себе это желание.

- Хорошо, пошлем в Москву гонца.

Король согласен с канцлером. И на то, чтобы переговоры возглавил Радзивилл, он тоже согласен. Но никаких уступок. Только слова и обещания. Больше нельзя уступать. Второго Зборова быть не может.

Оссолинский покраснел. Не удержался, чтобы не сказать:

- Может статься и похуже Зборова.

Король вскочил с места.

- Как, пан канцлер так думает? Зачем же тогда быть канцлером, если так смотреть на вещи?

- Москве надо доказать, - настаивал на своем Оссолинский, - надо доказать, что слова Хмельницкого о подданстве царю - пустые слова, что гетман тянет в сторону Турции. Если надо будет, то кое в чем придется и уступить Москве.

- Отдать Смоленск? - спросил король.

- Оттого-то переговоры и будет вести Радзивилл, - пояснил канцлер.

Оссолинский действовал хитро. Смоленск входил в воеводство Радзивилла. Пусть князь изворачивается. Пусть попробует, каково трактовать с русскими. Нет, у канцлера крепкая голова на плечах, Ян-Казимир должен это признать.

Король прощается с канцлером и возвращается к своим гостям. В комнате он застаёт еще шляхтича Малюгу. Тот стоит у столика с расставленными на нем костяными шахматами. Малюга преклоняет колено перед королем. Ян-Казимир милостиво касается рукой его плеча. Тот на лету целует королю руку и подымается.

- Как приказано вами, ясновельможный король, я прибыл, чтобы развлечь вас.

Король одобрительно кивает головой. Догадливый и разумный шляхтич. С ним легко говорить, и он всегда с полуслова угадывает желания короля. Садясь в кресло, король сказал:

- Беспокоят меня послы московского царя.

- Ваше величество! - с жаром воскликнул Малюга. - Да что взять с мужиков? Разве они понимают дипломатию? Да они и латыни не знают.

- Ошибаешься, мой верный слуга, - покачал головой король. - Послушал бы ты, что мне только что рассказал Оссолинский.

Малюга старательно расставлял шахматы на столике. Духовник Лентовский спросил:

- Что-нибудь дурное?

- Пока нет. Но придется немедленно послать гонца в Москву. Надо предупредить их там, в Москве, растолковать им, чтобы меньше верили Хмельницкому, что у него на уме союз с турками и что следует усмирить его, - сие в интересах царя московского.

- А по мне, ваше величество, - отозвался Малюга, - позвали бы вы сюда Хмельницкого да посадили на кол - и конец всем бунтам.

- Истину говоришь, - подтвердил духовник, - истину.

Король ничего не ответил. Воображением нарисовал себе эту заманчивую картину во всех мельчайших подробностях. Пани Замойская сказала:

- Хотелось бы знать, живет еще та шляхтянка с Хмельницким?

Никто не ответил.

...Московские послы сидели на своем подворье. Им отвели просторный дом вблизи королевского дворца. Порою они видели в окна, как проезжал по улице король, окруженный пышной свитой. Пушкин приказал служилым посольским людям и стрельцам - к воротам не бегать и рты не разевать:

- Видали мы и не таких царей.

Дважды на посольское подворье приезжал посол Хмельницкого, Богданович-Зарудный. Жаловался на плутни сенаторов и особенно на Потоцкого. Пушкин слушал, поддакивал, но от себя ничего не добавлял. Между тем гонец короля мчался в Москву с королевским посланием, загоня лошадей.

На пятый день пребывания послов в Варшаве приехал князь Альбрехт Радзивилл. Первая встреча Радзивилла с послами состоялась в королевском дворце. Был выстроен почетный караул. Двенадцать трубачей заиграли на трубах, когда послы входили во дворец. От ворот до палаты был разостлан красный ковер. Пушкину это понравилось. Он шел, величественно откинув голову, в длинном кафтане, в высокой собольей шапке. Низенький Проскаков выступал сбоку, с любопытством озираясь по сторонам. Радзивилл принял послов весьма учтиво. Прежде всего отказался от переводчика. Говорил по-русски. Сели за длинный стол, накрытый вышитой золотом скатертью. Слуги в белых кафтанах разносили мед в высоких серебряных кубках. Радзивилл поднял кубок за здоровье московского царя. Пушкин поднял кубок за короля. Сразу после того перешли к делам. Пушкин встал, он начал давно приготовленную речь; голос его звучал твердо. Радзивилл слушал внимательно, поглаживая чисто выбритые щеки.

- Великий государь, - говорил Пушкин, - изволит гневаться на вас, поляков, за нарушение крестного целования. В грамотах мирных постановлено было, дабы титул его царского величества писался с большим страхом и без малейшего пропуска, а вы этого не блюдете. Его царское величество требует, чтоб все особы, в том повинные, были подвергнуты за большие вины казни, а за малые - наказанию. Люди те в сей росписи нами поименованы.

Пушкин положил перед Радзивиллом пергаментный список. Тот не спеша взял обеими руками и начал перелистывать страницы. В росписи подробно перечислялось, кто и когда поносил царское величество, кто не соблюдал на письме установленного титула государя, бесчестил когда-либо Московию и бояр. Среди десятков имен значилось и имя князя Иеремии Вишневецкого. Радзивилл едва сдержал усмешку. Он передал списки сенаторам, сидевшим рядом. Тышкевич взглянул, но не стал читать, подвинул соседу. Пока списки переходили из рук в руки, Пушкин думал о том, как вести дальше дело. Он видел, сколь осторожно держались польские послы.

- Хорошо, - сказал, наконец, Радзивилл, - мы доложим королю, и виновные будут наказаны, но это может постановить только сейм.

- Его царское величество, - продолжал Пушкин, - требует, дабы на землях Речи Посполитой людей православной веры не обижали, над верой нашей православной не ругались. Чтоб на давних землях русских, где вера православная исповедуется как единый закон божий, уни не было бы. Наслышаны мы на Москве, что униаты, по воле шляхты вашей, чинят поношения и обиды церквам православным. Допустимо ли такое? Не есть ли сие нарушение вечного Поляновского мира? А что сказать про писак, кои в недостойных книжках поносят честь и имя царя нашего? Посольский приказ требует, чтоб все подлые книги, в коих порочено и бесчещено имя царя и Москва, собраны были и сожжены в присутствии послов, а слагатели их, печатники и содержатели печатен казнены были смертью.

Пушкин сел. Радзивилл поднялся, расплываясь в любезной улыбке, развел руками:

- Из ваших требований, пан боярин, видим, что его царское величество ищет предлога к войне. Полагаю, что несколько строк, в которых погрешили сочинители, еще не дают повода к разрыву мира. Стоит ли какое-нибудь оскорбительное слово, написанное по легкомыслию, или ошибка в титуле, происшедшая, быть может, от недостатка чернил, - стоит ли все это

того, чтобы проливать человеческую кровь?

- Как? - возмутился Пушкин. - Возможно ли, чтоб царь терпел поношение своей чести? Такое бесчестие не токмо помазаннику божию, но и простому человеку терпеть не пристало, а у вас за то, по вашим законам, положена казнь, почему государь и требует, чтоб оскорбители его были наказаны.

Радзивилл, всячески уклоняясь от разговора об унии и делах церкви, понял, что дальше вести переговоры не следует - все равно он ничего не добьется. Первое заседание никаких результатов не дало, кроме уверенности в том, что у московских послов твердое намерение - разорвать существующий мирный договор.

Вечером Радзивилл вместе с Тышкевичем пошли к королю. Король велел позвать еще Оссолинского. В королевском дворце началось длительное совещание. Сенаторы и канцлер искали способов удовлетворить требования послов и в то же время заставить Москву оттолкнуть от себя Хмельницкого.

А московские послы сидели на своем подворье довольные. Первые результаты переговоров могли их радовать.

16

Поздно ночью Малюга сидел в своем тихом домике на окраине Варшавы, скрытом за высокой каменной стеной. Малюга не мог уснуть, взволнованный тревожными мыслями. Гонец короля, вероятно, уже был в Москве. В Чигирине еще о многом не знали. Богданович-Зарудный делал одну ошибку за другой. Напрасно ездил он на подворье к русскому послу: у поляков там были свои люди. О чем было говорено между Богдановичем-Зарудным и Пушкиным, Радзивилл уже знал. Малюга долго ходил по горнице. Думал, взвешивал, прикидывал. Все еще не было оснований беспокоиться за себя. Но если так пойдет дальше - вряд ли нужно будет ему сидеть в Варшаве. Он вспомнил ту ночь, когда Лаврин Капуста и гетман говорили с ним.

Было это под Збаражем. Гетман сказал:

- Ты идешь на смертное дело, но твой успех подобен будет выигранной баталии.

Малюга вспоминает эти слова. Он выиграл уже немало таких баталий. Но теперь начинается самое сложное и самое трудное...

Стук в окно перебивает мысли. Он прислушивается. Снова три условленных легких удара. Малюга идет к двери. У порога стоит какая-то фигура.

- Хорошо, что ты, наконец, явился, - с облегчением говорит Малюга и впускает гостя в дом.

Скупое пламя светильни озаряет человека в монашеской рясе. У него серое, словно запыленное, лицо, длинная борода падает на грудь.

- Принес?

Вместо ответа человек достает из-за пазухи небольшую книжечку с медным крестом на кожаном переплете и протягивает Малюге. Наклонившись над светильней, Малюга ножом раздвигает два склеенных листа, и на стол выпадает маленький клочок шелка, покрытый мелко написанными цифрами. Он быстро пробегает эти цифры и задумчиво смотрит в угол. Когда его озабоченный взгляд останавливается на человеке в рясе, он видит, что тот, прислонившись к стене, спит, чуть открыв рот и тяжело дыша. Малюга кладет между листками такой же клочок шелка. Тот, который принес монах, он сжигает над фитилем. Легкий запах горелого наполняет горницу. Малюга будит монаха. Собственно, будить его не приходится. Монах открывает глаза, едва Малюга трогает его за плечо.

- Сейчас же, - внятно говорит Малюга, - возвращайся туда. Срочные и важные дела. Ступай с богом.

- Воды, - просит монах.

Малюга подает ему ковш воды, и он жадно, одним духом, выпивает.

17

Бартлинский, гонец короля Яна-Казимира, сидел в Москве, в посольском приказе. Послание короля было передано царю. Бутурлин выслушал жалобы на задорный нрав

боярина Пушкина. Кабы знали, что у него такой норовистый характер, - царь не посылал бы его. Но царь, именно из уважения к королю, послал достойного и родовитого боярина, благородное происхождение которого общеизвестно и неоспоримо. Только потому и послали Григория Пушкина. Сведения касательно гетмана Хмельницкого весьма важны. В Москве давно думают, что Хмельницкий заигрывает с турецким султаном. Царь благодарен королю за братское предостережение.

Сердечный тон Бутурлина понравился Бартлинскому. Мог ли думать гонец, что в железном сундуке, стоявшем в углу, лежали копии королевских писем хану о совместном походе на Москву! Дьяк Богданов привез их из Чигирина задолго до приезда Бартлинского. Бутурлин вздыхал и гладил бороду. Пусть не тревожится пан Бартлинский. Пушкину будет приказано вести себя достойно, обид королю и его министрам не делать, но всех, кто причинил какой-нибудь вред царю, кто не почитает его титула, ругается над верой православной, надо наказывать. Это остается неизменным.

Бутурлин считал, что именно теперь пора покончить с мирным договором. Но царь был против этого. Сведения, привезенные шляхтичем, говорили о намерении гетмана Украины заключить союз с Турцией. Это требовало проверки. Нужно было время. Нарушать мир с Польшей при таких обстоятельствах царь считал невозможным. Бутурлин вынужден был с тем согласиться. Такая осторожность, и по его мнению, была теперь не лишней.

Бартлинский возвращался в Варшаву. Одновременно с ним, - но он об этом не знал, - ехал в Варшаву курьер посольского приказа. Он вез новые инструкции Бутурлина Пушкину. В них ни слова не говорилось о дерзком поведении боярина, а говорилось о том, что надо удовлетвориться малым и создать в Варшаве впечатление, будто о нарушении мира и речи быть не может. Но о Смоленске посол, не ссылаясь на Москву, должен напомнить.

Пушкин получил инструкции поутру. В тот же вечер он снова беседовал с князем Радзивиллом. Князь посетил посла на его подворьи. Радзивилл сперва начал издали:

- У нас с Москвой одни враги - татары и турки. Ссориться нам нет причины. Мы знаем, что украинский гетман шлет на нас наветы царю. Он подданный короля - и против короля замышляет злое дело.

- О том нам не ведомо, и мы к тому касательства не имеем, - упорно стоял на своем Пушкин, - а мы только добиваемся справедливого решения наших дел.

Радзивилл не выдержал. Он повысил голос:

- Его величество король почитает честь и достоинство царя столько же, сколько и свое собственное. Всякое оскорбление, нанесенное царю, любезному его брату, он принимает также и на себя. Разбирательство бесчестных книг, уничтожение их и преследование их сочинителей только прибавит оскорбления его царскому величеству. Молва пойдет по всем краям, а сейчас кто о том знает? Потому король просит вас, бояр, послов царских, оставить это дело.

- Ни за что! - стоял на своем Пушкин. - Если нам не дадут удовлетворения, то мы уедем, не закончив переговоров. За великую досаду, причиненную нашему царю, возвратите нам Смоленск со всеми принадлежащими к нему городами, а за бесчестье бояр заплатите шестьдесят тысяч шестьсот шестьдесят червонных злотых, тогда мы подтвердим договор вечного мира. А то напишем еще к турчину и татарину, что вы в своих книжках и о них дурно пишете, и они заодно с нами пойдут на вас.

Пушкин уже не мог остановиться. Он чувствовал, что лучше замолчать, но самоуверенный тон Радзивилла раздражал его. Будь что будет, он решил сказать то, что все эти дни осторожно обходил:

- Будет с нами и войско гетманское, запорожцы давно хотят стать под высокое царское покровительство.

...Припоминая позже каждое слово этой беседы с Радзивиллом, Пушкин видел, что он кое в чем перешел меру, - в сущности, о Хмельницком можно было и не говорить. Но слово - не воробей. Сказал - и все. Боярин не любил жалеть о сделанном. Во всяком случае, он твердо убедился: поляки желают сохранить мир с царем, хотя на уме у них иные замыслы.

Каковы эти замыслы, об этом неопределенно намекал ему Богданович-Зарудный.

Тянулись однообразные, тоскливые дни. Бояре изнывали от безделья. Стрельцы скучали по Москве. Стояла ясная погода. По целым дням мимо посольства во дворец проезжали кареты, скакали всадники в красивом убранстве. Пышность королевского двора поражала послов. Но за всем этим блеском таилось многое иное, что заметили Пушкин и его товарищи. Видели они грязные улицы, убогих людей, нищих и калек, которые толпились возле костелов, протягивая руки за подающим. Блеск двора не мог затмить нищеты народа.

...Вести, привезенные Бартлинским, обрадовали Оссолинского. Радзивилл решил пойти на некоторые уступки. Настал день, когда требования послов были удовлетворены, хотя и не все. Но кое-чего послы царские достигли. Григорий Пушкин стоял гордый и важный, опираясь на высокий посох, в окружении своей свиты. В огромном зале королевского дворца, в присутствии канцлера, князя Радзивилла и большого числа сенаторов, было прочтено заверение короля о том, что в дальнейшем за печатание оскорбительных для царя московского рукописей виновные будут лишены имущества и свободы. Затем на жаровнях разожгли огонь и сожгли на них, в торжественном молчании, книгу Твардовского и множество листов из иных книг, в которых позорилась честь царя и бояр.

В тот же вечер, в королевском замке двадцать один раз ударили пушки. В сопровождении пятисот всадников - ногайских татар - на белом коне, покрытом голубой попоной, въезжал в замок посол татарского хана Мустафа-ага. Малюга стоял на улице и с любопытством наблюдал эту картину. Он внимательно всматривался в круглое сонное лицо Мустафы. Татарин, прищурив глаза, едва наклонял голову в ответ на громкие крики: <Виват!>, которыми встречали его королевские гусары.

Двадцатого июля король Ян-Казимир, в присутствии Оссолинского, два часа беседовал с послом хана.

Двадцать пятого июля русские послы получили прощальную аудиенцию у короля.

Двадцать шестого июля неподалеку от Тернополя стражники коронного войска задержали какого-то монаха. Из королевской тайной канцелярии был дан приказ: всех пеших и конных, покидающих пределы Речи Посполитой, проверять и строго обыскивать. Монах подчинился требованию драгун. Он стоял голый на дороге, пока трясли его жалкую одежду. Драгунский поручик Комаровский был толковый офицер. К тому же, в приказе говорилось, что за отыскание и задержание подозрительных людишек будет выдана награда - сто злотых. Драгуны тщательно перетряхнули одежду и ничего не нашли. Голый монах стоял перед ними, держа в руках деревянный крест и ветхую книжечку. Поручик Комаровский взял книжечку из рук монаха. Евангелие. Священная книжечка. Старая и потрепанная. Поручик перевернул лист, второй, третий. Четвертый показался ему чрезмерно толстым. Поручик задумчиво рассматривал его. В глазах монаха вспыхнула тревога. Поручик выхватил саблю и концом ее ловко обрезал страницу. Между склеенными листами Комаровский увидел клочок шелкового полотна, испещренный числами.

Монаху кинули одежду и велели одеваться.

Через неделю в Варшаве маршалок королевской тайной канцелярии Тикоцинский сообщил королю:

- Задержали монаха - шпиона Хмельницкого, он нес с собой вот этот клочок шелка, на котором что-то написано цифрами, по всему видать - это шифр.

Тикоцинский положил на стол перед королем шелковый лоскуток. Ян-Казимир брезгливо прикоснулся к нему пальцами. Малюга - он присутствовал при этом - крепко прикусил губу. Но лицо его было беззаботно и выражало полное равнодушие. Тикоцинский метнул в его сторону, - а может быть, это только показалось? - пристальный взгляд. Король наклонился над клочком шелка.

- Как вы думаете, - обратился Тикоцинский к Малюге, - ведь это, наверно, шифр?

- Несомненно, - подтвердил Малюга, - шифр и, на мой взгляд не очень сложный; говорят, татары хорошо разбираются в таких штуках.

За окном дворца заиграли трубы. Король собирался на охоту.

- Монах на допросе ничего не сказал, - продолжал Тикоцинский. Трижды подымали его на дыбу, жгли кожу. Упрям, проклятый, говорит - ничего не знал об этом клочке шелка, уверяет, будто купил евангелие во Львове еще десять лет назад, называет даже имя владельца лавки.

Трубы все продолжали призывно играть. Король бросал нетерпеливые взгляды за окно.

- Иди к Оссолинскому, пусть он всем этим займется. - приказал он маршалку.

Тикоцинский не успокаивался:

- Ваше величество, это дело серьезное, мы можем добраться до главного шпиона, через которого Хмельницкому известен каждый наш шаг.

- Так это я должен вас спросить, почему до него еще не добрались! Вас, вас! - закричал король. - И я вас спрошу!

Он отвернулся от Тикоцинского и закрыл глаза рукой. Тикоцинский пожал плечами и, поклонившись спине короля, вышел. Кусочек шелка остался на столе. У Малюги заколотилось в груди. Он весь потянулся к столу, но в это мгновение послышались шаги и вошел Тикоцинский.

- Забыл самое главное, - пояснил он и взял со стола лоскут, внимательно поглядев на Малюгу.

18

В Бахчисарае знойно. Ни ветра, ни облачка в небе. Только ослепительное солнце сеяло золотой дождь жарких лучей, и ленивой волной колыхался над выгоревшей травой горячий воздух. За белыми стенами ханского дворца - таинственная тишина, ненарушимое спокойствие.

В самом городе, в каменных домах, окруженных апельсиновыми садами, изнывали от зноя иноземные послы, терялись в догадках: почему хан Ислам-Гирей никого не принимает, никуда не выезжает, сидит затворником в своем дворце? То ли какие-то важные события назревали в ханском диване, то ли новая звезда появилась в гареме и восточный властитель покинул все государственные заботы ради любви? Только польский посол Маховский отчасти знал, чем объяснялась таинственность, царившая в бахчисарайском дворце хана.

В нестерпимо душный день Маховский сидел под кипарисами,пил теплое, сладковатое питье. Пот струился по лицу, росинками нависал на усах, щекотал подбородок. Маховский думал о Варшаве. Довольная улыбка заиграла на его губах.

- Пахолок! Еще воды!

Пахолок налил воды из большого выпуклого кувшина, положил перед послем на тарелку желтые, увядшие апельсины. Маховский поморщился. Посмотрел на небо. Солнце стояло еще высоко. Полдень не скоро. Можно было отдыхать, ни о чем не думая. А после полудня он должен быть у хана. Тогда придется погрузиться в заботы. Надо будет объяснить все: и почему задержаны девяносто тысяч золотых дани, и почему король Ян-Казимир дал богатые подарки венецианским послам, и о чем писано в письмах к папе, и о чем говорено русскому послу Пушкину... Маховский знает, о чем будет спрашивать ханский визирь Сефер-Кази, и у него уже готовы ответы, но главное он придержит... Он тогда скажет главное, когда ханские министры сочтут беседу законченной.

Польский посол Маховский уже давно сидит в далеком Бахчисарае. В Варшаву чуть ли не через день мчатся гонцы. Их не остановит зной, не задержит ливень. Дикой степной целиной или по утоптаным трактам скачут всадники. У них за пазухой грамоты - свидетельство их неприкосновенности. Их никто не может остановить или задержать. Они везут в Варшаву письма пана Маховского канцлеру Оссолинскому.

Лаврин Капуста обеспокоен. За один месяц - двенадцать гонцов из Бахчисарая в Варшаву. Тринадцатого надо задержать. Решено, - так оно и будет. Тринадцатого гонца из Бахчисарая задержат не на украинско-татарском рубеже. Его возьмут под Варшавой. Капуста постукивает сапогом под столом. Так будет лучше. Пусть тогда повернутся там, в Варшаве.

Над Чигирином гуляют степные ветры. Собираются в синем небе сизые облака. А в Бахчисарае зной, духота, тишина.

Хан Ислам-Гирей III сидит на подушках под лазоревым балдахинном. Сквозь узкие щели век наблюдает он, как совещаются его министры. Дело значительное и важное. Речь идет о предстоящей войне с Москвой. С Москвой воевать не так легко, это хану известно. Но пора отважиться на это. Пора отомстить за Астраханское царство. Пора окончательно поспорить гетмана Хмельницкого с Москвой.

Важный и строгий, сидит визирь Сефер-Кази. Неподвижны лица Калги-султана и Нураддин-султана. Волнуется мурза Карач-бей. Ему приказано говорить, что видел, что слышал, каковы замыслы Хмельницкого, чего хотят поляки, что слышно в Москве. Карач-бей говорит внешне спокойно, слова текут мелкие, однозвучные, обильные, как морской песок, сладкие, как шербет. На Украине расширяет и укрепляет свою власть Хмельницкий, в Чигирине сидят иноземные послы, Хмельницкий заигрывает с московским царем, пишет льстивые письма королю польскому. Карач-бей ехал через Украину, видел всюду достаток; лето сулит добрый урожай, золотые нивы стоят от села до села шумливым морем хлебов; торговля кипит в городах и селах, на ярмарках изобилие заморских товаров. Если Хмельницкому дать передышку еще на год-два, он станет еще сильнее. Кто знает, будет ли это угрозой только для короля? Карач-бей замолкает. Молчат советники хана. Сефер-Кази начинает говорить:

- Важные вести привез мурза Карач-бей. Наисветлейший хан скажет свое слово, а я, верный слуга его, думаю так: быть войне с Москвой в этом году, поднять на войну с ней гетмана Хмельницкого, а поляки пусть ударят с запада, Астраханское царство станет нашим, возьмем ясырь великий - и исчезнет недовольство среди подданных наших.

Карач-бей довольно кивает головой. Разумно говорит визирь. Мудрая голова у визиря. Не вывернется теперь Хмельницкий.

- Великий хан, - обращается визирь к Ислам-Гирею, - посол польского короля здесь. Может ли он предстать пред твои ясные очи?

- Пусть войдет, - милостиво соглашается хан.

Маховский, склонившись в низком поклоне, переступает порог малого дивана. Целует хану руку. Скрестив ноги по-татарски, садится поодаль. Все начинается так, как он предвидел там, у себя в саду. Уверенно и убедительно отвечает он на вопросы визиря Сефер-Кази. Дань будет выплачена государственным казначейством не позже августа. Поручкой тому - слово короля. С венецианцами приходится заигрывать. У них можно получить заем. Деньги перед будущим походом не помешают. Король уверен - великий хан поддержит его в этом великом деле. А теперь, если будет позволено ему, послу, он сообщит о весьма важном событии. Маховский на миг замолкает. Подымает палец и тихо, но четко говорит:

- Доподлинно стало известно, что Москва подбивает гетмана Хмельницкого на войну против великого хана. Ожидать этого похода можно не позднее осени. Я привез ханскому величеству копии писем Хмельницкого московскому царю.

Маховский кладет на красную бархатную подушечку небольшой сверток. В нем копии писем Хмельницкого в Москву. Они написаны в Варшаве заботливыми и старательными руками писцов канцлера Оссолинского.

...В тот же день хан выдал указ: ехать в Чигирин Карач-бею, мурзе перекопскому, предложить Хмельницкому готовиться к новому походу. Калге-султану с пятидесятитысячным войском стать вблизи Бузулука. Сто тысяч посадить на конь и ждать приказа хана, который сам выступит в поход.

- Быть войне, - сказал Ислам-Гирей.

Он зажмурился. Перед ним в синем мареве мечты промелькнули очертания зубчатых стен московского Кремля. Широкий, манящий простор русских степей возник перед глазами. Вспомнилось последнее поле сражения под Зборовом, гневное лицо Хмельницкого.

Правду сказал Сефер-Кази: после этого похода Хмельницкий будет обессилен. После этой войны будет сказочный ясырь. Будут благословлять имя хана в мечетях Крыма, славу и почет воздадут ему в Стамбуле. Он умножит богатства Крыма и свою личную казну. А

главное - не вывернуться теперь хитрому украинскому гетману. Хан вспоминает, как под Зборовом гетман уговаривал его не заключать мир с поляками, как стучал булавой по столу, просил и угрожал. Говорил: <Поляки тебе, хан, великий ясырь обещают, но это пустые слова. У них ни гроша в государственной казне, а паны скупые, паны своих денег королю не дадут. Им что? Пусть вся Польша гибнет, а своим не поступятся. Я больше дам>. Умолял, просил, обещал золотые горы. А хан не послушался. Нет, не на ясырь польстился хан. Другая причина заставила его согласиться на мирные предложения поляков. Он знал, что если под Зборовом Хмельницкий окончательно разгромит польскую армию, возьмет в плен короля, тогда раз и навсегда конец ханскому могуществу на Востоке, не станет больше украинский гетман считаться с Крымом, если с запада ему никто не будет угрожать. Хитер Хмельницкий, но он, Ислам-Гирей, хитрее.

Хан усмехается. Во дворце жарко. Даже думать тяжело в такую жару. Хан подымается с подушек и неторопливо ступает по мягкому, пушистому ковру. За ним идут сейманы, оберегая каждый его шаг. Хан направляет свои шаги в гарем. Карач-бей хвалил своих полонянок. Что ж, хан сейчас взглянет на дары перекопского мурзы.

...Вот они, пятнадцать девушек с Украины, стоят перед ханом. У них дрожат руки, и из глаз вот-вот брызнут слезы. Евнухи застыли рядом. Хан смотрит на пленниц пристально, долго, внимательно. Его взгляд задерживается на Катре. Она стоит, потупив глаза, не в силах сдержать рыданий, горячим комком подступающих к горлу. Катря чувствует: сейчас произойдет самое страшное. Хан подходит ближе... У полонянки смуглое лицо, длинные черные ресницы, полные губы. Хан Ислам-Гирей кивает головой. Главный евнух гарема Селим ловит это движение и низко склоняется в почтительном поклоне. Воля хана священна, она будет выполнена. Ислам-Гирей, поглаживая пальцами черную расчесанную бороду, прищутив глаза, проходит вдоль шеренги полонянок. Селим берет за руку Катрю. Отчаянный крик девушки рассекает напряженную тишину. Но хан не оглядывается. Оглядываться назад недостойно его. Вопль девушки не нарушит спокойствия сердца хана. Будет то, что должно быть. Хан это знает, хан в этом уверен. Он проходит дальше, в голубую беседку, где его личный казначей расскажет ему о новых бархатных тканях, прибывших только вчера из Греции. А девушка покричит, поплачет и привыкнет.

Катря теперь поняла: это конец. Всего какой-нибудь час назад была надежда, ради нее можно было терпеть оскорбления и обиды, но теперь надежды не стало. Она билась на полу в рыданиях, пыталась задушить себя своими руками, просила смерти. Евнухи схватили ее за руки. Селим, кусая тонкие, похожие на пиявки, губы успокаивал:

- Напрасно убиваешься. Будешь одной из жен наисветлейшей звезды южного неба, великого повелителя Крыма. Большая честь выпала тебе на долю, девушка.

От этих слов могильным холодом повеяло на Катрю. То, что вчера еще было страшно только в мыслях, выросло перед ней каменной стеной, через которую Катре не переступить никогда. И мысль о том, что это будет длиться всегда, молнией пронизала ее сердце, разрывая его на куски. Исхода не было. Катря из далекого Байгорода, нареченная казака Мартына Тернового, должна была стать сто двадцатой женой крымского Хана Ислам-Гирея III.

...В Бахчисарае все еще стоял зной. Безоблачное синее небо раскинулось бескрайным шатром. Жгучее солнце неумолимо посыпало на испепеленную землю горячий золотой дождь. Желтым медным ковром лежала выгоревшая трава на взгорьях, только вдали, высоко, на волнистых грядах гор, вздымавшихся в вышину, у синей черты окоема, зеленели леса. За белыми стенами дворца текла своя таинственная жизнь. В глубоких подземельях под дворцом, где чеканились ханские деньги, умелые и молчаливые резчики-рабы готовили подарки гетману Хмельницкому от хана Ислам-Гирея. Обливали расплавленным золотом стальной островерхий щит, а затем на золоте вырезали очертания богатырской руки, державшей меч, и на том мече поставили четыре слова: <Храброму гетману - храбрый хан>.

Через несколько дней перекопский мурза Карач-бей двинулся в дальний путь. Тысяча всадников сопровождала его. Он вез в Чигирин подарок хана и слова его. Татары выбегали

из мазанок, долго глядели вслед, пыльное облако плыло по дороге. Ржали кони в табунах. В этом видели добрую приметку. Шла молва: быть новой войне. С кем, против кого воевать - над этим не задумывались.

Маховский после отъезда Карач-бея в свою очередь выехал в Варшаву. Он не торопился. У него, как он полагал, было время. Посол был доволен. Наконец ему удалось связать Хмельницкого по рукам и по ногам. Теперь гетману не вывернуться. Отказать хану он не сможет. Теперь все пути в Москву для Хмеля будут отрезаны. Маховский довольно прищелкивал языком. Давно остался позади Крым. Ехали уже по широкой, бескрайней украинской степи. Миновали пограничную стражу. Казаки просмотрели королевские грамоты. Повертели перед собой длинные листы пергамента. Один, усатый, в заплатанном кунтуше, с новеньким мушкетом в руках, вяло сказал, словно о ком-то постороннем:

- Крутятся паны, слоняются туда-сюда, а сидели бы краше за Вислой.

- Такой уж у них нрав... - ответил другой казак, возвращая грамоту Маховскому.

Посол не ответил на оскорбление. Подумал: начнешь спорить - хлопот не оберешься. Придет время - он припомнит и эту обиду. Маховский поехал дальше. За Ингульцом начались дожди. Дышалось свободнее. Дождь прибил пыль на дорогах. Ехать стало легко. Посол повеселел, забыл обидные слова. Уже в его мыслях возникала Варшава. Он вез туда приятные и долгожданные вести. Он скажет там всем этим королевским советникам: <Возились вы бог знает сколько лет, а не добились того, что я сделал за какой-нибудь месяц>. Теперь Себастиан Маховский спокоен: король пожалует его новыми маетностями. Неплохо было бы спихнуть Киселя с Киевского воеводства и самому сесть на то место. <Что ж, теперь такая возможность вполне вероятна>, - самодовольно рассуждал Маховский. Перед ним открывались новые манящие горизонты, и он видел уже свое возвышение.

19

...Катря не спала всю ночь. Ей виделись такие ужасы, что сердце замирало от них. Все было потеряно, все надежды были тщетны.. Единственное, что оставалось, - это покончить с собой... Но как это сделать, где достать яд, как укрыться от этих глаз, которые неусыпно стерегли ее днем и ночью? Катрю готовили для ханского гарема. Каждое утро ее водили в бассейн. Две негритянки натирали ее тело какими-то сильными ароматами, от которых кружилась голова. Она стояла каменная, чужая и равнодушная к тому, что делали с ней. В мыслях был далекий зеленый Байгород, возникало, будто из страшной глубины, лицо Мартына... Текли слезы из глаз, а негритянки делали свое дело молча, не обращая внимания на слезы, на девичью тоску. Так проходили дни. Катрю кормили с ханского стола, приносили сладости и конфеты в высоких серебряных вазах, хан прислал ей большой золотой перстень, усеянный драгоценными сверкающими камнями. Она равнодушно смотрела на перстень, не прикасалась к еде; взгляд ее блуждал по стенам, покрытым бархатом, а мысли были далеко, далеко... Приходил старший евнух Селим. Он хорошо знал украинскую речь. Пытался развлечь Катрю. Напрасно. Она, казалось, не слышала его слов, оставалась бесчувственной к его утешениям. А он говорил тихо, убедительно. Незачем горевать Катре, не такая уж злая у нее доля. Разве тут, в ханском дворце, ей хуже, чем в маленьком селе среди степей? Ведь он, Селим, знает, откуда привез Катрю мурза. Что ж там? Была она простой сельской девушкой, каких тысячи, а здесь она - одна из жен великого крымского хана, а если будет умна и будет слушаться его, Селима, то вскоре станет самой любимой женой хана. Она понравилась хану. Вскоре он призовет ее к себе, и его небесная ласка осчастливит Катрю. Незачем чуждаться новой жизни. Не так уж она плоха, а если захочет Катря - жизнь будет даже чудесной, такой, что и во сне не приснится.

Долго говорил Селим, рисовал будущее яркими красками, а Катря безразлично слушала и молчала, думала о Байгороде, о матери и отце, о маленькой сестричке Лесе, о Мартыне... И уже не в силах она была слушать слова евнуха, дикая ненависть и непокорство поднялись в ней, как вихрь, и она закричала на старого ханского слугу, затопала ногами, замахала кулаками. Никогда, никогда не будет того, о чем он думает! Лучше она руки на себя наложит. Катря выпрямилась перед евнухом. Отчаяние горело в ее глазах, и уже не было

слез.

Селим молчал. Он спокойно наблюдал ее гнев, ибо привык к девическим слезам и крику. С тех пор как Селима сделали евнухом, его ничто и никогда не удивляло. Катря кричала, а Селим думал: <Глупая девушка, зачем она кричит, на что надеется? Нет выхода в ее положении. Ей остается только покорность...>

В тот вечер к Катре пришла красивая немолодая женщина. Была она одета по-татарски, но заговорила с Катрей на родном языке:

- Что ты убиваешься, дочка? Не такое уж горе выпало тебе. В жизни бывает хуже. Я такая же, как ты, была.

Женщина села рядом, положила руку на плечо Катри, прижала голову девушки к своей груди.

- Слушай меня, дочка, я понимаю твою горе и хочу помочь тебе. Слушай меня внимательно, сейчас я расскажу о себе, тогда уразумеешь, как бывает в жизни...

...И Гликера начала рассказывать Катре свою жизнь. Слушала Катря и видела, как повторялась жизнь Гликеры в ее страданиях и муках. И тогда была война. И тогда шли татары по Украине, возвращаясь в Крым, и взяли в полон Гликеру.

- Я сначала тоже думала с собой покончить, вс? веревки искала или яда, а потом покорилась. Видишь, живу. Молодая была, был у меня нареченный, все думала - придет он сюда, выволит меня из полона. Не пришел. Была я в ханском гареме сначала, а когда стала старше, взяли меня по хозяйству. Ты, Катря, покорись, криком и слезами не поможешь себе. Слышишь?

Катря с силой оттолкнула от себя Гликеру.

- Они тебя подслали! - закричала в гнев.

А Гликера только скорбно улыбнулась.

- Они. А то кто ж больше? Они, да я и сама к тебе рвалась, дочка. Выслушай меня, добра тебе желаю. Умереть ты всегда успеешь, а все равно умереть, как ты хочешь, они тебе не дадут. Тут их сила, и глаз у них зоркий. А свободы не жди, - со злобой сказала Гликера, - я тоже ждала десять лет и не дождалась. Наши казаки не думают о нас, не то у них в мыслях. Был тут два года назад сын гетмана Хмельницкого, мы ему письма передавали, ходила я к нему, в ноги падала, молила: <Вызволи, рыцарь, нас, невинных полонянок!> Он насупился, слушал меня. Говорит: <Ничего не могу сейчас поделать, не о том нынче должна быть речь с татарами. Надо еще немного подождать вам, милые>. Так и сказал: <Не пора теперь, обождите еще>. А разве можно ждать? Ведь это мука нестерпимая. И нет надежды, Катря, слышишь, нет.

Гликера встала и вышла. Катря осталась одна, наедине с отчаянием и сомнениями, которые породили слова Гликеры. Звездная темная ночь прижалась к окнам. А Катря все думала, и не было конца-краю сомнениям, тревогам и отчаянию. И не стало уже слез, чтобы оплакивать свое горе.

20

Монах Павло лежал навзничь на холодном кирпичном полу. Он не видел ни ночи, ни лиц жолнеров, склонившихся над ним. Он весь погрузился в какую-то реку, которая колыхала его на своих сильных волнах и уносила все дальше и дальше от этого страшного берега.

Ян Тикоцинский выбился из сил с проклятым хлопом. Ни огонь, ни плети, ни раскаленное железо - ничто не могло заставить этого трижды проклятого пленника заговорить. Он все отрицал и ни в чем не признавался. Евангелие действительно его, а чье письмо и что то за письмо - он того не знает. И напрасно паны так мучат его, напрасно выдумывают такие муки.

Могучие волны уносят монаха Павла, перед его глазами маячат былые дни, села и города - все то, что было прожито и казалось забытым. И все, что прошло, и то, что могло еще стать, мелькает перед глазами. Был монах в Киевском монастыре, тихий и покорный брат Павло, далекий от суеты, равнодушный к мирским делам. Жил беззаботно: молитва,

пост, работа. Бог видел его праведную жизнь. А потом однажды позвали монаха Павла к полковнику Антону Ждановичу. Сказали Павлу: во имя господина надо службу сослужить родной Украине. И стал брат Павло ту службу служить.

Сколько раз исходил он Украину, знал наизусть все холмики вдоль дорог, - казалось, с завязанными глазами прошел бы по тем дорогам. А горя сколько видел, смерти, отчаяния сколько... Все помнил, все в сердце западало. Муки, которые видел, становились его собственной мукой, его страданием. Он не знал, что написано было в тех письмах, которые он носил из Чигирина в Варшаву и из Варшавы в Чигирин. То, что было написано в них, мало касалось Павла. Одно знал он: может быть, эти письма помогут тому, чтобы меньше стало горя на Украине, меньше слез и страданий. И когда под Тернополем его задержали, он сразу понял, что легко это ему не обойдется...

Холодный ливень обрушивается на монаха. Через силу он открывает глаза. Жолнеры льют на него воду. Сознание постепенно возвращается к нему. Он снова лежит на твердом и страшном берегу, и вот сейчас начнутся новые муки, до которых так охочи паны. И вот снова слышит Павло злобный и настойчивый голос:

- Ты заговоришь, ты скажешь, наконец, проклятый монах, кто дал тебе это письмо и куда ты нес его?

- Не ведаю, о чем меня спрашиваешь, пан, ничего не ведаю... - шепчет Павло посиневшими губами и сплевывает кровь на пол.

- Не ведаешь? - злобно кричит Тикоцинский. - Еще огнем его, еще угостите, может, тогда он, наконец, заговорит.

Павло закрывает глаза и стискивает губы. Вот сейчас оно начнется... Запах горелого мяса наполняет воздух, но Павло молчит. Павло видит перед собой суровые глаза Лаврина Капусты. Он слышит над ухом его голос: <Помни, на какое дело идешь. Малодушным на этом тернистом пути не место>. Нет, Павло не малодушен. Он знает, что мука, на которую обрекла его судьба, нестерпима, но он не нарушит присяги.

Тикоцинский ждет: сейчас хлоп заговорит. Напрасное ожидание! Только стон вырывается из уст монаха, только стон и больше ничего. И когда после этого Павла поднимают на дыбу, и кажется, что вот сейчас на ключья разорвут его обессиленное, распятое тело, он понимает, что спасения не будет и ждать его безнадежно. Собрав последние остатки сил, монах плюет в лицо своим палачам, и после этого для него уже ничто не страшно...

Темная ночь прижимается к окнам. Небо раскинуло свой звездный шатер над Варшавой. Тикоцинский в ярости выходит во двор замка. Он смотрит на темно-синее небо и думает, что снова нужная и важная нить выскользнула у него из рук. Что ж будет дальше? Снова разговоры и догадки, недовольство короля и канцлера. Тикоцинскому подают коня. Он вскакивает в седло и выезжает за ворота замка. Тишина ночного города окружает его со всех сторон.

На окраине, в своем незаметном, тихом домике, не спится Малюге. Этой ночью решается его судьба. Оседланный конь стоит у крыльца. Два пистолета лежат на столе. Как глупо все это получилось! Там, в Чигирине, еще ничего не знают. А может статься и хуже. Зловещие мысли тревожат Малюгу. Он знает: в эти минуты Тикоцинский добивается от Павла признания. В эти минуты решается судьба его дерзкого дела. Письма же они не разберут, в этом он убежден. Шифр известен только ему и Капусте.

Проходит тревожная ночь. Может быть, лучше еще теперь, пока есть время, вскочить на коня и что есть духу умчаться из этого ада? Но нет. Этого он не сделает. И когда через несколько часов он встречается возле королевского дворца Тикоцинского, сердце Малюги бешено бьется в груди, но на губах играет любезная улыбка; только глаза, как два ножа, впиваются в лицо Тикоцинского. И Малюга успокоенно чуть заметно вздыхает. Нет, ничего не сказал Павло. А Тикоцинский, сам не зная почему, говорит:

- Ну и упрямый хлоп! Ни слова не сказал, так и подох, проклятый пес.

- О ком это вы, пан Тикоцинский? - удивленно спрашивает Малюга.

- Да о том монахе, у которого мы письмо с цифирью нашли.

- А! - точно вспомнив, отвечает Малюга. - Жалко, что вам не посчастливилось, король, наверно, будет недоволен. Зря вы поторопились казнить его смертью, того хлопа, надо было подождать.

Позднее, когда Тикоцинский сидел у Оссолинского и рассказывал ему о своей неудаче с монахом, он почему-то вспомнил слова Малюги, и они показались ему загадочными.

- Пан канцлер, - спросил он вдруг, - а вы не задумались, кто такой Малюга?

Оссолинский удивленно посмотрел на Тикоцинского и пожал плечами. <Горе мне с этим Тикоцинским, - подумал канцлер. - Вместо того чтобы искать злодеев, которые пакостят под самым его носом, он берет под подозрение достойных людей>.

- Глупости вы говорите, - раздраженно сказал канцлер, - Малюга верный человек. А то, что он не католик, - еще не причина для подозрений. Будет католиком, тем более, что я уже слышал от него речи об этом.

Тикоцинский замолчал.

- Нам надо знать теперь, что делается в Чигирине; по всему видно, Хмельницкий задумывает новый поход.

Канцлер возвысил голос. Он раздражался все больше. Этот Тикоцинский просто олух. Мало того, что он не обзавелся надежными людьми в Чигирине, он ничем не может помешать шпионам Хмельницкого. Все, что делается в Варшаве, немедленно знает Чигирин. А король винит его, канцлера. Все вокруг интригуют против него, все нашептывают на него королю, а он один должен изворачиваться, отыскивать деньги на королевские развлечения, на охоту, на плату чужеземным солдатам, создавать новые тайные коалиции.

- Хмельницкого надо убрать, - сказал Тикоцинский, - у нас есть возможность отравить его.

- Хорошо, вы отравите Хмельницкого. Что изменится?

Канцлер вскочил из-за стола.

- Нет, это невозможно, невозможно. Вы надеетесь на смуту, я понимаю. А я вам скажу: на место Хмельницкого станет Богун, или Нечай, или Капуста, станут десятеро других - и снова реки крови будут заливать королевство. Не в одном Хмельницком сила! Украина стала не та, поймите, и чтобы добиться победы, надо подсесть корни той силы, на которую опирается Хмельницкий. Надо толкнуть их на такую войну, в которой они окончательно ослабеют, чтобы мощь их была сломлена навсегда. А там пусть будет десятеро Хмельницких - они нам не страшны.

- А я считал бы нужным сделать это сейчас, - упорно настаивал Тикоцинский.

Канцлер махнул рукой. Нет, он не мог говорить с такими упрямыми и близорукими людьми. Это было выше его сил.

- Я от вас требую одного, пан Тикоцинский, - сухо возразил канцлер: вы должны знать все, что делается в гетманской канцелярии, все досконально. Сейчас наступают такие дни, что мы должны зорко следить за Чигирином. Вы говорите, у вас есть люди, готовые совершить покушение на гетмана, - найдите людей, которые пока что извещали бы нас о каждом шаге Хмельницкого.

Тикоцинский вяло заметил:

- Приложу все усилия, пан канцлер, но должен сказать, что напрасно вы не соглашаетесь со мной. Чем скорее мы избавимся от Хмельницкого, тем легче будет покончить с гетманщиной.

Он встал и, поклонившись, вышел из кабинета канцлера.

Оссолинский зябко поежился. На дворе стоял июль, а его знобило. Недомогание не оставляло его в последнее время. Уж не старость ли схватила его в свои цепкие объятия? Канцлер печально покачал головой. Сегодня ему предстояло еще множество важных и неотложных дел. Возникли непредвиденные трудности в переговорах с ханским посланцем Мустафа-агой. Основное - это проклятая дань. Где наскрести девяносто тысяч злотых? Король ни о чем не хочет знать. Потоцкий делает вид, что его это не касается, - ведь не он подписывал Зборовский договор, он был тогда в татарском плену. Вишневецкий - тот, едва

услышит про дань, брызжет злобой и обливает его, Оссолинского, грязью. А деньги надо платить, иначе татары перевернутся на сторону казаков. Канцлер слушает гнусавый голос своего секретаря, читающего ему письма Маховского из Бахчисарая. В письмах говорится про войну, а канцлеру хочется отдохнуть и забыть обо всем.

Секретарь читал:

- <Хан Ислам-Гирей посадит на конь стопятидесятитысячную орду, сто тысяч, - считает хан, - будут под булавой Хмельницкого...>

- Сто тысяч под булавой Хмельницкого, - повторяет Оссолинский. - Боже мой, а еще так недавно шла речь о каких-нибудь шести тысячах бунтовщиков!

Он стискивает руками лоб. Синяя жилка трепетно бьется на виске под ладонью. Перед ним возникают, словно из тьмы, сто тысяч казаков... Вот они, полки Хмельницкого! Канцлер знает: если украинский гетман захочет, то посадит на конь и двести тысяч; главное - все эти двести тысяч будут подчинены ему одному, а тут что ни князь, что ни панок, то и малый гетман, и у каждого свой закон. Нет, нет! Война! Только война сможет уничтожить заразу, растущую, точно буйный хмель, в этом проклятом Чигирине, который еще так недавно был обычным, неприметным городком.

С перепиской покончено. Что дальше? Веки секретаря, угодливого венгерца Имреда, вздрагивают. Там еще ждет немецкий купец Вальтер Функе. Хорошо, пусть он войдет. Ступая осторожно, словно по узенькой доске, переброшенной через пропасть, секретарь канцлера выходит.

<Вальтер Функе! Что ему нужно от меня?> Но канцлер вспоминает: вчера ему говорил об этом немце Радзивилл.

И вот Вальтер Функе сидит напротив канцлера. Он долго извиняется, что отнимает такое драгоценное время у великого государственного мужа Европы. Пусть господин канцлер не возражает. Вся Европа знает его, как великого и мудрого министра. Разве это не так? Он, Вальтер Функе, готов поклясться в этом. Многие короли завидуют Яну-Казимиру, у которого такой мудрый канцлер. Вальтер Функе постарается не докучать пану канцлеру. Он возвращается к себе на родину и вот, проездом через Варшаву, осмелился обратиться к пану канцлеру с жалобой. Как это ни печально, но он должен пожаловаться на своеволие некоторых благородных воевод королевства. Если пан канцлер позволит, он изложит ему все подробно. Немного истории. Дело вот в чем. Ехал Вальтер Функе в Московию, остановился на Украине. Весьма любопытная страна. Богатая страна. И народ там трудолюбивый. Но что говорить, ведь это все хорошо известно господину канцлеру. Ведь Украина принадлежит польской короне. Однако там все делается так, словно они вовсе не зависят от короля.

- Этому скоро будет положен конец, - замечает Оссолинский.

Вальтер Функе кивает головой. Непонятно - то ли он одобряет слова пана канцлера, то ли возражает. Он продолжает свое. На Украине он заключил договор на устройство мануфактур. Гетману Хмельницкому нужно много сукна. Вальтер Функе может заработать на этом деле. И вот, по приказу воеводы Калиновского, четыре обоза с товарами и машинами захватили его жолнеры. Ведь это пиратство! Пусть извинит пан канцлер, но такого не может быть ни в одном европейском государстве. Фирма Функе не может нести убытки только потому, что нет предела своеволию некоторых людей. Функе уверен, что пан великий канцлер прикажет возвратит ему его товары и машины.

Оссолинский молчит. Вальтер Функе почтительно ждет ответа. Наконец канцлер начинает говорить. Пан Функе не должен беспокоиться, деньги ему будут уплачены, убытков он не понесет.

- Пан канцлер, речь идет не только об убытках, речь идет о чести фирмы. Я заключил договор с паном Выговским, генеральным писарем гетмана Хмельницкого, я обязался поставить товары и машины и не сдержал своего слова. Я вынужден просить пана канцлера дать приказ, чтобы мне возвратили товары и машины.

- Нет, пан Функе, этого сделать нельзя, - твердо говорит канцлер. Пан негодник должен знать, что Хмельницкий никакой торговли с иноземными фирмами за пределами

Польша вести не может. Как мне ни жаль, я вынужден отказать вам в вашей просьбе.

Функе слушает канцлера внимательно. Он хорошо понимает, почему канцлер не хочет, чтобы его товары попадали на Украину. Для Функе было очень важно выяснить, случайность ли то, что случилось с его обозами. Теперь он видит, как ему надлежит действовать дальше. Вздыхая, он соглашается получить деньги в королевском казначействе.

Позднее, перед отъездом из Варшавы, немец посетил Тикоцинского. Он привез ему письмо от Крайза. Это маленькое письмо оказало великую услугу Вальтеру Функе. Прежде всего он получил грамоту к Каликовскому, в которой от имени короля было приказано не чинить ему никакой обиды. Тикоцинский дважды был у канцлера с письмом Крайза. И канцлер перед отъездом Функе угощал немецкого купца обедом и вином.

21

Теперь начиналось самое сложное. Гетман понял это как-то сразу, однажды утром, когда взволнованный и рассерженный Данило Нечай бросал ему в лицо страшные и несправедливые обвинения. Он спокойно и, как показалось Выговскому, даже слишком спокойно, выслушал все упреки. Попыхивал трубкой, затягиваясь густым, едким дымом, и внимательно следил за выражением лица Нечая. Он выслушал все: и о бесчинствах татар, его союзников, и о том, что забыл обещания, данные народу, и, наконец, что он едва ли не предал народ. Если бы гетман вскочил и начал кричать на Нечая или даже выхватил саблю и замахнулся на него, Нечая было бы легче. Но гетман сидел молчаливый и сосредоточенный, тяжело уставясь взглядом в одну точку, и ни разу не перебил полковника. Только когда Нечай замолчал, тяжело переводя дыхание, он чуть охрипшим голосом спросил, отложив в сторону трубку:

- Все сказал, полковник?

Нечай удивленно посмотрел ему в глаза и, еще разгоряченный, крикнул:

- Тебе этого мало?

- Мало? - переспросил Хмельницкий. - Разве я сказал, что мало? О, нет, не мало! Теперь ты меня послушай.

И он, как бы говоря с самим собой, а не с Нечаем, спросил:

- Выходит, проданся гетман Хмель панам, - так выходит?

- Я того не сказал, - облизывая губы, сказал Нечай.

- Ты так думаешь, и есть еще такие среди моих полковников, кто так думает. Я знаю.

- Тебе о том Лаврин Капуста донес! - запальчиво выкрикнул Нечай.

- А хоть бы и он, что с того? Капуста неправды не скажет. Вот я сам сомневался: уж не из Варшавы ли подбивают Нечая против меня? А Капуста горой за тебя стал: <Головой, - говорит, - ручаюсь за него>. Так что, полковник, не спешу друга осуждать. А сейчас вот что хочу сказать тебе, Данило Нечай. Подумай. Мы одни. Понимаешь - одни. Вокруг нас враги, и самый лютейший наш враг - шляхта с королем - только и смотрит, как бы прибрать нас к рукам раз и навсегда. Нет, не под Желтыми Водами, не под Корсунем, не под Зборовом решалась наша судьба, а теперь, тут, в Чигирине, и не одними пиками да мушкетами, саблями да пушками, а нашим разумом и нашей волей, нашей мудростью и умением решим мы нашу судьбу - будем ли мы навеки вольными и независимыми от Польши и Крыма, со своей верой и законом, или станем снова посполитыми. Они, в Варшаве, только и ждут, когда мы нарушим Зборовский договор, чтобы иметь повод снова объявить против нас посполитое рушение. А ты там, у себя в Брацлаве, им помогаешь. Ты и твои сотники делаете все для того, чтобы Потоцкий упрекал меня, будто мы нарушаем договор.

- Послушай, Богдан, - не выдержал Нечай, вскочив на ноги, - ты же знаешь, что они натворили в Байгороде?

- Знаю. Хорошо знаю. А надо стиснуть зубы и стерпеть эту обиду. Придет срок - мы отомстим. Сразу за все, понимаешь?

- А татары? - не отступал Нечай.

- И татары своего дождутся.

- А сейчас что? Ждать? Сложить руки и терпеть, пока нас поодиночке вырежут? Так ты

советуешь, гетман?

- Нет. Сейчас нам надо выиграть год мира, понимаешь, один год мира, чтобы успеть с народом русским долю свою соединить на веки вечные.

Гетман расстегнул ворот. Ему стало жарко. Он задумчиво прищурился и, уходя взглядом куда-то далеко-далеко, проговорил:

- Легко вскочить на коня, выхватить из ножен саблю и мчаться галопом на врага; ты его видишь перед собой как на ладони, размахнись с силой и руби, как надо. А когда вокруг тебя расставляют ловушки, опутывают сетями заговоров, измен, сплетен, приготовили для тебя виселицу и только ждут удобной минуты, чтобы захлестнуть петлю на твоей шее, - тогда все предвидеть и помешать врагу свершить его замыслы много труднее. Это, полковник, страшная битва, самая страшная и самая жестокая. Битва не на жизнь, а на смерть.

Гетман перевел дыхание. Нечай развел руками, он хотел возразить, но Хмельницкий движением руки не дал ему говорить.

- Молчи, - сурово сказал гетман. - Теперь я скажу все, что думаю. Довольно крика и шуму. Если дали мне гетманскую булаву, так слушайте меня и не заскакивайте вперед. Я ни перед чем не остановлюсь, - слышишь, Нечай? - ни перед чем. Надо будет - и головы рубить буду. Я хочу, чтобы не степным диким краем была наша земля, а великой, могучей страной. Вот что я замыслил. И так оно будет! Так будет! - почти выкрикнул Хмельницкий.

- Ты знаешь, куда они задумали меня толкнуть? - уже спокойнее продолжал он. - На Москву. Итти войной на Москву хотят заставить. Хитро придумал пан Оссолинский. Чтобы брат на брата с мечом пошел - вот что они придумали. А после - замышляют - вместе с татарами на нас ударить.

Нечай слушал гетмана в смятении. В новом свете возникали перед ним события. Постепенно охлаждаемый спокойными и убедительными словами гетмана, он понял: значительней и выше должна быть цель, чем изгнание рейтар Корецкого из Брацлавщины. Правду, хотя горькую и неприятную, но правду говорил гетман.

- Им того и надо, - тихо проговорил Хмельницкий, - чтобы несогласие было среди нас, чтобы мы друг друга пожрали. Им от того только радость: мы будем грызться, а они тем временем отовсюду окружают нас железным кольцом. Но не бывать такому, - повысил голос гетман, - не бывать. Не против Москвы я пойду воевать с татарами, а против молдавского господаря.

Нечай от неожиданности подскочил на скамье.

- Зачем?

- А затем, полковник, что татарам, в конце концов, все равно с кем воевать, а воевать со слабейшим легче. Да еще и потому, что господарь молдавский Лупул сидит и ждет, когда на нас ударят, тогда и он запустит когти в тело Украины.

- Понял, гетман, понял. А король и шляхта?

- Что король и шляхта? Они против татар не пойдут, хотя у них и договор с Лупулом. Вот погляжу, как они запляшут в Варшаве.

Выговский воспользовался минутным молчанием и спокойным голосом вставил:

- Гетман предупредил хитрость Оссолинского, пан Нечай. Завтра будет здесь великий посол турецкого султана, чауш Осман-ага.

Нечай уже ничего не слышал. С другими намерениями скакал он в Чигирин, о другой беседе думал и не так представлял себе последствия этой беседы. То, что произошло, сбило его с толку, но не переубедило. Он даже не старался понять, какая связь между требованием татар воевать Москву и приездом турецкого посла. Нет, это его мало касалось. Из памяти не выходил тот дед, который сидел у дороги, выставив напоказ обрубленные руки, тот дед, который печально произнес: <За кого хан, тот и пан>. И Нечай рассказал об этом гетману.

- Знаю эти слова, - ответил Хмельницкий, - слышал. Уже немало лет им. А самое страшное - справедливые слова. Так было всегда, а я хочу, чтобы так не было уже никогда.

Все же ни в эту минуту, ни позднее Нечай не мог полностью оправдать все поступки гетмана. <Ну, хорошо, пусть хлопчет он о будущем, - думал Нечай, - но сейчас, когда

шляхта снова, как саранча, движется на Украину, расплзается по своим усадьбам, надо что-то такое сделать, чтобы сдержать эту заразу>. Он ушел от гетмана без злобы в сердце, но такой же встревоженный и обеспокоенный, как и до своего приезда в Чигирин.

По приказу гетмана в Чигирин съехались полковники. Прибыли винницкий полковник Иван Богун, уманский - Осип Глух, кальницкий - Иван Федоренко, корсунский - Лукьян Мозыря, переяславский - Федор Лобода, полтавский Мартын Пушкарь. Ожидали еще приезда миргородского полковника Матвея Гладкого и прилукского - Тимофея Носача.

Полковники вспоминали былые походы, товарищей, которые погибли в боях, рассказывали о том, что происходило в полках, но о деле, которое собрало их всех в Чигирин, никто и словом не обмолвился.

Иван Выговский все эти дни провел в хлопотах. Надо было со многими полковниками встретиться наедине, выведать настроение каждого, выслушать, сказать свое слово. Горячие дни были у генерального писаря. С ног сбились и помощники гетмана, есаулы Демьян Лисовец и Михайло Лученко. Гостей надо было принять достойно, разместить. Все они жили в Чигирине коштом гетмана. Лучшие дома были заняты полковниками, их сотниками и казаками, с которыми они прибыли в Чигирин.

В городе стоял шум и гам. Ржали у коновязей лошади, дрожали стены в шинках от громких песен и веселых возгласов, полы прогибались под ногами плясунов. И только Капуста сохранял спокойствие, словно все, что происходило и должно было произойти, его не тревожило. Он оставался верен себе и в эти беспокойные дни. Заботило его только то, что давно не было вестей от Малюги. А гетман ходил веселый, напевал себе под нос, разглаживал усы, шутками сыпал.

- Не горюй, Тимофей, - сказал он сыну, обнимая его за плечи, - твоей будет красotka. - Он намекал на дочь молдавского господаря, Домну-Розанду, в которую давно был влюблен молодой гетманич.

Тимофей уже знал о намерениях отца. Горячий по натуре, он нетерпеливо ожидал дня, когда тот отправит его в поход на господаря. Да, теперь открывался перед ним широкий путь к боевой славе, и полковники не будут уже смотреть на него только как на гетманского сынка. Теперь он докажет свои способности не только как храбрый казак, но и как полководец. В июльскую ночь, полную душного запаха липы, гетман сказал ему:

- Ты, сын, помни: на великое дело я решился, и ты мне в этом деле будь верный и честный помощник. Учись, присматривайся, с полковниками держись ласково, послушно. Понравилась тебе Лупулова дочка - что ж, твоя будет, - но не это цель, не это... Смотри вперед: еще впереди война страшная за нашу волю, и чем больше будет у нас союзников в этой войне, тем лучше для нас. Станешь зятем молдавского господаря, не будет он тогда держать руку Потоцких и Калиновских, не пойдет против собственной дочки.

...После этого ночного разговора Тимофей решил твердо: довольно гулять, искать легкой славы. Перед ним открывался новый путь, еще не изведанный и тем более привлекательный. Однако, многое из того, что происходило в отцовском доме, не нравилось ему, и он часто сдерживал себя, чтобы не сказать об этом отцу. Враждовал Тимофей с мачехой. Елена чувствовала непримиримую неприязнь Тимофея и платила ему тем же. Не лежало сердце гетманича и к Выговскому, хотя он и не мог бы сказать ничего плохого о генеральном писаре. Однако говорил с ним холодно, отклонял все попытки Выговского стать его советчиком и старшим товарищем.

22

У гетмана в эти дни была своя забота. Еще сегодня его замыслы оставались тайной, о них могли только догадываться в Варшаве. Но через некоторое время они станут известны и, как гром с ясного неба, поразят всех его врагов. Он знал, как завоюют враги. Снова подымут крик - проданся туркам! Пусть кричат, пусть осуждают, все равно им не столкнут его с пути. Стиснув зубы, он стерпит все подозрения и обиды, он снесет даже все оскорбительные песни о том, чтобы первая пуля его не минула. Он все стерпит, но если кто-нибудь станет поперек дороги - тогда берегись. А в Москву он напишет. Царь поймет, почему гетману

пришлось так поступить. Совесть его спокойна.

...И на следующий день, когда полковники уселись за длинным, накрытым красной китайкой столом в большой зале гетманской канцелярии, он так и сказал им - тихо, спокойно, но твердо, голосом, который звучал как безусловный приказ. Говорил и смотрел на каждого из полковников пытливо и внимательно. Ведь вместе с этими людьми он прошел уже немалый путь. Что-то волнующее и теплое шевелилось в его сердце.

- Панове, мы начинали с малого, - ласково говорил он. - В степи, под дождем и ветром, бездомные и голодные, обездоленные и обиженные, мы вышли в поход. Чего мы добились - вы знаете. Еще мало, но все в наших руках.

И перед собравшимися встали те далекие дни, о которых напомнил гетман. А он продолжал:

- Не дикой степью судила доля быть нашей отчизне, а краем цветущим, чтобы росли города, чтобы колосились нивы и без страха выходил по весне в поле пахарь и сеятель, чтобы свободна была наша вера, чтобы ширилась торговля и ремесла процветали. Будем ходить в море без опасений, не проливая крови. Хан крымский поймет, что нас надо уважать.

Он говорил долго, живо рисуя будущее и сам увлекаясь своими словами. Сказать по правде, он думал, что поднимутся споры. Ждал: вот встанет Гладкий или Глух и заведут старую песню о проданной вере, о том, что грех с басурманами дело вести. Гетман приготовил уже слова, которыми он убедит недовольных. Но никто не возражал. Выговский поднялся и, опустив глаза, торжественным голосом спросил:

- Что скажут паны полковники на умысел гетмана о договоре с султаном?

Один за другим раздались голоса:

- Добро.

- Добро.

- Добро.

Гетман усмехнулся в усы. Это была победа. Напрасно Капуста так беспокоил его своими подозрениями. Даже упрямый Нечай, и тот поднял пернач и густым басом произнес:

- Добро.

23

...Чауш Осман-ага, посол турецкого султана, въезжал в Чигирин. Со стен крепости ударили пушки. Двадцать один раз пророкотали залпы в честь посла. Ветер за клубил пыль. Золотистый чигиринский песок взвился вдоль дороги, искрился на солнце, слепил глаза.

Иван Выговский и Тимофей, в сопровождении полковников Нечая и Глуха, с большим конвоем казаков, встречали посольство за городом. Спешились и пошли пешком навстречу золоченой карете, в которой сидел султанский посол. Чауш Осман-ага важно вышел из кареты. Солнце бросало в глаза турку снопы веселых лучей. Выговский и полковники поклонились послу. Он ответил низким поклоном. Полный, приземистый Осман-ага заплывшими, маленькими глазками, которые, точно зверьки, выглядывали из-под мохнатых седых бровей, с любопытством посматривал на полковников. Он улыбнулся, узнав гетманского сына Тимофея. Несколько лет назад чауш встречал его в Бахчисарае. Он напомнил об этом Тимофею.

- Много воды уплыло, - ответил Тимофей.

- И все в Черное море, - загадочно усмехнулся чауш.

- Чем больше воды в Черном море, тем легче нашим чайкам по морю ходить, - отозвался Тимофей, посмотрев в упор на чауша.

Тот закусил губу и замолчал.

...Заиграли трубачи. Послу подвели коня, которого выслал ему навстречу гетман. Он легко, несмотря на свой возраст и полноту, вскочил в седло. Полковники тоже сели на коней. Тронулись. Снова грянули пушки со стен крепости. Впереди ехали трубачи, за ними хорунжие с развернутыми знаменами. По сторонам личная стража посла - сто янычаров, посредине посол, на полшага от него, почти рядом, генеральный писарь Выговский, чуть поодаль - Тимофей, Нечай и Глух. За ними на двадцати лошадях, покрытых лазоревыми

попонами с гербами султана, везли подарки, предназначенные гетману.

Щурясь, Осман-ага покачивался в седле. Повсюду на улицах стояло множество людей. Женщины, одетые по-праздничному, с открытыми лицами, без стеснения разглядывали посла. Дети бежали за янычарами и что-то кричали. Гремели пушки, играли трубачи, ветер чуть колыхал тяжелые бархатные знамена. Осман-ага довольно улыбнулся. Он вез вечный мир и милость великого султана в столицу Украины, в Чигирин.

Ударили в тулумбасы. Кортёж приближался к гетманской резиденции. От самой улицы через ворота, вплоть до крыльца, был разостлан ковер. Гетманская стража застыла неподвижно, отставив в сторону пики. На крыльце ждал гетман с полковниками.

Чауш остановил коня у ворот и соскочил наземь. Ему поднесли шкатулку, завернутую в белый шелк. Он взял ее в руки и ступил на ковер. Трубачи затрубили еще громче. Последний салют потряс воздух. Чауш Осман-ага, посол султана, преклонил колени перед великим гетманом Украины Зиновием Богданом Хмельницким. Гетман пошел ему навстречу, взяв под локти, поднял и обратился к нему по-турецки. Полковники расступились. Гетман и чауш Осман-ага вошли в гетманскую канцелярию.

...Богдан Хмельницкий сидел в глубоком кресле, откинувшись на высокую резную спинку. За креслом стояли полковники. По правую руку Хмельницкого, держа гетманские клейноды, стоял генеральный бунчужный Василь Томиленко, рядом с ним - генеральный подскарбий Иванич. Тут же были генеральный писарь Выговский и генеральный обозный Федор Коробка.

- Великий гетман Украины, - заговорил Осман-ага, - наидостойнейший из монархов религии Иисусовой, наибогороднейший из народа христианского, преславный князь Богдан Хмельницкий, коего старость да будет счастлива, повелел мне наисветлейший и могущественнейший властитель непобедимой Порты сказать тебе: прими подарки от султана и грамоту с условиями вечного мира, которые я привез тебе.

С этими словами Осман-ага поднес гетману турецкую саблю в серебряных ножнах, с эфесом слоновой кости, гетманскую булаву, усыпанную драгоценными камнями, знамя. Гетман своими руками принял подарки. Поднявшись, он поклонился чаушу и ответил:

- С добрым сердцем и светлыми намерениями обратились мы к ясному султану. В мыслях у нас мир и справедливость, и хотим мы жить в мире с могучим султаном. Рад видеть и слышать тебя, великий посол Осман-ага. Отдохни после дороги, а завтра начнем переговоры с верой в сердце и ясностью в мыслях.

На другой день в гетманской канцелярии начались переговоры. На скамьях вдоль стены сидели полковники. Во главе стола - гетман, напротив него - Осман-ага. Выговский держал перед собой списки с пунктами договора. Он не спал ночь, своей рукой переписывая и переводя с турецкого на украинский язык предложения султанского визиря. Перед чтением Осман-ага поднялся и, поклонясь гетману и полковникам, сказал:

- Султан велел передать: в будущей войне против Речи Посполитой велено будет орде Ислам-Гирея стать с вами под одно знамя, если условия, которые прочтет сейчас достойнейший визирь Выговский, рада и гетман утвердят и приложат к ним свою руку.

Осман-ага сел. Выговский вопросительно посмотрел на гетмана.

- Читай, писарь, - сказал Хмельницкий.

Полковники насторожились.

Выговский откашлялся, поднес к глазам лист и ровным голосом начал читать:

- <Договор между гетманом Украины и султаном турецким...>

- Дозволь, гетман, перебить, дело неотложное...

Все повернули головы к дверям, откуда раздался голос Лаврина Капусты.

- Говори, - недовольно махнул рукой гетман. - Что там стряслось?

Полковники переглянулись. Чауш Осман-ага с любопытством глядел: что могло случиться? Капуста сделал шаг вперед и сказал то, о чем гетман знал еще вчера:

- Послы польского коронного гетмана Потоцкого прибыли в Чигирин и просят у гетмана аудиенции по срочному делу.

Чауш Осман-ага наклонился к толмачу. Тот проворно перевел ему слова Капусты. У чауша мелькнула мысль: во-время заключает договор с гетманом Высокая Порта. Нет, не ошибся он, когда горой стоял в Стамбуле за этот договор. Если поляки заискивают перед Чигирином, это что-то значит.

Хмельницкий пожал плечами и, как бы раздумывая, молчал. Все это было договорено еще вчера. Пусть чауш увидит - не одна Порта заинтересована в Украине. Похоже, что сообщение Капусты произвело впечатление на посла.

- Нет у меня сейчас времени, - сказал Хмельницкий, - передай послу, придется панам обождать.

Капуста вышел. Осман-ага закрыл глаза. Солнце заливало большую залу. Посол обмахивался опахалом. Выговский откашлялся и начал читать:

- <Первое. Султан турецкий дозволяет войску казацкому и народу украинскому свободное плавание на Черном море во все свои порты, города и острова, также на Белом море* во все свои города, порты и острова, а также в порты иных держав, с коими пожелает вести торговлю Украина, проход будет свободный>.

* Б е л о е м о р е - Азовское.

В напряженной тишине звенел тонкий голос генерального писаря. Полковники внимательно слушали, Выговский долго перечислял обязательства гетмана и султана, а когда прочитал последнюю, тринадцатую статью договора, джура поднес ему полный кубок меда. Писарь неторопливо, облизывая губы, начал пить. Встретил одобрительный взгляд Богдана. Усмехнулся еле заметно. Теперь пусть видят полковники - не зря он сидит здесь, в Чигирине, не пустая игра эта возня с послами и грамотами. Если не ослепли - они должны увидеть за тем, что читал Выговский, расцвет благосостояния родного края, силу его и мощь.

Утолив жажду, Выговский значительно и веско заключил:

- Договор тайный, оглашению не подлежит.

Сказал и сел на свое место, переворачивая листы, покрытые тщательно выведенными буквами.

- Дозволь спросить, гетман? - поднялся со своего места Мартын Пушкарь, полковник полтавский.

- Говори, - кивнул головой Хмельницкий.

- Какие, стало быть, мы на себя обязательства берем перед султаном?

Выговский вопросительно посмотрел на Хмельницкого.

- Отвечай!

- Наши обязательства такие, - Выговский рассматривал ровно подстриженные ногти на своих длинных пальцах: - прежде всего, мы даем слово ни в какие союзы, направленные против султана, не вступать, все земли по Днестр вместе с городом Каменцем считаем во владении султана, а все прочее, написанное в договоре, я читал.

- Дороговато, - покачал головой Пушкарь.

- Тебе больше хотелось бы, чтобы там сидел Потоцкий, - заметил Богун.

- Что Потоцкий, что...

- Довольно, - сердито прервал гетман, - говори дело...

Толмач, наклонясь к Осман-аге, поспешно переводил ему каждое слово.

Тогда заговорил гетман. Он начал издалика.

- Сотни лет Черное море было местом кровавых битв. Замкнутые с запада поляками, а с юга - татарами, бились, как в тенетах, казаки и весь наш народ. Раздору тому надо положить конец. Джелалий сидит в Стамбуле, Осман-ага в Чигирине. Будет отныне мир между Портою и Украиной. Осман-ага одобрительно кивал головой. - Султан нас почитает, - продолжал гетман, - он видит нашу силу и наше честное желание жить в мире, мы почитаем его могущество.

Гетман говорил не спеша. У него было время. Он хотел сказать все, чтобы кто-нибудь из полковников часом не брякнул лишнего. А сам думал: миновали дни, когда Порта была

для него чем-то недостижимым. Между ним и султаном стоял, как стена, хан крымский. Теперь этому конец. Хмельницкий видел перед собой взбешенное лицо Ислам-Гирея. Да, в Бахчисарае договор Хмельницкого с Турцией произведет впечатление бури, внезапно разразившейся над головой. Но они не в силах будут чем-нибудь помешать.

Выговский протянул гетману лист и гусиное перо. Хмельницкий подписал. Затем лист поднесли Осман-аге, чауш закусил губу и тоже подписался.

Джурь внесли на серебряных тарелках высокие кубки из драгоценного венецианского стекла, наполненные вином. Гетман поднял кубок. Он пил за здоровье султана Турции. Генеральный обозный Федор Коробка распахнул окно. Махнул кому-то рукой. Мгновенно пушечные залпы сотрясли воздух. Кубки звенели на тарелках. Осман-ага сидел прямо, неподвижно. Весело гудели голоса полковников.

Первый день переговоров на этом закончился.

24

Приехав домой, гетман почувствовал усталость. Сел на скамью под липой в саду. Легкий ветерок шуршал в траве. Послышались шаги. Хмельницкий поднял голову. К нему шла Елена. Села рядом и положила руку ему на плечо.

Боже мой, как он устал! Неужто нельзя хоть на неделю уехать в Субботов? У него совсем серое лицо. Под глазами набухли мешки. Тяжко ему, ведь он один, никто не понимает его, никто. Она еще что-то говорила. Он не слушал. Смотрел куда-то в сторону и думал свое. Сегодня это еще тайна. Завтра о договоре с турками заговорит Чигирин, через неделю - Варшава. В Вене недовольно покачает головой император Фердинанд III. Не поступит оружие, ожидаемое из Швеции. Оссолинский будет писать длинные лживые письма в Рим. Будут слать всякую брехню в Москву. Но надо все вынести. Надо! Казалось, он сам себя уговаривал, как будто у него еще нехватало уверенности. Вспомнил: рассказывали ему, что митрополит киевский Сильвестр Коссов, услышав о его посольстве в Туретчину, побледнел, как полотно, однако осуждать не осмелился. Поджал хвост! Злоба душила гетмана. Теперь он дал волю своим чувствам. Там, перед полковниками, он должен был сдерживаться. Кое-кто из полковников тоже не лучше Коссова. Только и думают о себе. Им бы только за свои обиды отомстить. Но пусть теперь скажут - кто осмелится в этом году пойти войной на Украину? Да, но Каменец?.. Земли по Днестр?.. Нет все же это было не так страшно. Эти земли легче будет потом вырвать у султана, чем у Потоцкого. Пусть, пока что, коронный гетман воюет с турками за эти земли. Он, Хмельницкий, будет в стороне.

А Елена сидит рядом и тяжело вздыхает. Хоть бы ей все рассказать, чтобы поняла и посочувствовала. Всюду стена. Люди отгорожены от него стенами. Гетман кладет свою загорелую широкую руку на белые тонкие пальцы жены и заглядывает ей в глаза. Что там, в этих озерцах, плещется? Что означают эти желтые огоньки в них? Елена склоняет голову ему на плечо. Шепчет на ухо приятные, тихие, нежные слова. У нее своя мечта, одно манящее желание. Пусть он не сердится. Ей хочется поехать в Венецию. Так хорошо рассказывал о Венеции посол Вимиана!

Он молчит. Что говорить? Хорошо знает - никуда не поедет. Тут даже на день оставить дела нельзя, какая уж там Венеция! Было бы время, поехал бы в Москву. Может быть, глаз на глаз с царем лучше договорился бы, чем все те послы. Выговский уверяет, будто Москва разгневется на него за договор с турками. А что Москве этот договор? Вчера он отправил с гонцом письмо к царю. Подробно рассказал, что понудило его заключить договор с Портой. Ведь и ему нелегко было решиться на этот шаг.

Ветер шелестел в траве. Смеркалось. Елена крепче прижалась к его груди. Вдоль стены ходили часовые. Они отворачивались, поровнявшись со скамьей, на которой сидел гетман. Хмельницкий наклонился к жене и крепко поцеловал в губы. Кто-то смущенно кашлянул. Гетман недовольно оглянулся. Выговский с виноватым видом стоял неподалеку.

- Не даю тебе покою, Богдан, пришел напомнить, - вечером обед у меня в честь чауша. Надо, чтобы ты был и пани Елена тоже.

- А как же, непременно.

Встал со скамьи, и все вместе пошли в покои.

Сторожевой, когда проходили мимо него, словно окаменел.

- С какого года служишь? - спросил гетман.

- С позапрошлого, - браво ответил казак, - еще под Желтыми Водами воевал, гетман.

- Крепко мы тогда Потоцкому всыпали! - весело и довольно сказал гетман.

Выговский улыбался. Елена исподлобья глядела на гетмана. Никогда не будет у него шляхетского обхождения. Гетман вынул из кармана кисет и протянул казаку:

- Кури, казак, тютюн добрый, турецкий.

Похлопал его по плечу и пошел дальше.

- Хороший казак, - сказал сам себе, переступая порог.

...Вечером у Выговского стекла звенели от хохота. Ломились столы под тяжестью всевозможных яств. Лоснились обсыпанные зеленью жареные индюки, гуси. На четырех ногах стояла зажаренная дикая коза. В графинах поблескивало огнем венгерское вино. С высоких ваз на серебряных подставках свешивались гроздья винограда. Было тяжело дышать от запаха миндаля, фиников и апельсинов. Звенели серебряные и стеклянные кубки. Джуры валились с ног. От выпитого вина и духоты лица полковников побагровели. Рядом с гетманом сидел чауш Осман-ага. С нескрываемым ужасом глядел он на уманского полковника Глуха, который одну за другой вливал в себя большие кружки горелки. Нечай опьянел и стучал кулаком по столу. Он все задирал Капусту: <Доносчиков держишь! За каждым шагом нашим следишь!> Капуста не отвечал. Он почти не пил. И от того, что тот молча выслушивал попреки, Нечай еще больше распался. Подошла хозяйка. Вмешалась в разговор, стараясь успокоить Нечая. Кальницкий полковник Иван Федоренко ударил перначем по столу.

- Хватит, гетман, со шляхтой носиться, прикажи - и встанут твои полки, как туча. Пойдем Варшаву добывать.

У гетмана уже слегка шумело в голове. Он встал и поднял руку. Мгновенно шум затих. Капуста с беспокойством придвинулся ближе, готовый ежеминутно остановить гетмана. Чауш вытянул шею. Гетман обвел острым взглядом багровые лица.

- Варшаву добывать нам не нужно, Федоренко. Нам своих земель хватит. Я слово под Зборовом дал королю. Своего слова не нарушу, пока жив буду. А то, что теперь паны Потоцкие да Калиновские снова над народом ругаются, это так не пройдет. Дайте срок, полковники, дайте срок...

- Уже настал срок! - закричал Нечай. - Слышишь, Хмель, настал, не мешкай!

- А я не мешкаю, - возвысил голос гетман. - Но и спешить не хочу. Теперь нашу руку держит султан Туретчины, могучий властитель великой Оттоманской империи. Кто теперь осмелится заступить нам дорогу, кто?

Он замолчал, словно ждал, что ему сейчас назовут того, кто станет на его пути.

Лицо гетмана пылало гневом. Он посмотрел в упор на Пушкаря, и тот, не выдержав строгого и пытливого взгляда, опустил голову. Капуста осторожно и незаметно дернул гетмана за полу кунтуша. Хмельницкий оглянулся.

- Не беспокойся, Лаврин.

Он усмехнулся недобро и продолжал:

- Народ меня Хмелем называет... Я даже вирши вам, панове послы, полковники и уважаемые гости, об этом прочитаю, послушайте, что пииты пишут:

Щось божеське до себе пан Хміль закрива?,

Бо смиренних возносит, винеслих смиря?...

Вищі суть голови над всі члени тіла,

А ноги теж в низькості смиренні до зіла.

Але пан Хміль, як до кого в голову вступа?

Голову понижа?, ноги задира?.

Внезапно на другом конце стола, где сидели Богун и Золотаренко, хриплый голос перебил гетмана:

Ой, у Царгороді на риночку,
П'є там Байда мед-горілочку...

Это выкрикивал старый, седой сотник Иван Неживой. Он поднялся и хриплым, густым басом тянул песню про казака Байду - о том, сколько бед причинил удалой рыцарь басурманам, как зло насмеялся над турками, а когда взяли его в полон и мучили лютою мукою, плевал в лицо своим недругам казак Байда. Толмач шептал на ухо чаушу. Гетман, склонив голову, слушал. Гнетущее, тяжелое молчание стояло в зале. Капуста осторожно пробирался к Неживому.

- Лаврин, - тихо, но грозно проговорил гетман, - на место!

Опустив голову на руки, замер гетман. Перед глазами его проплыли Дикое Поле и шумная Хортица, и он увидел хищную орду, тучей покрывавшую шляхи Украины. Его ухо, казалось, ловило крики людей, над которыми чинили надругательства татары и турки. Он стиснул зубы и стукнул кулаком по столу. Выговский схватил его за руку, но тот толкнул его локтем; полынная горечь подкатывалась к горлу. Гетман чувствовал - через какое-нибудь мгновение произойдет что-то тяжкое и непоправимое. Полковники побледнели, а Нечай самой глубиной сердца угадал, что творилось с гетманом. Иван Неживой чуть понизил голос, но Хмельницкий приказал:

- Пой громче, Иван, пой про непреклонную душу славного Байды, чтобы гости наши не забывали, как сильны рыцари народа нашего...

Между тем у него мелькала другая мысль. Он смотрел то на Неживого, то на Осман-агу, то на полковников, а мысль эта твердила свое... Вот сидел перед ним давний враг - посол Осман-ага, а через несколько домов от гетманской канцелярии плели свою паутину послы из Варшавы, и сама Варшава лелеяла надежду захлестнуть петлю на его шее... И такими же врагами его были и льстивый венецианец Вимина, и молдаванский господарь Лупул...

Может, лучше было бы сейчас же повести на аркане по шляхам, утоптаным татарскими ордами, Осман-агу, напоить его горем искалеченных душ, заставить принять муки на колу, чтоб испытал он все пытки, какие перенес народ от татарвы и турецких янычаров...

Гетман с ненавистью взглянул на посла, и гневное слово шевельнулось у него на губах. Но уже в следующий миг он овладел собою и слабо улыбнулся послу, точно и мысли злой не было про него. Нет, прочь это! Мир! Любою ценою мир! Выбить почву из-под ног короля Яна-Казимира, отрезать Потоцким пути в Порту, спутать все расчеты Варшавы, чтобы иезуиты пальцы кусали от злости. Нет, не против Украины будет воевать Порты. Берегитесь, паны Потоцкие! Не выйдет по-вашему. Будет мир с Портой.

...Пел Иван Неживой про Байду-рыцаря. Неподвижно, словно каменная баба в степи, сидел Осман-ага и озирался прищуренными глазами. Осман-ага волновался: уж не сделал ли он ошибки, приехав в Чигирин? Не станет ли тут с ним чего-нибудь худого? Разве не дерзость - поступок казака, который поет про этого проклятого Байду, так много бед причинившего великой Порте? Но нет! Песня песней, а дело делом. Песня делу не помеха. Осман-ага выполнит свою задачу. Мир с Украиной нужен для Порты. Тыл будет обеспечен. Император Фердинанд III напрасно надеется, что Порте придется еще воевать с Украиной, что Речь Посполитая поддержит его. Речь Посполитая сама подвергнется нападению, да и хан Ислам-Гирей будет связан по рукам и по ногам. Слишком самоволен стал Ислам-Гирей. Теперь можно ему пригрозить Хмельницким...

...Тихо в зале. Только мужественно звучит голос Ивана Неживого. Мысль гетмана стремится бурным потоком. Выиграть время. Заручиться миром на юге. Султан будет занят цесарем, хан Ислам-Гирей связан договором. Поднять за это время весь народ, договориться окончательно с царем московским, придут русские братья на помощь - и тогда последний бой. Он уже видел этот бой и уже слышал музыку победы, гремели трубы, и вся Украина, от Черного моря до Сана, кричала: <Слава!> Внезапно он вздрогнул, точно все прошло и возвращалась суровая действительность. И он увидел, что все смотрят на него. Давно кончил

петь Неживой. Обиженно кривил губы Осман-ага. Двусмысленная усмешка змеилась под усами Выговского. Нечай дергал рукав своего кунтуша. Гетман поднялся. Усмехнулся лениво:

- Джурьы, наливайте мед. Золотой кубок пану послу, батыру Осману, нашему другу вечному. Всем поднести кубки.

Джурьы суетились. Поплыл шум, говор. Гетман опустил глаза. Тяжелая усталость упала на плечи.

- Что с тобой, Богдан? - шепнул Капуста.

Не ответил. Пока наливали вино, думал о своем, словно и в эти минуты выигрывал время.

- Вот что хмель в голове рождает, - заговорил гетман, улыбаясь, - ты, пан посол, не обижайся. Должен гордиться тем, что такие рыцари воевали с Портой, только великий рыцарь может иметь достойного соперника. А теперь довольно варшавским панам нашими руками жар загребать. Довольно!

Голос его крепнул и набирал силу.

- Теперь я свершу, что замыслил. Нет, не удастся ни иезуитам, ни предателям опутать меня сетями. Мечом буду рубить головы. Ни перед чем не остановлюсь. Довольно жить, как бродяги, гультаями слоняться по степи. Достойным и могучим краем должна быть наша земля. Не просить на сеймах милости надо, не о себе только думать. Надо, чтобы дети наши, внуки и правнуки вспоминали нас, как освободителей. Чтобы в летописях написано о том было. Чтобы через сто лет вышел пахарь в поле, глянул на солнце, на свою землю широкую и сказал: <Живу вольно, ибо волю ту мне и земле моей отвоевали Иван Богун, Данило Нечай, Пушкарь, Золотаренко, славный рыцарь Иван Неживой...> Чтобы через сто лет потомки наши кричали нам: <Слава!>

Кубок дрожал в его руке. Багряное вино переливалось через край и липкими ручейками ползло по пальцам. <Точно кровь>, - подумал он. Перевел дух и на мгновение замолк, вглядываясь в скованные вниманием лица. Он четко видел каждое лицо, и каждое вызывало в нем одобрение или недовольство. Взгляд его был тяжел: казалось, растопленный свинец струился из глаз на всех, кто сидел перед ним. Он уже отбросил от себя сомнения и, обращаясь к Осман-аге, одновременно говорил это Нечаю, Богуну, Пушкарю, Выговскому, всем, кто, затаив дыхание, слушал его:

- Мне посол Венеции Вимина золотые горы сулил, - только бы мы с казаками против турецкого султана стали, на Черном море разбой и обиду султанскому флоту чинили, - а я Вимине сказал, что с султаном у нас раздора быть не может. И это я святым крестом подтверждаю перед тобой, посол Осман-ага.

Гетман поставил кубок и размашисто перекрестился. Осман-ага встал. Подняв кубок, гетман заключил:

- Шляхта замышляет против нас новую войну. Мы той войны не желаем, но в обиду себя не дадим. Пускай сейм утвердит Зборовский договор, а не утвердит - тогда возьмем сабли в руки. Полковники, выпьем за здоровье султанского посла, батыра Осман-аги.

Звенели кубки. Полковники пили здоровье посла. Осман-ага кланялся на все стороны.

25

...Ночью Хмельницкий вызвал к себе Выговского, Ждановича и своего двоюродного брата, Павла Яненка. Припухшие веки гетмана были красны.

- Может, утром обо всем договоримся, - робко заметил Жданович.

- Нет времени, полковник, времени нет, слушайте хорошенько. Ехать тебе, Антон, и тебе, Павло, вместе с Осман-агою в Стамбул. Ухо с ним держите востро. Птица это немалая. Сами видите - подлец из подлецов.

Гетман замолчал. Взял с тарелки моченое яблоко, пожевал. Сок сбегал по обвисшим, мокрым усам. Вытер рот. Продолжал:

- Визирю султанскому втолковывать: дадут помощь против короля, тогда и на море будет покойно.

Жданович раскрыл рот, хотел что-то спросить. Гетман сурово поднял брови и возвысил голос:

- Молчи и слушай. У меня и так голова раскалывается.

Он потер лоб кулаком, как бы что-то припоминая.

- Перебили, побей вас лихая година. Ну вот, слушайте дальше. Так и твердить: чтобы ляхам Порта веры не давала. Доказывайте им: мол, Вимину подсылали поляки, чтобы мы против Туретчины пошли. Поняли?

Жданович и Яненко закивали головами.

- Глядите. Напутаете - головы поотлетают.

Он закрыл глаза, тяжело вздохнул. Наступило молчание. Где-то в стене затрещал сверчок.

- Хорошая примета, - нарушил молчание Выговский.

Хмельницкий продолжал:

- Пустое. Не верю в приметы. Ты, писарь, вс? знаешь - и какая примета, и хорошая она или дурная. А вот отчего Гладкий и Глух болтают языками, чего они крутят, того не знаешь или знать не желаешь. Так?

Гетман повернулся к Выговскому. Тот пожал плечами, но молчал.

- Молчишь? На это примет у тебя нет. А я знаю, - сказал внезапно гетман твердым голосом, тяжелым взглядом обводя присутствующих. - Я знаю, в голове у них зависть шумит. Гетманской булавы захотели, а Украину - хоть псам, хоть чертям, им все равно. Про меня болтают - проданся, а сами только того и ищут, как бы и кому бы продаться.

- Успокойся, - сочувственно сказал Яненко. - Что ты, брат!..

- Не могу! - Гетман вскочил на ноги. - Какой к черту покой? Вчера Гладкий, пьяный, похвалялся: скоро, мол, пустят Хмелю пулю в спину... А кто пустит? Он, Гладкий? Все им не по нраву. Москва им не с руки, Туретчина по вере не подходит, татары ненавистны, - а чего хотят?..

Он уже не обращался ни к писарю, ни к полковникам. Говорил сам с собой:

- Как думают край, веру и волю защитить? Боже мой, боже мой!

Он закрыл лицо руками. Замолчал. С закрытыми глазами, казалось, видел он хитрые, угодливые лица, взгляды, полные ненависти, слышал над ухом лживые, предательские слова. Тряхнул головой, отвел руки от лица. Словно отогнал от себя что-то тяжелое и непереносимое.

- Теперь самое трудное время. Стоим, как на вершине горы. Под ногами - пропасть и ветры. Удержаться надо любой ценой, пока буря пройдет. Удержаться. Все эти союзники об одном мечтают - как бы раздор посеять между нами и Москвой. Тщетно! И от своего не отступлюсь. Головы буду рубить, на кол сажать, а не отступлюсь.

Он помолчал и, вздохнув, добавил:

- В Стамбуле добиваться, чтобы хану строго приказано было с поляками без нашего ведома соглашений не заключать и чтобы нам помощь подавал. Станет визирь про Москву спрашивать - посылали ли мы своих послов, каковы намерения наши, - от ответа уклоняться. Говорить так: <Вера у нас одна, народ братский, обиды друг другу не делали, думаем жить в мире...>

- Поняли? - Он взял с тарелки еще одно яблоко, пожевал и ободряюще кивнул головой Ждановичу. - Вот погодите, друзья. Будет так, как задумано мною. Народ русский станет плечом к плечу с нами, помощь подаст. Не бывать такому, чтобы брат брату в злой беде не помог.

- Войны никто не хочет, - отозвался Жданович.

- И все равно не миновать ее ни нам, ни им. - Гетман встал, доел яблоко, сплюнул в кулак семечки и выбросил в открытое окно. - Хватит. Ночь коротка, всего не переговоришь. Завтра утром отправляйтесь. Глядите - что приказал, того и держаться. Нужда будет - шлите гонца.

Попрощались. Он остался один. Погасил лампадки. Подошел к окну, налег грудью на

подоконник. В пруду квакали лягушки. Звезды мерцали в небе. Перекликалась стража за стеной:

- Слушай! - кричал кто-то басом, и другой голос тотчас отвечал:

- Слушай!

И ему тоже захотелось сказать в ночь, в небо, в широкие, манящие просторы земли это короткое и полное таинственного значения слово: <Слушай!> И сами по себе губы его прошептали это слово, и он понял, скорее ощутил сердцем, что и в эту ночь, как и во все другие ночи до того, он тоже стоит на страже и тоже <слушает>. Что и кого - это Хмельницкий хорошо знал.

...Казначей Крайз сидел на корточках под самой стеной гетманской опочивальни. У него давно онемели ноги и ломило поясницу. Сквозь кусты он видел тень гетмана в раскрытом окне. Он слышал все, что было говорено. Крайз ждал, пока гетман закроет окно. Ждать пришлось долго. Наконец звякнули рамы. Крайз посидел еще с минуту. Опасливо огляделся по сторонам и встал. Осторожно вышел на тропку и пошел к черному крыльцу. У крыльца его остановил караульный:

- Кто идет?

- Я! - отозвался Крайз.

- А, это вы, пан казначей! - узнал караульный. - Что не спите так поздно?

- Не спится, казак. Сон бежит от меня. - Зевнул и начал подыматься по ступеням.

...Перед рассветом к Чигирину подъехал перекопский мурза Карач-бей, посол хана Ислам-Гирея.

У городских ворот мурзу остановили казаки. Татары кричали:

- Тотчас отворить ворота! Перекопский мурза к пану гетману по неотложному делу!

Казаки сонно зевали. До восхода солнца никому не велено отпирать ворота, пусть мурза ожидает у ворот. Татары подняли крик. Казаки разбудили есаула. Есаул Лисовец в ту ночь был дежурным по городу. Он вышел за ворота, спросил:

- Кто едет и по какому делу?

Карач-бей вылез из повозки. Ноги онемели от долгого сидения; будто на чужих ногах, пошел навстречу есаулу.

- Я перекопский мурза Карач-бей, посол великого хана Ислам-Гирея.

Есаул Лисовец поклонился, прикрикнул на казаков:

- Чертовы дети! Отворить немедленно ворота послу хана, живей! - А сам стоял на месте и зевал, прикрываясь ладонью.

Отворили ворота, заскрежетали цепи, опустили мост через ров. Карач-бей сел в повозку. Подковы застучали по деревянному настилу. Усатый казак, затворяя ворота, недовольно ворчал:

- Нет тебе покоя, разъездились эти послы, побей их господь! Два дня назад турок, вчера поляки, а нынче, глядь, и этого нечистая сила принесла.

- Ты там меньше болтай, не твоего ума дело, - равнодушно сказал есаул, проходя мимо.

- Известно, не моего, - ворчал казак, - это уж гетмана Хмеля дело, а у меня свое дело, да я так думаю, что и ему они, те гости, осточертели.

Из темного угла под стеной чей-то голос укоризненно отозвался:

- Дядько Семен, может, вы бы помолчали...

Казак сплюнул, отошел в сторону и сел на скамью.

Рассвет раскидывал в небе сизый плат. Перед глазами диковинными силуэтами возникали дома. Громко, как на перекличке, пели петухи. Казака Семена волновало свое. Был когда-то и дом, и жена, и дети. Все пропало, ушло, как он говорил, по ветру. Спалил Ерема Вишневецкий дом Семенов, а в доме сгорели жена и дети.

Тихо в предутреннем Чигирине. В такую тишину все припомнишь. Но нет в сердце места для тоски. Обиду тоской не избудешь. <Ездят, все ездят, думает Семен, - не было еще такого на Украине. Великим паном стал гетман Хмель, что и говорить! Одних купцов сколько наехало! А на ярмарках какого только товара нет! И продают его люди из разных

неведомых доселе краев!>

Много можно за ночь передумать. Посасывает люльку казак Семен. Плывут думы, обступают со всех сторон. А перед глазами маячит село над Горынью, хата... Что осталось? Один пепел - и того, видно, ветром уже разнесло. А что будет? Паны снова возвращаются в свои маетки. Неужто будет по-старому? Не спится казаку Семену. Поспрошать бы кого. Вздыхая, глядит он на небо. Ясноликое солнце всходит у края неба и красит медью крыши домов.

26

...Купец Вальтер Функе путешествовал. Обмывали пыльную дорогу дожди, сушили солнце и ветер. Вальтер Функе глядел из повозки по сторонам внимательным, зорким глазом. Тешили взор широкие, бескрайные нивы. На них нескончаемый прибой золотых волн.

Колыхались пшеница, рожь. Поблескивали на солнце косы и серпы. Белые рубахи косарей мелькали в желтом море. Вальтер Функе остановил повозку. Сошел на межу. Сорвал колос, растер на ладони. Теплые зерна щекотали руку. Поднес к лицу. Запахло землей и солнцем.

Косари окружили человека в куцем кафтане и низко надвинутой на лоб широкополой шляпе. Вальтер Функе поздоровался. Повел рукой вокруг и заговорил по-своему: он восхищен богатством полей. Косари поняли, засмеялись.

Дивчина в вышитой красным сорочке поднесла негоцианту кварту молока. Функе выпил одним духом, его томила жажда. Протянул дивчине талер. Она спрятала руки за спину и отступила. Дивчина смеялась. Функе был доволен. Спрятал талер в карман. Помахал косарям шляпой, сел в повозку.

Дробно стучали кованые колеса. Плыли по сторонам нивы. Сияло солнце. Дорога, точно ручей, вилась по лесу. За лесом началось село. Ехали через плотину. Функе высунулся из повозки. Справа от плотины стояла тонким облачком белая пыль. Тарахтело колесо мельницы. Водяные брызги упали на лицо Функе, приятно освежили. Перед мельницей теснилось множество телег. С краю плотины стоял дед с палочкой. Сначала он с любопытством посмотрел на повозку, но тут же равнодушно отвернулся. Кто только не ездит теперь через село Качинцы? Недаром лежит оно на шумном и беспокойном тракте из Варшавы на Чигирин.

Функе проехал село. Перекрестился на церковные купола. Любовался хатами. Казалось - ему улыбаются синие петухи, намалеванные на стенах. Подсолнечники тяжело гнулись через плетни, точно кланялись проезжим. Пес полаял на повозку, но, разморенный солнцем, отстал. Дробно стучали колеса. Миновали село. Снова вдоль дороги потянулись нивы. Бежали по всему окоему золотые волны хлебов. Косы блестели на солнце.

Вальтер Функе возвращался из Варшавы в Чигирин. Он намеревался навеститься еще в Киев, а если все будет хорошо, Функе поедет в Белгород. Много дел в этом году у негоцианта на казацкой земле. В Варшаве Функе страшали: <Смотрите, ездить по этим казацким шляхам не совсем безопасно. Бродят разбойники, да и само войско гетманское не брезгует ничем>. Вальтер Функе не боялся. У него в кармане лежала грамота от генерального писаря Ивана Выговского. В этой грамоте было написано, что Функе особа неприкосновенная, никто не имел права чинить ему препятствия, никто не имел права обижать его.

Под сиденьем повозки стояла шкатулка. В шкатулке лежала тетрадь в кожаном переплете. Когда Функе останавливался на ночлег в селе или в городе, возчик, татарин Сабит, вносил шкатулку в дом. Отдохнув, негоциант ставил на стол чернильницу, вынимал из деревянной коробочки гусиные перья, раскрывал тетрадь и начинал записывать. Будучи уже в летах, Вальтер Функе считал неосмотрительным полагаться на свою память.

Большое впечатление произвела на него Умань. Он был в гостях у полковника Глуха. От чистого сердца подарил полковнику кусок ценного шелка. Пил за здоровье пани полковниковой. Три дня там отлеживался на коврах. Повозка была прочная, но не слишком

удобная, и это давало себя знать. Про Умань Функе записал: <Дома тут высокие. Имеют красивые округлые окна с разноцветными стеклами. Над входом висят иконы. Построены дома из дерева, дерево гладко отесано и отполировано. Людей знатных и богатых в сем городе немало. По городу возят мед, пиво в больших бочках на телегах. А также хлеб доставляют возами, а рыбу кинтарами*>.

* К и н т а р - мера веса.

Написанное Функе присыпал песком из бархатного мешочка. Подождал, пока чернила подсохнут, осторожно ссыпал песок в мешочек, перевернул страницу. Писал дальше:

<По дороге видел при каждом селении пруд, возле него мельница. Плотины густо обсажены деревьями. На прудах множество желтых и белых цветов. - Функе задумался. - Видел много злаков на обширных нивах, кои произрастают сами по себе и без обработки>.

За окнами смеркалось. Писать стало труднее. Он спешил. Надо было еще записать о том, что <богатства в казацком краю - без числа. Куры, гуси, утки, индюки во множестве гуляют в полях и лесах, кормясь вдали от городов и деревень. Они кладут свои яйца среди леса и в скрытых местах, и по причине их множества их никто не разыскивает>.

Больше всего поражали Функе разнообразные домашние животные. Лошади, коровы, козы, овцы, волы... И все откормленные, хорошей породы. Вальтер Функе жмурился от удовольствия при одном воспоминании. Одобрительно кивал головой. В тетрадь он записывал: <Свиньи у них поросются три раза в году. Первый раз приносят одиннадцать поросят, во второй - девять, в третий семь...>

Вальтер Функе оставил Умань на заре. Еще хотелось спать, но пора было отправляться в дорогу. Дела не ждали... С удовольствием вспоминал беседы с полковником Осипом Глухом. Ему понравился неторопливый и рассудительный воевода. Они поняли друг друга.

Пухлой рукой Функе прикрыл зевоту. Повозка катилась по лесу. Кедровые и сосновые, похожие на кипарисы, стояли стеной, заслоняя полнеба. Негоциант приближался к цели, - скоро и Чигирин. Возчик-татарин тянул однообразную и печальную песню. Вальтер Функе не останавливал: пусть поет, если это ему приятно. Он думал свое. У него не было времени прислушиваться к песням. Песни его не касались. Расчесывая пальцами рыжеватую бородку, он прикидывал, сколько прибыли получит фирма к концу года. Прибыль получалась немалая.

До первого снега Функе должен возвратиться в Гамбург. По дороге еще были дела во Франкфурте. Дела, дела, дела... Вальтер Функе вздохнул. Возчик пел скучно и тоскливо. Лес кончился. На пригорке показались стены города. Вальтер Функе ехал в Чигирин через Белую Церковь. Хотя ему и не совсем по пути, как сказал он белоцерковскому полковнику Михайлу Громыке, но он столько хорошего слышал про город от самого генерального писаря, что грех было бы не заехать и не повидать красу и гордость Украины.

Михайло Громыка был доволен. Он любил свой город и рад был, что чужеземец так хорошо говорил о нем.

Функе ходил по городу, разглядывал дома. Зашел на ярмарочную площадь. Слушал хор в церкви во время воскресной службы. Заходил в лавки. Смотрел товары на полках. Хвалил местный коленкор, а сукно не понравилось ему. Назвал себя купцу. На следующий год здесь будут торговать его, Функе, сукнами, шелком, ароматами и прочим.

...Ночью Функе сидел в своей горнице над тетрадью в кожаном переплете. Функе писал: <Домашнее устройство в сей стороне такое: внутри дома скамьи идут вдоль стен, а столы стоят посреди комнаты, на ножках. Постелью служат вышитые ковры. Цветные ткани развешаны на стенах. В каждом доме есть печь на двух столбах, четырехстенная, из выжженной глины, красной или зеленой, а у богатых людей - кафельная, сверху железный навес, который зовется на их языке <колпак>.

Вальтер Функе зевнул. Покусал кончик гусяного пера, прищурил глаз, продолжал писать: <Ехал между реками и лесами, вдоль бесконечных садов. Виднелись нивы разных хлебов, высотой в рост человека, длинные и широкие, как море>.

Мысли перескочили на другое. Перо бежало ровно по гладкой бумаге: <Девушки знатных мещан носят на голове кружочек из черного бархата, вышитый золотом, с жемчугами и камнями, вроде короны, он стоит до двухсот злотых и даже больше. Девушки победнее плетут венки из цветов>.

Он подчеркнул написанное и добавил: <Надо наладить изготовление таких кружочков и завезти их в казацкий край. Написать об этом в Гамбург>.

Чуть пониже Вальтер Функе с особым тщанием написал: <Вокруг города Белая Церковь две линии палисадов, на более длинной, внешней - четыре башни с воротами для проезда, четыре башни глухих; на внутренней линии одна с воротами, одна глухая. К этим палисадам пристроена еще третья небольшая крепостца с таким же палисадом, в нем одна башня с воротами, а три глухие. На башнях и стенах двадцать пушек, медных и железных, разного калибра, от полугривенки до пяти гривенок* в ядре. В трех крепостях восемьдесят четыре пушки исправных, и поврежденные также есть, три тысячи пятьсот железных ядер, много пороха в бочках, много селитры>.

* Г р и в е н к а - мера веса.

Вальтер Функе окончил писать. День все-таки был трудноватый. Завтра до зари снова в путь. Надо было отдохнуть. Он разделся. Открыл окно. Сел на скамью, покрытую ковром. Задумался. Путешествие было довольно хлопотливое. Правда, хлопоты не напрасны. Эти хлопоты дадут деньги. Много денег. Функе облизал кончиком языка засохшие губы. Пора спать. Вскоре он примостился на скамье. Захрапел. Ему снился Чигирин. Рыжий Крайз сидел перед ним, желтыми крючковатыми пальцами перебирал колесики на счетах. Затем колесики превратились в пушки. Они поблескивали дулами на солнце. Функе вздохнул во сне, почмокал губами. За окном закричала сова. Ему почудилось, что это кричит казначей Крайз.

Утром, едва солнце поднялось на небе, Вальтер Функе уже сидел в повозке. Выехали за ворота. Утренняя свежесть была приятна. Лошади бежали легко. На дороге беззаботно порхали воробьи.

27

...В Чигирин Вальтер Функе опоздал. Гетмана он не застал, не застал также и Выговского. Четыре обоза с его товарами и машинами для мануфактур уже прибыли. Вальтер Функе поселился в том же доме, где жил в первый свой приезд. Гармаш гостеприимно встретил купца. Пригласил на обед. За столом сидела вся семья. Дочь Гликерия, красавица с черными косами, сын Дмитро и жена, приветливая пани Килына. Подали яичный суп с пахучими кореньями, рыбу, варенную в молоке, и соус из миндаля. Стоял графин водки и графин виноградного вина.

Вальтер Функе много ел, смешил рассказами о том, как убого живет шляхта:

- Бедно и голо, только гонору много. Не то что здесь, в казацкой земле. Всюду достаток, и всего много.

- Впервые живем так спокойно, - заметил Гармаш. - Гетман у нас голова. Знает, что нужно хозяину. Погоди, купец, не то еще увидишь. Это хорошо, что ты к нам свой товар везешь, мануфактуры у нас будешь ставить. Нам много товара понадобится. А захочешь торговать в других местах - плыви свободно по Черному морю, теперь туркам не до нас. Война с Венецией все им затмила.

Хозяйка перекрестилась:

- Что это за дружба с неверными?

Гармаш замахал руками:

- Что с того? Люди они деловые, богатые. А что закон у них другой это не помеха. Думала польская шляхта замкнуть нас с запада и востока - не вышло по-ихнему. Гетман все предвидел. Все рассчитал, и вот теперь - мир с турками.

Функе одобрительно кивал головой, - разумные, мол, слова говорит хозяин. Прежде всего - выгода, а уже потом - вера. Деньгам все равно, в каком кармане лежать, в христианском или в магометанском, лишь бы им надежно было.

Гармаш засмеялся. Заговорили о гетмане. Гармаш рассказал, что сын гетмана Тимофей во главе большого войска вместе с татарами пошел завоевывать Молдавию. Плохо придется молдавскому господарю Лупулу. Хлебнет теперь горя. Не так казаки погромят, как татары пограбят. Сам гетман сидит в Ямполе со многими полками. При гетмане великие рыцари татарские Нураддин и Калга. А здесь, в Чигирине, его ожидают иноземные послы, да ничего, пусть подождут. Теперь наше время.

Гармаш говорил хвастливо, точно он сам вместе с гетманом решал все важные дела. Разливал горелку и вино.

Вальтер Функе пил вино. Подымая кубок, вставал, кланялся хозяйке. Пил небольшими глотками, зажмурясь. Внимательно слушал все рассказы хозяина. Сам тоже хвалил гетмана. Гармаш разошелся:

- Теперь нам никто ничего не сделает. Захотим - и Варшаву заберем!

Функе соглашался:

- Что и говорить! Великая сила у гетмана Хмельницкого!

После обеда сидели в садике. Прохлаждались. Тихий вечер опускался на землю синими туманными сумерками. Вальтер Функе рассказывал о далеких заморских краях. Хвалил города, в которых бывал. Рассказывал о тамошних обычаях. Гармаш расчувствовался, доверительно сказал:

- Я теперь тоже на гетманской службе и, так сказать, причастен к делам пана Функе. Генеральный писарь поручил мне новую работу - ставлю завод, будем топить железо. А ядер надо много, ой, как много!

Вальтер Функе напряженно слушал.

Разошлись, когда уже совсем стемнело.

Спал Вальтер Функе крепким, спокойным сном. Встал на рассвете. Пош?л к Тясмину. Жадно вдыхал ароматный утренний воздух. Потом купался. Белое тело его, словно груда теста, колыхалось на темной поверхности воды. Вальтер Функе раздвигал легкие волны и думал о Гамбурге. Подумал: то, что Гармаш будет теперь по пороховым делам, - неплохо. Функе понравилось, что купец не держал рот на замке.

День у негоцианта Функе был хлопотливый. Он надеялся застать в Чигирине многих людей, но повидать их не пришлось. Оказалось, они при гетмане. В гетманской канцелярии сидел Капуста, а с ним десятка два писцов. Функе посетил Капусту. Беседа не получалась. Капуста слушал то, что говорил Функе, а сам молчал. На прощанье сказал:

- Если пан Функе уже договорился с генеральным писарем, все будет хорошо. Если ему нужно ездить и покупать лен - пусть свободно ездит. Если будет строить склады для товаров в Киеве и Чигирине - пусть строит.

Функе благодарил. Функе кланялся. Глаза его скользили поверх острого взгляда Капусты, направленного на него. После этой беседы у негоцианта осталось какое-то неприятное ощущение.

Функе ходил по Чигирину, присматривался, искал места для складов. Советовался с Гармашем.

Через несколько дней он поехал в Киев. Там встретился с воеводой Адамом Киселем. Воевода пригласил его к себе на обед. Попивая душистое яблочное вино, Кисель жаловался:

- Плохие времена настали, пан Функе, нет теперь покоя на Украине. Всего два года назад это была уютная и очаровательная королевская провинция, а теперь надумал казак Хмельницкий создать отдельное государство. Все пошло по ветру, паны трясутся от страха за свою жизнь. Чем это окончится - неведомо!

Вальтер Функе внимательно слушал воеводу. Он хорошо знал, куда клонит хитрый Кисель. Но на лице у купца застыло выражение безграничной почтительности и сочувствия. Да, он сочувствовал пану воеводе. Достойному человеку нет теперь места в этом крае. Святая истина!

Так постепенно они заговорили о другом. Не торопясь, Функе рассказал о своей беседе в Варшаве с канцлером Оссолинским. Говорил не много, но вполне достаточно, чтобы

воевода понял значение сказанного.

- Все можно уладить, - сказал он в заключение, потирая руки, - но мы потребуем твердых гарантий. Земли по Днепру, Бугу и под Азовом будут заселены колонистами, мы построим тут большие города, мануфактуры, у нас тут будет свое войско. Рейтары будут охранять Речь Посполитую от татар и запорожцев, а может быть, к тому времени и не будет запорожцев.

Функе замолчал. Вздохнул, покачал головой и допил вино.

- Главное, нельзя терять времени, - добавил он после недолгого молчания. - Если этот огонь не погасить теперь же, скоро будет поздно. Курфюрст саксонский дал позволение набирать наемное войско в его провинциях, мы дадим оружие и деньги, но если их так же кинут на ветер, как под Желтыми Водами и Корсунем, то Хмельницкий успеет войти в союз с московским царем.

Адам Кисель молча выслушал немца. Наглость купца раздражала воеводу, но он ничем не выразил своего недовольства. Придется выслушать все, что скажет немец, с ним не надо ссориться. <Не надо ссориться>, - повторял себе Кисель и в знак согласия то и дело кивал головой.

- Ваша правда, пан Функе, но, поверьте мне, у нас такое положение... Все смешалось, одна надежда, что Европа придет нам на помощь, и первая надежда - на германских князей. Вы должны знать - Хмельницкий мечтает присоединиться к Москве. Эти замыслы зашли уже слишком далеко. Поверьте мне, надежда только на мудрость короля нашего и на помощь Европы.

- Этого слишком мало, пан воевода! - Функе поднялся и заходил по светлице. - Теперь пора действовать, а не надеяться. В лагере Хмельницкого тоже немало раздоров. Почему не воспользоваться этими раздорами, почему не создать новые?

Вальтер Функе, казалось, стал выше ростом. Он стоял перед воеводой, сложив руки на груди, и, не дождавшись его ответа, сердито проговорил:

- Мне кажется, вы дождетесь того, что Хмельницкий всем вам накинёт петлю на шею!

Кисель терпеливо слушал Вальтера Функе, он следил за каждым его движением, словно в самых жестах купца улавливал что-то значительное.

В тот же день, после долгой беседы с немцем. Кисель начал энергично действовать. Через несколько дней Вальтер Функе уже мог с удовлетворением отметить, что эта беседа принесла результаты.

А сам негоциант отдыхал в Киеве, сидел на крылечке, любовался осенним садом, красивыми, переменчивыми видами Днепра. Вечером спускался к Днепру, долго стоял на берегу, наблюдая, как разгружают суда. Губы его шевелились, казалось, он неизвестно для чего пересчитывал мешки, которые сносили на берег. Ночью, достав из шкатулки тетрадь в кожаном переплете, старательно записывал:

<Дома в этом городе великолепны, высоки и построены из бревен, выстроганных изнутри и снаружи. При каждом доме имеется большой сад, где есть все плодовые деревья, какие только у них растут: бесчисленное множество больших тутовых деревьев, привозных, из породы аль-хаззас, с белыми и красными листьями; но их ягодами пренебрегают; есть также большие ореховые деревья; очень много в этих садах виноградных лоз. В огородах, среди огуречных гряд, они сеют много руты и гвоздики. Купцы привозят сюда оливковое масло, миндаль, рис, изюм, табак, красный сафьян, шафран, персидские материи и великое множество хлопчатных тканей - преимущественно из турецких земель, на расстоянии сорока дней пути. Но все это очень дорого. В лавках продают все необходимое из материй, мехов, есть и соболя. Женщины нарядно одеты>.

Функе отложил перо. Задумчиво посмотрел на плотно закрытое темной завесой ночи окно, покачал головой, почесал грудь, вздохнул. Была причина вздыхать. Для чего возить все это добро с юга и с севера? Ей-богу, Функе должен позаботиться, чтобы больше этого не было. Сорок дней пути из Турции или Греции. Разве из Германии за тридцать дней не прибудет тот же товар? Функе вспомнил Днепр. Достал из ящика новое перо, погрыз кончик,

опустил в чернильницу и снова начал писать:

<Хлеб в город доставляют возами, а рыбу кинтарами, по причине изобилия всего этого у них. Рыба дешева и обильна на удивление, всяких сортов и видов, ибо великая река Днепр находится вблизи и по ней ходит много кораблей. Что касается вида судов, плавающих по этой реке, то они огромны; один молодой парень за талер смерил мне длину корабля, и она составила двести пядей. Есть суда длиной в десять локтей, выдолбленные из одного огромного куска дерева; на них ездят в Черное море...>

На сегодня было достаточно. Функе спрятал тетрадь в шкатулку, запер, положил ключик в потайной карман, долго вздыхал, натер грудь бальзамом, что должно было влить в его тело юношескую силу и предохранить от всяких заразных болезней (так уверял его лекарь во Франкфурте, у которого он купил три бутылки с этой розовой жидкостью). Функе лег, накрылся, зевнул, отогнал от себя все заботы и захрапел.

28

...Между тем жизнь шла своим чередом. Скакали верховые от воеводы Киселя в Чигирин, в Полтаву, в Белую Церковь. Темный полог ночи скрывал от любопытного людского глаза то, что должно было пока что остаться тайной для многих, но впоследствии вызвать удивление и принести радость Варшаве.

Воевода Кисель стоял на коленях перед образами. Воевода Кисель, верный слуга Речи Посполитой, молился православному богу; у тускло озаренного розовым огнем лампадки образа он просил смерти и кары для бунтовщика Хмельницкого.

Воевода был преклонных лет. Ему трудно было ездить верхом, даже стоять на коленях перед образами, и он с грустью думал о своей злой судьбе. Насколько лучше и покойнее было бы сидеть теперь в Варшаве, чем в этом враждебном и чужом Киеве! Но воевода знал - его место здесь. Так сказал канцлер Оссолинский, такова была воля короля Яна-Казимира. Он православный и должен доказать королю и сейму, что воевода Кисель - верный слуга Речи Посполитой, а не какой-нибудь там наемник. А главное - у него были большие имения, много земель, луга, леса. Чьи они теперь? Воевода вздыхает. Одна надежда оставалась: издохнет Хмель - и тогда конец всем мукам, всем страданиям.

...Воевода возводит глаза к темному лику иконы: <О, надоумь проклятого Хмеля пойти вместе с татарами на Москву! Всели в него, боже, эту дерзновенную мысль! Надоумь его, боже! Если бы так случилось, о, если бы так случилось!>

Пан воевода знает, что тогда было бы. Конец тогда Хмелю и всем этим хмелятам. Конец раз и навсегда. Тогда на долгие годы, навеки будет усмирена хлопская Украина.

В глазах воеводы горят зловещие огоньки. Перед глазами маячат стены московского Кремля, падают кремлевские башни, реками льется кровь, а в Варшаве играет музыка, и на Вавеле, в Кракове, в древней столице королей польских, гремят салюты в честь спасителя королевства, воеводы Адама Киселя, и сам папа римский шлет ему свое благословение, и король жалует ему высокие награды и титул князя Речи Посполитой...

...Темная ночь сторожит за окнами. Ветер дергает ставни. В Чигирин посланы верные люди, - размышляет воевода. Прежде всего - покончить с ненавистным Капустой. Тогда сразу легче будет руками полковников накинуть петлю на шею Хмельницкого.

- Боже, надоумь, боже, благослови! - шепчет Адам Кисель. И он видит, как издыхает на колу своевольный гетман Богдан Хмельницкий. Хитро сплетена паутина. Еще немного времени - и крепкие сети опутают вожakov Украины. Воевода уверен в этом. Теперь он думает об одном: дожидаться бы этого. Дожить. Хорошо им там, в Варшаве, посылать приказы, требовать, покрикивать. А попробовали бы сами сидеть тут, в пасти зверя! В самом пекле! Что бы тогда запели? Знают ли, сколько часов стоял под образами Адам Кисель? Сколько часов молил он смерти для Хмельницкого? Кто знает, сколько часов вымаливал он у бога благословение тем, кто по его приказу понес смерть Капусте, Богуну, Нечаю, Суличичу; тем, кто должен был надоумить Хмельницкого поднять руку на Москву вместе с татарами, чтобы затем Польша могла одним ударом расправиться и с ним, и с Москвой.

Усталый, ложится воевода на жесткую постель, закрывает глаза и пробует уснуть. Но

сон бежит от него. Из темноты возникает лицо немецкого негодника Вальтера Функе.

...День был хмурый. Туман с Днепра плыл низко над крышами домов. Воевода Адам Кисель диктовал письмо к гетману Хмельницкому. В письме было много слов о рыцарстве и высоком благородстве гетмана, о том, что он должен быть верным слугой Речи Посполитой. Все это было вначале. Голос воеводы стал льстивым, когда он, закрыв глаза, диктовал писцу:

- <Еще раз напоминаю тебе, гетман, что срок подачи реестров давно прошел и его королевское величество неоднократно спрашивал: когда же гетман подаст реестры? Промедление в этом важном деле вызывает недовольство твоей особой и дает право кое-кому делать тебе обидные упреки и подозревать в нежелании быть верным слугой его королевского величества. Точно так же сейм недоволен многочисленными нарушениями установленных рубежей и нападениями казацкого войска на маекности подданных короля. Смута стоит во многих местах, и законных владетелей маекков казаки и посполитые не пускают в их имения. Твоим универсалам, гетман, они не подчиняются, и разбою нет конца. Наслышаны в Варшаве, что ты, гетман, замыслил податься под руку московского царя. Эти слухи вызвали беспокойство, и там ожидают твоих пояснений...>

Закончив диктовать письмо Хмельницкому, воевода отпустил писца и сел за стол. Теперь надо было написать королю Яну-Казимиру. Нелегко Киселю писать это письмо. Тяжело вздыхая, шевелил пересохшими губами и старательно выводил на пергаменте слова, исполненные глубокого уважения к ясновельможному королю Речи Посполитой. Не к чему было скрывать от его ясновельможности те беды, которые постигли теперь воеводу и всю верную ему шляхту. Итак, воевода писал:

<Хмельницкому, ваша милость, не верьте. Все письма его - один обман, каждое слово дышит неправдой, и ненависть его к вам и ко всей шляхте безмерна. Он все больше и больше склоняется в сторону царя московского и шлет туда своих послов. Перехвачены мною письма от воеводы путивльского Протасова к Капусте, и из этих писем видно, что москвиты готовы дать помощь здрайце Хмельницкому и выжидают только удобного момента, чтобы с вами, ваша ясновельможность, милостивый мой повелитель, мир нарушить, а пока что выигрывают время для подготовки войска. Уведомляю также вашу королевскую милость, моего милостивого господина, что чернь на Украине прибегает к разным способам, лишь бы избежать подчинения своим панам.

Одни продают свое имущество и нанимаются в слуги казакам, другие бегут за Днепр. А много есть таких, которые целыми хуторами перебираются на Московщину, и воеводы русские приграничные препятствия им не чинят, а принимают их на свои земли. Что будет нового - обо всем не премину уведомлять вашу королевскую милость, а теперь заканчиваю письмо свое наинижайшей просьбой уведомить меня как можно скорее, должен ли я тут укрепиться или думать об отъезде. Если ваша королевская милость, мой милостивый господин, прикажет мне оставаться тут, то я, пребывая постоянно среди опасностей, не могу обойтись без помощи, ибо всем ведомо и сам бог свидетель, что я ни гроша не получаю дохода из своих заднепровских маекков, а между тем содержу триста человек на свое мизерное жалованье при теперешней дороговизне, когда двух тысяч злотых еле хватает на неделю. Мне необходимо получить пособие из государственной казны по милостивой ласке вашего королевского величества, господина нашего милостивого. Тяжко тут нашим людям добыть даже продовольствие, ибо местные жители не хотят ничего давать своим панам, а тем более - жолнерам. Уведомляя о всем вышенаписанном ваше королевское величество, господина своего милостивого, повергаю себя и своих верных подданных к ногам вашего королевского величества, своего милостивого господина, как верный подданный и наипокорнейший слуга. Адам Кисель, воевода киевский>.

В соседнем покое шелестели приглушенные коврами шаги. Казалось, все в доме Киселя было как бы одето в траур. А за его стенами, за высокой каменной оградой, бушевала жизнь. Как раз в городе начиналась ярмарка, и множество людей из дальних городов и сел съезжались на торжище со своими изделиями и товаром. Над Днепром, на широкой равнине, арабы раскинули шатры, тут же стояли привязанные к столбам верблюды, и вокруг них по

целым дням толпился народ. Арабы в шелковых бурнусах и высоких белых чалмах раскладывали на деревянном помосте разноцветные шелка; черные, как земля, негры, сверкая белоснежными зубами, расхваливали сушеные финики, шафран и апельсины; рыжий англичанин, засучив рукава, показывал кучке людей хитрый ящичек, который сам играл песни; ловкие загорелые мадьяры водили среди толпы норовистых тонконогих коней, и гуляка-ветер, как крылья, раздувал их смоляные гривы.

Вальтер Функе бродил по ярмарке. Ярмарка, собственно, только еще начиналась, но уже теперь можно было сказать, какой размах получит она через несколько дней. Вальтер Функе присматривался. Где же разбой, о котором так красноречиво и долго говорил ему воевода Кисель? Все тут было, как в лучших городах Европы. Спокойствие, порядок, все как на настоящей ярмарке.

Вальтер Функе прошел в ряды, где купцы торговали его изделиями. На деревянных столах лежали хлопчатные ткани. Возле них стояли мужчины и женщины. Щупали руками. Покупали. Вальтер Функе довольно улыбался.

В полдень он был у воеводы. Его угощали обедом. Слуги подносили кушанья на серебряных блюдах. Наливали пенное венгерское вино в венецианские кубки. За столом сидели Функе и Кисель. Сегодня купец говорил с воеводой уже спокойнее, чем несколько дней назад.

- Завтра чуть свет еду в Чигирин, - объявил негоциант, - побуду там недели две - и снова дальше...

- Завидую вам, - грустно сказал воевода. - С какой радостью поехал бы я в Варшаву или в немецкие земли! Что за жизнь здесь, среди дикарей!

- Не говорите так, не гневите бога! - возразил Функе. - Толки о дикости этого края преувеличены. Надеюсь, что под благословенной рукой короля Яна-Казимира край будет процветать и дальше, а наши рейтары научат дикие племена уважать короля...

- Что и говорить, на вас великая надежда... А какую прибыль вы тут получите, в этом уж извольте сами, мой дорогой пан, убедиться.

Вальтер Функе не ответил. Мечтательно смотрел вдаль.

- Хорошее у вас вино, - сказал он, помолчав, - ничем не отличается от рейнского.

Обед затянулся. Воевода радушно угощал. К каждой перемене блюд подавали другое вино. Вальтер Функе пил много, но напрасно надеялся Кисель, что немец опьянеет. Наоборот, чем больше пил, тем молчаливее становился и все рассудительнее высказывал взгляды на польско-украинские отношения.

Пока немец сидел в Киеве, пока Кисель употреблял, как ему казалось, чудодейственные меры, чтобы незримо набросить цепь на <бешеного зверя> Хмельницкого и навсегда усмирить его, в Чигирине делал свое дело Лаврин Капуста, и ни один шаг Вальтера Функе, как ни один шаг киевского воеводы, не оставался вне его внимания. Ежедневно в тайную гетманскую канцелярию поступали обстоятельные сообщения об этом, и Капуста особенно старательно изучал их.

29

...По повелению короля, коронный гетман Николай Потоцкий отправился в объезд подчиненных провинций, чтобы своими глазами удостовериться, как соблюдает Хмельницкий пункты Зборовского договора.

Коронный гетман охотно отправился в путь уже потому, что имел свои замыслы, связанные с положением на Украине. Не раз по дороге, сидя в своей карете, окруженный многочисленным конвоем драгун, Потоцкий с упреком вспоминал канцлера Оссолинского, который, как полагал коронный гетман, был человеком недалеким и к тому же не лишенным трусости. Разве не по милости Оссолинского пришлось заключить позорный мир под Зборовом (да именно позорный, а не какой-нибудь другой) с этим схизматиком, который так дерзко вел себя на приеме у короля?..

Пусть кто хочет считает этот Зборовский мир почетным, но не он, коронный гетман, который благодаря зdraйце Хмелю свыше года пробыл пленником татарского хана. Еще и

теперь злоба охватывает коронного гетмана, когда он вспоминает эти дни. Как низкую тварь, как хлопа, отдал его проклятый Хмель после корсунского поражения татарскому хану. Больше половины наследственных имуществ пришлось отдать хану, чтобы добыть волю. Да что имущество? Единственный сын погиб в страшных муках под Желтыми Водами. И вот теперь канцлер и трусливые сенаторы, чересчур осторожные советники его милости короля, только и твердят: <С Хмельницким надо жить в мире, ссора с ним грозит страшными последствиями...>

Жалкие люди! Не мир, и не мирные переговоры! Сабля и меч! Мушкет и пушка! Вот речь, с какою надо обращаться к Хмелю и хмелятам!

От староства до староства, от города к городу неторопливо двигалась карета коронного гетмана. Потоцкий останавливался в местах стоянок кварцяного войска, тщательно допытывался, что слышно, как ведут себя казаки, какие вести приходят из Чигирина. Все интересовало коронного гетмана. И он должен был признать: большой радости от того, что он узнал и увидел, не было.

<Что ж, тем лучше>, - решил Потоцкий.

Его предсказания сбывались. Слишком легкомысленны были те, кто поверил посулам Хмельницкого, кто считал, что он сдержит свое слово в отношении сорокатысячного реестра.

Уже на обратном пути в королевство, возле Люблина, Потоцкого нагнал гонец с письмом от подкомория Млынковского из Бара.

Письмо это опечалило коронного гетмана и еще раз утвердило его в решении не давать никакой веры обещаниям Хмельницкого.

Подкоморий извещал, что казацкие отряды пришли в Шаргород, Винницу и Браилов. Намерений их разгадать нельзя, - писал подкоморий. Но коронный гетман эти намерения хорошо понимал: Хмель хотел держать свое войско поближе к границам, чтобы проклятым зельем бунта кружить головы посполитых и в нужный час быть поблизости от границ королевства. Подкоморий жаловался еще, что казацкие отряды повсюду выставили стражу, которая не позволяет шляхетным людям скупать хлеб в этих местностях, а купленное стража отбирает. Жителям Подолии стража запретила свободный проезд в Барское староство и не позволяет возить на ярмарки товары или что-либо иное. И на все жалобы подкомория казацким сотникам один ответ: таков приказ гетмана Хмельницкого.

Коронный гетман дважды внимательно перечитал письмо подкомория и даже улыбнулся. Нет, не с убеждениями и переговорами надо обращаться к зверю. Снова объявить посполитое рушение. Только война могла усмирить развращенных хлопов и смыть зборовский позор.

В тот же вечер коронный гетман отправил из Люблина подробное письмо королю. Излагая действительное положение вещей на Украине, коронный гетман совершенно недвусмысленно писал:

<...Желают ли эти хлопы добра Речи Посполитой, не оживут ли они к весне вместе с Москвой - оставляю это глубокому суждению вашей королевской милости. Я же по этим поступкам вижу, что они хотят окончательно сбросить с себя ярмо подданства, и дай боже, чтобы не задумали установить линию между державою вашего величества и теми провинциями, которые они заняли, чтобы иметь отдельное от вашей королевской милости владение, как это все говорят. Хмель приманивает к себе всех хлопов. Уже хлопы к нему таборами идут. На пункты договора, ваше величество, надеяться нельзя. Если они такие верные подданные, и Хмельницкий верный и совестливый слуга, почему он так часто посылает послов к хану, подстрекая его на войну? Почему разных монархов и князей приглашает к союзу в войне? Почему обещает им уступить некоторые провинции? Я так понимаю, что из прирожденного своего лукавства он недоброе замышляет против вашей королевской милости. Но допустим, не предупреждая событий, - писал далее Потоцкий, - что Хмельницкий будет честным, памятуя о ласке и доброте вашей королевской милости, и захочет удержать чернь в повиновении. Как же он, спрошу вас, удержит ее, если у нее так раскатились колеса своеволия, что их никаким способом остановить нельзя? Разве у них

один Хмельницкий? Их надо бы считать тысячами! Одного сегодня казнят - на его место выберут другого, более способного, более умелого и при том такого, который будет держать их сторону. В этом я убедился под Кумейками: зимой уничтожил Павлюка - к весне появился Острианин. Разгромил я Острианина - в тот же момент избрали региментарем Гуню. Чума прибрала Кривоноса - на его месте Нечай, Морозенко, Богун. Все комиссии, сколько их ни бывало, никогда не кончались без кровопролития, и пока хлопство не увидит сильного войска с нашей стороны, и земля не окропится кровью, пока сабли не притупятся на их шеях, до тех пор, ваша королевская милость, это своеволие не угомонится и совестливыми хлопы не будут>.

Письмо коронного гетмана прибыло в Варшаву и сразу же попало к канцлеру. Не найдя в нем ни одного слова о себе или намека, так или иначе направленного против него, канцлер поспешил отдать письмо королю. Надо сказать, что письмо достигло своей цели. Его прочитали также кардинал-примас и папский нунций Иоганн Торрес.

Если коронный гетман и знал, что письмо его найдет внимательных и прилежных читателей, то уж он никак не думал, что в числе их будет Хмельницкий. Но, может быть, внимательнее всех прочитал письмо Потоцкого именно Хмельницкий. И не один раз прочитал.

Копию этого письма добыл Малюга, и однажды Капуста положил в Чигирине перед Хмельницким смятый листок бумаги, привезенный из Варшавы на дне ящика с драгоценной венецианской посудой, которую прислал в подарок гетману бывший посол Венеции Альберт Вимина. Велико было бы удивление синьора Вимины, если бы он узнал, какое послание путешествует в его дубовом ящике под тяжелыми графинами и кубками. Но этого, кроме Малюги и купца, у которого была куплена посуда, никто не знал.

Только Капуста, рассказывая гетману, каким путем добралось это важное письмо коронного гетмана, пошутил:

- Не поблагодарить ли пана Вимину и за то, что в его ящике нашлось место для исповеди пана коронного гетмана?..

А Потоцкий, прибыв в Варшаву, убедился, что его люблинское письмо произвело большое впечатление на короля. Король согласился выдать указ на посполитое рушение. Речь шла только о сроках.

КНИГА 3

1

...Миновала зима 1651 года. Покрылись робкой, нежной зеленью берега рек. На тысячи миль лежала дикая степь. Из далеких южных краев шли на Украину ровными треугольниками журавлиные стаи.

Весна приближалась, солнечная, ветреная, загадочная.

Мартын Терновый сопровождал гетманича Тимофея Хмельницкого в Крым. Когда Мартын услышал, что в Бахчисарай выезжает посольство и Лаврин Капуста подбирает людей сопровождать Тимофея, он опрометью кинулся к Капусте. Чуть в ноги не повалился. Капуста знал, почему так просится в эту поездку казак Терновый. Успокоил его:

- Добро, поедешь.

...И вот Мартын едет степью. Навстречу то и дело попадаются казацкие загоны, торговые обозы со стражей, множество людей верхами, на телегах, пешком. И все на Чигирин, Корсунь, Киев.

Когда вдали возникли подернутые дымкой просторы Дикого Поля, людей стало меньше. Ехали осторожнее, береглись, как бы внезапно не наскочить на татарскую засаду, высылали вперед разведку, ночью на стоянках выставляли дозоры.

Дикое Поле встретило ветрами. Прошлогодний курай катился до самого края неба. Ночью над головами бездонная ласковая синева. А в сердце у Мартына тревога. Он исхудал, побледнел. Затуманенным взором смотрит он вдаль, поглядывает на небо, слушает, как рассыпают веселое <курлы> журавли, а сам ничего не замечает и не слышит. Неотвязно стоит у него перед глазами страшная ночь, пережитая зимой в Красном... Из круговорота

воспоминаний память выхватывает: мушкетный выстрел, звон стекла, крик сотника Булавенка, упавшего на пороге под тяжким ударом шляхетской сабли.

...Драгуны Калиновского наскочили среди ночи. Ворвались в Красное сразу со всех сторон. Знали, проклятые, что полковник Нечай ночует в поповском доме... Данило Нечай в одной рубахе, с саблей в руке, вскочил на неоседланного коня. Крикнул Мартыну и еще несколькими казакам:

- За мной!

Мартын рубился бок о бок с Нечаем, и вокруг них, как капустные кочаны, валялись головы жолнеров. Казаки пробились к замку и засели за стенами. Но нечего было и надеяться, что отобьются. Железным кольцом охватили замок жолнеры Калиновского. Яростно кричали казакам:

- Выдайте нам Нечая - всем жизнь даруем!

Нечай понимал: спасения не будет. Раненный в плечо и голову, он на миг прислонился к каменной стене, чтобы перевести дух. Поманил пальцем Мартына. Как сейчас, видит Мартын горячий блеск Нечаевых глаз, слышит его хриплый голос:

- Приманим огонь на себя, а ты через восточные ворота вырвись, скачи к гетману, пока не поздно, скажи - Нечай... - Замолчал. Подумал и махнул рукой: - Нет, не надо... Скажи - Калиновский ударил, хочет захватить Брацлав и прорывается на Винницкий шлях... Надо, чтоб знал гетман, Богун... Скачи, Мартын!

- Может, и вы со мною... - робко предложил Мартын.

Полковник гневно толкнул его в грудь:

- Нечай не бежит. Запомни это, казак. Скачи! Не мешкай!

И вдруг бессильно опустился на землю.

- Воды! - простонал он.

Воды не было. Мартын наскреб горсть снега и поднес к губам Нечая.

- Продали меня, - сказал полковник, отдышавшись. - Знаю, кто продал. Подлюга Ковалик Демид. И Капусту, видно, продает. Ты скажи там, чтоб не верили. Вчера, когда он письмо привез, был не один, а с каким-то шляхтичем, мне сразу подумалось: что-то неладно. А нынче днем, как проведал, что я еду в Красное, исчез, - видно, к Калиновскому подался. Ты передай. Ну, будет. - Держась руками за стену, поднялся, обнял Мартына. Прощай, Мартын. Иди.

...Привольно в степи. Катит ветром курай. Среди рыжих, выжженных прошлогодним солнцем трав мелькают ранние, нежные цветы. Далекий стелется путь. Можно думать, вспоминать, мечтать. Молча едут казаки. Каждый погрузился в свою думу.

...Снова перед глазами Мартына зимняя ночь. Вьюга, лютый ветер. Колючий снег засыпает глаза. Храпит конь. В небе пылает зарево: это жолнеры жгут села. Конь бешено бьет копытами утоптаный шлях. У Мартына одна мысль: скорее бы доскакать до Чигирина. Скорее!

Около села Верхний Брод, в десяти милях от Чигирина, конь пал. Мартын бросил коня, седло, побрел пешком. Постучался в первую дверь на околице. Прохрипел в лицо заспанному селянину:

- Коня!

Мужик только охнул, увидев лицо Мартына. Метнулся в конюшню. Через минуту Мартын скакал дальше. А на рассвете стучался в чигиринские ворота. Недовольному сторожу только крикнул в упор:

- Нечая шляхта обложила!

...Шелковыми волнами плещет в лицо ветер с юга, а Мартыну чудится, что глаза ему засыпает снег, что вокруг та страшная февральская ночь. Вот перед ним сухощавый, низенький Капуста, вот гетман, положив ему руки на плечи, вытягивает из него слова, а Мартын уже ничего не может сказать, язык отнялся, бешено колотится сердце...

Через несколько дней дознались. Погиб полковник Данило Нечай. Только несколькими казакам удалось вырваться из осады. Они завернули в попону отрубленную польскими

жолнерами голову Нечая и привезли ее в Чигирин.

Жолнеры Калиновского сожгли Красное, а затем двинулись на Шаргород, Мурахву, Черниевцы. Остановясь под городком Стена, пробовали взять его, но казаки, посполитые и мещане отбили приступ, и тогда войско Калиновского повернуло на Ямполь, где как раз в это время происходила ярмарка и не было никакой охраны. Жолнеры ворвались в Ямполь, порубили множество безоружного народа, разграбили город и сожгли его...

Мартын Терновский остался на службе в гетманском полку. Гетман не сидел на месте. То жил в Умани, то в Белой Церкви, с неделю гостил в Корсуне, у Ивана Золотаренка, ездил под Чернигов. В Чигирине оставался Капуста, и Мартыну не раз приходилось по его поручению разыскивать гетмана, возить ему грамоты.

Едет Мартын по степи и мучится. То надеждой себя тешит, то охватывает его тоскливое отчаяние. Кто знает, найдет ли он Катрю? Сколько месяцев прошло? Все могло стать. Лишь бы какой беды не приключилось с ней. А может, погибла Катря? Может, продали ее в Туретчину? Но Иван Неживой уверяет, что татары красивых дивчат в Туретчину не отдают. Немалый раздор из-за того между султанским визирем и ханом...

Посольство гетмана не мешкало. Приказ Хмельницкого был - ехать быстрее и добиться, чтобы орда еще до Пасхи выступила на помощь гетманскому войску. Тимофей ехал впереди, с ним рядом - сотник Иван Неживой.

- Поедешь, старый лев, с молодым орленком, - напутствовал гетман сотника, - научишь его разуму казацкому, недаром ты зубы проел на татарских плутнях. Язык знаешь, людей среди них знакомых имеешь, даже друзей...

- Как не иметь, гетман, - отозвался Неживой, - пять лет пленником хана был. Они меня помнят, я - их.

Гетман наказывал: вручить подарки хану, визирю, мурзам, а где надо деньгами подмазать, для этого велел казначею Крайзу выдать послам десять тысяч злотых. Если татары будут спрашивать Тимофея, поехало ли гетманское посольство в Москву, говорить одно: <Того не ведаю. Я к тебе, хан, с отцовским поручением прибыл - напомнить, что пришла тебе пора выполнить договор и выступить с войском>.

Посольство не останавливалось ни в городах, ни в селах. Лишь в низовьях Днепра задержались на полдня у Кодака. Из крепости выехало навстречу несколько всадников. Узнав, что за люди и куда путь держат, отворили ворота. В честь гетманича пять раз прогремели пушки с валов. Тимофей наедине говорил с атаманом Тарасенком. Передал, что гетман велел атаману немедля быть в Чигирине, есть для него важное поручение.

- Панов пощипать? - спросил, посмеиваясь, Тарасенко.

- Не ведаю, пан атаман, - уклончиво ответил Тимофей.

- Что ж, - молвил Тарасенко, отодвигая квартиру с медом, - поеду. Правду сказать, нудно тут, одна отрада - стреляем из луков по беркутам. А помнишь, Тимофей, как этот Кодак страшен был нам два года назад?..

Тимофей не забыл. Разве забудется та глухая ночь... Шли берегом, кроясь в камышах, не жгли костров. Тогда в Кодаке стояло кварцянское войско, тогда еще страшны казались панцыри и пушки... Все прошло!

- Правду отец говорил по-латынски: <Ману факта, ману деструо>, весело сказал Тимофей.

- <Рукою сделано, рукою разрушаю>, - отозвался задумчиво Тарасенко, хорошо сказано. Не ждали паны, что мы с ними так рассчитаемся. Не ждали. Снова быть войне, Тимофей?

- Не миновать.

- Повоюем. - Тарасенко потер лоб загорелой жилистой рукой, на которой нехватало двух пальцев. Заметив взгляд гетманича, пошевелил короткими обрубками. Пояснил: - За это благодарить я должен тех, к кому путь держишь. Ну, может, когда-нибудь посчастливится, отплачу.

- Для них свое время!

В маленькой горнице было прохладно. В печи слабо горел огонь. Тимофей зябко повел плечами. Налил себе в кубок меду, выпил. Тарасенко поднялся. Сквозь оконце, затянутое пузырем, слабо просеивалось солнце.

- Пойду прикажу, чтобы на дорогу поесть дали твоим казакам, а ты на лежанке опочинь малость, не повредит.

Тимофей прилег. Слушал, как за стеною кричал на кого-то Тарасенко. Потом отдался своим мыслям. Вторично ехал он в Бахчисарай. Как говорил хитрый турок Осман-ага: <Все реки текут в Черное море>. Да и он ему неплохо тогда ответил! Закрыв глаза. Замелькали чигиринские дни, заботные и тревожные. Вот и теперь, как вспомнишь их, тяжело на сердце. Много усилий стоило уговорить отца, чтобы послал его в Бахчисарай к хану. А все из-за проклятого Выговского. Обожди, писарь! Дождешься своего злого часа. Крутил, крутил, а все-таки по-твоему не вышло. На изможденном, суровом лице Тимофея промелькнула легкая усмешка и тотчас растаяла. Другие заботы растопили ее. Управится ли он там, в Бахчисарае? Должен! Хан хитер, визирь - коварен. Он это хорошо знает.

Сердце волновало еще иное. Виделся ему далекий край и далекая девушка с чудесным именем Домна-Розанда. Не задумал ли он, Тимофей, неосуществимое? Может быть, прав сотник Неживой, когда говорит: <На что тебе Лупулова дочка, не годится казаку брать в жены дочь господаря, не с царями тебе родниться>. Смешно! Почему бы и не жениться на дочке господаря? Даже отец одобрил. С тех пор как Тимофей увидел в Бендерах Домну-Розанду, покой оставил его: одной надеждой жил - снова увидеть. У отца, - он говорил Тимофею, - были свои замыслы: женится Тимофей на Домне-Розанде - Лупул будет верным союзником против короля польского.

Не спалось Тимофею. Поднялся с лежанки, торопливо надел кунтуш и вышел из дому. На майдане уже ожидали казаки. Мартын Терновский, хмурый и молчаливый, подвел гетманичу коня. Садясь в седло, Тимофей пошутил:

- Не тужи, брат, вызволим твою Катрю!

Конь гетманича нетерпеливо заржал. Тарасенко стиснул на прощание руку Тимофею:

- Счастливо!

- В Чигирине встретимся, - ответил Тимофей, хлестнув плетью горячего коня.

...И снова степь кругом. Низовой ветер с силой бьет в лицо. В степной беспредельности плывет казацкая песня.

На шестой день пути показались белые стены Бахчисарая. Под городом посольство встречали давние знакомцы: брат хана Калга и мурза перекопский Карач-бей с сотней ханских сейманов.

Когда Мартын увидел озаренные сверкающим солнцем стены Бахчисарая, у него тревожно забило сердце. Там Катря! За этими стенами мучится она. Тяжелая злоба против лукавых татарских мурз подымалась в нем. Крепко, до боли в пальцах, стиснул рукоять сабли. Сотник Неживой тронул его локтем, тихо проговорил:

- Не дури!

Вечером Мартын сидел на пороге дома, отведенного для Тимофеевой свиты неподалеку от ханского дворца. Рядом, опершись о притолоку, попыхивал люлькой Иван Неживой. Цедил сквозь зубы:

- Терпи, казак. Ко всему приготовься, сынок. Эти разбойники все могли сделать с твоей невестой. Добра от них ждать нечего. Нашею кровью и слезами кормятся. Твое ли только горе за этими стенами проклятыми? Сотни лет грызут, как гиены, тело нашей Украины хан и его захребетники.

- Покончить с ними надо! Чего ждем?

- Горяч ты, Мартын. Так и я когда-то говорил, когда мою жинку в полон угнали. Такой лютый был - вот, кажется, сам все это логово разнесу. А ведь нельзя! Дай с одним врагом управиться - со шляхтой, а после и татары свое получат.

- Сразу бы с ними покончить, - сумрачно проговорил Мартын.

- Так думаешь потому, что Катерина твоя тут. Нет, сынок. Не с татар начинать. Король

и шляхта страшнее. Уния - как моровая язва для нас. С церкви начинают паны, знают, на какой крючок рыбку брать. Сначала униаты свое возьмут, а там и не опомнишься, как и в костел заставят итти и уж навечно ярмо панское наденут. Тогда и подыхай из роду в род хлопом. Хмель верно поступает, что старается сперва от панской неволи избавить край наш. И хорошо делает, что бережется: как бы Варшава хана не подговорила в спину нам ударить...

Мерцали в небе крупные звезды. Перекликалась стража перед ханским дворцом. Темно было на душе у Мартына.

На другой день Мартын попал в ханский дворец. Тимофей велел ему быть при своей особе, сопровождать его к визирю. Мартын шел вслед за гетманичем, между рядами ханских сейманов. Вдоль стен и возле каждой двери стояли мускулистые аскеры. Мартын внимательно присматривался к окружающему. Щекотал ноздри сладкий запах расцветших роз, но Мартыну было горько. Пока Тимофей говорил с визирем. Мартын попробовал завязать беседу с ханским аскером. Припомнив все татарские слова, какие знал, начал разговор издалека. Аскер хитро шурился.

- Где дивчата, которых с Украины берут в ясырь? - решил, наконец, задать вопрос Мартын.

Аскер покачал головой:

- О, многое желает знать казак! - Засмеялся. - И зачем это ему нужно? Для чего знать? Никаких дивчат тут нет! Все это глупости болтают про хана и мурз!

Мартын положил на ладонь аскеру несколько злотых. Тот быстро спрятал деньги. Оглянулся. Если это так интересуется казак, то он узнает. Кажется, недавно в гарем привезли несколько десятков девушек с Волыни. Мартын задрожал.

- Теперь? А в прошлом году?

- И в прошлом году тоже привез богатый ясырь Карач-бей.

Так больше ничего и не узнал. Невеселый возвращался Мартын с гетманичем домой.

Помог ему Иван Неживой. Среди ханской стражи оказался у сотника старый знакомый, татарин. За несколько десятков злотых принес он радостную и грустную весть: Катерина была в Бахчисарае, в ханском гареме. Об этом сейман доподлинно узнал от главного евнуха гарема Ибрагима.

У Мартына голова закружилась. Кинуться бы в гарем, зарубить стражу, схватить Катерину...

- И что? - насмешливо спросил Неживой, слушая взволнованную речь Мартына. - Одного сеймана зарубишь, а двадцатеро тебя растерзают... Бессмыслица! Да не забывай, что ты тут не сам по себе, а в посольской свите. Не так надо дело вести. Жди, казак.

Два дня после этого не заговаривал с Мартыном Иван Неживой. На третий день пришел веселый, подмигнул Мартыну. Сбросил с себя кунтуш, сапоги, растянулся на коврах, сладко потягиваясь. Мартын в нетерпении кусал ус.

- Собирайся, парубок. Сегодня ночью увидишь свою Катрю.

Мартын задрожал. Кинулся к Неживому, сел рядом.

- Как увижу?

Глаза пылали. Не обманывает ли, не шутит ли Неживой?

- Трудное дело было, сынок, - устало проговорил Неживой. - Деньги помогли. Золото все сделает. Спасибо скажи гетманичу, пришлось и у него взять несколько сотен. Нынче ночью придет за тобой ханский евнух. Принесет татарскую одежду, переоденешься, и проведет он тебя в сад, там увидишь Катерину свою...

Помолчал Неживой, глубокие морщины разбежались в ласковой улыбке. По щеке Мартына катилась слеза. Он стыдливо смахнул ее пальцем.

- Не стыдись, казак, коли легче - плачь. Одно приказываю тебе: веди себя там спокойно, не дури. А Катерину твою вызволим. Дай срок!

...Ночью Мартын, одетый в татарское платье, шел вслед за молчаливым евнухом. Стража у тайной калитки, узнав евнуха, дала дорогу. У Мартына пересохло во рту. Тяжело стучало сердце. Евнух шел впереди, вобрав, как птица, голову в плечи. Мартыну казалось -

дороге не будет конца. Но вот среди кустов забелели стены. Евнух, не оборачиваясь, поднял руку. Мартын остановился. Евнух пошел дальше один, оставив Мартына. Таинственная тишина стояла кругом. Где-то в вышине захлопала крыльями ночная птица, хрипло простонала и замолкла. Мартын поднял голову. Из-за туч выползла луна. Беспокойно зашуршал в кустах ветер. Евнуха все еще не было. Уж не задумал ли худое проклятый татарин? Мороз прошел по спине Мартына. Сабля теперь пригодилась бы. Но вспомнил, как старательно обшаривал его евнух. Нашел за пазухой кинжал, всплеснул руками и забормотал: <Не поведу, как можно, как можно?> Насилу Неживой уговорил. Пришлось еще несколько десятков золотых подсыпать в карман. А теперь татарин может сделать с Мартыном все, что угодно. Но нет! Есть еще у Мартына руки. Хватит в них силы, чтобы не сдаться покорно врагам. Мартын насторожился. От стены отделилась темная фигура. Казак узнал легкие шаги евнуха.

- Иди за мной!

Мартыну казалось - сердце вырвется из груди. Спустя несколько минут он очутился в обширной зале, освещенной огнем фонаря. Евнух спокойным движением раздвинул занавес. Перед Мартыном стояла Катря. Он кинулся к ней, протянув руки, и ударился грудью о железные прутья: зала была разделена пополам решетчатой загородкой. Он застонал в отчаянии.

- Катря! - воскликнул он с болью. - Катря!

Катря просунула сквозь решетку руки, положила их ему на плечи. По лицу ее катились слезы.

- Боже мой! Мартын!..

- Катря!

И замолчали. Глядели в глаза друг другу. Казалось, прошла вечность. Память воскресила далекий Байгород, весеннюю степь, багровый закатный небосклон...

- Мартын, вырви меня из этого пекла! - услышал он ее мольбу и со злобой тряхнул решетку, точно пытаясь сломать ее.

Но железо было холодно и крепко. Где-то сбоку тихонько хихикал евнух. И Мартын понял свое бессилие. Он прижался лбом к решетке.

- Катря, - проговорил он хрипло, - все сделаю. Жизнь отдам, но тебя тут не оставлю.

Говорил быстро, спеша рассказать ей о своей тревоге и любви, о ночах, проведенных в думах о ней, о своей непоколебимой вере в счастье, о том, что скоро придет свобода для всех навеки, - и вдруг осекся. Зачем он ей все это говорит? Зачем, если, как птице, подрезали ей крылья, замкнули в тюрьме, держат для надругательства... А может быть, уже и надругались? Может быть? Он не спросил об этом, вернее - не осмелился. Но она поняла его вопрошающий взгляд. И, заглянув глубоко в его глаза, сказала:

- Чиста я перед тобой, Мартын, перед богом и людьми чиста...

Он дрожал. Его Катерина, его сердце! Он бы простил ей все!

- Знай, Мартын, живую им не дамся.

Она тихо и твердо сказала это и прислонилась головой к решетке. Горячими губами припал Мартын к ее щеке. Шептал на ухо:

- Катря, держись, свет мой, не дам тебе остаться в неволе. Гетман поможет, сын его тут, выкупим тебя, Катря...

Евнух дернул Мартына за рукав:

- Довольно, батыр. Скоро смена караула. Пора уходить.

- Подожди, поганый! - заскрежетал зубами Мартын и швырнул ему под ноги еще несколько золотых.

Проворным движением евнух подобрал деньги.

- Катря!

- Мартын!

А между ними стояла железная решетка, и неведом был завтрашний день.

Снова забормотал за спиной евнух, дергая за рукав:

- Пора, пора, батыр!
- Поцелуй меня в лоб, Мартын, - дрожащим голосом попросила Катерина.
Мартын прижался губами к ее лбу. Почему в лоб? Неужели это прощание?
- Катря! - шептал он горячо. - Катря! Единственная моя, зорька ты моя...
- Идем, казак, - нетерпеливо зашептал евнух. - Идем. А ты ступай! прикрикнул он на Катерину, и Мартын увидел, как упали плечи Катри, будто сломал их кто-то, и она неверными шагами ушла в темень. Только донеслось, как стон:

- Мартын!
...Звездная тихая ночь за окнами. Мартын сидит на лавке, рассказывает. Тимофей и Неживой слушают.

- Выкрасть бы ее, - сказал Тимофей, но сейчас же признал: - Нет, невозможно это.
- Выкупить! Поговорить с визирем.
- Не поможет, - отозвался Неживой, - я уже расспрашивал Ибрагима. Проклятый пес говорит, что она в ханском гареме и что хан уже знает о ней. С самим ханом надо вести речь об этом.

Мартын обхватил голову руками, склонился на подоконник. Неумолчно трещал где-то в стене сверчок.

...Катря прошла в свою комнату. Евнух заглянул к ней. Строго приказал:
- Спи!

Покорно улеглась на ковер. Сухими глазами уставилась в потолок. Еще чувствовала на лбу прикосновение губ Мартына. Еще слышала его слова. Еще видела его лицо. Но его уже не было. Стены и решетки отделяли ее от мира. Стыд и позор ожидали ее. Наложить на себя руки! Но она хочет жить! Хочет свободы! Хочет увидеть сизо-зеленую степь весной, растереть в руке стебелек мяты... Вместе с Мартыном слушать задумчивые казацкие песни. Вместе с Мартыном... Все это была жизнь. А теперь каждый день, каждую минуту ее стережет смерть. Доля у нее одна. Она уже знает ее в лицо, эту долю, страшную и неумолимую. Сколько рассказали ей тут! Хоть бы кто-нибудь дал яд! Хотела попросить у Мартына, но не осмелилась. Хоть бы нож достать! Нет, не для себя, для него, для того жирного, ненавистного палача, коварного и хищного хана.

Коротка весенняя ночь, а мыслей, темных и беспросветных, на тысячи долгих ночей. Слез нет, все высохло уже в груди. Сама удивилась, когда заплакала, увидав Мартына. А теперь и хотела бы заплакать, да не может.

В груди жжет. Болит сердце. Горит тело от прикосновения шелковой чужой одежды. Лучше бы продали рабыней на галеры, лучше камни грызть... Только не это!..

Из уст Катри вырывается страшный крик отчаяния и боли. Он проникает сквозь тяжелые дубовые двери. Вскрикивает с ковра евнух. Дрожащими руками зажигает фонарь.

...Ночь гасит звезды в темном небе. Где-то далеко на востоке небо загорается пока еще слабым, рассветным огнем.

2

...Визирь Сефер-Кази презрительно кривит губы. Король не сдержал своего слова и не заплатил дани, как обещал под Зборовом. Пожалеет король! Придется ему заплатить вдвое больше. Поход в Молдавию не оправдал надежд. Сефер-Кази не особенно склонен помогать сейчас гетману военными силами. Но слово хана - священное слово. Хан не нарушит его. Он уже дал приказ улусам подниматься. Только месяц пойдет на ущерб, орда выступит на Украину.

Визирь жмурится. Солнечный луч ласкает сморщенное, как печеное яблоко, маленькое лицо визиря.

Тимофею душно в гостиной визиря. От ковров, от подушек, от шерbeta противный, сладковатый запах, тошнотворный, ядовитый привкус на губах. Сейчас-то все это можно стерпеть. Тяжелее было в сорок восьмом году. Тогда визирь не вел с ним переговоров, тогда его держали заложником. Кто-то из мурз предлагал даже приковать его за ногу к крепостному орудью. Теперь не те времена.

Тимофей выпрямляется на подушках. Теперь он гетманский посол, сын великого гетмана Войска Запорожского и сам прославленный воин. За его спиной три похода и самостоятельная битва под Яссами. Можно говорить с визирем, как с равным.

Сефер-Кази пьет кумыс. Медленно отставляет пиалу на большое серебряное блюдо. Визирь переводит речь на то, с чего начал вчера. Как Москва? Как мыслит гетман о том, чтобы учинить поход на царя московского? В глазах Сефер-Кази холодные льдинки недоверия. Тимофей разводит руками. Он сих дел не знает. Пусть хан спросит самого отца. Одно может сказать Тимофей: Крымскому царству гетман и старшина - друзья верные и неизменные. На том крест может целовать.

...Дел у гетманских послов было немало. Встречи с визирем. Раздача подарков визирю, мурзам, муллам. Иногда и тем, кто поменьше, сунуть надо. Одному язык развязывала сотня дукатов, а другой становился разговорчивым только после третьей сотни. На все это был мастер Иван Неживой. Он отлично знал татарский обычай. Братался и шутил с татарами, а в случае нужды, как сам говорил, - на коране мог поклясться.

Оставалось еще вручить подарки хану. Золотой меч и серебряный лук со стрелами. Было условлено: в пятницу хан, в присутствии всего дивана, примет гетманские подарки.

Как-то среди ночи к гетманичу явился Карач-бей. Начал издали. Тимофей понял: мурза может что-то сказать, но ждет даров. Пришлось расщедриться. Тысяча дукатов невесело зазвенела в кожаном мешочке, перекочевывая в карман Карач-бея. Мурза сказал:

- Визирю не верь. Зол, как шакал, и хитер, как лиса. Визирь получил письмо от короля и большие подарки. Польский посол лишь на днях покинул Бахчисарай. Орда пойдет. Но берегись. Визирь давал обещания королю, как и гетману. Какие - не знаю. Но то, что дал, знаю. Визирь с ханом - как лев с ягненком. Но хан без него обойтись не может. Возьми это во внимание и помни: так сказал тебе Карач-бей. Пусть гетман не забывает этого.

Карач-бей прижимал руки к сердцу, ко лбу. Мурза перегнулся через стол:

- У визиря одна мысль: гетмана с московским царем поссорить, этим он и хана держит в своих руках. Хан уверен: визирь это сделает, оттого и не отрубил еще ему голову, а визирь ждет удобной минуты, хочет отравить хана...

Мурза осекся и замолчал, видимо считая, что сказал лишнее.

- Быть тебе визирем, - беспечно сказал Тимофей, - ум у тебя канцлерский.

- Что ж, ты будешь когда-нибудь гетманом, я - визирем; будем жить в мире.

Карач-бей смеялся.

После этой беседы беззаботное настроение выветрилось, как хмель. Тимофей ходил хмурый, сосредоточенный. Беспокоился: до пятницы еще три дня. Понимал - татары умышленно оттягивают день вручения даров хану. Хотят, чтобы польский посол до Варшавы доехал. Ничего тут не поделаешь.

Тимофей сидел в горнице, попивая сладкий апельсиновый настой. Думал: как там, в Чигирине? Трудно отцу, хлопотливо. Нелегко гетманский сан. В горницу вошел Мартын. Гетманич посмотрел на казака, и сердце сочувственно сжалось. Щеки Мартына ввалились, словно после тяжелой болезни, губы пересохли. Мартын сел в углу на скамье, хрипло заговорил:

- Выручай, гетманич! Погибнет дивчина. Одна она у меня на всем свете. Если бы еще не повидал, может, примирился бы. А вот когда увидел ее глаза, ты понимаешь, смотрит на меня, а в глазах ее мука, страшная мука и смерть. На прощание попросила поцеловать в лоб, как покойницу...

- Буду просить хана, Мартын. От имени гетмана буду просить. Скажу наша свояченица.

У Мартына стало светлее на душе. Вскочил на ноги, кинулся к Тимофею. Крепко обнял за плечи, как брата.

...Долгий весенний день был на исходе. Пропели муэдзины вечернюю молитву. Село солнце. Розовая заря отражалась в стеклах бахчисарайского дворца хана Ислам-Гирея III.

Хан творил намаз в присутствии муллы Фатуллы. Хан возводил глаза к голубому потолку опочивальни, который умелым живописцем был превращен в небо. Живописец

точно рассчитал, где будет сидеть хан, на чем именно остановится его взор, когда он будет обращаться мыслями своими к аллаху.

Перед глазами хана всегда была звезда вечности - Альдебаран. Вечны власть и мудрость хана, вечны воля и могущество его.

Хан творил намаз и беседовал с аллахом. Мирская суeta осталась за порогом. Тут, в обширной опочивальне, под голубым потолком царили спокойствие и мудрость. Хан совещался с аллахом. Хмельницкий - гяур и шакал, наименее вернейший среди неверных, снова звал его в поход. Султан приказал итти. Приказал, потому что султану Мохаммеду важно обессилить Польшу, выдавить, как лимон, хана. Султан воевал с императором Фердинандом и венецианским дожем. Польша не должна была вмешиваться в эту войну. Пусть с ней воюет Хмельницкий, пусть хан помогает Хмельницкому. Аллах слушает мудрые мысли хана. Но аллах молчит. В сердце хана нет спокойствия. Всякий раз, как он идет в поход вместе с гяуром Хмелем, он теряет покой. Всякий раз он ждет ловушки. Но благодаря визирю, хитрому и лукавому Сефер-Кази, хан все же выигрывает... И на этот раз визирь придумал ловкий выход. И на этот раз лиса Сефер-Кази держит в своих руках мудрого и храброго хана.

Нерушима на голубом потолке звезда вечности, как нерушима вера хана в свою мудрость и силу. Мулла жует беззубым ртом, шлепает губами. Это раздражает хана. Но он не может запретить этого мулле. Фатулла ближе к аллаху, чем хан, и в этом его преимущество. Кроме того, мулла Фатулла всегда заблаговременно доносит хану о замыслах и намерениях его визиря, и хан поэтому держит муллу при себе, не зная, что точно так же доносит мулла визирю о намерениях и замыслах хана. У муллы одна забота: спровадить в ад хана и его визиря и сделать властителем Крыма ханского брата Нураддина.

...Плывут мгновения. Но это за стенами дворца. А здесь, во дворце, в опочивальне с голубым потолком, тишина, спокойствие, вечность. Тут царят звезда вечности Альдебаран и всемогущий повелитель Крымского ханства, Ислам-Гирей III, которому платят дань короли и господа, который одним взмахом руки может послать трехсоттысячную орду на север, на запад, на восток, жечь и губить города и села, вытаптывать нивы, сажать на кол десятки тысяч неверных, брать богатый ясырь. Все это может совершить хан Ислам-Гирей III.

Но, беседуя с аллахом, хан должен признать (конечно, он не сделал бы этого на людях), что у него на сердце беспокойно с той поры, как Украина избрала гетманом этого проклятого Хмеля. Тревожно у хана на душе. Опасен Хмель! Хмелю не скажешь: <Плати дань, давай ясырь, пришли в мой гарем сотню самых красивых девушек>.

Хмель набирает силу, как орел высоту. Хан зорко следит за чигиринским орлом. Ему известно, куда смотрит Хмель. На север! Москва - надежда Хмеля. И если Хмель будет с Москвой - конец могуществу Крымского ханства. Хан спрашивает аллаха: как быть? Аллах молчит. Молчит звезда вечности. Только в торжественной тишине слышно, как шлепает губами мулла Фатулла.

Закончена вечерняя молитва. Фатулла ушел. Хан хлопает в ладоши и приказывает явиться старшему евнуху своего гарема.

...Селим падает на колени перед ханом.

Чем верный слуга может порадовать своего господина? После многотрудного дня, после мудрых государственных дел, не пора ли вдохнуть запахи роз и горечь миндаля, которыми дышат груди прекрасных жен ханских? Триста красавиц ожидают счастливого мгновения, когда великий хан прикоснется к ним. Витиевато и льстиво говорит евнух Селим. Не слова сыплются с его уст - льется мед. Вздрагивают ноздри хана, сладостная тревога наполняет тело. Евнух перечисляет имена и приметы ханских жен. Но лицо властелина покрыто завесой равнодушия.

Евнух вспоминает. Есть одна, которой еще не касалась рука хана. Уста ее как два нежных лепестка розы, грудь затаила в себе прохладу виноградных гроздий...

...Забегали сейманы по длинным темным переходам ханского гарема. Забегали евнухи, старшие, младшие. Засуетились и забеспокоились старые жены хана.

Под наблюдением Селима Катерину купали в голубом мраморном бассейне. Два евнуха

держали за руки, чтобы не утопилась, чего доброго, третий мыл, натирал пахучими травами, от которых тело покрылось пеной, потом ополаскивал ее водой.

Катря бессильно стояла в воде. В глазах застыл ужас. Дыхание со стоном вырывалось сквозь раскрытые, потрескавшиеся губы. Ее вывели из бассейна. Силой положили на ковер. Старые ханские жены натирали ее благовониями. Турчанка Фатъма, старейшая жена хана, приговаривала:

- Глупенькая, не бойся. Понравишься хану, - осчастливит он тебя. Великая честь выпала тебе.

Катря оттолкнула Фатъму. Закричала. Евнухи схватили ее за руки, повалили на пол. Селим визжал:

- Осторожно! Не причините ей вреда!

Катря билась головой об пол. Но под головой были толстые ковры. <Если бы камень!> - промелькнула горькая мысль. Кричала, звала Мартына. Знала начинается самое страшное, то, о чем она с трепетом думала долгие дни и ночи. Неужели не миновать ей позора? Ее держали за руки, за ноги, держали за голову, - только сердце было свободно, только сердце и мысли. От этого было еще страшнее. Фатъма приговаривала:

- Не брыкайся, как коза, покорись хану и будь ласкова с ним.

Катря затихла. Закрыла глаза. Губы дрожали, по впалым щекам бежали слезы. Ее завернули в белый шелк, повели в ханские покои. Она шла покорно, не сопротивлялась. Селим повеселел. Шайтан ее заberi, эту девку! Он уже, по правде сказать, жалел, что пообещал ее хану. Думал - ничего не выйдет. У Селима хищно выгнулись тонкие синеватые губы. Вот разъярится казак, которого он приводил на свидание, когда узнает!

Евнух приоткрывает дверь ханской опочивальни. Властитель Крыма надел легкий халат, полулежит на подушках. Два золотых дракона тускло поблескивают на полах халата. На низеньком столике шербет, виноград, апельсины, розовая вода в графинах венецианского стекла, теплая вода в серебряных мисках. Катря стоит на пороге. Евнух слегка подталкивает ее в спину. Она переступает порог. За ней быстро закрывают двери. Сейманы становятся за дверью с мечами в руках. Селим садится у порога, скрестив ноги. Затаив дыхание, припадает ухом к дверям.

Евнух крепко зажмуривается. У него хищно вздрагивают ноздри. Сколько раз сидел он так возле этих дверей! Как в эти минуты он ненавидит хана!

Он сидит, прижавшись к дверям, затаив дыхание. За дверями тишина. Слышно только, как дышат сейманы. Сейчас эта тишина будет нарушена, ее разорвет резкий девичий крик. А потом снова настанет тишина.

Глухой шум за дверью ханской опочивальни. Сейчас закричит девушка - и опять все затихнет.

И вдруг евнух, как бешеный, вскакивает на ноги. Из-за двери опочивальни доносится страшный крик, стон, хрипение. Но это не девический голос, это кричит сам хан, зовет на помощь.

Евнух нарушает закон ханов, за что может поплатиться головой. Он с силой рвет дверь и вбегает в опочивальню. Хан лежит на ковре, а девушка душит его. Выкатившиеся глаза хана полны смертельного ужаса. Сейманы и Селим силой отрывают руки Катри от ханского горла. Ее швыряют на пол, как собаку.

...В ханском дворце тревога. Ко дворцу бегут стражи. Бежит визирь Сефер-Кази, бегут братья хана.

- На хана покушение! - ползет шепот по дворцовым покоем. - Неверная хотела задушить хана! На кол ее! Кинуть живой шакалам!

Визирь стучит ногами на главного евнуха. У Селима подгибаются колени. Кто поверит, что не нарочно подослал он эту безумную на священное ложе ханской любви? Селим валится в ноги ханскому визирю.

Катре надели на руки и на ноги оковы. Бросили в темный, холодный подвал. Так лучше. Теперь смерть, но не позор. В подвале темно, холодно, пусто. Только шуршит по

стенам вода и где-то капля за каплей ударяет о камень.

Злоба перекосила лицо хана. Он сидит на подушках, качаясь из стороны в сторону. Перед ним стоят визирь, братья, мулла Фатулла. Хан молчит, ожидая слов, которые исчерпали бы силу его гнева. Только теперь понимает он, от какой опасности спас его аллах. Он ждал любви и тепла женских губ, а увидел хищный оскал зубов... Разъяренной тигрицей впиалась неверная своими когтями ему в горло. Да будет проклята Украина и ее женщины! Пусть пепел покроет навеки села и города этого страшного края! Ислам-Гирей шевелит губами, шепчет про себя проклятья. Впервые за его жизнь такой позор упал на его честь.

Хан подымает голову. Смотрит на стену сквозь людей, окруживших его. Голос прерывается от гнева. Пена выступает на губах.

3

...Еще в начале января папский нунций в Варшаве проявил большое беспокойство касательно событий в Речи Посполитой и на Украине.

Иоганн Торрес был вынужден, после нескольких совещаний с кардиналом-примасом королевства и самим королем, написать в Рим, его святейшеству папе, откровенное и не совсем утешительное письмо. Ссылаясь на свой преклонный возраст и многолетний опыт в государственных делах, нунций Иоганн Торрес безошибочно предрекал новые неудачи для Речи Посполитой.

Тревожные вести поступали в столицу из коронных земель. Хотя в Киеве и сидел королевским воеводой Адам Кисель, хотя, пока еще осторожно, начали возвращаться шляхтичи со своими семьями в родовые маетки, - однако все это выглядело слишком неустойчивым и шатким.

Письма Адама Киселя на имя короля и канцлера были полны опасений. Немало хлопот причинял королевским министрам Хмельницкий и своими посольствами в Москву. Теперь уже было ясно, что с каждым месяцем связь казацкого гетмана с Москвой становится все теснее.

Кисель старательно сообщал о многочисленных гостях из Московского царства в Киеве и Чигирине, об отъезде в Москву гетманского посольства во главе с полковником Михаилом Суличичем, который незадолго до того возвратился из Турции. Писал Кисель и о том, что с тульских заводов отправляют гетману обозы с пушечными ядрами, порох, военное снаряжение разного вида, а также шлют мастеров оружейного дела и таких, которые хорошо знакомы с рудничным делом и отливкой чугуна.

Нунций его святейшества папы в Варшаве Иоганн Торрес не был человеком, который любил преувеличивать или склонен был впадать в чрезмерное отчаяние без важных на то причин.

Нунция знали в Риме как человека твердого характера, спокойного, уравновешенного, разбирающегося в событиях и людях, сведущего в государственных делах. Иоганн Торрес был известен как свирепый и непримиримый враг православной церкви, как ревностный хранитель того жизненного порядка, который предписан небом и великим Римом.

Для Торреса единственными властителями всего мира были святейший папа и Ватикан, а короли, цари и князья - лишь вассалами великого папы, наместника бога на земле. Возможно, именно поэтому папа отправил Иоганна Торреса нунцием в Варшаву.

То, что происходило на Украине, по мысли Иоганна Торреса, приобретало характер более значительный, чем <беллум цивиле>, сиречь война домашняя. Нет! Это была уже не домашняя война, и она становилась предметом заботы не одной только Речи Посполитой...

Чернь, попирая все незыблемые извечные законы, боролась за вольности, за уничтожение власти пана над <низшею тварью> - хлопом. И сила Хмельницкого, по глубокому убеждению нунция Торреса, состояла именно в том, что казацкий предводитель сумел понять стремления этой черни, и призвал ее своими универсалами на битву за вольности и веру.

Нет! Это уже не <беллум цивиле>. Потому так тревожно и беспокойно на душе у Иоганна Торреса.

Многие видные воеводы, такие, как Потоцкий, князь Вишневецкий и Конецпольский, утверждали, что с Хмельницким в этом году будет покончено. Было решено двинуть многочисленный корпус, чтобы внезапно ударить на подольский фланг казацкого войска, а затем бросить в прорыв главные силы королевской армии. Но Иоганн Торрес полагал, что все это не так просто и победа еще далека, - может быть, дальше, чем когда-нибудь. И об этом Торрес открыто сказал королю и канцлеру.

Строгие и предостерегающие слова нунция оказали воздействие на короля.

Ян-Казимир созвал совет. На совет прибыли Потоцкий, Вишневецкий, Януш Радзивилл из Литвы, Казимир Сапега, Калиновский, Замойский.

С грустью и раскаянием в сердце должен был признать король, что недостает на этом совете достойного государственного мужа - умершего недавно князя Оссолинского. Даже некоторое одиночество ощутил король, оказавшись с глазу на глаз с надменными и гордыми вельможами своего королевства.

Два дня заседал совет. Король, казалось, почувствовал всю сложность положения Речи Посполитой и перестал думать об охотах, шумных банкетах, маскарадах и прочих забавах, на которые так щедро была Варшава всю зиму.

На совет был приглашен Иоганн Торрес. Опустив глаза долу, исполненный величия и суровой решимости, нунций говорил:

- Прошу вельможное панство, которое оказало мне великую честь, пригласив меня на сей рыцарский совет, выслушать мои мысли. Наступило время, когда решается судьба королевства, судьба католической веры в пределах Речи Посполитой. Если панству угодно знать правду, я должен сказать, что события эти гораздо страшнее, чем Тридцатилетняя война. Та война, как ведомо панам сенаторам, закончилась миром в Вестфалии, а то, что творится сейчас на нашей земле, должно закончиться не миром, ясновельможное панство, а нашей полной победой.

- Виват! - прохрипел Сапега.

Нунций предостерегающе поднял руку.

- Еще не время провозглашать виват, пан Сапега! Мы стоим перед событиями, которые надлежит спокойно оценить и принять меры исключительной силы.

- Что вы предлагаете? - недовольно спросил Станислав Потоцкий; он в глубине души считал этот страх перед чернью и Хмелем недостойным и постыдным.

- Я не предлагаю, пан Потоцкий, святая церковь наша никогда не предлагала, я приказываю! - выкрикнул Торрес, изменив на этот раз своей прославленной выдержке. - От имени папы и Ватикана, по их поручению, я приказываю вам, верным католикам, истребить моровую язву, бушующую на коронных землях, выжечь огнем самый след ее. Своей черной кровью пусть смоем грехи свои обезумевшая чернь, поднявшая свои звериные лапы на людей, избранных церковью и законом.

Торрес перевел дыхание. Овладел собой. В зале стояла напряженная тишина. Он продолжал спокойнее:

- Воспользуйтесь тем, что московский царь не может теперь разорвать Поляновский договор. Этою же весною раздавите Хмеля. Шлите к нему сейчас же комиссаров, затуманьте его взор притворно добрыми словами, а сами собирайте под знамена всех, кто может взять оружие в руки. Хмельницкий заключил договор с турками, чтобы они заставили хана дать ему помощь. Но пусть это не беспокоит вас... В нужный час пошлете хану сто тысяч злотых, и хан обратит оружие против Хмельницкого. Держите Москву в страхе перед Хмельницким. Твердите царю и боярам, что их собственная чернь воспалится примером украинских хлопов. Пану Янушу Радзивиллу надлежит начать действия на московско-литовском рубеже. Надо показать, что, кроме Смоленска, можно отнять и другие земли у русских.

<Хорошо ему говорить!> - с досадой подумал Радзивилл и не удержался, чтобы не заметить:

- Преподобный отец, позвольте сказать слово. Ведь я сижу как на вулкане! Стоит только сделать шар на восток - и за спиной у меня подымется русская чернь. Хлопы того

только и ждут.

- Торопитесь, панове, - продолжал нунций, не обращая внимания на Радзивилла, - торопитесь! Вырвите ныне с корнем заразу, ибо завтра, может статься, будет поздно. И не надо бояться, пан Радзивилл! Вспомните мужество достойных предков ваших, кои во имя святой церкви шли на муки.

- Что же мне, пойти к Хмелю и проситься на кол? - недовольно пробормотал князь Радзивилл на ухо Любомирокому.

...Однако слова Иоганна Торреса не пропали зря. В Варшаве настали дни, полные забот. Во все концы государства королевская канцелярия разослала гонцов с вицем короля.

Велено было всем шляхтичам итти в войско, имея при себе, в зависимости от числа приписанных посполитых, вооруженных слуг, конных и пеших. У кого было два десятка посполитых, тот должен был половину их посадить на конь. Королевским указом иноземные купцы из Голландии, из немецких княжеств, из Римской империи освобождались от всех торговых пошлин, если они вместе с прочим товаром завезут в королевство оружие. В Силезском воеводстве велено было лить чугун днем и ночью, отливать пушки, во всех кузнях ковать мечи и сабли. В Гамбурге товариществу оружейников заказано было поставить к концу месяца пистолей десять тысяч, мушкетов тридцать тысяч, скорострельных и длинноствольных пушек по одной тысяче.

Гамбургский торговый человек Вальтер Функе привез пять тысяч панцирей и столько же шлемов и железных рукавиц для королевских гусаров.

Послы Речи Посполитой выехали в Москву и в Бахчисарай. В Москву послан был Маховский, недавно возвратившийся из Крыма. В Бахчисарай король повелел отправить Верусовского, который незадолго до того вел переговоры с Хмельником, а еще раньше был в Москве.

Одновременно отправилось посольство к императору Фердинанду III просить оружия, денег и дозволения набирать наемное войско. В герцогстве Бранденбургском и княжестве Баварском приняли на королевскую службу двадцать тысяч рейтаров под командованием генералов Рихтгофена и Зоммервола.

В эти дни в Варшаву прибыл из Венеции бывший посол дожа при Хмельником Альберт Вимина. По прибытии Вимина вместе с венецианским послом в Варшаве графом Кфарца имел аудиенцию у короля, продолжавшуюся более трех часов.

Вечером король устроил бал в честь венецианцев. Впервые за последние недели окна королевского дворца осветились огнями. В залах гремела музыка. В полночь маршалок Тикоцинский выскочил с непокрытой головой на крыльцо, махнул рукой - загрохотали пушки.

Варшавяне пробудились в тревоге. Со страхом прислушивались. Но все было спокойно. Король веселился. Все было в порядке.

В самый разгар бала, под звуки труб, в залу вошел только что прибывший в Варшаву мурза Бикбай. Королевский адъютант Бельский встретил его при въезде в город и от имени короля пригласил на празднество.

Мурза едва успел стряхнуть с себя дорожную пыль. Бельский торопил. Надо спешить. Там пьют вино, играет музыка. Мурза Бикбай не пил вина и не любил музыки. Мурза приехал в Варшаву с тайным поручением хана, а не для того, чтобы среди ночи пить вино и смотреть, как женщины с бесстыдно обнаженными плечами и руками обольщают мужчин. Для этого существует гарем. Но не явиться на бал было нельзя. Пришлось пойти.

Отбыв все церемонии, мурза не находил себе места. Противно было смотреть, как, словно бешеные, скачут женщины и среди них, подобно журавлю, задирает ноги сам король. Разве достойно монарха такое поведение? Мурза попробовал представить себе в таком виде хана и даже повеселел. Исподлобья поглядывал сквозь узкие щели глаз на столы, изобильно уставленные тяжелыми блюдами, полными яств, и хрустальными графинами, где играло, отражая огни сотен свеч, вино. В углах под высоким потолком шипели факелы, с хоров лилась музыка. Мурза думал: <Сколько стоит эта шайтанская забава неверных? Сколько

стоят эти женщины, золотые перстни и драгоценные камни на их руках и плечах?..>

Теперь он не поверит королевским сенаторам, если они снова начнут оттягивать выплату дани. Тонкие губы мурзы сжались. Редкие усы его вздрагивали, из расширенных ноздрей вырывалось горячее дыхание. Мурза невольно пьянел от блеска золота, от сверкания драгоценных камней, от обнаженных плеч белокурых женщин...

Уже перед рассветом бал закончился лицедейством. Королевский шут и двадцать карликов, одетых запорожцами, втокнули в залу восковую фигуру.

- Матка бозка! - завизжал какой-то пьяный шляхтич. - Як бога кохам, то есть схизмат Хмель!

Зал зашумел в неистовом восторге. Смеялся король, смеялись сенаторы, хлопали в ладоши и хохотали до слез паненки.

Сделанную из воска и бумаги куклу, одетую в казацкую одежду, вытащили на аркане на середину залы. Оселедец падал на желтое, восковое лицо. Щеки и лоб куклы были вымазаны красной краской, в груди торчал кинжал. Музыка затихла. Королевский шут трижды топнул ногой, яростно закричал:

- Вот тебе, бунтовщик, за то, что ты, здрайца, поднял нечистую руку на наияснейшего короля и на ясновельможное панство! - и плюнул на куклу.

За столами снова захлопали. Одобрительно кивал головой мурза Бикбай. Вытаращив пьяные глаза, полные злобы, глядел на чучело Потоцкий. Чуть заметно подрагивали, больше из учтивости, чем от искреннего смеха, губы венецианского посла графа Кфарца.

Альберт Вимина сидел, выпрямившись в кресле. Постукивал пальцем по бокалу с вином. Не вытерпев, он наклонился к графу Кфарца и сказал:

- Они тешат себя глупостями. Детские забавы. Между тем Хмельницкий готовит им игрушки пострашнее.

Кфарца в ответ только опустил веки. Он полагал, что старый Вимина несколько преувеличивает силу бунтовщика Хмельницкого. Но тут не место было спорить.

Лицедейство кончилось тем, что восковую фигуру, изображавшую украинского гетмана, выволокли во двор и швырнули в костер перед дворцом. Шляхта шумной толпой обступила костер. Воск растекался в огне желтыми ручьями. Захмелевший адъютант короля ротмистр Бельский приплясывал от радости, хватал за плечи шляхтича Малюгу, кричал на ухо:

- Недолго, мосци пане, жить Хмелю, недолго!

Малюга хохотал.

- И я думаю, пан Бельский, недолго!

- Это сбудется скорее, чем ты думаешь, - погрозил пальцем Бельский. Он оглянулся и зашептал на ухо: - Скоро услышишь, как верный человек отправит к дьяволу в пекло проклятого Хмеля.

Малюга только развел руками. Ротмистр понял этот жест, как недоверие своим словам. Сатана! Этот ничтожный шляхтич Малюга слишком много позволяет себе! Он не верит адъютанту короля? Э, видно, слишком спесив стал Малюга с тех пор, как начал играть с королем в шахматы! Но сейчас он, Бельский, собьет с него эту спесь.

Пусть Малюга знает. Вчера при утреннем туалете короля маршалок Тикоцинский сказал в присутствии ротмистра, что Хмеля отправят в пекло. И сделает это верный и отважный человек.

Бельский прямо захлебывался: наконец этот проклятый Малюга поймет, что значит адъютант короля! Чертов шляхтич! Он еще улыбается? Все еще не верит? Хорошо же! Сейчас он заставит его лопнуть от удивления. Пан Малюга может думать хоть год, но не догадается, кто покончит с Хмелем. Женка гетмана - вот кто! А? Съел, пан Малюга?

Мелкие капли пота выступили на лбу у Малюги. Надо было тотчас же бросить Бельского, дворец, Варшаву, мчаться... Надо было... Но Бельский уже смотрел на него трезвым и беспокойным взглядом. Бельский готов был откусить себе язык. Схватив Малюгу за руки, он рванул его к себе. Заглянул в глаза.

- Я ничего не сказал вам, пан Малюга, и вы ничего не слышали. То есть великая государственная тайна. А если у вас длинный язык... - ротмистр выразительно провел рукой по горлу...

Но Малюга хохотал, держась за живот. Смех согнул его пополам. Задыхаясь от хохота, шляхтич проговорил:

- Представляете себе, пан ротмистр: ночь, он хочет поцеловать ее в губы, ждет ласки - и вдруг нож в сердце. А?

Осторожность снова покинула ротмистра.

- Зачем нож, - прошептал он, - стакан вина, только один стакан вина и на Украине снова спокойствие, пан Малюга, тишина и спокойствие, и вы мой гость в родовом маетке Бельских. Это знаменито, пан Малюга!

- Аминь, - говорит Малюга.

Смех исчезает с губ, словно его не было. Только глаза горят. Такого взгляда ротмистр еще не видал у шляхтича Малюги...

4

Коней пришлось оставить на опушке леса. Дальше дороги не было.

- Лесом, верно, с полмили будет, - пообещал Золотаренко.

Итти было тяжело. Топкая грязь. Талый снег еще лежал в овражках. Сверху что-то сыпалось - не то снег, не то дождь. Мокрые усы гетмана прилипли к щекам. Пар валил изо рта. Обозный полковник Тимофей Носач дышал громко и хрипло, как загнанный конь. Ежеминутно проваливался в грязь и всердцах клял про себя Золотаренка, который потащил их в эту поездку. Проклинал непогоду, дождь, снег, ветер, весну - все на свете.

Хмельницкий упрямо шагал вперед. Шли уже добрый час.

- Длинная у тебя миля, Иван, - сказал Хмельницкий, не оборачиваясь.

- За тем холмом, - успокоил Золотаренко.

Он шел на шаг позади гетмана. В спину ему тяжело дышал Носач. За Носачом, прихрамывая на одну ногу, ковылял Капуста. Вчера он упал с коня, мог бы сегодня и не ездить, но не терпелось поглядеть, что это за земля, где железо лежит, как глина, - копай и бери! Плут этот Гармаш, а все-таки польза войску от него будет. Едва сказали гетману, что нашли руду под Черниговом, и что Гармаш ставит на свой счет домницы, он тотчас велел написать купцу охранную грамоту и выдать универсал на послушество трем ближним селам, чтобы посполитые шли работать на рудню.

Ветер бил в лицо, шумел в соснах. Иван Золотаренко с усилием вытягивал ноги из грязи, говорил на ходу:

- Дело Гармаш начинает большое. Ведаешь ли, гетман, что будет, когда сами сможем из своей руды отливать пушки, ядра?..

- Ведаю, - не оборачиваясь, глухо отозвался Хмельницкий, - ведаю, Иван. Потому и хочу своими глазами увидеть. Ты этого Гармаша знаешь? Нет? То-то же! Наслышан я о нем. Выговский его весьма хвалит. Чем он ему понравился?

- Денег у него - черти не сочтут... - Золотаренко засмеялся. Оттого, видно, и писарю по нраву пришелся...

- Все вы на золото падки, - сердито проговорил Хмельницкий.

За холмом лес поредел.

- Вот и пришли! - весело объявил Золотаренко, указывая рукой вниз, туда, где теснились хаты и откуда плыл едкий дым, от которого зашекотало ноздри даже здесь, на лесистом пригорке.

...Высокие гости свалились, точно снег на голову. Гармаш ожидал их в воскресенье, как обещал ему Золотаренко, - и вот на тебе...

Гармаш кланялся чуть не до земли. На все отвечал скороговоркой. <Точно горохом сыплет>, - подумал Хмельницкий, садясь на лавку у стены.

Проворная молодлица уже ставила на стол сулеи с горелкой, яичницу, румяные пирожки. Гармаш хлопотал. Наливал чарки.

- Погоди, - остановил его Хмельницкий.

Поглядел пронзительно. У Гармаша словно стерло с губ угодливую улыбку. Онемел.

- Не горелку пить к тебе приехали. Горелка и в Субботове у меня есть. Ты рудни покажи, домницы. Буду с тобой о деле говорить...

У гетмана недобро шевелились усы. Гармаш одними губами шептал:

- Как изволит ясновельможный пан гетман, как изволит, только, я думал, с дороги не мешает и чарочку, и отдохнуть...

- Не болтай зря! Что про железо скажешь, сколько его тут, как нашел?

На розовый маленький лоб Гармаша набежали морщинки. Что он мог сказать про руду? У него были злотые и была теперь эта земля, которая таила в себе бес ее знает сколько этой руды. Он знал одно: на этом можно заработать много злотых. Гетману нужны пушки, что ж - он будет лить пушки! Но гетман точно взбесился. Расскажи да расскажи про руду!

- Я мигом. Прошу пана гетмана чуть подождать. Тут есть один человек, который руду нашел. Он все объяснит, - сказал Гармаш и выскользнул из комнаты.

Вскоре он возвратился с человеком в желтой свитке и сбитых чоботах, обвязанных лыком. Человек сорвал шапку и замер у порога. Гармаш легонько подтолкнул его:

- Падай в ноги, падай в ноги, нешто не видишь, кто сидит перед тобой, харцызяка? Вишь, какой проклятый своевольник! Не хочет в ноги упасть! бесновался Гармаш. - Не видишь ты, кто перед тобой, или ослеп?

- Не кричи, - оказал человек, - сдурел, что ли?

Хмельницкий вздрогнул. Где он уже слышал этот голос? Где?

- Не узнал меня, гетман? Челом тебе! - поклонился человек в свитке.

Где он слышал этот голос? Хмельницкий, вытянув голову, всматривался в лицо селянина.

Внезапно память воскресила давний августовский вечер в Зборовском лесу, казаков у костра, чуть глуховатый голос:

<А чего хотим? Воли хотим, гетман...>

- Гуляй-День, - произнес Хмельницкий, подымаясь со скамьи.

- Он самый, - отозвался Гуляй-День, подходя к гетману, - хорошая память, у тебя, гетман, зоркие глаза.

Хмельницкий протянул руку и пожал черную, покрытую мозолями ладонь Гуляй-Дня.

- Не думал встретить тебя... - начал Хмельницкий.

- Думал, паны убили? - перебил Гуляй-День. - Меня ни пуля, ни сабля не взяла. Даже Гармашевы злотые не берут.

- Придержи язык, - забормотал сердито Гармаш, - с тобой гетман говорит, а ты слишком много себе позволяешь.

- А ну помолчи, торговый человек! - возвысил голос Хмельницкий. Садись, Гуляй-День, поговорим.

- Можно и сесть. - Гуляй-День, оставляя грязные следы на чистых дорожках, которыми устлана была хата, под недобрым взглядом Гармаша опустился на скамью рядом с гетманом.

- Почему не в казаках? - спросил Хмельницкий, разливая по чаркам горелку.

- А что там робить, гетман?

- Война скоро будет, казак, - тихо проговорил гетман, - весь народ поднимаем...

- Навоевались уже... - Гуляй-День невесело покачал головой. - Хватит, гетман, с нас.

Он прикусил пересохшую губу, точно принуждал себя замолчать. Но, видно, сдержаться ему было трудно.

- Воротился я из-под Зборова, а в моих Белых Репках снова державцы пана сенатора Киселя порядки наводят. Прицепились к моей жинке. <За два года, - говорят, - плати сухомельщину>. Был один конь - забрали в поволовщину.

И неожиданно спросил:

- У тебя, гетман, коня в поволовщину не забирали?

Наступило напряженное молчание. У Гармаша рябило в глазах.

- Брали! - ответил гетман. - В сорок шестом году, Гуляй-День, староста Чаплицкий взял моего боевого коня в поволовщину, приказал на ярмарочной площади отстегать канчуками моего сына, выгнал меня из родового хутора... Я знаю, Гуляй-День, что такое поволовщина...

Гуляй-День сказал:

- Не знаю, по твоему ли приказу так сделали, - как хищные коршуны налетели дозорцы твоей канцелярии из Чигирина с грамотами от казначея Крайза... Такое делалось в наших Белых Репках через твоего проклятого немца...

- Почему же он мой? - с обидой пожал плечами Хмельницкий.

- Не наш, - глухо, но твердо ответил Гуляй-День, - известно, твой. Казначеем у твоей милости служит... О нем, гетман, люди толкуют, будто с самим дьяволом в сговоре и тебя заморозил...

Хмельницкий движением руки хотел остановить Гуляй-Дня. Беседа становилась неприятной, да еще при лишних людях. Правда, можно было накричать на дерзкого казака и выгнать вон, но в словах Гуляй-Дня было что-то близкое тем мыслям, которые волновали гетмана в последние дни, и он решил выслушать казака до конца, тем более, что и Гуляй-День не обратил внимания на его предостерегающий жест.

- Позволь уж, скажу все. Давно думал: встречу гетмана Хмеля, расскажу про горе народное... Кому же другому, как не тебе, гетман, рассказать, как попольство мучится? Да не только рыжий немец, а кое-кто из старшин твоих панами стали и тоже выматывают из бедного люда жилы, ажно шкура слезает у нас со спин... Ты бы писаря своего Выговского поспрошал, что в его маетках творится. Прости, гетман, но я должен тебе это сказать. А то кому же? Кому?

Спросил почти грозно и, словно ожидая ответа, замолчал. Не дождавшись и выдержав суровый, пронизывающий взгляд Хмельницкого, продолжал:

- Только тебе, гетман. Что таиться? Надежда наша одна: на тебя да на сабли наши... А немец Крайз и которые там из старшины - те из одного теста с панами ляхами... Присматривай крепко за ними, гетман...

- Больно ты языкатый, - грозно отозвался со своего места Носач и хлопнул ладонью по столу.

Иван Золотаренко только глазом косил то на Хмельницкого, то на Гуляй-Дня. Гармаш недобро улыбался. Гуляй-День замолчал и теперь уже отчасти жалел, что наговорил такого. Хмельницкий долго раскуривал люльку, сосал изгрызанный мундштук, скрывая гневный блеск глаз под кустистыми бровями, а когда синий дым пополз лентой под низкий потолок, строго проговорил:

- Говори про дело, Гуляй-День.

- Вот и про дело, - охотно откликнулся Гуляй-День. - Так вот, говорю, наложили дозорцы Крайза чинш на каждое хозяйство, по два злотых и три гроша, натурой - двенадцать пасм пряжи, двадцать яиц, одного гусака, двух каплунов, полбочки меда... Э, - махнул рукой Гуляй-День, - всего не сочтешь. Жинкам приказано было робить на панщине в маетке Киселя. Сколько дней в году, гетман?

- Триста шестьдесят пять, - сказал Золотаренко, с любопытством разглядывая Гуляй-Дня.

Тимофей Носач налил себе горелки, выпил, заел куском пирога.

- Триста шестьдесят пять дней, - повторил Гуляй-День. - Выходит, нам на Адама Киселя робить триста шестьдесят пять дней в году. Страшно, гетман. Потому и утек сюда...

- Бегство в скорбном деле - помощь ненадежная, - твердо сказал Хмельницкий. - От судьбы не бегать надо, ее своею рукою сломай, подчини, сам ею распорядись...

- Это на словах легко, гетман, - печально ответил Гуляй-День. - Я пробовал, да не вышло. Вот послушался досужих людей, ушел на Черниговскую землю доброй доли искать. Сказывали - панов тут мало, а те, что есть, не такие злые да и в Московское царство рукой подать. Станет тяжко, решил двину туда. Много уже наших в русскую землю ушло, принимают там хорошо.

Некоторое время продолжалось молчание. Золотаренко спросил:

- Это ты железо нашел?

- Эге ж, я.

- Каким способом?

- Обыкновенным. Ходил по селам да лесам, выбирал место, где бы осесть, набрел на село Заречье. Люди говорят: тут житье ничего, только комар заедает. А про землю спросил, родючая ли, жирная, - смеются: <Пойди, - говорят, - укуси ее, под болотом железо...> Покопался я в этой земле, <Э, - говорю, - люди, - такая земля хлеб не уродит, а сохи из нее добрые сделать можно, и бороны, и грабли, и топоры,> - а про себя подумал: <Может, пока ту руду перелить на пушки да ядра, на копья да мечи?> Поехал в Чигирин, сразу так и положил себе - к гетману пойду; не удалось, как раз ты в Киеве был, - повернулся Гуляй-День к Хмельницкому, - пришлось дожидаться...

- Что ж не дождался?..

- Да вот этот человек, - кивнул головой в сторону Гармаша, перехватил меня. Встретил его случайно в корчме. Рассказал, а он аж затрясся. Такая нетерпячка взяла его, что в ту же ночь поехал со мной сюда. Вот он и перебил мне встречу с тобой, гетман.

Хмельницкий искоса поглядел на Гармаша.

- Что ж, Гуляй-День, много ли железа в этом месте?

- Думаю, немало, гетман.

Так и не закусив, пошли смотреть, где тут железо в земле. За болотистым лугом мужики били мерзлую еще землю длинными топорами. Поодаль складывали из камня домницу. К месту постройки тащили на волах положенные на колеса огромные стволы дубов и сосен. Вправо от поля темная туча дыма заслонила все, и оттуда тянуло горьким смрадом.

- Что это? - спросил Хмельницкий Гармаша.

- Уголь выжигаем из дерева, пан гетман.

- Добро, Гармаш, пришлю тебе двух мастеров, не нынче-завтра придут из Тулы. Знатоки пушечного дела. Ведают, как стволы сверлить водяным способом, умеют замки к мушкетам и пистолетам ставить лучше аглицких оружейников. Посольского приказа дьяк Лопухин мне о том отписал, пришлю будут они у тебя тут хозяйничать.

- Покорно благодарю, пан гетман.

- С благодарностью повremени. Ты когда думаешь дать мне оружие? - Не ожидая ответа, сказал: - Дашь в июне, не позже...

Гармаш умоляюще всплеснул руками. Как можно - в июне! Пусть поглядит пан гетман, все тут на живой нитке держится. Хмельницкий сурово сказал:

- Смотри, чтобы голова удержалась на плечах. А ты, Гуляй-День, что тут делаешь?

- Землю топором колупаю, пан гетман.

Хмельницкий подумал, помолчав, сказал:

- Ты, Гармаш, заплатишь Гуляй-Дню тысячу злотых за то, что он указал тебе это место.

- Гетман заметил, как затряслись руки у Гармаша, усмехнулся и добавил. - Будет тут, на руднике, Гуляй-День моим державцем, будет надзирать за работами и смотреть, чтобы ты воровства никакого не учинил.

- Слушаю пана гетмана, - Гармаш так переломился в пояснице, казалось - уже не выпрямит туловища.

- Нет, гетман, не треба, - твердо и тихо проговорил Гуляй-День, переступая с ноги на ногу. - Не мое то дело, и денег мне не надо. Пойду лучше служить тебе, гетман. Запиши меня в казаки, попробую еще повоевать. Попробую...

А еще что попробует, так и не договорил.

Хмельницкий весело рассмеялся и хлопнул Гуляй-Дня по плечу:

- Вот это, я вижу, казак. Порадовал! Спасибо тебе, брат! Спасибо!

Гармаш едва скрывал свою радость.

Люди бросили работу. Окружили гетмана. Рваные, грязные. Кто в разбитых чоботах, кто ноги завернул в лохмотья, стояли на раскисшей земле, держа в руках топоры и кирки.

- Кто такие будете? - спросил Хмельницкий.

- Посполитые, - отозвался дедок в латаной свитке, с головой, повязанной женским платком.

- Где твоя шапка, дед? Или бабой захотел стать?

- При нужде, гетман, и турком станешь, - весело ответил дед, шуткой смягчая горечь ответа.

- Худо живете, люди?.. - не то вопросительно, не то утвердительно произнес Хмельницкий. - Избавимся от панского ярма - другая жизнь пойдет... - Повернулся к Гармашу, сверлил его глазами: - Людям дашь чоботы, на свой кошт одежду справишь, кормить будешь как следует. Зачем нищих плодишь? Вор! Ворюга! - Схватил бледного Гармаша за грудь, встряхнул и швырнул на землю.

Гетман обратился к народу:

- Вот что, люди, коли будет вам этот купец обиду чинить, идите ко мне с жалобами, слышите, люди?

- Слышим, гетман! Слышим! - отозвались хором, дружно и весело звенели голоса.

- Здоровы будьте, люди!

- Счастья тебе, гетман!

...Возвращались молча. Золотаренко прятал усмешку в ладонь. Гармаш плелся позади, благодарил бога, что хоть так обошлось. Знал - гетман в гневе бешеный. И за что разъярился? Кого под защиту берет?

...Через несколько дней гетман диктовал Свечке:

- <Повинен ты, Гармаш, поставить четыре плотины и у каждой соорудить домницу. Соорудить две мастерских для литейного дела, дабы в них водой можно было сверлить стволы для пушек, как это делают в Московском царстве на оружейных заводах в Туле. Для того посылаю тебе двух знатных мастеров, о коих уже говорено тебе в бытность мою у тебя. Тех мастеров, Ивана Дымова да Дмитрия Чуйкина, содержи, как надлежит, чтобы недостатка ни в пище, ни в деньгах оные мастера не имели. Коли не так - будешь держать ответ передо мной. Гляди, чтобы не было обмана. Велю тебе оттуда не отлучаться, пока дело сие не будет налажено. А будет в чем потреба - отписывай...>

Кончил диктовать письмо. Усталость томила. Свечка ушел. Джура Иванко постлал постель. Хмельницкий обхватил руками тяжелую голову, сжал пальцами виски. Неожиданно вспомнились слова Гуляй-Дня про Крайза. Да разве один только Гуляй-День говорил о том? Вправду, что же это случилось? Надо будет провести следствие над казначеем... Надо будет... Но ведь ему нужны деньги, много денег, для войска, для переговоров с чужеземными державами... И всегда их нехватает... Всегда. Только один Крайз мог добывать деньги быстро. Когда бы ни потребовал от него гетман десять, тридцать, сто тысяч злотых - будто из-под земли рождались бочки с золотом и серебром... Но все же не мог не признать, что в словах Гуляй-Дня и в жалобах многих иных на казначея немца была правда...

...Эта ночь не минула даром. Через два дня перед гетманом стоял встревоженный Крайз. На лавке сидел, кусая кончики уса, Иван Выговский, с беспокойством следил за Хмельницким прищуренными глазами. Пристально глядел из своего угла на Крайза Лаврин Капуста. Хмельницкий, стуча кулаком по столу, кричал:

- Вор! Молчи, собака! - Хотя Крайз и не собирался возражать, и гетман это видел, но именно то, что немец молча выслушивал крики и угрозы, еще больше злило его.

- Прикажу четвертовать, сжечь... Кары нет на тебя, здрайца! Кого грабишь? С кого шкуру дерешь? А ты, Иван, чего молчал? Почему потакал?

Выговский, бледный, поднялся.

- Дозволь, гетман...

- Не дозволю. Молчи, писарь! Не дозволю! И ты вор!

Выговский покорно склонил голову и сел на лавку.

- Учинить розыск, - крикнул Хмельницкий Капусте и швырнул ему смятые пергаментные листы-жалобы. - Вот прочитай, что люди пишут... Прочитай...

Хмельницкий бессильно замолчал, и тогда, прижимая руки к груди, ломая слова, Крайз заговорил:

- Ясновельможный пан гетман...

Хмельницкий грозно повел бровями. Крайз мгновенно спрятал глаза под ресницами, - казалось, гасил в них недобрые огоньки.

- Войну, ясновельможный пан гетман, замышляешь великую. Тебе папа римский, или цесарь, или король шведский займы не дадут ни гроша... Где же взять? А деньги большие нужны... Ой, какие деньги! А кто даст? Только сами должны добыть. Самосильно. И каждый чинш, ясновельможный пан гетман, берем по твоему универсалу, и при каждом универсале твоей милости собственноручная подпись твоя...

Вот оно что! Хитро придумал немец... Ишь, куда клонит: <Под каждым универсалом твоя подпись>. Хмельницкий поднялся. Выпрямился над столом. Казалось, самый воздух мешал ему - рассек его перед собою рукой... И тут прятались за его спиной, его именем прикрывали все. Рыжий немец говорил правду. Разве он не подписывал эти бесчисленные универсалы? И оттого, что в словах казначея была правда, стало еще горше. В один миг вихрем пронеслось в голове: разбой татар, обидные песни, злые напутствия ему: <чтобы первая пуля не минула, в сердце попала>, надменные лица шляхтичей, масляные глаза Ислам-Гирея и его мурз - все это кружилось перед его взором, и надо было делать сверхчеловеческие усилия, чтобы сквозь всю эту мерзость увидеть дорогу, которую следует идти, да идти не одному, а повести за собою весь край, весь народ...

Хмельницкий вышел из-за стола, шагнул вперед. Твердил себе: <Поведу через муки и кровь, но добуду волю родному краю...> И, сам не замечая того, заговорил вслух:

- Добуду! Добуду!

А Крайз, испуганный, отступал к двери, и, когда гетман резким движением выхватил из ножен саблю, Крайз стремительно вышиб спиной дверь и исчез из гетманской канцелярии.

...Что-то защемило в сердце. Густой туман плыл перед глазами. Хмельницкий почувствовал, словно чьи-то настойчивые, враждебные руки выдергивают у него из-под ног землю... и тяжело опустился на скамью...

5

...Страшную казнь придумал хан для Катри.

Посреди площади, напротив мечети, вкопали в землю столб. Катрю, обнаженную, привязали к столбу, густо обмазали дегтем, в ногах разложили хворост. Мулла Сафи, воздев над головой ладони, провозгласил:

- Неверную и лукавую, которая подняла хищные руки свои на жизнь наимудрейшего и величайшего из владык востока и запада, нашего преславного хана Ислам-Гирея третьего, великий диван приговорил к прилюдной казни у позорного столба.

На площади людей - не протолкаться. Давно хан не радовал Бахчисарай таким зрелищем. Среди шумной толпы позорный столб высится одиноко и страшно. Катря ничего не слышит и ничего не видит.

- Пусть огонь поглотит мерзостное тело неверной, пусть пламя затмит ее подлый взор и принесет ей муки, безмерные и неутрачиваемые.

Тяжелая волна жаркого ветра катится через площадь. Кольцом стоит ханская стража. Безносый татарин оглушительно бьет в бубен. Сейчас начнется. Вот уже сейманы несут факелы. Сейчас они подожгут хворост.

Катря ничего не видит и не слышит. Только жаркий ветер волною овеял тело, как бы заслонил его на миг от страшных взглядов. Вон там, далеко, за полосой гор, прохладная зеленая степь; шумит высокая трава, колосятся пшеничные нивы, улыбаются синие петухи со стен белой хаты, блестит церковный купол под ярким солнцем. Это Байгород, и это жизнь. Давняя, былая, к ней нет возврата, но это жизнь. И Катря стремится к ней через головы страшной толпы, через горы и степи, напрямик, по нехоженным тропам.

В сердце у нее нет страха. Свинцовая тишина в ее успокоившемся сердце. Уже тогда, когда она с нечеловеческой силой сжала свои пальцы на жирном горле хана, поняла - жизни

не будет, никогда, вовеки, только муки и смерть. И не будет Мартына, и не будет свободы. Один мрак ждет ее, а потом пустота. И никто не увидит - ни близкие, ни далекие, ни мать, ни Мартын, как тяжкая скорбь посеребрила Катрины черные косы, как вплело горе седые пряди в юность, которая кончалась так страшно этим утром на бахчисарайской площади.

Голос муллы дрожит от злобы, точно через силу выталкивая из жилистой глотки заключительные слова:

- Во имя аллаха, во имя Магомета, - огонь и смерть неверной. Кара и смерть.

Вот теперь сознание возвращается к Катре. Глаза широко раскрыты. Вот оно, страшное. Тысячи глаз, жадно раскрытых ртов. Что это? Кто они? Зачем? Чем-то густым и неприятным вымазали ей тело, лицо, вот уже льют что-то липкое на голову. Взгляд Катри падает на хворост у ее ног. Напрягаясь всем телом, она кричит неумолимым ханским сейманам:

- Пустите!

Кто отпустит? Кто пожалеет? Не кричи, девушка! Молчи! Умирай страшной смертью. Молчи! Кто говорит это? Чей голос нашептывает на ухо скорбные и мужественные слова? Молчи, девушка! Приготовься! Будет еще страшнее! И уже только одно слово шепчут Катрины губы, одно слово, точно молитву:

- Мартын! Мартын!

Высятся позорный столб над толпой. Задрав головы, стоят любопытные, ищут во взоре девушки страх, но не страхом полны широко раскрытые глаза.

Сейманы подождли хворост. Едкий дым пополз вверх, забил дыхание и затуманил взгляд. Катря захлебнулась и, чтобы не закричать, прикусила губы: <Вот сейчас она завизжит, заплачет, взмолится>, - с наслаждением думает мулла Сафи. Но ни крик, ни молитва, ни мольба не помогут неверной. Слово хана - закон. Кто осмелился поднять руку на сына Магомета, того ждут адские муки и смерть. Велика мудрость хана и безмерен гнев его. Кто не знает этого?

- Прокляты будьте, прокляты вовек! Горем отзовутся вам мои муки...

Звонко и бесстрашно звучит над толпой голос Катри.

Со свистом проносится над площадью стрела и вонзается в грудь Катри. За ней вторая и третья:

Покорно и спокойно опускается голова девушки. Теперь Катре не страшны муки.

Неимоверный шум вскипает в толпе:

- Кто метнул стрелы?

- Кто нарушил закон, начертанный ханом?

- Кто осмелился?

...Мартын стоит в тесной башне мечети, припав плечом к холодной каменной стене, сжимая в руке тугой лук. Сквозь узкую щель видит толпу. Доносится сюда угрожающий шум. Но ничто уже не страшно Мартыну. Пришло желанное спокойствие. Чудесной силой наливаются мускулы. Теперь пусть приходят. Он может броситься один на разъяренную толпу, сам погибнет, но у ног его горой лягут мертвые тела ханских аскеров и сейманов. Мартын слышит визгливый голос хранителя мечети, его поспешные шаги по крутым ступеням, ведущим сюда, на башню. Шум на площади близится к мечети, словно в толпе уже догадались, откуда прилетели стрелы. Хранитель всовывает голову в проем двери, ломая слова, почти плача, причитает:

- Ай, ай, что ты, нечистый, натворил! Клялся только поглядеть... Вот они уже сюда бегут... Заметили! Тебя замучат - шайтан с тобой, но и меня псам на ужин кинут...

Хранитель мечети скатывается по ступеням вниз. В отчаянии он бросается к воротам мечети. <Зачем согласился пустить сюда неверного? клянет он себя. - Зачем польстился на золото?> Бешено стучат в ворота, бешено бьется сердце хранителя. Дрожащими руками открывает маленькую дверцу и высовывает свое безбородое лицо.

- Кто осмеливается нарушать покой дома аллаха? - спрашивает хранитель, стараясь придать своему голосу угрожающий тон.

Сейман недобро блестит глазами, кричит ему в лицо:

- Именем хана, отпирай! Кто-то метнул стрелы с башни мечети.

- Иди прочь, лукавый! Разве не знаешь ты, что в дом аллаха входят не с оружием, а с покорностью! Ступай прочь, покуда кара не упала на твою дурную голову. На башне никого нет, с ума сошел ты, батыр!

За воротами гудит и клокочет толпа. Хранитель закрывает дверцу. Он бежит назад, в башню. Хватает за руку Мартына, тащит его вниз и вталкивает в священную комнату, где хранится коран. Войти сюда имеет право только главный ханский мулла, святой сын аллаха - Фатулла.

Аскеры и сейманы не успокаиваются. Хранитель мечети снова бежит к воротам. Вот уже слышит он тоненький голос муллы Сафи:

- Отпирай ворота, - кричит Сафи, - именем хана приказываю тебе!

Хранитель с ужасом слышит страшный голос начальника ханской стражи, лихого батыра Баязита, который одним взмахом меча рассекает человека надвое, от плеча до паха. Он отпирает ворота. Падает на колени перед муллой Сафи.

- Аллах видит, как напугали меня сейманы. Разве можно так у ворот дома аллаха...

- Веди на башню! - приказывает батыр Баязит. - Не болтай, если не хочешь качаться на сухом суку!

Обыскали башню. Обшарили руками каждый камень. Нюхали воздух, словно запах должен был сказать что-нибудь о преступнике.

Во все уголки заглянули. Остановились у дверей священной комнаты. Хранитель только смиренно сказал:

- Тут сберегается коран Магометов, ключи у святого Фатуллы.

Потоптались перед дверью и ушли.

Уже давно затих стук шагов в пустой мечети, а хранитель все еще дрожал. Едва опомнился. Отпер дверь, вывел Мартына. Побежал вперед, остановился у стены, влез на столбик, выглянул - в саду никого не было.

- Ступай! - злобно сказал Мартыну.

Мартыну хотелось угостить его на прощанье кулаком, но только плюнул с отвращением и перескочил через стены. Через полчаса сидел перед Иваном Неживым и Тимофеем.

- Думали, погибнешь, друже, - сказал Тимофей.

- Нет Катри, нет, - сказал в ответ Мартын и закрыл лицо руками.

...Хан принимал гетманского посла Тимофея Хмельницкого в присутствии всего дивана. Позади хана сидели визирь, ханские братья, мурзы. Перед Ислам-Гиреем положили подарки гетмана. Тимофей подал гетманскую грамоту. Хан принял ее и передал визирю, не читая.

- Жаловался на меня брат мой Хмельницкий турецкому султану, недовольно заговорил хан. - Неладно поступает гетман, нарушает закон дружбы нашей.

Тимофей знал, чем недоволен хан. Отец предупреждал его еще перед поездкой в Бахчисарай. В переговорах с Осман-агою Хмельницкий сказал: <Чтобы я мог спокойно воевать, султан должен приказать хану за моей спиной договора с королем не заключать, как это было под Зборовом>.

Тимофей уклонился от ответа. Заговорил о другом:

- Великий хан, гетман Украины поручил спросить тебя: может ли он ожидать твое войско?

Хан бросил на гетманича гневный взгляд. Хитрый сын гяура! Хорошо! Погоди!

- Передай гетману, брату моему, что и на сей раз сдержу свое слово. Буду с ордой в конце мая там, где меня просит гетман, но гетман должен приказать по селам и городам, чтобы вольные загоны черни вашей не совершали наездов на мои улусы, чтобы ясырь, который я беру по праву военной добычи, не отбивали...

Руки у хана тряслись. Невольно погладил шею: еще сейчас болела. Вспомнил вчерашний вечер: могло случиться так, что эта проклятая неверная задушила бы его.

Холодок прошел по затылку хана, он сжал кулаки и, не сдерживаясь, почти закричал в лицо Тимофею:

- И буду я брать ясырь, сколько мне нужно, ибо должен, по приказу султана, выслать ему пять тысяч невольников! Пусть знает это сердечный брат мой гетман. Пусть знает!

В тишине, наступившей после взрыва ханского гнева, твердо прозвучал голос Тимофея.

- Про ясырь и военную добычу тебе не со мною договариваться. Это не мое дело, великий хан, и не за тем прислал меня сюда гетман...

Мурзы и ханские братья переглянулись: слишком нагло заговорил хмеленыш.

Визирь перебирал пальцами складки одежды. Ядовито усмехался. Пусть видит диван, как портит хан дело, когда сам вмешивается в переговоры. Тимофеем перевел дыхание, сказал уже спокойнее:

- Великий хан, война еще не началась, добычи еще нет, - о чем будем спорить и что делить?

- А будете отказываться, - снова вскипел хан, - велю орде итти на Чигирин, на Белую Церковь, велю гетману итти со мной на Москву, а не пойду с ним на молдавского господаря...

И вдруг ласковая улыбка тронула злобно сведенные губы хана. Зачем кричать? Хан вспомнил приказ султана. Вспомнил советы визиря. С Хмелем не ссориться, ни в коем случае не ссориться! всплыли в памяти походы казаков на Азов, на Синоп, бои под Трапезундом. Проклятый визирь правильно советовал: пускай бьются король с Хмелем, грызут друг друга, пускай. А вот когда оба будут обессилены...

Ширится улыбка на губах хана, все ласковее становится лицо его...

- Посадите сына брата моего, - приказывает хан придворным.

Две подушки подкладывают Тимофею, одну - сотнику Неживому. Начинается долгая и тяжелая беседа. Слова просеиваются как сквозь сито. Тимофеем чувствует, как от этого деланного спокойствия начинает болеть голова. Встать бы и уйти. Но вспоминает взгляд отца, обращенный к нему, слышит его проникновенные слова: <Искусство наше не только в том, чтобы саблей размахивать, сын, этим и до нас казаки славились; не только сабля, но и разум - оружие...>

И потому Тимофеем сидит здесь. Надо улыбаться, когда хочется плюнуть им в лицо, надо склонять в поклоне голову и спрашивать о здоровья, когда перед глазами страшные муки невесты казака Тернового, надо дарить хану золотые стрелы, хотя предпочел бы, чтобы эти стрелы торчали в ханской груди, - многое надо делать вопреки велению сердца, и Тимофеем все будет выполнять, ибо это и есть дипломатия, сложная и мужественная наука, с помощью которой иногда выиграешь баталию скорее и успешнее, чем мушкетом да саблей.

- Наслышаны мы тут про великие дела брата нашего, - говорит хан, сам начал пушки лить, ставить домницы, вызвал московских мастеров, - верно ли сие?

Тимофеем склоняет голову, опускает глаза. Так надлежит держаться, отвечая хану. Надо отвести взор от лица его. И так удобнее для Тимофея. Мелькает мысль: <Должно быть, нарочно выдумали это ханские мурзы, чтобы легче было говорить неправду своему царю>.

Хан настороженно ждет ответа.

- Казаки, великий хан, испокон веков больше любят сабли и пики, отвечает Тимофеем.

- Ты языком владеешь не хуже, чем саблей, - многозначительно замечает хан.

Сотник Неживой прячет усмешку.

Медленно текут минуты. За широкими окнами ханского дворца - весна, ветер, бескрайный простор, розовое цветение садов. Где-то за полосой Крымских гор - голубая ширь Днепра, манящая целина степи, над ней бездонная синева. Здесь во дворце не запоешь раздольную песню, как в степи, не вдохнешь полною грудью пьянящий воздух. Все здесь размерено и рассчитано. Каждое движение и каждое слово. Ибо это - дипломатия, способ решения государственных дел. За этой тишиной и притворной почтительностью стоит тревожная безвестность, полная битв, наездов, пожаров, плача и отчаяния обездоленных, слез полонянок. Об этом надо помнить, когда сидишь на мягких подушках, в высокой зале

бахчисарайского дворца, перед ханом Ислам-Гиреем III, как посол гетмана Войска Запорожского и всея Украины.

6

Князь Семен Васильевич Прозоровский и боярин Григорий Пушкин второй день вели переговоры с послом польского короля Маховским. По мнению Пушкина, два дня на разговоры с послом потрачены даром. Нечего и слушать путаные объяснения Маховского, лезть и даже угрозы. Боярин Пушкин достаточно хорошо помнил свое прошлогоднее посещение Варшавы, чтобы верить щедрым обещаниям короля или обращать внимание на угрозы и предостережения. Но приходилось сидеть, слушать и по временам вступать в разговор.

В кремлевской палате пышат теплом низкие, обложенные желтыми изразцами печи. Сквозь глубокие проемы окон проникает бледный свет мартовского дня.

Как тени, появляются и исчезают в палате подъячие посольского приказа. Вносят пергаментные свитки, разворачивают перед князем Прозоровским.

Поблескивая очками, Семен Васильевич шевелит губами, значительно подымает палец и, метнув поверх очков взгляд на Маховского, говорит:

- А еще стало доподлинно ведомо нам, господин посол, что в городе Смоленске и смоленских землях, наших землях исконных, - подчеркивает князь, - державцы Радзивилла ругаются над церквами православными, а также силою принуждают попов принимать унию...

Маховский отрицательно закачал головой, хотел возразить.

- Погоди, господин посол, погоди, - Прозоровский листал пожелтевшие списки. - Ведомо также нам, что людей русских в оных землях содержат как невольников, на всякие работы гоняют, и потому дворы их опустели, а земля, где злаки росли, ныне стала диким полем. Зачем говоришь, господин посол, о дружбе вечной и искренней, если Януш Радзивилл такое творит?

- Пан князь, - Маховский прижимает руку к сердцу, - будь уверен, король того не знает. Когда узнает, будет весьма разгневан своевольными поступками гетмана литовского.

Капли пота выступили на лбу Маховского. От злости дрожали пальцы. И всегда бывало так в этой Москве. Нет, ей-богу, с ханом и его министрами куда легче вести переговоры. Русские своею настойчивостью и упорством бесят посла. Хорошо было советовать сенаторам в Варшаве, попробовали бы здесь, в Кремле, добиться чего-нибудь. С ненавистью поглядел на бритое лицо Прозоровского, на умные глаза под очками в золотой оправе, сказал тихо:

- Это наш домашний спор, пан князь, и мы сами в нем разберемся. Радзивилл ответ даст, но почему не отвечаешь на мой вопрос? Неужели то, что делается на рубежах царства Московского, не беспокоит тебя?

Прозоровский молчал. Наклонив голову, внимательно слушал. Пушкин щурил глаза на светильники, зажженные подъячим. Маховский поднялся. Оперся руками о стол. Говорил горячо, взволнованно.

- Должны знать, панове, что своеумец Хмельницкий замыслил злое не только супротив Речи Посполитой, - его дерзновенные помыслы супротив помазанника божьего, короля, могут, как чума, переброситься через рубежи. Это худой пример для лукавой черни. Разве сие не тревожит вас, панове? Взгляните, что творится в Европе. Вспомните, - год назад безумная чернь подняла руку на помазанника божьего, короля Англии, Карла Первого Стюарта, и причинила смерть ему; в Вене злонамеренные люди умышляли на жизнь преславного цесаря. Хмельницкий - нить из того же дьявольского клубка... Хмельницкий замыслил злое против помазанника божьего. Если хотите, скажу вам больше: он намерен перекинуться в подданство к турецкому султану, поклялся быть в вечной дружбе с крымским ханом, хвалился, что вместе с ордой пойдет воевать Московское царство...

Маховский перевел дыхание. Показалось, что его слова произвели впечатление на бояр.

- Я должен, панове, по поручению короля Яна-Казимира сказать все это перед царем,

просить его величество не пускать в свои земли подлых бунтовщиков, поставить стрелецкое войско на кордонах, донским казакам насторого запретить участвовать в походах Хмельницкого. Атамана Алексея Старова, нарушителя Поляновского вечного мира, который был с донскими казаками под Зборовом, казнить смертью, чтобы другим не повадно было. Торговым и державным людям запретить... - Маховский уже читал по листу пергамента, разложенному перед ним, - запретить продавать Хмельницкому оружие, ядра, порох, а также зерно и соль. Послов Хмельницкого не принимать, - сие противоречит мирному договору нашему, ибо означает, что вы, панове, признаете здрайцу и бунтовщика Хмельницкого гетманом...

- А почему вы к нему послов посылаете? - сердито перебил Пушкин.

Прозоровский недовольно поглядел на боярина:

- Говори, господин посол, прости, что перебили.

- То все. О том я должен сказать от имени короля его величеству царю Алексею Михайловичу и передать ему в собственные руки королевские грамоты.

Князь Прозоровский поднялся.

- Господин посол, на сем дозволю прервать нашу беседу. Дозволю подумать. Через два-три дня соберемся снова.

- Чего ждать? Только потеря времени, - всердцах сказал Маховский.

Прозоровский не ответил. Наклонил голову. Дал понять - переговоры закончены.

...Через три дня собрались снова в большой палате посольского приказа.

Маховский с секретарем посольства Гроздицким прибыл ровно в два часа дня. Их встретили князь Прозоровский, боярин Григорий Пушкин, думный дьяк Василий Унковский и окольный Богдан Хитров. После поклонов и расспросов о здравии господина посла и о том, не терпит ли он какой нужды и не было ли ему от кого-нибудь обиды, князь оповестил посла:

- Извещения твои, господин посол, касательно замыслов запорожского гетмана весьма важны и требуют времени, дабы их как следует изучить. Говорено нами о твоём приезде его величеству государю Алексею Михайловичу, который по нездоровью теперь в Кремле не бывает и, к великой своей жалости, тебя, слугу его величества короля Яна-Казимира, принять ныне не может, а потому грамоту королевскую повинен ты передать мне для вручения государю.

Маховский нарушил установленный порядок. Перебил князя Прозоровского:

- Негоже так, пан князь. Грамоту королевскую, согласно с волею короля, повинен я передать только в собственные руки его величества царя.

Прозоровский с притворным сочувствием развел руками:

- Тогда придется тебе обождать. Весьма рады будем, если погостишь у нас на Москве.

У Маховского зарябило в глазах. Ждать? Что они, спятили? Уже на юге начались бои с загонами Хмельницкого, вчера гонец из Варшавы привез письмо от канцлера Лещинского - ускорить московские переговоры. Хорошо им приказывать там, в Варшаве...

- Касательно прочих твоих требований, господин посол, - продолжал Прозоровский, - извещаю: запорожские казаки - люди веры православной и на царскую землю идут, ибо церковь католическая их вере чинит многие утеснения и обиды, а потому запретить им пребывать на русской земле не можем. Прекратите утеснения и обиды, тогда сами не побегут. Второе, господин посол: стрелецкое войско на рубежах наших стоит в потребном числе, и увеличивать его или уменьшать нужды не видим. Посылать же войско на Хмельницкого - дело немислимое, ибо мы с казаками - люди одной веры, и когда они свою веру защищают, с ними войны быть не может, да и патриарх такого никогда не благословит. О поступках атамана донских казаков, названного Старова Алексея, нам неведомо. Приказано стрелецкому воеводе Артамону Матвееву учинить розыск. Касательно уведомления твоего, что Хмельницкий намерен перекинуться в вечное подданство к турецкому султану и злое замыслил против царства нашего учинить вместе с татарами и турками, мы о том не ведаем, вам лучше знать, ибо гетман Хмельницкий ваш подданный, и

за злые умыслы и поступки его будете вы ответ держать, согласно с мирным договором между державами нашими. Запретить торговым людям вести торг с купцами украинскими не можем. В Поляновском договоре таких обязательств, с кем торговать и как торговать, ничего не написано, а торговым людям поступать вольно - запретить никто не может. Как свободно торгуют с купцами Речи Посполитой, так пусть торгуют и в иных местах.

- Касательно же послов Хмельницкого извещаем, что его величество король должен запретить своему гетману, каким он сам считает Богдана Хмельницкого, посылать своих послов в иные державы, а мы вольны вести переговоры, с кем захотим. Требовать иного будет нарушением Поляновокого договора. Что ж до прочего, господин посол, повинен я сказать тебе: война ваша с казаками, как сам ты говоришь, - домашняя, военного участия в ней брать не будем, но его величество государь Алексей Михайлович не может быть спокоен, когда ругаются над верой православной, разоряют храмы божии, русское письмо и слово русское бесчестят и поносят всяческим недостойным и подлым способом. Сие есть нарушение Поляновского договора, по коему взаимное уважение к вере и вольное исповедание ее обязаны быть.

У Григория Пушкина дух захватило от удивления. Вот это задал перцу князь пану Маховокому!

Василий Унковский сохранял почтительное молчание, только в глазах играли веселые искорки. У Маховского дергались усы. Заложил руки за пояс. Надменно поглядел на бояр. Сказал многозначительно:

- Обо всем том, что услышал от тебя, князь, скажу в Варшаве. Ждать здесь больше ни одного дня не могу. Вчера гонец от канцлера привез мне радостное известие: рыцари гетмана польного, пана Калиновского, разбили наголову лучший полк Хмельницкого, под командованием Данилы Нечая. Король с главными силами выступит вскоре, потому должен я немедля быть в Варшаве.

Что-то теперь запоет князь! Маховский был доволен. Меткий выстрел! Ему казалось, что его сообщение поразило бояр. Вот они переглянутся - и по-другому заговорит князь Прозоровский, который (это доподлинно знал Маховский) только вчера вел тайную беседу с послом Хмельницкого, полковником Михайлом Суличичем.

После минутного молчания Прозоровский сказал:

- Задерживать тебя, господин посол, не имеем права, тебе виднее, как поступить. А что до грамоты королевской - решай сам.

...Посол польского короля Маховский со свитой, сопровождаемый служилыми людьми посольского приказа, во главе с дьяком Алмазом Ивановым, выехал из Москвы, держа путь на Смоленск - Оршу.

В пяти милях от Москвы, у слободы Верхняя Застава, Алмаз Иванов попрощался с Маховским, пожелал ему доброго пути и вручил подорожные охранные грамоты, дабы стрелецкие дозоры не чинили никакой обиды господину послу и посольским людям.

Пронзительный ветер врывается в крытый возок. Завернувшись в медвежью шубу, Маховский с приятностью вспоминал недавние дни в Бахчисарае, жаркое солнце Крыма и сладкие, как мед, беседы с ханом и его визирем. Печально вздохнул. События предвещали новые беды, и от одной мысли об этом щемило на сердце.

...Тем временем, загоня лошадей, что есть силы скакал полковник Михайло Суличич через московскую землю к далекому Чигирину. Вскоре потянулась глухомань Брянских лесов, нехоженные и неезженные дороги. Полковник поглядывал в лесную гущу, держал наготове пистоль, - мало ли кто может выскочить из этой чащи? Вокруг возка пятьдесят верховых. Храпят лошади. Вьется пар над их головами. Летят по сторонам брызги талого снега. Срываются с деревьев испуганные вороны. Суличич то и дело толкает под бок казака на козлах:

- Скорее, Семен, скорее!

Семен только плечами пожимает. Куда же скорее? Уже четвертую пару лошадей меняет по дороге. Словно сказился полковник. Жил спокойно на Москве три месяца и разом

сорвался, как бешеный. За одну ночь подай ему Киев и Чигирин. Больно прыток! Все же Семен хлестнул коренного кнутом. Возок подскакивает по замерзшей земле. Лошади летят, как на крыльях. <А и правда, - думает Семен, - вот кабы крылья человеку? Сказывал на Лубянке посадский человек, - какие-то люди выдумали способ летать. Наверно, брехал!>

Казак Семен Кравчук с добрым сердцем вспоминает Москву. Чего не повидал там, чего только не наслушался! А больше всего влекло то, что люди свои, вера одна, да и беда одна... Хлопам в Московии тоже не сладко. Пан, видно, всюду одинаков. Что на Руси, что в селе Семена Кравчука - Марковцах над Днепром.

Бьет в лицо ветер. Клонится долу багровое солнце. Скоро и Брянск. Михайло Суличич мыслями то в Москве, то в Чигирине... Есть о чем рассказать гетману, есть чем порадовать. Не зря сидел в Москве три месяца.

В Брянске полковник Суличич был гостем воеводы - князя Никифора Федоровича Мещерского. Остановился не только на отдых. Положил перед воеводой грамоту от князя Прозоровского. Воевода прочитал внимательно, согласно кивнул головой.

- Ладно. Пусть войско ваше идет, - дороги тут хорошие, провианту и пушек добудут, уж мы в том поможем.

Выпили по чарке, закусили холодцом. Беседовали неторопливо, дружески.

На рассвете Суличич уже был в возке. Снова летели мысли, снова нетерпение гнало его. Впервые за дорогу подумал о поражении Нечая. <Горяч и неосторожен, - мелькнула мысль, - лез куда не надо>.

На востоке поднималось солнце. В воздухе запахло прелой листвой. Возок катился по лесу. Посольская стража затянула песню.

7

В начале апреля Хмельницкий отправил через русский рубеж, в направлении к Брянску, семь тысяч казаков под началом полковника Тарасенка, который прибыл недавно из Кодака. Заботясь об артиллерии, гетман перебрался в Корсунь, куда генеральный обозный Федор Коробка, заменивший умершего от горячки Чарноту, свозил пушки. Тут, по мысли гетмана, надо было сосредоточить все пушки, заготовить потребное количество ядер, пороха и в удобную минуту, когда обозначится окончательное поле генерального сражения, бросить эту силу на самое уязвимое место королевской армии.

Хмельницкий спешил завязать авангардные бои до появления орды, чтобы хан принужден был уже вступить в битву, а не начинать ее. Это, по мысли Хмельницкого, лишало и поляков, и татар возможности снова обойти его какой-нибудь хитростью, как было под Зборовом. Правда, беспокоил еще гетмана литовский князь Януш Радзивилл, но согласие московского царя пропустить гетманское войско через русский рубеж облегчало дело.

В доме сотника Ивана Золотаренка в Корсуне уже привыкли к высокому гостю. Во дворе день и ночь гомонили казаки. За воротами шума еще больше, а в сенях только и слышно было:

- Нельзя к гетману!

- Обожди, у гетмана Богун.

- Только завтра увидишь гетмана, нынче войсковая рада.

Есаул Демьян Лисовец с ног сбился. Легко сказать - день и ночь не спи, утром разве посчастливится прикорнуть где-нибудь в углу на лавке, а то мотайся, как скаженный: гонцы, письма, грамоты... Писцы, чтобы их всех черт побрал, с утра до вечера пьянствуют. Хорошо, что Выговский остался в Чигирине, а то б еще и с ним хлопот...

Тимофей побыл несколько дней, привез есаулу подарок - саблю в серебряных ножнах - и подался с Богуном в Винницу. Капуста то и дело скакал из Чигирин в Корсунь и снова в Чигирин. А тут видимо-невидимо всякого народа, точно ума лишились: подавай им грамоты на послушество, охранные универсалы. Зашевелилась шляхта, заслышав об успехах Калиновского. Однако, после того как Богун пощипал польного гетмана, несколько угомонились.

Лисовец урвал минутку, вышел на крыльцо. По двору шла сотникова сестра Ганна.

Есаул сорвал шапку, почтительно поклонился. Красавица приветливо повела головой, показала ровные белые зубы. Есаул загляделся на красные сапожки. За спиной послышался хриплый голос Суличича:

- Демьян, гетман зовет!

- О господи! - придерживая рукой саблю, Лисовец кинулся в покои.

- Где шляешься? - грозно спросил Хмельницкий. В накуренной комнате едва можно было различить лица Золотаренка, Суличича, Капусты, Мужиловского. - Чернил никогда нет, перья, как щепки...

- Свечка, пан гетман, все перья попортил, - поспешил пожаловаться есаул, - спасу нет: пишет, пишет бог знает сколько, скоро из-за него чернил не станет по всей Украине...

Шутка понравилась гетману. Он усмехнулся. У Лисовца отлегло от сердца. А не то не миновать бы ему нынче...

- Свечка Свечкой, - мирно проговорил Хмельницкий. - Неси живею карту и новые перья и чернила.

...Есаул несколько раз подходил к дверям, прикладывал ухо, прислушивался. Молодица с кухни понесла в комнаты гетмана моченые яблоки. Лисовец взял себе два, ущипнул девку за румяную щеку, вгрызся зубами в яблоко. Черт знает что! Пора уже вечерять, а они еще и не полдничали, и он должен тут стоять, как свечка. Тьфу, нечистая сила, снова Свечка на языке, никуда от него не денешься!

И в самом деле, - точно призрак, на лестнице появился Федор Свечка. Учтиво поздоровался с Лисовцом. Дожевывая яблоко, Лисовец спросил:

- Видать, и пообедал уже, почтенный летописец?

- Пообедал, - смиренно отвечал Свечка.

- А я еще и не полдничал, - пожаловался есаул. - Что скажешь?

- Мне бы к гетману, - робко начал Свечка.

- Многого захотел. Нечего теперь гетману делать, только с тобой балачки разводить!

- В войско хочу проситься, пан есаул.

- Что, жизнь надоела, или уже все чернила исписал?

- Шутишь, пан есаул, а я в сей грозный для отчизны час должен мечом веру и волю оборонять, а не грамоты переписывать, возраст и сила у меня казацкие.

- Чисто как поп говоришь, Свечка! - Лисовец дожевал яблоко, выплюнул семечки, обтер платком губы. - Вишь, что задумал! Забудь! Гетман приказал тебя в казаки не пускать. Пиши, Свечка, такая твоя доля на веки вечные. Эх, мне бы такую работу!

- Не пустишь к гетману?

- Не пущу! Рада там. Разумеешь?

Свечка повернулся и пошел, широкими шагами пересекая двор. Остановился у ворот, что-то сказал караульному.

<Не иначе - в шинок>, - с завистью подумал есаул.

...Поздно вечером закончилась рада. Обедали в большой приемной. За столом распорядилась сестра Золотаренка, Ганна. Хмельницкий внимательно следил за каждым ее движением. Что-то теплое согревало сердце, когда встречал ее открытый и смелый взгляд. Полковники молча ели. Золотаренко подливал вина в кубки. В горнице - ни скамей, ни ковров на стенах. Вокруг стола стулья с высокими спинками, обтянутыми алым сафьяном, у стен венские столики, тонконогие и глубокие кресла. Большие высокие окна застеклены вверху разноцветными стеклами. На столе и на столиках в углах комнаты серебряные шестисвечники.

На белой скатерти - серебряная и фарфоровая утварь, медведики с калганной водкой, высокие бутылки мальвазии и горелка в серебряных кувшинах. Ганна то и дело вставала, исчезала за дверью и возвращалась, держа на вытянутых руках блюда с кушаньями.

- Жениться тебе надо, Иван, - сказал гетман, - да и сестру замуж отдать.

Золотаренко не успел ответить, как Ганна откликнулась; поставив перед собой серебряный кубок, прямо поглядела в глаза гетману:

- После смерти мужа я зарок дала, пан гетман, - пока Украина не освободится от польских панов, не выйду замуж.

Сказала строго, ни тени улыбки на полных, как бы слегка припухших губах.

- Что ж, зарок добрый, - растягивая слова, проговорил Хмельницкий.

- Недолго ждать тебе, Ганна, - отозвался со своего места Суличич. Выпьем за нашу победу!

- Обожди пить за победу, - гетман поднял руку, - не годится прежде времени. Это примета дурная...

- Научил-таки тебя Выговский верить в приметы, - засмеялся Капуста.

- Нет, не потому сказал, что верю в приметы. Не потому, други! А хочу, чтобы знали вы: тяжело будет нам, ой, тяжело! Король и его канцлер Лещинский все сделают, чтобы теперь нас одолеть. - Хмельницкий поднялся с кубком в руках. - Но наше счастье, други, что рядом с нами великий сосед, брат наш - народ русский, и он всю жизнь свою показывает нам, как стоять надо за волю и веру родного края. Великий царь московский жалует уже нас своею милостью, и скоро узнают паны в Варшаве благодетельную для нас и страшную для них совокупную силу народов наших. Пьем, други, за народ русский, за братьев наших, за царя московского.

Звякнули серебряные кубки. Выйдя из-за стола, Хмельницкий подошел к Ганне; коснувшись ее кубка, почувствовал тепло ее пальцев, покой вошел в сердце, и, может быть, впервые за эти дни он непринужденно улыбнулся, разбежались глубокие морщины на лбу. Сказал Ганне:

- Постараюсь, чтобы недолго пришлось тебе зарок держать.

- Желаю тебе счастья, гетман, в великом деле твоём, - торжественно проговорила Ганна.

...Среди ночи Хмельницкий проснулся. Неприятно колело в сердце. Сел на постели, нашарил на столике графин с водой. Кружки не нашел и, припав к горлышку, с жадностью пил. Вода бежала по подбородку за ворот рубахи, приятно освежала.

Поставив графин, вытянулся на постели, закинув руки за голову. Закрыв глаза, стараясь заснуть. Сон не приходил. Слышно было, как у коновязи топотали лошади, доносились приглушенные голоса караульных, кто-то возился под окнами. Встать бы да прикрикнуть. Но не хотелось двигаться, - вот так бы и лежал, забыв обо всем на свете, обо всех заботах и тревогах.

В его годы пора уже изведать сладость покоя. Сидеть бы где-нибудь на берегу пруда, а не то охотиться с луком на туров или вести долгие, нескончаемые беседы с субботовским пасечником Оверком о том, как казаки турок на море воевали. Мало ли что можно придумать, чтобы тихо и неторопливо жить на этом свете! Но разве можно назвать это жизнью? Спросил себя и даже удивился, что такое могло ползть в голову в эту весеннюю ночь. Видно, годы дают себя знать. Не тридцать уже, и не сорок, пятый десяток кончается.

В темноте увидел вдруг перед собой ясное и чуть суровое лицо Ганны. Услышал, как она приятным голосом говорит: <Желаю тебе счастья, гетман, в великом деле твоём>. Кто еще так желал ему счастья? Хотел вспомнить - не мог. Елена? Нет! Никогда не слышал он в ее голосе строгой заботливости жены, которая готова лечь рядом с тобой на поле битвы или положить вместе с тобой свою голову под меч палача. А Ганна поступила бы так! Жизнь свою отдала бы...

Ночью, наедине, можно размышлять о многом. Можно припомнить былые дела и былые надежды. Неужели только в те дни, когда он скрывался от врагов и обидчиков своих в низовьях Днепра, задумал он свое великое дело? Нет, не так было. В годы скитаний по Украине, в дни битв за счастье чужого края, в годы неволи вызревал в его сердце этот замысел.

Почему же плетут вражьи языки, будто бы он боролся ради собственной корысти, ради собственной спеси и славы? Недалеко видят и на свой аршин меряют.

Предательский и коварный голос порою нашептывал ему на ухо:

<Есть у тебя булава королевская, гетманские клейноды, есть хутор собственный, красавица жена, добыл славы в чужих землях, послы к тебе из дальних краев приезжают, - живи в мире с панами сенаторами, ездят на поклон в Варшаву. Ведь с дедов-прадедов повелось, что перед королем преклоняют колени дворяне, князья, герцоги, - отчего же ты, безвестного рода казак, только своими делами возвеличенный, не можешь так поступить?>

Это был страшный и лукавый голос, полный тонкого яда. И он всю силу своей совести глушил этот голос в себе и становился еще безжалостнее к врагам отчизны, к тем, кто держал под ярмом его народ, народ, храбростью и отвагой которого был возвеличен он, Хмельницкий. Какой это народ! Он вспомнил взволнованный рассказ Тимофея - и словно наяву увидел площадь Бахчисарая, невесту Тернового у позорного столба, отважный поступок казака. Можно ли даже подумать, что такие люди окончат свою жизнь как скот подъяремный? Нет! Не будет так! Не будет!

Старшина в большинстве своем даже не понимает, в какую силу вошел теперь народ и на что он способен. И как это ни обидно, но гетман должен признать, что уже немало есть на Украине таких, кто изверился в нем, кто кинул на произвол судьбы отцовские дома и ушел в московскую землю искать избавления от польской и татарской неволи. Но он не осуждает их. Он не поддавался на уговоры Выговского и Гладкого, на нашептывания Громьки и Глуха, которые советовали ему всех посполитых, самовольно бегущих со своей земли, возвращать и поступать с ними как со злодеями. Нет! Не послушался он своих полковников. Сказал:

- Пускай идут, сам отпишу воеводам путивльскому и севскому, чтобы помогли тем людям, а когда они увидят, что край наш истинно свободен, сами воротятся, ибо нет ничего краше на свете, чем край отцов твоих!

Он написал воеводам. И не забывал тех людей, которые оставили родной край.

Много воспоминаний рождается в бессонную ночь, и взволнованное воображение рисует перед ним давно забытое, что уже казалось безвозвратно ушедшим.

Теперь снова открывался перед ним путь на битву, которая должна была решить... Но нет! Ничего она не решит! Ничего! В этом он несокрушимо уверен. Фортуна изменчива и может привередничать, как ей вздумается. Бог войны Марс может повернуться к нему спиной, но разве это будет означать конец замыслам и стремлениям, конец воле, добытой в битвах и страданиях? Конечно, нет! Он даже приподнял голову с подушки и взглядом погрозил кому-то ехидно-лукавому во тьме.

Замыслы и надежды Варшавы не были для него тайной. Но то, о чем рассказал Суличич, возвратясь из Москвы, вселило в сердце уверенность и надежду, которых непоколебимо держался, как держится пловец берега. Знал нужно только время. Время решало теперь, как никогда. И если ему опять придется уступить, то лучше сделать это на поле битвы, чем в мирных переговорах с королем и панами. Ни казачество, ни, тем более, посполитые не одобрили бы таких переговоров и отвернулись бы от него, может быть, навсегда. Ибо чем оправдал бы он тогда их надежды? Вот и казак Гуляй-День - разве не изверился в нем? Но Гуляй-День верит в свободу, и вера эта зовет его к борьбе. Гетман не мог забыть тревожного и вопрошающего взгляда Гуляй-Дня там, на рудне, и не раз возвращался мыслями к этой встрече, так много всколыхнувшей в его душе.

Да, тут, наедине со своей совестью, можно было признать: он выполнил не все, что обещал в своих универсалах. Ведь он должен был смотреть только вперед, только вперед, не оглядываясь, и время от времени задабривать тех, кто мог покинуть его посреди трудного пути.

Со страхом подумал: впервые за эти годы у него появилась та странная неуверенность накануне тяжелых сражений, которая может оказаться роковой. Но зато у него было спасительное убеждение: он должен предвидеть будущее, смотреть только вперед, только вперед, - это становилось его заповедью. И, подумав об этом, он уже без тревоги вспомнил недавние вести о подозрительной суете в Киеве, у Адама Киселя (дождется этот кат, что будет на виселице!), перехваченные письма Сильвестра Коссова к полковнику Матвеем Гладкому, намеки - пока еще только намеки - Капусты на чрезмерное внимание Выговского

к польским комиссарам и рассказ Суличича о том, что Выговский доносил московскому послу Унковскому на него, гетмана. <Это все теперь второстепенно, незначительно>, - сказал он себе. Ответ князя Прозоровского польским послам стоил нескольких выигранных сражений, и потому он мог спокойно смотреть в будущее.

Варшава, ясное дело, задумала покончить в этом году с ним. Варшава пойдет на все. Паны хотят развязать себе руки. Замыслы шляхты простирались далеко. Варшавским политикам уже виделись широкие пространства московских земель под бунчуками коронных гетманов. Надо же им было после тридцатилетней войны поправить свои дела за чужой счет.

Что ж, он поможет панам убедиться, что и у них под ногами земля горит. Всего три дня прошло, как он получил весть от верных людей: в Карпатах поднимаются польские селяне, и Варшава этим весьма обеспокоена. Казацкое войско станет для повстанцев побратимами. Он будет их другом. С двух сторон займется пожаром Речь Посполитая. До сих пор паны-сенаторы запугивали своих посполитых тем, что Хмель с казаками движется, как саранча, чтобы уничтожить веру католическую и польский народ. Хитро замыслили! Только напрасно паны сенаторы думают, что не может он обезвредить эту наглую ложь...

Видно, не заснуть в эту ночь. Он спускает ноги с постели. Позвать бы джуру Иванка, да, верно, спит. Гетман встает. Медвежий мех, разостланный на полу, ласкает теплом ноги. Гетман отворяет дверь, зовет джуру. Часовой у дверей вскакивает на ноги, дергает за руку джуру Иванка, который храпит на сундуке.

Сонный Иванко зажигает свечи. Приносит горшок кислого молока. Гетман отодвигает в сторону горшок, половчее устраивается в кресле, накинув на плечи кунтуш, посасывая люльку, наклоняется над картой. Сколько раз за последние дни он вопрошал взглядом этот желтый лист пергамента! Как ярко сияли для него все эти черточки, точки, треугольнички! Жизнь, сложная и привлекательная, полная и горя, и неожиданных радостей, таилась за ними. Год передышки принес немало плодов его стране! А врагам? Надо признать - и им немало удалось сделать. Может быть, больше, чем он догадывается. Какие кошелы в Европе раскрылись для панов! Чего стоит один только Ватикан! Дьявол в сутане занес руку над его отчизной, хочет испепелить ее в боях и обратить в небытие добытые народом вольности.

...Перо, зажатое в пальцах, медленно ползет по пергаментному листу. Вот полоса Карпатских гор, вот Подгорье вот Краков. Тут, в Подгорьи, карпатские повстанцы. Ему сказали, что их вожака зовут Костка-Напирский.

Гетман знал тот край. Хорошее место выбрал Напирский. Народ этого края жил в вечной нищете. Сюда, к Костке, он пошлет людей. Нет, не одного и не двоих. Сюда должен прорваться мощный и храбрый отряд его казаков. Они пройдут по тылам армии короля. Он пошлет Костке-Напирскому грамоту о дружбе и помощи. Протянет руку ему, как брату. И это должен знать польский народ. Надо разослать универсалы польским посполитым. А то, что под Краковом будут казаки, - разве от одного этого не встанут дыбом волосы на голове у коронного гетмана Потоцкого и польного гетмана Калиновского? Нет Данилы! Эх, Нечай, Нечай! Слишком рано оставил ты сей свет! Еще бы тебе жить и жить. Еще прогремела бы твоя слава под Краковом и одно имя твое навело бы ужас на кичливых панов!

Вглядываясь в посветлевшие окна, гетман вспоминает свою последнюю беседу с Нечаем, его взволнованные слова: <Что ж, выходит - за кого хан, тот и пан?>

Встают перед глазами Морозенко, Кричевский, Кривонос...

Он видит островерхие курганы в степи, под стенами Збаража и Зборова... На миг возникает дивная мысль:

<Пройдет время, пройдут годы, пятьдесят, сто, больше... Будет пышно ликовать жизнь в свободном краю, чудесным цветением оденутся сады, будут стоять озаренные солнцем обширные города и села, выйдет весной в поле сеятель, остановит взгляд свой на островерхом кургане, или поднимет острым лемехом из земли истлевший череп воина, или найдет заржавленный меч, - что скажет тот неведомый человек?>

Он ясно видит тот день, то поле и того человека.

...Поет петух за окнами. Один, второй, третий. И Хмельницкий думает, усмехаясь: <И

тогда так же будут петь петухи>.

Наклонясь над картой, проводит пером прямую линию от Киева, через Конотоп, на Брянск, до самого Рославля. Сюда выйдет полк Тарасенка. Здесь неожиданно обрушатся на голову Януша Радзивилла семь тысяч сабель, и тогда подымутся селяне на Белой Руси, повстанут за Стародубом, Смоленском. Сможет ли тогда Радзивилл грозить его флангу? Не оставит ли он тогда мысль о походе на Киев, о том, чтобы нанести удар в спину казачьему войску?

Да! Выдержать бы этот год. Один год. Суличич привез недвусмысленный, вполне ясный ответ царя: продержаться один год, а тогда царь объявит войну Речи Посполитой. Понятно, почему так торопятся паны. Любой ценой хотят усмирить Украину именно теперь. Развязать себе руки. Но он продержится. Выстоит. Чего бы это ни стоило. И оружия не сложит. Нет!

Голоса за дверью, топот ног привлекают его внимание. Подняв голову, он видит, что заря уже окрасила стекла багрянцем. Сильно дунув, гетман гасит свечи и собирается распахнуть окно. Капуста просовывает голову в дверь:

- Должен обеспокоить тебя, гетман. Важные вести.

Стоит перед Хмельницким, держа в руке клочок полотна. Лицо встревоженное, не смотрит в глаза. Недобро защемило сердце у гетмана.

- Что-нибудь худое?

- Худое, гетман. Ночью прибыл гонец от Малюги.

- Варшава! Опять Варшава! - со злобой сказал Хмельницкий. - Ну, говори. - Плотно уселся в кресле, стиснув руками подлокотники, закрыв глаза.

- Письмо цыфирью, - сказал Капуста, пальцы у него дрожали; посмотрел внимательно на Хмельницкого, откашлялся, повторил: - Письмо цыфирью: двести пять, сорок семь да еще тридцать один, что означает: <канцлер Лещинский в согласии с королем>, тридцать два, семь, четыре, пятьдесят восемь, что означает: <и папским нунцием Торресом и личным духовником короля замыслили...>

Шептал про себя цифры и громко, раздельно выговаривал каждое слово, кидая тревожные взгляды на гетмана:

- ...<замыслили гетмана отравить, дело это поручивши... - Капуста перевел дыхание, ему нехватало воздуха, - дело это поручивши, - повторил он, - супруге гетмана, которая, установлено мною доподлинно, есть шпионка иезуитов при особе гетмана...>

Замолчал. Клочок полотна дрожал в руке. Хмельницкий не открыл глаз, глубже опустил в кресло. Солнечный луч лег на высокий лоб, и Капусте бросился в глаза землистый цвет лица гетмана. Молчание продолжалось. Минута... две... может быть, больше. Потом Капуста услышал, точно издалека, тихое:

- Прочитай еще...

Капуста начал. Нетерпеливым движением руки гетман остановил:

- Не надо сначала. Конец...

Капуста читал:

- <...замыслили гетмана отравить, дело это поручивши супруге гетмана, которая, установлено мною доподлинно, есть шпионка иезуитов при особе гетмана...>

- <Установлено мною доподлинно, - повторил охрипшим голосом Хмельницкий, - есть шпионка иезуитов при особе гетмана...>

Широко раскрыл глаза. Заглянул снизу вверх в лицо Капусте, поймал его взгляд, искал в нем чего-то такого, что опровергло бы письмо Малюги.

Лаврин открыто глядел ему в глаза. Ничего спасительного Хмельницкий не нашел. Вскочил на ноги и с силой ударил кулаком по столу. Упал подсвечник, сползла на пол карта, медная чернильница подпрыгнула, расплескав чернила по скатерти.

- Навет! Ложь!

Ярость бушевала в нем. Но сердцем почувствовал: правда.

И вдруг, резко повернувшись к Капусте всем туловищем, жестко приказал:

- Взять под стражу, учинить розыск, допросить.

Бросил взгляд в окно. Там, за стеклами, подымался день. Выходило солнце.

8

...Нежданного гостя принимал Адам Кисель в своем доме. Перед ним стоял в черном кармелитском одеянии, склонив голову в почтительном поклоне, не кто иной, как Казимир Лентовский, духовник его величества короля Речи Посполитой.

Приветливая улыбка на губах Лентовского, спокойная походка и уверенные движения свидетельствовали о том, что в Варшаве все благополучно. Удобно усевшись в кресле, положив ногу на ногу. Казимир Лентовский подробно повествовал сенатору о столичных делах, о своей поездке, о будущем, которое предвещало, наконец, мир и спокойствие для всех избранных небом людей.

Сенатор, весьма утешенный рассуждениями своего гостя, почувствовал, что многие из его страхов, по-видимому, напрасны, и положение Речи Посполитой отнюдь не вызывает такой тревоги, какая не оставляла Адама Киселя уже достаточно долгое время.

Ксендз сказал, что в недалеком будущем казакам придется дать нового гетмана, спрашивал мнение пана сенатора по этому поводу. Он вел речь об этом так, словно уже не было Хмельницкого, а если он и существовал еще, то не заслуживал внимания достойных и почтенных особ.

- Есть тут один человек, - сказал Лентовский, подвигая поближе чашку кофе, которую поставил перед ним пахолок.

Кисель указал пахолку глазами на дверь.

- Кого ж вы имеете в виду, святой отец? - почтительно спросил Кисель.

- Выговского, - четко проговорил ксендз.

- Что ж, человек достойный, - сказал Кисель, - слежу за ним внимательно. Должен сказать, что с Хмелем он теперь не в добром согласии.

Лентовский забеспокоился:

- Вы в этом уверены?

Кисель кивнул головой.

- Это плохо, пан сенатор. Не подозревает ли в чем-нибудь Хмель своего писаря? - Но вдруг спокойно добавил: - Правда, скоро это уже не будет иметь значения... Через несколько дней Хмель не станет.

Кисель едва не подскочил в кресле.

- Как не станет?

- Божья кара падет на голову отступника неожиданно. Перст судьбы, пан сенатор.

Ксендз возвел глаза к потолку и набожно перекрестился.

...Эта беседа с Лентовским и события следующего дня внушили Киселю уверенность в том, что недалеко время, когда он сможет со спокойным сердцем прибыть в Варшаву, чтобы сказать сенату и его величеству королю:

<Со смутой покончено. Мир и согласие утвердились на коронных землях его величества милостивого короля Яна-Казимира>.

...Елена в сопровождении казначея Крайза прибыла в Киев на день позже Казимира Лентовского.

Воевода ночью принял гетманского казначея Крайза. Говорили они долго с глазу на глаз, а затем воевода дал Крайзу пахолка, который проводил его в монастырь бернардинов, в дом, где поселился ксендз Лентовский.

Важные вести привез из Чигирина казначей Крайз. В то же утро Казимир Лентовский отправил к Янушу Радзивиллу извещение о том, что литовский гетман должен ожидать акции со стороны московского рубежа, куда придут для этой цели казаки Хмельницкого. Негоциант Вальтер Функе, спрятав грамоту ксендза в заветную шкатулку, где он хранил все секретные бумаги и записную книжку, зевая, ибо час был еще ранний, трясся в повозке и с наслаждением вдыхал свежий утренний воздух.

Вальтеру Функе приятно было думать, что не пройдет и недели, как он будет уже на

пути в родной Франкфурт. Скоро он обнимет жену и деток, сможет порадовать их вестью о том, что на много тысяч талеров увеличилось уже его состояние. Радовался негоциант и потому, что в этой стране, откуда он уезжал, начиналась теперь такая свалка, что, ей-богу, лучше быть где угодно, но только не здесь. Напрасно так уверен в спокойствии и тишине сенатор Кисель, этот достойный и весьма почтенный государственный муж, и напрасно ксендз Лентовский полон добрых предчувствий.

Что ж, в конце концов это Вальтера Функе не касается! От всех этих дел он имеет немалую прибыль. Но рисковать своими деньгами, а тем более своею жизнью, он не намерен. Вспоминая бродягу Крайза, своего земляка и единовеца, Вальтер Функе неодобрительно качает головой. Однако, что теряет Крайз, даже если и угодит на виселицу? Ни капитала, ни семьи у него нет. Другое дело - он, Функе. И негоциант, в самом отличном расположении духа, тихо напевает свою любимую песенку:

Складывал хозяин печь,
Не хотел ни сесть, ни лечь,
А наутро вместо печки
Получилось крылечко.
9

Елена с тревогой глядела в глаза ксендзу Лентовскому. Пламя свечей расстилало диковинные тени на стене кельи. Серебряное распятие тускло мерцало в углу. Пахло ладаном, старыми пергаментами, плесенью.

Голос Лентовского был тих, спокоен, и постепенно этот покой передавался Елене.

Когда она собиралась в Киев, узнав от Крайза, что ксендз Лентовский прибыл из Варшавы и желает повидаться с нею, беспокойство охватило ее. Чутьем поняла: начинается то, что давно являлось ей среди ночи, пробуждая в сердце тревожное волнение. В такие ночи она просила скорой смерти Хмельницкому, взывала к богу, в надежде, что небо примет ее мольбы и покарает ненавистного ей теперь Хмеля, которого она боялась больше, чем самого сатаны. Тогда бы она была свободна. Вольна, как птица. Тогда снова Варшава, Краков. Снова блеск, музыка, снова жизнь. Она сидит перед ксендзом, полная страха, в надежде, что услышит от него какие-нибудь добрые вести. В конце концов, это был единственный человек, связывавший ее с тем миром, который казался теперь далеким и почти недостижимым. И то, что пан Лентовский подробно расспрашивает об ее жизни, наполняет встревоженное сердце великой благодарностью. Она рассказывает охотно. Хмель стал опаслив, осторожен, лишнего слова не выронит. Ей удалось подслушать - он снова задумал посылать послов в Москву. От хана недавно возвратился Тимофей. Хмель теперь в Корсуне. Со дня на день ждут его возвращения. Она привезла списки новых полков. Задерживаться здесь ей не следовало бы долго, могут хватиться.

- Твоя правда, дочь моя, - соглашается Лентовский.

Он придвигает свое кресло к креслу Елены, касается ногами ее колен, заглядывает ей в глаза, кладет руку на плечо. Пальцами правой руки ксендз отыскивает на шее Елены золотую цепочку и медленно вытаскивает спрятанный на груди медальон.

- Хорошо, что ты носишь при себе дар преподобного нунция.

Елена знает, что дальше скажет ксендз, и со спокойствием, вызывающим у нее самой удивление, ждет этих слов. Конечно, он начнет издали, такой щедрый на слова пан Лентовский. Но вместо того, как бы угадав ее мысли, ксендз говорит жестоко и твердо, не отводя взгляда от ее глаз:

- Настал срок, дочь моя, настал срок!

Умелым движением пальца он открывает медальон.

Пани гетманова возвращалась в Чигирин. Крайз сидел рядом в карете. Лошадей меняли в Трахтемирове, потом в Мошнах, и хотя и не собирались, но пришлось впрягать свежих в Черкассах.

Кучер Спиридон злой сидел на козлах и всю злость свою отводил на лошадях. Только ветер свистел за окнами кареты. За Черкассами едва не угодили в пруд. Плотина прогнила, и

если бы не умение Спиридона, купались бы пани гетманова и тот пес немец в гнилой воде пруда, лягушкам на посмешище.

Спиридон не слышит, о чем говорят в карете Крайз и Елена. Только теперь уже не обмануть Спиридона, если даже кто-нибудь на кресте поклянется, что между пани гетмановой и рыжим немцем все чисто... Он ясно видел сквозь щель в дверях, когда будил пани гетманову в Мошнах, казначей был в ее постели. Еще в Чигирине слуги болтали об этом. Спиридон не верил. Даже грозился: <Погодите, Капусте скажу, он вам языки укоротит!> Выходит, правда. Знал бы гетман об этом! Нет, скверно устроен мир, если такая неправда творится. Наверно, и сейчас сидят в карете, как голубки, и обнимаются. А гетман где-то там по полкам ездит и глазом не моргнет. Да, в таком деле баба дуриет всех одинаково, и гетмана, и простого казака. И, обидясь за гетмана, Спиридон всердцах вгоняет лошадей в канаву так, что карета наклоняется на один бок, потом на другой и, подпрыгнув на кочке, выкатывается на ровную дорогу. <Вот и милуйтесь!> - злобно радуется Спиридон.

Опустив оконце, Крайз высунул голову. Спиридон только покосился. Лается немец. Пускай лает. Елена онемела в углу кареты. Одна мысль скорее бы Чигирин! Скорее! Все условлено. Она это сделает вечером. За ночь успеет выбраться из Чигирина. Крайз уж придумает, как. Встречает странно холодный взгляд Крайза, и в душе вдруг снова возникает беспокойство. Прижимает руку к сердцу. Пальцы нащупывают медальон. В памяти всплывают слова ксендза: <Лучше всыпать в вино>.

- Лучше всыпать в вино, - говорит она громко.

И тут же, не обращая внимания на пытливый, удивленный взгляд Крайза, думает: наконец настанет свобода, наконец окончится все, Лентовский повезет ее в Варшаву, о ней, как он сказал, будет говорить вся Речь Посполитая, и Елена даже теперь, сидя в углу кареты, уже слышит эти слова, полные восторга и удивления: <Вот эта отважная женщина убила схизматика Хмеля!>

Поздно ночью карета въезжает в ворота чигиринской резиденции гетмана. Джура откидывает лесенку у двери кареты, чтобы пани гетмановой удобнее было сойти. Она сразу же спрашивает, не прибыл ли пан гетман. Видимо, обрадованная тем, что его еще нет, быстрыми, легкими шагами подымается на крыльцо и исчезает за высокой дверью.

Елена проходит в опочивальню. Видит в зеркале, озаренном снизу и сверху свечами, свое усталое лицо, замечает темные круги под глазами. Она приказывает принести в опочивальню столик с кушаньями, бутылку мальвазии и два кубка. Когда прислужница приносит все это, она отсылает ее, придвигает столик к кровати и, оставшись в одной рубашке, несколько минут ходит по комнате. Как хочется ей сейчас с кем-нибудь перемолвиться словом! Но вокруг одни стены. Все, что лежит за этими стенами, чуждо и ненавистно ей. Если там, в келье, беседуя с ксендзом Лентовским, она ощутила какую-то тревогу, и страх цепкими пальцами сжал ее сердце, то теперь этого уже нет.

Нынче суббота. Он обещал приехать в субботу. В крайнем случае, если его задержат, она увидит его в воскресенье утром. Как обычно, он сдержит свое слово. Что и говорить: без нее он мучится. Елена насмешливо улыбается. Пусть помучится теперь. Стоя посреди опочивальни, приложив руку ко лбу, она как будто старается что-то припомнить. Затем идет к постели, откидывает покрывало и, взбив подушки, укладывается на холодных простынях.

Елена лежит на спине, лицом вверх. В подсвечниках горят свечи. Перед глазами отчетливо и удивительно просто возникает все, что произойдет этой ночью. Будет так. Вот он войдет, наклонится над нею, разбудит. Крепко прижмет к груди, скажет:

- Еленка.

Потом будет целовать глаза, лоб, губы... Она скажет:

- Иди, умойся с дороги, Богдан.

Вот он в смежной комнате будет плескаться водой, что-то кричать ей, и пока он там будет умываться, она разольет по кубкам ароматную мальвазию. Он вернется, сядет на постель рядом с нею, она подаст ему кубок, потом они выпьют, потом он будет целовать ее, потом...

И в этот миг ужас надвигается на нее. Она в страхе закрывает глаза, ибо видит перед собой глаза Богдана и в этих глазах горит зловещий огонь. Больших усилий стоит Елене вернуть себе спокойствие, хотя бы недолгое, шаткое, но все же спокойствие. Сама не замечая того, она засыпает, побежденная усталостью, но сон ее беспокоен, и она время от времени стонет и вскрикивает.

Сквозь сон слышит Елена чьи-то шаги, голоса, и не сразу открывает глаза.

Вот сейчас он наклонится над ней и она протянет к нему обнаженные руки...

Взглянув, она немеет от страшной догадки, хочет закричать, но только безмолвно открывает рот, - крик застрял где-то в груди.

У постели стоит Лаврин Капуста, а на пороге казаки с пистолями в руках.

...Спустя день после того, как отвезли в крепость жену гетмана, ночной дозор, объезжая город, нашел в овраге за восточными воротами труп. Один из дозорных, подсвечивая факелом, наклонился над убитым и присвистнул от удивления:

- Эге, хлопцы, да то ж гетманский казначей!

Есаул приказал доставить убитого в курень.

Чуть свет есаул поспешил в гетманскую канцелярию.

- Беда, пан полковник, - доложил он Капусте, - ночью нашли убитым гетманского казначея.

Впервые за много дней Капуста растерялся. Почувствовал: что-то важное выскользнуло у него из рук. Поехал в курень, поглядел на мертвого Крайза, - тот лежал на земле, накрытый рядном. Есаул откинул рядно, указал пальцем:

- Видите, стреляли ему в затылок. Злое умышление, как на ладони.

Возвращаясь в канцелярию, Капуста остановил коня у дома Выговского. Псы рычали на цепях. Слуга, выглянув в калитку, бросился отворять. На крыльце стоял сам хозяин, приветливо улыбаясь.

- А я только с хутора вернулся, - заговорил Выговский, - писцы оповестили, что ты прибыл.

Пропустил Капусту вперед. Прошли через длинные сени, Выговский откинул тяжелую бархатную завесу, впустил гостя в большую залу. На парчовой скатерти, покрывавшей стол до самого пола, играли лучи солнца.

- Не слыхал еще новостей наших? - спросил Капуста, скользнув взглядом по картинам, развешанным на стенах.

- Про гетманшу слыхал, - спокойно ответил Выговский и спросил: Поснедаем?

Он дважды хлопнул в ладони, и на пороге вырос джура:

- Подать сюда горелки! Может, ты вино будешь пить?

Капуста безразлично пожал плечами.

- Вина! - приказал Выговский. - Вот тебе и гетманша! Что же там случилось? - спросил, щуря глаз, словно ему мешал солнечный свет. Но солнце как раз светило в глаза Капусте, и Капуста отметил про себя, что спокойствие хозяина деланное.

Закуривая трубку, Капуста проговорил:

- Пани гетманова, видать, плохо кончит, Иван. Дорога у нее одна - на виселицу.

- А на вид смиренная была, - покачал головой Выговский. - Никогда бы не подумал, что на худое способна. Вот негодница! А как же гетман? Что он?

- Приказал взять под стражу и учинить розыск.

Выговский не сказал на это ни слова, разглядывал ровно подстриженные ногти. Он хорошо знал, что значит <учинить розыск>...

Джура внес кушанья. Поставил вино, пододвинул тарелки, вилки и вышел. Выговский положил Капусте на тарелку колбасы, налил вина. Подняв кубок и заглядывая в него, Капуста сказал:

- Собиралась подсыпать гетману отравы в вино...

- А, чтоб тебя! - развел руками Выговский. - Говоришь так, словно и я собираюсь с тобой такое сделать. Давай, Лаврин, поменяемся кубками.

- Что ж, давай, - согласился Капуста.

Они обменялись кубками. Выговский засмеялся. Нехотя жевал жареную колбасу, краем глаза ловил выражение лица Капусты. Кто его знает, что у него там на душе, что в мыслях? Если бы на то воля генерального писаря, то сперва надо было бы спровадить в пекло Капусту, а уж потом... Его мысль прервали слова Капусты:

- Недалеко видят паны из Варшавы да ихние иезуиты. Смотрели бы лучше у себя дома...

Выговский тихо спросил:

- А как же ты дознался об этом, Лаврин?

- Добрые люди предупредили, Иван.

Ковыряя вилкой колбасу, Выговский возмущался:

- В какое время задумали! А?! Ты понимаешь, Лаврин? Перед самым походом. Хитро задумали, хитро.

- Крайза нашли нынче в яме, за восточными воротами, - вдруг сказал Капуста, поглядев в глаза Выговскому. - Убит выстрелом в затылок.

Выговский откинулся на спинку кресла. Тоненько звякнул вилкой по тарелке.

- Крайза? - переспросил глухим голосом.

- Его.

- Что ты нынче, Лаврин, все меня такими новостями угощаешь?

- Каждую новость понять можно. Терпение и настойчивость. Лучшего способа для этого и не ищи.

- Мне этот совет ни к чему, эти дела не сведаю. Вот дай мне универсал какой-нибудь написать или там грамоту панам сенаторам, так, чтобы у них под ребрами зачесалось, - это сделаю и сделаю как надо.

- Пойду, Иван.

- Что ж так торопишься, Лаврин? Не поел, не отдохнул, наговорил такого, что голова кругом пошла, и бросаешь одного? Я тут один, без вас, закурился. Гетман когда будет?

- Приказал тебе в Корсунь ехать. А когда сам сюда - неизвестно. Бывай здоров.

Снова, как учтивый хозяин, генеральный писарь пропустил вперед Капусту, откинув завесу, чтобы гостю удобнее было пройти. Бросив через плечо взгляд на Выговского, Капуста сказал:

- Понимаешь - вот сюда, - задержался на пороге, тронув себя за затылок. - Вот так сзади, как, к примеру, я иду, а ты меня сзади. А?

Уловил в глазах Выговского испуганный огонек и, подняв голову, быстрыми шагами пошел через сени. За спиной услышал:

- Вижу, Лаврин, у тебя голова кругом идет от этих дел беспокойных, затуманилась...

- Нет, Иван, туман развеется, - и Капуста указал рукой на луга, видимые с крыльца Писарева дома.

Над лугами расплывался, таял под утренним солнцем туман. Пар поднимался над землей.

...Выговский еще долго стоял на крыльце, опершись локтями о перила, устремив задумчивый взгляд в сизую даль. На джуру, который напомнил про завтрак, прикрикнул так, что того будто ветром смело в сени. Всердцах стуча каблуками по полу, возвратился в дом. Что это за посещение и что это за беседа? Неужели сболтнула что-нибудь на допросе эта проклятая баба? А что могла сболтнуть? Что она знает? А может быть, ксендз... Может быть, он ей... Нет, это невозможно. Крайз - тот знал, много знал. Что ж, Крайза нет. Крайз будет молчать. Как сказал Капуста: в затылок.

От одного угла горницы до другого десять шагов. Как долго можно мерить шагами это короткое расстояние? Выговский, ни на минуту не останавливаясь, шагает из угла в угол. Джуре, со страхом заглянувшему в горницу, приходит на память волк в клетке, которого осенью на ярмарке показывали цыгане. Вот точно так же ходил он из угла в угол, желтыми глазами, полными злобы, сверлил людей, теснившихся возле клетки.

Долговязый, коротко остриженный пан писарь, у которого волосы на голове торчат, точно волчья шерсть, в самом деле напоминает джуре волка.

Джура сидит в сенях на низенькой скамейке, обняв колени руками, удивленный и напуганный тем, что уловил сходство между волком и своим паном.

...В тот же вечер в корчме чигиринский пьянчуга Пилип, загадочно подмигивая двум подгулявшим казакам, шептал им на ухо:

- Казначей гетманского в потылицу - чвирк... Ночь темная, она не выдаст.

И дальше сказал пьянчуга Пилип такое, что казаки от его слов сразу протрезвились. Пригрозили ему виселицей и прогнали от себя, а Пилип подсаживался к другим в корчме, плел языком, что видел своими глазами, возвращаясь прошлой ночью с хутора Каменного, как возле яра за городом остановилась повозка и оттуда выбросили, словно мешок, человека. Повозка бешено помчалась дальше и, если бы Пилип не кинулся опрометью в кусты, наехала бы на него. Он может присягнуть, что то была повозка пана генерального писаря, - кто же не знает в Чигирине кованых, крепких повозок пана Выговского, сделанных где-то в заморских краях...

Пилипа в корчме слушали, но никто не проронил и слова, даром, что под хмельком. Лучше в такие дела не вмешивайся, не то будешь иметь дело с Капустой и попробуешь, каковы на вкус канчуки в крепости за Тясмином.

Шептали на ухо друг другу:

- Такое дело, брат. Нам от такого лиха подальше быть!

И уже пошла молва по Чигирину: жена гетмана, шляхтянка Елена, сидит в тюрьме за то, что замыслила поднять руку на гетмана, а может, и причинила какое зло, - ведь не слышно и не видно гетмана в Чигирине. Все могло стать. Мимо двора гетманской канцелярии чигиринцы проходили, кидая любопытные взгляды на высокие окна за оградой, а кто посмелее останавливался, заглядывал во двор. Мордастые караульные покрикивали:

- Проходи, проходи, чего глаза вытаращил, как в церкви!

Поспешно проходили не оглядываясь. Черт с ними! С этими собаками лучше не связываться!

...Выговский с канцелярией собрался в Корсунь. Писцы напихали в мешки бумагу, перья, чернила. Знали: в Чигирин, видать, скоро не воротятся, из Корсуни путь лежал на войну. Капуста пропадавал в крепости. Прискакал Тимофей. Недобро поглядел на Выговского, ткнул руку, точно милостыню подавал нищему, и загадочно сказал:

- Тебя гетман ждет.

- Что там? - спросил писарь. - Скоро ли в поход?

- Поедешь - увидишь, - загадочно ответил Тимофей, - а у меня времени нет, тороплюсь в крепость.

Знал Выговский, почему спешит Тимофей. Так менялись времена. Так оборачивались события.

Перед отъездом в Корсунь генеральный писарь вторично перечитал письмо ксендза Лентовского, которое привез ему из Киева Крайз, озабоченно потер виски и сжег письмо на свече.

Выходило - еще не время. Ошибся ксендз. Просчитался. Прищурился, Выговский уставился в угол. Шевельнул плечом, словно сбрасывал с него ношу. Что ж, время придет! Он будет ждать. Терпение, и еще раз терпение. Путь ему расчистит предстоящая битва. Только бы встретиться с визирем. Рано еще радуется Капуста. Слишком рано. Пусть отстранили они его от московских дел. Он догадывается, чья это работа. <Не обойдешься без меня. Хмель, - злорадно думает Выговский. - А главное - хорошо, что нет Крайза! Хорошо!>

...Хмельницкий с трудно скрываемым нетерпением ожидал Капусту из Чигирина. Выговскому, который по приезде сразу же прошел к нему, только и сказал:

- Ну?..

Слушал, о чем докладывал писарь, но Выговский видел - гетман только делает вид, будто слушает, а мысли его далеко.

В Корсунь съезжалась старшина. Приехали Матвей Гладкий, Михайло Громыка, Иван Богун, Осип Глух, прибыл с полком из Переяслава Павло Тетеря и стал табором под Корсунем. Со дня на день ожидали генеральной войсковой рады и приказа гетмана выступать.

Разведка доносила, что главные королевские силы идут в направлении на Львов, а орда во главе с ханом миновала Гнилое море.

В селах Подолии и Волыни шли бои между кварцянными отрядами коронного войска и восставшими посполитыми. Казаки черниговского полковника Небабы переходили Буг. Полк Тарасенка уже миновал московский рубеж и, как было условлено в Москве со Стрелецким приказом, приближался к Брянску, чтобы оттуда двинуться в Белую Русь, на литовского гетмана Радзивилла.

Снова по селам, в церквах и на майданах, по городам и местечкам читали универсалы гетмана. Снова глухо гудели под конскими копытами шляхи. Снова правили молебны о даровании победы войску Хмельницкого над вековечным врагом православной веры.

Все было, как в прошлом году, но Хмельницкий видел - недоставало того огня, каким вспыхивали тогда сердца людей от Днепра до Вислы... Все было, как и в позапрошлом году, - и в то же время было совсем иначе. Ему доносили о шепоте и разговорах, какие шли по селам: мол, снова замирится гетман с королем, мы головы положим на поле битвы, а жен и детей наших хан в полон возьмет...

За такие речи державцы Капусты хватили, допрашивали, пытали канчуками и железом. Кто подговаривал? Кто велел такую пакость про гетмана говорить? Многие и под пыткой держались твердо. Кто подговаривал? Никто! Разве не правда те речи? Выплывывая с кровью выбитые зубы, кляли гетмана, панов, войну, шли на смерть, принимая ее без страха. И как он мог, гетман, убедить их, что не отступится, что выведет их на дорогу?.. Где найти такие слова?

Больше чем когда-нибудь сейчас нужно было единство. Только в нем та нерушимая сила, которая способна выдержать великое испытание, посылаемое судьбой. Видит небо, не в этом году хотел он начинать войну. Ему нужен был еще год передышки. Один год. Но именно это его стремление разгадала лукавая шляхта. Год мира на Украине был шагом к поражению для Варшавы. Паны это хорошо знали, судя по всем их поступкам и действиям. И почти никто из полковников, никто из старшины, кроме, может быть, многоопытного, рассудительного Мужилковского, не понимал, какое сложное и суровое время начинается теперь.

- Надо выступать нам, Богдан, - торопил его Богун.

- Чего мы топчемся на месте? - беспокоился Громыка.

- Худо поступаешь, пан гетман, - укорял Гладкий.

Молчал только генеральный обозный Коробка, не вмешивался Золотаренко. Выговский был занят по горло - писал грамоты войтам и старостам, чтобы давали этой весной державцам в чинш по три злотых с дыма и все плотины и мостки берегли, как зеницу ока. Грамоты эти велел написать гетман.

Все суетились, а Хмельницкий сохранял выдержку и спокойствие и ни одним словом не обмолвился ни с кем о том, что случилось в Чигирине. Даже Выговскому ничего не сказал. Когда гетман приказал позвать Выговского, тот знал, что уже прискакал гонец от Капусты и, запершись у себя, гетман долго читал привезенное письмо. Осторожно переступая порог, точно за ним таилась какая-то ловушка, Выговский тихо спросил:

- Кликал меня, гетман?

Он ждал плохого для себя и был готов к ответу или же думал услышать наболевшее признание - и на этот случай приготовил слова соболезнования и утешения. Немало был удивлен генеральный писарь, когда гетман сказал ему:

- Прикажи написать от моего имени универсал войтам всех городов, чтобы этим летом, не позже августа, были сооружены на колокольнях или на городских башнях большие часы. Часы эти могут купить в Туле. Универсал разошлешь немедленно.

- Все? - спросил Выговский, ожидая, что за этим странным и удивительным приказом последует нечто значительное и важное. Наверное, нарочно начал гетман с этого, чтобы затем перейти к более важному.

- Все, - глухо ответил гетман. - Иди, Иван.

Нет, Выговского обмануть не так легко! Генеральный писарь, убедившись, что лично ему можно не беспокоиться и что гетман не собирается чем-нибудь неожиданным ошеломить его, злорадно усмехнулся. Он понимал, откуда у гетмана эта задумчивость и печаль. Елена! Она все еще держала цепко его сердце, она наполняла свинцом его мускулы и волю.

Выговский не ошибался. Все эти дни Елена не выходила у гетмана из головы. Наедине со своей совестью Хмельницкий яростно корил себя за эту постыдную слабость воли, за то, что он не может сделать того могучего усилия, которое так нужно было ему сейчас.

Елена была за высокими стенами чигиринского замка. Тясмин волнами бился о стены, напоминая о том, что есть на свете свобода. У железных дверей стояла стража. Капуста, конечно, постарался, чтобы все было как следует. Об этом гетман мог не беспокоиться. Что ж она думает там? Как могла замыслить такое? Пишет Капуста, что, наконец, созналась. Горше всего было, ранило в самое сердце то, что не с нынешнего дня задумала она злое. Может быть, именно в то утро, когда бросилась перед ним на колени, когда целовала в губы, когда плакала и шептала слова, от которых у него все плыло перед глазами, может быть, тогда уже думала, как вонзит ему нож под сердце или подсыплет яду в вино?.. А жила рядом. Если бы только рядом! Жила в сердце, в мыслях, в каждом движении. Под Зборовом не переставал думать о ней. А сколько раз открывался, как на исповеди... Все замыслы, все горести, все мечты свои поверял ей... А она все выслушивала и посылала письма в Варшаву, иезуитам, и там смеялись, довольно потирали руки, издевались.

За что доля судила ему такое? Какие грехи искупает он своими страданиями? Ответа не было. И не могло быть. И никому не мог сказать он об этих муках. Сам удивился, как могла возникнуть такая мысль, но подумал о Ганне. Может быть, ей, с которой так мало и так недолго знаком, он сказал бы все...

В сердце сухо. Все выжгла мука. И глаза были сухи. Никто не знал, что, погасив свечу, гетман не спит. Никто и не думал, что ночь для него страшнее дня. А ему среди ночи вспоминалась людская молва: <опутала гетмана проклятая шляхтянка>, вспоминались суровые слова, какие говорил о мачехе Тимофей. Сколько раз ссорился с ним из-за того! Как недоволен был, когда Капуста намекал: напрасно Елена не в свои дела вмешивается! Слеп был. Да, слеп. Других судил, а сам хотел остаться без суда.

Он шел сквозь эти ночи, как сквозь ад. Он уже уразумел, насколько был слеп и доверчив. Единственное, к чему стремился теперь, - вырвать ядовитое жало, глубоко засевшее в сердце.

...И все-таки рассудок и воля победили. Он победил в себе то, что (как подумал он) надо было победить лет двадцать назад. Тогда не было бы ни Елены, ни других несчастий. Эту силу духа и волю, которые возвратились к нему и зажгли в глазах недобрый, жаркий огонь, Хмельницкий ощутил в себе в ту минуту, когда увидел перед собой Капусту.

Капуста прискакал верхом. На одежде и на сапогах засохла грязь. И по тому, как гетман спокойно сказал ему: <Переоделся бы, отдохнул...> Капуста понял: с прошлым покончено. Беспокойство и тревога растаяли, и он с теплотой в голосе, которую почувствовал Хмельницкий, сказал:

- Неважно, Богдан, еще успею.

И то, что Капуста начал не с Елены, а сообщил о прибытии в Чигирин десяти пушек из Путивля, гетман также понял и одобрил спокойным кивком головы.

В комнате находились Золотаренко, Носач, Громька, Богун, Выговский. Все они были в замешательстве, чувствуя, что нужно оставить гетмана наедине с Капустой, и не зная, как это сделать. Громька поднялся было, но гетман указал ему рукой на скамью, внимательно слушая сообщение Капусты о том, что Тарасенко выступил на Брянск. Наконец Капуста

замолчал, поглядывая то на гетмана, то на полковников, сидевших вдоль стены. Прежде чем успел придумать, как же доложить о главном, Хмельницкий спросил:

- Что еще привез?

Капуста понял: можно говорить при всех.

- На допросе шляхтянка Елена Чаплицкая... - твердо начал Капуста и кинул взгляд на Хмельницкого.

Гетман смотрел строго и внимательно. Полковники слушали, нагнувшись вперед, беспокойство мелькало в глазах у Выговского. Голос Капусты окреп. Положил перед собой исписанный лист пергамента, заглядывая в него, говорил:

- <Шляхтянка Чаплицкая призналась: была подслана к гетману ксендзом Казимиром Лентовским, который потом стал личным духовником короля Яна-Казимира. Шляхтянка Чаплицкая призналась, что ей было приказано стать женой гетмана и венчаться в православной церкви, и грех тот - обещал Казимир Лентовский - папа в Риме ей простит, о чем Лентовский договорился уже с папским нунцием. Она шляхтянка призналась под пыткой, что первый год никто ее не тревожил, но весной 1650 года через казначея Крайза получила она письмо от ксендза Лентовского, и в том письме писано было, что она должна добыть, сиречь выкрасть, грамоты гетмана Хмельницкого к московскому царю и воеводам московским, а также разведать, получил ли гетман оружие из Москвы и о чем трактовал с московским послом, думным дьяком Григорием Богдановым. Должна была она также отписать, о чем договорился гетман с молдавским господарем Лупулом, и запоминать, какие послы приезжают к гетману, узнавать, о чем с ними говорено, и обо всем том, разведав, оповещать казначея Крайза>.

- Крайза взяли? - глухо спросил гетман.

- Крайза нашли убитым, - ответил Капуста.

- Странно, - отозвался Выговский, - это запутывает дело.

- Все ясно, - возразил Капуста, - Крайза убрали, чтобы он чего-нибудь лишнего не рассказал. Но позволь, гетман, об этом сейчас не говорить. Еще не время.

- Хорошо, - сказал Хмельницкий. - Дальше.

- <Шляхтянка Елена Чаплицкая передала Лентовскому грамоты от путивльского воеводы, выкраденные ею у гетмана в Субботове...>

Хмельницкий вспомнил, как искал он эти грамоты, как шарил по шкафам Елена, помогая ему, наглotalась пыли, расчихалась, усталая упала ему на грудь, сказала: <Поцелуй меня, Богдан...> Он тогда забыл про грамоты...

- <Шляхтянка Чаплицкая, - продолжал Капуста, - призналась: на той неделе Крайз уведомил, что в Киеве ее ждет ксендз Лентовский. Там, в монастыре бернардинов, ксендз передал шляхтянке яд, который велел подсыпать в вино гетману Богдану Хмельницкому. Яд этот найден у шляхтянки в золотом медальоне после четвертого допроса. Она, отпираясь, говорила, что это только сонное зелье. Собака, которой подсыпали этот яд в пищу, издохла через несколько минут. Шляхтянка призналась: после отравления гетмана должна была вместе с Крайзом бежать в Гушинский монастырь, что поблизости от маетка сенатора Адама Киселя, и там некоторое время переждать... Ибо, как говорит она, после Хмельницкого король должен был назначить нового гетмана, имени которого она от ксендза не слышала. Она шляхтянка вину свою признала и просила гетмана даровать ей жизнь, отпустив на пострижение в монастырь, дабы она, - Капуста криво усмехнулся и повторил: - дабы она там, сиречь в монастыре, могла бы искупить молитвой и постом свой грех перед гетманом>.

Капуста перевел дыхание и сел на скамью.

- Это все, что она сказала? - спросил Хмельницкий, налегая локтями на стол.

Трубка чуть заметно дрожала в углу рта. Хмуро насупленные брови скрывали его глаза, - он наклонил голову.

У Выговского бешено стучало сердце. Он даже слегка отодвинулся от Богунa, точно Богун мог услышать этот стук.

- Все, гетман.

Капуста наливал из кувшина воду в кружку. Слышно было, как булькает вода.

Гетман поднял голову. Полковники отводили в сторону глаза, только Богун выдержал его взгляд. <Жалуют, должно быть, меня>, - подумал Хмельницкий.

- Что скажете, полковники? Как поступить со шляхтянкой Чаплицкой?

Хмельницкий ждал. Сухо трещал пергамент в руках Капусты. Никто из полковников не решался произнести первое слово. Что ни говори, речь идет о жене гетмана. Легко ли ему обо всем этом узнать? Не лучше ли, чтобы он сам объявил приговор? Только Выговский думал: <Чем скорее умрет эта женщина, тем лучше>. Ему было жарко, хотя сквозь открытое окно лился прохладный воздух и сквозняк гулял по горнице.

Выговский поднялся:

- Дозволь, гетман, слово молвить.

- Говори.

- Мыслю так: понеже шляхтянка Чаплицкая злоумышленно намеревалась отравить гетмана, панове полковники, понеже она передавала тайные грамоты врагам нашим, оную шляхтянку надлежит казнить немедля.

Капуста смерил Выговского недобрым взглядом и тихо сказал:

- Казнить смертью.

- Добро, - отозвался Носач.

- Добро, - повторили за ним Богун и Громыка.

- Добро, - тихо произнес Хмельницкий.

Гетман поднял голову. Разошлись нахмуренные брови. Глядя поверх голов куда-то вдаль, добавил:

- Шляхтянку Чаплицкую казнить на площади в городе Чигирине, объявив об этом народу, дабы все люди ведали, сколь коварна и подла натура иезуитского племени.

Может быть, полковники ждали от него еще каких-нибудь слов, может быть, надо было высказать им свою боль и признать вину, - но пусть это окаменеет в сердце.

Наконец остался один. Видел через окно, как по двору молча шли полковники, как расступалась стража. <Завтра в поход>, - подумал он и, с легкостью, которая и обрадовала и удивила, сказал громко:

- Все!

Так кончилось то, о чем еще вчера он даже подумать боялся. Так возвращалось спокойствие. Хмельницкий ужинал с Иваном Золотаренком и Мужиловским в маленькой горнице. Цедил сквозь зубы темное вино, слушал шутки Мужиловского, который, видно, хотел развлечь его.

Вошла Ганна. Поздоровалась и села за стол. Он встретил ее взгляд, и ему показалось, что сочувственный огонек теплился у нее в глазах.

...В конце апреля полки польного гетмана Калиновского начали отходить от Каменца-Подольского на Волынь. В первых числах мая Хмельницкий во главе основных сил своего войска шел маршем по Волынскому шляху. Передовые разъезды казаков извещали, что всюду по селам подымаются посполитые.

Замысел гетмана - отрезать войско Калиновского от королевской армии, не дать им соединиться - не осуществился.

Двенадцатого мая польный гетман соединился с королевской армией под Сокалем. Хмельницкий стоял под Зборовом, ожидая подхода артиллерии, которую перебрасывал сюда Федор Коробка. Тут он с удовлетворением узнал о нападении посполитых и мещан городка Колкова, близ Овруча, на отряд польских жолнеров, направлявшийся под Берестечко. Отсюда же, из-под Зборова, Хмельницкий отправил в Москву через серба Данилова и грека Мануйла письмо царю Алексею, в котором подробно излагал свои намерения.

Хмельницкого беспокоило то, что Калиновскому удалось соединиться с королем. Он предвидел, что битва произойдет под Берестечком, и послал гонцов к полковнику Мартыну Небабе с приказом: любой ценой сдерживать Радзивилла, помешать его попыткам наступать на Чернигов и Киев. Мартын Небаба во главе Нежинского и Черниговского полков должен

был прикрывать фланг армии гетмана, в то время как Антон Жданович держал наготове Киевский полк, чтобы непосредственно защищать Киев.

Радостные вести в Зборов пришли от Тарасенка. Он уже выступил из-под Брянска к польскому рубежу, кроме того, казаки, прибывшие оттуда, рассказали, что по всей Белой Руси поднимаются послолитые, собираются в загоны и курени и завязывают бои с коронным литовским войском.

Казалось, все шло так, как задумал. Капусте вскоре удалось разведать, что новый канцлер Лещинский отправил послов к хану. Снова, как и под Зборовом, король и его советники собирались вонзить гетману нож в спину. Гетман решил объявить об этом войску теперь же, чтобы никто ничем не обманывался. По его приказу ударили в бубны. Полки, стоявшие под гетманским бунчуком, были созваны на черную раду*. Хмельницкий со старшиной вышел на середину круга; опершись на плечо казака, вскочил на телегу. Поднял булаву. Гомон стих, только раздавались голоса:

* Ч е р н а я р а д а - совет рядовых казаков.

- Гетман будет говорить.

- Слово гетману! Помалкивай!

Ждал, пока установится тишина, вглядываясь в сотни лиц, лоя обращенные к нему горячие и тревожные взоры. Наступила тишина, все замерло, только бились на ветру знамена и гетманский бунчук реял над головой. Из-за края дождевой тучи солнце посылало свои лучи. Тускло поблескивали пики. Суровы и сосредоточенны были лица казаков.

Впервые за эти многотрудные дни Хмельницкий почувствовал в себе какую-то чудесную силу, - она наполняла его мускулы и возвращала ему уверенность, которую так легко было растерять в повседневных заботах, в возне с грамотами, гонцами, переговорами. Свободно и сильно прозвучал его зычный голос, так что слова его услышали даже те, кто стоял у берега степной реки, где ветер глухо шумел в камышах.

- Позвал я вас, други, чтобы раду с вами учинить по давнему обычаю нашему. Ведомо вам, други, - король с войском своим снова идет на Украину, чтобы отнять у нас вольности наши, добытые в тяжких битвах. Не мне напоминать вам о тех битвах. Вот ты, Семен, - он указал булавой на седоусого пушкаря, который, опершись рукой о ствол пушки, раскрыв рот, слушал гетмана, - ты, Семен, еще под Корсунем воевал с Потоцким, и ты, Твердохлиб, - булава метнулась в другую сторону, указав на казака в красном кунтуше, - ты, Твердохлиб, бился со шляхтой под Пилявой, дважды был в полоне у Вишневецкого, не покоришься врагам, а одолел их, вся земля родная наслышана про твою отвагу... Да что говорить, добыли вы себе воинскую славу не на печи и не в корчме похваляясь, как те паны и подпанки. Через бои и смерть пришли мы с вами к победе! Не всего, чего хотели, достигли, и стоим еще на полпути к осуществлению надежд наших. Но не успокаиваются паны. Хотят они уничтожить воинство наше, а братьев и сестер наших, кто в живых останется, обратить в невольников. Вам, рыцарям, известно: хан ненадежный союзник, от хана добра не жди. Жизнь, други, сама породила пословицу: <За кого хан, тот и пан>. Но лучше ляжем мертвыми телами, а не снесем позорной неволи, будем биться, чтобы эти ненавистные слова исчезли навек, чтобы сами мы свою долю вершили, сами себе хозяевами были. Ближе уже то время, когда народ русский придет нам на помощь, и, зная о том, спешат враги одолеть нас. Спрашиваю вас, казаки, - будем ли мы биться люто и отважно против врага нашего заклитого, имея одних только верных союзников - сабли наши да пики, освященные кровью и слезами народа нашего, - или согласимся на позорный мир, сделаем, как прикажет нам король, и разоидемся по домам. Что скажете, казаки?

Хмельницкий замолчал, перевел дыхание. За его спиной переговаривались полковники. Из толпы вышел казак. Хмельницкий узнал Гуляй-Дня.

- Дозволь, гетман, слово молвить.

Гуляй-День легко вскочил на бочку, стоявшую подле пушки, и, скинув шапку, поклонился на все стороны.

- Воины! - крикнул Гуляй-День, сам не узнавая своего голоса. Воины-побратимы! Что скажем? - спрашивает у нас гетман. Не знаю, что вы скажете, а я скажу: пан гетман, не желает народ и войско не хочет, чтоб мы с королем да панами мирились. На битву мы решились, и на то мы сюда пришли. Хоть бы орда от нас и отступилась, мы все вместе с твоей милостью погибать будем. Или все погибнем, или всех врагов погубим. Не можем в неволе гнить, гетман, и никто из нас сам под ярмо голову не подставит.

Толпа закричала, зашумела:

- Верно!

- Правда!

- Говори дальше!

- Вот я и говорю, - продолжал Гуляй-День, - были такие, гетман, прости, если обижу, но перед боем надо правду в глаза сказать, - были такие, что изверились в тебе. Думали, будешь держать руку короля. Теперь видим - ошибка вышла. Не свернул ты с пути, гетман. Стой за нас, а мы за тебя постоим! Слава гетману Хмелю! - изо всех сил выкрикнул Гуляй-День и соскочил с бочки.

- Слава гетману!

- Слава!

Летели вверх шапки. Стреляли из пистолей и мушкетов.

Хмельницкий поднял булаву. Постепенно шум утихал. Гетман низко поклонился казакам:

- Бью челом вам, казаки, и клянусь, что не обесславлю булавы, которую вы дали мне, не покрою позором сабли своей. Надо будет - жизнь отдам ради свободы отчизны и народа нашего.

Хмельницкий указал булавой на запад, и тысячи глаз обратились туда, к небосводу, который синел таинственно и сурово.

- Пойдем вперед, казаки, на битву. Вперед, к победе! Вперед, к новой славе народа нашего!

Хмельницкий еще стоял так несколько минут с поднятой булавой, а вокруг гремело тысячеголосе:

- Слава!

Несмолкающий гул катился по степи.

Возвращаясь к себе в шатер, гетман остановился перед Гуляй-Днем и крепко пожал ему руку.

- Спасибо, Гуляй-День, - сказал Хмельницкий, - слова твои в самое сердце вошли.

Ночью джура позвал Мартына Тернового к гетману.

В шатре, кроме гетмана, были Громыка и Капуста.

- Садись, Терновый, - приветливо сказал Хмельницкий, указывая на скамью рядом с собой.

Мартыну вспомнилось... Год назад в Чигирине, призвал его к себе гетман и послал в донскую землю. Может, и теперь туда пошлет?

- Важное дело хочу поручить тебе. Ты казак храбрый, сметливый, думаю - справишься. Знаю твое горе, Терновый, - сочувственно сказал гетман, и сердце Мартына от этих слов замерло, - но кто теперь, казак, без горя? Пока будем жить между королем и ханом, не оставит нас горе. Запомни хорошо.

Хмельницкий, набивая трубку, смерил Мартына внимательным взглядом с головы до ног. Сказал:

- Слушай, задумал я тебя в самое пекло послать. Как ты на это?

- Поеду, гетман. Посылай!

- Славный ответ. Сразу казака видно, - Хмельницкий засмеялся, - а вы, полковники, говорили, будто трудно сыскать охочего итти в пекло... Ну, теперь слушай да помалкивай. - Гетман затянулся, выпустил из ноздрей дым. - Придется тебе, Терновый, с небольшим смелым загоном пройти под Краков.

У Мартына от удивления вырвалось:

- Да ведь там жолнеров как травы в поле!

- Знаю это. Хоть и поменьше, чем травы в поле, но все же косить есть что. Да не за тем посылаю. Поедешь к Костке-Напирскому. В Подгорьи под Карпатами подымает Напирский польских посполитых против панов. Повезешь ему грамоту мою, а по дороге, если и пощиплешь немного панов, страха на них нагонишь, не помешает. Пусть покрутятся, когда за спиной запахнет жареным. Понял?

- Понял, гетман.

- Согласен?

- Поеду, гетман, - решительно ответил Мартын.

- Что ж, благословляю. Остальное, как и что, Капуста скажет. Желаю тебе счастья, Терновый.

Крепко пожал Мартын руку гетману.

- Дело опасное, - добавил Хмельницкий значительно. - Должен наперед это знать: поймают - страшные муки придумают для тебя паны. К тому будь готов. Людям в Польше расскажи, кто мы и какие мы из себя, расскажи, что ихнего ничего не хотим, не с ними воюем, а с панами. Пусть и они за ум берутся. Ты им побольше моих универсалов раздай. Возьмешь у Капусты... Что еще? Будто все. Бывай здоров, Терновый.

Хмельницкий поднялся и обнял Мартына.

10

После черной рады Выговский окончательно убедился: надо держаться вместе с Хмельницким. Было бы легкомысленно предполагать, что казачество отшатнется от гетмана, даже если военная фортуна повернется к нему спиной. Самое опасное для Выговского как будто миновало. Тревоги остались позади. Правда, впереди - генеральное сражение. Но это мало касается Выговского. Не ему скакать сломя голову с саблей в руке. Его дело известное и привычное для него.

...Крайз молчал. Гетманский казначей никогда не заговорит. А ведь могло случиться иначе. Выговский вспоминает, как глухою ночью прибежал к нему Крайз, вытаращив глаза от страха, как дрожащей рукой наливал себе в кубок мед, расплескивал его по скатерти... Ведь это он в ту ночь первым известил генерального писаря: <Беда! Капуста взял Елену. Пропадать нам, писарь, или бежать скорее, пока до нас не добрались!>

Выговский сумел подавить вспыхнувшее вначале чувство страха и растерянности. Нужно было спокойствие. Генеральный писарь сразу понял, как ему надо вести себя. Он не изменил себе даже в ту ночь. Слова Крайза о том, что Елена ничего не знает о его связях с Варшавой, подсказали ему путь к спасению. Если она не знает - для чего же ему бежать? Но он не сказал этого казначею. Подумал было: надо помочь Крайзу, дать лошадей, спрятать у себя. Но тут же пришла мысль: на допросе Елена скажет про Крайза, его будут искать. Капуста разыщет немца даже в пекле... Осталось одно.

Опьяневший от меда и страха Крайз ловил Выговского за рукава кунтуша и умолял: <Скорее, скорее, не медли, писарь>. А он подливал мед в кубок и ровным голосом сыпал успокоительные слова. Тревожиться пока нечего, они еще успеют скрыться. Конечно, сейчас он ехать не может: сразу спохватятся, догадаются, пошлют погоню. Нет, надо сделать так: Крайз поедет один, будет держать путь на Фастов, там у знакомого человека дождется Выговского. Сегодня Крайз переночует в часовне в саду. Там никто его не тронет, а сюда каждую минуту может приехать Капуста...

Обо всем договорились. Выговский вышел, чтобы распорядиться.

Дальше все шло, как было задумано. Крайза повел управитель Выговского, шляхтич Рутковский. Должно быть, казначей боязливо озирался по сторонам. Должно быть, находил расстояние от дома до часовни самой длинной дорогой, какою ему случалось ходить в жизни.

Выговский стоял у открытого окна и прислушивался.

В глубине сада раздался выстрел. Потом наступила могильная тишина. Выговский

перекрестился и закрыл окно. Эту ночь он провел на своем хуторе. Об остальном позаботился Рутковский, который только перед рассветом приехал на хутор.

...Напрасно так загадочно поглядывал на него Капуста. Что Лаврин мог знать? И все же где-то глубоко шевелилось беспокойство. Но генеральному писарю вовсе не пришлось бы тревожиться, знай он, что поведение Лаврина Капусты вызвано только чувством личной неприязни к нему и ничем больше.

Чтобы рассеять возможные подозрения, Выговский все эти дни проводил в хлопотах и заботах. Давно уже полковники, да и сам гетман, не видели писаря столь деятельным. Писцы кляли его последними словами: им приходилось переписывать небывалое множество грамот, составленных Выговским. От работы ломило поясницу и гудело в голове. Щеки заросли густой щетиной, нечего было и думать побриться. А генеральный писарь ходил умытый, чисто выбритый, подкручивал тонкие усы, улыбался, когда считал это нужным, а когда надо было, стучал кулаком по спинам, если поблизости не оказывалось стола, и кричал так, что в ушах звенело.

В ночь, когда Мартын Терновый с отрядом казаков выступил на запад, генеральный писарь отослал из лагеря своего управителя Рутковского. При Рутковском не было никаких писем, кроме охранной грамоты, в которой означено было, что он, шляхтич Рутковский, является личным управителем генерального писаря Войска Запорожского и казакам, сотникам, есаулам и полковникам гетманского войска и всем державцам, войтам, радцам, лавникам надлежит никаких препятствий ему не чинить, а всяческую помощь, в случае надобности, оказывать.

Трудно было догадаться, что между строк охранной грамоты, составленной самим генеральным писарем, были добавлены для ксендза Лентовского слова, прочитать которые можно было только, смочив пергамент в теплом молоке. Пригодились Выговскому чернила, тайну изготовления которых доверил ему Крайз.

Слова эти были настолько значительны, что, вписывая их, Выговский озирался, наедине ли он, хотя никого постороннего не могло быть в шатре, ибо особу генерального писаря оберегали караульные казаки.

Именно вчера услышал Выговский такое, что чуть не закричал от удивления. Он присутствовал при разговоре между гетманом и сотником Золотаренком о Малюге, который только что прислал новые известия о передвижении королевской армии.

Выговский был осторожен. Ни движением, ни словом не выдал своего удивления и любопытства. Он сам сейчас же завел речь о другом, ибо услышанного было для него достаточно. Одна мысль сверлила мозг. Теперь, если удастся убрать этого Малюгу, он может быть уже совершенно уверен в своей безопасности. А как драгоценно будет это известие для короля и канцлера! Нужно было спешить. Но не сразу решился он на такой шаг написать письмо Лентовскому. Наконец, после долгих раздумий, написал и приказал Рутковскому немедленно ехать в Киев.

11

...За Саном села шли гуще. Отряду Мартына Тернового пришлось свернуть с битого шляха и держаться ближе к лесам. Передвигались больше по ночам. Днем, выбрав место в лесной чаще, отдыхали, а если не было поблизости леса, располагались в овражках, которые тянулись бесконечно вдоль дороги. Покамест Терновому удавалось миновать неприятельские отряды. На крайний случай у него была припасена поддельная грамота пана Адама Киселя о том, что сей загон реестровых казаков состоит на службе у киевского воеводы и содержится на его собственный кошт, а теперь направляется в Подкарпатье, в родовой маеток сенатора. Пока что грамоту эту не пришлось никому показывать.

В пути везло. Но подходил срок, когда уже надо было дать почувствовать королевским отрядам, что в тылу у них действует казачий загон, многочисленный и опасный. И случай представился. Майским вечером на лесной опушке перед всадниками забелели хаты. Терновый выслал разведку. Семен Лазнев с двумя казаками отправился в село и вскоре возвратился.

- Там плач и стон, - сообщил он, - стражники Потоцкого все чисто у людей позабирали: скотину, птицу, ни зернышка в закромах не оставили... Народ нас увидал, разбежался по домам, едва втолковали им, что мы не стражники. Долго не верили...

Мартын уже не слушал дальше рассказа Лазнева. Веселым огнем загорелись глаза. Молнией мелькнула мысль: <Отсюда начнем>.

- По коням! - приказал он казакам, которые уже спешили и начали было располагаться на привал.

...Стах Лютек, стряхивая с плеч сено, слез с чердака, где прятался от стражников. Стоял посреди двора, пялил испуганные глаза. Напротив, на майдане, перед Стаховым двором, стояли со связанными за спиной руками стражник Дидкевич и шестеро гайдуков, окруженные какими-то неведомыми всадниками в красных жупанах и высоких шапках. А позади, за этими всадниками, втягивался на майдан длинный обоз. Волы тащили телеги с мукой, зерном, полотном и прочим добром, взятым вчера стражниками коронного гетмана в Марковецкой Гмине за несвоевременную уплату чинша. Стахова жена Анка ухватила его за руку и крикнула:

- Гляди, наша Мушка...

И верно - Стах Лютек узнал привязанную к телеге свою корову Мушку, которую еще вчера вечером стражник Дидкевич приказал гайдукам увести со двора. Просил Стах, чтобы хоть поводок оставили, он за него на ярмарке двадцать грошей дал, но стражник только хлестнул его нагайкой и закричал:

- Пошел прочь, хлоп! Зачем тебе поводок, повеситься, что ли?

Вспомнив это и увидав Дидкевича со скрученными за спиной руками, Стах чувствует, как мстительная радость подступает к сердцу. Он видит, как сосед Кошут уже тянет во двор своего коня.

Бабы и мужики обступают со всех сторон телеги. Майдан полон радостных криков. Еще не знает Стах, что это за всадники возвратили ему Мушку, но уже бежит с женой к телеге и дрожащими от волнения пальцами отвязывает корову. У Стаха рябит в глазах. Вот поводок, которого не хотел оставить стражник, у него в руке. Вот и сама Мушка идет по двору, и к ней ластится Стахова дочка Маринка.

Пастух Крупка вбегает с пустым ведром в Стахов двор. Толкает Стаха под бок. Наклоняется над колодцем, и туда валится его продрванная шапка. Бабы и мужики громко смеются. Крупка бежит с ведром воды на майдан и протягивает ведро всаднику на буланом коне.

Мартын пьет долго, с наслаждением. Утолив жажду, он вытирает усы и наблюдает за суетой селян, которые точно с ума сошли от радости. Мартын думает: так же, наверное, в Байгороде было. И там стражники, и тут стражники, и всюду одинаковое горе, неправда и боль одинаковые. Хорошо поступил он, что погнался за стражниками. Короткая была схватка, - едва завидя казаков, как вихрь налетевших на обоз, стражники кинулись врассыпную, и, кроме двоих, оставшихся навсегда в степи, настигнутых казацкой пикой, всех поймали.

Еще не весь народ, что толпится на майдане, знает, кто эти верховые, но пастух Крупка - хлопец сметливый.

- Братья, - шепчет он людям, - то казаки Хмельницкого, крест святой казаки! Матка бозка - они!

Стах Лютек все еще протирал глаза, точно желая удостовериться, что это не сон - майдан, заполненный селянами, неведомые, точно с неба свалившиеся, всадники, испуганные, связанные Дудкевич и стражники... Но это была правда... Стах услышал такие слова, что сердце его готово было выскочить из груди.

Мартын, размахивая рукой, громким голосом говорил:

- Люди посполитые, мужики и женщины! Мы - казаки гетмана Богдана Хмельницкого. Идет гетман наш с несметным войском украинским сюда, хочет оборонить от панов ваших и короля волю, добытую нами в боях, хочет заставить панов, чтобы не ругались они больше

над нищим и убогим людом. Возвращаем вам добро, заработанное потом и кровью вашей, люди, и пусть панские псы искупят вину свою перед вами. Отдаем их вам, что хотите, то и делайте с ними. А я скажу только одно: в нашем краю от таких собак одно спасение: кол им да сабля... Только так научишь их понимать, что значит обижать простой народ... Слушайте, люди!

Мартын развернул универсал гетмана. Увидел, как сомкнулись тесным кольцом вокруг казаков посполитые, заметил, как дрожат стражники, связанные по рукам и по ногам, как грозит им кулаком пастух Крупка.

Стах Лютек только рот раскрыл от удивления. Сжав кулаки, слушал:

- <Не против вас замыслил злое и не против веры вашей, как брешут вам о том паны Потоцкие, Вишневецкие, Калиновские и иже с ними. Не хочу ни жизни вашей, ни убогой земли вашей, на которой до века суждено вам из-за панского ярма изнывать в бедах, зная только горечь нищеты. Иду к вам с добрым сердцем и чистою душою. Вера ваша пускай остается вашей верой, земля ваша вашею, а чтобы добыть вам вольное житье, вставайте, братья селяне, берите оружие в руки и идите пеше и конно к земляку вашему Костке-Напирскому, который поднял честных людей против панов Потоцких, Вишневецких, Заславских и прочих, добиваясь воли и правды. А коли будем стоять нерушимо - вы на Висле, а мы на Днепре - никто нас не одолеет>.

Стах только воздух хватал раскрытым ртом. Сам не знал, как это случилось, но чуть окончил казак читать, как он уже, размахивая руками, кричал в лицо Крупке, Яну Забельскому, старому деду Мартюку, соседу Вильшанскому, своей Анке... всем, кто стоял вокруг... и слова его были полны горькой правдой и жаждой мести... Выходит, правда, что Костка-Напирский поднимает простой народ на панов. Всем надо итти к Костке. Разве неправду говорит казак? Чистую правду. Одно спасение от горя и неволи - сделать так, как писано в универсале Хмельницкого. Пускай люди вспомнят, какого только горя не изведали они за этими панами. А что вчера тут творилось? Еще, верно, тепла земля от крови Яска, еще, верно, не остыло его тело в могиле. Пусть стражник и его псы дадут нынче ответ за кровь Яска, который виноват только в том, что не хотел отдать на позор свою жену. Ступайте на околицу и поглядите на обесчещенную Казьку Яскову. Пусть кровью умоется теперь проклятый пес Потоцкого Дидкевич. На кол их!

- На кол! - слышит Стах ответные крики людей и видит пылающие гневом лица.

И в сердце у него рождается горячая вера в то, что победить панов не так уж трудно. Он говорит об этом твердым голосом, может быть, всю жизнь свою ни разу так не говорил. Он говорит людям, что сам возьмет в руки оружие, что правду говорят казаки: надо итти всем к Костке-Напирскому под Краков. Ведь не только от казаков о нем слыхали, да вот не верили, думали - болтают только...

Уже кончил говорить Стах, а на тын вскочил Крупка... Сказал коротко: надо с панскими псами кончать, всем миром приговорить им кару. Если им жить, нам тогда и места на этой земле нет... Кто когда-нибудь думал в Гмине, что так красно может говорить пастух Крупка?

...С веселым сердцем оставляли Марковецкую Гмину казаки. Семен Лазнев ехал рядом с Мартыном, восторженно повторял:

- Какие люди, Мартын, а!

- Эх, Семен, кабы всюду вот так всем купно, как вихрь, ударить на панов! Не было бы неправды на земле. - Подумал и повторил решительно: - Не было бы!

- Не было бы, - отозвался Лазнев.

Этот день в Марковцах до боли в сердце напомнил Мартыну далекий Байгород, над которым теперь только ветер носил пыль да среди бурьяна торчали печные трубы.

...Уже далеко от Марковцев был загон казаков Тернового. Ночь опустилась на шлях. Ветер повеял с востока, нагнал тучи, запахло дождем. Тяжелый, крупный ливень упал на землю. За выгоном, на старом дубе, ветер раскачивал тела стражников Потоцкого. Дождь сек косыми струями их посиневшие лица.

Обмывал дождь свежестроганый крест на могиле Яска.

Стах, прислушиваясь к шуму дождя за окном, точил старую, заржавелую саблю. Украдкой утирала слезы Анка, зашивая Стаху единственную сорочку.

Стах собирался в дальний и неведомый путь, который должен был принести счастье ему, Анке и Маринке. Он собирался к Костке-Напирскому.

В ту ночь вместе со Стахом Лютеком ушло еще тридцать посполитых. Ушли из Марковецкой Гмины все те, кто остался свободен от службы в кварцянском войске и не был взят по королевскому указу в поход на Украину. Возле села Подкаменка Стах с товарищами нагнали Мартынов отряд, остановившийся на отдых.

- Пойдем вместе с вами, - сказал Стах.

Мартын поглядел на посполитых, вооруженных косами и пиками. Только у одного Стаха через плечо на поводке, который у него хотел отнять стражник, висела сабля. Посполитых приняли в отряд.

То, что произошло в Марковцах, широким эхом отдалось по всему Подгорью. Уже дошла весть об этом до подкомория краковского, уже в Косове, Радзехове, Черниевцах били тревогу старосты и подстаросты. Ползли слухи: <Хмель послал несколько полков к нам в тыл...>

Краковский епископ отрядил гонца в королевский лагерь, - немедленно уведомить региментарей и коронного гетмана о появлении отрядов Хмельницкого под Краковом и о выступлении бунтовщика Костки-Напирского, который начал нападать на шляхетские маетки и рассылает повсюду универсалы, чтобы посполитые поднимались против шляхты и короля. В Кракове стало известно от прибежавших сюда шляхтичей, что Костка-Напирский захватил замок Чорштын на Дунайце.

В тот день, когда повстанцы Костки-Напирского заняли Чорштын, в их табор прибыл Мартын Терновый с грамотой и универсалом от Богдана Хмельницкого.

Горячо, по-братски расцеловал Костка-Напирский Мартына.

12

...В начале мая хан Ислам-Гирей, выполняя договор, заключенный с гетманом Хмельницким, отправил на Украину передовой отряд конницы под бунчуком мурзы Мамбета, отписав через него, что незамедля прибудет и сам с ордою. Получив это письмо и осмотрев прибывшую конницу, Хмельницкий хорошо понял замысел хана. Он знал, что в Бахчисарай выехали польские послы и теперь там идет торг: сколько десятков тысяч злотых надо дать, чтобы хан порвал договор с Хмельницким? Однако гетман знал также, что отступить от договора хану будет не так легко. Разве он, гетман, напрасно целый год возился с турками, слал к ним посольства, вел долгие переговоры с чаушем Осман-агой в Чигирине? Гетману было известно, что хан имеет твердый приказ турецкого султана оказать ему помощь войском. Какова будет эта помощь, гетман понимал хорошо, но зато теперь он знал наверняка - хан не сможет поддержать своим оружием короля против казаков, так как король, связанный договором с Венецианской республикой, все еще оставался прямым противником султана.

Оставив на литовско-украинском рубеже два полка под началом Мартына Небабы, а в Киеве - полк Антона Ждановича, Хмельницкий в продолжение нескольких недель, не растягивая на марше свое войско, постепенно продвигался на запад. Он твердо придерживался решения: вопреки советам Выговского и Гладкого, воевать с королевской армией только на землях самой Речи Посполитой. Была еще у него мысль продвинуться вперед настолько, чтобы сократить расстояние между своим войском и повстанцами Костки-Напирского.

Вести, привезенные Мартыном Терновым, которому посчастливилось после сложного марша благополучно пробраться назад мимо вражеских отрядов, оказались не очень утешительными. Силы Напирского были ограничены, а главное - против него выслали многочисленный и хорошо вооруженный корпус с пушками и с немецкой наемной пехотой. Надеяться на победу Напирского было бы легкомысленно. Правда, король и шляхта

почувствовали беспокойство среди посполитых, у себя за спиной. Но это же, возможно, и побуждало их напрячь все силы, чтобы скорее покончить с Хмельницким.

Продвигаясь на запад, полки Хмельницкого заняли Бар, Меджибож, Зиньков, Сатанов, Старый и Новый Константинов, Скалу, разбили несколько десятков пеших и конных отрядов из передовых частей польного гетмана Калиновского и дальше уже на широком фронте вышли к реке Стырь, намереваясь переправиться через нее и на левом берегу завязать решительные бои.

В табор Хмельницкого пришли хорошие вести из полка Тарасенка. Полковник сообщал, что как только казаки Хмельницкого перешли русский рубеж и начали сосредотачиваться возле Брянска, посланец от Януша Радзивилла прибыл к брянскому воеводе князю Мещерскому. От имени короля посланец требовал немедленно разоружить полк Тарасенка либо, в крайнем случае, переправить его назад через рубеж. Брянский воевода в ответ только руками развел:

- Никаких казаков тут нет, а прибыл только Тарасенко со своими людьми по торговым делам. Как с ним поступлю - это мое дело...

Послу Радзивилла пришлось возвратиться назад ни с чем. По дороге ему еще удалось установить, что на литовско-русском рубеже стояли в полной боевой готовности усиленные отряды стрелецкого войска. Узнав об этом, канцлер Лещинский решил ускорить наступление на главные силы Хмельницкого. Было понятно: Москва действия Речи Посполитой не поддержит. Переход границы полком Тарасенка и сосредоточение его под Брянском говорили об истинных намерениях царя.

Вскоре полк Тарасенка выступил. Шестнадцатого июня казаки овладели Рославлем, а затем взяли Прудки, в восьми милях от Смоленска, Черепов, Ельню, Дорогобуж. В Дорогобуже добыли десять пушек и много пороха. В дальнейшем Тарасенко намеревался, согласно приказа Хмельницкого, занять Кричев, Мстиславль, Могилев и Оршу. Захватив эти города, полк должен был штурмом овладеть Смоленском.

Главная квартира короля Яна-Казимира находилась в это время во Владимире-Волынском. Согласившись на настойчивые уговоры - выйти для предстоящих боевых операций на более широкий простор, где бы свободно могла действовать конница, король перевел свою главную квартиру в Сокаль на Буге. Сюда со всех концов Речи Посполитой собирались полки. Сюда королю привезли меч и знамя, освященные папой римским.

В Сокале король собрал военный совет. Местность вокруг Сокаля, по мнению regimentарей, не подходила для генерального сражения. Надо было выбрать другое место, где можно было бы нанести окончательный и уничтожающий удар Хмельницкому.

Любомирский и Лянцкоронский предложили выслать навстречу Хмельницкому наемников-немцев и шведов, а королевские шляхетские полки оставить в резерве. Потоцкий высказался против, считая, что на Хмельницкого надо ударить всеми силами. Кроме того, совет выслушал сообщение канцлера Лещинского: удалось установить связь с ханом, и есть основания верить, что хан не поддержит всеми силами казацкое войско. Канцлер также сообщил совету об отказе московских бояр выполнить Поляновский договор и выслать стрельцов на помощь королю для усмирения Хмельницкого. Наконец порешили: итти всей армией на Берестечко, за которым простирались обширные поля, удобные для действий большой массы конницы. Вдобавок, там находились просторные пастбища, обеспечивающие корм лошадям.

Пятнадцатого июня в табор Хмельницкого, расположенный в восьми милях от Стыри, прибыл казачий дозор, захвативший неизвестного шляхтича, который требовал, чтобы его немедленно доставили к Капусте. Пленника привели в шатер Капусты. Два казака крепко держали его за руки.

Лаврин Капуста лежал на кошке, накрытый жупаном. Лаврина третий день трясла лихорадка, и Хмельницкий приказал отправить его в Чигирин.

Велико было удивление казаков, когда они увидели, что полковник Капуста, отбросив

жупан, вскочил и протянул руки пленнику.

- Малюга! - закричал Капуста. - Каким ветром занесло?

- Попутным, - ответил Малюга и крепко обнял Капусту.

Казаки потоптались на месте и, весьма обескураженные, вышли из шатра, почесывая затылки. Такого <языка> им впервые довелось брать...

...Хмельницкий сидел, опустив голову на руку, и внимательно слушал. Напротив, ежась в ознобе и потирая пальцами лоб, покачивался на скамье Капуста. Малюга, усилием воли стряхнув с плеч усталость (две бессонные ночи давали себя знать), тихо говорил:

- Вчера король свернул лагерь и выступил в поход. Я решил немедленно оповестить тебя, гетман, и решил ехать сам, ибо в последнее время ко мне начали относиться подозрительно, особенно после того, как стала известна судьба шляхтянки Чаплицкой.

Хмельницкий горько скривил губы. И тут еще была Елена... Малюга уловил беспокойство гетмана. Может быть, про Чаплицкую не стоило вспоминать?

- Король разделил армию на двенадцать полков, - продолжал Малюга. Первым командует каштелян краковский Николай Потоцкий, вторым - воевода брацлавский князь Любомирский, третьим - коронный хорунжий Лянцкоронский, четвертым - подканцлер литовский Конецпольский, в пятом полку - мазовецкая и великопольская шляхта под началом Льва Сапеги, шестой полк - под командованием воеводы подольского Станислава Потоцкого, дальше - полки Доминика Заславского, Калиновского, Щавинского, Вишневецкого, Одживольского, Замойского. Воевода мариенбургский Яков Вейгер со своими рейтарами, силезский воевода Шавгоч, пушки под командованием Христофора Мейера...

- Что ж, добрая компания, - задумчиво проговорил Хмельницкий. - Как это ты всех их запомнил?

- Мне много надо было запоминать, пан гетман, - ответил Малюга. Выпил воды и спросил: - Можно дальше?

Хмельницкий кивнул:

- Говори.

- На тайном совете, состоявшемся позавчера ночью, решено дать бой за Берестечком, в долине. Литовскому гетману Радзивиллу приказано ни в коем случае не допускать взятия Смоленска твоими казаками, гетман, а, разбив казаков, итти на Чернигов и Киев. Еще ты должен знать, гетман, митрополит Сильвестр Коссов находится в полном согласии с Адамом Киселем, о чем Кисель писал канцлеру Лещинскому. Велено Киселю заверить Коссова, что, после вступления королевского войска в Киев, никакого вреда ему не причинят, а останется он при тех же правах и маетностях. Еще узнал я, что хан, едва перешел Днепр, принял посла от канцлера, шляхтича Лозинского, и тот воротился к королю с весьма приятными вестями, но о чем было говорено - узнать не мог... Главное, чего добиваются король и канцлер с региментарями, - это разбить нас теперь, лишить всех вольностей, ибо считают, что если нынче не приведут к подчинению - на ту весну будет поздно: царь московский вступится и объявит войну Речи Посполитой.

Малюга замолчал, тяжело дыша, не сводя глаз с гетмана.

Хмельницкий задумался. Было о чем. Не на шутку решили паны расквитаться с Украиной. Может быть, впервые, - да так и есть, впервые за все столетие собрали столь большое войско, с таким числом иноземных наемников. Надо признать, некоторые замыслы его они разгадали, потому и торопятся. Пушки, панцыри, мушкеты, ядра, порох, пики и сабли, закованные в латы гусары, яд и заговоры, ножи в спину - все признано годным против него. И в этот миг он понял, что самое важное, к чему надо стремиться, чего надо добиваться любой ценой, - это все-таки дать бой, страшный и неумолимый, и приложить все усилия, чтобы достичь победы. А если фортуна не обласкает его, так и то хорошо будет, если он подрежет крылья королевскому орлу, обессилит его в той битве, чтобы нескоро смогли паны снова выйти на поле боя... Если бы еще год. Один год! Были бы у него в нужном числе пушки, было бы вдоволь ядер и мушкетов, была бы первоклассная пехота, а не оборванные,

вооруженные косами да пиками посполитые... Может быть, послушаться Выговского, заключить, пока еще есть время, мир, пойти на поклон к королю, отказаться от зборовских пунктов, оставить тех, кто всего несколько дней назад, на черной раде, открыто и честно глядел ему в глаза, стать перед всей страной лжецом и обманщиком? Да разве только Выговский хочет этого? А Гладкий, а Глух, а Громыка? А другие? Только, видно, не говорят, затаили в себе. Он знает, они мыслят просто: <Добыли себе маестности, живем в достатке, множим богатства свои, - чего же еще нужно?> Слепцы! Слепцы!

Малюга и Капуста сидят неподвижно. У Капусты гудит в голове и ломит в плечах. Гетман долгим взглядом останавливается на Малюге. Вот он, - разве он хочет такого тихого и мирного жития с панами ляхами, разве того ради он рисковал каждый миг головой в Варшаве? А Гуляй-День? А Терновый? А Иван Неживой? А, в конце концов, он сам, гетман?

Хмельницкий заговорил, резко кидая слова, точно ломал сухие ветки:

- Может статься, победят паны. Может. Головы не склоню. Лучше пулю в сердце. Лучше смерть от меча... Хитро задумали паны воеводы... Хвалю! Может, и одолеют нас... Чего уставился на меня? - злобно спросил Капусту. - Думаешь, испугался их? Отступлюсь? Не дождутся того! Нет! Быть битве... - Закрыв глаза и тихо проговорил: - Страшной битве...

...В ту ночь Хмельницкий приказал позвать в свой шатер Федора Свечку. Тот, низко поклонясь гетману, принялся раскладывать на столе бумагу, перья, поставил оловянную чернильницу. Сел в ожидании.

Стоя за его спиной, Хмельницкий диктовал письмо полковнику Антону Ждановичу в Киев. Федор Свечка быстро и четко выписывал гетманские слова. Не успеет гетман слово закончить, а оно уже ровными буквами ложится на бумагу.

В углу дремлет гетманский джура Иванко. Слышно, как за шатром гомонит стража. Гетман высовывает голову из шатра:

- Гей, стража, заткните рты...

Снова наклоняется Хмельницкий над писцом. Болезненно сжимается сердце у Свечки, когда он торопливо записывает гетманские слова:

<А не будет силы удержаться в Киеве, должен жителей оттуда вывести, город сжечь, дабы ничего не оставить врагу, пускай вместо хлеба грызут камни и почувствуют всю ненависть и решимость нашу. А потому лучше стой, как скала, и не давайся врагу. Смотри, чтобы митрополит Коссов не причинил тебе какого-нибудь зла. Я же тут буду неотступно держаться своего дела. Надежен я на тебя, как сам на себя. Победишь - честь тебе и слава. Помни: не за себя стоим, а волю родного края защищаем>.

- Дай подпишу!

Свечка вскочил со скамьи, протянул гетману перо. Опершись коленом о скамью, Хмельницкий нагнулся над листом, неторопливо пробежал письмо глазами и размашисто подписался: <БГД ХМЛ>.

- Допишешь, - сказал он Свечке, указывая пальцем ниже подписи.

Свечка знал, что надо дописывать, не первый раз приходилось это делать. Он легким движением пера вывел под гетманской подписью: <Гетман Войска Запорожского>, на мгновение задержался, поглядел на Хмельницкого. Тот повел бровью:

- Чего там перескочить не можешь? - глянул и решительно сказал: Пиши дальше без <королевской милости>, пиши: <Войска Запорожского и всея Украины>.

Свечка быстро написал.

- Ступай.

Но Свечка не уходил. Переступал с ноги на ногу.

- Что надо? Говори.

Гетман стоял перед ним, разглядывал, непонятно, добрым или злым взглядом.

Свечка решил:

- В войско хочу проситься, пан гетман.

- А ты где, на ярмарке или на свадьбе?

- Известно, пан гетман... Но...

От волнения теснило грудь, слов нехватало.

- Ступай, казак, делай свое дело, смотри кругом внимательным глазом, а помирать придется - соверши это как воин... Письмо сейчас отправить, передай есаулу.

- Слушаю, гетман, - голос Свечки совсем упал.

Писец понуро двинулся к двери, но вдруг остановился и спросил:

- Выходит, сожгут Киев, гетман?

Хмельницкий поглядел пристально и положил руку на плечо Свечки:

- Что, жаль тебе Киева, улиц зеленых, домов красивых, садов вишневых? А о том, кто будет всем любоваться, коли враг нас одолеет, об этом подумал? Подумай, хлопец. Подумай!

Не ожидая ответа Свечки, уже не ему, а самому себе говорил:

- В целости не отдадим. Сожжем! А надо будет - весь край огнем запылает, один пепел оставим и все уйдем в русскую землю. Не будем в панском ярме. Так и знайте, паны, так и знайте!

...Свечка лежал в шатре. Рядом храпели писцы, лежа вповалку на кошмах. Свечка не спал. Из памяти не выходили слова гетмана. Надо было бы записать их.

<Забуду>, - беспокоился Свечка. Но чувствовал, что не забудет этих слов и не забудет этой ночи.

...Был в Броварах, под Киевом, хлопчик Федор, сын бондаря, которого Свечкой прозвали, потому что всегда зажигал свечи в церкви. Любил Федор сидеть над озером, слушать, как квакают лягушки, следить, как на закате утки садятся в камыш. Не многое видел в жизни Федор, но кое-что уже знал. Знал, какой травы пожевать, чтобы живот не болел, каким листом кровь остановить, какого зелья в соломаху кинуть, чтобы выгнать из тела лихорадку... Всеми этому научил безногий дед Кирило, который когда-то вместе с Наливайком турок воевал, ходил в челне под стены Цареграда и хвалился тем, что плевал в бороду князю Вишневецкому, за что и отрубили ему ноги и поломали ребра. От того деда Кирила впервые услышал Федор Свечка о бесстрашных казаках, которые на своих чайках ходили по морю, бились с турком да с татарами, добывали французскому принцу Дюнкерк и плавали на галерах, как невольники, в далеких краях, где всегда лето и жара нестерпимая. Слышал он от деда про казака Пивторадня, что ходил в далекий край со своим побратимом Омеляном Дубком, а в том краю люди черной масти. По душе пришелся тем людям Пивторадня своей отвагой, выбрали они его гетманом и пошли против царя своего. Так и остался там у них гетманом Пивторадня...

Много радостного, таинственного и чудесного рассказал дед Федору Свечке. <Быть тебе, внук, гетманом или митрополитом, - говаривал старик, хотя митрополитом - не стоит, да и у гетмана тоже заботы много. Еще отступишься от бедного люда, который выбрал тебя...>

Не стал Федор ни гетманом, ни митрополитом. Случилось так.

Проезжал через Бровары митрополит Петр Могила. Напротив Свечкиной хаты обломилась на ухабе ось кареты. Пока ее чинили, митрополит пережидал в хате, поговорил с безногим дедом, с отцом и забрал к себе в Киев Федора.

Как далекий, давний сон, возникают в памяти Свечки те годы. Киев... Дома из тесаного дерева, из камня. Множество людей. Кареты, возы, кони, покрытые дорогами цветными попонами. Над Днепром палатки торговых людей. Говорят люди на странных, неведомых и несслыханных до сих пор Свечкою языках... Широкие площади, высокие стены Печерского монастыря, чудесные изображения на стенах святой Софии...

Впервые в жизни Федор Свечка держал в руках книгу. С благоговением переворачивал страницы, удивлялся, что на них люди изображены вверх ногами. Митрополит смотрел на Федора и смеялся. Сказал: <Не держи книгу вверх ногами, Федор>.

Прошло время, и стал Федор сам читать, писать, учиться по этим толстым книгам говорить по-латыни. Изучил он немецкий, татарский и польский языки, мог читать на них свободно и бегло...

Прошло время, и не стало Петра Могилы. Осталась у Свечки книга, написанная

митрополитом: <Православное исповедание веры>. Она хранилась в Киеве, на Зеленой улице, в белом домике, под шатром развесистых лип, в скрыне у чудесной дивчины Соломии, которой не только книгу эту, а свое сердце доверил Свечка, покидая Киев, когда позвали его на гетманскую службу. <Что ж, Соломия, может статься так, что не встретимся больше. Может статься так, что паду на поле битвы и никто не покроет мне очи китайкою. Не забудешь ли меня, Соломия?> Трудная это была и тревожная их прощальная беседа. Нехорошо было на сердце у Свечки. Ох, нехорошо...

Не от баловства пришла ему мысль: записать походы войска казацкого и записать так, чтобы могли это прочесть потом люди и узнать из прочитанного, как защищали казаки волю и веру, презирая смерть и полюбив саблю и пистоль больше, чем родных мать и отца. Немало подобных книг прочитал в Киевском коллегиуме Свечка. Писано было в них про воинов храбрых и про далекие края, где эти воины славу добывали, - а почему бы не описать события, самовидцем и участником коих был сам Федор Свечка? Когда-нибудь, читая такую летопись, узрят потомки предков своих во всем величии и красе.

Не заснет нынче Федор Свечка. Много мыслей возникло после того, что услышал он от гетмана. <Мне тяжело, а разве ему легко?> - думает Федор. И сам с собой соглашается: гетману, должно быть, тяжелее.

Тихо, чтобы не разбудить товарищей, Свечка подымается и осторожно выходит из шатра. Серое небо уже освещено дальним огнем зари. Гаснут звезды, и бледный месяц бельмами глаз смотрит на табор, на высокие степные курганы, на траву, потоптанную конями.

Ветер вяло играет значками на воткнутых между телегами пиках. Над гетманским шатром лениво свисает бунчук. На возах, под возами, в шатрах спят казаки.

Тревожным взглядом всматривается Свечка в окружающее. Знай он искусство художника, будь у него кисти и краски, сел бы вот тут сейчас и... А разве не может он достойным и правдивым словом поведать об этой ночи, когда, забыв суету дневную, почивают воины? Может быть, уже завтра они, не задумавшись, пойдут туда, куда укажет булавой гетман Хмельницкий, и не каждому из них улыбнется счастье, и многие из них побратаются со смертью и падут на землю, которая станет им последним надежным приютом...

Раздувая розовые паруса, плывет над горизонтом рассвет к берегам земли. И Федор Свечка встречает его увлажненным взором.

13

...Желтые листы пергамента оправлены в переплет из красного сафьяна. Открыв книгу, на первой странице читаешь написанное ровными, спокойными строками:

<Страницы летописи, писанные бывшим студентом Киевского коллегиума, основанного блаженной памяти митрополитом киевским Петром Могилою, Федором Свечкой, ныне казаком и писарем, состоящим при особе гетмана Украины Богдана Хмельницкого, коего годы жизни да будут долги, как его слава в народе.

Что есть жизнь? Отвечу словами моего деда Кирила, который, по моему разумению, мог бы стать известным в нашем краю человеком, ибо имел премудрость великую и знал на память пятьсот сказок и пятьсот песен.

Онй дед Кирило на сей вопрос ответ дал такой: жизнь есть труд. Ибо, не потрудясь - не поешь, ибо не потрудясь - лемеха себе не выкуешь и землю не заставишь рождать злаки и не приложив труда - не получишь меча, коим жизнь свою защитишь от вражьей напасти... Еще приводил дед Кирило немало примеров, кои должны были подтвердить его толкование жизни. Дед говорил:

- Не верь, что есть пекло и что есть рай, пока сам своими глазами того не узришь.

С этих дедовых слов начинаю я, казак Федор Свечка, писать изо дня в день, из года в год летопись жизни, сиречь буду записывать события, кои в краю моем происходят, деяния отважных людей края моего, мужественную борьбу за волю и веру, которую ведут люди наши, да будет так же вечна слава их в веках, как крепка и тверда она ныне. Лелею в сердце

надежду, что далекий потомок мой найдет сии страницы, если их не поточит червь и не поглотят огонь или вода. Пусть он, тот потомок, простит мне, Федору Свечке, родом из Броваров, кои поблизости стольного града Киева, рожденному от отца бондаря Гната Свечки и матери Марфы Свечки, дерзнувшему писать сие, сознавая, что ни лета мои, ни казацкий опыт мой не дают мне права быть судьей того, что записываю. Пусть же на этом закончу я свое переднее слово к этой книге, ибо должен признать, что одну я уже написал, но, прочитав ее на досуге, решил предать огню. Мыслю, поступил гораздо. Аминь!

М а й. В о с к р е с е н ь е. Уведомили меня от имени гетмана должен находиться неотлучно при его шатре, на случай потребности чтобы всегда быть у него под рукой. Нынешним утром пришла весть, что прибывает в табор коринфский митрополит Иосаф. Гетман с писарем Выговским и полковниками Богуном и Громыкой, в сопровождении ста конных казаков, выехали встречать митрополита.

Полковники и казаки нарядно оделись, только гетман был в синем простом кунтуше, в казацкой шапке, без сабли и булавы. Завидев карету митрополита, велел всем спешиться и сам сошел с коня, и мы пешие пошли навстречу карете. Когда карета остановилась и митрополит вышел из нее, гетман низко поклонился и дважды поцеловал руку митрополиту, а владыка поцеловал его в голову, благословил.

Такого смирения понять не могу: ибо чем пояснить тогда, что поутру, услышав о приезде митрополита, гетман недовольно сказал Мужиловскому:

- Его еще мне тут нехватало, - но погодя добавил: - Ничего, пускай скажет святое слово перед битвою. Коссов, как узнает в Киеве, подавится.

Думаю, не следовало бы мне этого писать.

В шатре гетмана накрыли стол для завтрака. Угощение было убогое и вина никакого. Когда кто-нибудь из сотников или есаулов входил в шатер, обращаясь к гетману по разным делам, то он отвечал им тихо, так, чтобы не беспокоить святого отца. Беседа шла между гетманом и митрополитом о предстоящей битве. Митрополит поведал гетману, что отписал московскому царю, какую муку и ущерб изведаль народ украинский от унии и католиков, и что у народа нашего одно желание - быть в лоне единой державы, под высокою царевою рукою, - за эти слова гетман усердно благодарил митрополита.

В тот же день митрополит обратился с проповедью к казачеству, собранному вокруг шатра гетманского, и в присутствии гетмана и старшины сказал, что война, которую начал король против казаков, есть война супротив веры православной, понеже папа римский истребить церкви и монастыри желает, чтобы все, кто не захочет предать свою веру, были бы уничтожены и отданы в неволю татарскому хану и султану турецкому.

Святой старец говорил тихим, слабым голосом, и слышали его слова только в передних рядах, а задние только из почтения стояли молча до конца проповеди. Благословив войско, святой старец выехал из табора в сопровождении стражи, данной ему гетманом.

М а й. П о н е д е л ь н и к, д е н ь ч и с л о м д е с я т ы й. Нынче гетман получил известие: татарский хан Ислам-Гирей прислал королю польскому письмо, а что в том письме писано - неведомо. Весть сия опечалила гетмана. Присутствовавший при беседе гетмана с Капустой генеральный писарь Иван Выговский сказал: <Теперь самое время опередить султана. Может, мне следует поехать в королевский табор, уговорить канцлера назначить комиссию и не дать начаться войне>. На это гетман ответил: <Мира просить у короля не станем. Мы еще не побеждены, и даже, если одолеют нас на поле битвы, то и тогда мира просить не буду. А ты, писарь, что-то крепко по панам скучаешь. Смотри, чтобы веревка не соскучилась по твоей шее>. Что дальше говорено - не ведаю. Был отослан к писцам.

М а й, д е н ь ч и с л о м т р и н а д ц а т ы й. Поистине несчастливый день. Вторые сутки идет дождь. Войско в походе. Идем через села, опустошенные жолнерами Калиновского. Отовсюду несет горелым. Множество сожженных хат. Люди, кто уцелел, живут в землянках, похожих на казацкие колыбы, какие видел на Запорожьи. Мужики все присоединяются к нашим полкам. Женщины стоят у дороги, провожают скорбными очами. Никто не плачет, только очи горят, даже страшно глянуть в те очи. Одна молодлица дернула

меня за рукав, когда остановился у криницы напоить коня, и спросила:

- Покажи мне, где Хмель? Какой он?

Я указал. Она глядела долго на гетмана, который проезжал верхом по улице, и перекрестила его вслед.

Вечером разведка поймала трех польских жолнеров и одного ротмистра. Жолнеров гетман приказал отпустить. Говорил с ними милостиво и дал по десять злотых каждому. Ротмистра передали в канцелярию Лаврина Капусты.

М а й, д е н ь п я т н а д ц а т ы й. Шлях за старым Константиновом. Тут прошел, словно моровая язва, князь Ерема Вишневецкий. Да падет божья кара на него и на весь род его! Вдоль шляха, под липами, по обеим сторонам - сто кольев, а на них замученные жолнерами Вишневецкого мужчины и женщины. Гетман приказал не трогать тела мучеников, - пусть все войско, которое идет по этой дороге, увидит, как далеко зашло своевольство панское. Один из мучеников еще жив был и застонал как раз, когда проезжали мимо него гетман и гетманская свита.

Гетман остановил коня. Зрелище было такое, какое, должно быть, только в аду узреть можно. Кол прошел насквозь, но вышел не горлом, а через грудь, и несчастный умирал в страшных мучениях. Он стонал, и изо рта у него стекала черная сукровица. Собрав последние силы, мученик позвал гетмана:

- Хмель, видишь, Хмель?

И больше ничего не мог сказать. Голова, как подрезанная ножом, свесилась на грудь. Все мы видели, как по обветренной щеке гетмана покатились слеза. Он достал из сумы пистоль и выстрелил мученику в ухо, облегчив ему непереносимые муки и избавив его от долгих страданий.

Я ехал позади гетмана и слышал, как он сказал полковнику Богуну:

- Этого народ панам не простит никогда.

М а й, д е н ь ч и с л о м с е м н а д ц а т ы й. Сегодня к войску привезли пушки Тимофея Носача. К вечеру того же дня узнали мы, что хан с ордою перешел Днепр.

М а й, д е н ь ч и с л о м д в а д ц а т ы й. Несколько дней только и делали мы все, что писали универсалы посполитым. От имени всего Войска гетман звал посполитых братья за оружие, итти на битву за волю и веру и уничтожать панов и их приспешников. В тех универсалах писано было про сто мучеников на кольях, коих видели мы под Старым Константиновом.

Нынче есаул Демьян Лисовец доложил гетману, что из Антонин, села, приписанного к маетности Потоцкого, прибыло пятьсот посполитых, вооруженных только палками да косами. Гетман приказал дать им пики, сильно бранился, что до сих пор Лученко не доставил из Чигирина мушкеты, купленные в Путивле.

Ночью гетман диктовал письмо боярину Милославскому, родичу царя Алексея, в Москву.

Ночью же гетман приказал мне ехать с есаулом Лисовцом в ставку к хану, которому Лисовец вез грамоту от гетмана, я же должен быть, яко толмач.

М а й, д е н ь ч и с л о м д в а д ц а т ь с е д ь м о й. Пишу это в ханской ставке. Виденное всяческого удивления и внимания достойно. Храни нас бог от таких союзников на далее.

Татарская орда движается с опаской, вечером огней не разводит, хотя польского войска здесь и днем с огнем не увидишь. Не трусость ли такая осторожность? Все время впереди орды носятся разьезды. Орда разделена на загоны, каждый числом по сту человек, и имеет такая сотня триста коней, ибо каждый всадник владеет тремя лошадьми.

Я видел, как после прохода орды бескрайное поле было вытоптано и вид имело печальный. Тут говорят, что с ханом идет семьдесят или восемьдесят тысяч сабель. Но из-за великого числа коней и телег, в коих вместе с войском едут женщины и дети, трудно сие проверить. Одеты татары так: короткая рубаха, на полфута ниже пояса, штаны, жупан суконный, подбитый мехом. Шапка из лисьего меха или из меха куницы и сафьяновые

сапоги без шпор. Но я видел многих татар, одетых бедно, в одних штанах. У иных на голом теле бараньи куцые кожушки мехом наружу. Вооружение их - сабля, лук с сагайдаком, в коем помещается до двадцати стрел. За поясом у них огниво, шило и пять саженой кожаной веревки, чтобы вязать пленных. У всякого в сумках есть нюрнбергский квадрант. Кто побогаче, носит под рубахой панцырь. Беседуя с ними, выяснил, что никто из них толком не знает, с какой целью пришли на Украину и куда идут. Об этом мурзы им не говорят. Единое, что знают, - добудут богатый ясырь, а в этом году в Стамбуле должна быть большая ярмарка невольников. И вот каждый из татар мечтает захватить ясырь и продать на той ярмарке.

Знает ли гетман, какие союзники идут ему на помощь? Есаул спит и своим храпом мешает мне обдумать все виденное и слышанное. При нашем шатре стоит стража, ночью нас никуда не выпускают из табора. Объясняют, что таков приказ визиря, дабы с нами, как с гостями, не случилось чего-нибудь худого. Хана увидим завтра, и есаул вручит ему грамоту. При беседе есаула с визирем я как толмач был ненужен, - визирь неплохо говорит по-нашему, но весьма потешно перевирает слова.

Еще надо записать, чем питаются татары. Хлеба в походе совсем не потребляют. Едят конское мясо, говядину, баранину. Но предпочтение отдают конскому мясу. Пожирают даже павших лошадей. Уж не свинцовые ли кишки в животах у этих воинов? А муку они смешивают с конскою кровью, варят и с наслаждением едят. Это для них великое лакомство.

Когда убивают лошадь, то делят ее так: десять человек, собравшись вместе, рассекают тушу на четверти, три четверти отдают своим товарищам, себе же оставляют одну заднюю четверть. Режут эту четверть на большие лепешки, толщиной не больше двух дюймов, кладут эти лепешки на спину своего коня, седлают его, затягивают крепко подпруги, садятся верхом и ездят так два-три часа, потом, сойдя с коня, снимают седло, сгребают с мяса кровавую пену, кою любят смачивать свою пищу, снова кладут эти лепешки под седло и снова скачут на коне два-три часа, и после того эти мясные лепешки становятся как пареные. Это излюбленная пища татар в походе, как они поясняли мне. Пьют татары кобылье молоко, оно заменяет им горелку и вино. Однако мурза Карач-бей, гостями которого мы были, весьма обрадовался, когда есаул Лисовец подарил ему круглую флягу горелки, настоенной на кореньях. Тут же, при нас, мурза выпил полфляги, прищелкивая языком, вскоре охмелел, упал на ковер и захрапел.

Есаул вручил гетманское письмо хану. Властитель орды и Крымского царства, коему многие прославленные князья платят дань, восседал на подушках, окруженный мурзами. Есаул говорил, я переводил. Хан сидел, уставясь в землю. Видимо, он малого роста, хотя судить о сем трудно, ибо он ни разу не поднялся. Весь он точно из одного сала - жирное лицо, жирные руки, жирные глаза. На нем был шитый золотом ало-бархатный халат и невысокая соболья шапка, обложенная драгоценными камнями. Окончив говорить, есаул передал грамоту визирю, визирь дал хану, тот развернул, недолго глядел на нее и возвратил есаулу. Так же не поднимая головы, хан сказал, что быстрее двигаться с ордою не может, понеже здесь корма нет для коней и пищи для войска. Сказал он, что гетман не сдержал своего обещания обеспечить орду всем, что потребно, и, мол, если бы не его ханское слово, то он приказал бы брать все потребное в селах и городах... Хан был сердит, слова будто клокотали у него в горле. Потом он поднял голову, и я увидел его глаза, холодные, точно были они из зеленого стекла. Отпуская нас, хан подобрел и велел подарить есаулу коня, а мне - седло и сбрую.

Дознались мы от мурзы Карач-бея, что за несколько дней до нашего прибытия в ханскую ставку отсюда уехали королевские послы и что хан обещал им удержать гетмана от битвы и обратить оружие вместе с гетманом против Московского царства, чтобы воевать Казань, а королевские послы за то обещали хану помощь от короля.

Эта весть опечалила есаула. Мы решили немедля оставить табор и скакать к гетману, но вот уже третий день, как визирь нас не отпускает, словно мы его пленники. Есаул говорит, что визирь делает это нарочно, чтобы мы ничего не рассказали гетману, пока польские послы не доберутся до королевского лагеря.

Вчера ночью проснулись от рыданий. Невдалеке от нашего шатра кто-то плакал, причитал по-нашему. Мы с есаулом пошли узнать, что случилось. Доведались что татары сделали наезд, забрали в плен десять дивчат.

Есаул пошел к Карач-бею, говорил ему:

- Так союзникам поступать не гоже.

Карач-бей зевал и чесался.

- Сие есть военная добыча, - сказал он, повернулся к нам спиною и повалился на кошму.

Есаул выругался, плюнул, и мы пошли прочь.

Нынче пришел сейман от визиря и позвал есаула. Вскоре есаул возвратился и сказал мне:

- Собирайся в дорогу.

На этом заканчиваю. Будет время, еще напишу>.

<И ю н ь. В таборе прошел слух, что сотник Крыса подговаривал старшин оставить гетмана и перекинуться к королю. Говорил он, что король дарует всем волю и каждому даст по сто злотых и шляхетство. Сотника Крысу схватили, допросили и казнили смертью. Об его измене объявлено в полках гетманским универсалом.

Поймали монаха, который в полку Громыки рассказывал казакам, будто шел он из московской земли и своими глазами видел, что нам в тыл идут стрелецкие полки со многими пушками и что стрельцы уже вступили в Конотоп, а Радзивилл осадил Киев.

Казак по прозванию Гуляй-День того монаха схватил и привел к полковнику Громыке. Оказалось, что монах - переодетый шляхтич, на допросе он сознался: послали его по приказу Калиновского умышленно разносить дурные вести, дабы страх посеять среди казаков. Лазутчика повесили.

Ночью в таборе случился страшный взрыв. Погибло много, говорят двести, не то триста казаков, многие ранены. Кто-то злоумышленно поджег бочку с порохом, и весь порох, лежавший вблизи, сгорел. Капуста чинит розыск. Взято под стражу много народу. Гетман разгневался и кричал на Капусту и Коробку так, что было слышно далеко за его шатром.

Через Стырь пришли в табор сто семнадцать поляков. Все в убогой одеже. Говорят, что бегут от панов. Гетман приказал взять их в пехоту, в полк Матвея Гладкого.

И ю н ь, д е н ь ч и с л о м д е с я т ы й. Возвратился из похода казак Мартын Терновый. Рассказывал про повстанцев в Подкарпатьи и про их предводителя, Костку-Напирского.

Гетман едет в ханскую ставку. Мне велено быть при его особе. Сегодня в лагерь пришло еще пятьдесят семь поляков, беглецов из-под Львова. Велено взять их в полк Осипа Глуха.

К гетманскому кухарю Тимку пришел человек в казацкой одеже. Показал ему мешочек, полный злотых. Человек этот уговаривал Тимку всыпать отраву в кушанья гетмана. Кухарь Тимко свалил злоумышленника с ног ударом кулака, связал и позвал полковника Капусту. На допросе злоумышленник упал на колени, плакал. Умолял даровать ему жизнь, признался, что послан он сюда по приказу канцлера Лещинского.

И ю н ь, д е н ь о д н н а д ц а т ы й. Гетман беседовал с ханом в ханской ставке. При гетмане были Капуста, Выговский, Богун, Мужилковский и Золотаренко. Хан укорял гетмана, что напрасно не слушает он короля, своего повелителя, а замыслил злое против помазанника божьего и что гетман хана обманывает - только требует от него помощи, а сам ему не помогает, чтобы пойти воевать Москву. Гетман отвечал хану:

- Зачем про Москву говоришь, если король и паны тебе дани не платят уже второй год, а канцлер похвалялся: мол, окончится война Венеции с султаном, все пойдем оружно на Крым и оставим там только пепел да камни, а хана гусары Потоцкого на веревке в Варшаву приведут.

Хан вскочил на ноги; теперь я увидел, что он действительно очень малого роста. Он размахивал кулаками, клял короля и канцлера и угрожал всех их отдать на галеры, но все-таки сказал гетману:

- После похода на короля пойдешь со мною вместе на царя московского.

На это гетман ничего не ответил. Потом Выговский развернул карту, и все начали подробно обсуждать, как действовать войскам гетмана и хана. На совете у хана приговорили: удостоверясь, что король с войском двинулся из Сокаля на Берестечко, выслать спешно несколько конных отрядов с пушками и, когда королевское войско будет проходить через болота, которые лежат между Сокалем и Берестечком, запереть его в этих болотах и дать на том месте бой. Порешили так, что сначала ударят казаки, а потом их поддержит хан.

Потом хан был в гостях у гетмана. Капусте удалось разведать: после отъезда гетмана, визирь послал гонца в польский лагерь, к канцлеру Лещинскому.

И ю н ь , д е н ь ч и с л о м д в е н а д ц а т ы й. Разведка донесла, что войско короля уже стало на левом берегу Стыри и начало переправляться на правый берег. В тот же день Богун ударил на полки Вишневецкого. На утро другого дня пришли вести, что Богун разгромил две хоругви и принудил врага бежать. Эта весть обрадовала гетмана. Казаки Богуна привезли королевский виц о посполитом рушении. В нем писано по-печатному:

<Друзья, ныне настал срок справедливо отомстить бунтовщикам за надругательство над римско-католическою церковью и спасти право и честь Речи Посполитой. Я, ваш король, буду при вас неотлучно: или уничтожим подлых хлопов и возвратимся домой с победой, или поляжем здесь, защищая свою волю. Лучше смерть, чем неволя у хлопов, на посмешище всем народам>.

Гетман приказал читать тот виц по всему войску.

- Пусть знают казаки, - молвил гетман, - что задумали король и паны.

Королевский виц читали в полках. Многие разъярились на короля и шляхту и только и говорили: <Хотя бы скорее битва!>

Да поможет бог этим отважным сынам!

В нескольких милях от Берестечка гетман приказал выстроить полки. Он сел на белого аргмака и надел горностаевую мантию, в руке держал булаву, и лицо его было сурово. За гетманом казак из его стражи вез белый бунчук, а генеральный хорунжий Томиленко Василь держал в руках малиновый стяг гетмана, на котором вышит был золотой меч в виде креста. Рядом с гетманом ехал верхом на коне митрополит коринфский Иосаф. Сначала говорил Иосаф, а чтобы всем слышны были его слова, за ним повторял сотник Иван Неживой, у коего весьма сильный голос.

- Братья и воины христовы, - закончил свою речь митрополит, постойте за церковь вашу, за веру и волю. Благословляю вас и вашего гетмана и полковников ваших на ратное дело во славу церкви и отчизны.

После того гетман, едва сдерживая борзого коня, неторопливо объезжал полки, которые вытянулись длинными рядами в поле. Только слышно было, как катилось, словно волна морская, словно раскаты грома:

- Слава!

И ю н ь м е с я ц , д н я ч е т ы р н а д ц а т о г о . Писал письма со слов гетмана. Выйдя из шатра, встретился с генеральным писарем, он остановил меня, спросил, кто сейчас у гетмана. Я сказал пану Выговскому, что там сейчас Капуста и какой-то Малюга. Выговский схватил меня за плечо и спросил:

- Что ты говоришь?

А потом оттолкнул и пошел прочь от шатра. Весьма таинственно сие!..

И ю н ь . Пишу эти строки в хате, в которой нет ни окон, ни дверей. Все уничтожено - кто знает, кем? В первых словах вознесу хвалу господу, даровавшему мне жизнь. Злым ветром занесло меня в Ямполь. Или, может быть, то, что остался я в живых, - злая воля, ибо видел своими глазами кару небесную, неожиданно павшую на наши головы. Чем провинились мы, за что дано нам испытать такую насмешку судьбы и узнать торжество панов? Да будут прокляты хан и орда, которые погубили дело наше своей неслыханной изменою. Вечный позор им! Но еще и до сих пор мы все, в том числе и гетман, пленники хана. Ибо как же иначе это можно назвать, если - вот уже неделя, - хан не отпускает гетмана и мы все не

знаем, что творится под Берестечком. Где Капуста, где Носач, где Томиленко? Что с Богуном, Джелалием, Мужилковским? Никто ничего не знает. С гетманом тут генеральный писарь, есаул Лисовец, джура Иванко и я. Может быть, последние дни доживаем. Вчера Лисовец проведал, что хан собирается выдать королю гетмана и всех нас. Неужели таков будет скорбный конец великого гетмана? Останусь ли я в живых? Увижу ли когда-нибудь свой Киев? А зачем он мне, если будет победа короля? Может, и не следует писать такие слова, может быть, ни к чему они? Сколько сомнений обступило меня... Но и в сию тяжкую минуту вспоминаю слова деда моего Кирила: <Где казак, там смерти нет>. Проникся его верой и писать буду дальше все, что видел и слышал за эти дни, полные горя и муки. Пишу дальше...

...Вот то памятное утро июня двадцатого 1651 года под Берестечком. Густой туман стоял над полем, потом взошло солнце, рассеяло завесу туч. Мы увидели перед собой королевскую армию. Два войска стояли лицом к лицу. Казаки говорили, что такого числа жолнеров они еще не видали. Не на шутку, зная, обеспокоились паны и король, если столько жолнеров вывели на поле. Нам были хорошо видны полки врага: королевские гвардейцы с тигровыми и леопардовыми шкурами на плечах, гусары - в латах и с железными крыльями за спиною, уланы - в сетчатых кольчугах, с длинными пиками, иноземная пехота в панцырях и в высоких черных шляпах с перьями. Дальше на холмах блестели на солнце пушки. Число их поразило нас.

Гетман стоял у своего шатра и исподлобья глядел на королевские войска. Потом взял подзорную трубу и долго всматривался в шеренги врагов. Он приказал полковникам первыми не начинать боя.

Я был близко от гетмана и внимательно следил за каждым его словом и движением. Еще вчера из его слов я узнал, что битва будет страшная. Сердце мое содрогалось. Не от страха, а от ожидания чего-то неизбежного. Казалось, я предчувствовал позор, который падет на наши головы...

Войско наше находилось на правом крыле. На левом, почти в миле от нас, стоял хан с ордой. Далеко виден был ханский белый шатер.

Вскоре обе армии двинулись навстречу друг другу. Королевские войска остановились перед последним полковым редутом. Гетман велел свой табор вывести на возвышенность, имея намерение оттуда лавой бросить конницу на врагов. Но приказа о выступлении не давал. Только отдельные всадники выезжали на середину поля и вызывали польских гусаров на поединок, но никто из них не отзывался.

Стояли в суровом молчании. Уже солнце прошло через зенит, а боя никто не начинал. Так продолжалось с утра до третьего часу дня. Подобно туго натянутой тетиве лука были оба войска. Наконец, зазвучали вражеские трубы там, где стояли хоругви князя Еремы Вишневецкого. Он повел свои полки на татар. Тогда гетман тоже приказал трубить. Как далее повествовать мне, если меча не держал я в руках?

Поляки всеми пушками ударили по татарскому табору, и там сразу началась страшная резня. Казаки Богуна рвались к пушкам врага, но за окопами выстроилась иноземная пехота и отбивала все наскоки. Тогда Богун велел казакам спешиться, сам сошел с коня, и мы увидели, как храбрый полковник повел своих казаков на штурм. Скоро мы услышали благословенный крик: <Слава!> и увидели на холме, где стояли пушки, Богуново малиновое знамя. Но в этот миг произошло страшнейшее: татары обратились в бегство. Поляки начали обходить наш табор с обеих сторон. Гетман вскочил на коня и кинулся в полк Громыки. Мы скакали за ним. Мне казалось, что не конь несет меня, а ветер, я крепко сжимал в руках саблю, озирался по сторонам. Гетман врезался в казацкие ряды, которые уже начали подаваться под натиском гусаров, он схватил за плечо какого-то казака и крикнул ему:

- Что, панов испугался? Поворачивай за мной!

В этот миг нас нагнал Выговский.

- Хан бежит! Измена! Гетман, надо выкинуть белый флаг! - крикнул он.

Гетман круто осадил коня и замахнулся саблей на Выговского. Писарь заслонил лицо

локтем. Мне казалось, у гетмана глаза выскочат из орбит. Он бешено погнал коня к своему шатру. Перед шатром стояли Богун, Джелалий, Гладкий, Капуста, Мужилковский. Гетман, не слезая с коня, сказал полковникам:

- Хан предал, надо любой ценой остановить его.

- Никому это не удастся, только тебе одному, гетман, - ответил Выговский.

Полковники молчали. Тогда гетман приказал оставаться старшим над войском Джелалию, а Выговскому, есаулу Лисовцу и мне - ехать с ним к хану.

С той минуты, как попали мы в ханский табор, который нагнали только под Ямполем, начинается самое страшное.

И ю н ь, д е н ь ч и с л о м д в а д ц а т ь в т о р о й. Сегодня гетман приказал мне и есаулу быть при нем в шатре. Вокруг стоят аскеры с обнаженными мечами. В шатре, кроме гетмана, Выговский и джура Иванко. Три раза в день ханские аскеры приносят еду. Гетман сидит на кошме, скрестив ноги, и молчит. Я не видел за весь день, чтобы он что-нибудь поел или выпил. Щеки его ввалились, и под глазами как будто кто-то вымазал сажей. Он без шапки, седина густо осеребрила его голову. У нас у всех, даже у Выговского, отобрали оружие, только гетману оставили саблю. Выговский лежит в стороне и украдкой наблюдает за гетманом. Я это записываю у них на глазах. Есаул насмешливо говорит мне:

- Чего царапаешь? Все равно ханские аскеры сварят из тебя и из твоей писанины юшку.

Может быть, есаул прав. Внезапно гетман, словно пробудясь от тяжелого сна, сказал Выговскому:

- А все ты, писарь, все твой разум шляхетский. Не надо было мне ездить сюда, не надо.

И ю н ь, д е н ь ч и с л о м д в а д ц а т ь т р е т ь й. Пришел мурза Карач-бей, позвал к визирю Выговского. Гетман запретил Выговскому ходить и велел сказать визирю:

- Когда здесь гетман, зачем говорить с писарем?

И ю н ь, д е н ь ч и с л о м д в а д ц а т ь ч е т в е р т ы й. Вчера вечером гетмана пригласили к хану. Гетман велел писарю, есаулу и мне итти с ним. Визирь, придя за гетманом, не хотел пускать меня и есаула, но гетман сказал с укором, что никто не может запретить ему назначать, кому быть при его особе. Визирь покачал головой, но больше не спорил. В третий раз видел я вчера хана.

Гетман укорял хана, говорил, что хан нарушил договор и приказ султана. Зачем оставил поле битвы? Почему предал казаков? Хан разгневался, вскочил, замахал кулаками, кричал, что гетман обманул его, утаил, как велико польское войско. Потом сказал, что король и сенаторы обещали ему уплатить дань и говорили: если хан выдаст им гетмана, то получит за это большие деньги. Гетман побледнел. У меня сердце застыло. Выходит, правда, что хан может так постыдно предать гетмана? Мы все ждали, что ответит гетман. Помолчав, он решительно, с дивным спокойствием в мужественном голосе своем, сказал хану:

- Если думаешь отдать меня в руки панов и короля Яна-Казимира - на то твоя воля. Вижу я, что задержал ты меня тут как пленника и как с пленником обходишься. Скажу одно - ты нарушил присягу и клятву свою, которую давал мне в прошлом году на коране. Сколько раз король и послы его звали меня итти на Крым, но я от клятвы своей не отступился и тебе не изменил, хотя ты хорошо знаешь, какой урон могут нанести мои казаки... Хочешь выдать меня королю - что ж, предавай до конца, но знай: войско мое за это тебе отомстит. Всей орде мстить будет, и не год, не два... Подумай о сем, хан.

После таких слов хан молчал несколько минут. В шатре было тихо. Никто не произнес ни слова. Все мы ожидали, что хан скажет. И вот хан ласково улыбнулся, подошел к гетману, положил ему руку на плечо (для этого должен был привстать на цыпочки). Усмехаясь, сказал:

- Я пошутил, брат мой, хотя это правда, что за твою голову канцлер и король дают мне много золота. Но знай - клятвы я не нарушу...

- Отпусти меня отсюда, - сказал гетман.

- Ехать тебе еще опасно, вокруг шныряют польские отряды, а охраны дать тебе не могу... - ответил хан.

После того всех нас выслали из ханского шатра. Остались только гетман, Выговский и визирь. Мы все сидели в гетманском шатре и ждали.

Поздно ночью воротились гетман и Выговский. Я хотел спросить, что будет дальше, но гетман не притронулся даже к еде, а, сбросив кунтуш, сразу лег на ковер.

И ю н ь , д е н ь ч и с л о м д в а д ц а т ь ш е с т о й. Нынче поутру произошло важное событие. В табор хана прибыли Лаврин Капуста и Иван Золотаренко, а с ними пятьсот конников из гетманского полка. Сначала была радость великая, но вскоре эта радость растаяла, как снег на весеннем солнце. Гетман только поглядел на Капусту и, схватившись руками за голову, сказал:

- Все.

Так мы узнали о страшной беде, постигшей наше войско под Берестечком. В тот же день хан отпустил нас. Он сам провожал гетмана из табора, и почти до самой Паволочи с нами ехало шесть мурз и пятьсот ханских сейманов. Перед Паволочью Капуста отпустил их, сказав, что люди так злы на татар, что он не ручается за их жизнь. Тогда мурзы и сейманы быстро повертели назад.

Гетман всю дорогу беседовал с Капустой и Золотаренком. Я расслышал только несколько слов:

- Придется начинать все сначала, все сначала...

Из рассказа Золотаренка узнали мы, что королевская армия, после бегства татар с поля битвы, окружила наше войско и стала требовать, чтобы оно сдалось на милость короля. Но Джелалий и Богун парламентеров с этим постыдным предложением отослали, и бой начался снова. Наши полки со всех сторон окружены стотысячным войском короля, но, стоя под огнем полутора сотен пушек, мужественно отбивают все атаки.

Да поможет им бог!

И ю л ь , д е н ь ч и с л о м т р е т ь й. Сегодня в Паволочь прибыли Гладкий, Громыка, Глух и Джелалий. Печальную весть привезли эти рыцари гетману. С великими потерями прорвало наше войско окружение и вырвалось из вражеского кольца. Капуста спрашивал: не знают ли они, где сотник Малюга? Но никто на это ответа не дал, Джелалий только сказал, что видел, как Малюга с саблей в руке кинулся вслед за Богуном на польских драгун во время атаки... Сие, видимо, сильно опечалило Капусту.

Из Чигирина прибыл Мужилковский. Он получил письмо от брянского воеводы о том, чтобы гетман встречал в Чигирине посла царя Алексея Михайловича, дьяка Григория Богданова, и что вместе с ним едет назаретский митрополит Гавриил. Гетман тотчас отослал Мужилковского обратно в Чигирин, приказав встретить там Богданова и просить его прибыть в Корсунь, ибо в такой трудный час гетман далеко от войска уехать не может. Сегодня писали мы также универсал в полки, чтобы собирались под Корсунем.

И ю л ь , д е н ь ч и с л о м в о с ь м о й. Прибыли в Корсунь. Весь день подсчитывали в гетманской канцелярии потери. На поле боя оставили в руках поляков двадцать восемь пушек из ста пятнадцати. Одиннадцать тысяч казаков пропало без вести. Громыка полагает, что большинство их сложило голову. Полегли есаул Михайло Лученко, полковники Трошук, Придорожный, Левченко, Горегляд.

Прибыл в Корсунь гонец из Чернигова, от Степана Пободайла. Привез весьма печальную весть: Януш Радзивилл разбил полки Небабы, сам полковник Мартын Небаба погиб в битве. Ему отрубили руку и предлагали сдаться, но он отбивался одной рукой и погиб, а врагу не сдался. Радзивилл двинулся на Чернигов, однако города не взял и должен был отступить.

И ю л ь , д е н ь ч и с л о м т р и н а д ц а т ь й. Прибыл нынче посол из Москвы, дьяк Григорий Богданов, с ним митрополит назаретский Гавриил. Гетман со старшиною встречал их за городом, а потом сели вместе в карету. Григорий Богданов и митрополит Гавриил весь вечер беседовали с гетманом с глазу на глаз и с утра второго дня до вечера тоже, а потом обедали у гетмана с полковниками. На другой день поутру, сопровождаемые Капустой, Мужилковским и Выговским, выехали они в Чигирин. После отъезда посла, гетман приказал

разослать универсалы. В тех универсалах писано: всем полкам готовиться к новому походу. Казакам с Левобережья велено собираться в Переяславе, а казакам с Правобережья - на речке Россаве, возле Маслового брода. Полкам Винницкому, Белоцерковскому, Павлолучскому и Брацлавскому собираться в Белой Церкви. Универсалы рассылали мы день и ночь. Тут стало известно, что на Масловом броде сотник Моргуненко собрал черную раду, на которой о гетмане злое говорено и замышлено его с гетманства скинуть, а выбрать кого-нибудь другого, чтобы помириться с королем и кончить войну. Гетман выехал вместе с Золотаренком на Маслов брод. Сотника Моргуненка и еще троих зачинщиков казнили смертью.

Выдан гетманский универсал о назначении Ивана Золотаренка полковником корсунским.

И ю л ь, д е н ь ч и с л о м п я т н а д ц а т ы й. Сегодня мы все были изумлены неожиданной вестью: гетман обвенчался в корсунском соборе с сестрой полковника Золотаренка Ганной. Было это венчание в воскресенье, чуть свет. Свадебного пира не делали. Все только и говорят о гетманской свадьбе. Нынче вечером видел новую пани гетманову. Лицо строгое, чело светится разумом. Смотрит в глаза остро и пытливо. Видел ее, когда принес гетману универсал на подпись. Она сидела за столом и говорила с ним свободно, не как жена, а скорее как побратим. У гетмана как будто лицо стало веселее. Он подписал универсал, налил мне чарку меду и приказал пить. Я поблагодарил и выпил. Потом гетман указал на меня пальцем пани гетмановой и в шутку сказал:

- Это, Ганна, наш летописец, ты с ним будь приветлива, а то напишет худое про тебя...

Пани гетманова только улыбнулась:

- Пускай правду пишет, а если что худое - не повредит...

Такой ответ достоин особы, разумом от бога не обиженной. Еще сказано мне гетманом такое:

- Доля изменчива, Свечка, она может высоко поднять человека, а может и сразу низринуть его в бездну. Правда, я когда-то одному доброму казаку по прозвищу Гуляй-День сказал совсем иное, - но где теперь тот казак, бог весть... Однако знай, Свечка: начнем новую войну, от своего не отступимся, воротим потерянное. Король с войском пошел на Краков, там трансильванский воевода Рагоций ему беды наделал... А Потоцкий снова на нас кинется. Только пусть не забывает, что после Корсуни я его, как щенка, отдал Тугай-бею... Не вешай нос, Свечка, гляди смело...

Да поможет бог этому отважному человеку, который не отказывается от задуманного и от народа в беде не отступился!

И ю л ь, д е н ь ч и с л о м д в а д ц а т ы й. Сегодня призваны к гетману полковники Иван Золотаренко, Лукьян Мозыря и Семен Савич. Приказано им собираться в дорогу. Поедут они, как послы гетмана, к царю Алексею Михайловичу.

Сегодня гетман подписал универсал, где назначил сотником казака Мартына Тернового.

Нынче же бил гетману челом купец Гармаш, просил универсал на послушенство, ибо селяне, кои работали на него в руднях, более не хотят работать. Гетман приказал такой универсал написать.

Нынче же гетман отправил есаула Лисовца с толмачом Данилом к хану Ислам-Гирею.

Нынче же из Чигирина воротился Лаврин Капуста.

Нынче же прибыл гонец от киевского полковника Ждановича с грамотой к гетману, а в ней писано, что митрополит Сильвестр Коссов требует от Ждановича, чтобы он в Киеве боя с Радзивиллом не вел, ибо во время битвы в стенах города могут пострадать святая София, Печерский монастырь и иные божии храмы... Жданович спрашивал, как быть, - должен ли он послушаться митрополита или поступать так, как гетман ранее велел? Гетман разгневался, закричал:

- Отпиши дураку, что не митрополит у него гетманом, а Богдан Хмельницкий! Пусть шага из Киева не делает, а буде не послушает моего прежнего наказа, - голову положит под

меч.

В том же письме писано, что дозорцы Ждановича задержали у ворот бернардинского монастыря казака, по прозванию Рутковский, и оный хотел пройти в монастырь, но стража, по приказу полковника, никого туда не пускает. У Рутковского найдена грамота, якобы он управитель пана генерального писаря, но, будучи во хмелю, оный Рутковский поносил казаков и восхвалял короля, а потому его задержали. Что с ним дальше делать, пусть гетман напишет, ибо, может, это и не управитель генерального писаря, а лазутчик.

А в г у с т, д е н ь ч и с л о м в о с ь м ы й. Сегодня стало известно, что польское войско овладело Трилисами. Немного погодя прибыла печальная весть о том, что Трилисы сожжены вместе с женами и детьми и ранеными, кои не могли выбраться из города.

Ночью прискакал гонец от Антона Ждановича, оповестил, что полковник оставил Киев, уступив уговорам митрополита Коссова. Гетман ударил кулаком по столу с такой силой, что доска треснула. Выслал нас всех из покоев. Что-то дальше будет? Куда ж девалась наша фортуна?

Среди ночи призвали меня к гетману. Он был в одной рубахе, заправленной в широкие штаны, курил люльку и задумчиво смотрел на карту. Я присел к столу и приготовился писать. Гетман продиктовал письмо к Ждановичу, в котором корил его за нарушение приказа и строго требовал немедля итти на Киев и выбить оттуда Радзивилла, а буде это невозможно постараться сжечь город. Потом гетман закрыл лицо руками и сказал, как бы про себя:

- Пусть знают паны - живыми им не дадимся. Ни казаки, ни города, ни села.

После того гетман приказал писать митрополиту Коссову такое: <Не пристало тебе, святой отец, поступать так. Отсылаешь казаков моих, чтобы они не обороняли святых церквей от вражьего поругания, от рук еретиков, а тебе бы надлежало смерть принять, защищая веру, и принять за то от господа бога мученический венец>.

Поутру проведали мы, что поляки захватили Фастов, но из города все люди вышли, держа путь на север.

Гетман приказал разослать универсал всем окрестным городам и селам, чтобы те люди, кто остался безоружным и не пошел в гетманское войско, покидали бы свои дома и шли на север, к московскому рубежу, и, перейдя его, временно селились на землях путивльского воеводства, его величества царя московского.

Узнали мы тут, что в Паволочи десятого августа умер князь Ерема Вишневецкий. Гетман сказал:

- Пускай встретится на том свете с теми, кого велел на кол посадить под Старым Константиновом.

Приказ полковнику Ждановичу и письмо митрополиту Коссову повез сотник Мартын Терновый. Я зашел к нему в дом и попросил, если доведется ему быть в Киеве, зайти на Зеленой улице в дом столяра Скибы, спросить девицу Соломию и передать от меня низкий поклон и доброе слово.

С е н т я б р ь. Сегодня впервые за много дней беру в руки перо. С чего начинать, не ведаю. Стоим мы уже под Белою Церковью. Тут, должно быть, как все говорят, произойдет битва с коронным гетманом Потоцким. Может быть, в той битве суждено и мне испытать силу свою на врагах? Вопрошаю себя: почему доля не приласкает меня, а только горем одним дарит?

Еще в конце прошлого месяца воротился из-под Киева сотник Терновый. Привез мне печальную и страшную весть. Когда он прибыл к Ждановичу с приказом гетмана, то уже опоздал. Киев сожгли сами киевляне, не отдав его на растерзание вражеским стаям. Случилось это шестого августа года 1651.

Пожар начался днем на Зеленой улице. Беглецы рассказали, что столяр Скиба и его дочь, да будет им земля пухом и души их приняты в рай, подожгли свой дом, а когда к ним во двор полезли жолнеры Радзивилла, сами кинулись в огонь, взявшись за руки, чтобы не даваться в жертву и на поругание врагам.

Всюду, в разных концах города, сами мещане поджигали свои дома. Пылали лавки с

товаром, шляхетские дома на Магистратской улице, хлебные амбары на Подоле. Весь город был охвачен огнем. Огонь пожрал церковь святой Троицы и церковь святого Василия, сооруженную князем Владимиром, женский монастырь святого Фрола, церковь Николы Доброго.

Терновый привез грамоту к гетману от радцев Киева, подписанную многими людьми, которые теперь живут в пещерах, в Броварских лесах. В грамоте той писано: <Не хотим мы покориться врагу и отдать ему волю нашу на растерзание. Придет гетман и вызволит нас из беды и срама...>

Хотел бы я еще попасть в Киев. Пойти на Зеленую улицу, склонить колени на пепелище, где когда-то в тихом садике, под раскидистыми вишнями, читал вслух Соломии латинские вирши Горация, где мечтал с нею, держа ее милую руку в своих ладонях. Мог ли я подумать даже, что в ее нежном сердце живет такая отвага, какой позавидовать может казак? Пусть же подвиг Соломии и ее отца, столяра Скибы, станет мне путеводным знаком, как надо жить на сей земле и как умирать надо>.

14

...В первых числах сентября дела улучшились. Нечеловеческих усилий стоило снова собрать в кулак рассеянные полки, подтянуть пушки, запастись порохом и ядрами. Под Киевом начал наступать на войско Радзивилла полк Ждановича. Радзивилл принужден был оставить город и поспешить на соединение с коронным гетманом Потоцким.

Высланный Хмельницким конный отряд под начальством сотника Мартына Тернового занял Паволочь в тылу у Потоцкого, а затем выгнал кварцянское войско из Фастова, захватив пушки и много пленных.

Утвердившись в Киеве и возвратив себе Паволочь, Фастов, Васильков, Трилисы, Хмельницкий сосредоточил большие силы под Белою Церковью.

Авангардные отряды полков Богуна и Громыки завязали бои с конницей Потоцкого и местами нанесли ей решительное поражение. Гетман внимательно выслушивал донесения об этих успехах и молча теребил усы. Знал ли кто-нибудь из полковников о дальнейших намерениях Хмельницкого? По-видимому, нет! Он строго следил за тем, чтобы замыслы его оставались в тайне даже для самых близких ему людей.

Может быть, одной Ганне, которая неотлучно была при нем все эти дни, он порою в ночные часы поверял то, о чем не говорил ни Капусте, ни Богуну, ни Золотаренку. О Выговском и речи не могло быть. Его попытка склонить гетмана к покорности королю и Потоцкому была еще памятна Хмельницкому. С тех пор не с ним советовался гетман о важных делах.

...Уже пожелтела листва деревьев. Потоптанные нивы расстилались вокруг. Над шляхом стояли тучи пыли. В маленьком хуторе Красноставе, под Белою Церковью, расположилась гетманская канцелярия. Тут же, в простой крестьянской хате, жил гетман с женой. Сюда со всех концов Украины прилетали гонцы и, не задерживаясь надолго, уезжали отсюда, увозя гетманские грамоты и универсалы.

...Только что окончилась рада старшин. Хмельницкий вышел в садик. За тремя яблонями сразу начиналось поле. Над ним кружилось воронье. Ветер гнал по небу косматые тучи. По временам выглядывало солнце, сеяло свои уже нежаркие лучи, и снова тучи закрывали его. Хмельницкий сорвал яблоко, непонятно как уцелевшее на ветке, и задумчиво разглядывал его. Подошла Ганна, стала рядом, спросила:

- Что задумался, Богдан?

Он поглядел ей в глаза, и сразу стало тихо и покойно на сердце. Подбросил на ладони яблоко.

- Дерево рождает плод, чтобы отдать его людям. Люди взрастили его в надежде получить пользу от него. Где они теперь? Видишь, Ганна, что с краем нашим случилось? Где теперь хозяин этой хаты и этой яблони?

- Что ты задумал, Богдан? - спросила Ганна, просовывая свою руку под его локоть.

- Задумал хорошее. Но до этого хорошего дойти нелегко. Придется мне услышать

много укоров и пережить немало обид...

Кроме этих загадочных слов, он ничего больше не сказал. Но Ганна сердцем почуяла: какое-то важное решение уже созрело в уме гетмана; и чувство любви к нему, которое быстро и неожиданно для нее самой вспыхнуло несколько месяцев назад, вдруг стало таким острым, что Ганна поняла Хмельницкий навсегда будет самым дорогим и самым близким для нее человеком на свете. А он, может быть, впервые услышал из женских уст такие слова:

- Одного хочу, Богдан, одним живу, - увидеть край наш вольным и прекрасным, чтобы при каждой хате в саду играли дети, чтобы, вышивая китайку, дивчата не наполняли печалью свои сердца, чтобы татары не гнали в полон жен и детей и не торговали людьми нашими на невольничьих рынках, чтобы не торчали кольца с мучениками при дорогах...

Глаза ее горели ясным огнем. Сердце Хмельницкого затрепетало от радости.

- Подожди, Ганна, все это станется, но не сразу... Может, мы и не увидим этого своими глазами... Не мы, так пускай дети или внуки, а может быть и правнуки наши будут жить в таком краю... Но мы должны положить добрый почин... Верный путь вижу к тому - в единой державе Русской надо нам быть, к тому стремлюсь и того добуду.

...Теперь, под Белою Церковью, он все делал только для того, чтобы развязать себе руки на будущее. Вот почему его раздражало стремление Выговского, Громыки, Гладкого как можно скорее столкнуться с панами Потоцким и Калиновским. За этой поспешностью угадывал он желание сохранить неприкосновенность добытых имений, обеспечить себе покойное, безмятежное житье, сравняться с польской шляхтой.

Хмельницкий знал: Выговский уже дважды встречался с польским полковником Маховским, первый раз - с его, гетмана, ведома, а второй тайно. О второй встрече дознался Капуста, а когда гетман спросил о том Выговского, тот объяснил, что хотел выведать намерения польских воевод. Хмельницкий только недобро поглядел и ничего не сказал на это.

Гетман созвал раду старшин, чтобы известить о получении письма от коронного гетмана Потоцкого.

Полковники сидели на двух скамьях в низенькой, тесной хате. Гетман поднялся и твердо заговорил:

- Будем заключать мир с королем. - Помолчал, словно ожидал, что кто-нибудь возразит, но все сидели, уставясь в него глазами. - Нам нужен мир.

- Надо было сделать это после Берестечка, - недовольно вырвалось у Гладкого.

- Тогда не время было. Тогда речь шла не о мире, а о полном подчинении. Никто бы нас тогда не спросил, чего мы хотим, а теперь мы будем говорить с панами как равные, ибо у нас за спиной опять войско, пушки, и мы можем вести дальше войну. - Он перевел дыхание. - Но продолжать войну сейчас нежелательно. События все равно скоро повернутся в нашу пользу.

Он имел в виду хорошие вести, которые только что прислал из Москвы Золотаренко. Но говорить об этом пока не хотел.

Голос его окреп, и глаза сверкали грозно. Полковники слушали внимательно.

- Конечно, будем мы стоять за подтверждение Зборовских пунктов. Но, думаю, паны откажутся. Потому можем ожидать и худшего. А мир добыть надо всякой ценой. Предлагаю немедленно прекратить военные действия. Сегодня посылаю ответ Потоцкому с Выговским, Гладким и Капустой.

Печальная, невеселая была рада. Кроме Выговского, никто и словом не обмолвился. Но Хмельницкий другого и не ждал. Больше того - знал: когда в войске все станет известно, можно от казаков ожидать худшего... Но уже решил твердо и готов был ко всему. Капусте еще перед радой сказал:

- К панам ляхам пошлю Выговского и Гладкого. - Когда Капуста хотел возразить, нетерпеливо добавил: - Погоди, вижу - не понимаешь меня. Ты хочешь сказать, что Выговскому и Гладкому мало дела до казацких вольностей, будут заботиться о своем. Знаю это, но сейчас все равно никто из нас ничего хорошего при переговорах не добьется. Пусть казачество знает, кто ведет переговоры. Ты уж об этом позаботься. Понял?

Капуста понимающе кивнул головой.

- Ну вот, - усмехнулся Хмельницкий, - а ты поедешь с ними. Больше помалкивай да слушай. Глаз с них не спускай. Понял? Эх, Лаврин, одно тревожит: как я о том людям скажу?

Брови сошлись на переносице. Гетман потер лоб рукой и решительно произнес:

- Все снесу, но буду стоять на своем.

...А когда через три дня в белоцерковском замке был подписан договор, коронный гетман Потоцкий потребовал, чтобы все условия прочитали казакам.

Хмельницкий, волнуясь так, как не волновался никогда, вышел вместе с Выговским, Громькой, Гладким, Богуном и Капустой из замка и стоял на помосте, ожидая, пока писарь скороговоркой выкрикивал пункты договора. Гетман с тревогой всматривался в лица казаков, чувствуя, что сейчас придется проявить все свое умение, чтобы погасить пламя, которое могло вспыхнуть буйным пожаром. Вот уже начинается. Скороговоркой прочитал Выговский:

- Казаков реестровых будет двадцать тысяч.

В ответ взорвалось и покатилося по майдану:

- Позор! Позор! Не позво-о-лим!

Эти слова ударили в сердце. Хмельницкий крепко сжал кулаки и стиснул зубы. Хитро действовал Потоцкий, требуя, чтобы договор объявили казакам. Знал, куда метил. Так открывалась пропасть между гетманом и его войском... Капуста с беспокойством поглядел на гетмана, увидел, как напряглись у него желваки скул и дергаются брови. По знаку Капусты сотник Терновый и его казаки - они стояли позади гетмана и старшины - приблизились, держа наготове мушкеты.

- Записанные в реестр казаки должны оставить земли Брацлавского и Черниговского воеводств... - читал Выговский, - и перейти на земли Киевского воеводства, кроме того, реестровые не имеют права жить в маестностях, захваченных у шляхты, и должны выселиться из них...

И снова над майданом взорвалось тысячеголосое:

- Позор! Позор!

И сразу уже более страшное, грозное и суровое:

- Продали нас паны полковники! Нашей кровью торгуют!

- А кто там, подлюга, поносит полковников? - люто выкрикнул Гладкий, выскакивая вперед.

Хмельницкий только сквозь зубы процедил Капусте:

- Убери этого дурака!

Капуста что-то зашептал Гладкому на ухо. Выговский продолжал читать, облизывая сухие губы. Руки дрожали, буквы прыгали перед глазами:

- Шляхта имеет право возвращаться в свои маетки...

Снова отчаянный, злобный крик прокатился над майданом:

- Продали! Куда глядел Хмель?!

- Долой Хмеля!

- Долой Гладкого и Выговского!

- Долой панских прислужников!

Кричали все. Казалось, старинные стены замка рухнут от этого бешеного крика толпы. Хмельницкий не шевельнулся. Окаменел, скрестив руки на груди. Взглядом скользил по тысяче лиц, точно кого-то искал в этом бушующем море людей. Впервые за долгие годы он услышал страшное и яростное, обращенное к нему:

- Долой Хмеля!

И он понимал, что кричали, наверное, те же, кто когда-то провозглашал ему славу.

Бледный Выговский злобно шептал на ухо Капусте:

- Чего он молчит, чего ждет? Они сейчас кинутся на нас!

- Выдайте нам Гладкого и Выговского! - закричал казак в колушке. Он стоял у помоста и размахивал кулаками перед Хмельницким. - Это они продали и тебя и нас, Хмель! Не

можно такой мир утвердить!

- Не можно! - подхватили сотни голосов.

А гетман стоял и ждал. Он не торопился. Знал: важно выдержать, переждать. Он умел ждать. То, к чему он стремился и к чему шел, требовало безграничного терпения и длительного ожидания. И когда волна гнева и упреков начала спадать и он уже собрался произнести первое слово, вдруг из толпы вынырнул казак, расталкивая других локтями.

- Побратимы! - прокричал казак. - Дозвольте слово гетману молвить!

И то, что казак не у него просил дозволения, а у войска, и то, что этот казак был старый знакомец Гуляй-День, и то, что ему, гетману, помешали говорить, сразу спутало все мысли его и заставило почувствовать свое бессилие перед этим взбаламученным морем людей. Показалось на миг: вот началось то, чего он больше всего боялся, - гибельная утрата власти над казаками.

А Гуляй-День, стоя на лафете пушки, бросал короткие, полные укоризны слова. Слова эти были обращены к гетману, и казаки слушали их со вниманием, которое не предвещало доброго конца.

Голос Гуляй-Дня пробудил в памяти былое. Но Хмельницкий отогнал от себя воспоминания. Слушал не менее внимательно, чем казаки.

- Вот как ты, пан гетман, с королевскими воеводами поладил! Нас покинул! Отступился от нас! Забыл свои обещания? Себя и старшину вызволяешь, а нас знать не хочешь? Так говорю, казаки?

- Так! - ответил майдан одним вздохом. - Так!

- Ты сам, гетман, привел нас на битву, сам кликал нас вставать против панов, а теперь отдаешь нас, горемычных, на муки, под кнуты да палки, на колья и виселицы!

- Позор! - снова прокатилось по майдану.

- Вспомни, гетман. Желтые Воды, Корсунь, Пиляву, Зборов, - Гуляй-День загибал пальцы на руке, глядя в глаза Хмельницкому, - вспомни битвы тяжкие и тех, кто poleg, добывая победу! Коли есть у тебя совесть, то скажи: почему отступился от слов своих? Почему только о старшине беспокоишься, а о нас не заботишься? Дай ответ, гетман!

- Дай ответ! - клокотал майдан. - Ответ!

Гуляй-День соскочил с пушки и исчез в толпе. Словно не он говорил только что, а его голосом говорили все казаки.

Солнце заливало лучами майдан. Пот струился по лицам. В тысячах глаз Хмельницкий прочитал осуждение, презрение, укор. И снова в нем пробудилась твердость и решимость, которые было покинули его. Услышал за спиной слова Капусты, обращенные к охране:

- Берегите!

Гневно кинул через плечо:

- Оставь, Лаврин, - и, повернув голову, увидел испуганные, бледные лица полковников.

Да, не эта кучка в красных кунтушах, что жмет за спиной у него, станет мощным его рычагом в борьбе за свободу края. Не они пойдут бок о бок с ним и будут ему вечной и непоколебимой поддержкой, а именно те, кто стоял теперь на площади, с возмущением глядя ему в глаза, - те, кто только что осудил его прямо и резко.

- Казаки! - начал гетман зычным голосом, и сразу будто ветром отплеснуло шум и крик. - Казаки! - повторил он. - Тяжкий и позорный мир подписываю я. Ваша правда! Но разве хотел я обмануть и обидеть вас? Если бы хотел того, не вышел бы к вам, на глаза ваши, боялся бы вашего суда и презрения. Но ведь я кость от кости вашей и плоть от плоти вашей. Все мы сыны угнетенного и обездоленного народа, и не меньше вашего болею я за отчизну и волю!

Немного переждал, точно присматривался, какое впечатление будет от его слов. Казаки стояли, храня молчание.

- Верно сказал Гуляй-День, что вместе мы были в битвах тяжких, продолжал Хмельницкий, - я вас не покидал, и вы меня. Почему же теперь хотите вы покинуть меня в трудный час? - Голос его звучал угрожающе и гневно. - Почему бросаете меня одного? Разве

я от слова своего отступился?..

- А двадцать тысяч реестровых? - перебил кто-то из толпы.

- Нынче двадцать, а завтра сто тысяч будет! - крикнул Хмельницкий. Не обещал я вам рая на земле, ведя на бой за волю и веру. Наоборот, предупреждал, что, может, придется мертвые тела свои положить перед врагом... Но ныне нам мир нужен, мир всякой ценой!.. На севере могучие братья наши, люди русские. Подадут нам помощь они. Не одни мы на сем свете, не сироты безродные. Есть за нашей спиной царство Московское, а по правую руку - Белая Русь, по левую - Червонная. Кто одолеет такую силу? Никто! Никогда на свете! Уступим нынче панам, чтобы завтра они нам уступили. - Знал, что говорит лишнее, ибо это уже было прямым нарушением договора, но говорил сейчас эти слова с твердою и непоколебимою верой. Клянусь перед вами, казаки, что не покину вас и буду всеми способами и силами защищать свободу края нашего, свободу веры нашей, чтобы то, что замыслили мы под Желтыми Водами, до конца исполнилось. А если пошатнусь и отступлюсь, пусть презрение ваше тяжкою карою падет на мою голову и на головы сынов моих и пусть первый встречный вправо будет вонзить меч в мое сердце!

Хмельницкий выхватил из-за пояса булаву и, стремительно указав ею на север, голосом, который резко и твердо загремел над площадью, произнес:

- Там земля братьев наших, там Москва великая, и не даст она, чтобы мы, люди одной веры и крови, погибли в неволе. Дайте срок, казаки, дайте срок! Идите спокойно туда, куда прикажут вам ваши полковники. Не заботьтесь о реестрах. Верьте совести моей и сердцу моему. Не обижу и не предам вас! Идите со спокойным сердцем, казаки.

Кто-то в толпе выкрикнул:

- Слава гетману Хмельницкому!

Толпа откликнулась не сразу. Какую-то минуту продолжалось грозное и недоброе молчание, и только затем прозвучало:

- Слава гетману!

Но в этом крике Хмельницкий не почувствовал былого единодушия и силы... Нехотя расходились казаки.

Спускаясь с помоста, Хмельницкий приказал разыскать Гуляй-Дня и привести его к себе. Но его нигде не могли отыскать. Никто в его сотне не мог сказать, куда девался казак Гуляй-День.

Вечером Хмельницкий со старшиною прибыл в лагерь Потоцкого, под Белой Церковью. Тысячный отряд казаков сопровождал гетмана. Вдоль дороги, от Белой Церкви до Острой Могилы, где находилась главная квартира Потоцкого, в две шеренги стояли дозорные казаки, чтобы, в случае какой-нибудь опасности для гетмана, тотчас дать знать в казацкий табор. Капуста и полковники настояли также, чтобы на время пребывания Хмельницкого в польском лагере казакам были оставлены заложниками Марк Собесский и Станислав Гонсевский, самые знатные вельможи и видные королевские державцы. Потоцкого и Радзивилла предупредили: в случае, если что-нибудь случится с Хмельницким, головы этих заложников сразу же полетят прочь.

За столом с одной стороны сели коронный гетман Николай Потоцкий, польный гетман Мартин Калиновский, сенатор Адам Кисель, воевода брацлавский Станислав Лянцкоронский, подсудок брацлавский Казимир Коссаковский, гетман литовский Януш Радзивилл, воевода смоленский Карл Глебович. Когда Хмельницкий увидел в зале ксендза Лентовского, он твердо сказал Потоцкому:

- Прошу, пан коронный гетман, этого ксендза за один стол со мною не сажать. Он задумал злое против меня и творит дела, недостойные его сана, и за это еще даст ответ...

Тщетны были доводы Потоцкого, объяснявшего, что Лентовский является представителем короля. Хмельницкий стоял на своем. В конце концов, ксендзу пришлось уйти. Только тогда гетман сел за стол. С ним вместе сели Матвей Гладкий, Иван Выговский, Михайло Громька, Иван Богун, Джелалий и Лаврин Капуста.

В знак внимания к Хмельницкому, Потоцкий приказал поставить за его креслом

оруженосца, который все время держал булаву над головой гетмана. Капуста не сводил глаз с оруженосца.

Потоцкий встал с кубком в руке.

- Вельможное панство, пусть самая наша встреча сегодня свидетельствует о том, что домашней войне настал счастливый конец. Король явил великую милость пану Хмельницкому, оставив его в высоком звании гетмана его милости короля Войска Запорожского. Мужественный и достойный рыцарь, пан Хмельницкий, я должен сказать, что обиду, какую ты нанес мне под Корсунем, я забыл. Верю я, что ты вознаградишь Речь Посполитую своим послушанием за былую неверность.

Надо было отвечать. Хмельницкий встал.

- Пан коронный гетман, пан польный гетман, пан гетман литовский, панове комиссары! Видит бог, не хочу я раздора между нами. Не о войне помышляю, а о мире. Будем лелеять надежду в сердцах наших, что Речь Посполитая осчастливлена будет миром и согласием.

Он коснулся своим кубком кубка Потоцкого. Поднес к губам, но не выпил.

Потоцкий недовольно ковырял вилкой в тарелке. Не таких слов ожидал он от Хмельницкого. Не за столом быть этому Хмелю, а на колу, тут, под окнами замка, чтобы расплатиться за корсунский позор.

Ужин проходил напряженно. Потом заиграла музыка. Дамы заполнили зал. Комиссары и кавалеры пошли танцевать.

Хмельницкий и Потоцкий сидели рядом. Коронный гетман говорил:

- Должен ты знать, гетман, нет тебе никакой корысти от этого раздора. Зачем поддерживаешь чернь? Своевольная и своеумная, она вскоре и тебе беду принесет. Подумай, гетман, какие благодетельные последствия даст тебе верная служба королю. Не на Речь Посполитую ты должен был итти войной. Подожди, вскоре сможешь проявить в ином месте свою воинскую силу. На север будет наш общий поход...

Хмельницкий насторожился.

- Куда это, на север, пан коронный гетман? - спросил он.

- Известно, куда, - рассмеялся Потоцкий и хлопнул в ладоши.

В то же мгновение мажордом открыл окно и махнул белым платком. Громовый салют раздался за окном.

- В твою честь, пан Хмельницкий, - сказал Потоцкий.

Гетман слегка наклонил голову.

- Почему не пьешь вина, пан гетман? - продолжал Потоцкий. - Сейчас будем пить здоровье ясновельможного короля нашего. Ты должен выпить.

Хмельницкий вспомнил предостережения Капусты. Подозрение еще больше усилилось, когда он заметил, что ему подали кубок не со стола, - его принес слуга из другой горницы. Крепко сжав кубок в руке, он поднялся. В памяти возник день, когда под Зборовом так же угощал его вином канцлер Оссолинский...

Потоцкий провозглашал здравицу королю. Крики <виват> заглушили его последние слова. Все подняли кубки, и Хмельницкий поймал сосредоточенный и злобный взгляд Потоцкого, устремленный на него. Он поднял кубок, но, не выпив, поставил на стол перед собой.

- Неужели за короля не выпьешь? То неуважение к его особе, пан гетман!

- Нездоровится мне, пан коронный гетман, - ответил Хмельницкий, - а уважение к его королевской милости докажу другим способом... Должен просить прощения у тебя, пан коронный гетман, но болезнь меня с ног валит. Позволь поблагодарить и уехать.

Потоцкий презрительно пожал плечами.

...Попрощавшись, Хмельницкий сел на коня и стремительно помчался в свой лагерь. Полковники еле поспевали за ним. Только когда сошел с седла и, войдя в дом, увидел обрадованное лицо Ганны, он почувствовал, как что-то тяжелое свалилось с плеч.

- Ну вот и все! - сказал он, прижимая Ганну к груди.

И, сказав <все>, почувствовал неправду этого слова, ибо как раз не <все> было, не все.

Садясь за стол, на котором заботливо был приготовлен ужин, он с грустью сказал:

- Как ни жаль, не все, Ганна. Снова надо начинать с начала. Ты понимаешь, Ганна, все с начала?

- Понимаю, Богдан.

Он увидел ее глаза и почувствовал, что она действительно все понимала, все чувствовала. И то, что эта женщина, молодая и умная, решительная и сильная, сидела рядом и говорила с ним суровыми, полными правды словами, вернуло ему спокойствие и уверенность в себе.

- Еще одно горе, Богдан, - сказала Ганна, положив руку ему на плечо. - Не хотелось печалить тебя, да что поделаешь, тебе все надо говорить, все...

Он тревожно спросил:

- Что случилось?

- Свечку убили!

- Не может того быть...

Свечку убили... Всего три дня назад отправил он его с казаками в Чигирин, чтобы там подготовились к его приезду. Как же это так? Что ж это? Теперь только он почувствовал, как успел сердцем привязаться к этому неуклюжему и мечтательному юноше.

- Вот и нет летописца, - печально сказал Хмельницкий.

- Казаки, воротясь, рассказали: на них наскочил польский разъезд. Жолнеры начали требовать, чтобы ехали с ними в польский лагерь. Свечка свою грамоту показал. Офицер ее разорвал и швырнул наземь. Тогда Свечка выхватил саблю и ударил офицера по голове... Ну, а дальше ясно...

Ганна протянула руку и достала тетрадь в сафьяновом переплете, положила ее перед Хмельницким:

- Вот, что привезли казаки. На груди у него нашли.

Хмельницкий молча взял тетрадь. Открыл ее на первой странице. Увидел густое пятно засохшей крови. Наклонившись над листом, прочитал про себя:

<Страницы летописи, писанные бывшим студентом Киевского коллегиума, основанного блаженной памяти митрополитом киевским Петром Могилою, Федором Свечкой, ныне казаком и писарем, состоящим при особе гетмана...>

Дальше он не стал читать. Бережно положил перед собою тетрадь. В памяти возник далекий день в Киеве, когда Мужилковский впервые привел к нему Свечку. И это воспоминание тотчас привело за собой другие, печальные, тяжелые... Ганна, как видно, догадалась о его скорбных мыслях. Тихо сказала:

- Что было - прошло, Богдан.

- Твоя правда. Одного жаль - годы не вернешь.

Пристально поглядел на нее и в этот миг с завистью подумал о ее молодости. И сразу пришло на ум все, что говорили злые языки о них: <Как это старый Хмель такую молодую взял, с ума спятил...> Стоит ли на это обращать внимание?..

И снова Ганна помогла победить это беспокойство.

- Прочитай, Богдан, я читала, ожидая тебя. Справедливые слова написаны в этой книжке.

...В ту ночь он прочитал от начала до конца, страницу за страницей, все написанное Свечкою. Есть ли такие слова, чтобы рассказать обо всем, что творилось теперь в отчизне, о муках, которые приходится переносить народу, отстаивая волю и веру от посмеяния и ярма панского? Но в строках, написанных рукою Свечки, были зерна той великой правды, к которой и сам он шел. Правда, шел не всегда прямым и справедливым путем. Может быть, если бы кто иной упрекнул его в этом, он гневно отверг бы такое утверждение, но себе самому он мог признаться.

...Тело Федора Свечки, по приказу гетмана, похоронили в Белой Церкви, у собора. В головах поставили крест, а на могилу положили мраморную плиту, на которой гетман повелел начертать: <Тут похоронен казак Свечка Федор, который верно служил отчизне до

последнего вздоха. Вечная ему память>.

...В конце сентября Хмельницкий с Ганной уже был в Субботове. Когда навстречу карете распахнулись ворота, Хмельницкий с волнением сжал руку Ганны. Вспомнил, с какими мыслями выезжал он из этих ворот несколько месяцев тому назад.

И все же немного позже, обдумывая все происшедшее за это время, он почувствовал: его не победили. Нет!

Он стоял на широком крыльце, вглядываясь в сизо-зеленую степь, открывавшуюся за синим Тясмином, и мысленно со всей решимостью, на какую только был способен, твердил себе:

<Все с начала, все с начала!>

Нет, он не отступится от тех слов, что сказал казакам на площади в Белой Церкви. И если бы тут рядом был Гуляй-День (он вспомнил о нем, едва подумал про Белую Церковь), то сказал бы ему это.

А Гуляй-День в то самое время был далеко от Субботова. Утонув по грудь в сухом бурьяне, конь его устало брел через степь по давно неезженной дороге, которая вела на Дон.

Вслед за Гуляй-Днем ехало еще с полдюжата конных, а позади тянулись телеги, на которых сидели женщины и дети.

В вышине кружился беркут, высматривая добычу.

КНИГА 4

1

Ни Берестечко, ни, тем более, Белоцерковский трактат не принесли королю и воеводам польским уверенности в том, что Речь Посполитая обрела длительное спокойствие.

О каком спокойствии вообще могла идти речь, если существовал Хмельницкий, если, вопреки Белоцерковскому договору, он не распускал своих полков, усиливал сношения с Москвою? Это последнее уже не было тайной. Тысячи селян с Волыни, Подолии, Полтавщины, не говоря уже о землях черниговских и литовских, шли в московскую землю, селились там, и царские воеводы, невзирая на протесты королевской канцелярии, никаких препятствий не чинили селянам, а, наоборот, принимали их охотно и благожелательно.

В Варшаве уже знали, что сам Хмельницкий разослал универсалы, призывая посполитых уходить из тех мест, куда должны были возвратиться паны. Было также известно, что царь и бояре разрешили выходцам с Украины закладывать новые города и села на московских землях. Доносили канцлеру, что Хмельницкий ведет переговоры с семиградским воеводой Рагоцием, замышляющим идти войной на короля, и обещает ему поддержку казаков.

Ожидаемых от папы римского денег до сих пор не было. Венеция затягивала свою войну с Портой. От шведов только и жди беды. А царь Алексей Михайлович становился все более тверд в своих требованиях о возвращении Смоленска с городами и селами, захваченными Польшей в начале нынешнего столетия.

Немецкие герцогства и княжества были не слишком надежными союзниками в случае каких-либо осложнений. Голландские Соединенные штаты и французское королевство все больше входили в силу, и уже властно диктовали свою волю в европейских столицах, затмевая еще недавний блеск польской короны.

Отовсюду можно было ждать новых походов и новой войны, а имея за спиной Хмельницкого, нечего было и думать об успехе. В Европе этим проклятым Хмелем интересовались уже не только как бунтовщиком. Недаром в конце года шведский дипломат Франц Мейер так настойчиво советовал канцлеру Лещинскому обуздать Хмельницкого - и чем скорее, тем лучше.

Шведы не хотели, - и это откровенно признал Мейер, - чтобы Москва собрала все русские земли в едином государстве. Если бы это произошло, сила русского царства стала бы неприятно ощутимой для шведов, которые по-прежнему мечтали овладеть всем Балтийским морем.

Канцлеру было известно, что посол Мейер нащупывает пути, чтобы установить связь с

гетманом Хмельницким. А тут в воздухе все сильнее пахло неприятными осложнениями с Москвою. Так или иначе, Варшава знала - миром покончить дело с русскими нельзя будет.

И выходило так, что Хмельницкого, после двух баталий, столь дорого обошедшихся Речи Посполитой, все-таки не победили. Хмель существовал, хотя и с подбитыми крыльями, но существовал, и уже были явные признаки того, что вскоре он попытается снова расправить крылья.

Кончилась война, однако настоящий мир не был обеспечен для короля, сенаторов, воевод и всей шляхты, которая хотя и осторожно, но уже начала возвращаться в свои украинские маетки.

Но в этих маетках, вместо палацев, покинутых шляхтичами перед войной, стояли обгорелые стены. Поля заросли бурьяном выше роста человеческого, в роскошных парках вило гнезда воронье, а в селах, если найдешь десятка полтора посполитых, таких, от которых корысти, как от старой клячи, - и то хорошо было...

Хмельницкий, несомненно, водил за нос королевских послов. Он был щедр на посулы, по временам, когда его припирали к стене, писал универсалы на послушенство, но по всему видно было: единственная цель его - выиграть время.

Все попытки убрать гетмана, не брезгуя для этого ничем, потерпели неудачу. Впрочем, такая мера уже не годилась. Раньше можно было надеяться, что, избавившись от Хмельницкого, удастся посадить гетманом хотя бы Выговского, к которому весьма благожелательно относились прежний канцлер Юрий Оссолинский и личный духовник короля Лентовский. Если бы это удалось, новый гетман стал бы покорным слугой Речи Посполитой.

Но теперь шла речь не о замене гетмана. Главное было не в этом, ибо канцлер понимал, что гетман, который не станет держать руку черни, будет сброшен ею.

Попытки Варшавы привлечь на свою сторону старшину не дали никаких результатов. Большинство полковников и сотников было тесно связано с Богданом Хмельницким и слепо выполняло его приказы. Все они одобряли тяготение гетмана к Москве. В Варшаве понимали: если не принять немедленно решительные меры, то предупредить отделение Украины от Речи Посполитой станет невозможно.

Первые радости после битвы под Берестечком, после белоцерковских переговоров были развеяны дальнейшими событиями. Король и сенаторы поняли, что, в конечном счете, Хмельницкий лишь понес значительные потери в людях, но не утратил ни своей артиллерии, ни своих основных полков. Он и теперь старательно оберегал свои полки - тот костяк, который в нужное для него время густо обрастет мясом. Бесспорно было, что Хмельницкий готовится к новой битве, причем хитрит теперь гораздо больше, чем когда-нибудь.

Много беспокойства причиняло вмешательство Москвы во все эти дела. Если год назад Хмельницкий и Москва вели переговоры тайно, то теперь ни одна из сторон не скрывала взаимной приязни и дружественных отношений. Чего стоило уже то, что сразу после битвы под Берестечком, когда во всех соседних с Речью Посполитой странах заговорили о подавлении бунта на Украине, русский царь поспешил прислать к Хмельницкому посла - дьяка Григория Богданова! Этим актом он как бы подчеркивал свое внимание к Хмельницкому и пренебрежительное отношение к своему официальному союзнику - Речи Посполитой. А теперь в Москве уже третий месяц сидело посольство Хмельницкого.

Плохи были и церковные дела. Брестская уния, которая, казалось, заложила основы последовательного и решительного окатоличивания православной черни, обращалась теперь в ничто. Весь украинский народ восстал с полной решимостью против унии и униатов. И если еще несколько лет назад удавалось хотя бы отчасти влиять на чернь через униатскую церковь, то теперь нечего было и думать об этом. Самое упоминание об униатах стало опасным.

Так складывались события после Берестечкой кампании, которая была столь старательно и заботливо подготовлена Речью Посполитой, не поскупившейся для этого ни на золото, ни на оружие, ни на людей, задолжавшей Венеции, папе Римскому, императору

Фердинанду кучу денег. И не приходилось надеяться на то, что деньги эти удастся в ближайшее время взять на Украине.

Выходило, что победа, добытая под Берестечком, - только мираж. Выходило, как однажды сказал канцлер Лещинский, что каждая хата в южных провинциях короля - это крепость, которая готова выдержать осаду и предпочтет лучше погибнуть, чем сдаться на милость победителя.

Сила Хмельницкого была в том, что вся чернь стала его войском.

Однако Варшава не оставляла надежды в недалеком будущем покончить с Хмельницким. Главное - не дать ему передышки, за которую он борется всеми мерами и силами.

Хотя в Киеве был посажен королевский воевода - тот же Адам Кисель, хотя стоял там кварцяный полк под командованием маршалка Тикоцинского, хотя митрополит Коссов и заверял, что в предстоящей кампании будет поддерживать короля, - все это было довольно шатко. Хмельницкий посадил в Киеве своего умного и дальновидного дипломата Силуяна Мужилковского, а под самым городом держал десять тысяч сабель под началом Ждановича. Десять тысяч казаков стояло в Чернигове, да в Виннице у Хмельницкого было двадцать тысяч, которыми командовал Богун... А ведь, по Белоцерковскому трактату, гетману было дозволено держать всего двадцать тысяч реестрового казачества...

О каком же спокойствии могла идти речь?

Нет! Мало радости было для канцлера Лещинского в размышлениях обо всех этих делах, несмотря даже на щедрые обещания папского нунция Иоганна Торреса. Приходилось волей-неволей терпеть, ожидать новых, непредвиденных событий. И еще беспокоило канцлера то, что не видел он среди шляхты человека, который мог бы, когда будет нужно, снова повести королевские войска. Не было уже ни Вишневецкого, ни Потоцкого, обоих унесла смерть.

Канцлер Лещинский не был легкомысленным человеком и не мог пренебрегать всеми этими беспокойными делами. Он договорился с королем о созыве местных сеймиков, перед тем как соберется всеобщий великий сейм в Варшаве. Для нового и решающего похода нужны были деньги, люди, а главное - надо было втолковать всем верным королю, что дело идет о судьбах державы, о таком, что может стоить жизни королевству.

Канцлер начал переговоры с ханом, убеждая его разорвать союз с Хмельницким. Но канцлер хотел, чтобы этот разрыв произошел не сразу, а был бы неожиданным ударом ножа в спину гетману. Пусть в будущей войне хан снова придет на помощь Хмельницкому и снова предаст его. Так будет вернее.

От имени короля канцлер дал хану согласие на то, чтобы татарские отряды в счет дани брали ясирь на южных землях короны, то есть в Поднепровьи, на Украине.

Канцлер рассчитал хитро. Пусть чернь озлобится против Хмельницкого, союзником которого - это всем ведомо - является татарский хан. И верные люди Лещинского уже ловко пустили слух, будто бы татар на южные земли призвал сам гетман, чтобы за это обеспечить их помощь себе. Но вскоре в Варшаве узнали, что Хмельницкий выдал универсал к населению южных земель с призывом покинуть свои дома, переселяться в Московское царство, а с татарами войны не вести, ибо сейчас он помочь войском не может...

...Когда король выдал указ о созыве сеймиков, на каждый из них, по приказу канцлера, были посланы грамоты. Их надлежало прочитать на сеймике и обсудить. В грамотах было сказано:

<Его королевская милость наш наияснейший король в свое время дал распоряжение подробно изложить в его инструкциях все то, что касается безопасности государства и что он полагал бы наипотребным обсудить на всеобщем сейме. Но уже после рассылки инструкции, из разных источников, заслуживающих полного доверия, получены новые предостережения касательно непродолжительности мира, заключенного с казаками. Соответственно этому его королевская милость считает необходимым довести означенные сведения до вашего вельможства.

Прежде всего то, что Хмельницкий отрядил своих послов в Москву - бить челом царю

Московскому и домогаться присоединения Украины к русскому царству. Недавно через Умань проследовал к Хмельницкому венгерский посол и вел там себя весьма надменно с нашими комиссарами. Проезжал также и мультянский посол. Но еще важнее то, что Хмельницкий выдал универсалы к населению Брацлавского воеводства, призывая посполитых терпеливо сносить зимой тяготы подданства и обещая еще до весны освободить их от власти панов. Еще подозрительнее то, что, после заключения мирного договора, у Хмельницкого было довольно времени для составления реестровых списков Войска Запорожского, а теперь он просит продлить срок до весны.

Из всех этих обстоятельств, ваши милости, легко можете представить себе, чего надо ожидать на весну. Это вскоре обнаружится, ибо, согласно с договором, казацкое войско после Рождества Христова должно перейти на ту сторону Днепра, что, вероятно, выполнено не будет. Итак, извольте, ваши милости, серьезно взвесить все эти обстоятельства, которые всякий раз подтверждаются из разных источников и которые на предстоящем сейме будут вам доподлинно доказаны, а ныне по-отечески сообщаются вам его королевской милостью, нашим наияснейшим королем.

Подумайте о безопасности Речи Посполитой и об организации войска, чтобы не пришлось заботиться об этом в последний час, и чтобы, избави от этого боже, Речь Посполитая, кровью добывшая себе мир, не пришла в разорение. Его королевская милость постоянно о том печется, и надо, чтобы и ваши милости подтвердили, что нисколько не уменьшилось ваше желание сберечь державу нашу и благосостояние отечества нашего, сотрясающегося от ударов.

По личному повелению его королевской милости - Ремигиан Пясецкий, правитель государственной канцелярии>.

...Впервые за много лет читали грамоту такого содержания на местных сеймах...

2

В тот год комета снова взволновала людей и вселила тревогу в сердца тех, кого беспокоили дурные приметы...

Шляхта возвращалась в маетки. Татарские загоны бродили по дорогам, делали наезды на села посполитых и почти совсем обезлюдили юг страны. Оставляя за собой пожарища, вопли и стоны поруганных и обиженных, гнали татары в неволю пленниц и пленников.

Тяжелые мысли терзали сердце Мартына. Великой неудачей окончилась баталия под Берестечком. Думалось: удержится ли на белом свете воля, так трудно добытая? Думалось: не станет ли гетман на сторону шляхты, не пойдет ли на поклон в Варшаву, а то, может, подастся за море искать милости у турецкого султана?

Последние месяцы Мартын все время был в дороге. Капуста, его начальник, гонял Тернового по всей Украине. Универсалы, грамоты, тайные приказы возил во все концы Мартын. Повидал свет. Наслышался такого, что и за неделю не разберешь: где правда, а где неправда?

К примеру, в Переяславе, когда ночевал у казацкого сотника Дериземли, Мартын слышал, как толковали между собою проезжие казаки:

<Гетману Хмелю теперь одна забота - как бы свое золото выручить. Под Белою он панам продался, кинул войско, а теперь собирается в Стамбул утекать. Шляхта саранчой движется на Украину. Время терять - опасность смертельная. Пока не поздно, надо всем в московскую землю податься>.

Казаки толковали между собою тихо. Мартын притворился, будто спит, но их речи долго не выходили из головы. Мартын хотел знать, - что бы там ни было, а он должен знать, - вправду ли оно так, как люди говорят? Вправду ли изменил гетман? Приехав в Чигирин и улучив минуту, рассказал о тех казаках Капусте. Полковник закрыл утомленные глаза, с укором покачал лысой головой:

- Плетут черт знает что.

Капуста успокоил Мартына, а про себя решил: надо послать верных людей в Переяслав, докопаться, кто там гетмана и его дело поносит. Горько усмехнулся. Разве до

всего докопаешься?

Между тем, множество посполитых шло на север. Старались пробираться малоизвестными дорогами, потому что был слух: гетманские дозорцы задерживают и возвращают всех в села. Скрипели давно не мазанные возы, ржали лошади, осенняя степь колыхалась перед глазами, как желтое море, где-то у края неба синеею стеною стояли густые леса Путивльского воеводства.

Там, у синей черты горизонта, лежала земля братьев, и туда текли, как текут ручьи весной, вливаясь в большую, многоводную реку, обозы посполитых, мужчины и женщины, стар и млад. Словно снялись с мест хаты по всей Украине и пустились странствовать.

Уманский полковник Осип Глух отдал приказ: на всех шляхах расставить дозоры, обозы, идущие по землям его полка, задерживать и возвращать на свои места.

Мартын Терновый прискакал в Умань с поручением Капусты. Сидел в просторной горнице, в богатом доме полковника. Хотя Осип Глух и не таковский был, чтобы казака сажать за свой стол, но служба Мартына в гетманской канцелярии, а тем более особое поручение Капусты, которое он привез, заставили полковника быть радушным.

Широкий в плечах, статный, Осип Глух угощал Мартына обедом. Служанка подавала кушанья.

Мартын видел, что хозяин не слишком рад его присутствию, но как будто имеет в виду кое-что у него выведать. Осип Глух щедро подливал гостю в серебряный кубок горелку, хотя сам пил мало и нехотя.

- Что же это Капуста пишет? - оскорбленно развел он руками. - Не чинить препятствия посполитым, пускай вольно в московскую землю идут... разве это дело?

Лицо полковника налилось кровью, он ударил кулаком по столу и в гневе поднялся на ноги.

- Разве это дело! - повторил он. - Посполитые оставляют села, хлеб стоит неубранный, жгут свои дома, все чисто с собой забирают. Не знаю, зачем такие приказы писать. А я своих дозорцев и дальше буду посылать, пусть возвращают всех назад...

- Куда, пан полковник? - перебил Мартын.

- Как это, куда? Известно...

- На растерзание Калиновскому или Корецкому или на ясырь татарам?

- А про татар, уж если ты такой разумный, у гетмана спроси, у Капусты разведай. Я ли их кликал, побей их нечистая сила... Да что говорить!

Глух замолчал, встревоженно поглядывая на Тернового. Может, что лишнее сболтнул. И, чтобы загладить свой промах, заговорил другим тоном:

- Известно, гетману тяжело, кто ж того не понимает? Но такое творится, что и сам дьявол рога свернет, пока уразумеет.

Мартын опустил голову. Он знал, что возразить полковнику, - да стоит ли? Пожалуй, нет! Решил сидеть молча, позволяя полковнику сделать относительно себя малоутешительный вывод, что <казак не больно толковый>. И Глух распоясался:

- Война-таки когда-нибудь кончится. Под королем будем, или под султаном, а на хозяйство руки нужны будут. Слишком много возмечтали о себе посполитые, все хотят казаками быть!.. Но не было такого и не будет! Надо ж кому-нибудь и землю пахать, и сукна ткать, и скот кормить, и сухомельщину платить! Земля сама подати не родит. Хватит и того, чего добились. Унии нет - и того довольно!

Глух, казалось, говорил сам с собой, уже не обращая внимания на Мартына. Видно, все это наболело у него, и грамота Капусты прорвала плотину молчания.

Мартын чувствовал, как подымаются в нем злоба и боль. Великое беспокойство наполнило сердце. Поблагодарил полковника за гостеприимство. Переночевать отказался. Выехал из Умани темной ночью, а мысли были еще темнее.

Выходило все не так. Еще недавно представлял себе: будет хорошая жизнь, прямая откроется дорога к счастью, будет воля одна для всех, и люди одной веры, братья родные, и вся Украина - одна для всех, все поля и степи, леса и реки, все города и села, вся отчизна,

которая так пышно растет под малиновыми стягами гетмана Хмельницкого... А что случилось?

Не мог забыть слов полковника Глуха: <Кто будет землю пахать, кто сухомельщину будет платить?> Ему все равно, что под королем, что под султаном... Лишь бы кто-нибудь чинш платил, лишь бы посполитые в селах, как псы на цепи, сидели... <Может, и гетман так думает? - промелькнула тревожная мысль. - Но нет! Не может того быть. А может?..> И это <А может?> уже не покидало Мартына и наполняло его сердце большой и неумемной тревогой.

...Так тянулись дни и недели. Смутные, загадочные. Все то, на что прежде не обращал внимания, все, что раньше мало беспокоило его, внезапно возникло и запечатлелось в памяти. Возвратясь из Умани, он чистосердечно рассказал Капусте о своей беседе с Осипом Глухом. Мартын ждал: Капуста осудит Глуха, рассеет сомнения. Но Капуста только смерил Мартына долгим, пронзительным взглядом и заметил:

- Длинный язык у полковника уманского, придется укоротить... - и ушел.

И это было все. А Мартын остался на пороге канцелярии, и в сердце его не растаяли сомнения, они даже стали еще ощутительнее.

Он был одинок на широком, бескрайнем свете, и никто не мог рассеять ужасающей пустоты вокруг него. Мать где-то скиталась по чужим людям или же давно умерла. Побратимов развеял ветер войны. Катря... К чему было вспоминать?..

Мысли эти терзали Мартыново сердце. Он не мог отделаться от них.

Сухая осень сменилась дождями. Небо, покрытое серыми тучами, низко нависало над Чигирином.

Гетман перебрался в Субботов. В Чигирине распорядились Выговский и Капуста. Под Корсунем Иван Золотаренко собирал новые сотни, и туда отправился обозный Тимофей Носач. В Виннице Иван Богун формировал новый полк. Шел слух: к весне гетман готовит войну. И еще был слух: едет новое посольство от турецкого султана - взять под свою руку гетмана и его войско.

Невесело было той осенью и в Чигирине, и в Белой Церкви, и в Виннице, и в Ямполе. Будто осенняя туча, ползла печаль по Украине, прикидала к потемнелым от дождя стенам селянских хат.

Что же дальше? Что будет?

Мартын бывал среди казаков, которые уже не скрывали своих мыслей и говорили полным голосом. И эти речи о воле, которую полковники гетмана готовы продать турецкому султану или же польскому королю, лишь бы себе выторговать шляхетство, находили отклик в сердце Мартына.

Уже не спяна в корчме, а так в какой-нибудь хате или на майдане все чаще и чаще раздавались выкрики:

- На что выбирали таких полковников? Даром, что ли, сабли при нас?

- Куда гетман свою совесть спрятал?

- Довольно терпеть!

Мартын уже не только слушал, а и сам порой участвовал в этих разговорах.

Малозаметный и верткий дозорец Гулька приметил Мартына. Как-никак, а Терновый состоял при канцелярии гетмана, ведомо ему было кое-что такое, о чем другим не надлежит и догадываться, и за ним надо присматривать. Гулька знал, чем можно услужить Лаврину Капусте. Словно ненароком, он нашептал полковнику про Мартына Тернового. Рассказал, о чем говорилось в шинках и на майданах, и, что говорил сам Мартын, даже чуть прибавил, считая, что в таком деле лишнее не повредит.

Капуста предупредил Тернового:

- Ты, сотник, будь осторожен. Не в свои дела вмешиваешься! Гетман есть гетман, полковник есть полковник, а казак - казак.

- Меня сотником назначили, - возразил Мартын. - Это правда...

- Что правда? - жестковато спросил Капуста.

Отступить уже нельзя было.

- А то правда, пан полковник, что хоть и назвали меня сотником, а сотни не дали, да и всюду такое случилось...

- Погоди, - перебил его Капуста, - что же случилось? Может, хватил ты лишнюю, вот тебе и случилось. Тебе все сразу на ладони подай - и чарку, и девку, и волю...

- Я за волю саблей рубился, а нареченную у меня татары замучили...

Губы Мартына дрожали, он весь трясся, как в лихорадке.

- Разве за то бились, за то с королем и шляхтой воевали, чтобы, сложив руки, смотреть, как снова ругается шляхта над простым народом. Да и свои... Старшина сала за шкуру заливает. Разве вы того не видите?.. Был я на той неделе в Вышгороде - полсела палками бито, насмерть замучено десять человек. <Кто, - спрашиваю я жинок, - такое надругательство учинил?> - <А кто, - говорят, - известно, свои казаки>. - <За что?> - спрашиваю. <А за то, что землю монастырскую, пустоши, между дворами делить начали>. Спрашиваю у них: <Кто приказал с вами такое сделать?> А мне ответ: <Универсал генерального писаря Выговского от имени гетмана>. Не первый день меня знаешь, полковник! Как отцу, говорю - тяжело мне. Спрашиваю, как отца: что ж оно дальше будет?

Капуста вялым движением поднял руку, провел по лицу, словно отгоняя сон. Усталость! Проклятая и ничем не победимая усталость опускалась на плечи. Видно, годы уже не те у него.

Терновый говорил правду. Но как объяснить ему, как сказать, чтобы понял: не все так легко делается? Жизнь - не сказка, не дума, которую поет лирник.

Капуста долго и терпеливо втолковывал Терновому. Но слова его ложились где-то рядом, Мартын его не слушал: у него было уже свое понимание событий, такое ясное и убедительное, что разговор с Капустой казался ему теперь лишним, ненужным.

- Слушай, Мартын, внимательно, - сказал Капуста, переходя на другое, - ехать тебе на этой неделе в Путивль. Повезешь письмо воеводе Петру Протасову. Письмо важное, отдашь в собственные руки воеводы. Иди, казак, отдохай. А в субботу на заре в путь-дорогу, и не мешкай там. Ответ взял и птицей сюда, в Чигирин.

Ушел Мартын от полковника ни с чем. Он готов был скакать в самое пекло, лишь бы кто-нибудь сказал ему, когда наступит конец мукам, когда настоящая воля взойдет, как солнце, над измученным краем. В тот вечер Мартын не пошел никуда, сидел в хате, где был на постое. Старуха-хозяйка пряла возле печи. В углу возились коты. На лежанке грел кости дед, накрывшись свиткой. На улице звучала песня, то нарастая, то затихая. Меся грязь, проходили рядами сотни. Мартын знал, что это Чигиринский полк перебирается в Субботов.

Дед на лежанке ворчал, жаловался:

- Поют, харцызьяки, отдохнуть не дадут, да и поют, пес их возьми, как коты в марте...

- А ты лучше пел в их годы? - отозвалась бабка. - Лежишь да греешься, а они, может, воевать идут...

- Воевать! - дед даже подскочил. - Чуешь, сотник, воевать, говорит старая! Ишь выдумала! - Он развел руками, точно ему не хватало слов, чтобы осудить замечание старухи, и снова мирно улегся на лежанке.

Через несколько минут он не выдержал и заговорил:

- Навоевались уже. Всех селян по миру пустили. Всех нищими сделали. Не слышан ли ты, казак, - дед хитро щурил глаза, - кто теперь у нас пановать будет?

Мартын не отзывался.

- Молчишь? - обиделся дед. - Не хочешь с дедом поговорить... В сорок восьмом все вы на язык ловкие были. Когда я сынов своих под хоругви гетману отдал, обещали и меня казаком сделать.

Дед замолчал. Бабка перекрестилась при упоминании о сыновьях и вытерла концом платка глаза. Она встала, засветила от печи каганец и снова взялась за пряжу.

Деду не молчалось. Ему очень хотелось вызвать Мартына на разговор. Но тот только слушал и ничего не отвечал.

- Молчишь - значит еще совести не потерял, - сказал он, снова поднимаясь на лежанке.

- Ты подумай, сынок, подумай, как мне, старому, жить. Вот перед пасхой платил я Потоцкому осып, а теперь кому плачу? Выговскому. Есть у меня вол - и опять-таки рогатое плачу тому же пану писарю Выговскому, ему же плачу и попасное за то, что пасется вол мой на его лугу. Намедни пошла старуха в лес желуди собирать, а ее дозорцы пана писаря за бока и говорят: <Не знаешь разве, чей то лес? Ты пану задолжала желудное>. Ах, пес тебя заешь, желудное! Слыхал?

- И чего ты раскричался? - вмешалась старуха. - Точно кура на насести, квохчет и квохчет. Паны полковники больше тебя понимают. Знают, что делают, потому им и перначи войско дало...

- Чтобы шкуру с нас драли? - дед вскипел, соскочил с лежанки, в одной длинной, до колен сорочке забегал по хате...

- Постыдился бы, Оверко. Точно сказился, тьфу! - старуха отвернулась.

Мартын улыбнулся.

- Ты успокойся, дедусь.

- Все теперь в один голос: успокойся и успокойся. Точно попами все стали. Послушай, казак, дай совет мне. У чужого спрашиваю, своих уже нет. Ты, видать, хлопец сердечный, дурного слова от тебя не слыхали. Так вот, доверяюсь тебе. Крест святой видишь, - дед размашисто перекрестил впалую грудь, на ней мотался на шнурке медный крестик. - Скажи, казак, может, и нам уже пора в московскую землю собираться? Лучше там попрем от старости, чем тут погибать под басурманами да шляхтой. Скажи, сынок.

Напрасно ждал дед Оверко совета от Мартына. Сотник молчал.

- Глухие. Немые все стали.

Да еще что-то ворчал, но Мартын не расслышал. Кряхтя, дед полез на лежанку, повернулся к Терновому спиной и больше уж ни о чем не спрашивал.

Мартын тяжело вздохнул и вышел во двор. Синий сумрак окутал город. Тут и там в хатах мерцали огоньки. В кустах ежевики шуршал беспокойный ветер, чуть дальше по улице, за кособокими низенькими хатками, Мартын привычно угадал широкий майдан, где светился яркими огнями гетманский дом. У края неба вдруг полыхнуло огнем, и затем оглушительно, один за другим, сотрясли тишину пушечные выстрелы.

На порог хаты выскочил дед Оверко, старуха выглядывала из-за плеча. деда.

- Что, война? - прокричал дед, точно Мартын был глухой и мог его не услышать.

- Пан генеральный писарь племянника женит, - сказал Мартын, - вот и стреляют.

- А, пес его заешь, слыхала, старая? Племянника женит, стреляет, а ты ему осып плати, видала? Лучше б порох для татар поберег...

- Ему татары свояки, - печально проговорила старуха. - Да иди ты в хату, а то застудишься, - и она изо всей силы дернула деда за свитку, так что тот перекатился через порог.

Брякнули двери. Мартын улыбнулся. Он оперся о столб, на котором когда-то висели ворота. Но ворот уже давно не было, и самый столб покосился. Мартын привалился к нему плечом. По улице ехал всадник. Ехал без седла, конь, видимо, не слушался ездока. Всадник, покрикивая, все направлял его на нужную дорогу. Немного погодя Мартын узнал голос Ивана Неживого. Тот поровнялся с Мартыном и остановил коня.

- Это не сотник Терновый тоскует тут, у ворот. А?

- Я, батько.

У Мартына потеплело на душе.

- Седлай коня, сынок, я за тобой...

- Я мигом... - Мартын опрометью кинулся в конюшню. Он быстро набросил седло, поспешно надевал сбрую. Настроение хозяина передалось коню, и тот нетерпеливо бил копытом.

- Сейчас, Султан, сейчас, - успокаивал его Мартын.

...И вот они с Неживым сидят в шинке. Тускло мерцают свечи в высоких медных подсвечниках. На столе в округлых медведиках ароматная, настоенная на калгане горелка, в

мисках сало, колбаса. Щекотный дух идет от квашеной капусты.

Иван Неживой наливает в кружки горелку:

- Выпьем, чтоб дома не журились.

Звякают оловянные кружки. От казацкого хохота никнет пламя свечей и странные тени шевелятся на стенах шинка. Шинкарь весело хлопает себя по груди, дивясь казакам, - как они хватски, одним духом, опрокидывают такие кварталы горелки...

- А тебе же лучше, - смеется Неживой, - больше заработаешь.

- Тоска меня взяла, хлопцы, - говорит после второй кварталы Неживой, вот и решил с молодыми погулять, не одному ж генеральному писарю нынче праздновать. Оно, правда, после берестечского позора какая гульба? Но живем один раз, так выпьем, ведь на том свете не дадут.

Мартын после третьей кварталы ощутил какую-то необычную легкость в теле. Рядом с ним сидел казак Степан Недригайло, напротив - Неживой и Семен Лазнев.

Текла беседа. Перебивали друг друга. Иван Неживой прислушивался. Седой оселедец спадал на его лоб. Капли пота залегли в бороздах морщин, годы вспахали их на высоком лбу. В чужой молодости узнавал свою, давно погасшую. Тоска и печаль охватили старого сотника. Казаки беседовали, а он думал о своем; о былых годах, отшумевших на Черном море, о службе на Запорожьи, о скитаниях на чужбине, в далекой Франции. Припомнил тот бой, когда во главе своей сотни он гнал до самого берега и сбросил в море, под Дюнкерком, хваленых испанских вояк под командой - как там его? - дона Фредерико Гарсиа Гонсалес. Здорово обесславил он тогда испанского генерала. Принц Конде со своей груди снял золотой крест и нацепил ему...

Молодо и громко звучали голоса казаков. Уже и по четвертой, и по пятой кварте выпили, уже новые штофы горелки ставил на стол шинкарь. Вот уже к столу, где сидит Иван Неживой с казаками, подсел чигиринский кузнец Максим Зализко со своим подручным - высоким, статным парубком Свиридом.

- Пейте, будьте гостями. Еще подкуешь нам коней, Максим.

Кузнец одним духом опрокидывает кварту. Свирид как будто не решается, вопрошающе смотрит на своего учителя.

- Пей, Свирид, - одобрительно кивает головою Иван Неживой. - Добрый у тебя, Максим, ученик. - Неживой хлопает Свирида ладонью по плечам. Знаменито мне саблю наладил.

- Ты только, Свирид, не того, много не пей, - у Максима уже заплетается язык, и он в силах только показать рукой на кварту.

Казаки смеются. Свирид хохочет во весь голос, но, встретив строгий, хотя и пьяный взгляд своего учителя, виновато склоняет голову.

- Вот, люди добрые, воины славные, видите этого отрока, - кузнец тычет пальцем в грудь Свириду, - второй год учу ремеслу, а он одно просит: <На войну пусти, дядько Максим>, - и все. Вы не смотрите, что на вид он смиренный... - И Максим начинает рассказывать уже известное всем, как Свирид убил стражника Янушкевича, как попал в Чигирин к нему, кузнецу Зализку.

- Не журись, Свирид, возьму тебя на войну. Есть нам еще, с кем воевать, - тихо говорит Неживой.

Семен Лазнев, потряхивая русым чубом, выкрикивает:

- Плюньте, братцы, айда все на Дон, туда и королю Яну-Казимиру, и султану ход заказан. Жизнь наша там...

- А ты, Семен, разве от хорошей жизни с Дона ушел?

Иван Неживой из-под косматых бровей по-отцовски смотрел на веселого донского казака.

- Ну да, батько, - согласился Лазнев, - известно, не от хорошей жизни, тоже от пана бежал, не понравился он мне. - Лазнев засмеялся.

- А ты ему? - спросил Мартын.

- Я ему? Вот об этом, Мартын, я не думал.

- Всех панов подковать - и над Днепром, и над Доном!

Кузнец Максим Зализко поднялся. Тяжелым, как молот, кулаком ударил по столу.

- Тише, дядько Максим, стол треснет, - дернул его за рукав Свирид.

- Отрок, не трожь! Я могу всех панов подковать. Это я говорю, кузнец Максим Зализко.

А кто со мной не согласен - выходи на середину! Отрок, стань рядом!

- Да, оставьте, дядько, - Свирид осторожно дергал Зализку за рукав.

- Отрок, не трожь! Гей, люди!

В шинке вдруг стало тихо. Говор умолк. Люди, сидевшие у прилавка и за столами, придвинулись ближе.

- Вы знаете, кто я? Нет! Не знаете.

- Да кто тебя не знает, Максим? - Неживой положил руку на плечо кузнецу и заставил сесть. - Народ тебя знает и уважает, Максим. А это великое дело - народ.

- А я говорю, - не успокаивался кузнец, - я говорю: народ еще мало знает нас, кузнецов.

А мы еще покажем народу...

- Не народу, - сказал Неживой, - ворогу ты покажи свою силу.

Мартын слушал. Хмель выветривался от этих правдивых слов, звучавших кругом. Из угла к столу казаков подошел человек. Всклокоченные волосы закрывали лоб, жалкая улыбка искривила губы, на плечах едва держалась рваная рубаха. Штаны подвязаны веревкой. Босой, переступал с ноги на ногу, точно пол горел под ступнями. Осмелев, еще ближе подступил к столу, и все, кто сидел на скамьях, как-то сразу обратили на него внимание.

- Поглядите, казаки, поглядите на меня, - голос человека, хриплый и глухой, бился о низкий потолок шинка. - Поглядите, рыцари: каков я есть? Что со мной сделали паны?

Он спокойно поднял рубаху, обнажил грудь. Казаки увидели две буквы, выжженные у него на груди.

- Х. П. - громко прочитал Мартын Терновый.

- Хлоп поганый - вот что это означает.

- Где это тебя, человеке? - спросил Неживой.

- На гуте*, в Межигорье. За то, что голос подняли против панов. Они нам вот что... - он ударил себя ладонью в грудь и закашлялся.

* Г у т а - стекольный завод.

Мартын налил ему горелки.

- Не могу, казак, печет, все выгорело, все нутро выдул вот на такие фляжки да на цапки для панов. Они это в заморские края везут, а мне огнем по груди: <хлоп поганый>. Вы тут о народе печалитесь, так я - народ, казаки. Я утек, а меня державцы по гетманскому универсалу могут назад воротить и пятьдесят киев дадут в спину, пятьдесят киев... Саблю бы мне твою, казак, да силу твою...

Мартын вздрогнул:

- Думаешь, мне не нужна?

- Я ничего не думаю, я только говорю - саблю бы мне.

Хлопнула дверь. Через порог переступили двое казаков в синих кунтушах, в серых, заломленных набекрень шапках.

- Дозорцы, - прошептал человек в лохмотьях.

- Садись сюда, - Неживой посадил его между собой и кузнецом. - Сиди, не бойся.

Дозорцы подошли к прилавку. Шинкарь, низко кланяясь, поднес им по чарке.

- А что, у тебя все как надо? - спросил усатый толстый дозорец, выпив водку и оглядывая корчму.

- Как полагается, вельможный пан.

- Да какой я тебе пан? Может, лазутчиков прячешь, может, королевские собаки тут шляются?

- Все свои тут, это я тебе говорю, - отозвался из-за стола Неживой.

- А кто ты таков, что так говоришь?

- Я Иван Неживой. Узнал, дозорец?

- Теперь узнал. Пошли, - обратился он к товарищу, - тут нечего делать.

Еще раз оглядев корчму, дозорцы вышли, хлопнув дверью.

- Видал? - спросил кузнец. - Слыхал? Дозорцы. А вы бы лучше в поле да лучше бы на панов сабли подымали...

- Э, Максим, и это дело нужное, - успокоил кузнеца Неживой. - Как звать тебя, человеке? - обратился он к беглому стеклодуву. - Да ты не бойся, говори.

- Иван Невкрытый.

- Ну вот, Иван, будь ты здоровее, взял бы я тебя в казаки, записал бы в свою сотню, а так что за воин из тебя - кожа да кости...

- Дай отлежаться, я тебе с гуты еще двести воинов приведу, таких, что не нахвалишься. Да дай мне до Хмеля добраться, я ему всю правду в глаза... а то ему полковники брехней взор затуманили, его именем универсалы рассылают. Ты скажи мне, казак, как мне к гетману Хмелю попасть?

Неживой молчал.

- Или, может, дороги к нему чертополохом позарастали?

- Хмель, Хмель... - задумчиво отозвался, точно про себя, Неживой. Что у тебя в голове, гетман?

...И казалось Ивану Неживому, что он знает, какие мысли в голове у гетмана. <Теперь, после поражения под Берестечком, когда уже хорошо видно, чью руку держит хан Ислам-Гирей, который подло предал казацкое войско, порвал договор, насмеялся над казаками, да и самого гетмана обесславил, теперь, - думал Иван Неживой, - гетман понимает, что одна надежда его посполитые, бездомные и голодные, кинутые на произвол судьбы>.

Вспомнилось Неживому, как год назад запел он песню про Байду на пиру, который устроил гетман в честь Осман-аги. Разве не гетман велел ему петь дальше? А Выговский рукой махал: остановись, мол, что делаешь, вражий сын?.. Ведь это гетман приказал: <Пой, Иван Неживой, пой!>

<...Полковники. А что полковники? - Неживой говорил сам с собой, не обращая внимания на то, что делалось кругом. - Полковникам свое разбогатели, все луга да леса себе прирезают. Над посполитыми, как шляхта, лютуют>. Мелькнула мысль - бросить все и податься на Дон. Можно было и так поступить, - но принесет ли это утешение, облегчит ли измученное сердце?.. Поговорить бы с Хмелем глаз на глаз, без всех этих Выговских да Капуст.

Сразу сердце обожгло другое: а как гетману одному с таким великим делом управиться? Татары, турки, король с королями, семиградский князь, немцы, шведы. Нет, сначала их, сначала их, а уж потом...

Неживой и не заметил, как заговорил вслух.

- Что потом? - спросил Мартын. - Что потом, батько?

- А потом, - продолжал Неживой, набивая табаком люльку, - потом, когда с ними управимся, тогда и своим панкам скажем: видели, как мы татарам да шляхте руки скрутили, видели?

- Пока солнце выйдет, роса очи выест, - отозвался Иван Невкрытый.

- Слабый дух у тебя, вижу, - укорил Недригаило.

- Был у меня дух, да весь выдул на фляжки да на цапки, - пошутил тот.

- Пойдите, люди... - Неживой попыхивал длинной обкуреной трубкой, еще не умерла правда на свете, есть еще у нас сабли острые да мушкеты добрые, и кони у нас борзые, и глаз зоркий. Так чего ж понурились, чего затужили? Гей, шинкарь, где ж твоя горелка?

Шинкарь опрометью кинулся к столу. Мигом наполнил кварты горелкой, подложил на тарелки колбасы и хлеба, но Мартыну уже не пило. Так и осталось без ответа то, что тревожило и мучило его. Он понимал, что и сам Иван Неживой не нашел этого ответа и,

может быть, для того и потребовал горелки, чтобы прекратить тяжелую беседу.

В тот вечер в шинке беглый стеклодув Иван Невкрытый кидал в сердца казаков, словно в жирный, поднятый пахарями чернозем, такие слова, которые, как зерна, должны были взойти добрым урожаем.

- Возьмите меня казаки: кто я был и кто я теперь? Был я посполитым у Вишневецкого, а сами знаете, что то за пан. Кат из катов. Сам сатана краше его. В сорок восьмом кинул я все, взял косу и пошел под хоругви Хмеля. Я под Корсунем шляхту бил, и под Замостьем, и на Пиляве отличился, а после Берестечка не попало мое имя в реестр.

Невкрытый задумался, замолчал, жадно перехватил раскрытыми губами воздух, который со свистом вбирала его грудь, и уже дальнейшие слова его были не криком, не жалобой, а скорбною исповедью.

- Не попало имя мое в реестр, и остался на свете Иван Невкрытый горьким сиротою. Куда податься? В свое село, за Горынь? А там для меня давно уже кол приготовил Ерема Вишневецкий. Осталось мне по миру итти. Послушал одного монаха, подался в Межигорье, на гуту Адама Киселя. Глянул, а там таких, как я, сотни, и все в войске побывали, да в реестр не записаны.

Рыжий немец, управитель Штемберг, за нас взялся. Только и слышно было от него: хлоп, свинья, смерд, быдло. Напихали нас в землянки, еще не рассвело, а уже будят, и только как стемнеет, тогда гонят спать. Пошел слух - воевода Кисель продает гуту нашему купцу, Гармашу. Думали, полегчает нам. Приехал Гармаш, собрал нас на майдане, поглядел, потолковал о чем-то с немцем, да и уехал, а на гуте все по-старому пошло. Только и всего, что немец-управитель злее стал. Видно, перед новым паном старается. Не стерпел я, поднял голос, начал просить хоть какой-нибудь одежонки да чтобы деньги платили, а управитель завопил: <Бунт!> И начали меня терзать. Да посчастливилось мне. Утек...

В шинке было тихо. Иван Невкрытый закончил горькую исповедь. Глубоко вздохнул.

- А почему гетману не сделать так: чтобы нам всем, вот тебе, старый казак, - он указал пальцем на Неживого, - и тебе, кузнец, и тебе, Свирид, и тебе, Мартын, и тебе, молодец с Дона, чтобы всем нам жилось по-людски, чтоб была своя хата, своя земля, чтобы знать, что похоронят тебя на кладбище, а не собаки где-нибудь при дороге кости твои сгрызут... Молчите, казаки? Зацепило? - вдруг злобно сказал он. - Язык отнялся? Потому правду я говорю, а вы тут о народе печалитесь. Сами в реестры попали да про народ и забыли, разве вам народ жалко? Брехня!

...Еще вспомнил Мартын, уже по дороге в Путивль, как после этих слов поднялся шум в шинке, кричал Неживой, кричал кузнец, стучал по столу кулаком, а Невкрытый сидел, понурясь, тихий, молчаливый, будто и не он поднял все это. Будто все, что говорилось, и не касалось его...

Волновалась трава вдоль дороги. Стоял погожий осенний день. За полями вставали на горизонте леса. Серое небо плыло навстречу Мартыну.

В Путивль пять дней дороги. За пять дней многое вспомнишь. И злое, и доброе. Мартын старался лучше не вспоминать. У него в мыслях все еще был тот вечер в шинке, в Чигирине. Ехал через опустелые села. Настежь распахнуты ворота. Ветер не нагибает гриву дыма над хатами. Мартын хлестнул и без того горячего коня нагайкой и поскакал галопом.

Ночевал в местечке Гремиславе, у дьячка. Старенький дьячок долго не давал спать, жаловался на дороговизну, на бедность, сулил страшные дела и все допытывался, к чему все идет и как дальше жить, точно сотник мог ответить ему на это. С радостью встретил Мартын рассвет, вскочил на коня и, провожаемый крестным знаменем дьячка, который стоял в воротах, вылетел на дорогу.

Уже недалеко от Путивля Мартын догнал длинный обоз. На телегах, поверх немудреного домашнего скарба, сидели женщины, дети. Рядом шли мужчины. По усталым, пыльным лицам ручьями струился пот. Мартын зорко оглядел обоз и, еще не спросив людей, куда они направляются, понял все. Он натянул поводья и сдержал коня. Белоголовый хлопчик лет десяти соскочил с воза. Подбежал к Мартыну и, задирая голову, спросил:

- Дядя, а чи не видали вы моего батьку Перебейбраму?

Хлопчик смело ухватился за стремя и добавил:

- Он под Берестечком короля воевал. Не видали, дядя?

- Не видал, сынок, не видал, - скороговоркой ответил Мартын. А что он мог еще сказать? Пошарил в кармане, нашел злотый и протянул хлопцу. Тот спрятал руки за спину. Женщина, с воза которой соскочил хлопчик, пронизала Мартына злым взглядом и закричала:

- А сядь ты на воз, горе ты мое! Еще успеешь милостыню просить...

Мартын съехал с дороги. <Вот оно, поражение под Берестечком>, подумал он горько. И нестерпимо захотелось ему узнать, о чем же думают люди, которые молчаливо и сурово шагают возле своих убогих пожитков, захотелось услышать из уст их, куда идут они и чего ждут от доли своей.

Было видно - люди устали и обессилены долгой дорогой. Мартын Терновый объехал обоз стороной, поровнялся с передним возом и спросил седого деда, который сидел с краю телеги, свесив ноги:

- Куда едете, дед, бог вам на помощь?

Дед пристально поглядел на сотника и отвел глаза в сторону, словно не слышал вопроса.

Скрипели давно не мазанные колеса. Разноголосый гул колыхался над обозом, тонко и пронзительно кричали дети.

Мартын оглянулся. Обоз был длинный, бесконечный. Далеко за оврагом подымалась пыль. Мартын, придерживая коня, ехал рядом с дедовым возом, ожидая ответа на свой вопрос. Но дед не выказывал желания удовлетворить любопытство казака. Он пристально глядел куда-то в сизую даль и только по временам презрительно косился на Мартына.

- Дед, почему молчишь, или, часом, недослышал, о чем спрашиваю тебя?

И сразу дед ожил. Вскипел. Будто кто-то подложил под него горсть углей, заерзал на телеге. Закричал высоко и злобно:

- Куда едем? А тебе какое дело? Чего вяжешься к горемычному люду? Может, не знаешь, что польское войско ничтожит селянское добро, бесчестит жен и детей, что снова гонят нас на панщину? Сколько народу татары в полон угнали? Об этом тоже не знаешь? Туча горя и нужды над краем нашим. А кто голос подымет - того на кол. Кому жаловаться? У кого помощи искать? В Чигирине, что ли? У Хмеля? Где та помощь? Одни слова пустые... Куда идем? Куда глаза глядят. В землю русскую идем, к братьям нашим!

- Одна вера у нас, одна доля! - кричал, замахиваясь кулаками на Мартына, дед. - Один бог и речь одна. Братья нас примут, не дадут в обиду ни шляхте, ни татарам, не то что Хмель. Все кинули дома свои, землю свою, урожай не собрали. Потому кинули, что воли не хотим потерять, веру свою на позор отдать. А ты, казак, чем на коне гарцовать, поезжай лучше к Хмелю, скажи ему: забыл гетман про народ, брезгует нами. А кто ему булаву дал? Мы дали...

Вокруг воза уже собралось много селян. Простоволосый хлопец в одной рубахе, без штанов, остановил лошадей. Обоз застыл на месте. Говор стих. Все прислушивались к крику деда.

Мартын не перебивал. Он знал, что надо сказать свое слово, но казалось ему, что в словах деда - и его, Мартына, боль, и его утрата. Сказать, что и его дом польские жолнеры с землей сровняли, что и его отца казнили на колу, а невесту татары в полон взяли и замучили? Сказать еще много другого, что наболело? А зачем? Разве словом залечишь раны? Слово порою - как соль. Еще больше язвит больное тело. И Мартыну захотелось сказать деду что-нибудь такое сильное и бесспорное, чтобы дед сразу замолчал и поверил: дальше так не будет. Но не успел и рта раскрыть, как за дедом заговорил селянин в высокой выгоревшей бараньей шапке. Он подошел к Мартыну, положил загорелую корявую руку на луку седла и, заглядывая снизу вверх в глаза сотнику, сказал:

- То горькая правда, казак, что дед говорит. Глянь на меня - и я казаковал в сорок восьмом году, может, слыхал про казака Нерубайленка, который у полковника Кривоноса служил, так вот он стоит перед тобою. Была, казак, у меня хата - пан забрал. Скотину тоже

взял. Дочку жолнеры обесчестили, жена, побитая панскими палками, вон там, на возу, помирает. Нет сил терпеть. Дальше еще горшее видится. Вот и решил кинуть все, и на русской земле спасенья искать. Скажи, побратим, что дальше будет, к чему идет?

- Снова быть войне, - проговорил тихо Мартын, но все услышали его слова, и вокруг стало еще тише. - Быть войне, други, - повторил Мартын.

Не следовало ему, гетманскому сотнику, открывать народу тайный замысел гетмана. Но решил сказать им. Охваченный тем же горем, что и эти встреченные им среди степей посполитые, знал он, что только такие слова погасят огонь недовольства в сердцах измученных людей, которые шли в русскую землю искать спасения от злой доли. И тогда они спокойно выслушают его и поймут, почему нельзя гетману сейчас облегчить их положение, помешать панам братья за старое и почему гетман не может пока порвать с крымским ханом.

Мартын заговорил отрывистым, неуверенным голосом, будто заставлял самого себя поверить в свои слова. Он глядел куда-то поверх людских голов, туда, на восток, где алело солнце, куда бежали, как реки, дороги с Украины в русскую землю.

И то, что там, у края неба, дороги скрещивались, точно реки сливались в одно море, и то, что там была земля, на которой жили братья, и то, что он вез грамоту гетманскую в ту землю, - сознание всего этого наполнило Мартына Тернового такой твердостью и силой, что речь его полилась совсем иначе. Казалось, сталь зазвенела в его словах. Люди, слушавшие его, стали понемногу подымать головы. Он уже глядел им в глаза, в утомленные, жаждущие людские глаза, в которых гаснущий огонек надежды мог вдруг разгореться неугасимым пламенем веры. И люди слушали его, раскрыв рты.

- Верьте мне, побратимы, - говорил он полным голосом, так, чтобы слышали все, - верьте мне - на все обиды ваши нет другой помощи, как только сломить наших врагов, панов, ляхов и татар. А если доля нас оставит, то положим перед врагами мертвые тела свои, не оставим им городов наших и сел, запалим наш край, богатый и щедрый...

- Хорошо говоришь, казак. Сколько годов тебе, сын? - спросил дед у Мартына.

- Двадцать третий миновал, дед.

- Невеликий век у тебя, а мудрости набрался и красно говорить научили... - дед хмыкнул в бороду, хотел что-то сказать, но Мартын гневным взглядом смерил старого и движением руки заставил его замолчать.

- Гетман наш хочет, чтобы не бесплодную службу несли мы, как раньше, ради чужой корысти. Не панам служить должны мы. Отвага наша достойна великих дел для народа нашего. Гетман хочет вызволить нас из неволи. Он с царем русским переговоры ведет, чтобы против короля и татар от него помощи получить, а ты дед, про Хмеля бог знает что несешь...

- Погоди, казак, не спеши. Доживешь до моих лет - ту же песню запоешь. Чего стали? - закричал вдруг дед на селян. - Рты пораскрывали, точно в церкви. Ему хорошо, - указал дед на Мартына, - сидит на борзом коне, одежда на нем панская, в реестр вошел, его отца и мать жолнеры на панщину не гонят, сестер татары в полон не берут, пусть болтает, а нам скорее в дорогу, нам не у кого защиты искать...

- Эй, дед! Рано ты мне приговор свой сказал. А слыхал ты про такое село Байгород?..

Глаза у Мартына загорелись, и с пересохших губ полетели горькие слова о несчастье, постигшем его. И когда он окончил эту вынужденную исповедь, дед соскочил с воза и протолкался сквозь толпу к Мартыну.

- Дай руку, казак, напрасно обидел тебя, не хотел. Видит бог, не хотел, а все то от горя и беды.

Толпа вокруг Мартына зашумела. Говорили все, перебивали друг друга, размахивали руками, толкались. Мартын тронул поводья. Конь бил кованым копытом шлях, пробовал дорогу, тихо, призывно ржал.

- Послушайте меня, люди, осядете на земле русской - своего края не забывайте. Когда придет время и услышите трубы гетмана Богдана, приходите дружно, как всегда было, под малиновые знамена...

Мартын дал коню шпоры. Галопом вынесся на шлях и вскоре исчез за серой пеленой пыли.

3

Путивльские воеводы Петр Протасов и Федор Хилков были озабочены. Этой осенью множество народа с Украины переходило в Московское царство. Шли обозами, целыми селами, шли семьями, шли в одиночку.

Пограничная стража переселенцам не препятствовала. Местные люди принимали их хорошо. Слушали рассказы пришельцев про обиды, нанесенные им шляхтой и татарами, сочувствовали, утешали. Иные оставались жить в русских селах и городах, иные шли толпой в леса или в степь и там ставили себе хаты. С дозволения воевод составлялись поселенные списки, но в местные реестры никого не вносили.

Петр Протасов не раз писал в Москву, запрашивал князя Семена Васильевича Прозоровского:

<Как велишь чинить с теми, которые рубеж переходят и стремятся под защиту высокой руки его величества государя нашего?>

Князь Прозоровский долго не отвечал, а затем гонец привез из Москвы грамоту: в ней воеводам путивльским приказывалось никаких препон людям, идущим с Украины, не чинить. Позволить им селиться в пределах воеводства, а также заохочивать их итти в южные земли.

...Мартына отвели в приказную избу - ждать, пока его позовут к воеводе. За длинным столом, забрызганным чернильными пятнами, сидели подъячие. Отроки в коротких кафтанах подавали им длинные листы бумаги, а от них брали написанные грамоты и относили в смежную горницу. Подъячие жаловались Мартыну:

- Нам от вас, казак, хлопот теперь не оберешься.

Сухощавый дьяк отодвинул от себя оловянную чернильницу и разгладил острую бородку.

- Беда просто, сколько дела!

- А почему? - полюбопытствовал Мартын.

- Месяц назад ваших людей перешло рубеж две тысячи, только списки составили, а теперь урядники стрелецкие доносят - еще пять тысяч...

- Не от хорошей жизни бегут.

- Известно, а нам докука.

Дьяк был недоволен. Мартын начал было ему объяснять, почему бегут люди, но его позвали к воеводе.

Князь Хилков сидел за столом. Перед ним лежали свитки бумаг, книги.

Кивнул головой на Мартынов низкий поклон, просверлил взглядом.

- Писаного ответа полковнику Лаврину Капусте не будет. Пишет, что ты слуга верный, потому скажу на словах. Ты сядь, - сказал воевода мягче и кивнул на стул у стены, - дело тайное, головой отвечаешь...

Мартын осторожно присел на краешек стула и напряженно слушал.

- Дело тайное, то, о чем бил челом Лаврин Капуста от имени пана гетмана, дозволено князем Прозоровским. Людям гетманским вольно итти через русский рубеж. Остальное будет в письме, кое уже везут послы. Понял?

Мартын даже рот раскрыл. Выходило... Но что выходило, подумать не успел, воевода ткнул пальцем, усмехнулся:

- Закрой рот, у меня в светлице мух нет. Бог миловал. Слушай прилежно. Стрельцы на рубеже поймали литвина, переодетого чернецом. В тайном приказе на допросе оный литвин показал: подослан он князем Радзивиллом разведать, не даем ли мы, по повелению его царского величества... - Воевода встал, словно в эту минуту на пороге появился царь, и Мартын тоже поднялся вслед за ним. Помолчав, воевода сел и продолжал: - ...не подаем ли мы помощь оружием гетману Хмельницкому. Оный литвин на другом допросе сказал: король Ян-Казимир выдал новый виц на посполитое рушение. Заруби на носу, грамоты о том

не даю, передашь полковнику Лаврину Капусте. А боле пока не ведаю. Уразумел?

Мартын хотел ответить. Нетерпеливым жестом воевода остановил его:

- Чина не знаешь! Много воли взяли при гетмане! Еще князь не позволил тебе говорить. Слушай дальше: людей, кои идут с Украины, велено князем Прозоровским селить кучно, - мужиков в глубь царства не пускать и, когда они потребны будут гетману, пропустить через рубеж назад. Понял?

Князь Федор Хилков остался доволен. Гонец Капусты - толковый парень. Слово в слово повторил все, что сказал ему воевода.

- Скажешь пану Капусте - как снег выпадет, у нас охота хороша, зело рад буду с ним на досуге побыть.

- Скажу, ясновельможный князь.

Мартын низко поклонился.

- Это по чину, - воевода довольно кивнул. - Ступай.

Мартын, кланяясь, отступил к порогу, вышел. Воевода хлопнул в ладоши. В проем дверей скользнула борода.

- Гаврилу!

Дверь скрипнула, и немного погодя дьяк, который жаловался Мартыну, переступил порог, держа в руке свиток бумаги.

- Списки готовы? Читай-ка!

Дьяк откашлялся, развернул свиток. Склонив голову набок, прочел гнусаво:

- Нынешнего года, месяца сентября, в день двадцать третий, били челом на вечное подданство тебе, государю, еще двести украинцев, имена и прозвища коих называем: Лукашко Кириленко с женою и тремя детьми, Павло Мрачко с женою, двумя сынами да матерью, Афанасий Стука без женки...

- Балда! - разгневался князь. - Что плетешь?

Дьяк качнулся от резкого окрика.

- Как пишешь? Афанасий Стука без женки... По кнуту спина соскучилась? Читай дальше, бочка!

Дьяк продолжал гнусавить долгий перечень имен, а когда список окончился, воевода приказал:

- Садись, пиши.

Пока дьяк устраивался, князь Хилков, опустив веки, поглаживал широкую бороду.

Выходило неплохо. Будут премного довольны им в посольском приказе. Может, фортуна улыбнется и дадут ему воеводство по краше. Надоели вечная докука и заботы. Покачиваясь с боку на бок, воевода сиплым голосом диктовал:

- <Государю и царю великому князю Алексею Михайловичу всея Русии холоп твой Федька Хилков челом бьет. Нынешнего, государь, года, дня двадцать третьего сентября, был у меня гонец от полковника гетмана Украины Зиновия Богдана Хмельницкого с грамотой, писанной собственною рукою гетмана, в коей спрашивается, угодно ли будет тебе, государь, позволить послам гетмана быть осенью сего года на Москве. И еще бью тебе челом и оповещаю на запрос, сделанный ране от твоего царского имени князем Прозоровским: почему-де растет число казаков, кои переходят рубеж твоего царства? Сталось это потому, что после Берестечкой баталии гетман коронный Калиновский с войском стал лагерем в Нежине-городе, и дальше разослал свои загоны по Заднепровью и за Десной. А литовское войско князя Радзивилла стало на Стародубовщине. Казачество сходит с тех сел и городов, куда идет войско коронное, бросает достояние свое, бежит на твои, государь, земли. А нынче отписал мне гетман Хмельницкий, дабы позволил я его селянам и казакам рубеж царства твоего, государь, вольно переходить, а я, имея на то дозволение твоим, государь, именем от князя Прозоровского, дал ответ словесный, что дозволение такое дал князь Прозоровский, а про тебя, государь, чтобы не было упоминания в переговорах, промолчал. Бью челом тебе, государь, учиню далее, как ты скажешь...>

Воевода склонился над письмом. Написанное надо было перечитать. Прочитал дважды.

Задумался. Головоломные дела творились на свете. Зевнув, перекрестил рот. Пора бы отдыхать. Но еще только наступала суета короткого осеннего дня.

4

Началось с того, что после бегства Ивана Невкрытого управитель Штемберг приказал дозорцам на ночь надевать на стеклодувов кандалы. Поступок Невкрытого был для хлопов плохим примером. Вечером дозорцы, став у ворот гуты, пропускали по одному, хватали каждого, кто выходил, за руки, быстро надевали кандалы и толкали кулаками в спину:

- Ступай, харцызяка, спать, теперь не сбежишь!

Но удалось надеть кандалы только на пятерых. Остальные, которых держали за воротами, увидев, что сделали с их товарищами, схватили дреколя и набросились на стражу.

С дозорцами покончили в один миг. Штемберг заперся в своем доме. Выпустил четырех лютых псов. Им поразбивали головы.

Стеклодувы опьянели от ненависти. Ломились в дом. Штемберг залез на чердак. Закрыв отверстие досками, надвинул тяжелый кованый сундук и сам упал на него, чуть дыша от страха и сжимая в руке мушкет. Шлепал губами, хватая ртом затхлый воздух чердака.

- Майн гот! Аллес, аллес!

Он понимал: чуда не будет. Стеклодувы разорвут его в клочья. Вот они уже бьют чем-то тяжелым в дверь чердака. Под Штембергом задвигался сундук. Управитель опрометью кинулся к оконцу. Выглянул. Внизу стояли стеклодувы. Заулюлюкали, как на паршивого пса:

- Слезай, дьявол! Слезай, а то живьем поджарим!

Штемберг выпалил из мушкета прямо в толпу. Увидел, как один пошатнулся, упал лицом наземь. Снова кинулся к сундуку. Под ним двигалось и гремело. Спасения не было. На что он мог надеяться? И все из-за этого проклятого хлопа с его диким прозвищем! И к чему было оставаться на гуте? Надо было, когда воевода продавал ее Гармашу, и самому убираться отсюда. А он еще готовился на весну привезти сюда из Франкфурта Амалию. Майн гот! Что же будет с Амалией? Кто расскажет ей, как погиб ее супруг? От этой мысли мороз прошел по спине. Нет! Он не должен погибнуть. Он снова кинулся к оконцу.

- Паны, я буду говорить...

Внизу злобно захохотали. Штемберг почувствовал, что он сходит с ума. За спиной затрещало. Он оглянулся. Сундук покачнулся и упал набок. В щели показалась рука. Штемберг выстрелил в нее. Рука, как скошенная, провалилась, но через миг появились еще руки. Штемберг не успел насыпать пороха на полку, как на чердак влезли стеклодувы.

Через несколько минут он качался на воротах гуты.

Бородатый мужик в лохмотьях спохватился:

- А где Омелько? Где есаул?

Но было поздно. Когда Штемберг бросился в дом, есаул Омелько побежал к конюшне. Вскочил на лошадь и, как бешеный, перемахнул через тын. Оглядываясь, нет ли погони, быстро добрался до Днепра и погнал коня знакомой дорогой на Киев.

- Бежим, хлопцы, - закричал бородач, - приведет есаул дозорцев, замучат нас!

- Не кричи, - вмешался Нечипор Галайда, - сделанного не исправишь. Будем ответ держать. Куда убежишь? Пусть сам Гармаш приедет, мы ему пожалуемся. Человек наш, не бесовской веры, он нам еще спасибо скажет, что того рыжего пса повесили.

- Скажет, обожди, такое скажет, что у тебя шкура на морде затрещит, сердито сказал бородач.

- А куда побежишь, Трохим? - спросил его Галайда.

- На Сечь! - отозвался Трохим.

- На Дон! - крикнул кто-то в толпе.

Некоторое время было тихо. Стояли босые на размокшей земле. Резкий ветер кидал в лица щедрые пригоршни дождя. Все происшедшее по-новому осветило каждому его судьбу.

Каждый пришел сюда, на гуту, своим путем, но всех пригнали сюда горе и нищета. Все носили в себе тяжкую, ничем не утолимую обиду. Только что плеснула эта обида через край. Но теперь люди начали понимать, что расправа над управителем может кончиться для них плохо. Ища оправдания для себя и для всех, Галайда неуверенно сказал:

- Кому ж не известно, что этот проклятый рыжий был душегуб? Ведь это по его приказу Нечитайла дозорцы в огонь толкнули...

Вспомнив дозорцев, все оглянулись и точно впервые увидели в дверях гуты убитых казаков. Стало еще тяжелее на душе. Надо бежать! Кто попроворнее, кинулся к конюшне.

- Стой! - завопил Трохим. - Стой! Будем держаться вместе. Некуда нам бежать. Пока до Сечи доберемся, всех нас переловят. Правду говорит Галайда, выберем старшего и будем работать, а Гармаш приедет, мы ему вс? скажем, - человек нашей веры, он поймет.

Сошлись на этом. Порешили остаться на гуте. Распоряжаться взялись Трохим и Галайда. Выставили стражу, похоронили дозорцев, хотели снять с ворот управителя, но решили: пусть висит, так лучше.

Наступила ночь. Сидели в землянках хмурые, каждого заботила одна мысль: что будет? Обойдется ли? Сердцем чувствовали: нет! Но вслух говорили другое, скрывая за задорными словами тревожное ожидание неведомого.

Уже перед рассветом, когда все, усталые и обессиленные, задремали, Галайда с Трохимом вышли к воротам. Молча стояли и смотрели на дорогу, исчезавшую за узкой полосой зары. Заговорил Галайда:

- А как начнет Гармаш расправу творить...

Трохим перебил:

- Ты ж говорил, он свой, поймет...

Ждал, что ответит Галайда. Тот молчал.

- Свой! - повторил Трохим. - Знаю я этих своих. Скажет: вера одна, а кошель порознь. Такие они все. Все, все чисто. Ох, думаю я, лучше было бы нам бежать! Да поздно, Галайда...

- А может быть... - сомнения всколыхнулись в сердце Галайды, и он больше успокаивал самого себя, чем Трохима: - может быть, уважат! Мы не разбойники. Мы и под Корсунем, и под Зборовом, и под Берестечком под гетманскими знаменами стояли. Край от врага защищали...

- Уважат! - злобно перебил Трохим. - Сто киев в спину, а может, и так... - и показал рукой на перекладину, на которой ветер покачивал управителя Штемберга.

Взошло солнце, снопами лучей отодвинуло серые холмы туч куда-то за горизонт. Ветер сушил лужи посреди двора. Казаков не было видно, хотя высматривали их зорко, чтобы не свалились внезапно на головы. Трохим, казалось, успокоился. Приказал разжечь печи в гуте. За работу взялись охотно, каждый решил: если приедут казаки, увидят, люди работают, - какой же это бунт?..

Галайда отпер замки кладовых, открыл двери. На полках длинными рядами стояли бутылки, штофы, высокие, диковинные бокалы, кружки, у которых ручки были в виде птиц, бесчисленное множество медведиков, лежали кипами листы оконного стекла. Галайда покачал головой. Люди будут пить из этих бутылей и кружек, веселиться, держась спокойными руками за эти ручки, глядеть на свет божий сквозь это стекло, а медведики, украшенные узорами, поставят на богатые столы в зажиточных домах, и никто и словом не помянет тех, кто эти фляги и медведики выдул своею грудью...

Он огляделся. Напротив, в гуте, пылали печи. Люди подбрасывали в чаны золотистый, искристый, как бы пронизанный солнцем, межигорский песок. Работали весело. Посреди двора, в котле на треножнике, варили обед.

Галайда вошел в гуту, стал на свое место, взял длинную медную трубку. Коренастый однорукий Петро поднес ему ковш с расплавленным стеклом...

Улучив минуту, когда Галайда отложил трубку, Петро прошептал ему на ухо:

- А может, лучше бы нам податься?

Галайда сделал вид, что не слышит. Петро не унимался:

- Говорю, может, лучше податься? У Гармаша рука крутая, я этого харцызяку знаю!

- Поздно, да и некуда, - ответил Галайда и взялся за трубку.

- А может, всем нам, разом, - не успокаивался Петро, - в Чигирин податься, к гетману? Галайда взглянул на однорукого.

- Вот так всем вместе стать перед ним и сказать: измучились мы, гетман, в реестр мы не вписаны, на землях наших королевская шляхта села, работа - горше неволи турецкой.

Однорукий говорил горячо, точно гетман стоял перед ним и внимательно слушал...

...Есаул Омелько прискакал к Гармашу в его киевскую усадьбу под Печерском среди ночи. Ввалился в дом.

- Беда, пан! Бунт! Дозорцев перебили, Штемберга...

Есаул говорил, а у самого была своя мысль: хорошо, коли Штемберга кончили. Давно тешился Омелько думкой - самому стать управителем...

Гармаш сперва ничего не понял. Через несколько минут все стало ясно. Разбудил сына Дмитрия. Совещались, сидя в столовой на высоких венских стульях. Гармаш купил этот дом вместе с мебелью у польского шляхтича. Теперь он уже и не заглядывал в Чигирин. Этот год удачливый был для купца. В Киеве у него были две оружейные мастерские, да еще одна мебельная, за Днепром - усадьба, гута в Межигорье... И вот вдруг - на гуте бунт.

Сидел в одних исподниках, опершись локтями о стол, подробно расспрашивал есаула. Гармаш во всем любил порядок. Когда, как, где, сколько, почему? Омелько стоял, прислонившись к притолоке, сесть без дозволения не осмеливался. Все рассказал - и о том, как Иван Невкрытый просил Штемберга, чтобы добрую пищу давали (тут Омелько постарался выставить Штемберга в худом свете), и о том, как Ивану Невкрытому выжгли, по приказу Штемберга, на груди разбойничьи клейма. Не преминул закинуть словечко о том, что Штемберг по воскресеньям возил неведомо куда стекло с гуты, и дальше рассказал обо всем, как было...

Гармаш понемногу успокоился. Однако с самого утра метнулся в Киев, к полковнику Мужиловскому. Силуян Мужиловский еще почивал. Гармаш сидел на крыльце, нетерпеливо постукивая палочкой по сафьяновым сапожкам. На цепи лениво побрехивал заморский пес. Служанки в запасках, покачивая бедрами, мелко стучали червонными сапожками на высоких каблуках, бегали из дома в кухню, стоявшую в глубине сада. Наконец Гармаша позвали. Мужиловский сидел за столом. Незнакомый запах напитка в серебряной кружке, от которой шел пар, зашекотал ноздри.

Гармаш низко поклонился. Мужиловский милостиво протянул руку - все пальцы были усыпаны перстнями. Купец пожал ее обеими руками.

- Горе, горе! - заторопился он.

- Всюду горе, - философски утешил Мужиловский.

Он недавно возвратился из Субботова. Три дня, проведенные у гетмана, были заботны и мало приятны для него. Теперь в Киеве хотел отдохнуть. Об этом только и думал. Вскоре должны были развернуться такие события, что об отдыхе и мечтать не придется.

Мужиловский густо намазывал масло на ломоть паляницы, откусывал, запивал ароматным напитком и вытирал тонкие, закрученные кверху усы белоснежным платком.

Гармаш отметил: надо будет и ему поступать так же.

- Осмелюсь спросить, что это за напиток потребляете, пан полковник? не удержался он. Решил: о гуте заговорит потом. Гута не убежит, а так будет лучше. Полковник - человек шляхетный, сам гетман с ним уважителен...

Мужиловский улыбнулся.

- Напиток сей прозывается - кофе. Добывается из зерна, похожего на наш желудь, и оный напиток весьма ценят в заморских краях, особливо в Туретчине. Когда был в Стамбуле, закупил такого зерна довольно. Ведь тут не добудешь ни за какие деньги.

- Почему же, пан полковник? Может, и я, если ваша ласка, куплю для торговли таких зерен...

Полковник хлопнул в ладоши. Выскочил из-за двери слуга в красном бархатном

кунтуше:

- Кофе пану Гармашу.

- Слушаю, ясновельможный пан. - Слуга поклонился.

Принес в серебряной кружке кофе. Гармаш хлебнул сразу. Горячо! Обжег язык, горло, кое-как проглотил. Слезы выступили на глазах. Горько во рту. Захотелось сплюнуть, но вместо того благодарил и восхищался:

- Знаменито, весьма знаменито!

Полковник позавтракал. Прошел с Гармашем в соседний покой. Гармаш все оглядел внимательно.

На столе лежали книги в кожаных переплетах. Поближе к краю стояла золотая чернильница в виде пушки, возле нее стакан со связкой гусиных перьев. В мисочке золотился песок.

Полковник сел в кресло, положил ногу на ногу, скрестил на груди руки. Слушал.

Гармаш начал. Где же конец своеволию? Рассказал про гуту. Как дальше быть? Понятно, когда с польскими панами так поступают посполитые, а то свой на своего руку подымает. Полковник молчал. Слуга принес трубку. Мужилковский закурил. Гармаш не переносил табачного дыма и украдкой отгонял его легким взмахом руки. Просил у полковника казаков. Надо, чтобы какая-нибудь сотня заглянула в Межигорье. Надо пострашать бунтовщиков. Только бы пан полковник помог, а на счет благодарности пусть не изволит беспокоиться.

Мужилковский молчал. Сквозь облачка табачного дыма поглядывал на Гармаша. Этот купец на его глазах созрел и налился, как арбуз. Год-два назад был простой чигиринский мещанин. Война ему только на пользу пошла. Острая неприязнь к Гармашу шевельнулась в Мужилковском. Подумал о нем: похож на паука. Ну да, чистый паук. Даже усмехнулся.

Усмешка обидела Гармаша. У него горе, какой же тут смех? Гармаш повторил: <Сотню казаков - и снова будет порядок, а то дай этим хлопам волю!..>

<Сам недавно был хлопом>, - сказал про себя Мужилковский, но тут же задумался. Вправду, дай им волю! У него за Днепром тоже были маетки. Там тоже полного спокойствия не было. Кто знает, какую песню запоют его посполитые через месяц? Гармаш прав. Бунт - вещь недопустимая сейчас. Народ должен быть един. Вспомнил слова гетмана: <Зажав всех в кулак, готовиться к новому бою...> Он отложил трубку.

Гармаш давно замолчал. Ждал доброго слова. Мужилковский поднялся. Подошел к окну. Поглядел на площадь. В комнату, донесся звук трубы. Гармаш тоже выглянул в окно.

Площадь мигом заполнилась конными людьми. Впереди на сильном жеребце скакал нарядный всадник с саблей на боку. За ним трое трубачей, и еще много всадников. Кавалькаду замыкали слуги, держа в руках концы сворок, на которых бесновались охотничьи псы. Охотники свернули на улицу, но воз с тыквами, запряженный волами, загоразивал им дорогу. Всадник с саблей повелительно крикнул. Несколько слуг подбежали к возу, навалились на него сбоку и опрокинули в канаву. Дядько, сидевший на возу, скатился вместе с тыквами. Кавалькада ускакала с веселым хохотом.

- Гуляет пан Тикоцинский, - тихо проговорил Гармаш.

Мужилковский отошел от окна и снова сел в кресло. Он не ответил на замечание Гармаша. Заговорил значительно:

- Ищешь у меня помощи, а хозяин - видишь, кто? Вот этот шляхтич Тикоцинский. Видишь, как ведет себя. Хозяин - и все. Скоро и на мой двор наезд сделает. Это ведь тебе, Гармаш, не после Зборова, а после Берестечка...

Замолчал. А про себя думал: <Дать сотню казаков Гармашу можно. Даже нужно>. Но рассудок подсказал иное, бесспорно более правильное и важное. Ну, хорошо! Приедут его казаки. Хлопы на гуте кто? Такими же казаками были до Берестечской баталии. Спросят: чья сотня приехала? Мужилковского. Слух пойдет. А там до Чигирина дойдет. Мол, посмел расправиться без универсала на послушество. Хоть Гармаш такой универсал и добудет, но ведь придет время, случится Мужилковскому вести новые полки... Посполитые не забудут

обиды... Конечно, Гармашу нужно помочь. Но как? И вдруг осенила мысль. Мужилковский начал издали. Гармаш должен понять: Киев - город со своим градским правом, гута, по градскому праву, не подлежит вмешательству военных сил. Правда, будь гетманский универсал на послушество, дело можно было бы еще как-нибудь уладить и он оказал бы помощь Гармашу, но так, без универсала, - хлопотно и не дозволено.

Гармаш почти завопил. Что с того, что градское право? Гута - не цех, работные люди на гуте - не мастера, а если они бунтуют и убивают без суда, кто им на то право дал?

Мужилковский переждал, пока Гармаш выпалил все свои возражения, и, поглаживая чисто выбритые щеки, продолжал спокойно свою мысль. Конечно, он сочувствует Гармашу и даст ему добрый совет. Пусть Гармаш обратится к полковнику кварцяного королевского войска, Тикоцинскому, тот поможет. Или Гармаш может обратиться к городскому войту.

- А какие же права у войта, разве пан полковник того не знает? Посмешище, а не войт.

Мужилковский пожал плечами. Что ж, остается, значит, Тикоцинский. Про себя подумал: <Пусть-ка шляхтич вмешается в это дело>. После Белоцерковского договора кварцяное коронное войско стояло в Киеве, в его обязанность входило, прежде всего, следить за порядком в Киевском воеводстве. По трактату это должно было означать защиту законных прав населения, охрану его имущества и его самого от наездов. А гетманские казаки должны были оказывать в этом помощь кварцяному войску.

На деле же кварцяное войско занималось тем, что помогало шляхте возвращать свои маетности. Мало-помалу воеводство стало заполняться шляхтой, которая довольно долгое время сидела за Вислой.

Силуян Мужилковский, решив не вмешиваться самому в дело Гармаша, поступал осмотрительно, с тонким расчетом. Он был уверен, что Тикоцинский, этот кичливый и жестокий шляхтич, охотно поможет Гармашу, особенно если тот подкрепит свою челобитную звоном золотых талеров. Мужилковский не сомневался, что гута будет приведена в покорность ее владельцу. А, вместе с тем, здесь достигалась и другая цель: пусть кварцяное войско еще раз зальет сала за шкуру посполитым, пусть!..

...Полковник Мужилковский дал хороший совет. Гармаш убедился в этом спустя какой-нибудь час. Правда, хлопоты стоили ему немало золотых талеров, но пан Тикоцинский, небрежным движением швырнув в ящик деньги, которые, как он пояснил, нужны были на расходы по карательной экспедиции, ударил кулаком по столу, сверкнул глазами и, выдвигая саблю из ножен, обещал Гармашу расправиться со схизматиками как следует.

Он не пригласил Гармаша сесть, вел себя с ним надменно, подчеркивал каждым словом, что тот низшее существо, но зато твердо и непоколебимо обещал помочь:

- Слово шляхтича, прошу пана, как скала.

Неприятно похохатывая, оскалив острые зубы, Тикоцинский с злорадным удовольствием отметил, до чего довели порядки Хмельницкого, если хлопы так распустились...

- Ясновельможный пан изволит говорить святую правду. - Гармаш почтительно склонил голову перед Тикоцинским.

- Погодите, я этому быдлу задам перцу.

От обхождения Тикоцинского Гармашу было не по себе, - чего доброго, пан шляхтич мог приказать своим жолнерам отколотить палками и самого купца. Но в эту минуту Тикоцинский снова захохотал и уже первые его слова успокоили Гармаша:

- Вот видите, пан негоциант, - Гармаш, довольный таким обращением, чуть не растаял в улыбке, - все идет по-иному, когда имеете дело с шляхетными особами. Неужели вы действительно поверили тому схизматику Хмелю, будто он способен обеспечить спокойствие и неприкосновенность собственности? Чем он приведет в подчинение хлопов? Да его самого посадят на кол!

Тикоцинский вскочил на ноги. Он уже не мог удержаться, много неприятного вспомнилось сразу - и Корсунский позор, и Пилявская баталия, из которой он сам едва

выбрался, переодетый в женское платье, и все штучки шпионов Хмеля в Варшаве, под самым его носом (ведь он их так и не нашел, за что и был удален от двора и лишен звания королевского маршалка). И вот, наконец, за все обиды, пришла радость победы под Берестечком. Подрезали крылья Хмелю, а скоро и голову, как паршивому петуху, свернут.

- И кто хочет спасти жизнь... нет, не хлопы, не быдло, а вот такие люди, как пан негодичант, - ораторствовал Тикоцинский, - те пусть не связывают свою судьбу с Хмелем, который изменил королю и теперь тщетно изворачивается, надеется на царя московского. А царь сидит в Москве и сам нашего ясновельможного короля боится, - захотели и держим Смоленск. Напрасно надеется Хмель. Еще будем из его шкуры веревки вить!..

Пан негодичант может идти. Завтра на рассвете он, Тикоцинский, сам выедет с жолнерами на его гуту. И если он хочет увидеть, как пан Тикоцинский, словно волшебник, обращает гулятьев в овечек, то пусть примет участие в этой прогулке.

Гармаш, успокоенный и в то же время озабоченный, ушел от Тикоцинского. А тот, оставшись наедине, несколько обеспокоился. Не сказал ли он, разгорячившись, чего-нибудь лишнего этому купцу?

Польный гетман Калиновский, посылая Тикоцинского с жолнерами на постой в Киев, предупреждал: главная цель будет заключаться в том, чтобы найти все нити, связывающие Хмеля с Москвой. Надо было, после казни шляхтянки Елены и убийства казначея Крайза, поставить новых людей, убрать Капусту, а главное - добыть письма Хмеля к царю московскому. Вспомнив обо всех этих деликатных дипломатических обязанностях, Тикоцинский почувствовал себя неловко за то, что так разоткровенничался перед хлопским негодичантом.

<Дьявольский характер, - корил он сам себя, - предупреждал ведь меня коронный гетман. Черт бы побрал этого Гармаша с его гутой. Впрочем, что ж я сказал такого? Ведь о самом главном, об указе короля на посполитое рушение, промолчал. А мог бы! Вырвалось бы - и тогда конец...

Поздно вечером Тикоцинский имел удовольствие, беседовать с ксендзом Бжозовским. Святой отец ехал в Варшаву. Он долго и неторопливо наставлял Тикоцинского. Девиз полковника должен быть: осторожность и еще раз осторожность. Хмель - хитрая лиса. Даже сам его святейшество папа предупреждает о том. С этим лютым врагом католичества надо покончить, но сделать это не так просто.

Принесли венгерское. Зажгли свечи. За ставнями гудел ветер. Слуга разжег в камине огонь. Сидели в низких, удобных креслах перед камином, погрузив ноги в пышный медвежий мех. Это уже было хорошо, вспоминали - год назад они бы так привольно не сидели. Тикоцинский пошутил:

- Тогда было после Зборова, а теперь после Берестечка.

- О, берегитесь, чтобы не настал второй Зборов!

Тикоцинский пробовал возразить, но ксендз не дал:

- Зверь притаился, ушел в чашу, но он острит клыки. Ждет удобной минуты, чтоб вгрызться в горло Речи Посполитой. Великое зло задумал Хмель - перейти в подданство царю московскому. Сию землю, сей сказочно богатый край, коему самим богом начертано быть под тиарой папы, схизматик Хмельницкий задумал оторвать от королевства. Он знает: если объединится с Москвой - Речь Посполитая не страшна ему. А для нас допустить такое было бы грехом перед святою верою нашей.

Улучив минуту, когда ксендз замолчал, Тикоцинский спросил:

- Как митрополит схизматиков?

- Есть сведения, что он будет мешать замыслам Хмеля. Его мало радует возможность попасть в зависимость от русского патриарха Никона. У митрополита немалая казна и маетности. Они могут понравиться московским попам, а мы уже намекали Сильвестру Коссову, через бернардинцев, что, в случае, если его деятельность будет полезна нам, он может об имуществе не беспокоиться.

- О, это большое дело, святой отец!

- Но представьте себе, сын мой, что на его попытку примирить Хмельницкого с королем схизматик Хмель ответил ему: <Твое дело - молиться, мое - мирские дела вершить, так вот молись и о мирских делах не заботься>.

- Ах, схизматик, пся крив, ему-таки нельзя отказать в нахальстве!..

- В разуме, пан Тикоцинский, в разуме! Наша общая ошибка, что мы видим в нем только нахальство. Тем-то он и опасен, что умен. Возьмите во внимание - он не один действует, а всех хлопов поднял, в случае войны вся Украина станет под его знамена.

- Теперь не станет, святой отец! - с жаром воскликнул Тикоцинский. Теперь, когда так удачно распределены кварцяные войска, иное дело. Едва только наш король выдаст указ о посполитом рушении и коронный гетман ударит на Хмеля с запада, мы всадим ему нож в спину, мы это сделаем как следует. Верьте мне, пан отец!

- Но это надо сделать, пока он не объединился с московитами, сделать как можно скорее и хорошо подготовиться к этому, - заметил Бжозовский. Сам святой папа заинтересован в том, чтобы ускорить конец Хмельницкого и всей его голытьбы.

Еще долго наставлял ксендз Тикоцинского, и полковнику казалось, что святой отец слишком уж преувеличивает опасности. Он уже не с таким интересом слушал сентенции ксендза. Чтобы перевести разговор на другое, рассказал о Гармаше. Ксендз одобрил решение.

- Надо найти общий язык с зажиточными хлопами. От этого многое зависит. Но там, на гуте, тоже надо сохранять осторожность. Порою лев должен походить на ягненка, - ксендз впервые за весь вечер улыбнулся, чтобы потом неожиданно показать свои когти... Кстати, и в Киеве надо вам укреплять свои позиции, пан полковник. Войт человек рассудительный...

- О, я с ним уже столкнулся, он очень недоволен казаками... и Мужиловским.

- Этого Мужиловского хорошо бы приручить.

- Невозможно, пан отец. - Тикоцинский пригубил бокал, вино было терпкое и щипало язык. - Венгерские вина, пан отец, по-моему, наилучшие.

Ксендз удивленно поглядел на Тикоцинского. И такому легкомысленному шляхтичу коронный гетман поручает важные дела? А тот, догадавшись, что упоминание о вине было неуместно, смешался. Поспешно сказал:

- Покорно прошу напомнить коронному гетману, дабы ускорил присылку сюда немецких рейтар. Хорошо бы, если бы до первого снега они уже были здесь.

Ксендз кивнул головой.

- Вы о Мужиловском подумайте, сын мой! Человек просвещенный, имеет знакомства при императорском дворе, люто ненавидит нас, и Хмельницкий весьма его уважает. Он у него первый дипломат. Ездил в прошлом году в Москву. От него многое узнать можно.

- Пробовал, - развел руками Тикоцинский. - Больше молчит. Скажет за час одно слово - и то хорошо.

- Пытайтесь, сын мой, весьма советую приложить все усилия. Это было бы великое дело.

- Может быть, через Выговского попытаться склонить этого отъявленного схизматика?

- Напрасная будет попытка, сын мой. Выговский с ним, как два медведя в одной берлоге. К тому же генеральный писарь теперь на подозрении у Хмельницкого. Лучше его под удар не ставить, он еще нам пригодится.

...Ночь зажгла в темном небе зеленоватые огни звезд. Сырой туман полз от Днепра. Подол, повитый мглой, колыхался, как марево.

На Печерске, в палатах митрополита Сильвестра Коссова, окна были ярко освещены. У митрополита был в гостях Силуян Мужиловский. Коссов, одетый в широкую черную рясу, ходил по горнице, говорил взволнованно и много.

Наклонившись над столом, Силуян Мужиловский молча слушал.

- Бог свидетель моему искреннему отношению к гетману, - говорил митрополит. - Я дал ему мое благословение, когда он начал великое дело во имя веры. А что с ним теперь случилось? Не пойму! От встречи со мной уклоняется. Посполитые обиды чинят мне. На

митрополичьих землях универсалам гетмана не подчиняются... Более того, стало ведомо мне от одного гетманского державца (<Уж не от Выговского ли?> - подумал Мужилковский), что гетманом говорено: <Универсалы пишу для виду, а перышки у Коссова пощипайте>. Богомерзкие слова! Неужели мог такое сказать гетман?

Коссов поглядывал на Мужилковского. Ожидал - быть может, от него услышит о замыслах Хмельницкого.

- Не верю, чтобы гетман мог придать значение всяческим сплетням (<Выходит, ты все-таки задумал что-то>, - усмехнулся про себя гость). Но как дальше жить? Шляхта, как поток, снова заполонила Киев. Гетман в Москву посольство шлет, а со мною, митрополитом, не советуется. Послал ему письмо, так вот что он отписал, гляди.

Митрополит подошел к шкафу, взял с полки сверток пергамента, развернул, ткнул пальцем.

- Видишь, что написано? Читай вслух. И не стыдно ему?

- <Грамоту твою, - читал неторопливо Мужилковский, - тебе возвращаю, ибо именуешь меня, митрополит, недостойно моего сана. А надлежит тебе именовать меня: <земли нашей отец и повелитель>.

- Да, рука гетмана, - подтвердил Мужилковский.

- Его, а то чья ж? Не Выговский писал!

Может быть, когда-нибудь, в другое время, Мужилковский посочувствовал бы митрополиту. Но теперь нет. Он будет молчать и слушать. И когда митрополит снова заговорил о московских делах, Мужилковский понял, куда он клонит.

- Должен ведь гетман меня, владыку церкви православной, спросить? Должен?

Полковник от ответа уклонился. Коссов грустно покачал головой. Неизвестно для чего, сказал:

- Я Могиланской печатне приказал начать печатать жизнеописание гетмана и его благословенных походов за веру, а он... бог видит правду. Бог свое слово скажет...

Мужилковский склонил голову в знак согласия.

Так и не вышло толку из этой беседы. Митрополит понял: от Мужилковского он ничего не добьется.

Полковник возвращался домой в карете. Конная стража скакала по бокам. В последнее время без стражи Мужилковский не ездил. От жолнеров Тикоцинского всего ожидай.

В мыслях его был Коссов. Как это он сказал? <Не Выговский писал>.

- Не Выговский писал, - громко повторил Мужилковский.

Джура, дремавший напротив, проснулся:

- Чего изволите, пан полковник?

...Силуян Андреевич Мужилковский был человек уравновешенный и дальновидный. Таким знала его вся старшина, и, может быть, именно за эти качества уважал его гетман.

Не чувствуя большой склонности к воинскому делу и убедившись, что настоящим полем его славы должна быть дипломатия, тем более, что на этой почве он уже достиг известных успехов, Силуян Мужилковский еще в начале 1649 года упросил гетмана освободить его от военных полковничьих обязанностей. Тот охотно согласился. В знак особого уважения к Мужилковскому гетман оставил за ним звание полковника реестрового войска. Это уважение, которое Хмельницкий не раз подчеркивал, было вполне заслужено умным и талантливым дипломатом.

Мужилковский в своей деятельности придерживался того правила, что лучше иметь поменьше друзей и лучше молчать и слушать, чем говорить. Пожалуй, один только начальник тайной канцелярии гетмана, Лаврин Капуста, пользовался доверием дипломата. Многие близкие к гетману лица именно за эту сдержанность не любили Мужилковского, считая его заносчивым и высокомерным. Но он бесстрастно принимал как хорошее, так и плохое отношение к себе.

События последних месяцев очень опечалили дипломата. И верно, было от чего поддаться тревогам. Теперь, после битвы под Берестечком, после Белоцерковского

перемирия (именно перемирия, а не мира, - Мужилковский всегда подчеркивал это, к неудовольствию генерального писаря), настала наиболее сложная и наиболее опасная пора.

Гетман должен был сейчас вести исключительно тонкую и умную политику. Надо было суметь расставить свои силы так, чтобы вскоре еще раз подняться с оружием против короля и окончательно выйти из-под протектората Речи Посполитой. Иначе панская интервенция угрожала самому существованию народа.

Спасение для Украины Силуян Мужилковский видел в одном: в присоединении ее к Московскому царству.

В этом он совершенно сходил с гетманом. Не раз в последние дни пребывания Мужилковского в Субботове они с глазу на глаз обсуждали это дело.

Тогда, откинув все недомолвки, Силуян Мужилковский сказал гетману прямо: нужно, чтобы царь прежде всего обещал неприкосновенность имущества и положения казацкой старшины, даровал ей права на наследственное владение маестностями и доходами с них.

Гетман не возражал против этой статьи в предстоящих переговорах.

- Но не с нее начинать, не в ней дело, - сказал он Мужилковскому, главное в том, что народ стремится к объединению с Москвой, - он тогда весь станет под наши знамена. И народ поведет такую войну со шляхтой и татарами, что самому небу будет страшно.

Мужилковский не мог не согласиться с гетманом. Он сам видел: одна лишь весть о том, что Московское царство ведет переговоры с гетманом, вызвала в народе негибкую веру в свои силы.

Беседа с митрополитом, целью которой было разведать, как он настроен после Белой Церкви, убедила Силуяна Мужилковского, что надеяться на Коссова вовсе нельзя. Митрополит несколько не сочувствует намерениям гетмана. Подозрения Капусты о том, что Коссов сносится с католиками и получил какие-то заверения от короля, по-видимому, были основательны.

Мужилковский ходил по большой гостиной, мягко ступая по пушистому турецкому ковру.

В доме полковника могильная тишина. За дверью похрапывает казак, стража и здесь не помешает. Кто знает, что вздумается кварцяному полковнику? Капуста недаром предупредил: <На тебя, Силуян, охотятся. Берегись>. Если Капуста говорит, значит у него есть основания.

Вспомнив Капусту, Мужилковский невольно снова подумал о Чигирине. Перед глазами возникла долговая фигура Выговского. Острый длинный нос и прищуренные глаза ясно промелькнули в памяти, показалось - генеральный писарь осторожно, на цыпочках прошел по комнате, замер в углу и растаял, точно злая тень.

Мужилковский не хотел вмешиваться в некоторые дела, но внутренне он был убежден, что смерть Крайза произошла не без участия генерального писаря и что Елена, жена гетмана, также была чем-то связана с Выговским... Подумал и тотчас же дернул плечом, словно сбросил с себя беспокойную мысль. Это, в конце концов, не его дело.

С Коссовым придется встретиться еще не раз. Ведь именно для встречи с Коссовым он и приехал из Чигирина в Киев. Правда, для того, чтобы митрополит не догадался об этом, пошел к нему только на пятый день после своего прибытия.

Успех новой войны в какой-то мере зависел и от митрополита. Его слово к народу и духовенству значило порою не меньше гетманского универсала. Гетман, посылая Мужилковского в Киев, предостерег:

- О наших московских переговорах молчи. Ни слова. А старайся выведать: что там у него с панами? Чего там вертится этот шпион, ксендз Бжозовский? Действуй осторожно.

Мужилковский усмехнулся. <Осторожно>! Как будто он собирался кричать об этом на площадях Киева! Конечно, задача была нелегкая. Мужилковский решил добиться от митрополита личного послания к патриарху Никону. Он задержал шаги, остановился. Скрестил руки на груди. Прищурил глаза, уставился в темный угол гостиной. Получить от Коссова такое послание будет трудно. Это он знал. Но он его получит! Непременно получит!

Сколько шагов уже сделано по ковру? Сколько мыслей проплыло под высокими сводами потолка? Сколько событий, сколько времени протекло за эти несколько часов в стенах гостиной? Все вспоминалось в эту бессонную ночь, все всплывало в памяти... А та беседа с гетманом, ночью, после возвращения из Москвы?

...Сидели в саду на скамейке плечо к плечу. По временам яблоня осыпала на них белые цветы. Нежные лепестки ложились вокруг, иногда падали на одежду. Гетман встал, отломил веточку, прижал к губам. Наклонив голову в его сторону, слушал внимательно и, когда Мужилковский окончил, сразу сказал:

- Нет, Силуян, не только Поляновский договор о вечном мире препятствует царю сразу подать нам военную помощь и взять Украину под свою высокую руку. Не только это. У них среди посполитых неспокойно, ты подумай, что там делается, - гетман говорил об этом, как о хорошо знакомом деле. - Бунты в Курске, Воронеже, Козлове. Народ на бояр подымается. Как в такую пору куда-нибудь войско посылать?.. Надо благодарить царя и за то, что отказался выполнить договор с панами и им войска не послал.

Он говорил спокойным и тихим голосом, но видно было, что это все же гнетет и тревожит его своей неопределенностью. Взглянув как-то странно на Мужилковского, сказал:

- Вот что, Силуян, - известно мне, что кое-кто из старшины задумал договориться с панами Потоцким, Калиновским, с сенаторами. Хотят добыть себе шляхетство, а там пусть хоть волки дерут все на куски. Если и ты так думаешь, то скажи сразу, я тебя неволить не хочу. Уходи тогда от меня и на глаза не показывайся.

Мужилковский вздрогнул от неожиданности.

Хотел сказать что-то, возразить, но гетман оборвал:

- Погоди, не все. Я это дело замыслил не ради своих маетностей и не ради своей воли. Народ меня понял. Потому за мною не шесть и не десять тысяч пошло, а все, вся Украина пошла. Я народ не продам за булаву варшавскую или за золотой меч турецкий. Все теперь льнут, - злобно сказал гетман, - все в друзья лезут, а сами, того и гляди, накинута петлю на шею. Одни мы не устоим, только русский народ и царь московский нам помощь и надежда. В том лишь у нас спасение. И если ты хочешь народу служить, памятуй об этом, брат, - спокойно закончил гетман.

Тихо вокруг. Ни ветерка, ни шороха.

...Такая вот была беседа в июньскую ночь, и, вспомнив ее, Силуян Мужилковский подумал: как много событий пронеслось за это короткое время и как подвинулось вперед дело, ради которого он ездил в Москву!

А тогда в Москве... Боярин Ларион Лопухин сказал открыто:

- Ты, я вижу, человек просвещенный и разумный. Под свою высокую руку царь и бояре вас, братьев наших, возьмут, но сейчас посылать войско нельзя нам. Казна царская оскудела, занять денег не у кого. Народ ваш на панов поднялся. Правда, бьются они супротив польской шляхты, но бояре у нас опасаются, как бы и свои смерды не учинили того же. Бунт, милостивый пан, это зараза. Это хуже морового поветрия... Так что разумеи, почему теперь с поляками договор не будем рвать. Но дадим им понять, что благожелательны к братьям нашим. Продержитесь сами еще с год. Король и канцлер нам про хана пишут, про султана, что-де вы с ними в согласии...

- Какое там согласие, это политика, сам разумеешь, боярин. Ведь если не мы с ханом, так они против нас будут с ним...

- Сим актом гетман Хмельницкий выказал свой великий ум, - подтвердил Лопухин. - И ручаюсь тебе, пан полковник, - придем мы к вам на помощь ратно и оружно, и будут все русские люди жить купно в мире и спокойствии.

...Прошло уже немало времени после этого разговора, но Силуян Мужилковский помнил все это отчетливо и ясно. Память у него была такая, что каждая мелочь запечатлевалась надолго, и в нужный час он мог припомнить все. Сегодняшняя беседа с Коссовым и самый приезд в Киев по такому трудному делу должны были всколыхнуть в памяти многое, что, может быть, в другое время и не вспомнилось бы.

Он знал - в Варшаве еще надеются на смуту среди самого казачества. Да и сами попытаются занести на Хмельницкого нож из-за спины. Подошлют кого-нибудь, чтобы отравил или из-за угла выстрелил в затылок. Все еще будет.

В Умани Осип Глух уже собирает тех, кто одним глазом косится на Варшаву, кто верит обещаниям коронного гетмана, кто решил связать свою судьбу с польской шляхтой. И, может быть, теперь - это Мужилковский отлично понимает - самый трудный момент восстания.

Да, восстания! Ведь он и не считал, что восстание прекратилось. Хотя Хмельницкому и приходится писать: <Гетман его королевской милости Войска Запорожского>, - но разве в этом дело? <Королевская милость>! Он хорошо знает, какова эта милость!

Осип Глух и Мартын Пушкарь возлагают теперь большие надежды на волнения среди посполитых. Это они распространяют слухи о том, что гетман продан турецкому султану, что Москва не захочет помочь Украине, что только соглашение с королем принесет успокоение краю.

А может быть?.. От того, что возникло это предательское <может быть>, Мужилковский остановился, сел в кресло и неодобрительно покачал головой. Оглядел себя в зеркале, висевшем на стене. Увидел пытливый взгляд человека в щегольском кафтане, с ровно подстриженными волосами и замкнутым лицом. Как же возникло это <может быть>? Но ведь возникло. Что же он имел в виду, когда так подумал? Не случайно вспомнилось сегодня предупреждение гетмана там, в Чигирине.

Взволнованный, погасил свечи в гостинной и, держа в вытянутой руке подсвечник с зажженной свечой, пошел в опочивальню.

На пороге лежал казак, подложив кулак под голову. Он храпел, и Мужилковский осторожно перешагнул через него. Уже лежа в широкой, удобной кровати, согретья своим теплом холодные простыни голландского полотна, он сумел отогнать прочь это предательское <может быть?> и сказал себе: <Никаких сомнений, только так, как гетман, и только с ним!>

Ночью ему приснился гетман.

Тот стоял посреди двора перед своим палацем в Субботове, а Мужилковский сидел в кресле, и по бокам стояли Мартын Пушкарь и Осип Глух, указывали на него пальцами и кричали в один голос:

- И он так думает, и он!

А он хотел возразить, но язык не шевелился, онемел, стал точно деревянный.

Гетман смотрел на него и взглядом спрашивал:

<Что ж, правду говорят? Скажи сам>.

Силуян Мужилковский собрал все силы и, словно выталкивая изо рта кусок свинца, закричал:

- Неправда, неправда! Брешут, вс? брешут!..

Проснулся в холодном поту. Над ним стоял караульный казак.

- Что там? Кто? - спросил испуганно, все еще не понимая, где он и что произошло.

- Изволили кричать, - пояснил казак.

Мужилковскому стало противно за себя. Откинулся на подушки.

- Ступай, братец, спать, почудилось мне что-то.

- А вы перекреститесь, - посоветовал казак уходя.

Сна уже не было. Тревожные мысли до самого утра не оставляли его.

5

Сразу же после беседы с воеводой князем Хилковым, Мартын Терновый пустился в обратный путь в Чигирин.

Приятная, легкая изморозь падала на землю вместе с вечерним сумраком. Дышалось свободно. Конь резво ударял оземь кованым копытом.

В ушах Мартына все еще звучали слова воеводы. Самим сердцем запомнил сказанное им. Как далекий туман, развеялось воспоминание о вечере в чигиринской корчме. Пожалел,

что не может сейчас увидеть Ивана Неживого. Было чем порадовать старого казака. Выходило, что сам гетман и Капуста старались, чтобы людей, которые шли с Украины, приняли русские, дали им приют.

Ночь упала на землю внезапно, как бывает в позднюю осеннюю пору. Стало трудно ехать. Мартын решил заночевать в первом же селе. Вскоре в темноте блеснул огонек, потом второй. По маленькой церковке Мартын узнал приграничное русское селение, через которое проезжал прошлым утром. Сдерживая коня, он въехал в улицу, озираясь по сторонам, выбирая, у каких ворот остановиться и попросить приюта на ночь.

За забором в оконце избы светился огонь. Мартын спешил. Трижды постучал кулаком в ворота. Залаяла собака, хлопнула дверь.

- Кто там?

Вопрос прозвучал сурово, и Мартын как можно подробнее рассказал о себе, кто он, и откуда, и куда едет. Только после этих объяснений ему с опаской отворили ворота.

Он завел коня в конюшню. Конь, почуяв сено в яслях, заржал. Мартын принялся снимать седло. Человек, впусивший его, стоял в дверях и следил за каждым движением казака. Наконец Мартын управился с конем, и хозяин повел его в дом.

В избе Мартын перекрестился на красный угол и снова начал объяснять, теперь уже хозяйке, сидевшей с веретеном в руках, кто он и куда путь держит. Хозяйка оставила работу. Принесла воды, полила гостю на руки, подала чистый рушник. Мартын с благодарностью поклонился, а хозяйка уже просила его к столу. За спиной скрипнула дверь, кто-то вошел в избу. Мартын оглянулся, пламя в печи освещало женщину, стоявшую на пороге, ярким светом. И она, и Мартын одновременно вскрикнули и бросились друг к другу.

...Такое могло стать только в сказке. Евдоха Терновая дрожащими руками крепко держала сына за плечи. Слезы туманили ей взор. Слова не могла сказать. Билась на груди у сына в счастливых рыданиях, а хозяин избы Ефрем Проскаков и его жена только дивились да охали.

Нет, не сон то был. Мать, его мать была с ним рядом. Мартын крепко прижимал ее к груди, а слезы все набегали и набегали на глаза, и он, счастливый и ошеломленный неожиданным счастьем, ловил их губами, глотал соленую влагу, словно в самых слезах заключена была внезапная радость.

Мог ли он надеяться? Была ли даже мысль такая? Думал: мать давно погибла, упала где-нибудь на безвестной дороге. Старенькая, бессильная, нищая - его родная мать! Но она теперь была рядом с ним, и они сидели на лавке в красном углу, под образами, и радушные хозяева, тоже обрадованные такой неожиданной встречей, всплескивали руками, смеялись, а потом поставили на стол штоф горелки, и все были как-то особенно счастливы.

- Вот кому в ноги поклонись - Марфе и Ефрему, душевные люди, поклонись им низко, сын. Они выручили. Спасли.

И Мартын Терновый встал на ноги и поклонился до земли Марфе, и поцеловал ее заскорузлую, сухую руку, и она поцеловала его в голову. Низко, до самой земли, поклонился Мартын и Ефрему Проскакову, обнялись крепко.

- Да какой же ты, сынок, рослый стал, да красивый! - улыбнулась мать. - А отца нашего... - и снова слезы затуманили взгляд.

- Не надо, мама, не надо, - попросил Мартын. - Знаю.

Она послушалась.

- Не надо, хорошо. Не надо... А Катря...

- И о том не надо, - попросил Мартын.

- Молчу, сынок. - И снова заплакала. - Думала я, все выплакала, слез нет, а они, видно, горем живятся, слезы мои, сынок.

- Молчите, мама, - он знал: надо сказать что-то хорошее, порадовать, успокоить, но таких слов не было. Надо правдою лечить раны, а правда могла только растревлять их новой болью.

А мать, как нарочно, спросила:

- Что на Украине, сынок, как дома?

И он не смог солгать матери, - ведь он никогда не говорил ей неправду.

- Худо, мама.

- Татары? - спросила она. - Паны?

- Всего хватает, мама, - попытался избежать ответа, но она настойчиво продолжала спрашивать:

- Что же оно будет, сынок, не видать мне, значит, родной земли?

- Погодите, мама, погодите, воротимся мы с вами в Байгород, в свою хату. - И вспомнил, что хату сожгли жолнеры Корецкого, а от самого Байгорода остался только пепел...

- Байгород... - прошептала задумчиво мать. - Когда Максим на колу помирал, звал тебя, сынок. Звал. Ты должен притти туда, Мартын, должен! твердо и сурово сказала она, голосом, какого он никогда у нее не слышал. Ты поклянешься мне в этом, сынок, на сабле клятву дашь. - Глаза матери были сухи и сверкали, точно огонь вспыхнул в них и высушил слезы.

- Поклянусь, мама, - ответил Мартын, - и сдержу свое слово.

Мать рассказывала. Низкий, прокопченный и задымленный потолок убогой избы висел над головами. Русские люди, давшие приют матери и ему в эту осеннюю ночь, сидели и слушали, хотя многое из того, что рассказывала мать, они уже знали, - но горе было близким, общим для всех.

...Из Байгорода она ушла вместе со всеми людьми. Бежали ночью. Как раз на ту пору татары рыскали по всем шляхам, возвращались в Крым. Старались обминуть их окольной дорогой, но не миновали. Наскочили татары на них как-то поутру, молодых в полон взяли, старых пограбили, кто сопротивлялся, того зарубили, и исчезли. А она осталась одна на дороге, без памяти, и ее подобрала добрые люди.

Начались долгие месяцы нужды, хождения с сумой. Чужой кусок хлеба сначала поперек горла становился. Где был Мартын тогда? Долгими ночами звала его. Думала, может, и он сложил голову, и никто очей ему не закрыл. Может, ворон выклевал их?

Встретились на дороге люди. Такие же обездоленные и обиженные, как она. Шли в русскую землю и взяли с собой. Тут, в этом селе, она заболела, слегла, и добрые люди Ефрем и Марфа приютили ее, а когда выздоровела, не пустили от себя, осталась она у них. И правда, куда ей дальше итти, куда?

- И оставайся с нами, Евдокия, - сказала Марфа, - куда тебе? Там война, разорение, кто знает, что еще будет, а когда кончится, одолеют панов - тогда заберет тебя сын.

- Спасибо, Марфа, ой, великое спасибо! Только не доживу я до того, не доживу.

- Доживете, мама!

Мартын почти выкрикнул эти слова. Неужели не бывать ему хозяином на своей земле? Неужели мать не увидит Байгорода? И в этот миг Мартын Терновый, как никогда, почувствовал, что должен грудью своей стать за гетмана, ибо один гетман думает о его, Тернового, доле и делает так, что сможет Мартынова мать увидеть родную землю.

Терновый сказал: скоро снова быть войне, воины русского царя подадут казакам помощь.

- Так, сынок, так, Мартын. Русские люди, вот они, - Марфа и Ефрем, такие все они, всегда бы нам вместе с ними быть, всегда.

Говорили обо всем. Говорил и Ефрем Проскаков. Мартын узнал: и ему тут не сладко, хоть никто с отцовской земли не гонит, никто не грозит ее отнять. Но оскудело царство хлебом, худо, что на границе жизнь беспокойная. И сюда татарские отряды заходили, а последнее время от радзивиловских наездов тоже извели немало беды.

Однообразно трещал сверчок. Давно догорел огонь в печи, хозяйка засветила лучину, начала стелить постели. Мартыну постлали кожух на лавке, а сами хозяева взобрались на печь. Мартын отказывался. Мать уговорила лечь. Теперь мысль металась, как в тенетах: что же дальше? Брать ли мать с собой, или оставить пока здесь? А если взять, то куда?

Мать, казалось, угадала его беспокойство.

- Обо мне не заботься, об одном прошу - коли будет можно, коли доживу, приезжай за мной, а нет, так хоть могилу навести. Люди добрые покажут...

- Что вы, мама? - а у самого в горле задрожал предательский комок, и сердце затосковало.

- Эх, сын мой, сын мой...

Молчали. Сверчок неугомонно тянул свое. Люди твердили - сверчок в доме к счастью. Сколько таких сверчков слышал он на своем веку! А где счастье?

Лежал, растянувшись на лавке, мать сидела рядом, гладила по голове, устремив взгляд в темный угол. Лучина затрещала и погасла.

В трубе тоскливо завывал ветер. Мартын думал: где счастье? И в сердце росла великая и неутолимая жажда: скорее туда, в Чигирин, увидеть Неживого, всех побратимов своих, попроситься у Капусты в какой-нибудь полк, сказать всем - и тем, кого по дороге встречал, посполитым, уже изверившимся в своих чаяниях, и казакам, и тому бедняге, Ивану Невкрытому из межигорской гуты, сказать: <Оружие в руки берите, скорее оружие в руки и не опускайте голов>. Как тогда, перед Пилявой, говорил гетман: <Хорошо было бы, кабы мы теперь купно - казаки и селяне - на ворога ударили>. И ударили. И враг бежал бесславно в той битве. А теперь тоже надо бы купно, сообща. Надо!

- О чем думаешь, сынок? - тихо спросила мать.

- Вместе нам всем надо, - прошептал он в ответ и рассказал про слова гетмана перед боем.

- Боже его благослови, пошли ему здоровья и силы, - проговорила мать, - если он за нас, обездоленных, стоять будет, а если нет, то пусть кара страшная падет на него. Ведь поднял весь край, не смеет он оставить нас. Кто же другой у нас есть? Кто?

- Нет другого, и не надо другого.

Мартын нерушимо верил в это. Не надо другого. <А универсалы про послушество? - вдруг спросил он сам себя. - Для кого они? Кто писал их?>

- А коли отступится от нас, - твердо произнес Мартын и уже не матери, и не самому себе, а, казалось, в глаза гетману кинул: - пусть кара страшная падет на его голову и на весь род его.

Усталость победила, и он заснул, хотя и беспокойно, вздыхал во сне и стонал. Держал в руках руку матери, а она нежно гладила его шелковые кудри и жадными губами глотала соленые слезы.

Безостановочно трещал сверчок. Ветер рыдал в трубе. Ночь вздыхала за худыми стенами проскаковской избы.

В памяти возникало бывшее. Статный парубок Максим Терновый держит ее за руку, по благословляет их, а вскоре уже тот Максим садится на коня - и потом ни вести от него, ни доброго слова о нем. Вдруг в темную зимнюю ночь постучался в дверь, упала к нему на грудь, как сегодня к сыну.

Потом сын Мартын - добросердечный, заботливый, гордилась им перед всем Байгородом. Одна утеха, одна надежда и одно счастье.

А горе росло, как дождевая туча. Горе ливнем проливалось на Байгород, и лишь порою улыбалась судьба и щедро выглядывало солнце, утешит на какой-то срок - и снова тучи. Но был свой дом, а в своем доме горе и беды легче сносить... И думает старая Евдоха Терновая: может быть, выйти ей так, босой, в ночь, пойти в дальний путь, в Чигирин ли, в Субботов ли, так прямо и притти, а не дойдет - доползти до гетмана, стать перед ним и сказать:

<Глянь на меня, Хмель, погляди мне в глаза, прочитай муки мои и горе мое. Мужа тебе отдала, сына единственного отдала. Это мать говорит тебе, Хмель. Сердце матери полно горя и муки. Услышь мое сердце. Ведь и у тебя была мать, так прислушайся к ее голосу и сделай так, чтобы уничтожить врагов, чтобы воля была на земле нашей и мир, чтобы жили мы, как брат с братом и сестра с сестрою>.

Так она говорила с Хмелем, и сверчок трещал, не переставая, и она знала, что никуда не пойдет, что эти мысли - только мечта, утешение, которое выдумала сама для себя, а Мартын

вздыхает, и вот уже скоро рассветет... Так и не сомкнула глаз в ту ночь Евдоха Терновая.

У Мартына замирало сердце. Надо было ехать. Стоял, держась одной рукой за луку седла. Ефрем Проскаков успокаивал:

- Ты не тревожься, мать твою не обидим, живем в согласии, как родные. А будет можно - приедешь. Много горя испытали вы на Украине. Возьму и я в руки пику да мушкет. Жди меня...

Что было ответить на такие слова? Обнялись, как братья, и трижды расцеловались. Евдоха не удержалась:

- Береги себя, сынок, береги.

Он сам не знал, как это случилось, - выхватил из ножен саблю, подарок гетмана, и, вытянув ее перед собой, произнес:

- Клянусь тебе, мама...

И мать не дала договорить, перекрестила саблю и поцеловала блестящий клинок.

- Будь счастлив, сын. - И, точно отрывая что-то от сердца, голосом, полным отчаяния и муки, сказала:

- Поезжай, Мартын.

Поцеловала в губы, в голову. Он вскочил на коня. Конь заржал, и матери вспомнилось, как ржал Мартынов конь, когда он уезжал в войско под Корсунь. Много сил стоило, чтобы не зарыдать. Сдержалась. Конь уже тронулся. Шла рядом, держась за стремя, накинув на плечи Ефремов кафтан.

Легкий, нежный снег устлал дорогу. Евдоха держалась за стремя и знала: выпустит - упадет посреди дороги. Подняла голову, глазами впитывала каждую черточку Мартынова лица. Вот оно, родное лицо, но уже не такое, как было в Байгороде. Две глубокие морщины вдоль рта, морщины на лбу. Похудел сын - и вот, может быть, в последний раз видит его, а он просит:

- Мама, вернитесь, уже и степь видно.

Придержал коня, хотел соскочить.

- Не надо! - сказала мать.

Тогда наклонился и крепкими руками поднял ее вровень с седлом, прижал к груди и, крепко поцеловав, поставил осторожно на землю.

- Будьте здоровы, мама, и ждите.

- Бог тебя благослови, сын.

И все. И уже далеко, на повороте дороги оглянулся и увидел - мать еще стояла, черная маленькая фигурка на заснеженном русском поле, половина его сердца, его души.

б

Когда караульщики у ворот крикнули: <Казаки!>, Галайда почувствовал, как сердце бешено заколотилось в груди. Мигом он выскочил из гуты и кинулся к воротам. Рядом очутились бородатый Трохим и однорукий Петро.

Сразу гута опустела. Все столпились у ворот и тревожно смотрели вдаль, где из-за леса, на дорожку, будто кто-то высыпал их из мешка, выкатывались конные.

- Назад, в гуту! - прокричал Галайда. - Становитесь на работу! Надо показать, что мы работаем, что не разбойники мы, а свое право защищали, он, казалось, оправдывался, и это отметил про себя Трохим, недобро усмехнувшись.

Шепнул на ухо Галайде так, чтобы никто не услышал:

- Высплют нам плетей, а то, пожалуй, и на кол посадят, помяни мое слово.

Люди возвратились в гуту. Но работа разладилась, едва дозорные сообщили:

- Жолнеры то. Не казаки, жолнеры...

Гармаш прибыл на гуту вместе с Тикоцинским. Ей-ей, он не понимал, какого черта бранят этого пана! Мужилковский крутил, упирался, напоил каким-то горьким зельем, после которого во рту - словно добрый пук полыни разжевал, а этот, хоть и гордый, и смотрит на тебя свысока, и к столу не зовет, а талеры на него вмиг подействовали. Так охотно откликнулся, что даже сам поехал со своими жолнерами.

Едучи на гуту, Гармаш думал увидеть там одни развалины. Должно быть, все раскрани гультяи. Ведь какой народ там работал? Вс? обиженные панами да старшиной... О, он хорошо знал таких людей! А когда над долиною, где стояла гута, увидел сизый дым, а потом трубу, и уже под конец - самую гуту, от сердца отлегло. Может, и набрехал есаул Омелько? Есаул ехал верхом, рядом с повозкой Гармаша, и тоже недоуменно хлопал глазами.

Жолнеры въехали в ворота. Влетел на полном скаку жеребец пана Тикоцинского. Протарахтела коваными колесами по застывшей от легкого мороза земле повозка Гармаша. Он выскочил из повозки, кинулся к гуте.

В печах шумел огонь. Стояли, склоненные над деревянными станками, стеклодувы.

- Что случилось? - спросил он у Омелька.

- Вот нехай они скажут, - ткнул нагайкой есаул в сторону стеклодувов, злорадно поглядывая на них.

Галайда выступил вперед:

- Дозволь сказать.

Гармаш оглядел всю его фигуру заплывшими глазами и милостиво позволил:

- Говори.

Но говорить Галайде не дали. Вмешался Тикоцинский, которому уже нашептывал на ухо есаул Омелько.

- На майдан! - приказал он.

Жолнеры мигом вытолкали всех на майдан. Люди, почуяв страшную беду, теснились друг к другу, проклиная в сердце тот миг, когда они согласились остаться здесь; может быть, в эту минуту и сам Галайда почувствовал, как опрометчив был его совет. На кого он понадеялся? Стояли польские жолнеры вокруг, посвистывал нагайкой есаул Омелько.

- Твое счастье, что утек, - не выдержал Трохим.

- Вот его спросите, прошу пана, его, - из-за плеча Тикоцинского просил есаул.

Гармаш стоял в стороне, несколько растерянный. Все еще не понимал, как ему поступить. Ведь гута была на месте, и стеклодувы работали.

- Где пан управитель, хлопы? - гневно закричал Тикоцинский.

Никто не отозвался. Тугой, холодный ветер оведал ледяными крылами, и впервые люди заметили, что за ночь выпал снег.

- Где управитель, пся крев? - еще раз спросил Тикоцинский.

Молчание хлопов уже надоело ему. Он внимательно обшаривал толпу глазами, уставился в бородатого хлопа, на которого указал ему есаул, и кивнул головой:

- Сюда!

Трохим сделал два шага вперед и остановился.

- Говори.

- Что? - пожал плечами Трохим.

- Пся крев, говори, имеешь возможность сказать последнее слово! бесновался Тикоцинский.

- Оттого и не хочу, - спокойно ответил Трохим и отвернулся.

Встретил жарко блестящие глаза Галайды, на сердце потеплело. Теперь он уже не сердился на Галайду. Им была суждена одна доля.

...Не все были из крепкого теста. Угрозы подействовали. Уже показали, где закопаны караульные, и жолнеры раскидывали свеженасыпанный холм земли. Из ямы под гутой вытащили посиневший труп управителя.

В доме управителя развели огонь. Тикоцинский и Гармаш грелись.

- Я их проучу, я им покажу, как бунтовать!

Тикоцинский долго ждал такого случая. Еще год назад казалось, что хлопы станут теперь панами на Надднепрянщине. Еще и теперь они хозяйничают в его отцовском маетке на Черниговщине.

Гармаш заколебался. Может, и не надо связываться с мужиками? В конце концов, гута цела, они работают, жолнеры их настрашали, а если немца повесили - туда ему и дорога.

Однако кто знает, что они натворят в другой раз...

Есаул Омелько подсказал под руку:

- Для науки другим, не мешает проучить.

...Все, что случилось потом, всплывало в памяти Галайды, как злой сон. Словно побывал в аду и увидел и испытал такое, что только дьявол может выдумать.

Тикоцинский приказал каждого десятого бить плетью по пятьдесят раз, каждого пятого - по тридцать раз, а каждого третьего - по двадцать раз.

Однорукому Петру, который, упираясь, толкнул жолнера, дали сто ударов.

Галайда кинулся к Гармашу:

- Гармаш, заступись! Ведь ты же нашей веры. Снова жолнеры шкуру с нас дерут. Чем провинились перед тобой?

Гармаш отвернулся. Подышал на пальцы. Мороз становился все сильнее. Зевнул, перекрестил рот и ушел в дом управителя.

- Кого просишь? - хрипел, извиваясь под плетями Трохим. - Он своего дождется. Такая же собака, как и эти...

Ему не дали договорить.

- На кол! - завизжал Тикоцинский.

А после схватили Галайду. Острая боль и жгучая обида сдавили сердце. Кусал зубами мерзлую землю. Не крикнет, нет! Не услышат вражьи сыны его голоса. Сотни мыслей замелькали в голове, уже как в бреду. Жгло тело, летели какие-то клочья, потом провалился куда-то глубоко - и все.

...Открыл глаза. Веки подымались с трудом. Он лежал навзничь, словно прикованный к земле. Постепенно пришел в себя. На обожженные болью губы падал снег, медленно таял. Слизал снежинки языком. Что было? Глухая обида закипела в нем. Кому поверил? Все из-за него случилось. А надо было сразу, как сказал Трохим, бежать. Вот и награда за то, что когда-то лихо бился под Пилявою, под Зборовом. Где тот казак Мартын Терновский, который так красно расписывал, какую дальше жизнь наша будет? Приди сюда, Мартын, и погляди. Помнишь, как мы с тобою, конь о конь, с оружием ехали по полю битвы?

...Шатер на опушке. Ветер играет бунчуками. Из шатра выходит гетман. Кто пробрался в табор Богуна через вражеские окопы? Вот кто: казак Галайда. Дай, казак, расцелую тебя. Великую службу войску сослужил... Снег ложится на потрескавшиеся губы. Тает от их жара. Влажно на губах. Гетман целует. Нет, это не гетман. Тает снег.

Пришел домой после войны. Солтыс спрашивает: <Где шатался?> Будто не знал, что Галайда делал. Когда ехал домой, полковник Громыка сказал. <Твое село попадет в реестр>. Не попало. Воротился, а там уже стражники хозяйничают. Не стерпел. Бросил все. Пошел куда глаза глядят.

...Все тело истерзано, точно псы порвали. Приподнял голову. Он лежал у ограды, рядом с ним еще кто-то. Вгляделся, узнал: Трохим. Глаза стеклянные, рот открыт, снег в открытый рот набился. Мертвый. Вокруг никого. Ночь. Галайда попробовал повернуться на бок. Удалось. Потрогал рукой Трохима. Позвал: <Трохим!> Молчит. Господи! Что же это такое? Блеснула мысль: <Бежать>. Пересиливая боль, начал подыматься, осторожно, ему казалось, что внутри у него что-то рвется и ломается.

Трохим лежал равнодушный ко всему - к ночи, к небу, к людям. Тишина стояла вокруг, как на кладбище.

Жолнеры решили, должно быть, что и он мертвый. Кинули сюда вместе с Трохимом. <Эх, не послушал я тебя, побратим! Ты говорил: <Панам не верь, паны все одинаковы>. И верно>.

Бежать! Он тихо перекатился ближе к ограде. Вот если бы хватило сил, перебраться через тын, а там - воля. Но как? Попробовал, упираясь плечом, продвинуть отяжелевшее тело вдоль ограды. Упал. Сил не было. Тишину разорвал недалекий выстрел, и снова стало тихо. Сердце стучало, как барабан. Прислушался. Опять попробовал подняться, уперся плечом о тын, бессильно царапал пальцами стылую землю. И на этот раз не удалось. Неужто придется

подохнуть здесь? Но нет! Он должен вырваться. И это <должен> родило в нем новые силы.

Трохим глядел в небо с горькой укоризной. Прощай, брат! Галайда снова налег плечом на тын. Еще одно усилие. Уже коснулся подбородком верхушки тына и воспаленным взглядом увидел чистое, пустынное, заснеженное поле, только вдали, за яром, чернели строения. Он собрал все силы и повис на оgrade, перекинув через нее руки. Еще один рывок - и он уже перевесился всем телом через тын, подвинулся вперед и упал, как мешок, на ту сторону.

Ему казалось - его падение взорвало тишину. Замер, слился с землей. Повел головой, глотнул широко раскрытым ртом воздух. Ноздри дрожали. Воздух зимней ночи пахнул свободой. Ондохнул еще раз, и еще раз, и пополз. Вон за тот холмик добраться бы. И этот маленький холмик был для него теперь дороже всего. Дополз. И только тогда оглянулся. Ужас охватил его. Гута была предательски близко. А ему казалось - выползет за холмик, и гуты уже не будет видно.

Вон еще за тот холмик. Он полз дальше, кровь выступила на руках и коленях, и все-таки он добрался до второго холмика. Глянул назад. Гута стояла, темная и зловещая. Немного дальше, чем прежде. Но была тут. Он горько подумал: не могла ж она за эти минуты провалиться. Залаяли собаки. Он насторожился: не дозорцы ли? Притаился. Лай прокатился где-то в стороне и растаял. И он пополз дальше. Знал одно - должен спастись, должен жить.

Уже перед рассветом скатился в яр. Сил больше не было, и он застонал от боли. Все поплыло перед ним. Упал куда-то в пропасть.

...Но потом кто-то подымал его. Лил в горло горячее и терпкое. Осторожность или бессилие заставляли его не подавать виду, что жив. Но когда он услышал голос, полный сочувствия и жалости: <Ишь, подлюги, что с человеком сделали...> - застонал и открыл глаза. Кто-то, наклонившись над ним, держал в руке бутылку. Старая женщина растирала ему ноги снегом.

- Господи, что ж они наделали, как изувечили тебя! - причитала женщина.

Не спросил, где он. Сердце подсказало: у своих. Молчал, не надо было ничего пояснять. Тут все понятно. Исполосованная плетью спина сказала все. Он слышал, как они говорили между собой - мужчина и женщина. Они знали, что творилось вчера на гуте. С болью в сердце прислушивались. Давно паны не издевались так над убогим человеком, давно не было в этих местах такой напасти. Видно, надолго, а то и навсегда воротились паны, и некуда бедному человеку податься, некому пожаловаться. Галайда слушал. Не отвечал. Что было говорить? Они говорили его мыслями. Стонал от боли и обиды. И обида была сейчас более ощутительна, чем боль. Знал одно: надо скорее стать на ноги, выздороветь, чтобы рука тверда была, и не верить больше в слова, а бороться, сгннуть в борьбе, но не останавливаться на полпути. Он хотел сказать об этом добрым людям, но они предупредили его желание.

- Молчи, сынок, - со слезами в голосе сказала женщина.

И он молчал. Закрыл глаза.

7

Над Чигирином кружилась вьюга. Снеговой шел с севера. Замело дороги, ни проехать, ни пройти. День зябко прижимался к окнам серой пеленой. Скрипели ставни. Звенели печально (словно молили о чем-то) стекла. Хмельницкий покусывал погасшую трубку и слушал гнусавый голос писаря Пшеничного.

<Будто псалтырь читает>, - подумал и смерил Пшеничного недобрым взглядом.

Писарь уловил этот хорошо знакомый блеск в гетманских глазах, который предвещал мало добра, и заторопился, глотая слова, покачиваясь с боку на бок.

Порядок этот гетман завел недавно. Приказал читать ему по утрам все письма, все жалобы, все грамоты. Большая груда их лежала перед писарем на столе. В каждом листе - стон, вопль... Что он мог поделывать? Заскрежетав зубами так, что трубка затрещала, отвел глаза к окну. Туда, в белую заметь, летели все его мысли. Но рядом слышал над ухом:

- <Возри, гетман, на наше убожество и бедствия наши. Чинш деньгами и панщиной, птицею и мясом платить шляхтичу Смяровскому и одновременно полковнику милости твоей Пушкаренку - не в силах. А паче того скорбь наша превелика есть, ибо униаты церковь закрыли, попа Филимона били палками, ибо не покорился униатам, - обиду такую терпеть не в силах... Зачем, гетман, на панов поднял, если паны снова неволят... Учিনি приказ карать виновных сотников, есаулов и полковников своих, а униатов да шляхтичей оружием гнать, а не брататься с ними, как твои полковники поступают... Челом бьют тебе посполитые села Терновка, от имени коих подписываемся Макогон Свирид, да Трохим Мельниченко>.

И дальше, взяв в руки новый лист, Пшеничный читал:

- <Сим оповещаю тебя, пан гетман, что в прошлом месяце Иван Дзиковский с казаками да их семьями, числом две тысячи душ, перешел рубеж Московского царства и по ведомостям, добытым нами позднее, поселился на речке Тихой Сосне, где основан им городок, названный Острогожск.

Атаман конотопский Кравченко>.

Писарь отложил атаманову грамоту, взял в руки новую.

- <Жалоба на пана Скоповского Сигизмунда от селян села Торки, что оный пан принуждает отбывать панщину все шесть дней, также панщину отбывает поп>.

- Что поп, то не повредит, - злобно пробормотал Хмельницкий, - пускай батюшка почувствует, как паства его в муках живет... Дальше.

- <Жалоба от пана воеводы Киселя, сенатора...>

Гетман недовольно перебил:

- Ты мне чины его не перечисляй, сам знаю. На что жалуется?

У Пшеничного дернулась вверх левая бровь.

- Жалуется на то, что посполитые в Брацлавском воеводстве, в селах Верхняя Жордановка, Луковцы, Гремячая Долина, Вишенки и во многих иных панщины не отбывают, чинша не платят, а стражников его милости короля бито в тех селах палками. Просит выдать универсал на послушенство, виновных селян казнить смертью.

- Дальше!

Пшеничный заторопился.

- Грамота от сотника Зимогляда из Кодака, о том, что неделю назад проехали послы королевские в Крым. Ночевали в Кодаке, пахолок посольский, упившись горелки, похвалялся, что король шлет великие деньги хану, дабы он на весну с улусами стал по Днепру - вершить наезды и брать ясырь, сколько пожелает.

- Так. Еще что?

- От полковника черниговского о том, что на рудне купца Солонины посполитые учинили бунт, через то, что оный купец Солонина за работу не платил, а велел отрабатывать себе панщину. Убиты три казака да есаул Млинский.

...И так продолжалось до полудня. Ни радости, ни облегчения. Одна непрестанная забота. Гетман шел через все это, сурово стиснув зубы, добиваясь своего и не оставив в сердце ни жалости, ни сомнений. Но ни на минуту ведь не поколебался он, когда узнал про умысел Гладкого и Мозыри поднять восстание против него. Приказал созвать в Корсуне комиссию, произвести строгое следствие, а Капусте перед тем твердо приказал:

- Казнить смертью.

Даже Капуста поколебался. Как это? Гладкого и Мозырю? Недобрая молва пойдет. У них сторонников много.

- Потому и приказываю поступить так! Рыба начинает вонять с головы, помни это, Лаврин.

Отбросив все сомнения, подал реестр Адаму Киселю. Послал Герасима Яцковича на сейм в Варшаву. Шел на все, чтобы заморочить глаза панам сенаторам. Делал все, лишь бы уверить их, что <усмирили Хмельницкого>, а тем временем собрал в Субботове полковников: Карпа Трушенка, Яська Пархоменка, Павла Тетерю, Ивана Золотаренка, Ивана Богуна.

Неделю совещались. Накричались, выкурили турецкого табаку, наверно, с добрый мешок, выпили меду и горелки, кто знает сколько, а все-таки пришли к согласию и приняли его предложения. Разъехались, приговорив, что весною надо начинать.

Почти в то же время в Субботов прибыл посол русского царя Павел Зеркальников. Тогда же решено было послать полковника Ивана Искру в Москву с грамотой от гетмана к царю Алексею и в ней отписать о том, что теперь замыслили гетман и старшина, и просить пушек дать, сколько можно будет, и дозволить, в случае надобности, казацкому войску переходить русский рубеж. А главное - спросить, когда слать послов для переговоров с ближними боярами о переходе гетмана с войском и всем народом под высокую цареву руку.

Иван Искра уже, должно быть, прибыл в Москву. Полковники уехали из Субботова с непреклонной верой в успех новых замыслов гетмана и теперь готовились встретить весну надлежащим образом. А пока гетману надо было еще изображать покорность и почтение перед королем, сенаторами, шляхтой. Узнав, что сейм не утвердил Белоцерковского договора, Хмельницкий повеселел, облегченно вздохнул и сказал Капусте:

- Теперь о чем забота?.. Паны сами толкают нас в новый поход. А те из нас, которые, как ты, Иван, - недоброжелательно кинул он Выговскому, думали жить с панами в согласии и покорности, пусть поймут, что сие немислимо. И никогда народ этого не захочет. А что мы без народа?

Помолчал, взвешивая каждое слово, проговорил:

- Ничего не стоим мы без народа!

...В эти дни, обдумывая каждый свой шаг, возвращаясь мыслями в прошлое, Хмельницкий особенно ясно понял, что сила его будет расти и крепнуть, если он будет непоколебимо держать сторону тех, кто уже сегодня избрал путь к воле, возлагая надежду в осуществлении этого только на Русскую землю, на Москву.

Разве успокоил бы он казачество тогда, в замке Белой Церкви, разве не полетела бы его голова с плеч, не напомни он про русскую землю, про Москву? Да разве сам он, еще в давние годы, не пришел к той же спасительной мысли? Ведь еще в тот год, когда только начинал войну против панов и короля, он понял, что единственный путь к избавлению от унии, уничтожающей самобытность народа, к избавлению от польских панов, которые стремятся превратить Украину в торный путь для прибыльной торговли, - есть подданство московскому царю. Разве в этом - не единственное спасение Украины от султана с его данником, крымским ханом? Нет сомнения, что султан, в конце концов, развязав себе руки после войны с Венецией, двинет своих янычар на украинские земли. Нет, теперь, в зиму 1652 года, гетман, как никогда прежде, ясно и отчетливо видел тот путь, каким он должен повести Украину, путь, каким сейчас уже шли тысячи посполитых.

А год выдался тяжелый, полный забот и тревог. На страну обрушилось страшное моровое поветрие. От татарских наездов обезлюдели целые села. Шляхта понемногу осмелела, начинала прочно оседать в своих маетках, заводить старые порядки. Хмельницкий вынужден был рассылать универсалы на послушенство. Порою даже карать тех, кто подымал руку на панов. Должен был выслушивать обвинения: <Ты, Хмель, изменник и проданся панам>. Случалось, вспыхивал гневом:

- Что думают? Всех сделать казаками не могу и не сделаю.

Но потом он жалел об этих словах. Полковники давали им огласку, особенно Выговский. Капуста доносил об этом гетману. Недреманное око Капусты чутко улавливало каждое движение. Гетманские державцы сидели всюду, где только была в этом нужда, следили за каждым шагом людей.

После раскрытия заговора Гладкого и Мозыри начались новые интриги. Теперь появились другие: Хмелецкий и Пивтора-Кожуха. И они говорили, что он проданся панам и что надо отобрать у него гетманскую булаву. Умело и спокойно обезвредил он и эти козни. Хотя никаких мер против вожаков не принял, но хорошо запомнил их имена. Что ж, в недалеком будущем он с ними расквитается...

Еще беспокоило то, что связь с Варшавой оборвалась. Стало известно Малюга из-под

Берестечка возвратился в королевский лагерь. С месяц жил спокойно, но затем, после Белоцерковского перемирия, его арестовали и расстреляли, обвинив в шпионстве. Капуста доподлинно разведдал, что на допросе Малюга ничего не сказал, а перед смертью плюнул шляхтичам в глаза.

В конце февраля стража схватила какого-то казака, который выстрелил в Хмельницкого у собора, когда гетман в воскресенье, после церковной службы, садился в карету. Казак стрелял через окно собора, притаившись под потолком на лестнице. Он промахнулся и был схвачен стражей. Дозорцы Капусты сразу узнали в нем своего бывшего сотоварища Демида Ковалика. На допросе Ковалик признался, что был подослан Мартином Калиновским. Трус по натуре, он отважился на это дело только потому, что было обещано сразу после выстрела спрятать его. Ковалик также признался, что это он предал Данилу Нечая, известив Калиновского о том, что Нечай ночует в Красном.

Хмельницкий повелел дознание Ковалика записать и отправить канцлеру в Варшаву с жалобой. Писал: <О каком мире можно говорить, если польный гетман такое зло учиняет против меня?>

Ковалика повесили. Пришлось сделать обыск и в соборе. Двух дьячков, замешанных в деле, и одного шляхтича расстреляли. Но нити шли дальше. Капуста уже нащупывал их где-то возле Софийского собора в Киеве, в митрополичьих покоях Сильвестра Коссова.

...Вьюга кружилась над Чигирином, над степью. Заметала шляхи. Ни проехать, ни пройти. Но, побеждая вьюгу, мчались всадники по степи в Чигирин из Брацлава, Винницы, Корсуня, Белой Церкви... Не было ни троп, ни дорог. Едва блеснет огонь сквозь метель и исчезнет. Но всадники неуклонно продолжали свой путь.

Хмельницкий не дремал. Прознав, что польный гетман Калиновский намеревается перейти Днепр и двинуться на Правобережье, он как бы дернул нить у себя в Чигирине, и это движение руки Хмельницкого скоро ощутили войска польного гетмана. Навстречу жолнерам поднялись посполитые по всему Правобережью.

Гетман, казалось, целиком поглощен был подготовкой к предстоящей войне - рассылал гонцов во все концы Украины, прилагал все силы, чтобы умножить свою артиллерию, как следует вооружить и одеть свои полки, но в то же время он не спускал глаз с Бахчисарая. Он хорошо понимал, что оттуда надо ожидать, как всегда, какой-нибудь беды.

И всякий раз, когда узнавал о каком-нибудь предательском шаге хана и Сефер-Кази, он вскипал бешенством, порой готов был оставить начатое и бросить все силы на Крым. Но всякий раз охлаждал свою горячность мыслью о том, что самый страшный враг сейчас не Крым, а польская шляхта, ее уния, ее стремление накрепко и навеки поработить украинский народ. А освободившись из-под власти шляхты, можно будет расправиться и с Крымом. Этой зимой Хмельницкий уже знал, что недалек час, когда уже не придется оглядываться на Крым. Тем более зорко следил он, чтобы за его спиной снова не возник предательский и хитрый заговор.

Бахчисарай тоже пристально и подозрительно наблюдал за всеми действиями украинского гетмана. Особенно внимательно читал визирь Сефер-Кази письма польского канцлера Лещинского, в которых говорилось про умысел Хмельницкого перейти в подданство к царю московскому...

В Крыму уже по-весеннему грело солнце, и на Диком Поле, под Перекопом, на лугах, расстилавшихся по берегам Гнилого моря, всходила первая нежно-зеленая трава.

8

Нечипор Галайда постучал в дверь. Долго никто не откликнулся. Метелица злыми руками била в спину. Задувала за ворот свитки сухой, колкий снег. Колени ломило, Нечипор пошатнулся и, чтобы не упасть, прижался плечом к стене. Снова с силой застучал в дверь. Наконец ему открыли.

Слабый огонек каганца задрожал в материных руках. Крикнула:

- Нечипор!.. - и кинулась ему на грудь.

...Он был дома. Лежал на лежанке, накрытый кожухами. Лихорадка раздирала тело.

Хотел что-то сказать, но только стучал зубами. Отец утешил:

- Это мороз из тебя выходит...

Отец стоял рядом с матерью. Ничего не спрашивали. Надо ли было спрашивать? Разве не видели сами, когда рубаху снимали?..

Мысли Нечипора ворочались медленно, лениво. Вот он и в Репках. Что же дальше? Но не хотелось думать. Хотелось закрыть глаза и лежать. Не думать и не говорить... Забыть все. Гуту... Только вспомнив это слово, он весь задрожал. Открыл глаза. Поймал на себе тревожные взгляды матери и отца, застонал.

...Переждав у добрых людей под Межигорьем, Нечипор пустился в путь. Сначала думал итти в Чигирин, прямо к гетману, рассказать обо всем, а потом только ругнул себя за такую нелепую мысль. Решил итти в Репки. И вот уже он дома. Отлежавшись, спросил:

- А вы как?

- Что мы?.. Так, как видишь...

Вслушался в неуверенный голос отца. А разве ожидал другого ответа?..

- Мария где? - В сердце кольнуло, словно ждал недоброго. Повеселел, когда услышал:

- Тебя ждет, сынок, глаза выплакала... - Голос матери ломался, и слезы звенели в нем.

С минуту молчал.

- Что ж, худо? - спросил отца.

- Худо, Нечипор... Худо.

И больше ни слова. Знал отцовский нрав. Если он так скуп на слова, значит очень худо. Но разве он ожидал другого ответа? Сказать по правде ожидал. Только сейчас понял это.

В окне мерцал рассвет. Мать растопила печь, он слез с лежанки, сел на лавку рядом с отцом, оба смотрели на огонь, который ненасытно пожирал солому. Мать поставила воду в котле.

- Обмою тебя, сынок.

- Хорошо, мама.

Будто и голос не Нечипоров. Хриплый, суровый. Вспомнила зиму позапрошлого года...

- А про Килыну не спрашиваешь?

Верно, про сестру и не спросил. Вот как закаменело сердце! Только теперь глаза затуманились... Не вытер набежавших слез, слушал скорбный голос матери:

- Померла наша Килына от морового поветрия. Тебя все вспоминала: <Был бы здесь наш Нечипор, не мучились бы мы снова на панщине>.

Он охватил голову руками и, как от дикой боли, закачался.

Стон вырвался из его губ. Может быть, действительно, надо было оставаться здесь после Берестечка, не бросать своего села? Может, надо было сопротивляться, не верить ни полковникам, ни гетману?

Отец заговорил:

- Мучимся, Нечипор, видно, от неволи бедному человеку некуда податься... Корову на Рождество забрали в поволовщину панские слуги... С утра до ночи на панщине... Свой хлеб сгнил на поле... Хорошо хоть в воскресенье ты приехал, не то пришлось бы мне сейчас уйти. А конь где твой?

- Я пешком, тату.

- Пешком... Что ж, казаки и пешие бывают добрые... Только, какие мы теперь казаки?

Нечипор не отозвался. Отец невесело сказал:

- Хлопы мы, а не казаки. Быдло... Васька Приступу помнишь?

- Не забыл.

- Так вот, он теперь у пана управителем. Хозяйничает, выслуживается, все под ним, как под ханом, ходим... Был бы я помоложе...

- Да будет тебе! - вмешалась мать, не давая договорить отцу.

Но Нечипор хотел знать:

- Что бы сделали, тату?

- Да что языком болтать...

Махнул рукой.

- Больше не спрашиваю тебя, сынок, - проговорил тихо. - Все понимаю. Но ты как же, тоже на панщину? В реестр не попал?

Нечипор прочитал в материнских глазах надежду. Но печально покачал головой:

- Нет!

- Пан у нас новый, - сказал отец, - гетман Хмель ему наше село отписал... Полковник Михайло Громыка... Лютый пан.

- Громыка... - Нечипор от неожиданности поднялся. - Громыка, говоришь?..

- Он.

- Я же служил у него...

- Знаю.

- Надо было тебе пойти к нему, пожаловаться. Пускай отдал бы корову, сказал бы ему, чей отец...

- Ходил. Кланялся. Про тебя сказал.

- А он? - сердце замерло у Нечипора.

- А он выслушал, накричал, такой шум поднял, что не знал я, куда и деваться, хорошо, что не велел киями угостить... <Мало, - говорит, - у меня тех казаков было? Чинш плати - и все>. С тем я и пошел. Васько Приступа только смеется: <Расскажи, - говорит, - как к пану Громыке в гости ходил...>

- Будет, тату. - Нечипор закрыл лицо руками. - Будет. Помолчите. Я ж того Громыку под Зборовом своею грудью от пули закрыл. Ранили меня... Насилу отлежался...

- Зря так поступил, ему, харцызяке, надо пулю в лоб... - рассердился отец.

- Да тихо, старый.

Мать умоляюще протянула руки.

- Злой он, злой, что и говорить... - мать вытерла концом платка губы. - а церковь, спасибо, открыл, попа привез, униата выгнал... За то спасибо...

- Поблагодарю я его...

Нечипор стал посреди хаты и загадочно произнес:

- Пойду к нему, поблагодарю за церковь и поговорю. Меня, думаю, не выгонит.

- А может, не надо, сынок? - робко попросила мать.

- Надо, мама!

...Всего три дня в Репках Нечипор Галайда. А за эти три дня наслушался про горе и беду столько, что и за год всего не рассказать. Мария, как проведала, что Нечипор дома, сама прибежала. Она одна утешила немного, и печаль отлетела далеко. Ей одной долгим зимним вечером рассказывал, что было и что случилось. А о том, что будет, молчал. Читал у нее в глазах этот вопрос. Видел беспокойство в ее взгляде. Но молчал. Хотя знал уже, что сделает совсем не то, чего ожидают от него родители.

Васько Приступа смутился, встретясь с Нечипором. Осторожно спросил о Гуляй-Дне. Узнав, что тот неизвестно куда девался, не скрыл своей радости. Не то было бы у него хлопот с этим Гуляй-Днем. Васько Приступа раздобыл, выровнялся в плечах, из-под сбитой набекрень сизой смушковой шапки кучерявился чуб. Над жирными губами лихо закручены усы. В глазах надменность. Сказал:

- Ты до пана Громыки наведайся. Как поступить с тобой... Будешь панщину работать или на службу в его полк снова станешь... Он сердитый, но справедливый...

- Зачем корову у отца забрал, Васько? - спросил жестковато Нечипор.

- Не я брал, - испугался Приступа, - пан приказал, чтобы чинш исправно платили. За твоим отцом еще долг - сухомельщина да попасное...

- Что ж, заплачу. Погоди, заплачу, - загадочно ответил Нечипор и отошел от Приступы.

Остался Приступа один посреди улицы, растерянно глядел вслед Нечипору. Решил: с этим надо быть настороже...

...Репки, казалось, кто-то подменил. Не узнать. Сколько хат с забитыми окнами и дверьми! Подошел Нечипор к хате Кияшка. Ни окон, ни дверей. Заглянул внутрь. Ветром

намело кучу снега. В углу, где когда-то стоял стол, желтеет прошлогодний бурьян, а под потолком заиндевелая икона.

Дальше, за селом, улица упиралась в стену панского палаца. Там, за той стеной, был полковник Громыка. <Что ж, обожди, полковник, я еще к тебе приду. Поговорим>. Нечипор повернул назад и пошел к Марии. Пришел - в хате ни ее, ни матери. Догадался: видно, на панщине, в усадьбе. Тогда, точно и не по своей воле, ноги сами пошли в ту сторону, где подымалась каменная стена, а из-за нее виднелась покрытая снегом высокая крыша.

...Полковник Михайло Громыка выглянул в окно. У коновязи уже стоял оседланный конь. Казак в жупане расчесывал ему гриву и то и дело поглядывал на окна. Громыка потянулся, предчувствуя приятный холодок зимнего дня, который сразу охватит его, едва только сядет на коня. В эту пору он каждое утро выезжал в поле. Скакал час-два, пока мылом конь не покроется, а тогда возвращался. Подумал: <Недолго придется так развлекаться, вот-вот жди от гетмана гонца>. Крикнул грозно:

- Гей, джура!

Джура вырос в дверях, поклонился, точно переломился в поясе, и ловко выпрямился. Глаза устремлены на полковника.

- Сапоги и кунтуш!

Джура через минуту снова был тут. Помог натянуть сапоги, подал кунтуш. Громыка не спеша застегнул белую шелковую сорочку под кунтушом. Прошелся по светлице, рассыпав звон серебряных шпор. Джура стоял у порога, ждал. Со стен на полковника Громыку смотрели какие-то надменные паны в латах и пани в старинных пышных платьях. Следили за ним, как казалось Громыке, испуганными глазами. А как же было им не пугаться? Кто это похаживал по светлице? Не пан Кисель, слуга короля польского, и не Ерема Вишневецкий, бывший владелец этого палаца, а полковник гетмана Хмельницкого - Михайло Громыка, который еще не так давно только есаулом был. Тот Громыка, который правнуков и внуков вот этих панов, умелою рукою изображенных живописцем, громил под Корсунем и Пилявой, под Зборовом и Берестечком... Правда, под Берестечком не вышло, как думал гетман... Но это не помешает тому, чтобы теперь все обошлось как следует. Громыка посмеивается над панами, висящими на стенах, и от удовольствия даже подмигивает джууре.

- Пани встала? - спросил у джуры.

- Изволят еще почивать, пан полковник.

- Управитель тут?

- Ожидает ваших приказаний, пан полковник.

А что приказывать? Все идет как полагается. Зерном, слава богу, полны амбары. Уже и фактор приезжал, заберет, наверно, на этих днях. В конюшне восемь десятков венгерских коней, да таких, что и хан бы от зависти лопнул. Чинш посполитые платят. Непослушания нет... Правда, только вчера жаловался Приступа: языками плетут, мол, что Кисель, что Громыка - одно племя. Собачьи головы - и все! Что ж, разве он, как тот Кисель, расплодил униатов? Выгнал ведь их, чтоб и не смердело. Церковь своим коштом обновил, новый купол возвел. Плотины приказал новую сделать. Три новых мельницы поставил. Пусть себе мелют, сколько угодно, только не языками. Но чинш, известно, должны платить. И работать должны как следует.

У Киселя все шесть дней на панщине были, а у него ведь не панщина, а отработок в счет чинша - три, правда, порою, если надо и четыре, и пять дней... Что ж с того? Это только для общей пользы. Вот война будет - денег много понадобится.

Утреннее спокойствие рассеивается от этих мыслей. Вспоминает - недели три назад, в Чигирине, Капуста сказал ему:

- Слушай, полковник, жалуются на тебя, что крут на руку до посполитых... Ты осторожнее...

Что там осторожнее! Кому поле пахать, кому хлеб сеять, а кому воевать и край от панов да униатов оборонять...

Джура замер у порога. За порогом ждет Приступа, почтительно покашливает в ладонь.

В сенях лягавые псы кидаются к двери, рвутся во двор.

На другой половине палата проснулась уже пани полковникова. Ключница стоит в ногах, почтительно сложила руки на груди. В глазах одна сметана, губы расплылись в медовой улыбке. Как пани изволили почивать? Какие сны привиделись? Погода нынче хорошая. На завтрак зажарили, как велено, с вечера шестерых цыплят, сварили юшку. Холодец такой, что под зубами скрипит. Узвара две макитры. Вино венгерское приготовили и меда свеженького.

Пани Громыка лежит, слушая, как сыплет словами, точно горохом, проворная ключница. Спрашивает:

- Индюков заморских чем кормили?

- Орехами, пани.

- А гусей подвесили под крышу?

- А как же, подвесили в мешках и уже кормили галушками, как велено. Еще радость какая: свинка, которая с пятном на лбу, опоросилась...

Пани крестит рот, зевает.

- Сон привиделся...

Ключница - само внимание.

- Привиделось: лежу в поле, ромашка передо мною, хочу сорвать, не дотянусь...

Лицо у ключницы становится печальным, она шевелит губами.

- ...Потом дотянулась, сорвала, а на место ромашки - злотый...

- Прибыток получите, пани, прибыль. Сначала, что дотянуться не могли - это худо, и ромашка - худо. Недруги, злой наговор. А то, что, сорвавши, увидали золото на ладони, значит корысть получите великую.

Пани полковникова слушала ключницу.

- Прибыток, корысть - это хорошо. Лишь бы не война. Но, видать, быть-таки войне, ведь вчера вечером Михась говорил: <Ты, серденько, готовься, скоро прощаться будем, надолго ли, не знаю, но уж такие дела...>

Ключница сыплет горохом слов, но пани полковникова не слушает уже, мысли обращены на другое... Неохотно она подымается с постели.

...Полковник Громыка уже собрался выходить. Джура сбегал за саблей, подал полковнику, кланяясь, доложил:

- В сенях казак какой-то просится до вас, пан полковник. Есаул изволили передать.

Громыка положил саблю на кресло, подкрутил усы. Казак, какого беса ему еще надо? А может, гонец? А, чтоб ей, этой вседневной заботе!

- Живей давай его сюда.

...Нечипор Галайда стоял перед своим бывшим полковником. Держал шапку в руке.

- Челом бью, пан полковник!

- Челом, челом и тебе, казак. Что скажешь?

Оглядел острым взглядом всклокоченную чуприну, желтое лицо, лихорадочный блеск глаз, потертую свитку, сбитые сапоги.

- Что скажешь, казак?

Да какой это, до беса, казак? Хлоп какой-то. Уже грознее и нетерпеливее крикнул:

- Что тебе?

- Повидаться пришел, пан полковник.

- Только и думки было - с тобой встретиться, - насмешливо сказал Громыка.

Но Галайда не обиделся:

- Не узнаете?

Полковник даже повеселел.

- Что-то не припомню, где это мы с тобою вместе пировали?

- Пировать - того, правда, не было, а воевали вместе - это было, пан полковник.

Громыка нахмурился. Заложил руки за спину, спросил:

- В реестре?

- Нет.
- Как сюда попал?
- Отцовщина моя тут.

Гнев сдавил сердце, но Галайда сдерживал себя и говорил тихо, только крепче сжимал шапку в руке.

- Как звать?
- Галайда. Казак третьей сотни...

Он ждал - теперь Громыка вспомнит. Всплывет в памяти августовский день, поле битвы под Зборовом, гром пушек и он, Галайда, точно из-под земли вынырнув, заслоняет полковника своей грудью от вражеской пули... Но на лице полковника суровое презрение и нетерпение. И глухая обида наполняет сердце Нечипора Галайды. Громыка молчит, и Нечипор уже знает: ни за что на свете не напомним он полковнику об этом дне.

- Чего хочешь от меня?
- Корову у родителей моих в поволовщину забрали, - глухим голосом говорит Галайда, - прикажите воротить...

- Вот что! Так не ко мне обращайся, к управителю...

- Я вас прошу, добром прошу...

- Ты что? Придержи язык! Прикажу на конюшне палками угостить... Пошел отсюда!

Громыка сделал шаг к Нечипору и гневно повторил:

- Вон!

- Под Зборовом вы иначе говорили со мной, пан полковник... - У Галайды дергались губы, сорвался голос. - Под Берестечком к своему столу кликали. Теперь палками грозите... Рано в паны вышли, пан Громыка...

Полковник рванул из-за спины руку и ударил Нечипора по щеке.

- Ах ты, сволочь, бродяга! Есаул! Казаки!

Джуру как ветром вымело. У Нечипора в глазах потемнело. Пошатнувшись от пощечины, он увидел полковничью саблю на кресле, и все дальнейшее произошло молниеносно. Когда есаул и Приступа вбежали в покои, Громыка навзничь лежал на ковре, с перерубленным горлом, а Галайда стоял над ним с саблей в руке.

9

В посольском приказе в Кремле посол гетмана Хмельницкого, полковник Иван Искра, говорил:

- Изнываем в великих тяготах, панове бояре, войско королевское села палит, всех, кто замечен в непослушании шляхте, сажают на кол. Только в феврале месяце на Подолии сожжено двенадцать сел. Ведомо вам - сейм в Варшаве не утвердил Белоцерковского трактата. Сие означает - скоро новое посполитое рушение. С крымским ханом король ведет переговоры. Подговаривает его сообща ударить на нас, чтобы гетмана с войском толкнуть против Москвы. Пусть братская кровь льется, вот чего хотят...

- Не беспокойся, посол, - ближний боярин Василий Васильевич Бутурлин чинно разгладил окладистую черную бороду. - Туркам выгодно, чтобы у Речи Посполитой руки были связаны, пока султан с Венециею воюет...

- Сие неоспоримо. Но живем в непрестанной тревоге. Единая надежда ваша помога. Гетман дозволения просит послать посольство к вам, хочет просить царя принять под свою высокую руку войско наше со всеми селами и городами... - Искра, как подобает, помолчал минуту-две, потом продолжал: Король дозволил татарам в счет дани брать ясырь в южных землях наших. Перекопский мурза больше шести тысяч жен и детей в ясырь забрал... Православных на галерах теперь, как звезд в небе... Изнываем в тяготах, панове бояре. Одна ваша помощь может спасти. Еще гетман велел сказать: весной должен начать поход, дабы предупредить войну. Есть вести, что польный гетман Мартин Калиновский с отборным войском движется на нас. Гетман Хмельницкий челом бьет, чтобы в том разе, если фортуна от нас отшатнется, позволить ему со всем войском отойти в земли царства Московского, а только королю и панам ляхам не поддаваться.

Бояре - Бутурлин, Морозов, Милославский, князь Прозоровский, дьяки Алмаз Иванов и Григорий Лопухин - внимательно слушали Ивана Искру.

- Сами, панове бояре, видите, народ наш одного желает - быть с русским народом воедино. Сами видите, в каком большом числе идут в вашу землю. Поляновский договор...

Бутурлин только шевельнул плечом. Возразил:

- Поляновский договор - дело не вечное!

Иван Искра, сплетя пальцы рук, перегнулся через стол.

- Униаты силою заставляют людей ходить в свои церкви. Нами перехвачена грамота от кардинала-примаса униатскому епископу Климашинскому. Писано в грамоте: дескать, в каждой проповеди надо оскорбительно о православии говорить, и православные обряды языческими в том письме названы. Вот-вот дождемся, что на кострах начнут жечь наших попов... В Дубне из православного собора икону с ликом спасителя выбросили на мусор...

Искра перевел дыхание, заговорил спокойнее:

- Просит гетман оказать ему сейчас помощь, продать пушек тяжелых двадцать, да легких пушек числом тоже двадцать, мушкетов тысячу и гульденков двести. Могут ли быть в надежде?

- Будь в надежде, полковник, - Бутурлин кивнул головой. - Дело неотложное, скоро решим. Великому царю о просьбе гетмана будет сказано.

...В тот день велено было быть у царя Алексея Михайловича в Преображенском дворце стрелецкому воеводе Артаману Матвееву да ближним боярам - Бутурлину, Милославскому и Морозову.

Дьяк Алмаз Иванов, затаив дыхание, наклонив голову на правое плечо, записал:

<С пушечного двора боярина Морозова дать гетману Хмельницкому Богдану пушек числом двадцать да легких пушек числом двадцать тож. Брянскому воеводе князю Мещерскому и путивльскому воеводе Хилкову - дать мушкетов девятьсот, какие в их оружейнях для нового набора стрелецкого числятся>.

Что затем было говорено, дьяк не записывал. Приговорили: посольство от гетмана Хмельницкого в Москву может прибыть, царь с ним говорить будет.

Про замысленный гетманом поход на Молдавию, приговорили: в сие дело не вмешиваться, а ежели король обратится, тогда и обсудить. Хмельницкому совет дали договора с крымским ханом на вечную дружбу не заключать, от турок держаться в стороне. Послам царя в Варшаве настаивать перед королем - дабы зла казакам не чинил, а соблюдал Зборовский договор. На все требования королевских послов оказать помощь Речи Посполитой, двинуть стрелецкие полки против гетмана Хмельницкого, отвечать: <Того не можем>. Поляновским договором предусмотрена помощь в случае нападения врага из чужих краев, а тут война домашняя, - ведь и сам канцлер пан Лещинский о событиях на Украине писал, что сие есть <беллюм цивиле>.

Из-за всех этих решений возникало одно: Поляновскому договору конец. Да теперь уж никто из бояр иначе и не мыслил. Шла речь только: когда именно? А спешить в таком деле не следовало.

Конец договора означал объявление войны. Можно и нужно было ожидать создания новых союзов.

Боярин Морозов был прав. Речь Посполитая уже сейчас нащупывала пути к заключению военного договора с Крымом, вела переговоры в Стокгольме с шведскою королевою Христиной, да и папа Римский не замедлил вмешаться. Принятие Хмельницкого с войском и со всем народом под высокую цареву руку будет первым и решительным шагом, который положит конец Поляновскому миру и начало войне. К такой войне надо было притти не с голыми руками. Два десятка стрелецких полков дела не решали. Тут шла речь уже не о мелких военных стычках, а о великих баталиях, в которых придется рисковать судьбою Московского царства. Шла речь о войне с державою, на помощь которой придет немало сил.

Царь Алексей Михайлович, выслушав бояр, сказал:

- Гибнуть народу, родному нам по вере и крови, не дадим.

Ближние бояре поняли: быть войне.

Что ж касается просьбы гетмана о дозволении казакам селиться на русских землях, было приговорено:

<Московская держава богата великими и обширными землями, есть где в ней селиться, и если снова казаки угнетены будут поляками, его царское величество дозволяет им перейти на речки Дон и Медведицу, в места просторные и пригожие, а если селиться войску в иных местах кучно, вблизи рубежей, то будут нежелательные стычки и наезды>.

Иван Искра имел еще две частных беседы с боярином Василием Васильевичем Бутурлиным и, долго не задерживаясь в Москве, выехал в конце марта в Чигирин.

10

Удивительное единодушие проявили на этот раз Выговский, Капуста и Мужилковский. Во всяком другом деле каждый твердо держался своего, а тут все в один голос:

- Казнить смертью.

Гетман не спешил. Послать человека на виселицу - вещь нехитрая. Сказать по правде, в глубине души и он был того же мнения, что и старшина. Но особое внутреннее чувство, к которому он прислушивался и которым редко пренебрегал, подсказывало: <Не спеши>. Правда, человеку, который поднял руку на полковника его войска и причинил ему смерть, была одна дорога - на кол. Будь это на месяц-два раньше, гетман ни минуты не колебался бы. Но теперь, после многочисленных универсалов про послушество, после раскрытия заговора среди старшины и крутых мер, какие он принял, вопреки предостережениям многих из его сотоварищей, теперь, накануне важных событий, он должен был проявить всю осторожность. Речь шла о казаке, да еще о таком, которого знали в полку. Следовало хорошо подумать.

- Помысли, Богдан, какой поступок, - настаивал Выговский, - руку поднял на Громыку. Да чего тут толковать: на кол - и конец! Распустились, собачьи головы! На каждого из старшины нож за голенищем держат. Казнить его прилюдно, чтобы все казачество знало, как таких злоумышленников карают.

Мужилковский и Капуста одобрительно закивали:

- Непременно так поступить.

- Написать универсал, чтобы все казаки знали!..

Гетман молчал. Казалось бы, о чем толковать? Так полагали полковники. Но не так думал Хмельницкий.

...С той минуты, когда Васько Приступа и есаул схватили Нечипора за руки, скрутили их за спиной, хотя он и не сопротивлялся, прошло не много времени.

Связанного Нечипора спешно доставили в чигиринский замок, на суд и расправу к Лаврину Капусте. Есаул Кравец знал, как поступить. Оставить Нечипора в Репках было бы небезопасно. Кто знает, как на это посмотрит и поспольство, и казаки. Нашлись такие, которые вместе с Галайдою были и под Зборовом, и под Берестечком. Рассказывали, как когда-то Нечипор спас полковника от смерти, как ходил за языками, как саблею рубил врагов, так, что пыль столбом... А теперь вишь до чего недоля да обида довели. Джура всюду разболтал: <Полковник кричали, ударили казака по лицу...> Он своею грудью его от пули заслоняет, а тот в благодарность кулаком по роже!.. Видали! Куда годится? Есаул понимал, чем грозят такие речи. Не мешкал. В тот же день Нечипора, связанного по рукам и ногам, кинули в телегу, накрыли рядном, и под охраною десятка верных казаков отправили в Чигирин.

Лежа на холодных сырых камнях в подвале чигиринского замка, Нечипор припоминал до мелочей тот роковой день. Нет, не с плохим намерением шел он к Громыке... Но разве поверят, что только оскорбление, нанесенное ему полковником, вызвало этот неистовый порыв, что страшная злоба мгновенно залила сердце и едкой желчью ослепила взор? Кроме сабли, он тогда ничего уже не видел. Выхватив ее из ножен, понял, что это единственный миг, когда можно отплатить за все: за мучения на гуте, за дикую расправу жолнеров, за обездоленных родителей, за несбывшиеся надежды...

Темно и холодно в каменном мешке. Ни солнечного луча, ни живого слова. Вспомнил - тут, в Чигирине, старый приятель, Терновый Мартын. Как бы ему весточку о себе подать? Но дозорцы за окованными железом дверьми злые, как бешеные псы. Один ответ - кулаком под ребра.

Нечипор знал: дорога теперь ему - только на виселицу... Была в сердце великая скорбь. Как там родители, Мария? Но они были далеко, и не оставалось уже никакой надежды увидеть их. Теперь он знал - спасения не будет. Недаром сам полковник Капуста допрашивал его. Дивное дело! Неужели он надеялся на спасение? Тогда надо было не даваться есаулу и Приступе... Но у него и мысли такой не было. От кого и куда должен был бежать? Кто дал право Громыке ударить его? За что?

Снова гнев наполняет сердце Нечипора. Разбить бы кулаками эти двери, вырваться на волю, туда, к своим побратимам, сказать всем про муки, про боль, напомнить прежние обещания старшины и гетмана... Разве затем бился под Корсунем, рубился под Зборовом, не колеблясь, кинулся под пулю, защищая Громыку, чтобы гнить в убожестве, чтобы мать и отец в нищете мучились, чтобы любимая девушка отработывала панщину, чтобы вместо Киселя сидел в Репках Громыка?

Нечипор не знал, что сто казаков из Белоцерковского полка челом били гетману, просили уважить прежние заслуги Галайды и взять во внимание то, по какой причине он поднял оружие на полковника.

...Посреди ночи Галайду, дремавшего на гнилой соломе, разбудили дозорцы. Нечипор увидел лица казаков, озаренные пламенем факелов, и сердце упало. Он переступил порог своего страшного жилища, думая, что ему предстоит уже последний путь. На дворе пошатнулся, вдохнув свежий воздух, темное синее небо показалось ему солнечно-светлым, и стало несказанно жаль себя, так, как никогда еще себя не жалел. Нечипора втолкнули в повозку, двое верховых стали позади, караульный отпер ворота, и повозка покатила. Один из казаков поровнялся с повозкой, наклонился к Нечипору:

- К гетману везем тебя. Улыбнулась тебе доля. Ты в ноги пади, вымоли себе жизнь...

...Нечипор Галайда, очутившись с глазу на глаз с гетманом, в ноги не упал.

Прислонившись спиной к стене, он закрыл глаза и стоял так несколько минут, ожидая, пока утихнет страшный шум в голове. Нечипор ждал всего, но не мог и думать, что встретится с гетманом. Открыл глаза, увидел: прямо перед ним стоял гетман, заложив руки за пояс кунтуша, и, слегка наклонив голову, пристально разглядывал Нечипора.

- Вот ты какой! - услышал Нечипор густой, зычный голос. - А я думал страшнее.

Повернулся спиной к Нечипору, прошел в другой конец светлицы, к столу, поставил по правую руку от себя пятисвечник, сел.

- Подойди ближе, сядь вон там, - он указал рукой, прикрыв глаза от света краем ладони.

Нечипор послушно оторвался от стены, сел у края стола на скамью. Гетман молча разглядывал Нечипора. Сверлил пытливым взглядом из-под седых бровей.

- Это ты под Берестечком в табор Богуна через вражеские окопы пробрался?

У Нечипора защекало в горле. Одними губами, беззвучно выговорил:

- Я, гетман.

- Помню, хорошую службу сослужил войску... Женатый?

- Нет, гетман...

- Выпей, - гетман налил кубок и протянул Нечипору, - мед добрый, субботовский, пей...

Нечипор несмело взял дрожащими пальцами кубок. Какая-то надежда теплою волною шевельнулась в груди.

- Пей, пей, - сказал Хмельницкий, налил себе, поднял кубок и выпил одним духом. Поставил, вытер платком усы, покачал головой: - Зачем бороду отпустил?

<Смеется>, - недобро подумал Нечипор.

Тихо ответил:

- В тюрьме не бреются, пан гетман.

- А ты живи так, чтобы в тюрьму не попадать. Разве казаку место в тюрьме? Казак в

седле должен быть, посреди степи, чтобы путь стлался перед ним далекий, чтобы конь копытом землю пробовал, чтобы ветер в лицо крылами бил. А ты какой казак? Ты теперь не казак...

- Я не в реестре, - сказал Нечипор, отодвигая кубок, - мне счастье не улыбнулось, гетман...

- Ты не один, Галайда, паны сенаторы в Варшаве на сейме снова приговорили, чтобы реестр был только в шесть тысяч. А казаков сколько?

То, что гетман до сих пор ни словом не обмолвился про Громыку, наполняло сердце Нечипора дурным предчувствием. Хмельницкий продолжал:

- Снова быть войне, Нечипор Галайда. Или, может, думаешь, лучше панам покориться? Они уже и гетмана нового нашли, сотника Забузского, может, слышал? Так как же ты, Галайда?

- Мне все равно, гетман, мне одна дорога...

- Куда ж твоя дорога пролегла, Галайда?

В глазах Нечипора запрыгал потолок, заколыхался стол, гетман отплыл куда-то далеко в угол, потом приплыл снова на то место, где был. Галайда зажмурился.

- Моя дорога, видать, - на виселицу, гетман...

Так он сам начал разговор, невмоготу было уже.

- Сам выбрал себе ту дорогу, казак, - сурово проговорил гетман.

Охваченный отчаянием, Нечипор вскочил на ноги. Ударил себя кулаком в грудь...

Хмельницкий прищурил глаз, откинулся на спинку кресла, процедил:

- Что, может, и на меня с ножом?

Нечипора эти слова пригвоздили к месту. Упал головой на стол, потом заставил себя подняться. Показал Хмельницкому багровое пятно на виске.

- Он ударил меня, ударил, обесчестил. Я грудью от смерти его закрыл... Под Зборовом...

- Знаю! - Гетман хлопнул ладонью по столу, как бы приказывая Нечипору молчать.

- Знаю, Галайда. Но кто тебе дал право подымать руку на полковника?

Нечипор молчал.

- Поступил Громыка негоже, должен мне челом бить! Есть на всех суд и расправа. Все должно делаться по закону... Знаешь ли ты, что паны только о том и мечтают, чтобы раздор и смуту посеять в нашем войске? Ты что ж, им на помощь стал?

- Гетман, - хрипло проговорил Галайда, - взгляни, гетман, что вокруг тебя творится. Ты пойди сам по селам, послушай, о чем народ толкует, погляди, сколько полковников твоих плохому научились у панов...

Все, что думал в эти дни, все, что испытал злого и страшного, про ту ночь на гуте, про расправу Гармаша и Тикоцинского, про сестру Кильну, про нищету отца и матери, про свои надежды несбывшиеся - обо всем горе и обидах сказал Нечипор.

- Все тебе поведал, гетман. Можешь посылать меня на виселицу или на кол, выбирай сам, какой смерти достоин я.

Голос Галайды прозвучал твердо, и Хмельницкий, глянув на него исподлобья, вдруг сказал:

- Нет, ни виселицы, ни кола тебе не выберу, хоть и заработал ты одно из двух. Волю даю тебе, Нечипор Галайда, сам выбирай себе дальше дорогу...

Хмельницкий хлопнул в ладоши. Нечипор Галайда, широко раскрыв глаза, глядел на гетмана. Джуре, появившемуся в дверях, Хмельницкий приказал:

- Скажи есаулу - одеть казака Галайду, дать саблю, коня...

Джура скрылся за дверью. Нечипор, не сводя глаз с гетмана, прижал руку к сердцу:

- Дай еще послужить тебе, гетман... дозволю!..

- Не мне служи, казак, вот ей служи честно, - Хмельницкий, сверкнув глазами, указал рукой на окно, за которым синела весенняя ночь, - ей служи честно, отчизне нашей. Она теперь в муках великих. Терзают ее иезуит и шляхтич, и татарин, и турок, уния моровою

язвою ползет. Иди в свой полк, казак Галайда, скоро быть битве. Там, на поле битвы, с саблею в руке, покажи свою силу...

...В гетманском универсале, объявленном в Белоцерковском полку, говорилось, что бывший казак этого полка Нечипор Галайда из села Белые Репки убил насмерть полковника Михаила Громыку и за этот злоумышленный поступок генеральным судьей приговорен к казни через повешение. Но понеже оный Галайда под Зборовом спас в бою жизнь полковнику Громыке, а под Берестечком добыл отвагою своею великую заслугу перед войском, гетман Богдан Хмельницкий приговор генерального судьи отменяет и позволяет Нечипору Галайде быть дальше в полку, дабы на поле битвы искупить свой грех.

Казак, выслушав гетманский универсал, говорили:

- Хмель за нас горою стоит...

- Хмель не даст казацкие вольности затоптать...

- Громыка запанствовал, вот и пал от руки казака... Где ж такое слыхано, чтобы у казака поволовщину брать?..

Об этих речах Капуста доложил гетману. Хмельницкий ничего не сказал на то, лишь загадочно улыбнулся. А что было говорить? Разве он и раньше не знал, что именно так будет? Полковники советовали: <Надо так сделать, чтобы все казачество знало...> Что ж, он сделал.

И правда, двух недель не прошло, как о гетманском универсале знали далеко за пределами Белоцерковского полка.

Случай с Галайдой снова подтверждал, как крепко держит он, Хмельницкий, сторону казачества, не дает никому поблажки, хотя бы и полковнику, и снова казаки говорили: <Единая наша надежда - гетман Хмель>.

Теперь Иван Выговский понял, почему Хмельницкий не соглашался на все уговоры казнить Галайду.

Трудное время переживал генеральный писарь. Больше чем когда-либо ему надо было беречься, хотя самый опасный для него человек - Малюга уничтожен. Выговского бесило, что его отстранили от переговоров с Москвой и доверяли теперь только второстепенные дела. Писарь прилагал все усилия, стараясь убедить московского посла Зеркальникова в том, что Хмельницкому верить нельзя, что Хмельницкий держит руку султана и замышляет вкупе с ним и с ханом всякие злые дела против царя...

Еще в Белой Церкви, во время переговоров о мире, Выговскому удалось о многом договориться с коронным гетманом Потоцким. Но Потоцкого вскоре унесла смерть. Это событие несколько спутало расчеты генерального писаря. Снова ему приходилось выжидать. Недавний приезд из Москвы Ивана Искры и его долгие беседы наедине с Хмельницким заставили Выговского беспокоиться. Надо было крепче держаться на своем месте. После расстрела Гладкого Выговский понял: гетман ни перед чем не остановится.

Генеральный писарь всячески старался подчеркнуть свое умение. Действуя неспеша и настойчиво, он постепенно прибрал к своим рукам дела, касающиеся молдавского господаря. Тут, помимо воли гетмана, получилось так, что Выговский стал его первым советчиком.

Зная слабое место гетманича Тимофея, Выговский говорил ему:

- Что ж, господарь Лупул смеется над нами? В прошлом году обещал выдать за тебя Домну-Розанду, да на том и успокоился...

Тимофей, насупив брови, недобро поглядывал на генерального писаря, но это не могло остановить Выговского.

- Саблей бы заставить его держать слово.

Предстоящий поход Тимофея на Молдавию, благодаря стараниям Выговского, не был тайною ни для Лупула, ни для канцлера Речи Посполитой. И Варшава воспользовалась полученными сведениями. Три корпуса кварцяного войска, вооруженные с ног до головы, имея при себе большое число пушек, вышли на правый берег Днестра, по приказу короля повернули на юг и двинулись к Батугу.

Но генеральный писарь готов был пальцы кусать себе, когда узнал, что вместо Тимофея

четыре лучших полка поведет на Батог, навстречу войску Калиновского, сам гетман. Изменить что-нибудь в этом было уже поздно, да Выговский и не в силах был.

В заранее намеченном порядке шли в начале мая гетманские полки по Каменецкому шляху. Чигиринский, под бунчуком гетмана, и Белоцерковский были в авангарде. Следом двигалась артиллерия под началом Коробки, за пушками, на телегах, по всему окоему тянулся пехотный Переяславский полк, а за ним - арьергардный - Черкасский. Корсунский полк во главе с Иваном Золотаренком выступил на несколько дней раньше, взяв путь на север от Батога, чтобы выйти Калиновскому в тыл.

Мягко стлалась под майским ветром трава. Высоко плыла над конниками небесная лазурь. Снова шумел степной шлях. В придорожных селах били в набат.

...Хмельницкий едва сдерживал своего аргамака. Конь ржал и, мелко перебирая ногами, взбивал на шляху легкое облачко пыли. Рядом с гетманом Носач, Богун, Тетеря и Пархоменко. В такой погожий день грех забираться в закрытую карету.

Весна раскинула вокруг свой светлый шатер. Ветер высушил степные шляхи. Гетман впивался взглядом в синюю даль. Он снова ощущал в сердце необычайную легкость, то чувство, какого не знал уже много месяцев.

В тягостных заботах прошла трудная зима. Позади остались бесконечные хлопоты об оружии, ядрах, порохе, переговоры с ханом, непокорство посполитых, жалобы Адама Киселя. У края неба обманчивым маревом поднимался день грядущей битвы. Гетман понимал: не в молдавском господаре дело. Паны сенаторы и король поручили Мартину Калиновскому потрепать казацкое войско. Калиновский ждет гетманского сына, - что ж, он будет иметь удовольствие встретиться с самим гетманом. Выиграть предстоящую битву, разгромить Калиновского, это означало - сорвать панам посполитое рушение на нынешний год.

Знал доподлинно: пусть только судьба порадует победой, - и тотчас подымется весь народ. О каких реестрах тогда говорить?.. Подавшись всем телом вперед, зорко вглядываясь вдаль, Хмельницкий скакал, обгоняя полки и обозы, и конь послушно подчинялся его твердой руке.

Полковники молча ехали рядом. Войско быстро шло на юго-запад.

Остановившись на привал в селе Тарасовка, Хмельницкий вечером писал грамоту путивльскому воеводе Хилкову. Воевода должен знать: поход сей замышлен как новое начало борьбы с королем и шляхтою. Жить с ними в мире и согласии - дело немыслимое. Никаким их клятвам верить нельзя. Уния стремится к одному - заполнить иезуитами все земли украинские, окатоличить край, свести на нет добытые казаками вольности. Бог видит, он хотел верить королю. Бог свидетель - не он первый нарушил свои обещания.

Хмельницкий просил воеводу при случае отписать в Москву, что он с войском и всем народом бьет челом царю за великую помощь и уповаает на те времена, когда царь примет Украину под свою высокую руку, когда станет войско казацкое плечом к плечу со стрельцами царства Московского...

Позже, низко наклонясь над столом, он писал Ганне в Субботов:

<Близка уже цель нашего похода. Все хорошо тут, всем весьма доволен. Но сердце к тебе рвется. Сам этим чудом удивлен. Мысли мои с тобою вседневно, голубка моя. Разведка известила, что Мартин Калиновский стоит уже под Батогом с превеликим войском, а с ним вместе прославленный мастер пушечных дел Пшиемский, староста красноставский Марк Собесский, какие-то иноземные генералы, чьих имен еще не знаем, но, мыслю, вскоре доведемся, взяв их в полон. Сила там стоит большая, и тем больше мое желание обезвредить ее и разгромить. Если фортуна нам улыбнется, то вскоре будем гулять на свадьбе Тимофея с Лупуловой дочкой в Яссах. Капусте скажи, чтобы живописца, который прибыл в Чигирин из Киева, доставил сюда в лагерь с надежной охраной. Кланяюсь тебе в ноги и целую. Твой Богдан>.

Перечитал написанное. Письмо не очень понравилось. Получилось как-то хвастливо и легковесно. В темном углу селянской хаты увидел перед собою строгое лицо Ганны.

Смотрела на него с укоризной. Он нерешительно повертел письмо в руках, но все же решил отослать его.

Крикнул писца, велел отправить с рассветом и грамоту, и письмо. Улегся в постель. Писец погасил свечи, вышел. Хмельницкому не спалось. За стеной заплакал ребенок. Сонный женский голос прозвучал совсем рядом:

- Молчи, молчи, а то отдам гетману Хмелю, а Хмель сердитый...

Ребенок затих. Гетман горько улынулся. Будет о чем рассказать Ганне. Снова ее лицо возникло в полутьме. Глаза ее были суровы и вопрошающи.

Через минуту мысли уже были под Батогом. Он понимал, как много будет значить победа над польным гетманом. Случись это - посполитое рушение оттянется еще на год, и он принудит шляхту оставить Киев, Брацлав, Винницу... Ясное дело, выступление Калиновского - пробный камень. Если Калиновскому посчастливится под Батогом, шляхта двинется дальше. О каких договорах может тогда идти речь?

Ему не спалось. Ночной сумрак в хате был для него полон видений. Снова за стеной заплакал ребенок, и снова сонный и печальный голос страдал:

- Плачь, плачь, придет Хмель, съест...

- Брешешь, - злобно сказал Хмельницкий вслух, - брешешь...

...На дворе заржала лошадь, перекликались часовые. Гетман не мог заснуть. Заботы обступали, не было покоя сердцу. А что, если Калиновский нанесет ему поражение? Что тогда? Но он знал, что тогда делать. Конечно, вести мирные переговоры будет невозможно. И останется единственный путь. Ответ, который привез из Москвы Искра, указывал выход. Ни на минуту не колеблясь, он решил, как поступит. Полки будут отведены в пределы Московского царства - все его войско. На худший случай он уже оставил в Чигирине такой приказ Капусте. Даже Ганне сказал: <Будет поражение собирайся в дорогу>. И то, что думал об этом спокойно, ободрило его теперь. Он почувствовал в этом свою силу и решимость.

Не спеша перебирал мысленно каждый шаг свой, оглядываясь в прошлое, а больше заглядывая в завтрашний день. И казалось - видел этот день отчетливо. Был он весь в блеске солнца, наполненный победным голосом труб, ударами тулумбасов, праздничным звоном на софийских колокольнях в Киеве. Там, в Киеве, пока сидел еще воеводой сенатор Адам Кисель, но уже стоял наготове в Борщаговке полк Антона Ждановича, ожидая результатов битвы под Батогом. По первому приказу Жданович войдет в город и вышвырнет оттуда кварцянское войско.

Вспомнил Федора Свечку: теперь бы ему жить да писать... А Морозенко, а Кривонос, а Небаба... И снова подумал про тот будущий день. Про победу. На чем остановился? Ага! Киев. Что ж, если под Батогом он добудет победу, Киев станет свободен. И не Киев только, а все Надднепровье. Пускай тогда кто-нибудь осмелится укорять его, что он не сдержал слов своих, произнесенных перед казаками на площади у белоцерковского замка?

Путь в Московскую державу будет ему открыт. Разве сможет Речь Посполитая тотчас поднять новое войско? А что, если... Нет! Ничего худого не могло произойти. Он должен победить Калиновского. Пускай Калиновский идет на него с пушками, со шведами и немцами, хотя бы в союзе с самим сатаной! Берестечский позор не повторится.

Много позднее, уже после битвы под Батогом, Хмельницкий вспоминал эту ночь в селе Тарасовка как благословенный берег, оттолкнувшись от которого он смело мог плыть вперед, зная, что за спиной - родная земля.

11

<Коронному канцлеру, ясновельможному пану князю Лещинскому.

Ясновельможный князь и благодетель! Я встретил королевскую почту, которая шла в лагерь под Батогом. Поелику теперь ей уже не было надобности идти к месту назначения, я распорядился, чтобы она немедленно возвратилась назад и как можно скорее уведомила вас о страшном, неслыханном и непонятно быстром разгроме наших войск Хмельницким.

Ход военных действий был таков: сначала небольшие, но хорошо вооруженные казацкие отряды атаковали наше войско, которое мужественно и счастливо отбило

вражеские наскоки. Три наших полка оттеснили Буджакскую орду татар, которая помогает Хмельницкому, - мыслю, без ведома хана. Но после того, как враг получил подкрепление, он сдержал наш натиск и вновь атаковал нас, надо признаться, с большим успехом. Бой продолжался до вечера и принес нам большие потери.

На другой день около полудня на нас кинулся сам Хмельницкий со столь великими силами, что мы не смогли продержаться и одного часа. Нас теснили со всех сторон, рубили саблями. Казаки так окружили лагерь и врезались в него, что наше войско, - я должен прямо сказать вам это, - было стерто с лица земли.

Польный гетман пан Мартин Калиновский укрылся сразу в редутах, занятых иноземными полками. Но и там нельзя было долго сопротивляться, ибо враг, имея несколько десятков пушек, окружил наши редуты со всех сторон. Защитники последних были или убиты, или взяты в плен. Им пришлось сдаться, ибо защищать наспех построенные редуты все равно не было возможно, особенно при том замешательстве, какое возникло в войсках, когда мы узнали о бегстве нашей челяди из лагеря. Казаки проникли в лагерь и брали в плен кого хотели и как хотели.

Изо всего нашего полка бог спас только меня и еще одного воина, - нам чудом удалось переплыть реку. Из других полков отойти удалось весьма немногим, ибо река и густые леса сильно затрудняли правильное отступление. Какая судьба постигла свиту польного гетмана пана Мартина Калиновского, сказать трудно. При гетмане находились: его сын, его милость пан коронный обозный, каштелян черниговский пан Одживольский, староста красноставский пан Марк Собесский, их милости паны Балабан и Незбытовский, подсудок брацлавский Козаковский и несколько других вельможных шляхтичей. Во всяком случае, вряд ли кому-нибудь из них удалось пробиться сквозь густые массы вражеских войск. Иноземцы и рейтары держались стойко, но из них, боюсь, мало кто сможет в будущем защищать Речь Посполитую.

Его милость пан воевода брацлавский, который стоял недалеко от лагеря, но не присоединился к нам, смог, по-видимому, отступить в Каменец. Заднепровское войско и полки воеводы Киселя и Сапеги стояли в Ахматове. Им удалось соединиться, и, окруженные казаками, они с боем отступают в Полесье.

Каковы намерения врага - одному богу известно.

Можно опасаться, что он двинется вглубь Речи Посполитой. Поэтому, видимо, совершенно необходимо организовать оборону коронных земель не позже, чем за одну-две недели. Предлагая все эти суждения на усмотрение вашего светлого разума, выражаю надежду, что несчастливые известия, принесенные не философом, а опаленным порохом воином, будут все-таки приняты благосклонно.

Надеюсь также, что вы не забудете бедного солдата, который усердно служит уже двадцать лет. Полагаюсь на вашу милость. Ваш покорный слуга Никола Длужевский, подстароста брацлавский.

Ново-Константинов, ночь, двадцать четвертого мая 1652 года>.

...Коронный канцлер еле дочитал письмо. Его знобило, хотя сквозь открытые окна лилось июньское тепло. Он приказал слуге разжечь камин и закрыть окна.

Только что этим утром он узнал из тревожного письма сенатора Адама Киселя, что воевода принужден оставить Киев и временно будет пребывать в своем маетке в Гоше. Кисель намекал на дурные слухи о судьбе Калиновского и прочих региментарей. Письмо Длужевского не оставляло уже никаких сомнений.

Так была сведена на нет победа под Берестечком, которую столь заботливо и старательно готовили. Уходил в небытие Белоцерковский трактат. <Теперь, может быть, сейм утвердил бы его... - мелькает мысль у канцлера. - Но поздно!> Канцлер глубже усаживается в кресло, закутывает ноги шкурой леопарда. На камине швейцарские часы бьют пятый час. Во дворце играют трубы: это король садится обедать.

Через несколько дней стало точно известно о гибели под Батогом польного гетмана Мартина Калиновского с сыном, Марка Собесского, Балабана, Одживольского и многих

других рыцарей, имена которых знала вся Речь Посполитая.

Армия Мартина Калиновского, первоклассное войско, вымуштрованное и подготовленное для предстоящих великих действий, было разбито наголову. Свыше шести тысяч жолнеров, в том числе много иноземной пехоты, попало в плен к Хмельницкому.

Король приказал объявить двухнедельный траур в знак скорби по гетману польному и всему шляхетству, павшему в битве. На башне магистрата и над дворцом подняли черные флаги.

...Шведский посол Франц Мейер и венецианский посол граф Кфарца в эти дни имели частную беседу. Кфарца вынужден был признать:

- Синьор Альберт Вимина был прав, отдавая должное гетману Хмельницкому. Не кажется ли вам, сударь, что этот Хмельницкий теперь семимильными шагами пойдет на север, прямо в объятия Московского государства? Я не вижу препятствий к их слиянию.

Шведский посол взял из золотой табакерки щепотку табаку и старательно запихал его в ноздри. Вытер усы платком и выжидающе смотрел на венецианского посла.

- Это будет весьма неприятно для нас...

Венецианец сокрушенно покачал головой.

Мейер многозначительно сказал:

- Объединение всех русских земель в одном государстве - крайне беспокойное и малорадостное событие для Европы. Ни одному монарху сие не наруку. Усматриваю, господин посол, в этом и более важное: Хмельницкий утверждает чернь в ее естественных стремлениях. С давних пор известно, кому владеть землей, кому работать на ней...

- Думаю, что и Хмельницкий такой же мысли. Не это, господин Мейер, главное.

Послы задумчиво смотрели друг на друга. С достоинством выжидали, кто первый вымолвит слово.

Граф Кфарца думал: <Ослабление Речи Посполитой не в интересах Венецианской республики. Это означало бы утрату всех надежд на помощь в войне с Турцией за Крит>.

Франц Мейер думал: <Ослабление Речи Посполитой три года назад, в дни Тридцатилетней войны, было бы своевременным, но теперь сие весьма нежелательно. Московское государство стремится к берегам Балтийского и Черного морей. Держать его в железном кольце, замкнув выход к морю, вскоре станет невозможно>.

- Хмельницкий понимает, - сказал немного погодя Мейер, - великое значение для Украины присоединения ее к Московской державе. Допустив отделение богатых и плодородных латифундий от своей короны, король Ян-Казимир ослабит королевство. Речь Посполитая потеряет свою силу, лишится богатых земель, большого числа дешевых рабочих рук, отважного войска. Она будет стоять перед угрозой утраты земель, ранее захваченных у Московского государства. Поляновский договор станет пустым словом.

- Он и теперь таков. Разве не известно вам, господин Мейер, что Хмельницкий пользуется большой поддержкой Москвы? - Граф Кфарца раздраженно повысил голос. - Наш посол из Москвы сообщил что Хмельницкому дают оружие, пушки, порох, ядра, зерно. Торговые люди с Украины освобождены от пошлины в русских городах. И, говоря откровенно, я не вижу: что тут может сделать Речь Посполитая?

- Есть только один способ предупредить события.

Кфарца вопросительно взглянул на шведа:

- Вы хотите сказать...

- Вы поняли меня, господин посол.

Мейер протягивает руку к серебряной вазе.

- Что это за цветы, господин Кфарца?

- Ландыши, господин посол. Вы думаете, что только...

Мейер удивленно подымает брови. Ей-богу, этот венецианец привык, чтобы ему каждую мысль разжевывали.

- Я имею в виду войну, господин посол, как единственный способ предупредить

события, нежелательные для наших государств.

- Но лучшая армия, господин Мейер, лучшая польская армия разбита под Батогом. Коронный канцлер вчера высказал мне опасение, что Хмельницкий может двинуться вглубь Польши. Коронный канцлер боится бунта собственной черни. Он больше верит наемному войску, чем своим жолнерам.

Шведский посол хрипло рассмеялся.

- Коронный канцлер - недалекovidный государственный муж. Он хороший католик, но плохой дипломат. Я бы посоветовал королю сменить его на преподобного нунция Иоганна Торреса. Святой отец гораздо лучше разбирается в мирских делах. Хмельницкий не двинется теперь вглубь Польши. Почему? Я вижу, у вас этот вопрос на устах. Да потому, господин посол, что Хмельницкий не захочет теперь рисковать. Он выиграл битву и будет готовиться на своих землях к новому походу, и знаете, сообща с кем?

- С ханом и Портою, - сказал Кфарца.

- Чепуха! - шведский посол с сердцем ударил кулаком по подлокотнику кресла, - Хмельницкий будет воевать против Речи Посполитой вместе с Московской державой.

Граф Кфарца горестно закивал головой:

- Вы правы, господин посол.

Мейер погладил бритые щеки, в прищуренных глазах искрилась усмешка. Луч закатного солнца упал на золотую пряжку туфли посла, и он опустил руку, ловя перстнями солнечный блеск. Как бы говоря сам с собой, швед тихо, но четко проговорил:

- Объединение всех русских земель в едином Московском государстве неприятная и весьма нежелательная вещь. Европа этого не допустит.

...В конце июня в соборе святой Софии в Киеве митрополит Сильвестр Коссов правил панихиду по погибшим воинам казацким, добывшим беспримерною отвагою своею победу под Батогом. Гетманом было приказано читать полностью имена и прозвания казаков, есаулов, сотников, сложивших голову в той битве. На панихиде присутствовали от гетмана полковники: Антон Жданович, Иван Богун, Силуян Мужилковский и Иван Золотаренко.

Ветер весело шевелил на башне магистрата малиновое знамя казацкого войска, бродил гулякой по киевским садам, ластился к широкогрудому Днепру, летел дальше в степь.

Ночью на улицах и площадях пылали костры, в темно-синее небо летели разноцветные огни, играла музыка, лихие танцоры взбивали сапогами облака пыли. На площади перед Софией пылали плошки. У костра мужчины, женщины, дети тесным кольцом обступили слепого певца. Простоволосый старик, уставясь в огонь бельмами глаз, грубым голосом тянул слова:

Тоді ж то Хмельницький листи чита?,

Стиха словами промовля?:

<Ей, козаки, друзі, діти, небожата,

Погодіте ви трохи мало, небагато,

Як од святої Покрови та до світлого

трихденного воскресіння,

Як дасть бог що прийде весна красна,

Буде наша голота вся рясна>.

Человек в чужеземной одежде, расталкивая толпу, пробрался ближе к лирнику. Завороженным взглядом остановился на старике. Поспешно вытащил из-за пазухи тонкую дощечку, покрытую серым полотном. Положил дощечку на голову сопровождавшему его мальчику и быстро начал водить по ней углем. Сначала на него не обращали внимания, но потом те, кто стоял ближе, увидели, как умелая рука изобразила на полотне фигуру лирника и лица людей, стоявших за его спиной.

Абрагам Ван Вестерфельд, голландский живописец, кроме костра и сурового, открытого лица старого лирника, уже ничего не видел. Только когда вокруг зашумели и начали дружески хлопать его по плечам, он словно проснулся и растерянно огляделся. Люди одобрительно прищелкивали языками, - на куске полотна, как живой, сидел дед-лирник.

Неся на вытянутой руке рисунок, Ван Вестерфельд поспешил домой.

А через неделю в Субботове художник стоял посреди обширной залы за мольбертом и, бросая быстрые взгляды на гетмана, говорил, мешая латинские и голландские слова:

- Я видел мужественные лица, коих краска и кисть увековечить не в силах...

Хмельницкий сидел посреди залы, одетый в красный кунтуш, сверху накинута была на плечи горностаевая мантия, застегнутая под подбородком золотой пряжкой, в руке - булава.

Ветер ворвался сквозь растворенное окно и заиграл павлиньими перьями на шапке гетмана. Абрагам Ван Вестерфельд отклонился от мольберта и, подняв над головою руку, точно читая стихи, торжественно сказал:

- В далеких краях слышаны о твоих прекрасных подвигах, господин гетман. Рассказывают о тебе при королевских дворах и в народе. Великая честь для моей кисти - увековечить черты храброго лица твоего...

Хмельницкий прятал улыбку в усах. Думал весело: надо было велеречивому живописцу прибыть несколько лет назад в низовья Днепра, когда на плечах не было горностаея, а в руке не булаву держал, а саблю... Захотел бы он тогда портить на него краски?.. Былое всколыхнулось в памяти и встало во весь рост перед глазами. За окнами шумел ветер, а ему слышались тысячи голосов, топот конских копыт... Шло войско шел народ, шла вся Украина, и он был впереди, а на пути со всех сторон подстерегали бедствия и глухою стеною поднималась навстречу злая, враждебная сила. А он должен был зорко глядеть вперед и следить, что делается по сторонам.

- Рассказывают при дворах? - вдруг спросил по-латыни живописца Хмельницкий.

Тот обрадованно закивал головой.

- А как же, такое рассказывают...

- И при первом же королевском дворе голову отсекли бы, да кинули на забаву псам...

Откинувшись на спинку кресла, Хмельницкий громко смеялся. Ван Вестерфельд, подняв кисть, онемел. Ей-ей, он не понимал смеха, когда тот связан с мыслью о смерти... Но он не осмелился высказать свое удивление. Вместо того живописец сказал:

- Твою победу над польским войском под Батогом сравнивают с победой Ганнибала при Каннах...

- Спасибо за такую честь, - тихо ответил Хмельницкий, - но сравнивать много легче, чем добывать победу...

В глазах Хмельницкого блеснули огоньки.

- Говоришь, видал людей наших в Киеве?.. Мужественные лица, говоришь? Да! Если стоишь за правду, будет у тебя такое лицо, и сто таких побед добудешь, как при Каннах.

Он встал с кресла и подошел к мольберту. На портрете он был печальный и старый. Недовольно покачав головой, Хмельницкий сказал:

- Прихотлива и неисповедима судьба человеческая, но, пан художник, сила и разум заставляют судьбу быть послушною человеку.

- Прекрасные слова, господин гетман!

...В июле этого года казак Нечипор Галайда в деревянной церковке в Белых Репках надел на палец своей невесте Марии серебряное кольцо. Отныне они стали супругами перед богом и людьми.

Но недолго пришлось быть Галайде в Белых Репках. В сентябре Нечипор распрощался с Марией, с родителями, с Белыми Репками. Гетманский универсал снова призывал всех казаков в полки.

...В том же году в Яссах Тимофей Хмельницкий обвенчался с дочерью молдавского господаря Домною-Розандою.

12

Был апрельский день 1653 года. Царь Алексей Михайлович принимал послов Богдана Хмельницкого.

От Спасских ворот к царскому дворцу шли Силуян Мужиловский и Кондрат Бурляй, окруженные с обеих сторон стольниками посольского приказа. Впереди - рынды в белых

кафтанах с алебардами. Перед самым дворцом в два ряда статные, крепкие, как дубы, стрельцы. Царь Алексей Михайлович сидел в тронной зале на кресле из рыбьего зуба. За тронном ближние бояре Бутурлин, Морозов, Прозоровский, Нарышкин, стрелецкий начальник Артамон Матвеев. Чуть пониже - думные дьяки: Ларион Лопухин, Алмаз Иванов, окольный Богдан Хитров.

Силуян Мужилковский и Кондрат Бурляй низко поклонились, коснувшись правой рукой пола, устланного цветастым персидским ковром. В Тронной палате было торжественно, чинно, строго. Заговорил Мужилковский:

- Великий государь и самодержец всея Руси, от имени гетмана Богдана Хмельницкого со всем Войском бьем тебе челом и вручаем тебе грамоту, в коей покорно просим принять народ наш, войско и всю землю нашу православную под твою высокую руку, а также просим всякую помощь оружием и прочим подать нам, ибо снова объявил посполитое рушение на Украину король польский и снова кардинал-примас и папский нунций угрожают унией вере нашей православной. Одна надежда - держава Русская и ты, великий государь. На то уповаем.

Мужилковский приблизился, преклонив колено, вручил царю в собственные руки гетманскую грамоту. Государь передал ее князю Прозоровскому, сказавши:

- Зело утешены мы желанием гетмана Богдана Хмельницкого и Войска вашего защищать веру и волю свою. Ведаем мы, что король польский своего слова не сдержал, и мы ему, брату нашему, о том отпишем, а твои слова, посол, приняты нами к сердцу. Быть так: о делах ваших, кои ты тут перечислил, говорить послам гетмана с князем Прозоровским Семеном Васильевичем, с окольным Богданом Матвеевичем Хитровым да думными дьяками Ларионом Лопухиным и Алмазом Ивановым...

...В тот же день в посольском приказе Силуян Мужилковский рассказывал боярам:

- Присылал король к гетману послов своих, Маховского и Чернецкого, чтобы снова комиссию учинить. Обещали, что посполитого рушения не будет, только бы гетман велел селянам в послушании пребывать. Но тех слов своих не держат. Войско поспешно собирают и немало уже городов и сел на Волини и Подолии снова разорили и простых людей невинных замучили. Творят сие поспешно, ибо прослышали, что его царское величество желает заступиться за нас, за веру нашу православную. Также надлежит вам ведать, что коронный канцлер послал своих послов в Стамбул, к султанскому визирю, предупредить его: Москва, мол, с гетманом союз учинить намерена. Султанский чауш Осман-ага в Чигирин прибыл, обещал всякую помощь гетману, лишь бы он с войском и всеми землями перешел в подданство турецкому султану. И гетман чаушу ответ дал такой: мы теперь подданные короля Речи Посполитой и на верность ему крест целовали.

Кондрат Бурляй, который все время молчал, слушая, как ловко сыплет словами Мужилковский, заметил:

- Вы, панове бояре, ведать должны, что, кроме христианского государя, царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Руси самодержца, народ наш никого признавать не хочет и в подданство басурманам не пойдет, лучше погибнет на поле битвы.

- Сие похвалы достойно, - сказал князь Прозоровский. - Царь о том отпишет гетману. Стольник Федор Ладыженский спешно в Чигирин выедет с тем письмом. Вам от султана и его слуги, крымского хана, держаться надлежит в отдалении. Царь указ учинил, - Прозоровский блеснул сквозь очки строгим взглядом, - донским казакам итти оружно на помощь гетману. Гонец завтра повезет указ на Дон.

- Славно! - вырвалось у Мужилковского.

- Обожди, - Прозоровский поднял палец. - Ведомо стало нам, что король Речи Посполитой выступил с войском на Львов. Царь повелел послать королю посольство, еще раз миром предупредить, дабы обиды народу вашему не чинил. Надежды на успех не возлагаю, но все же будет еще одно предостережение...

- Бесплодно сие, - покачал головой Мужилковский.

- Однако надо, пан Мужилковский. Князь Репнин будет вести переговоры с коронным канцлером. Что будет - увидим. А пока что стрелецкому начальнику Матвею Артамонову

велено выехать в ваше войско, дабы на месте с гетманом говорить и учинить все, что потребно для помощи...

- Скорее бы только! - вырвалось у Бурляя.

Прозоровский недовольно закусил губу.

- Это, пан посол, не наезд на усадьбу. О великой войне речь ведем... Враги Русской державы только того и хотят, чтобы все земли наши были на клочья разорваны, чтобы разделить народы наши навечно. Тогда смогут привольно лакомиться сокровищами нашими. Ведаем, одною мыслью живут враги: железною пятою наступить на землю нашу, веру православную поносить и ничтожить. Что делают супостаты! Белую Русь вовсе погубили. Червонную Русь в оковы заковали так, что ни рукой, ни ногой не шевельнуть. Разве мы о том не знаем здесь, на Москве?

Голос Прозоровского окреп. Он отодвинул от себя пергаментные свитки и, опершись твердо руками о край стола, говорил:

- Все сие видим, и беды сии укрепляют нашу веру в то, что будем воедино. Хвала и честь великая гетману Богдану Хмельницкому: уразумел он, в чем спасение края вашего. В далекое будущее мысль его проникает. Орлиный лет у гетмана.

- Ведомо государю, - продолжал Прозоровский, - что враги не хотят дать нам свободной дороги к морям Черному и Балтийскому. Замкнуть нам все пути - таков их умысел, и в том едины будут и королева шведская, и король Речи Посполитой, и венецианский дож, и папа Римский, и на том с султаном и ханом примирятся... Вот и говорю, господа послы, - стоим мы накануне дел великих, и должны быть осмотрительны, твердо идя вперед. А теперь, господа послы, прошу ко мне, откушать, чем бог послал.

Слуги освещали дорогу в темном коридоре, высоко держа над головами светильники. Во дворе Силуян Мужилковский, садясь в карету рядом с князем Семеном Васильевичем Прозоровским, подумал:

<На большую дорогу выходит Украина!>

13

...В церкви святого Юра отслужили вечерню. Печальный звон растаял над домами Львова. На башне ратуши длиннородый бронзовый карлик семь раз ударил молотком по наковальне - и семь ударов колокола упало вниз, оповещая жителей, что прошел седьмой час. Августовский вечер дышал влагой. Пахло дождем. Небо на горизонте рдяно пламенело.

Торговцы закрывали лавки. С ярмарочной площади потянулись обозами подводы. Воеводские стражники шныряли по улицам и переулкам, сторожили по околицам. Заглядывали в возы, будто проверяя, чтобы не было воровства, а на деле искали, что плохо лежит, что не успели продать мужик или баба, и тащили себе в сумы, притороченные к седлам. Если обладатель гуски или курицы, или лукошка с яйцами упирался, стражник люто сверкал глазами и кричал грозно:

- Пся крев! Мытного и торгового не платил? Где квиток?

Пока дядько доставал спрятанный за пазухой квиток, стражник, управившись с гуской, был уже далеко от воза.

На улицах мещане сидели на скамейках перед своими домами. Щелкали тыквенные семечки, время от времени перекидывались словами...

Расталкивая возы и пешеходов, хлеща по чем попало кнутом, бешено промчался воеводский гайдук.

- Дорогу, дорогу послу московского царя!..

Толпа - врассыпную, кто куда. Следом за гайдуком еще десять конных, а потом уже, рассыпая drobный топот полков по каменной мостовой, шестерка коней легко промчала карету. Промелькнул на козлах кучер в синем жупане и высокой шапке. Сидел прямо, как окаменелый, только ветер откидывал вбок длинную бороду.

За каретой скакали русские стрельцы верхами, с любопытством озирали улицу, людей, а за стрельцами, раздувая усы, снова мчались воеводские гайдуки.

И снова тихо на улице, только люди, столпившись у ратуши, шепчутся:

- Король вчера прибыл...
- Да неужто?..
- Вот тебе и неужто!
- Снова, стало быть, война с казаками?
- А на кой ляд нам та война?
- Тебя король не спрашивал...
- Известно!
- Кому шутки, а моего Семена в прошлом году зарубили саблей... да насмерть.
- Кто? Казаки?
- Стражники коронного гетмана. Разгневались, что не угодил пану, плохо выковал панцырь...
- Так-то... Царский посол не зря тут сидит. Видать, вместе с королем будут воевать казаков.
- Не будут!
- Думаешь?
- Помянешь мое слово...
- Эх, нам бы в казаки податься...
- Ты не очень...
- Да я ничего...

Шепотом, тихими голосами, поверяют друг другу свои мысли. Кончился долгий трудовой день. И вот стоят они, городские труженики, кузнецы и бондари, плотники и портные, кожеяки и сапожники... Спорят, гадают, сомневаются... Что завтра? Завтрашний день еще лежит за розовой полосой небосклона...

В воеводском замке, неподалеку от бернардинского костела, зажглись огни. Карета, въехав в ворота, останавливается перед лестницей, по обеим сторонам которой два ряда высоких белых колонн. Князь Борис Репнин и князь Федор Волконский - великие послы московские, в сопровождении дьяка Алмаза Иванова, выйдя из кареты, степенно поднимаются по мраморной лестнице. Навстречу им спешит королевский маршалок. Долгою анфиладою мрачных комнат с темными стенами, украшенными рыцарскими доспехами и оленьими рогами, идут послы в большую залу. В ту минуту, когда они переступают порог этой залы, в противоположных дверях появляются коронный канцлер князь Лешинский и коронный гетман Станислав Потоцкий-Ревера.

Обмен любезностями. Вопросы о здоровье. Потом все располагаются вокруг стола.

Князь Репнин и князь Волконский сидят осанисто и важно, блюдя свой высокий чин. Им уже заранее известно, каков будет ответ коронного канцлера на требования московского царя. Это будет последняя попытка, последний шаг. Коронный канцлер, раздраженно отгибая высокое жабо, которое закрывает ему короткую, подстриженную бородку, поднимается с места.

- Его милость, ясновельможный король наш, обсудив требования брата своего, его величества русского царя, принужден, к великому сожалению, передать ему через вас, панове высокие послы, что удовлетворить эти требования не может. Подтвердить Зборовский трактат король не считает возможным. Провинности Хмельницкому король тогда простит, когда он, Хмельницкий, будет бить королю челом, отдаст булаву и отречется от гетманства. Казаки тоже должны бить челом, сложить оружие и находиться, как прежде, в послушании у своих панов, то есть: пахать землю и платить подати. Реестровых казаков должно быть только шесть тысяч, и жить они могут только на Запорожье. В Киеве и в прочих городах Украины по обе стороны Днепра по-старому должно стоять польское и литовское войско. Церковную унию отменить не можем, - это дело самих верующих, и король его касаться не волен. Обидно нам, панове высокие послы, что Хмельницкий и лукавая чернь ввели в обман его царское величество, ища у него защиты. Предупреждаю вас, панове послы, как друзей, - слову Хмельницкого верить нельзя, ибо какое слово чести может быть у черни и ее вожака? Должен сказать, что король сам идет с войском против казаков, и

мы стоим накануне полного и окончательного уничтожения бунтовщиков.

Поклонившись послам и надменно вскинув голову, Лешинский сел.

- Великий царь московский, - заговорил князь Репнин, поднимаясь, за ним встали князь Волконский и дьяк Алмаз Иванов, - повелел нам сказать королю свое высокое слово в защиту Богдана Хмельницкого и народа украинского. Одно должен ты ведать, господин коронный канцлер, - великий государь не потерпит поношения и обиды вере православной, и будет оберегать ее, насколько поможет ему в том господь милосердный. Сожалеем, господин канцлер, что шесть наших собеседований не окончились взаимным удовлетворением. Понеже король отказывается запретить на Украине унию, возвратить православным людям их церкви и впредь никакого утеснения им не чинить, то о каком уважении и приязни к православному государю нашему говорить можно? На сем дозволю, господин коронный канцлер, оставить вас. Уповаем на то, что вы, обдумав, сколь тяжкие следствия будут из-за подобных несогласий, поступать станете по справедливости.

- Сожалеем, пан посол, что его царское величество придает значение лживым и коварным наветам Хмельницкого. Нашу справедливость мы начертаем на спинах бунтовщиков плетью.

Коронный канцлер и коронный гетман наклонили головы.

Князь Репнин, сядя в карету, громко проговорил:

- Погоди еще, пан канцлер, не торопись...

В тот же день великое русское посольство выехало в Москву.

Еще за неделю до окончания Львовских переговоров царь Алексей Михайлович делал смотр своему войску на Девичьем Поле. После смотра, по поручению царя, думный дьяк Ларион Лопухин объявил стрельцам о возможном вскорости походе. А в Чигирине уже находились начальник стрелецкого приказа Артамон Матвеев и дьяк Иван Фомин.

Девятого августа гетман Хмельницкий отправил в Москву своего посла Герасима Яцковича с письмом на имя царя, в котором подтверждал получение царской грамоты через стольника Федора Ладыженского.

В Чигирине собралась рада старшин. Полковники слушали грамоту царя, которую читал сам Хмельницкий. Торжественно звучал голос гетмана:

<Божиею милостью, от великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича, всея Руси самодержца, владимирского, московского, новгородского, царя казанского, царя астраханского, царя сибирского, государя псковского и великого князя тверского, югорского, пермского, вятского, болгарского и иных, государя и великого князя Новагорода, низовския земли, рязанского, ростовского, ярославского, белозерского, удорского, обдорского, кондинского и всея северных страны повелителя и государя Иверской земли, карталинских и грузинских царей и кабардинской земли, черкасских и горских князей и иных многих государств обладателя, от нашего царского величества, Богдану Хмельницкому, гетману Войска Запорожского и всему войску нашего царского величества милостивое слово...

...Ратные наши люди, по нашему, царского величества указу, собираются в местах надлежащих и к ополчению строятся, дабы помощь тебе и войску твоему учинить... И для того послали мы, великий государь, к вам стольника нашего Федора Обросимовича Ладыженского, чтоб вам, гетману и всему Запорожскому Войску, наша государская милость была ведома; и прислали б есте к нам, великому государю, посланцов своих, а мы, великий государь, наше царское величество, пошлем к вам наших царского величества думных людей...>

Хмельницкий, держа перед собой государеву грамоту, задумался. Память увела его в давний осенний день, когда в тревожный час родилась в его сердце эта спасительная мысль. И в один миг перед ним стремительным потоком прошел весь тяжкий боевой путь, путь, каким он шел к цели, изведав и радость побед, и муки поражений. Перед ним, перед всем войском, перед родным краем ныне открывалась новая дорога, и кто теперь мог стать наперекор ему?

Гетман положил перед собою на стол цареву грамоту и заметил, что полковники еще стоят. Он окинул всех пристальным взглядом и впервые уловил в их глазах тот особый внутренний огонь, который был сродни его сокровеннейшим чувствам. И он сказал решительно и твердо:

- Сбывается мой давний замысел, старшина! Братья русские идут к нам на помощь. Отныне объединим долю нашу с ними на веки вечные. Кто будет в силах это братство сломать? - спросил он и, сжимая кулак, твердо сказал: Никто! Будет народ наш по Львов и Галич вольным, и до самого Сана.

...С того дня Хмельницкий спокойно наблюдал за медленным движением королевской армии. У себя в замке, в Субботове, он подолгу беседовал с Артамоном Матвеевым и Иваном Фоминым. За время пребывания Матвеева и Фомина в Субботове туда дважды приезжал Капуста. Неотлучно сидели там Иван Золотаренко и Силуян Мужилковский.

В казачьих полках уже знали о том, что стрелецкое войско скоро перейдет границу. По всей Украине шла эта весть. Впервые за многие годы в селах и городах люди без страха начали смотреть на юг и на запад. Ни татары, ни жолнеры не могли уже навеять ту тревогу, которая прежде была постоянным уделом тысяч селений, раскиданных по необозримым просторам края.

В конце августа Хмельницкому пришлось выступить в поход на помощь Тимофею, который вел бои с войском молдавского полководца Стефана Бурдуци. Бурдуци, подкупив молдавских военачальников, добился изгнания Лупула. Узнав об этом, Тимофей кинулся с большим отрядом казаков выручать своего тестя.

Под городом Сороки на Днестре Тимофей разбил Бурдуци и пошел на Сучаву. Но туда, вслед за ним, двинулась двадцатипятитысячная армия, в составе которой было польское войско под начальством князя Дмитрия Вишневецкого - племянника покойного Иеремии Вишневецкого, а также войска молдавское, трансильванское и волошское. У Тимофея было только восемь тысяч казаков и несколько тысяч татар, нанятых Лупулом. Татары, увидев опасность, разбежались. Тимофей вошел в Сучаву и решил здесь выдержать осаду. Завязались упорные бои, в которых казаки потеряли две тысячи воинов. В городе начался голод. Казаки ели конину и конские шкуры. Какой-то предатель показал Вишневецкому место, где стоял шатер Тимофея Хмельницкого, и Вишневецкий приказал направить на это место все пушки польского лагеря. Поляки начали обстреливать шатер. Когда Тимофей вышел из шатра, он был сбит с ног обломком телеги и опасно ранен. Он приказал немедленно отправить гонца к отцу за помощью. Гонец прибыл в Субботов. Двадцать тысяч казаков повел Хмельницкий на помощь осажденному Тимофею. Но было уже поздно. В Бердихином Городке, на реке Смотрич, Хмельницкий узнал, что Тимофей погиб, а войско после трехмесячной осады сдало Сучаву, с условием, что ему будет позволено выйти с оружием и тремя пушками, взяв с собой тело Тимофея.

14

...Ветер гнал по московским улицам палую листву. Медью плеснула осень на сады в боярских вотчинах. На Яузе, на Неглинной, в многочисленных ручьях и канавках ветром рябило воду. С серого неба светило холодноватое солнце. Торговый и тяглый люд подымался до света. Лотошники с рассветом были уже на улицах. Сыпали наперебой, словно грачи:

- Сбитень!

- Пирожки! Одна деньга пара!

Необычно рано через стрелецкие слободы катились на Москву повозки боярские, кареты, ехали всадники. Из-за тынов выглядывали заспанные посадские с нечесаными, всклокоченными бородами. Что это приключилось, что в такую рань бояре забеспокоились? Почесывая затылки, скатывались назад, за тын. Лениво ворчали псы на цепях.

На паперти Василия Блаженного, возле Успенского собора толпятся нищие, убогие, юродивые. Вдоль суровых стен Кремля медленно разъезжают конные. Лучи солнца играют на остриях пик. Конные следят за беспокойным, шумным людом - чтобы все было чинно,

чтобы никакого злоумышления не содеяли.

Торжественно и мощно звонят колокола Ивана Великого. Восемь часов.

Через Красную площадь влетает в Спасские ворота запряженная четверней, с гайдуками на запятках, карета. Посадские и челобитчики, оттиснутые стрельцами к стене, только диву даются.

- Видно, вельможа заморский, - уверенно говорит один, с серьгой в ухе, почесывая здоровенной пятерней заросшее лицо.

Молодец в долгополой ферязи поблескивает из-под шапки насмешливыми глазами:

- Это ближний боярин, Василий Васильевич Бутурлин, а не вельможа заморский. У него шесть карет, сделаны в заморских краях, челяди без числа и даже два арапа...

Бородач, посмеиваясь, толкает под ребра молодца:

- Ты ему, видно, троюродным племянником приходишься?.. А?

Веселый хохот заставляет молодца нырнуть в толпу. А люди уже провожают взглядом новые кареты и повозки. Шепчутся:

- Бояре на совет собираются...

- Гляди, не только бояре, вон повозка торгового человека, Митрофана Шорина...

- А вон и запорожцы...

- Где?

- Да вот, гляди, в сизых шапках, в синих кунтушах...

- А я думал - наши...

- А известно, наши... Православные.

- К царю, значит, идут...

- К кому же, к тебе?

И снова хохот. Стрелец с алебардой недобро косит глазом: может, смех обидный? Но лотошник сует ему в руку баранку. Стрелец отворачивается.

Лотошник задумчиво роняет:

- Эх, быть войне, по всему видно...

Стрелец мирно оповещает:

- Польского короля воевать пойдем, чтобы запорожцев не трогал, над церквами православными не ругался...

Старичок без шапки, в убогом кафтанчике, подпоясанный веревкой, качал головой:

- Скажи, какой разбойник король, а еще помазанник... - Поймав на себе пристальный взгляд стрельца, закрыл рот ладонью, только головой покачивал.

Расталкивая локтями народ, пробирались к Спасским воротам подъячие. Озирались заспанными глазами, хрипло ругались.

- Чего сбежались? На базар?..

Из толпы отвечали:

- Проспали, чернильные души, теперь вас в тайном приказе попотчуют...

Подъячие только отмахивались.

Статный, высокий парень сказал, как бы про себя:

- Я, люди добрые, из Севска, могу порассказать, как там король да хан народ обижают...

Толпа метнулась к нему:

- Расскажи, расскажи...

- Что говорить! - застыдился парень.

- А похвалялся... Все вы, севские, такие!

- Какие? - У парня глаза засверкали, руки сжались в кулак. - Какие?!

Насмешник отошел подальше.

Парень говорил:

- Люди там над Днепром-рекой на панов пошли, вольности себе добыли, католиков и шляхту из имений повыгоняли. А ведет их гетман Хмельницкий. Теперь король польский все свое войско собрал, двинул тучею на украинскую землю... Что там делается! Чистое пекло!..

Из толпы кто-то недоверчиво сказал:

- Панов выгнали?.. Сколько хлебнул с утра?

- Вот те крест!.. - парень размашисто перекрестился. - Всех панов польских повыгоняли...

- Польских... - разочарованно протянул тот, который возражал.

- А ты каких же хотел? - насмешливо спросил парень.

Человек в черном кафтане, резнув ладонью воздух, решительно бросил:

- Всех.

Худощавый монах в засаленной рясе беспокойно водит глазами. Втискивается в круг людей и гнусаво тянет:

- Попов, аки язычников, нехристи польские солдаты за бороды таскают, церкви пустошат, лошадей там держат, над стародревними храмами ругаются... Хула и скверна...

А сам глазами так и впился в того, в черном кафтане, вот-вот проглотит.

- Максим! - сосед дернул за рукав человека в черном кафтане. - Ты от этого ворона подале держись. Беспременно донесет. Дай я тебя заслоню...

Он проталкивается вперед и расправляет крепкие, широкие плечи. Монах вытягивает шею, вертит головой, - того, в черном кафтане, уже не видно. А этот пристает:

- Расскажи, святой отец, расскажи, какое там неслыханное зло деется...

Монах что-то бормочет под нос, шныряет беспокойными глазами поверх голов. Но человек в толпе - как щепка в водовороте, разве ухватишь?

...Гудит и гудит Иван Великий! На Девичьем Поле играет трубач. Одного за другим выводят стрельцы застоявшихся коней. Сотни строятся под значками. Тут уже знают: царь нынче будет делать смотр войску, скоро выступят полки в порубежные земли. Идет молва, что полки из Брянска, Путивля, Севска уже перешли рубеж.

В Кремле, в Грановитой палате, сегодня тесно. Час ранний, а думных людей множество. Боярину захудалому или стольнику, а тем более дьяку, нечего и думать поближе к царскому трону пробиться. Задние вытягивают шеи. Сосед шепчет соседу:

- Гляди - Бутурлин...

- Боярин Григорий Пушкин...

- Милославский... А ферязь какая, ферязь, небось, ефимков пятьдесят стоит...

- Князь Волконский... Только из Польского королевства вернулся...

- Никон, Никон...

Стало тихо. Патриарх, высоко держа голову, неторопливо подходил к трону. Царь Алексей Михайлович быстро шел ему навстречу. Приложился к руке. Никон благословил царя. Возвратились к трону вместе. У царя лицо строгое, брови сведены вплотную. Ближние бояре становятся по сторонам трона. Под стенами снова шепот:

- А эти кто, в синей одежде?

- Послы от Хмельницкого...

- Ишь ты!

- Гляди, Алмаз Иванов где?

- Этот в силу входит, в ближние пробивается...

- Лопухин тоже...

- Н-да!..

...Боярин Василий Васильевич Бутурлин выступил на шаг вперед, у подножья трона поднял руку. Тихо стало в Грановитой палате. Слышно только, как тяжело дышат те, кто тесно подпоясался. Бутурлин глядел вперед, сверлил глазами. Подбирая губы, начал:

- Созвали вас, люди достойные, думные, на Земский Собор по повелению великого государя нашего Алексея Михайловича, дабы ведали вы, что король польский Ян-Казимир и его сенаторы отказались учинить так, как великий государь наш через посольство свое предлагал. А предлагал государь запорожских казаков, весь народ православный на Украине и веру нашу православную не притеснять. Зборовский договор, который король некогда подписал, снова подтвердить, чтобы униатам на православных землях воли не было, чтобы на тех землях мир и спокойствие пребывали, чтобы каждый свои дела свободно вершил, не

опасаясь за судьбу и веру свою.

Бутурлин на минуту замолчал. перевел дыхание.

- Люди думные! Король польский злое замыслил. Поляновский договор и клятву, данную прежним королем, не соблюдает. Теперь хочет огнем и мечом истребить всех ревнителей православной веры, кои живут не только в порубежной с нами земле казацкой, а и на землях Короны польской и в Литве. Ведомо вам, люди думные, не раз челом бил великому государю нашему гетман Богдан Хмельницкий, сей достойный вождь народа казацкого, не раз покорно просил государя нашего помощь ему подать против гонителей веры православной и принять его с народом под высокую цареву руку навечно. И теперь прибыло от гетмана Богдана Хмельницкого посольство, - Бутурлин указал рукой на Лаврина Капусту и Герасима Яцковича, стоявших по правую руку ниже трона.

Капуста и Яцкович низко поклонились думным людям. Бутурлин продолжал:

- Посольство привезло от гетмана грамоту великому государю нашему, и в ней гетман просит принять его с войском, со всеми землями и городами в вечное подданство российское и подать ему помощь военную, ибо король идет супротив него с великою силою.

- Великий государь спрашивает вас, бояре, люди думные, окольничие и стольники: как учинить? Оставить ли без ответа сию челобитную и не подать помощь десяткам тысяч единоверцев наших, ищущих спасения от неволи на землях русских, или выступить оружно на короля и протянуть свою высокую руку гетману Хмельницкому?

... - Что спрашивать? - В грановитой палате впервые за последние пять - семь лет зазвучали твердые голоса. - Разве пристало опустив руки смотреть на злые умыслы и деяния короля польского? Сегодня ляхи саранчой на православную землю лезут, завтра - турки и татары, послезавтра - шведы, немцы! Как жить? В кольцо железное замкнули. Разве такое слышано? Попов на кол сажают. Хуже испанских инквизиторов. Да что говорить: иезуиты! Нынче крест целуют, завтра - нож в спину. Гетману Хмельницкому помощь подать! Стрельцам итти за рубеж. В стольном граде Киеве, на святой земле отеческой, где колыбель державы русской, унии не бывать никогда! Смоленск, древний город русский, из неволи вызволить! Поляновский договор неправый. Как его соблюдать, если король польский и вся Речь Посполитая поносят веру нашу?

...Чинно, но гневно говорят степенные государственные мужи. У патриарха Никона в глазах одобрение. Царь наклонил голову на левое плечо, слушает внимательно:

... - Не дадим православным людям в неволе погибать. Слать послов к гетману Хмельницкому. Уважить его просьбу. Быть отныне землям казацким и всему войску казацкому, как того они хотят, под высокою государевой рукою!

Духовенство и бояре приговорили:

- <Присоединить, как о том просит гетман Богдан Хмельницкий, к России его, гетмана, со всем войском его, с городами и с землями, уважая не только единую веру с малороссиянами и многие просьбы их о том, но приняв во внимание также опасность страшную, которая грозит им от Речи Посполитой и Литовского княжества с одной стороны, а с другой стороны - угрозу ига турецкого и татарского>.

...Все стольники, и стряпчие, и дворяне московские, и дьяки, и жильцы, и дворяне, и дети боярские, и головы стрелецкие, и гости, и гостинные, и суконные сотни, и черных сотен и дворцовых слобод тяглые люди, и стрельцы - приговорили:

<Принять гетмана Богдана Хмельницкого и все Войско Запорожское с городами и с землями под высокую государеву руку и вечное подданство, как того гетман Хмельницкий и все казаки просят>.

...Девятого октября 1653 года, через восемь дней после Земского Собора, по указу царя Алексея Михайловича из Москвы на Украину выехал посольство на великую раду, которую, как уведомили послы гетмана, Хмельницкий приказал собрать в Переяславе.

В составе посольства были: ближний боярин Василий Васильевич Бутурлин и при нем семь стольников, один стряпчий, трое дворян; окольничий и наместник муромский Иван Васильевич Алферов и при нем стольник, стряпчий, четверо дворян; думный дьяк Ларион

Дмитриевич Лопухин и при нем один стольник. Сверх того повелел царь быть в посольстве начальнику московских стрельцов Артамену Матвееву. Также при посольстве состоять: трем сотникам, двум толмачам, довольно знающим язык украинский, польский, турецкий и латинский. А еще дана была посольству стража, числом в двести стрельцов.

Вместе с московским посольством выехали Лаврин Капуста и Герасим. Яцкович.

...Двадцать третьего октября царь Алексей Михайлович повелел объявить в Успенском соборе, в Кремле, свою высокую волю войску русскому итти войной на недруга земли Русской и веры православной, короля Речи Посполитой и Литвы - Яна-Казимира.

По торным дорогам на юг, к порубежным землям, двинулись, в заранее намеченном порядке, стрелецкие полки. Часть их шла под начальством воеводы Федора Васильевича Бутурлина, часть - во главе с князем Григорием Григорьевичем Ромодановским.

15

- Ганна, подумай, Ганна...

Сидел, опустив голову на руки. Слушал, как выстукивает по стеклам дождь. Ветер дергал ставни. На жаровне, в камине, тускло мерцали угли. Ганна притихла в ногах, на медвежьей шкуре, положила ему руки на колени, глядела в огонь.

Хмельницкий чувствовал: сердце до краев полно тоски и скорби. Как выплеснуть все это из сердца? Снова судьба зло насмеялась над ним. Лежал в земле его Тимофей. Навсегда, навеки ушел. Теперь он понимает: не только сына потерял в нем, гораздо больше. Подумал о своих годах. Положил теплую руку на голову Ганны. Может быть, она одна способна понять? А сколько лет напрасно отдал другой? Лживой, коварной. Он, который славился своим умением распознавать измену и коварство, оказался тогда просто неразумным младенцем. Как жаль теперь тех потерянных лет!

- Где ты была тогда, Ганна?

- Когда?

И догадавшись, - ведь не раз уже он спрашивал ее об этом, - Ганна пожимает плечами. Где? А где он был? Ей кажется, прошлого не было. Есть только то, что протекло в эти два года, когда она вместе с Богданом шла рука об руку, вместе с ним переживала радость и горе. Вот опять горе погиб Тимофей. Она знала, как тяжело Богдан переносит его смерть. Только вернулся Богдан из-под Жванца и сразу же кинулся в церковь. Припал к телу Тимофея. А когда вышел из церкви, все увидели - словно десяток лет внезапно лег на плечи гетману, - шел по двору такой походкой, какой еще никогда не ходил. Глаза в землю, плечи опущены. Кто лучше, чем она, понимал его боль и его тоску? Ведь только ей он доверялся, говорил:

- Идут года... Разве остановишь их? Только на Тимофея надеюсь. Отлетит с него, как чешуя, слиняет все, что сверху, останутся отвага и разум, тогда ему одному могу доверить свои замыслы, знаю: твердо будет хранить в сердце все мои стремления... Он понимает: счастья и воли краю добудем только воедино с Русской землей... Он не станет зариться на куски, которые кидают со своего стола паны, не станет Адамом Киселем или Еремою Вишневецким, не изменит вере, не предаст народ.

Говорил все это Ганне, а, казалось, видел перед собой Тимофея. А сколько раз говорил это ему при ней? Напутствовал и учил. И Тимофей, который так не любил, когда его учили другие, слушал отца, широко раскрыв глаза, жадно впитывая в себя каждое слово.

...Ветер стучит в окна. Стонет осенняя непогода. В опочивальне сумрачно. Может быть, он сам виноват, что так бессмысленно потерял Тимофея? Может быть, не надо было начинать это молдавское дело? Но разве для себя начинал? Разве не думал, что это должно принести пользу Украине? Да и зачем теперь думать о том? Можно было укорять себя сколько угодно, искать оправданий и мучиться в догадках, но все это уже бесполезно и ненужно. Возвратить Тимофея из могилы этими тревожными мыслями нельзя.

Он тихо снял с колен руки Ганны и поднялся. Надо было жить, надо было думать, возвращаться в суровый мир, оставить эти бесплодные упреки самому себе. И он усилием воли заставил себя в эту минуту думать о другом.

Меряя ровными шагами просторную опочивальню, он уже мысленно летит под Жванец, откуда только что прискакал, снова видит перед собой злобное лицо хана Ислам-Гирея, слышит его слова:

<С Москвой союз заключаешь!.. погоди, приду в твои земли, огнем и мечом, как великий Батый, разорю города и села, весь край превращу в пустыню...>

<Что добыл Батый, то потерял Мамай>, - ответил он хану. Ислам-Гирей только замахал руками. И все.

Еще когда ехал под Жванец, уже знал, что хан подписал договор с королем Яном-Казимиром. Но не мог отказать себе в удовольствии увидеть разъяренное лицо своего недруга. Он напомнил ему Зборов и Берестечко - две страшные измены, которые так дорого обошлись его отчизне. Высказал все, что давно накипело, и уехал.

Разведка захватила королевскую грамоту хану с дозволением брать ясырь. Прочитав эту грамоту, он приказал Богуну вступить в бой с татарами.

- Теперь, Иван, нечего цацкаться с басурманами. Тряхни их.

- Тряхну так, что хан скорчится, - весело ответил Богун.

... - Богдан!

Кто это зовет? Ганна? Она. Погрузясь в воспоминания, он забыл о ней.

- Ты говоришь вслух, Богдан.

Он смутился:

- Не может быть!..

Ганна поднялась, подошла ближе, положила руки на плечи.

- Только что с Богунуном говорил...

Он должен был согласиться.

- Правда твоя. Видишь, старею...

- Ты еще молод, Богдан, - она говорила это шепотом, тем горячим шепотом, от которого теплело на сердце, - ты молод и силен, ты отважен и смел, и я люблю тебя больше всего на свете. Иногда я думаю, что люблю тебя больше, чем себя.

- А сейчас, Ганна?

Он заглядывал ей в глаза.

- И сейчас люблю тебя больше, чем себя.

Он крепко прижал ее голову к своей груди и, целуя в лоб, сказал:

- Тяжелее всего, Ганна, когда в трудные минуты нет рядом человека, которому бы все сказал, не таясь... Не повезло мне в жизни, Ганна. Мало было со мною таких людей. А теперь ты тут, и мне легко переносить горе и боль. Я только что думал о прошедшем. С чем начинал? Двести беглецов из панской неволи были моими воинами. А теперь? Семнадцать полков. Теперь весь край... Весь народ... И Русская держава, народ русский идет на помощь. Ты понимаешь это, Ганна?

Она понимала. Она сочувствовала его радости, и жила ею, как и он.

... - Паны варшавские давно всюду болтают: не за волю восстал Хмельницкий, не о вольностях и правах своего народа заботится, не тем болеет, что чернь в нищете изнывает, а за собственную обиду мстит, за то, что Чаплицкий отстегал его сына да выкрал любовницу...

Почувствовал, как при этих словах плечи Ганны дрогнули под его руками. Но совесть у него была чиста, мог говорить об этом свободно и открыто.

- Разве они понимают? Хотя, как видно, понимают, ибо наветом тщатся запятнать святое и правое дело. Клевета порою хуже ножа в спину. Я, Ганна, долго присматривался, много бродил по свету, повидал такого, что в сердце гнев один остался. Во что край наш обратили? Надругательства, палки, казни на колу, а с битого да ободранного бедняка еще дерут три шкуры... Не Украина, а проходной шлях. Ходи кому угодно, карманы золотом набивай. Нечем хану дань платить - бери ясырь, уводи в полон сколько хочешь украинского люда; нужны невольники на галеры - приезжайте сюда, турки, берите. Нужно принцу Конде с испанцами воевать - нанимает себе войско на Украине, и казаки ему Дюнкерк добывают. Разве о том вспомнит когда-нибудь принц Конде или его потомки?

- Все это жгло мне сердце, Ганна, железом раскаленным. А как было начинать? У них сила, у них оружие, у них закон... Не в одну ночь родился замысел мой - поднять народ... Долгие годы носил в себе ту мысль... Взлелеял ее, как мать младенца. Ты понимаешь, Ганна?

Она кивнула молча.

- Понял еще тогда: если не будем воедино с народом русским, - паны, король, султан, хан, кто только захочет, разорвут нас на куски, чтобы и памяти не было о земле украинской. Не по-ихнему случилось!.. Но знаю: еще не один раз будут польские паны сеять раздор между нами. Да не только польские паны, а и турки, и татары, и немцы, и шведы, все, кто не хочет, чтобы мы стали сильными да вольными...

...Через несколько дней в Чигирине гетман вспомнил эту ночь в Субботове, читая уведомление Лаврина Капусты о том, что великое посольство русское в конце декабря прибудет в Переяслав.

В тот же день в гетманскую канцелярию были созваны: генеральный писарь Выговский, генеральный обозный Коробка, генеральный подскарбий Иванич, генеральный хорунжий Томиленко, генеральный судья Богданович-Зарудный, полковник Силюян Мужиловский и генеральный есаул Лисовец.

В Корсунь поскакал гонец к полковнику Ивану Золотаренку с приказом гетмана - немедля быть в Переяславе.

Генеральной раде Хмельницкий объявил:

- В Успенском соборе, в Москве, читан указ царя Алексея Михайловича о войне с Речью Посполитой. Стрелецкое войско выступило к рубежам. Великое посольство русское на пути в Переяслав. Начинаем славное дело, панове старшина. Что мыслите по этому поводу?

- Быть великой Раде, как сказано тобою прежде, в Переяславе, - сказал Богданович-Зарудный.

Хмельницкий кивнул головой:

- Оповестим народ, чтобы весь край знал, чтобы пришли в Переяслав выборные от войска, от сел и городов и объявили волю свою.

- Мы должны, гетман, перед посольством русским требовать, чтобы маестности старшины, добытые на войне, остались ее неприкосновенною собственностью, - заметил со своего места Выговский.

- Чтобы так записано было непременно, - согласился Иванич.

- Шляхетство наше пусть будет неприкосновенно и наследственно...

Мужиловский сказал это спокойно, но твердо.

Хмельницкий наклонил голову. Смолчал.

- Послам сказать надо, что турецкий посол чауш Осман-ага, когда приезжал, обещал нам... - начал Выговский.

- Ты что, писарь, может, хочешь турку поддаться? - У Хмельницкого перехватило дыхание. Он выпрямился и, вытянув перед собой на столе руки, сжал кулаки.

- Речь идет, Богдан... - начал Выговский.

- Знаю, о чем идет речь! А ты слышал, что народ по селам да городам говорит? Ты знаешь, на что уповают? Не о народе, о себе печешься, писарь. Так всегда в трудную пору, когда решается судьба отчизны, ты и тебе подобные, - он говорил Выговскому, а сверлил глазами Мужиловского, Иванича, - все вы о чем заботитесь? Кто больше заплатит. Не будет теперь так. Не будет.

Он вскочил на ноги и стоял за столом, могучий, заслонив широкими плечами окно, за которым падал пушистый первый снег.

- Не для того были Желтые Воды, Корсунь, Пилява, берестечский позор, победа под Батогом, не для того погибли на колу тысячи и сегодня мучатся в неволе десятки тысяч людей края нашего, чтобы ты тут, Выговский, и ты, Иванич, и еще кое-кто, - я о том знаю, - выгадывали себе прибиток и пользу. Пока жив буду, не дам того сделать. А меня не будет, - голос его гремел, будто не в гетманской канцелярии он говорил, а в поле перед казаками, - а

меня не станет - народ не даст! Вот послушаете в Переяславе, что люди скажут...

Овладел собою, сказал с недоброй усмешкой:

- Вот в Киеве митрополит Сильвестр Коссов, поборник веры нашей, тоже не больно радуется тому, что вместе будут братские народы, одного бога дети, стоять за веру православную и волю... Послал письмо луцкому митрополиту, пишет, что не станет он признавать патриарха Никона... Так о пастве своей заботится святой Коссов. Отпишешь, Силуян, Коссову моим именем: служил бы молебны о даровании победы русскому воинству над польскими жолнерами и татарами, да пусть поминает в молитвах на первом месте государя Алексея Михайловича...

...Приговорено было генеральными старшинами: разослать по полкам гетманский универсал, дабы на великую Раду в городе Переяславе прибыть: от каждой сотни - одному казаку, от городских общин - по два выборных, каждому войту и по одному райце и одному лавнику от каждого города, а также сотникам всем, есаулам, полковникам, генеральной старшине и людям духовного звания от монастырей и соборов по одной особе. А если кто из казаков самовольно захочет, то и тот может. В Переяслав прибыть всем выборным в январе месяце, не позднее второго дня.

...Садясь в сани с Выговским, генеральный подскарбий Иванич пожаловался:

- Крутенок стал наш гетман, и слова не возрази...

Выговский ехидно заметил:

- Ему что? Сто бочек золота закопал в своем Субботове. О чем ему беспокоиться? Не о нас, конечно. Голытьба - его единая опора теперь, о ней и хлопочет.

Иванич промолчал. Пес знает, обмолвишься словом - и гляди, будешь ночевать в чигиринском замке. Укутывал ноги меховой полостью, глядел в сторону.

Неторопливо падал снег.

16

По первой декабрьской пороше Иван Гуляй-День, выборный от третьей запорожской сотни, полка донского атамана Ивана Медведова, ехал верхом в Переяслав. Почти год прошел с тех пор, как после Белой Церкви он ушел на Дон. Теперь, три месяца назад, Гуляй-День вместе с донскими казаками воротился на Украину.

Разве забудет он тот день, когда впервые, среди широкой степи, снова увидел колодец с журавлем, и возле колодца - белостенную хатку! Старуха в вышитой запаске напоила его коня из деревянного ведерка. Синие петухи, намалеванные на стенах хаты, кивали ему головами. Горький дух полыни щекотал ноздри. Необозримыми волнами расстилалась родная земля, до самого горизонта бежал далекий, торный шлях. Это была родина.

И когда старушка перекрестила его на прощанье, слезы навернулись на глаза, так и ехал, не вытирая их, пока ветер не высушил.

...Год сидел он на Дону и ждал того дня, когда снова позвонит труба.

В станице Великий Курган поселился Гуляй-День с женой, вместе с другими семейными казаками, покинувшими Украину, чтобы избавиться от шляхетского своевольтва. Тогда не только он, а все, кто ехал с ним на Дон, изверились в гетмане. Как было верить ему? Помирился Хмель с панами, пошел на уступки им, сдался... Снова, как под Зборовом, не о казаках, не о посполитых позаботился, а о себе, о полковниках...

Горько и нехорошо было в мыслях и на сердце. С этими горькими думами жил Гуляй-День в гостеприимной земле донских казаков, ожидая вестей из родного края. Вести приходили. Великая радость и печаль охватила, когда узнал о битве под Батогом. Радость по поводу победы, а печаль от того, что его там не было. Грызли тогда сомнения. Может, не надо было уходить? Может, надо было оставаться, и теперь он был бы вместе со всеми? Но разве один он ушел на Дон? Только это и успокаивало. Да еще подумал: нет, не изменил своему слову Хмель, не отступился от простого народа. И уже теплилась в сердце гордость за гетмана, снова нарождалась и крепла вера в него. Когда же прибыл указ царя - всем донским казакам итти, вооружась, на помощь Хмельницкому, когда долетела сюда весть, что

вскоре придет на помощь гетману стрелецкое войско, Гуляй-День почувствовал, как растут за его спиной крылья. Пришло его время.

...Бежит дорога вдаль. Укатанная, утоптанная копытами дорога. Гуляй-День только озирается: откуда столько казаков взялось? Всматривается в лица, ищет, - может, где побратима какого встретит? Да теперь все побратимы! Весело улыбаются друг другу казаки. Часто за спиной слышится голос, но без крика, а по-дружески:

- Гей, казак, посторонись, дорогу полковнику!..

И отъезжают всадники, пролетает мимо них закрытая повозка, за нею, низко пригнувшись к седлам, скачут казаки. Кто-то удивляется:

- Куда спешат? - и сам отвечает себе: - По гетманскому делу, видать.

Казалось, вся Украина двинулась в Переяслав. Где там разместятся? Что будут пить и есть? А впрочем, никто об этом и не думал.

Гуляй-День, как и все, ночевал, где придется. Всюду по селам и городам встречали приезжих радушно: накормят, еще и оковыты* на стол поставят, уложат спать на лучшем месте. Утром встанешь - конь уже оседлан, бока лоснятся, в сумах овес свежий...

* О к о в ы т а - горелка (от латинского: <аква вите> - <вода жизни>).

У Гуляй-Дня давно не было на сердце так светло и радостно. По дороге, как всегда водится, всего наслышишься. Кто говорит - сам царь московский в Переяслав едет, кто говорит - сто бояр, кто - патриарх Никон... И Гуляй-День вдруг подумал, что никто из казаков ни словом не обмолвился про короля польского или про панов ляхов. Словно не стало их на земле. А подумав так, рассмеялся своим мыслям и сказал громко:

- Сила наша!

- Что ты сказал? - спросил казак, ехавший рядом.

- Сила, говорю, наша, - нагнулся к нему в седле Гуляй-День. Понимаешь, сила теперь наша...

Казак коротко ответил:

- Одна мать русская земля, одной матери дети! - Поглядел грозно на запад и прибавил: - Теперь пусть приходят, пусть попробуют...

В семи милях от Переяслава Гуляй-День остановился в маленьком хуторе напоить коня. Только прыгнул на землю - какой-то казак в синем жупане, опередив его, взял ведро и подставил своему коню.

- Э, ты больно проворен, друг, - недовольно сказал Гуляй-День.

- А ты бы попроворнее был, - неприязненно ответил казак.

Он повернул свое лицо к Гуляй-Дню, и в ту же минуту казаки, стоявшие кругом, от удивления взяли за бока.

Поглядев на Гуляй-Дня, казак в синем жупане выпустил ведро из рук и кинулся к нему. Обнимаясь и целуясь, только повторяли:

- Галайда!

- Гуляй-День!

И снова:

- Гуляй-День!

- Галайда!

...Дальше уже ехали вместе. Не опомнились за разговором, как перед глазами засверкали на солнце золотые купола собора Успения. То был Переяслав.

...В декабре, дня тридцать первого, великое посольство русское приближалось к Переяславу.

Полковник Иван Золотаренко, как было приказано гетманом в Чигирине, ожидал великое посольство в пяти верстах от города. За его спиной, в нескольких шагах, стояли полковник Павло Тетеря и десять сотников Переяславского полка, полковой бунчужный и полковой хорунжий, а дальше стройными рядами шесть сотен казаков на белых конях.

Резкий ветер колыхал знамена, и на древках трепетали красные, синие, зеленые значки. Солнце золотило сабли и пики. Смирно стояли всадники. Ни слова, ни шепота, только ветер разгуливал легкомысленно и дерзко, кружил над головой полковника бунчук и отгибал назад полы красного кунтуша. Иван Золотаренко пристально глядел на север, откуда должно было вот-вот показаться великое посольство. Обветренное, багровое лицо полковника застыло в торжественном молчании. Легкий иней ложился на брови и на усы.

Но вот показались первые всадники, а за ними и кареты послов. Золотаренко спешился, спешили и сотники. Четким, ровным шагом пошли они навстречу послам. Заиграли сто трубачей, ударили в тулумбасы. Кареты остановились, из них вышли великие послы. Боярин Бутурлин в высокой собольей шапке и шитой золотом ферязи шел впереди. За ним - окольниковый Алферов, за Алферовым - думный дьяк Лопухин, начальник московских стрельцов Матвеев. Позади стольники, дворяне.

- Пан великий посол, - начал громким голосом Золотаренко, и ветер подхватил и понес по полю слова полковника. - Именем гетмана, именем Войска Запорожского, именем народа края нашего приветствую тебя, желаю здоровья и благословляю ту святую минуту, когда ты, великий посол, и вы, паны послы, братья наши по вере и крови, ступили на землю нашу, щедро политую кровью сынов ее, братьев наших. Не щадя живота своего, бились мы много десятилетий за вольности свои и под булавой гетмана Богдана Хмельницкого ныне осуществляем наивысшее желание свое - стать плечо к плечу с вами, на веки вечные под рукою царя московского, преславного владыки многих царств, воеводств, княжеств и прочих земель, государя Алексея Михайловича, вечная ему слава!

Бутурлин и послы со вниманием выслушали Ивана Золотаренка. Бутурлин низко поклонился, и полковник, сотники и казаки, которые приблизились к посольскому поезду, услышали басовитый голос боярина:

- Господин полковник преславного и храброго, окрыленного разумом, достохвально отважного гетмана Богдана Хмельницкого, приветствую тебя, казаков всех, и все села и города украинские, именем его величества, царя Алексея Михайловича, великого государя земли нашей. Прислал нас сюда государь, тут, на великой Раде, закрепить волю гетмана вашего, всего народа и войска - принять под высокую цареву руку край ваш, чтоб отныне вы с братьями вашими, русскими людьми, были навеки воедино.

Бутурлин и Золотаренко после этих слов трижды обнялись и поцеловались.

Посольский поезд двинулся к городским воротам. Впереди шли боярин Бутурлин, Золотаренко и Тетеря. За ними послы и сотники, сзади стрельцы, а еще дальше казаки. У ворот снова остановились. Казаки, стоявшие двумя рядами на стенах, дали троекратный залп из мушкетов, и еще громче прозвучало над городом:

- Слава послам царя русского!
- Слава государю московскому!
- Слава братьям нашим! Слава!

Навстречу посольству шло все переяславское духовенство. Протопоп Григорий обратился к великим послам:

- Бояре земли Русской, великие послы государя, могучей державы Русской, достойные дети веры православной! Появление ваше знаменует свободу для православной веры на сей древней славянской земле, которую многочисленные враги хотели сжечь огнем, а народ в неволе адской замучить. Появление ваше тут, великие послы, знаменует конец для унии и униатов, злых и постыдных отступников, кои народ продали в неволю и неисчислимыя обиды ему причинили. Да благословит бог сей день и сей час, когда ступили вы на эту братскую землю!

Бутурлин и послы приложились ко кресту, который держал в руке протопоп.

...Несли впереди цареву икону с ликом спасителя. Послы, протопоп, полковники чинно шли сзади. По улицам едва можно было пройти. Казаки уже не в силах были сдержать толпу. Люди сами взялись за руки. Бутурлин и послы, отвечая на приветственные крики, - они, как один могучий голос, неслись от городских ворот до собора Успения, куда направлялось

посольство, - кланялись на все стороны.

После молебна послы уселись в кареты и, сопровождаемые полковником Тетерей и сотниками, поехали в дома, отведенные им для постоя.

В соборе и во всех церквах благовестили, как на праздник.

...Вечером шестого января два всадника остановились перед двором полковника Павла Тетери. Караульный казак сердито замахнулся на них пикой:

- Чего надо? Не знаете, что ли, - тут послы...

Он вдруг осекся и, виновато кланяясь, дрожащими руками растворил ворота. Всадники въехали во двор, соскочили с лошадей и, кинув поводья на руки остолбеневшему казаку, быстро взошли на крыльцо.

Казак, раскрыв рот, еще долго стоял посреди двора, уставив взгляд на дверь, за которой исчезли приехавшие. Если бы не поводья, которые держал в руке, подумал бы, что это почудилось...

Слегка нагнувшись, Хмельницкий перешагнул порог и, скинув на пол жупан, пошел к столу. Тетеря всплеснул руками, вскочил, хотел что-то сказать и понял - не надо. Бутурлин поднялся навстречу гетману. Ничего не говоря, Хмельницкий крепко пожал ему руку. Они обнялись и расцеловались.

Зазвенели кубки.

Мартын Терновый поднял с пола гетманов жупан, положил на скамью. Капуста мигнул ему, указывая свободный стул. Джура поставил перед Мартыном кубок, полный вина. И, сам не зная, как это случилось, Мартын вдруг поднялся и заговорил. И может быть, потому, что голос его звучал так взволнованно и убежденно, и потому, что слова, сказанные им, пришлись по сердцу всем, кто был в этой комнате, никто не перебивал Мартына. А он все увереннее говорил:

- Трудный путь прошел народ... Тебе, гетман, доверили мы жизнь свою и будущее свое. Разве не падали мы порою духом и вера в тебя разве не гасла порой? Скажу открыто, гетман, - бывало и такое. Но порыв твой к единению с землей русской, гетман, искупал все... И хочу я, Мартын Терновый, посполитый из села Байгорода, шесть лет стоящий под твоими малиновыми хоругвями, гетман, хочу ныне сказать послам московским:

- Станем навеки плечо к плечу с братьями русскими, и никто никогда не одолеет нас! А тебе, гетман, за то, что привел нас к этому счастливому дню, - хвала и честь!

Мартын одним духом опорожнил кубок, но губы вытереть не успел гетман подошел к нему, обнял и поцеловал. И крепко пожали руку Мартыну бояре Бутурлин и Артамон Матвеев, и прочие послы русские, а Иван Золотаренко дружески похлопал Тернового по плечу:

- И не думал, что ты языком владеешь, как саблей. Душевно говорил ты, Мартын!

...Сидел Мартын Терновый сбоку на лавке. И не слышал уже, о чем говорилось в комнате. Мысли его были далеко. Былое прошло в памяти длинной и страшной чередой. Вспомнилась ночь в порубежном русском селении, вспомнилась мать. Он может теперь честно и открыто взглянуть ей в глаза. А была бы Катря... Старая, неизлечимая боль сжала сердце Мартына. Там, за Диким Полем, сидели еще давние и хищные враги, вековечные грабители и палачи - татары и турки. Еще не время было отдыхать и тешить себя мечтами. Мартын шевельнул плечами, словно сбрасывал с себя бремя воспоминаний, и услышал слова Хмельницкого:

- Вызволив народ из-под шляхетской неволи, должны мы еще одолеть закоренелого и страшного врага - крымцев и турок, которые разоряют земли наши и адскими муками терзают людей наших...

17

...С утра было пасмурно. Потом ветер развеял серое стадо туч. Переяслав расцвел на заре малиновыми знаменами. Торжественно звонили колокола церквей. Выползло солнце из-за облаков, щедро облило купола собора Успения и церквей, улицы и площади, заиграло лучами в окнах. Приезжие и местные, переяславчане, - все спешили скорее на улицу.

Пешему пройти нелегко, а уж проехать на санях или верхом едва можно.

Колокола звенели весело, призывно. По всем улицам пешие и конные казаки били в бубны, звали охрипшими голосами:

- На Раду, люди, на великую Раду!..

На стенах замка сто трубачей трубило в трубы.

Праздник! Праздник!

<Как на Пасху>, - подумал Гуляй-День, торопясь на площадь, где собирались на Раду казаки.

Он оглянулся: еще далеко за ним, вплоть до самого конца улицы, шло множество людей. Разноголосый гомон колыбался в свежем морозном воздухе. Ветер спал, и звонко разносились на морозе веселые голоса. И в сердце Гуляй-Дня вошло какое-то чудесное, тревожное и сладкое чувство великой и давно желанной победы. Снег скрипел под ногами. Солнечно пламенели стяги. Казак в сбитой набекрень шапке крепко пожал руку Гуляй-Дню и восторженно проговорил:

- Эх, брат! Дождались-таки мы! Оправдал наши надежды Хмель!

- Оправдал! - откликнулся Гуляй-День, и ему захотелось во что бы то ни стало повидать сейчас Хмельницкого и пожать ему руку.

...Уже полно было народу на площади, а все новые подходили...

Детвора взобралась на деревья, на крыши, пристроилась на заборах. И не только дети...

В восьмом часу утра ударили в бубен на майдане. Все глаза устремились к широкому помосту посреди площади, покрытому алым сукном.

У помоста казаки с пиками, в синих жупанах и синих шапках с красными шлыками - гетманская стража.

Гуляй-День протиснулся вперед. Часто дышал. Пар вился изо рта. Он тоже, как и все, глядел на помост, точно откуда-то из-под него должны были появиться гетман и старшина.

Говор пронесся по площади:

- Идут!..

- Идут!..

- Гетман впереди!..

- Да то не гетман...

- Ты мне говоришь? Гетман! Ослеп, что ли?..

Кто-то спросил за спиною у Гуляй-Дня:

- Какой день нынче?

Гуляй-День с досадой ответил:

- Сам видишь, не ослеп... Хороший, солнечный.

- Дурень! Я про число спрашиваю.

- Восьмое.

- Так вот запомни: восьмое января года тысяча шестьсот пятьдесят четвертого.

Гуляй-День ответил:

- Я запомню!..

Гетман и старшина всходили на помост. Снова зашумели в толпе.

- Вон тот, толстый, - Носач.

- А этот, что с перначем?

- Джелалий. А тот справа, возле гетмана, - Золотаренко...

- Гляди, мой полковник Пархоменко.

- А вон наш - Стародуб...

Генеральный есаул Лисовец поднял булаву. Генеральный бунчужный Томиленко стал позади Хмельницкого и поставил возле его правого плеча бунчук. Ветер рванул бунчук и взвевлял его над головой гетмана.

Хмельницкий сделал шаг вперед. Напряженная тишина легла на майдан. Медленно обвел гетман взглядом широкую площадь, море голов, детей на деревьях и на крышах. Мелькнула мысль: <Дети когда-нибудь расскажут...>

Гуляй-Дню показалось, что гетман узнал его, и он почувствовал, встретившись с ним взглядом, как сладко сжалось сердце. Майдан застыл недвижимо. Хмельницкий вдохнул январский воздух, ощутил где-то в груди его морозную чистоту и поднял булаву:

- Братья казаки, полковники, есаулы, сотники, все Войско Запорожское, все православные!

Ведомо вам, как избавились мы, с божьей помощью от руки гонителей церкви нашей, озлобивших все христианство. Уже шесть лет живем в войнах непрерывных, без государя. Для того Раду собрали мы ныне явную, для всего народа, чтобы избрали вы с нами себе государя из четырех, какого желаете. Царь турецкий зовет нас к себе в подданство, шлет непрерывно послов своих. Второй - хан крымский, тоже того хочет. Третий - король польский. А четвертого сами просим и хотим быть под его высокою рукою. Это царь братского нам народа, великий самодержец русский - государь Алексей Михайлович. Там суть земля родная и братья наши, с которыми мы, плечо к плечу, русские земли не раз защищали и которые не дадут нас на поругание и обиду злым ворогам.

Царь турецкий - басурман. Всем вам ведомо, как притесняет он веру нашу и какое поношение и муки терпят братья наши в краях, подвластных ему. Хан татарский - такого же поля ягода. Король Речи Посполитой... что вам рассказывать? Вспомните сегодня вс? зло и горе, причиненное народу нашему панями... Сами ведаете!

Православный царь, великий государь Алексей Михайлович, одного с нами благочестивого закона, одной веры православной. Великий государь, видя муки народа нашего, снизойдя к просьбам нашим, прислал к нам великое посольство, дабы оно, если Рада так приговорит, приняло нас под его высокую руку. Братья наши оружно идут к нам на помощь. Пускай знают Варшава, Стамбул, Бахчисарай, Вена, Рим и прочие столицы, где злое против нас умышляют, что в единении с народом русским мы неодолимы и неприступны будем.

А буде кто с нами тут на Раде не согласен, тому теперь, куда хочет: вольная дорога!..

- Волим под царя московского, православного! - раздался громовый голос над ухом у Гуляй-Дня.

- Добро! - крикнул во всю глотку Гуляй-День и в этот миг увидал наискось от себя Нечипора Галайду, поймал его взгляд и снова крикнул:

- Волим под царя московского!

- Добро! - катилось по площади, плыло по улицам, точно по ручьям, где тесно, бок о бок, стояли люди.

- Волим! - гремел майдан одним могучим голосом.

Мартын Терновый, стоя у помоста, тоже кричал:

- Добро! Волим под царя московского! - а, глянув вбок, увидал раскрасневшееся лицо давнего приятеля, Нечипора Галайды, и еще громче закричал:

- Волим!

Крылато и весело нес ветер это слово. Хмельницкий оглянулся на полковников. Мгновенно в памяти встали шесть лет битв и тревог. Он резко обернулся к площади, клокотавшей криками, и, подняв над головой булаву, голосом, каким звал в бой все эти шесть лет, выкрикнул:

- Так будем же едины с народом русским навеки!

И в ответ ему одним голосом из тысяч грудей вырвалось громовое:

- Будем!

И в этом слове Богдан Хмельницкий уже слышал голос не только великой Рады, - казалось, вся земля украинская, от Карпатских вершин до Черного моря, сказала твердо и нерушимо:

- Будем!

1945 - 1949